

ИЗДАНИЕ

ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИКИ



«Атлант расправил плечи» – центральное произведение русской писательницы зарубежья Айн Рэнд, переведенное на множество языков и оказавшее огромное влияние на умы нескольких поколений читателей. Своеобразно сочетая фантастику и реализм, утопию и антиутопию, романтическую героиню и испепеляющий гротеск, автор очень по-новому ставит извечные не только в русской литературе «проклятые вопросы» и предлагает свои варианты ответов – острые, парадоксальные, во многом спорные. Перевод с английского Д.В.Костыгина.

Айн Рэнд

А ЕСТЬ А

(Атлант расправил плечи – 3)

Глава 1 . Атлантида

Открыв глаза, она увидела солнечный свет, листву и лицо мужчины. Она почувствовала, что все это ей знакомо. Это мир, каким он представлялся ей в шестнадцать лет. И вот теперь все исполнилось, и все казалось так просто, так естественно, так соответствовало ее ожиданиям. Весь мир словно говорил ей: иначе и нельзя.

Она посмотрела в лицо склонившегося над ней мужчины и ясно ощутила, что из всех виденных ею лиц это было самым дорогим, тем, за что можно отдать жизнь, – лицо, в котором не было ни тени страдания, страха или чувства вины. Линия его рта выражала гордость, более того, он словно гордился собственной гордостью. Чеканные линии щек наводили на мысль о высокомерии, насмешке, презрении, хотя в самом лице не было и намека на эти качества, оно выглядело спокойно-решительным и, несомненно, безжалостно-невинным, не позволяющим ни просить прощения, ни дарить его; это лицо ничего не скрывало и ни от чего не скрывалось, глаза смотрели без страха и ничего не таили. Она сразу же почувствовала в нем поразительную наблюдательность. Его глаза вбирали все, ничто не ускользало от них; зрение служило ему могущественным каналом ощущений, через него он бесстрашно и радостно вторгался в мир, навстречу приключениям; и он бесспорно ценил этот канал превыше всего. Его видение повышало ценность и его самого, и окружающего его мира; его – потому что он был наделен таким изумительным даром, мира – потому что мир оказался достоин столь радостного лицезрения. На миг ей показалось, что перед ней существо нематериальное, чистое сознание, – но при этом она никогда еще не ощущала так явственно присутствие мужчины. Казалось, легкая ткань рубашки не скрывала, а подчеркивала его статную фигуру, загорелую кожу, силу и твердость напряженного тела, литую упругость мышц – да, он казался отлитым из металла, металла с мягко-приглушенным блеском, вроде сплава меди и алюминия. Цвет его кожи сливался с цветом волос, с вызолоченными солнцем упрямыми прядями, падавшими на лоб; гармонию цвета дополняли глаза, единственная деталь отливки, которая сохранила весь свой блеск, растворив его в глубоком сиянии и добавив к нему оттенки темно-зеленого.

Он смотрел на нее сверху, и в его взгляде теплилась легкая улыбка, словно он не открывал нечто новое, а созерцал родное и знакомое, то, чего давно ждал и в чем никогда не сомневался.

Вот мой мир, думала она, такими должны быть мужчины, вот их истинный образ, а все прочее, годы мучительной борьбы – лишь чья-то дурная шутка. Она улыбнулась ему, как улыбаются посвященному в тайну, с облегчением и радостью, отмечая раз и навсегда множество вещей, с которыми отныне могла не считаться. Он улыбнулся в ответ такой же улыбкой, будто испытывал то же, что испытывала она, будто знал, о чем она думала.

Ни к чему принимать это все всерьез, правда? – прошептала она.

Ни к чему, – отвечал он.

Но тут, окончательно придя в себя, она осознала, что этот человек ей вовсе незнаком.

Она сделала попытку отодвинуться, но лишь слабо повела лежавшей на траве головой. Она попробовала встать, но резкая боль пронзила ей спину и приковала к земле.

Не двигайтесь, мисс Таггарт. Вы ранены.

Вы меня знаете? – Ее голос прозвучал резко и отстраненно.

Я знаю вас много лет.

И я вас тоже знаю?

Да, наверное.

Как вас зовут?

Джон Галт.

Она смотрела на него не шевелясь.

Почему вы боитесь? – спросил он.

Потому что я этому верю.

Он улыбнулся, словно осознав ту значимость, которую она придавала его имени; так улыбается соперник, принимая вызов, – и взрослый, с легкой иронией воспринимая заблудившегося ребенка.

К ней, похоже, возвращались силы и сознание после катастрофы, в которой разбился не только самолет. Ей пока не удавалось сложить разрозненную мозаику воспоминаний, она еще не могла вспомнить все, что связано с этим именем; она только осознавала, что оно означало черную пустоту, которую ей предстояло заполнить. Сейчас она еще не могла этого сделать, присутствие этого человека слепило ее – так луч света в темноте мешает разглядеть очертания теней за ним.

– Значит, это вас я преследовала? – спросила она.

– Да Дэгни медленно огляделась. Она лежала в траве на лугу У подножья нескончаемого гранитного склона, который тянулся ввысь, в самое небо, на тысячи футов. На другом конце луга виднелись выступы скал, сосны и березы с блестящей на солнце листвой; в отдалении ландшафт замыкался полукружием высоких гор. Ее самолет был цел, он замер тут же, чуть поодаль, распластавшись на брюхе. Больше ничего не было видно: ни другого самолета, ни каких-либо строений – никаких признаков присутствия человека.

– Что это за долина? – спросила она. Он улыбнулся:

– Терминал Таггарта.

– Что это значит?

– Вам это предстоит узнать.

У Дэгни появилось смутное побуждение проверить, остались ли у нее в запасе силы. Она могла двигать руками и ногами, могла поднять голову, но при глубоком вдохе появлялась резкая колющая боль; Дэгни заметила тонкую струйку крови, стекающую по чулку.

– Отсюда можно выбраться? – спросила она.

Ответ прозвучал серьезно, но улыбка в темно-зеленых глазах разгорелась ярче:

– В принципе нельзя. На время – можно.

Она попробовала встать. Он наклонился, чтобы поднять ее, но она, собравшись с силами, неожиданным быстрым движением выскользнула из его рук в попытке встать.

– Кажется, я смогу сама... – начала она и рухнула в его объятия, едва ее ноги коснулись земли: лодыжку молнией пронзила боль.

Он поднял ее на руки и с улыбкой сказал:

– Нет, сами вы, мисс Таггарт, не справитесь. – Он двинулся с ней через поляну.

Обхватив его шею, положив голову ему на плечо, она тихо лежала на его руках и думала: пусть ненадолго, пока это длится, но как приятно полностью отдать себя в его власть, забыть обо всем, довериться и чувствовать только одно... Когда я уже испытывала такое чувство? – спросила она себя. Был когда-то момент, когда она спрашивала себя об этом, как сейчас, но не могла вспомнить когда. Было, было у нее однажды похожее ощущение надежности, достигнутой цели, разрешения всех сомнений. Новым было ощущение, что тебя оберегают, защищают и ты вправе принять эту помощь – вправе, потому что странное чувство защищенности ограждало не от будущего, а от прошлого; она не выходила из боя, а праздновала победу, в ней оберегали не слабость, а силу... Чувствуя силу поддерживающих рук, плотно охвативших ее тело, видя перед своим лицом пряди золотисто-медных волос, видя всего в нескольких дюймах от себя тени ресниц на его веках, она пыталась разобраться в своих мыслях. От чего оберегают? Кто оберегает? Он же враг... Враг ли? И почему? Она не могла ответить, не могла больше думать об

этом. Ей потребовалось усилие, чтобы вспомнить, что несколько часов назад у нее были цель и задача. Она заставила себя сосредоточиться.

Вы знали, что я вас преследую? – спросила она.

Нет.

Где ваш самолет?

На летном поле.

А где летное поле?

На другом конце долины.

Сверху я не заметила в этой долине никакого летного поля. И места для него нет. Как же можно приземлиться здесь?

Он взглянул вверх:

– Посмотрите внимательней. Там, вверху, вы что-нибудь видите?

Она откинула голову назад, пристально глядя в небо, и не увидела ничего, кроме безмятежной утренней сини. Но через некоторое время она различила несколько слабых полос в колеблющемся воздухе.

Слои нагретого воздуха, – сказала она.

Преломление света, – ответил он. – Вместо дна долины вы увидели вершину горы высотой в восемь тысяч футов, расположенной в пяти милях отсюда.

Что?..

Вершина горы, которую ни один летчик не выбрал бы для посадки. Вы видели ее отражение, спроецированное на долину.

Но как?

Так же, как возникает мираж в пустыне, – проекция за счет преломления света в слоях нагретого воздуха.

То есть?

С помощью локатора создается экран, способный оградить от всего и всех... кроме вашей храбрости.

Что вы имеете в виду?

– Я и мысли не допускал, что кто-нибудь попытается опустить самолет до семисот футов над землей. Вы пробили лучевой экран. А некоторые из этих лучей глушат моторы.

Так что вы второй раз взяли верх надо мной – ведь никто еще не пытался идти по моему следу.

Зачем вам локатор и экран?

Потому что это место – частная собственность и должно остаться таковой.

Что это за место?

Я вам все покажу, раз уж вы оказались здесь, мисс Таггарт. И после этого отвечу на все ваши вопросы.

Она промолчала, заметив, что спрашивает обо всем, только не о нем самом. Он казался неким единым целым, понятным ей с первого взгляда, неким абсолютом, не разложимым на составные части, аксиомой, не требующей объяснений. Она интуитивно поняла его сразу и целиком, и теперь оставалось подтвердить свое знание опытом.

Он нес ее по узенькой тропинке, которая, извиваясь, вела вниз. Вокруг на склонах гор неподвижно и строго, словно скульптурные формы, от которых отсечено все лишнее, высились громадные сосны. С соснами – воплощением мужественности – резко контрастировали трепетавшие листвой, пронизанные солнцем женственные силуэты берез. Солнечные лучи свободно лились сквозь кисею березовых ветвей, падали на лица, подсвечивая волосы Галта. Дэгни не видела, что находится вдали, на дне долины, за поворотами петлявшей по склону

тропинки.

Ее все время тянуло взглянуть ему в лицо. Время от времени он тоже опускал взгляд на нее. Сначала она отворачивалась, будто застигнутая врасплох. Затем, словно следуя его примеру, выдерживала его взгляд всякий раз, когда он смотрел на нее, понимая, что ему ясны ее чувства и что он не скрывает от нее значение своего взгляда.

Она ощущала в его молчании то же признание, что в ее собственном. Он держал ее на руках не безразлично, как мужчина, несущий раненую женщину. Это было объятие, хотя, казалось, ничто в его поведении не выдавало этого. Но она безошибочно угадывала, что он всем телом ощущает ее тело в своих объятиях.

Она услышала шум водопада прежде, чем увидела быстрые, прерывистые струи, которые, сверкая, низвергались с крутого склона. Их звук пробился в ее сознание сквозь смутный ритм, слабые каденции*, доносящиеся откуда-то извне. Почему-то этот ритм был ей знаком, но откуда – она не могла вспомнить. Они пошли дальше, но остались и шум воды, и этот неясный ритм, он, казалось, зазвучал громче, яснее, рос, перекрывая гул водопада, и источник его находился не в ее сознании, а где-то под покровом листвы. Тропинка свернула, и внезапно внизу, на склоне горы, открылась терраса с маленьким домиком посередине. На солнце сверкала створка раскрытого окна. Память тотчас вернула Дэгни момент из прошлого, когда ей так же хотелось раствориться в потоке объявшего ее времени, – ночь в пыльном вагоне «Кометы», и звучит тема из Пятого концерта Хэйли, который она открыла для себя тогда. И вот она уже слышит его – та же тема звучит на рояле, те же ясные, резкие аккорды, взятые уверенной, твердой рукой.

Вопрос вырвался сам собой, будто ей хотелось захватить Галта врасплох:

Это ведь Пятый концерт Ричарда Хэйли? -Да.

Когда он написан?

– Почему бы вам не спросить самого автора?

Он здесь?

Играет он сам. Это его дом.

О!..

Позже вы встретитесь с ним. Он будет рад познакомиться с вами. Он знает, что по вечерам, в одиночестве, вы любите слушать только его записи.

Откуда это ему известно?

Он узнал это от меня.

Во взгляде, который она бросила на него, читался вопрос, начинавшийся словами: «А вы-то сами, черт возьми...» Но она увидела его глаза, прочитала все в них и рассмеялась, и этот смех озвучил и объяснил значение его взгляда.

Не надо ни о чем спрашивать, подумала она, не надо ни в чем сомневаться, не время для вопросов, пока торжественно звучит эта музыка, пока сквозь залитую солнцем листву льется мелодия избавления, освобождения, исполняемая точно в соответствии с замыслом. Еще там, в раскачивавшемся вагоне, ее сердце жаждало расслышать эти звуки в неровном перестуке колес, еще тогда ее душа разглядела в этих звуках эту долину, уже той же ночью перед ней встало солнце нынешнего утра...

У Дэгни перехватило дыхание: тропа завернула, и с высоты террасы она увидела город в долине.

Впрочем, это был не город, а просто россыпь домов, небольших современных строений простой, угловатой формы, сверкавших глазницами больших окон. В отдалении виднелись более крупные сооружения, и по бледным клубам дыма над ними можно было предположить, что это промышленная зона. А прямо перед Дэгни на стройной гранитной колонне, начинавшейся где-то внизу, слепя ее и затмевая своим блеском все остальное, стоял знак доллара высотой в три

фута, сделанный из чистого золота. Он парил над городом, как герб, фирменный знак, как маяк, и, подобно отражателю, ловил лучи солнца, рассеивая их в воздухе над крышами, как небесную благодать.

Что это? – вырвалось у нее.

А, это шутка Франциско.

Какого Франциско? – прошептала она, уже зная ответ.

Франциско Д'Анкония.

Он тоже здесь?

Должен вскоре появиться.

Что вы имеете в виду, говоря о шутке?

Он подарил эту эмблему владельцу здешних мест в день юбилея. А затем и все мы ее признали. Нам понравилась идея.

Разве не вы владелец здешних мест?

– Я? Нет. – Он посмотрел вниз и добавил, указывая жестом: – А вон и сам владелец.

Внизу, в конце грунтовой дороги, остановился автомобиль, и двое мужчин бросились вверх по тропинке. Дэгни не могла разглядеть их лиц, один был строен и высок, другой ниже ростом и плотнее. Они скрылись за поворотом, а Галт продолжал спускаться со своей ношей им навстречу.

Дэгни увидела их, когда они внезапно показались из-за скалы на расстоянии в несколько футов. Их вид подействовал на нее как грубый толчок.

Плотный мужчина, который был незнаком ей, воскликнул:

– Разрази меня гром! – и замер на месте, уставившись на них.

Она же не отрывала взгляда от его высокого, изящного спутника. Им оказался Хью Экстон.

Первым, склонившись перед ней в изысканном поклоне, заговорил Хью Экстон:

Мисс Таггарт, впервые я оказался не прав. Представить себе не мог, когда говорил, что вам ни за что не отыскать его, что при следующей нашей встрече увижу вас в его объятиях.

В чьих объятиях?

В объятиях изобретателя двигателя.

У нее перехватило дыхание, она закрыла глаза: эту-то связь она и должна была установить. Открыв глаза, она устремила взгляд на Галта. Он тонко, иронично улыбался, будто вполне отдавая себе отчет в том, что это должно для нее значить.

– Поделом бы вам было, если бы вы сломали себе шею, – не стесняясь, объявил ей плотный мужчина, но гнев его был продиктован скорее заботой и расположением. – На кой вам сдался этот трюк, когда вас с радостью приняли бы здесь как желанного гостя, с парадного входа?

– Мисс Таггарт, позвольте представить вам Мидаса Маллигана, – сказал Галт.

– Ах, – только и произнесла она слабым голосом и за смеялась – у нее уже не было сил удивляться. – Вам не кажется, что я погибла при катастрофе, а это все происходит в каком-то потустороннем, ином мире?

– Это и есть потусторонний мир, – ответил Галт. – А что касается гибели, то скорее все обстоит наоборот.

– Ну конечно, – прошептала Дэгни, – конечно... – Она улыбнулась Маллигану: – Где же парадный вход?

Здесь, – ответил он, указывая на свою голову.

Я потеряла ключ от двери, – просто, без обиды сказала она. – Я только что потеряла все ключи.

Ничего, отыщете. Но разрази меня гром, на кой черт вам понадобилось лететь на самолете?

Я преследовала.

Его! – Он показал на Галта. – Да.

Вам повезло, что остались живы. Сильно пострадали?

Кажется, нет.

Вам придется ответить на кое-какие вопросы, когда вас подлатают. – Он круто повернулся и направился к машине, потом обернулся к Галту: – Что будем делать? Кое– что мы не предусмотрели – первого штрейкбрехера.

Первого – кого? – спросила она.

Выбросьте из головы, – ответил Маллиган и снова обратился к Галту: – Что будем делать?

Этим займусь я, – сказал Галт. – Это моя забота. Ты возьмешь на себя Квентина Дэниэльса.

Ну, с ним нет проблем. Ему надо только ознакомиться с местом. Остальное он, кажется, знает.

Да. Он фактически прошел весь путь самостоятельно. – Галт заметил, что Дэгни изумленно смотрит на него, и сказал: – Я должен вас поблагодарить, мисс Таггарт, вы оказали мне честь, определив стажером ко мне Квентина Дэниэльса. Удачный выбор.

А где он? – спросила она. – Вы расскажете мне, что случилось?

Мидас встретил нас на летном поле, отвез меня до мой, а Дэниэльса забрал с собой. Я собирался позавтракать с ними, но увидел, как ваш самолет пикирует на луг. Я оказался ближе других к месту происшествия.

Мы тут же бросились сюда, – сказал Маллиган. – Я подумал: и поделом ему – тому, кто вел самолет. Я и вообразить не мог, что за штурвалом сидел один из тех двоих во всем мире, кого я пощадил бы в любом случае.

А кто второй? – поинтересовалась она.

Хэнк Реардэн.

Она вздрогнула, будто ее неожиданно ударили. Интересно, почему ей показалось, что Галт внимательно следит за ее лицом и что в его лице что-то мгновенно, неуловимо изменилось? Они подошли к автомобилю. Это оказался «хэммонд»-кабриолет. Хотя машина была на ходу уже несколько лет, содержали ее в полном блеске и порядке. Галт осторожно опустил Дэгни на заднее сиденье, продолжая удерживать в кольце своих рук. На время вновь вернулась колющая боль, но Дэгни оставила ее без внимания. Она смотрела на дома вдали. Маллиган включил стартер, машина тронулась. Они проехали мимо знака доллара, и золотой луч, скользнув по лицу Дэгни, сверкнул ей в глаза.

Кто владелец этих мест? – спросила она.

Я, – ответил Маллиган.

А кто он? – Она указала на Галта. Маллиган развеселился:

Он просто здесь работает.

А вы, доктор Экстон? – спросила она. Тот взглянул на Галта:

Я один из его двух отцов, мисс Таггарт, – тот, кто не предал его.

Ах вот как! – воскликнула она. Еще одна деталь встала на место. – Ваш третий ученик?

Именно так.

Младший помощник бухгалтера! – внезапно просто нашла она, припоминая.

Что такое?

Так назвал его доктор Стадлер. Доктор Стадлер сказал мне, что, как он думает, именно это произошло с третьим учеником.

– Он переоценил меня, – сказал Галт. – По его масштабам и по меркам его мира я никак не дотягиваю до та кого уровня.

Машина свернула на тропинку, поднимавшуюся к одиноко стоящему на возвышении дому. Дэгни увидела человека в голубом комбинезоне, с коробкой для завтрака в руках, который

деловито шел им навстречу по тропинке, направляясь к городу. Что-то в его резкой поступи показалось ей смутно знакомым. Когда машина проехала мимо него, Дэгни увидела его лицо и импульсивно дернулась назад, закричав во весь голос – и от боли, причиненной движением, и от внезапности встречи:

– Стойте! Стойте же! Не дайте ему уйти! – Она узнала Эллиса Вайета.

Трое мужчин в машине расхохотались, но Маллиган нажал на тормоза.

– Ах да, – слабым голосом произнесла Дэгни, поняв свою оплошность: отсюда Вайету некуда было уйти.

Вайет бежал к ним навстречу, он тоже узнал ее. Он уперся руками в борт машины, и Дэгни открылось его лицо, на котором играла та же юная, торжествующая улыбка, которую ей однажды уже довелось видеть – на платформе узловой станции Вайет.

Дэгни! И ты тоже? Наконец-то! С нами?

Нет, – сказал Галт. – Тут другой случай.

Какой случай?

Самолет мисс Таггарт разбился. Разве ты не видел?

– Разбился... здесь?

– Да.

– Я слышал самолет, но... – Изумление на его лице сменилось улыбкой, дружелюбно-участливой и довольной. – Ах вот что! Боже мой, Дэгни, ну и дела!

Она беспомощно уставилась на него, не в силах связать прошлое с настоящим. И так же беспомощно произнесла, как говорят во сне покойному другу, когда упущен шанс сказать это ему при жизни, произнесла, помня, как почти два года назад она упорно набирала его номер и не было ответа, помня, что все это время она надеялась сказать ему при первой же встрече:

– Я... я пыталась связаться с тобой. Он мягко улыбнулся:

– Мы тоже все время пытались связаться с тобой, Дэгни... Увидимся сегодня вечером. Не беспокойся, я никуда не денусь, надеюсь, ты тоже не исчезнешь.

Он помахал рукой остальным и продолжил путь, размахивая коробкой. Она подняла глаза и, когда Маллиган тронул машину с места, заметила, что Галт пристально наблюдает за ней. Ее лицо стало жестким, словно она открыто признавала, что страдает, и досадовала, что это может доставить ему удовольствие.

– Ладно, – сказала она, – теперь я представляю, каким спектаклем вы хотите поразить меня.

Но в его лице не было ни жестокости, ни жалости, только спокойное сознание правоты.

– Мисс Таггарт, у нас здесь первое правило, что каждый должен сам все увидеть и понять.

Машина остановилась у обособленно стоящего здания. Дом был сооружен из грубо отесанных гранитных глыб, большую часть фасада занимало огромное сплошное окно.

Я пришлю вам доктора, – сказал Маллиган и уехал, а Галт понес Дэгни к входу.

Это ваш дом? – спросила она.

Мой, – ответил он и ударом ноги открыл дверь.

Он перенес ее через порог в сверкающее пространство комнаты, где потоки солнечного света омывали полированную поверхность сосновых стен. Там стояла немногочисленная мебель ручной работы, потолок был из простых балок; арочный проем вел в небольшую кухню с грубыми посудными полками, там стоял непокрытый деревянный стол и, что удивительно, сверкала никелем электрическая плита. Дом отличала первозданная простота хижины первопроходца: только самое необходимое, но с учетом возможностей сверхсовременной технологии.

Он пронес ее через поток света в небольшую комнатку Для гостей и опустил на кровать. Из открытого окна виднелись каменистые ступеньки, спускавшиеся далеко вниз, а навстречу им,

вонзаясь в небо, поднимались сосны. Она заметила, что на стенах там и сям виднелись какие-то врезанные в дерево мелкие письма, сделанные, похоже, разными людьми. Разобрать слова ей не удалось. В комнате имелась и другая дверь, она была полуоткрыта и вела в его спальню.

Я здесь гостя или узница? – спросила Дэгни.

Выбор вы сделаете сами, мисс Таггарт.

Какой может быть выбор, ведь я имею дело с незнакомым человеком.

Неужели? Разве вы не назвали моим именем свою железнодорожную линию?

А, это... Да. – Еще одна маленькая деталь пополнила картину. – Да, я... – Она смотрела на стоящего перед ней высокого мужчину с выгоревшими на солнце прядями золотистых волос, он гасил улыбку в своих беспощадно всепонимающих глазах. Ей вспомнилась борьба за открытие линии, ее линии, и летний день, когда был пущен первый поезд. Ей подумалось, что если бы было можно выразить символ этой линии в образе человека, то надо было бы выбрать Галта. – Да, назвала... – И, вспомнив то, что произошло потом, она добавила: – Но я дала ей имя врага.

Он улыбнулся:

Это противоречие вам рано или поздно пришлось бы разрешить, мисс Таггарт.

Но ведь именно вы разрушили мою линию?

О нет. Ее погубило противоречие.

Она на минуту прикрыла глаза, затем спросила:

Все эти истории, которые я слышала о вас, – что в них правда?

Все правда.

Их распространяли вы сами?

Нет. Зачем? Мне вовсе не хотелось, чтобы обо мне говорили.

– Но вам известно, что вы стали легендой?

– Да.

Молодой изобретатель из компании «Твентис сенчури мотор» – это правдивая версия легенды?

В ее конкретном смысле – да.

Произнести это безразличным тоном Дэгни не смогла, горло у нее перехватило, и, невольно перейдя на шепот, она спросила:

– Двигатель, который я нашла, его создали вы? – Да.

Она не могла скрыть вспыхнувший интерес, глаза ее загорелись.

Тайна преобразования энергии... – начала она и за молчала.

Я мог бы изложить ее вам за четверть часа, – сказал он в ответ на ее страстное, хотя и невысказанное желание, – но на земле нет силы, которая заставила бы меня раскрыть этот секрет. Если вам понятно это, вы поймете все, что вас озадачивает, оставляет в недоумении.

Та ночь... двенадцать лет назад, весной, когда вы по кинули сборище шести тысяч убийц, – тоже правда?

– Да.

Вы сказали им, что остановите двигатель мира.

Сказал.

И что вы сделали?

– Я не сделал ничего, мисс Таггарт. И в этом весь секрет. Она долго молча смотрела на него. Он ждал, словно читая ее мысли.

Разрушитель... – беспомощно и удивленно произнесла она.

...исчадие ада, какого не знал свет, – сказал он, как будто цитируя, и она узнала собственные слова, – человек, который лишает мир разума.

Как пристально вы следили за мной? – спросила она. – И с какого момента?

В последовавшую секундную паузу его взгляд не шелохнулся, но ей показалось, что он наполнился большим значением, Галт как будто увидел ее по-другому, и в его голосе, когда он спокойно ответил, ей почудилось особое напряжение:

– Много лет.

Она прикрыла глаза, расслабившись и прекращая расспросы. В ней появилось странное, легкомысленное равнодушие, словно ее внезапно оставили все желания, кроме желания отдаться успокаивающему ощущению полной беззащитности.

Прибыл врач, седой мужчина с приятно-озабоченным лицом и ненавязчивыми, но твердыми и уверенными манерами.

Мисс Таггарт, познакомьтесь – доктор Хендрикс, – сказал Галт.

Уж не доктор ли Томас Хендрикс? – воскликнула она с непроизвольной прямоотой ребенка. Так звали знаменитого хирурга, который лет шесть как отошел от дел и исчез с горизонта.

Он самый, – ответил Галт.

Доктор Хендрикс ответил на ее восклицание улыбкой:

Мидас сказал мне, что мисс Таггарт необходимо вы водить из шока, не того, который она испытала, а того, который ее ожидает.

Вот и займитесь этим, а я отправлюсь на рынок купить продуктов к завтраку.

Рассказывая хирургу о симптомах и болях, Дэгни следила за его уверенными быстрыми движениями. Он привез с собой аппарат, которого ей раньше не доводилось видеть, – переносной рентген. Вскоре выяснилось, что у нее сломаны два ребра, растянута лодыжка, содрана кожа на колене и локте, а ко всему этому еще несколько ушибов, которые обнаружили себя лиловыми пятнами. Под умелыми, опытными руками, которые уже бинтовали и накладывали пластыри, она чувствовала себя механизмом, который осматривает компетентный механик, способный полностью восстановить его рабочее состояние.

Вам надо некоторое время полежать в постели, мисс Таггарт.

Только не это! Я буду осторожна, буду двигаться мед ленно, и со мной ничего не случится.

Вам следовало бы отлежаться.

Вы думаете, я смогу улежать? Он улыбнулся:

Вряд ли.

К тому времени, когда вернулся Галт, она уже оделась. Доктор Хендрикс рассказал Галту о состоянии пациентки, добавив в заключение:

Завтра я зайду еще раз.

Спасибо, – сказал Галт. – Пришлите мне счет.

– Ни в коем случае, – с негодованием сказала Дэгни. – Я заплачу сама.

Мужчины весело переглянулись, будто услышали это от нищенки.

– Разберемся позднее, – сказал Галт.

Когда доктор Хендрикс ушел, она попробовала встать и двинулась с места, хромя и хватаясь за мебель. Галт подхватил ее на руки, отнес на кухню и устроил на стуле перед накрытым для двоих столом.

Она почувствовала, что проголодалась, и этому способствовал вид стаканов с апельсиновым соком, кофейника, дымившегося на плите, и блестящих под солнцем на накрытом столе тяжелых белых тарелок.

Когда вы в последний раз спали и ели? – спросил он.

Не помню... Ужинала в поезде... – Она тряхнула головой, испытывая неловкость в парадоксальной ситуации: тогда она ужинала с бродягой, убежавшим от безликого и неотступного мстителя; а теперь этот мститель сидит напротив, попивает апельсиновый сок и рассматривает ее.

Как получилось, что вы увязались за мной?

Я приземлилась в Эфтоне как раз перед тем, как вы взлетели. Мне сказали, что Квентин Дэниэльс отправился с вами.

Помню, я видел, как самолет заходил на посадку. Но именно тогда я впервые не подумал о вас. Полагал, что вы поехали поездом.

Глядя ему прямо в лицо, она спросила:

И как я должна это понимать?

Что именно?

– Что вы впервые не подумали обо мне?

Он выдержал ее взгляд. Она заметила его типичное движение: обычно неподвижную складку горделивого рта тронула легкая усмешка.

– Как вам будет угодно, – ответил он.

Она выдержала паузу, чтобы подчеркнуть важность последовавшего вопроса строгим выражением лица, а затем холодно, враждебно-обвиняющим тоном спросила:

– Вы знали, что мне нужен был Квентин Дэниэльс? -Да.

И вы тут же его перехватили, чтобы я до него не добралась? Чтобы обставить меня, понимая, как больно это ударит по мне?

Конечно.

Она первая отвела взгляд и замолчала. Он поднялся, чтобы продолжить приготовление завтрака. Она смотрела, как он поджаривает хлеб, бекон и яичницу. Движения его были легкими, уверенными и привычными, но точность исходила от другой профессии – это была точность инженера, стоящего у пульта управления. Дэгни внезапно вспомнила, где ей доводилось видеть подобные манипуляции, столь же профессиональные, сколь и не отвечающие ситуации.

Вы научились этому у доктора Экстона? – спросила она, указывая на плиту.

Да, среди прочего.

Он научил вас тратить время, ваше время... – она не смогла сдержать дрожь возмущения в голосе, – на подобные занятия?

Мне доводилось тратить время и на менее значительные дела.

Когда он поставил перед ней тарелку, она спросила:

Где вы берете продукты? Тут есть продуктовый магазин?

Лучший в мире. Магазин Лоуренса Хэммонда.

Что?

Магазин Лоуренса Хэммонда, фирма «Хэммонд карс». Бекон с фермы Дуайта Сандерса, фирма «Сандерс эйркрафт». Яйца и масло поставляет судья Наррагансетт из Верховного суда штата Иллинойс.

Она с досадой уставилась на свою тарелку, будто боясь дотронуться до еды.

Такого дорогого завтрака мне еще не доводилось есть, если учесть, чего стоит ваше время и время остальных.

Верно – с одной стороны. Но с другой стороны, это самый дешевый завтрак, потому что не надо платить тем бандитам, которые год за годом заставляют платить им дань и в конце концов многих обрекают на голод.

После долгого молчания она просто, почти мечтательно спросила:

И что же вы здесь делаете?

Живем.

Ей никогда не доводилось слышать, чтобы это слово приобретало такой реальный смысл.

Чем занимаетесь вы сами? – спросила она. – Мидас Маллиган сказал, что вы здесь

работаете.

Здесь я, можно сказать, мастер на все руки.

Кто-кто?

– Меня зовут на помощь, когда что-либо выходит из строя, энергосистема например.

Дэгни взглянула на него и внезапно подалась вперед, к электроплите, но ее остановила боль, и она откинулась назад, на спинку стула.

Он усмехнулся:

Вот именно, но не стоит так волноваться, не то док тор Хендрикс уложит вас в постель.

Энергосистема... – выдавила она из себя. – Здесь есть энергосистема... и она работает от вашего двигателя?

– Да.

Он создан? Работает? На ходу?

Благодаря ему приготовлен ваш завтрак.

Я хочу его видеть!

Не стоит увечить себя, стараясь дотянуться до электроплиты. Обыкновенная плита, ничего особенного, только обходится в сто раз дешевле. И это все, что вам удастся здесь увидеть, мисс Таггарт.

Вы обещали показать мне долину.

Я вам ее покажу. Но не генератор.

Мы отправимся сразу после завтрака?

Если вы так хотите и если сможете.

Я могу двигаться.

Он встал, подошел к телефону и набрал номер.

– Алло, Мидас?.. Да... Он сделал? Да, с ней все в порядке... Ты одолжишь мне машину на сегодня?.. Спасибо. Та риф обычный – двадцать пять центов... Сейчас можно при слать? Нет ли у тебя какой-нибудь трости? Ей понадобится... Сегодня вечером? Да, пожалуй. Охотно. Спасибо. – Он повесил трубку.

Она недоверчиво смотрела на него:

Я правильно поняла: мистер Маллиган, человек, который стоит двести миллионов долларов, берет с вас двадцать пять центов за автомобиль?

Именно так.

Боже мой, неужели он не может дать его вам бес платно?

Он некоторое время изучал ее лицо, как будто для того, чтобы дать ей возможность разглядеть ироническое выражение на своем собственном.

Мисс Таггарт, – сказал он, – у нас в долине нет за конов, нет установлений, нет четкой организации. Мы приезжаем сюда отдохнуть. Но у нас есть некоторые обычаи, которые мы все соблюдаем, поскольку они необходимы для нашего отдыха. Поэтому я должен предупредить вас, что в долине запрещено одно-единственное слово – слово «давать».

Прошу прощения, – сказала она, – вы правы.

Он налил ей еще кофе и протянул пачку сигарет. Беря сигарету, она улыбнулась: на пачке стоял знак доллара.

Если вы не устанете к вечеру, – сказал он, – Маллиган приглашает вас отужинать у него. У него соберутся люди, которых, полагаю, вам будет интересно увидеть.

Да, конечно! Уверена, что не слишком устану. Думаю, я вообще забуду, что такое усталость.

Завтрак подходил к концу, когда перед домом остановился автомобиль Маллигана. Из него выскочил водитель и бегом, без стука и предупреждения, ворвался в дом. Дэгни не сразу поняла, что этим энергичным, растрепанным, запыхавшимся юношей был Квентин Дэниэльс.

– Мисс Таггарт, – выпалил он, – простите меня! – Интонация горькой вины, звучавшая в его голосе, плохо уживалась с радостным оживлением на лице. – Раньше я никогда не нарушал своего слова! Мне нет прощения, и я не прошу о нем; знаю, вы не поверите моему объяснению, но дело в том, что я... я забыл!

Она взглянула на Галта.

Я верю вам.

Я забыл, что обещал ждать, я обо всем забыл... до самых последних минут, когда мистер Маллиган сообщил мне, что вы разбились здесь на самолете... тогда я понял, что виноват в этом я и что если с вами что-нибудь случи лось... Боже, с вами все в порядке?

Да. Не волнуйтесь. Присядьте.

Не представляю, как можно забыть слово чести. Не могу объяснить, что со мной приключилось.

А мне понятно.

Мисс Таггарт, я работал над этим долгие месяцы, над этой самой гипотезой, и чем больше я влезал в нее, тем без надежней казалось получить результат. Я не выходил из лаборатории два дня, все пытался решить уравнение, которое мне никак не давалось. Но я бы скорее умер там же у доски, чем сдался. Когда он появился, была уже ночь. Я и не заметил его появления. Он сказал, что хочет поговорить со мной, но я отмахнулся, попросил подождать и вернулся к Уравнению. Кажется, я забыл о его присутствии. Не знаю, как долго он стоял, наблюдая за мной, помню только, что внезапно надо мной возникла его рука, стерла все, что я написал на доске, и написала одно коротенькое уравнение. Тогда-то я заметил его! Тогда-то я закричал что есть мочи, потому что это не было решение задачи, связанной с двигателем, но это был путь к нему, путь, которого я не заметил, о котором даже не подозревал, но тотчас понял, куда он ведет! Помню, как я кричал: «Откуда вы знаете?» – а он отвечал, указывая на фотографию двигателя: «Я тот, кто его создал». И больше, мисс Таггарт, я ничего не помню... то есть не помню ничего о себе, потому что потом мы беседовали о статическом электричестве, о превращении энергии и о двигателе.

Всю дорогу сюда мы говорили о физике, – вставил Галт.

Да, я помню, вы спросили, поеду ли я с вами, – сказал Дэниэльс, – готов ли я бросить все и никогда не воз вращаться обратно... Бросить все! Оставить дышащий на ладан институт, который скоро порастет бурьяном, бросить перспективу на всю жизнь остаться ночным сторожем, оставить Висли Мауча и указ десять двести восемьдесят девять и забыть о недочеловеках, которые ползают на брюхе и хрюкают о том, что разума не существует... Мисс Таггарт, – он самозабвенно рассмеялся, – он спрашивал меня, готов ли я бросить все это, чтобы отправиться с ним. Ему пришлось повторить свое предложение, потому что я сначала ему не поверил. Я не мог поверить, что кому-то могут предложить такую вещь, что здесь вообще возможен какой-то выбор. Уехать с ним? Да я бы спрыгнул с небоскреба, чтобы последовать за ним... и успеть услышать, прежде чем разобьюсь о мостовую, предложенную им фор мулу!

Я не виню вас, – сказала она, задумчиво, почти с завистью глядя на него. – Кроме того, вы выполнили условия нашего договора. Вы открыли мне тайну двигателя.

Здесь я тоже буду ночным сторожем, – сказал Дэниэльс с довольной ухмылкой. – Мистер Маллиган сказал, что предложит мне должность ночного сторожа – на электростанции. А когда выучусь, поднимусь до электрика. Разве он не великолепен, наш мистер Маллиган? Я хочу быть таким, как он, когда доживу до его лет. Я хочу разбогатеть, стать миллионером. Стать таким же богатым, как он!

Ах, Дэниэльс! – рассмеялась она, вспомнив молодого ученого таким, каким знала его раньше: его сдержанность, пунктуальность и строгость мысли. – Что с вами произошло? Где вы?

Вы понимаете, что говорите?

Я здесь, мисс Таггарт, а здесь все осуществимо. Я непременно стану лучшим электриком в мире и самым богатым. Я непременно...

Ты непременно отправишься назад к Маллигану и будешь спать целые сутки, а не то я тебя и близко не под пушу к электростанции.

Хорошо, сэр, – послушно сказал Дэниэльс.

Солнце, выглянувшее из-за края горной вершины, вычертило сверкающий круг по снегам и гранитным скалам, которые опоясали всю долину. Этот круг бросился им в глаза, как только они вышли из дому. Внезапно у Дэгни возникло ощущение, что за пределами этого круга ничего нет; к ней пришло радостное, горделивое ощущение конечности мира, ей показалось приятным сознание, что круг интересов и забот человека может быть замкнут полем его зрения. Ей хотелось распахнуть руки, как крылья, над крышами домов, чтобы коснуться пиков гор кончиками пальцев. Но она не могла даже поднять руки, одной она оперлась о трость, другой держалась за Галта. Медленно, осторожно, как ребенок, который учится ходить, переставляя ноги, она направилась к машине.

Она сидела рядом с Галтом, который вел машину, огибая город, к дому Маллигана. Дом стоял на гребне горы, самый большой в этих местах, единственный двухэтажный жилой Дом, причудливое сочетание старинной крепости и виллы с мощными гранитными стенами и широкими открытыми террасами. Галт остановился, чтобы высадить Дэниэльса, и отправился дальше по извилистой дороге, медленно поднимавшейся в горы. Думая о богатстве Маллигана, о роскошном автомобиле, который вел, положив руки на руль, Галт, Дэгни невольно задумалась, а богат ли сам Галт. Она посмотрела на его одежду: серые брюки и белая рубашка явно предназначались для долгой носки, узкий кожаный ремень на поясе потрескался, часы на запястье безусловно были надежным, точным прибором, но сделаны из простой нержавеющей стали. Единственным, что наводило на мысль о богатстве, был цвет его волос – на ветру их пряди трепетали, как струи жидкого золота и меда.

Внезапно она увидела за поворотом дороги зеленые луга и, в отдалении, ферму. Там паслись стада овец, бродили лошади, виднелись просторные скотные дворы с загородками для свиней, а еще дальше стоял металлический ангар, весьма странно смотревшийся рядом. К ним спешил мужчина в яркой ковбойской рубашке. Галт остановил машину и помахал ему, но ничего не произнес в ответ на вопросительный взгляд Дэгни. Он дал ей возможность убедиться самой: мужчина приблизился, и она увидела, что это Дуайт Сандерс.

– Здравствуйте, мисс Таггарт, – сказал он улыбаясь. Она молча смотрела на его закатанные рукава, тяжелые сапоги, на стада скота.

Так вот что осталось от фирмы «Сандерс эйркрафт», – произнесла она.

Не только. Есть еще великолепный самолет, которым вы проутюжили горы.

А, вам уже известно об этом Да, это был один из ваших самолетов. Прекрасная машина. Боюсь только, я из рядно ее повредила.

Вам придется отремонтировать его.

Думаю, у него распорото брюхо. Никто не сможет восстановить его.

Я смогу.

Она много лет не слышала таких слов, такой уверенности в голосе и уже не надеялась услышать. Ее губы начали было складываться в улыбку, но завершила все горькая усмешка.

Как и где? – спросила она. – На свиноферме?

Ну почему же? На предприятии Сандерса – «Сандерс эйркрафт».

Где оно находится?

А как вы полагали? В том здании в Нью-Джерси, которое двоюродный брат Тинки Хэллоуэя купил у моих обанкротившихся преемников благодаря полученному у правительства кредиту и отсрочке уплаты налогов? В здании, где он построил шесть машин, которые так и не взлетели, и восемь поднявшихся в воздух и разбившихся – каждая с сорока пассажирами на борту?

Но тогда где же?

Повсюду, где нахожусь я сам. – Он показал через до рогу.

Сквозь макушки сосен Дэгни увидела на дне долины прямоугольные летные поля с бетонным покрытием.

– У нас здесь есть несколько самолетов, и моя обязанность – заботиться о них, – сказал он. – Я пасу свиней и обслуживаю аэродром. Я прекрасно делаю ветчину и бекон без помощи тех, у кого покупал их раньше. Эти люди, кстати, не могут производить самолеты без меня, без меня они не могут производить даже ветчину и бекон.

Но вы... вы ведь тоже не сами проектировали самолеты.

Не сам. Как не производил и двигатели, хотя когда-то обещал вам это. С тех пор как мы виделись в последний раз, я спроектировал и собрал только новый трактор. Один, собрал его вручную, в массовом производстве не было необходимости. Но этот трактор сокращает восьмичасовой рабочий день вдвое. – Жестом вытянутой руки, как королевским скипетром, он обвел долину. Дэгни последовала взглядом за его рукой и увидела вдали на склоне горы зеленые террасы висячих садов. – Сокращает вдвое, – про должал он, – на птицеферме и молочной ферме судьи Наррагансетта, в садах Ричарда Хэйли. – Он медленно повел рукой, указывая на длинную золотисто-зеленую полосу у подножья горной гряды, а затем на ленту буйно-зеленого цвета – пшеничные и табачные поля Мидаса Маллигана, потом поднял руку вверх, к террасам в гранитных скалах, на уступах которых сверкала листва.

Дэгни снова и снова пробежала взглядом путь, прочерченный его рукой, и, немного помолчав, сказала:

Да, я вижу.

Теперь вы не сомневаетесь, что я смогу отремонтировать ваш самолет?

Теперь нет. А вы его видели?

Видел. Мидас вызвал сразу двух докторов – одного для вас, Хендрикса, а другого для вашего самолета – меня. Самолет можно привести в порядок. Но это обойдется не дешево.

А именно?

Двести долларов.

Двести долларов? – не поверив, переспросила она; цена показалась ей слишком низкой.

Золотом, мисс Таггарт.

О!.. И где я могу купить золота?

Это невозможно, – сказал Галт.

Она с вызовом повела головой в его сторону:

Невозможно?

Невозможно. Там, откуда вы прибыли. Ваши законы не позволяют этого.

А ваши?

Позволяют.

Тогда продайте мне. Назовите обменный курс. Укажите любую сумму в моей валюте.

В вашей валюте? Но у вас нет ни гроша, мисс Таггарт.

Как? – Таких слов наследница Таггарта не ожидала когда-либо услышать.

В этой долине вы человек без гроша. У вас миллионы в акциях «Таггарт трансконтинентал», но здесь на них не купишь и фунта бекона на свиноферме Сандерса.

Понятно.

Галт улыбнулся и повернулся к Сандерсу:

– Приступай к ремонту. Рано или поздно мисс Таггарт за платит тебе.

Он включил стартер, и они поехали дальше. Дэгни сидела прямо и неподвижно, ни о чем не спрашивая.

В разрыве скал блеснула яркой синевой волнистая гладь. Дорога кончилась. Еще мгновение, и Дэгни поняла: они выехали к озеру. Его воды, казалось, вобрали в себя и сгустили голубизну небес и зелень покрытых соснами горных склонов и смешали их в раствор такой яркости и чистоты, что небо словно потускнело и посерело по сравнению с ним. По склону, среди сосен, к озеру стремительно катился пенистый поток; он разбивался на бегу о выступы скал и затихал в мирной глади озера. У ручья стояло небольшое строение из гранитных валунов.

Галт остановил машину как раз в тот момент, когда из открытой двери вышел крепкий мужчина в комбинезоне. Дэгни узнала Дика Макнамару, бывшего когда-то ее лучшим подрядчиком.

– Добрый день, мисс Таггарт! – радостно приветствовал он ее. – Очень рад, что вы не сильно пострадали.

Она молча наклонила голову в знак приветствия. Этим жестом Дэгни как бы приветствовала былую утрату и боль того одинокого вечера, когда Эдди Виллерс с отчаянием на лице сообщил ей об исчезновении этого человека. Не сильно пострадала? – мысленно спросила она себя. Нет, очень сильно, но не в аварии, а в тот вечер, в пустом кабинете... Вслух же она сказала:

– Что вы здесь делаете? Ради чего вы бросили меня в самый трудный час?

Он улыбнулся в ответ, показав на каменное строение и вниз, туда, где, прикрытый кустарником, виднелся рукав водозаборника:

Моя задача обеспечивать работу водопровода, подачу электроэнергии и телефонную связь.

Все делаете один?

Раньше один. Но за прошлый год мы так разрослись, что пришлось взять в помощь троих человек.

Откуда вы берете людей?

Ну, один – профессор экономики, оказавшийся не у Дел, потому что пытался доказывать, что нельзя потреблять больше, чем производишь, другой – профессор истории, оставшийся без работы из-за того, что утверждал, что эту страну создали отнюдь не приверженцы трущоб, а третий – профессор психологии, которому там не нашлось места, так как он убеждал, что люди способны мыслить.

И они работают водопроводчиками и телефонистами?

И вы не поверите, насколько хорошо.

А кто занял их места в колледжах?

Те, кого хотят там. – Он довольно рассмеялся. – Как давно я бросил вас, мисс Таггарт? Меньше трех лет назад? Я отказался построить для вас линию Джона Галта. И где ваша линия теперь? А вот мои линии появились и выросли: когда я взялся за дело, здесь была всего пара миль построенных Маллиганом линий, а теперь их сотни миль – водопровод, связь, и все в пределах этой долины.

Макнамара видел, как на лице Дэгни невольно вспыхнули интерес и удивление понимающего толк в таких вещах человека. Он расплылся в улыбке и, глядя на ее спутника, мягко сказал:

– Мисс Таггарт, что касается линии Джона Галта, то, если подумать, не я, а вы ее бросили. Я же следовал ей.

Она тоже взглянула на Галта. Галт следил за ее лицом, но на его лице она ничего не смогла прочесть.

Когда они отправились дальше вдоль берега озера, она спросила:

Вы намеренно выбрали этот маршрут? Вы показываете мне людей, которых... – Она запнулась, испытывая необъяснимое нежелание договаривать, потом сказала: – Которых я потеряла?

Я показываю вам людей, которых увел у вас, – твердо ответил он.

Вот почему, подумала она, он не чувствует себя ни чем виноватым; он угадал и высказал слова, которых она не произнесла, щадя его; он отверг добрые побуждения, которые расходились с его убеждениями, и, будучи твердо уверен в своей правоте, гордо высказал то, что она собиралась выдвинуть обвинением против него.

Вскоре они увидели впереди выдвинутый в озеро деревянный пирс. На залитых солнцем досках лежала, вытянувшись во весь рост и следя за целой батареей удочек, молодая женщина. Она обернулась на шум мотора, быстрым, быть может, даже слишком стремительным рывком поднялась с деревянного настила и помчалась им навстречу. На ней были брюки, закатанные выше колен на голых ногах. У нее были темные растрепанные волосы и большие глаза. Галт помахал ей рукой.

Привет, Джон! Когда ты вернулся?

Сегодня утром, – улыбаясь, ответил он и проехал мимо.

Дэгни обернулась и заметила взгляд, которым молодая женщина смотрела вслед Галту. И хотя в этом обожающем взгляде был спокойный отказ от надежды, Дэгни испытала неведомое ей доселе чувство – укол ревности.

Это кто? – спросила она.

Наш лучший рыбак. Она обеспечивает рыбой продовольственный рынок Хэммонда.

А чем еще она занимается?

Так вы заметили, что все мы здесь что-то совмещаем? Она писательница. Из тех, кого там не печатают. Она убеждена, что слова – порождение мысли.

Машина свернула на узкую дорогу, круто поднимавшуюся вверх, в заросли кустарника и молодых сосен. Дэгни поняла, что ее ожидает, когда увидела прибитую к дереву табличку со стрелкой, указывающую путь к перевалу Буэна-Эсперанца.

На скалистом ложе перевала лежали трубопроводы, стояли насосы, все было, как лозой, оплетено металлическими конструкциями и уверенно карабкалось вверх или спускалось вниз, а на самой вершине перевала гордо красовался щит, громадными буквами оповещающий окрестные папоротники и сосновые заросли: «Вайет ойл».

Из отверстия трубы в огромный резервуар под горой сверкающей маслянистой струей стекала нефть – единственное свидетельство тайного напряжения внутри каменных недр, конечная цель всего этого сложного оборудования. Все это, однако, мало походило на привычную картину нефтяных разработок, и Дэгни поняла, что перед ней – явленная миру – тайна перевала Буэна-Эсперанца, поняла, что нефть здесь добывалась способом, который считался невозможным.

На гребне горы стоял Эллис Вайет и следил за циферблатом вмонтированного в скалу манометра. Заметив, что внизу остановилась машина, он крикнул:

– Привет, Дэгни! Спустишь к вам через минуту! Вместе с ним трудились еще двое: у насоса на полпути вверх работал плотный, грубоватый на вид мужчина, а у емкости внизу дежурил юноша. У юноши были светлые волосы и лицо, отличающееся необычайной чистотой линий. Дэгни не сомневалась, что уже видела это лицо, но никак не могла припомнить где. Юноша заметил, что она озадачена, улыбнулся и, видимо желая ей помочь, начал тихонько, почти неразличимо насвистывать первые такты Пятого концерта Хэйли. Это был молодой кондуктор с «Кометы».

Она рассмеялась:

– И все же это Пятый концерт Ричарда Хэйли, да?

Точно, – ответил он. – Но вы ведь не думаете, что я мог сказать это штрейкбрехеру?

Кому?

Я тебе за что плачу? – сказал, приблизившись, Эллис Вайет.

Юноша цокнул языком и бросился назад к рычагу, который на минуту оставил.

Я не мисс Таггарт, которая не могла бы тебя вышвырнуть за безделье.

Я ушел с железной дороги и поэтому тоже, мисс Таггарт, – сказал юноша.

Ты знала, что я увел его у тебя? – спросил Вайет. – Он был твоим лучшим кондуктором, а теперь он мой лучший вахтенный, но ни тебе, ни мне не удержать его у себя навсегда. Он первый ученик Хэйли.

Она улыбнулась:

Знаю, у вас здесь принято использовать на самой никчемной работе только аристократов.

Верно, все они аристократы, – сказал Вайет, – по тому что знают: нет никчемной работы, а есть никчемные люди, которых не устроит никакая работа.

Сверху на них, прислушиваясь к разговору, с любопытством смотрел крепыш – напарник юноши. Она всмотрелась в него, он выглядел как водитель грузовика, поэтому она спросила:

А вы кем были там? Наверно, профессором сравнительной филологии?

Куда мне! – ответил он. – Я был водителем. – И добавил: – Но это было мне не по душе.

Эллис Вайет поглядывал вокруг с видом горделивого юнца, ожидающего похвалы, важностью хозяина, дающего официальный прием, и напряженным ожиданием художника на открытии своей выставки. Дэгни улыбнулась и спросила, указывая на оборудование:

Собственный метод?

М-да.

Тот, над которым ты работал там, на земле? – Последнее слово слетело у нее с языка произвольно, и она поперхнулась.

Он рассмеялся:

Да, там, в аду. На земле я здесь.

Сколько добываете?

Двести баррелей в день.

В ее голос вкралась нотка сожаления:

Это тот метод, с помощью которого ты когда-то рас считывал загружать пять нефтяных составов в сутки.

Дэгни, – с жаром произнес он, указывая на цистерну, – один галлон здесь мне дороже целого состава там, в аду, потому что здесь он мой весь, до последней капли, он целиком принадлежит мне. – Вайет поднял перепачканную руку, горделиво продемонстрировав жирные нефтяные пят на. Черная капля на кончике его пальца сверкала на солнце, как жемчужина. – Все мое, – сказал он. – Неужели они выколотили из тебя смысл этого слова, его ощущение? Тебе надо заново выучить это слово.

Ты зарылся в глуши, – слабо возразила она, – и выдаешь всего две сотни баррелей в день, а

ведь мог бы зато пить нефтью весь мир.

Зачем? Чтобы кормить паразитов?

Нет! Чтобы заработать состояние, которого ты заслуживаешь.

Здесь я богаче, чем был в аду. Богатство нужно лишь для того, чтобы прирастала жизнь. А этого можно добиться двумя путями: производя либо больше, либо быстрее. Это – то я и делаю: я произвожу время.

То есть?

Я произвожу все, в чем нуждаюсь, работаю над совершенствованием своих технологий, и каждый сэкономленный час продлевает мою жизнь. Раньше, чтобы заполнить эту емкость, требовалось пять часов. Теперь – три. Я сберег для себя два часа, и мне нет цены, я словно отодвинул свой смертный час на два из каждых пяти отведенных мне часов. Два часа, свободные от одного дела, можно посвятить другому – два часа для работы, роста, движения вперед. Так я увеличиваю свои сбережения. Есть ли там, вовне, сейф, способный уберечь эти сбережения?

Но где здесь пространство для продвижения вперед? Где твой рынок?

Он усмехнулся:

– Рынок? Здесь я работаю для потребления, не для при были. Для моего потребления, не для прибыли бандитов. Мой рынок – только то, что сберегает мое время и удлиняет жизнь, а не то, что их пожирает. Рынок образуют те, кто производит, а не те, кто потребляет. Я работаю с носителями жизни, а не с людоедами. Если я добываю нефть с меньшими затратами, я меньше требую за нее с людей, которым ее продаю, чтобы получить от них то, в чем нуждаюсь. Я увеличиваю время их жизни с каждым галлоном нефти, который они сжигают. А поскольку они подобны мне, они ускоряют свое производство, таким образом каждый из них вместе с хлебом, одеждой, металлом, древесиной, которые я у них покупаю, дарит минуту, час, день жизни... – Тут он взглянул на Галта. – Лишний год прибавляется с каждым месяцем покупаемой мною электроэнергии. Вот каков наш рынок, вот как он работает на нас, но вовне дело обстоит иначе. В какую канализацию там спускали наши дни, жизни, энергию? В какую бездонную выгребную яму – и без всякой компенсации?! Здесь мы торгуем достижениями, а не неудачами, ценностями, а не потребностями. Мы свободны друг от друга, но растем вместе друг с другом. Что такое богатство, Дэгни? Что может быть дороже возможности распоряжаться собственной жизнью и тратить ее на развитие? Все живое должно расти и развиваться. Жизнь не может остановиться. Живое должно расти, иначе оно погибнет. Смотри! – Он указал на росток, с трудом выбирающийся из-под тяжелой каменной глыбы, длинный истерзанный стебелек, весь перекрученный от непосильной борьбы, с повисшими лохмотьями несформировавшихся листьев, всего лишь зеленоватый побег, рвущийся к солнцу в последнем, отчаянном, слабеющем усилии. – Вот что делают с нами там, в аду. По-твоему, я могу с этим смириться?

Нет, – прошептала она.

А он может? – Вайет указал на Галта.

Упаси Бог!

Тогда не удивляйся ничему, что увидишь в этой до лине.

Она молчала, когда они тронулись в путь. Галт тоже ничего не сказал.

Она увидела, как на покрытом густым лесом склоне отдаленной горы покачнулась сосна и, описав дугу, подобно часовой стрелке, рухнула наземь, пропав из виду. Было ясно, что это дело рук человека.

Кто этот лесоруб?

Тед Нильсен.

Дорога ширилась, мягко закругляясь на поворотах, подъемы становились более пологими. Машина оказалась среди низких холмов. Дэгни увидела на одном из мягких бурых склонов два

участка, оба зеленые, но разного оттенка – темно-зеленое запыленное картофельное поле и бледно-серебристо-зеленое капустное. По полям разъезжал на маленьком тракторе с культиватором, уничтожая сорняки, человек в красной рубашке.

Кто этот капустный магнат? – спросила она.

Роджер Марш.

Дэгни закрыла глаза. Она думала о траве, пробивавшейся сквозь камни дорожек, ведущих к закрытой фабрике. Сорняки забивали все подступы к зданию, карабкались вверх по ступенькам, взбирались по внуши- тельному фасаду – там, далеко, в сотнях миль отсюда, за горами.

Дорога спускалась вниз. Прямо перед ними виднелись городские крыши, на другом конце города небольшим пятачком блестел в солнечных лучах знак доллара. Галт остановил машину перед первым строением, стоявшим высоко над крышами города на скальном уступе, – кирпичным зданием, из высокой трубы которого поднималось к небу едва заметное красноватое марево. Вывеска у входа, хотя она напрашивалась сама собой, все же сразила Дэгни – «Литейный цех Стоктона».

Пока, прихрамывая и опираясь на трость, она шла из яркого дневного света в полумрак литейки, ее охватило смешанное чувство потрясения, тоски по дому и возврата прошлого. Это был промышленный Восток, который за последние несколько часов, казалось, отступил в далекое прошлое. Здесь она увидела старые, знакомые, такие милые ее взору картины: волны красноватого света взмывали вверх, к стальным балкам перекрытий, откуда рассыпались снопы искр, сквозь черный туман прорывались языки пламени, сверкали белым металлом песчаные изложницы. Туман окутывал стены здания, растворял его в пространстве, и на миг перед Дэгни предстал огромный мертвый литейный цех в Стоктоне, штат Колорадо... «Нильсен моторе»... «Реардэн стил».

– Привет, Дэгни! – Из тумана выплыло улыбающееся лицо Эндрю Стоктона; он с гордым, уверенным видом про тянул ей перепачканную руку.

Она крепко пожала ее.

– Здравствуй, – тихо сказала она, не зная, что приветствует: то ли прошлое, то ли будущее. Потом недоуменно покачала головой и добавила: – А почему ты не сажаешь картошку или не тачаешь сапоги, как все тут? Как тебе уда лось остаться при своем деле?

Верно, здесь производит обувь Кальвин Этвуд из Энергосетей города Нью-Йорка. Но моя профессия – одна из старейших, на нее повсюду спрос. И все же пришлось побороться. Сначала пришлось разорить конкурента.

Что?

Он ухмыльнулся и указал на застекленную дверь, ведущую в залитую солнцем комнату.

– Там сидит разорившийся конкурент, – сказал он. Она увидела молодого мужчину, склонившегося над длинным столом. Он работал над сложной моделью для отливки наконечника дрели. У него были красивые, крепкие, как у концертирующего пианиста, кисти рук и суровое лицо сосредоточившегося на операции хирурга.

Он скульптор, – сказал Стоктон. – Когда я здесь по явился, у него с партнером было что-то вроде простейшей литейки в сочетании с ремонтной мастерской. Я открыл настоящий литейный цех и перебил у него всех заказчиков. Парню были не по зубам заказы, которые выполнял я, да и вообще, литьем он занимался постольку поскольку, главным для него все равно оставалась скульптура, вот он и перешел работать ко мне. Теперь за более короткий рабочий день он получает больше, чем зарабатывал в своей литейке. Его партнером был химик, он занялся сельским хозяйством, получил химическое удобрение, которое удвоило урожайи... Ты, кажется, упоминала о картофеле?.. Так урожайи картофеля выросли даже больше чем в два раза.

Тогда и тебя могут вытеснить из бизнеса?

Конечно. В любой момент. Я знаю одного, который, когда сюда попадет, и сможет, и захочет это сделать. Ну и что? Да я пойду к нему подсобником. Он по этой долине метеором промчится. С ним все утратят производительность.

Кто же это?

Хэнк Реардэн.

Да, конечно... – прошептала она.

И удивилась, откуда у нее такая уверенность. Она в один и тот же миг почувствовала, что присутствие Хэнка Реардэна в этой долине невозможно и что это его долина, именно его, здесь он провел юность, здесь начинал, и вообще он искал это место всю жизнь, это была земля обетованная, к которой он стремился, цель его мучительной борьбы... Ей показалось вдруг, что завихрения вспыхивающего пламенем тумана сковали время в странный круг, и в ту минуту, когда в ее сознании, как обрывок незаконченного рассуждения, промелькнула смутная мысль: «Удержать вечную молодость значит достигнуть в конце пути того видения, с которым отправляешься в путь», – она услышала голос бродяги в кафе, сказавший: «Джон Галт нашел источник вечной молодости, который хотел подарить людям. Но он так и не вернулся к ним, потому что обнаружил, что этот источник нельзя перенести к людям».

В гуще тумана рассыпался сноп искр, и Дэгни увидела широкую спину горнового, который плавным движением руки подавал сигнал кому-то невидимому. Он энергично мотнул головой, чтобы подчеркнуть свое распоряжение, ей открылся его профиль, и у нее перехватило дух. Стоктон заметил это, усмехнулся и крикнул в полумрак:

– Эй, Кен! Иди сюда! Здесь твои старые друзья!

Она увидела, как к ним подходит Кен Денеггер. Знаменитый промышленник, которого она так отчаянно пыталась удержать в его кабинете, стоял перед ней в измазанном комбинезоне.

– Здравствуйте, мисс Таггарт. Говорил я вам, что мы скоро встретимся.

Она кивнула, будто в знак согласия и приветствия, и крепче оперлась на трость, на миг погрузившись в нахлынувшие воспоминания: час мучительного ожидания, приветливо-отрешенный взгляд человека за столом и легкий перезвон стекла в створках захлопнувшейся за незнакомцем двери.

Этот миг был так краток, что двое мужчин, стоявших рядом с ней, конечно, приняли его за приветствие, но она, подняв голову, взглянула на Галта и увидела, что он тоже смотрит на нее, понимая ее переживания. Дэгни видела, что по выражению ее лица он понял: она догадалась – незнакомцем, который вышел в тот день из кабины та Денеггера, был он, Джон Галт. Но его лицо никак не откликнулось: он смотрел с выражением уважительной строгости, которое появляется у человека, стоящего перед неопровержимой истиной.

– Вот уж никак не ожидала, – тихо произнесла она, – снова увидеть вас.

Денеггер смотрел на нее как на многообещающего ребенка, которого когда-то открыл и которым теперь снисходительно любовался.

Я знаю, – сказал он. – Но что вас так удивляет?

Меня удивляет... Ваша одежда, она просто ужасна.

Что же в ней ужасного?

Это что же, конец вашей карьеры?

Да нет же, наоборот – начало!

К чему же вы стремитесь?

Хочу заняться горным делом, добычей – но не угля, а железной руды.

Где?

Он показал на горы:

– Тут поблизости. Вы же знаете, что Мидас Маллиган не делает неудачных

капиталовложений. Просто диво, что можно найти среди этих скал. Надо только уметь искать. Этим я сейчас и занят – ищу.

– А если не найдете никакой железной руды? Он пожал плечами:

– Есть и другие занятия. Мне всегда не хватало времени, вернее, не было того, на что стоило потратить время.

Она с любопытством взглянула на Стоктона:

Не готовишь ли ты себе очень опасного конкурента?

Именно таких людей и предпочитаю нанимать на работу. Дэгни, не слишком ли долго ты жила среди паразитов? Неужели ты пришла к убеждению, что способности одного человека – угроза другому?

Вовсе нет! Но я уже начала думать, что расхожусь во мнениях со всем миром.

– Всякий, кто боится нанять на работу лучшего специалиста, ничего не стоит в деле, которым занимается, и дол–жен бросить его. По-моему, предприниматель, отвергающий специалистов за то, что они слишком хороши, омерзительнее всех на свете. Я всегда держался этого мнения,. Эй, что тут смешного?

Дэгни внимательно слушала, недоверчиво улыбаясь.

– Странно это слышать, – сказала она, – потому что так оно и есть.

– А как можно думать иначе? Она усмехнулась:

Знаешь, я еще ребенком считала, что бизнесмены не могут думать иначе.

А потом?

А потом обнаружила, что заблуждаюсь.

И все же надо относиться к делу именно так.

Опыт научил меня, что так не бывает.

Но ведь это очевидно.

Я перестала руководствоваться очевидным.

Вот уж от этого никак нельзя отказываться, – вставил Кен Денеггер.

Они вернулись к машине и поехали дальше вниз по последним виткам дороги. Дэгни обернулась к Галту, а он к ней, будто уже ждал ее вопроса.

– Так это вы были в тот день в кабинете Денеггера? – спросила она.

– Да.

– И вы знали, что я дожидаюсь в приемной? – Да.

– Вы понимали, что значило для меня ожидание перед закрытой дверью?

Она не могла определить, каким взглядом он посмотрел на нее. Что было в нем? Не жалость, вряд ли она была объектом жалости. Так смотрят на страдания, но видел он, казалось, совсем не ее страдание.

– О да, – спокойно, даже легко ответил он.

Первый магазин, который попался им на единственной улице долины, напоминал театральную сцену, обращенную к зрителю. Казалось, все готово к постановке музыкальной комедии с броскими декорациями – красными кубами, зелеными шарами, золотистыми конусами. На самом деле это были коробки с помидорами, бочки с зеленью, пирамиды из апельсинов и полки с блестящими на солнце металлическими банками. Надпись на полотняном козырьке у входа гласила: «Продовольственный рынок Хэммонда». Внушительного вида джентльмен в рубашке с короткими рукавами, с седыми висками и строгим профилем взвешивал сливочное масло для миловидной молодой женщины, стоявшей у прилавка в легкой, воздушной позе танцовщицы. Подол ее простого платья слегка раздувал ветер, отчего оно походило на бальный наряд. Дэгни невольно улыбнулась, хотя джентльменом был сам Лоуренс Хэммонд.

Магазины помещались в небольших одноэтажных домах. Проезжая мимо, Дэгни читала на

вывесках знакомые имена, словно заголовки на страницах книги, которую машина перелистывала на ходу: «Универмаг Маллигана», «Кожаные изделия Этвуда», «Строительные материалы Нильсена», а за ними – знак доллара над входом в небольшой кирпичный заводик с вывеской «Табачная компания Маллигана».

И кто же еще в компании кроме Мидаса Маллигана? – поинтересовалась она.

Доктор Экстон, – ответил Галт.

Прохожих было немного, в основном мужчины, все шли быстро и целеустремленно, по-видимому, по делу. Один за другим они останавливались, завидя машину, махали Галту и, узнав Дэгни, смотрели на нее с интересом, но без удивления.

Меня тоже здесь давно ждали? – спросила она.

И сейчас ждут, – ответил он.

На обочине дороги она увидела сооружение из стеклянных панелей, соединенных деревянной рамой, на миг ей показалось, что это лишь рама для портрета женщины – высокой, хрупкой женщины со светло-русыми волосами и лицом такой красоты, что расстояние, казалось, скрадывало ее, словно художник смог лишь намекнуть на эту дивную красоту, но не сумел зримо воплотить ее. Через минуту женщина повела головой, и Дэгни поняла, что внутри сооружения сидят за столиками люди, что это кафетерий, а женщина стоит за стойкой, – и это Кей Ладлоу, кинозвезда, которую, раз увидев, невозможно было забыть, звезда, которая покинула экран и исчезла пять лет назад, а на смену ей пришли девицы с неразличимыми именами и взаимозаменяемыми лицами. Узнав актрису и поразившись, Дэгни подумала о нынешней кинопродукции и решила, что этот кафетерий значительно более достойное место для красоты Кей Ладлоу, чем роль в фильме, восхваляющем посредственность за отсутствие блеска.

Следующим показалось небольшое приземистое здание из неотесанного гранита, крепкого, солидного, плотно пригнанного, – очертания прямоугольного корпуса были суровы и четки, как складки вицмундира. Однако перед Дэгни сразу возник, как выплывающее из волн чикагского тумана видение, образ взметнувшегося вверх небоскреба, на фронтоне которого она видела те же, что и здесь, золотые буквы – «Банк Маллигана».

Проезжая мимо банка, Галт сбросил скорость, словно выделив курсивом этот отрезок пути.

Далее следовало небольшое кирпичное строение с вывеской «Монетный двор Маллигана».

– Монетный двор? – удивилась она. – Зачем он Маллигану?

Галт вытащил из кармана и положил ей на ладонь две маленькие монетки. Это были миниатюрные блестящие кружки золота размером меньше цента, вроде тех, что были в обращении во времена Нэта Таггарта. На одной стороне было изображение головы Статуи Свободы и слова «Соединенные Штаты Америки – один доллар», на другой – цифры, обозначающие два последних года.

Это наши деньги, – сказал он. – Их чеканит Мидас Маллиган.

Но с чьего разрешения?

Это указано на монете, на обеих сторонах.

А как с разменной монетой?

Маллиган чеканит и ее – серебром. Другая валюта в долине не в ходу. Мы признаем только объективные ценности.

Она рассматривала монеты:

Похоже, так было при моих предках. Он показал на долину:

А так и есть, верно?

Она все смотрела на два тоненьких, почти невесомых золотых кружочка, лежащих на ее ладони, и понимала, что от них зависит судьба трансконтинентальной дороги Таггарта, что это замковый камень, на котором держится вся система арок, вся структура Таггартовых путей,

мостов, сооружений... Она тряхнула головой и вернула Галту монетки.

Вы никак не облегчаете мою задачу, – глухо сказала она.

Я всячески осложняю ее.

Почему бы вам не выложить все? Почему не сказать мне, что я должна усвоить?

Он показал рукой на город, на дорогу позади.

– А что я делаю? – спросил он.

Дальше они ехали молча. Спустя некоторое время она сухим, ироничным тоном задала вопрос из области статистики:

И какое же состояние нашил у вас Мидас Маллиган? Он показал вперед:

Судите сами.

Дорога извивалась по всхолмленной долине, приближаясь к жилым строениям. Дома не выстраивались в линию, а рассыпались на неравном расстоянии друг от друга по возвышениям и впадинам, они были просты и невелики, возведены из местных материалов, в основном из гранита и сосны, но свидетельствовали о большой изобретательности и экономии сил. Казалось, каждый возводился трудом одного человека; ни один дом не походил на другой; единственным, что их сближало, было общее впечатление: их строили, уяснив замысел и затем реализовав его. Время от времени Галт показывал то на один дом, то на другой, выбирая известные ей имена. Это звучало как выдержки из перечня самой влиятельной биржи мира или как наградной список:

– Кен Денеггер... Тед Нильсен... Лоуренс Хэммонд... Роджер Марш... Эллис Вайет... Оуэн Келлог... доктор Экстон.

Последним показалось жилище доктора Экстона – небольшой коттедж с просторной террасой на гребне, за которым вздымались крутые склоны гор. Дорога миновала его и серпантинном устремила вверх. Проезжая часть сузилась до тропы, зажатой между древними соснами с высокими прямыми стволами, строгими колоннами устремившимися в небо; их ветви сходились в вышине, погружая тропу в сумеречную тишину. На этой узкой полоске земли не было следов колес, ее забыли, ею не пользовались; всего несколько минут, несколько поворотов дороги – и ты оказываешься далеко от обитаемых мест, где уже ничто не снимало гнета тишины, кроме редких прорывов потока солнечных лучей, находивших время от времени лазейку в высоком навесе ветвей.

Вид дома, внезапно возникшего в конце тропы, подействовал на Дэгни, как внезапный удар гонга; дом стоял в полном одиночестве, укрывшись от людей; он выглядел как тайное убежище, приют большой печали и вызов обществу. Это был самый скромный дом в долине, бревенчатая хижина, стены которой почернели от дождей, и лишь большие окна безмятежно пропускали через себя потоки света, выдерживая все бури.

– Чей это дом?.. Ох!.. – Она спохватилась и отвернулась от Галта. Над входом, высвеченный солнечным лучом, висел серебряный герб Себастьяна Д'Анкония – выцветший от времени, поблекший, потрепанный ветрами столетий.

Как бы идя навстречу ее невольному побуждению, которое обнаружило себя в восклицании, Галт остановил машину перед домом. На минуту их взгляды встретились и замерли, в ее глазах был вопрос, в его – требование, ее лицо было вызывающе искренним, его – замкнуто суровым; ей была понятна его цель, но не мотивы. Она подчинилась. Опираясь на трость, она вышла из машины и, выпрямившись, остановилась перед домом.

Она смотрела на серебряное перекрестие герба, который из мраморного дворца в Испании попал в Анды, а оттуда – в бревенчатую хижину в Колорадо, – герба непокоренных людей. Дверь хижины оказалась запертой; солнце не проникало в затененное пространство за стеклами окон; сосны простирали ветви над крышей, как руки, охраняющие, лелеющие и благословляющие

жилище. Не было ни звука, лишь редкий, с долгими промежутками стук капли где-то в лесу и шелест сорвавшейся ветки; тишина сковала всю укрывшуюся здесь боль, не давая ей голоса. Дэгни стояла и слушала, нежно, покорно, не жалуясь. «Посмотрим, кто окажет большую честь: ты – Нэту Таггарту или я – Себастьяну Д'Анкония...». «Дэгни! Помоги мне остаться. Отказаться. Даже если он и прав!..»

Она обернулась взглянуть на Галта, зная, что он – тот человек, в борьбе против которого она оказалась не способна прийти на помощь. Галт сидел за рулем, он не вышел вслед за ней, не вызвался помочь ей, как будто хотел, чтобы она смирилась с прошлым, признавая за ней право побыть одной, воздавая эту почесть. Она заметила, что он продолжает сидеть в той же скульптурной позе, опершись рукой на руль, свесив кисть руки под тем же углом. Он следил за ней взглядом, но она ничего не смогла прочесть в его глазах: он пристально, не двигаясь, смотрел на нее.

Когда она снова села рядом, он сказал:

Он первый человек, которого я увел у вас. Нахмурившись, она открыто и требовательно спросила:

Что вам об этом известно?

– С его слов ничего. Только судя по тону его голоса, когда он заговаривал о вас.

Она опустила голову, уловив в его ответе, в едва заметном усилии сохранить ровную интонацию намека на душевную боль.

Он включил стартер, шум мотора взорвал то, что они поведали друг другу, не сказав ни слова, и они двинулись Дальше.

Тропа расширилась, нацелясь на зону солнечного света впереди. Дэгни заметила среди ветвей сверканье проводов.

Машина въехала на расчищенную площадку. На скалистом подъеме у подножия холма стояло неприметное строение, простой каменный куб размером не больше кладовки; окон не было, не было вообще никаких отверстий, только дверь из полированной стали. На крыше гнездились сложное переплетение антенн. Галт собирался проехать мимо, не останавливаясь, но Дэгни, невольно вздрогнув, внезапно спросила:

– А это что?

Она заметила, что он улыбнулся:

Электростанция.

Пожалуйста, остановите!

Он повиновался и остановил машину у подножия холма. Сделав несколько шагов по скалистому грунту, Дэгни замерла, будто больше не было необходимости идти дальше, куда-то подниматься. У нее возникло такое же ощущение, как тогда, когда ее глазам открылась долина – в тот момент, который связывал начало с целью.

Она стояла и смотрела на это сооружение, ее сознание без остатка заполнилось этим видом и неким невыразимым чувством – но она давно поняла, что чувство всегда лишь подытоживает сумму, собранную сознанием; и то, что она сейчас чувствовала, было мгновенно подведенным итогом многих мыслей, которые даже не требовали словесного выражения, итогом длинной прогрессии; голосом, рупором которого было чувство, и этот голос говорил ей: если бы она держалась за Квентина Дэниэльса, не имея никакой надежды использовать двигатель, лишь ради того, чтобы знать, что это творение человеческого ума не исчезло бесследно... если бы она, как отягощенный грузом ныряльщик, тонула в океане посредственности под гнетом людей с желатиновыми глазами, ватными голосами, сомнительными убеждениями, необязательными душами и праздными руками, – тонула, отчаянно, из последних сил держась, словно за кислородный шланг, за мысль об этом выдающемся достижении человеческого гения... если бы

при виде останков двигателя, задыхаясь во внезапном приступе удушья – последнего протеста его изъеденных коррозией легких, доктор Стадлер стал умолять о чем-то, на что нужно смотреть не вниз, а вверх, и это было бы воплем, стремлением и движущим стимулом ее жизни... если бы она стала действовать, подталкиваемая мечтой своей юности о чистой, непреклонной, блестящей компетентности... И вот она стоит перед своей мечтой, ставшей явью, перед несравненной мощью выдающегося ума, воплотившейся в переплетении проводов, мирно искрящихся под летним небом, пьющих неисчерпаемую энергию космоса и насыщающих ею тайные хранилища невзрачной каменной постройки.

Она думала об этом сооружении величиной не больше фургона, заменяющем все теплоцентрали страны, громадные конгломераты стали, топлива и труда. Она думала об энергии, которая лилась из этого сооружения, поднимавшей килограммы и тонны груза, снимавшей этот груз с плеч тех, кто этот груз производил или использовал. И к жизни людей добавлялись часы, дни и годы свободного времени, будь то лишняя минута, чтобы распрямиться, поднять голову от работы и взглянуть на сияющий мир вокруг, лишняя пачка сигарет, купленная на деньги, сэкономленные на плате за электричество, или час, на который сократилось рабочее время на предприятиях, потребляющих электроэнергию, или месячное путешествие по широко открытому миру по билету, оплаченному за счет одного трудового дня, на поезде, который двигается силой двигателя Галта. И все эти затраты, расход энергии, времени, усилий покрыты и оплачены творчеством гения, который знает, как соединить провода в точном соответствии с задуманным. Но Дэгни хорошо знала, что в самих двигателях, фабриках, поездах нет смысла, что смысл заключается в том, чтобы человек наслаждался благами этой жизни; ее благоговейный восторг при виде этого невероятного достижения был адресован человеку, который его добился, мощи его гениального прозрения, видевшего мир как вместительницу радости, убежденного, что цель, предназначение и смысл жизни – в труде ради достижения собственного счастья.

Вход в строение закрывал прямой гладкий лист нержавеющей стали, отсвечивавший на солнце мягким голубоватым отблеском. Над дверью была выбита в камне надпись – единственное отступление от прямолинейной суровости сооружения. Она гласила:

«Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня».

Дэгни повернулась к Галту. Он стоял рядом, он подошел к ней, она знала, что клятва – это его приветствие. Она смотрела на создателя двигателя и видела человека труда – в привычном окружении, занятого привычным делом; поза его была легкой и непринужденной, более естественной, чем у других, не было ощущения веса, тяжести, он великолепно владел своим телом и был безупречно скоординирован – высокая фигура в простой одежде: тонкая рубашка, легкие брюки, пояс вокруг узкой талии... и разбросанные легким ветерком непокрытые пряди отливающих мягким металлом волос. Дэгни смотрела на него так же, как только что смотрела на его творение.

Внезапно она поняла, что первые слова, которые они сказали друг другу, все еще звучат, заполняя молчание, что все сказанное позже произносилось на фоне этих слов, что Галт все время помнил и не позволял ей забыть эти слова. Внезапно она осознала, что они одни, и это ощущение лишь подчеркнуло этот факт, не давая повода к намекам, но сохраняя всю значимость невысказанного, обостряя ее. Они были одни в умолкшем лесу, рядом с сооружением, напоминающим языческий храм, и Дэгни понимала, каким должен быть по канону ритуал поклонения и что следует возложить на подобный алтарь. Она ощутила, как ее горло сжалось, голова слегка откинулась назад, и почувствовала лишь легкое дуновение ветерка в волосах, но ей казалось, что она опрокинулась на спину, опираясь о воздух, не видя ничего, кроме его ног и рта. Он стоял, наблюдая за ней, его лицо было неподвижно, если не считать легкого движения век, –

он зажмурился, будто в глаза брызнул слишком сильный свет. Это как бы звучал ритм трех мгновений: первое прошло, а во второе (тут ее пронзило яростное ликование) она поняла, что его борьба, его усилия были еще более тяжки, чем ее собственные; и, наконец, последний такт – он поднял голову и обратил взгляд к надписи над входом в храм.

Дэгни позволила ему некоторое время смотреть на нее, словно даря милосердие противнику, которому надо собраться с силами, потом спросила повелительно-гордым тоном, указывая на надпись:

А это что?

Это клятва, которую дали все в этой долине, кроме вас.

Она сказала, не спуская глаз с надписи:

Я всегда придерживалась этой заповеди.

Я знаю.

Но я думаю, что вы сами неправильно трактуете ее.

В таком случае вам еще предстоит понять, кто из нас заблуждается.

Она подошла к стальной двери с мгновенной уверенностью в себе, угадываемой в походке, – всего лишь легкий намек, не более чем осознание своей власти, которая основывалась на его боли. Подошла и попыталась, не спрашивая разрешения, повернуть ручку. Но дверь была заперта, замок словно и не заметил давления ее руки, будто впаянный в гранитную раму вместе с толстой листовой сталью.

– Не пытайтесь открыть эту дверь, мисс Таггарт.

Он приблизился к ней, чуть замедленно, будто отпечатывая в ее сознании каждый шаг.

– Никакая физическая сила, даже самая чудовищная, не откроет ее, – произнес он. – Только мысль откроет эту дверь. Если кто-то попытается взорвать ее мощнейшей взрывчаткой, оборудование превратится в груды лома на много раньше, чем поддастся дверь. Но когда вам будет Доступна нужная мысль, тайна двигателя станет вашей, а с ней... – его голос впервые дрогнул, – и все остальные тайны, которые вы захотите узнать.

С минуту он стоял перед ней, будто открываясь ее пониманию, потом улыбнулся странной, тихой улыбкой, подумав о чем-то своем, и добавил:

– Я покажу вам, как это делается.

Он отступил назад. Потом, не двигаясь, глядя на слова, вырезанные в камне, медленно и размеренно произнес их, будто вновь принося клятву. В его голосе не было эмоций, не было ничего, кроме неторопливой чистоты произносимых звуков и полного осознания их смысла, но Дэгни понимала, что присутствует при самом торжественном моменте своей жизни: она лицезрела обнаженную душу человека, осознавала цену, которую эта душа платила, чтобы изречь эту клятву; она слышала эхо того дня, когда он произнес ее впервые, полностью осознавая, что это значило для его будущей жизни; она ясно представляла себе, каков этот человек, поднявшийся в тот темный весенний вечер, когда шесть тысяч других остались сидеть, понимала, почему они испугались его. Она осознавала, что в этом заключены начало и сущность всего случившегося в мире за последние двенадцать лет, понимала, что значение этого выше, чем скрытый в строении двигатель; чувствовала и понимала все это, вслушиваясь в голос человека, который вновь давал клятву, вновь посвящал себя делу своей жизни:

– Клянусь своей жизнью... и любовью к ней... что ни когда не буду жить ради другого человека... и никогда не попрошу и не заставлю другого человека... жить... ради меня.

Дэгни совсем не удивилась, – казалось, не было ничего не то что удивительного, просто значительного в том, что с последним звуком голоса Галта дверь медленно растворилась, отступив в темноту помещения. В тот же момент, когда внутри зажегся свет, Галт взялся за дверную ручку и снова плотно затворил дверь со щелчком мощного замка.

– Звуковой замок, – безмятежно пояснил он. – Это предложение содержит комбинацию звуков, необходимых для того, чтобы отпереть дверь. Не имею ничего против того, чтобы открыть вам этот секрет, потому что знаю, что вам не произнести эти слова, пока вы не вложите в них то значение, которое в них вложил я.

Дэгни наклонила голову:

– Не буду и пытаться.

Она медленно пошла за ним к машине, чувствуя, что силы ее на исходе. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза, едва расслышав звук стартера. Накопившееся напряжение, потрясение бессонных часов вновь разом обрушилось на нее, пробив барьер натянутых, как струны, нервов. Она безмолвно застыла, не в силах ни думать, ни реагировать, ни бороться, утратив все ощущения, кроме одного.

Она не заговорила и не открыла глаза, пока машина не остановилась у его дома.

– Вам надо бы отдохнуть, – сказал он, – поспите, если хотите пойти сегодня на ужин к Маллигану.

Дэгни послушно кивнула. Пошатываясь, добрела до дома, отклонив его помощь. Она едва смогла вымолвить:

– Со мной все будет хорошо, – и укрылась у себя в комнате, потратив остаток сил на то, чтобы захлопнуть дверь.

Она рухнула вниз лицом на кровать. Дело было не только в истощении физических сил. Все случившееся за один этот день слилось в одно-единственное чувство, настолько сильное и полное, что его трудно было перенести. Силы оставили ее, сознание оставило ее, осталось лишь одно ощущение, и оно поглощало остатки сил, разума, способности думать, оценивать, контролировать себя; она была уже не способна желать, могла только чувствовать, все ее существо свелось к одному ощущению – инертному чувству без желаний и цели. Перед глазами стоял его образ, она видела, как он стоял перед входом в строение, но ничего не испытывала: ни стремления, ни надежды; не осознавала своего состояния, не могла бы определить его и оценить его последствия для себя. Она растворилась как личность, исчезла как человек, от нее осталась только функция – способность видеть его, и в этом только и было единственное значение, единственная цель без всякого дальнейшего развития.

Уткнувшись лицом в подушку, она смутно, как в тумане, вспомнила залитый светом аэродром в Канзасе. Ей припомнились рев набирающего обороты мотора, стремительно набегающая взлетная полоса, рывок ввысь, и в тот миг, когда колеса оторвались от земли, она заснула.

Долина все еще походила на поверхность озера, отражавшую сияние небес, но свет становился гуще, переходя от золота к меди, берега терялись в дымке, а горные пики отступали в темную голубизну. Они ехали на ужин к Маллигану.

В поведении Дэгни не осталось и следа усталости и гнева. Проснувшись она, когда солнце уже садилось. Выйдя из комнаты, она увидела ожидавшего ее Галта, он сидел неподвижно, без дела, в свете лампы. Он поднял голову, она стояла в дверях – лицо спокойно, волосы гладко причесаны, поза уверенная и свободная, она выглядела так, будто стояла на пороге своего кабинета в здании Таггарта, если не считать легкого наклона тела, опиравшегося на трость. Минуту он сидел и смотрел на нее, и она, удивляясь, спросила себя: почему она уверена, что он видит ее именно такой – в дверях кабинета, словно он представлял ее такой уже давно и запретил себе видеть.

Она села рядом с ним в машину, не испытывая желания говорить, зная, что ни один из них не может скрыть смысл этого молчания. В дальних домах в долине зажигались огни, потом впереди засветились окна дома Маллигана. Она спросила:

Кто там будет?

Кое-кто из ваших последних друзей, – ответил он, – и из первых моих.

Мидас Маллиган встретил их у двери. Она заметила, что его мрачно-квадратное лицо не столь уж бесстрастно, как ей казалось; сейчас оно выражало удовлетворение, но и это выражение не смогло смягчить его черт, оно просто столкнуло их, как кремни, отчего по лицу рассыпались искорки веселья и в уголках глаз появился новый блеск, и это веселье было пронизательней и настойчивей, но и теплее, чем его улыбка.

Он распахнул дверь в дом, поведя рукой чуть медленнее, чем обычно, и этим еле заметно подчеркнул торжественность своего жеста. Войдя в гостиную, Дэгни увидела семерых мужчин, поднявшихся с мест при ее появлении.

– Господа, «Таггарт трансконтинентал», – объявил Мидас Маллиган.

Он сказал это улыбаясь, но серьезно, в его голосе было что-то, отчего название компании прозвучало так же, как во времена Нэта Таггарта, – звучным и почетным титулом.

Она медленно склонила голову, приветствуя собравшихся, зная, что перед ней люди, чьи понятия о чести и достоинстве подобны ее понятиям, что они так же чтят славное имя дороги, как она сама. Внезапно Дэгни остро, с тайной давней грустью осознала, как все эти годы мечтала добиться такого почтения.

Ее взгляд неторопливо обошел всех, от лица к лицу, приветствуя каждого в отдельности – Эллиса Вайета, Кена Денеггера, Хью Экстона, доктора Хендрикса, Квентина Дэниэльса. Маллиган назвал имена еще двоих – Ричарда Хэйли и судьи Наррагансетта.

Ричард Хэйли легкой улыбкой, казалось, давал ей знать, что они давно знакомы, так оно и было – в те ее одинокие вечера рядом с проигрывателем. Суровое лицо седовласого судьи Наррагансетта напомнило ей, что его называли мраморной статуей, мраморной статуей с повязкой на глазах; такие статуи исчезли из залов суда тогда же, когда из рук граждан страны исчезли золотые монеты.

– Вас давно ждут здесь, мисс Таггарт, – сказал Мидас Маллиган. – Мы не думали, что это произойдет таким образом, но в любом случае – добро пожаловать домой.

Нет! – хотела ответить она, но услышала свой тихий голос:

Благодарю вас.

Дэгни, сколько тебе нужно лет, чтобы научиться быть самой собой? – Это говорил, схватив ее за локоть, Эллис Вайет; он подвел Дэгни к стулу, посмеиваясь над ее беспомощным видом, над душевной борьбой, отразившейся на ее лице, которое улыбалось скованной улыбкой и сопротивлялось ей. – Не притворяйся, что ты нас не понимаешь. Прекрасно понимаешь.

Мы никогда не делаем заявлений, мисс Таггарт, – сказал Хью Экстон. – Это преступление против нравственности свойственно нашим врагам. Мы не декларируем, мы демонстрируем. Мы не утверждаем, мы доказываем. Нам нужна не покорность, а разумная убежденность. Вы видели все составляющие нашей тайны. Вывод за вами, мы можем помочь вам его сформулировать, но сделаете его вы сами – вы видели, вы знаете, вы решаете.

Кажется, вывод мне известен, – просто ответила она, – более того, мне кажется, я всегда его знала, но не могла сформулировать, а сейчас я боюсь – не услышать его боюсь, а боюсь того, что его время настало.

Экстон улыбнулся:

На что это все похоже, по вашему мнению, мисс Таггарт? – Он обвел рукой комнату.

Это? – Она рассмеялась, глядя на лица мужчин в лучах заходящего солнца, вливавшегося в комнату через большие окна. – Это похоже... Знаете, я уже не надеялась увидеть вас, иногда я спрашивала себя, что бы я отдала за возможность хоть раз взглянуть, обмолвиться словом... А сейчас... сейчас это похоже на детскую мечту, когда думаешь, что когда-нибудь на небесах

увидишь великих людей прошлого, которых не довелось видеть на этом свете, и из минувших веков выбираешь тех, кого хотелось бы увидеть.

Вот один из ключей к природе нашей тайны, – сказал Экстон. – Спросите себя, надо ли, чтобы мечта о небесах и величии, применительно к нам, ждала своего осуществления после нашей кончины, – или же она может стать реальностью здесь, сейчас, на этом свете.

Я знаю ответ, – прошептала она.

А если бы вы встретили тех великих людей на том свете, что бы вы им сказали?

Просто... просто... «привет», наверное.

– Нет, это не все, – сказал Денеггер. – Вам захотелось бы кое-что услышать от них. Я тоже не знал этого, пока не увидел его, – он показал на Галта, – и он не сказал мне об этом. Тогда я понял, мисс Таггарт, чего мне всегда не хватало: вам хотелось бы, чтобы они посмотрели на вас и сказали: «Молодчина!»

Она опустила голову и молча кивнула, так, чтобы никто не заметил, что у нее на глазах вдруг выступили слезы.

Что ж, пусть будет так, – не унимался Денеггер. – Молодчина, Дэгни! Просто молодчина, даже слишком... Ну а теперь настало время отдохнуть от той ноши, которую никому из нас не следовало бы взваливать себе на плечи.

Замолчи, – вмешался Мидас Маллиган, тревожно и заботливо поглядывая на ее лицо.

Но она, улыбаясь, подняла голову.

Спасибо, – сказала она Денеггеру.

Раз уж вы заговорили об отдыхе, дайте же ей отдохнуть, – продолжал Маллиган. – У нее был слишком тяжелый день.

Ничего. – Она улыбалась. – Продолжайте, говори те, о чем вы подумали.

Позже, – настоял на своем Маллиган.

На стол подавали Маллиган и Экстон, которым помогал Квентин Дэниэльс. Еду разносили на небольших серебряных подносах, ставя их на подлокотники кресел. Все заняли места, в окнах догорали небеса, в бокалах сверкал искрами электрический свет. В комнате царил дух роскоши, но это была роскошь изысканной простоты. Дэгни отметила дорогую мебель, подобранную исходя из соображений комфорта, приобретенную в те времена, когда роскошь еще являлась искусством. Здесь не было ничего лишнего, но она заметила небольшое полотно великого мастера эпохи Возрождения, оно стоило целое состояние. Еще ее внимание привлек прекрасный восточный ковер такой работы и расцветки, что место ему было под стеклом в музее. Так Маллиган понимает богатство, подумала она: богатство не в накоплении, а в умении выбрать лучшее.

Квентин Дэниэльс уселся на полу, пристроив поднос на коленях, он чувствовал себя как дома; время от времени он поглядывал на Дэгни, ухмыляясь, как озорной мальчишка, который знает, но не раскрыл ей важную тайну и теперь поддразнивает ее этим. Он попал в долину всего минут на десять раньше меня, подумала Дэгни, а уже свой здесь, тогда как я еще чужая.

Галт сидел в стороне, вне светового круга, на подлокотнике кресла доктора Экстона. Он не произнес ни слова, доставил Дэгни и отошел в сторону; теперь он словно смотрел пьесу, в которой для него не было роли. Но взгляд Дэгни снова и снова обращался к Галту, ее притягивала уверенность, что пьесу выбрал он сам и сам поставил, и действие ее давно началось, и это всем известно так же, как ей.

Она заметила в комнате еще одного человека, который наблюдал за Галтом, – Хью Экстона. Он все поглядывал на него, будто невольно, стараясь не обнаруживать своей привязанности, усиленной долгой разлукой. Но один раз, когда Галт наклонился вперед и прядь волос упала ему на лицо, Экстон потянулся и отвел ее на место, на неуловимое мгновение задержав руку у лба

своего ученика. Это был единственный эмоциональный всплеск, который он позволил себе, истинно отцовский жест.

Вскоре Дэгни втянулась в разговор с окружавшими ее людьми, почувствовала себя свободно и раскованно. Нет, думала она, то, что я испытываю, не напряжение, скорее смутное удивление по поводу напряжения, которое должна была ощущать, но совсем не ощущаю; странность была в том, что все оказалось так просто и естественно.

Она едва замечала, что спрашивала, обращаясь то к одному соседу, то к другому, но их ответы четко запечатлевались в ее памяти, фраза за фразой продвигая ее к цели.

– Пятый концерт? – говорил Ричард Хэйли в ответ на ее вопрос. – Я написал его десять лет назад. Мы называем его «Песнь свободных». Спасибо, что узнали его по нескольким нотам... Да, я знаю... Да, вы знали мои сочинения и поэтому, услышав этот концерт, смогли понять, что в нем я высказал все, что стремился сообщить и выразить. Он посвящен ему. – Он указал на Галта. – О нет, мисс Таггарт, я не бросил писать музыку. Почему вы так подумали? За последние десять лет я написал больше, чем когда-либо в жизни. Буду рад исполнить для вас, что захотите, когда вы навестите меня... Нет, мисс Таггарт, там ничего не будет опубликовано. За этими горами не прозвучит ни единой ноты.

Нет, мисс Таггарт, я не оставил медицину, – сказал доктор Хендрикс в ответ на ее вопрос. – Последние шесть лет я занимаюсь исследованиями. Я открыл метод защиты стенок кровеносных сосудов мозга от непредсказуемых повреждений, которые приводят к инсульту. Это снимет угрозу внезапного паралича... О нет, ни слова об этом методе не станет известно там.

Право, мисс Таггарт? – спросил ее судья Наррагансетт. – Какое право? Не я прекратил заниматься правом. Само право перестало существовать. Но я до сих пор работаю в избранной мною области – служении справедливости... Нет, справедливость не исчезла. Как это можно? Люди могут потерять ее из виду, и тогда справедливость становится для них губительной. Но бытие не может ли шиться справедливости, ибо второе – атрибут первого, поскольку справедливость есть акт признания существующего... Да, я не оставлял своей профессии. Я работаю над трактатом, посвященным философии права. Я докажу, что самое страшное зло, подстерегающее человечество, самое разрушительное и ужасающее из всего, что изобретено людьми, это необъективные законы... Нет, мисс Таггарт, там мой трактат не будет опубликован.

Чем я занимаюсь, мисс Таггарт? – отвечал Мидас Маллиган. – Моя тема – переливание крови. Этим я все еще занимаюсь. Моя задача – снабжать жизненными соками растения, способные к росту. Но спросите доктора Хендрикса, спасет ли новая кровь тело, которое отказывается функционировать, гниющий остов, который рассчитывает существовать без усилий. Мой банк крови – золото. Золото – вот животворный сок, энергетическое топливо, способное творить чудеса, но топливо бесполезно, если нет двигателя... Нет, я не сдался. Мне просто опротивело управлять бойней, где выкачивают кровь из здоровых животных и перекачивают ее в овощи.

Сдался? – удивился Хью Экстон. – Проверьте ваши исходные положения, мисс Таггарт. Никто из нас не сдался. Отступаем не мы, а мир... Что плохого в том, что философ построил и обслуживает придорожное кафе? Или управляет табачной фабрикой, как я сейчас? Всякое дело есть философский акт. Когда люди начнут относиться к производительному труду и тому, что является его источником, как к мерилу нравственных ценностей, они достигнут того совершенства, которое заложено в них от рождения и которое они утратили... Источник труда? Дух человеческий, мисс Таггарт, дух человека разумного. Я пишу на эту тему книгу, где даю определение нравственной философии, которую я усвоил от своего ученика... Да, она может спасти мир... О нет, там она опубликована не будет.

Но почему? – воскликнула она. – Почему? Что вы все здесь делаете?

Бастуем, – сказал Джон Галт.

Все повернулись в нему, будто ждали, когда он заговорит и произнесет это слово. Дэгни почувствовала, как время внутри нее начало отбивать ритм, в комнате наступила полная тишина. Она смотрела на Галта через световой круг. Он сидел, свободно опираясь о кресло, наклонившись вперед, упершись локтем в колено, кисть руки свисала вниз. На его лице играла легкая улыбка, она-то и сообщала его словам конечный, неотвратимый смысл.

– Почему это так поражает вас? Есть только одна категория людей, которые никогда в истории человечества не бастовали. Все остальные группы и классы бросают свое дело, когда хотят, и предъявляют миру свои требования, объявляя их неизбежными, – все, кроме людей, несущих на своих плечах всю тяжесть мира; они поддерживают в мире жизнь, а награда им – одни мучения. Но они никогда не изменяли человеческому роду. Так что же? Пришел их черед. Пусть мир узнает, кто они, и что делают, и что они значат, и что произойдет, если они отойдут от дел. Это забастовка людей духа, мисс Таггарт. Дух человечества, его воля и разум объявили забастовку.

Она не шевелилась, лишь пальцы ее руки медленно пробирались по щеке к виску.

– На протяжении всей истории, – продолжал он, – разум считался злом; его унижали, объявляя еретиком, материалистом, эксплуататором; преследовали – ссылали, лишали прав, экспроприировали; мордовали – высмеивали, пытали, казнили. Тот, кто брал на себя ответственность смотреть на мир глазами мыслящего существа и делать логически неизбежные выводы, испивал полную чашу страданий. Между тем, лишь благодаря тому, что такие люди, куда бы ни бросила их судьба – в темницу, жалкую лачугу, келью философа, лавку торговца, – не прекращали мыслить, только благодаря этому и сообразно мере этого человечество способно было выжить. Веками человечество постоянно поклонялось невежеству, жестокости, разложению, и лишь по милосердию этих страдальцев, которые видели, что пшенице для роста нужна вода, что камни, выложенные полукругом, образуют прочную арку, что дважды два четыре, что пыткой не добиться любви и что разрушение не способствует жизни, – только по милости этих людей остальные научились испытывать моменты, когда в них зажигалась искра осознания себя людьми, и только сумма таких моментов дала им возможность продлить свое существование. Именно человек разума научил людей выпекать хлеб, залечивать раны, ковать оружие и строить тюрьмы, в которые они бросали его. Человек исключительной энергии и великой щедрости, он знал, что прозябание не есть удел человечества, бессилие не есть его природа, что изобретательность ума – его самая благородная, восхитительная черта, что в этом его сила. И во имя этой любви к жизни, которую испытывал лишь он один, он продолжал работать, чего бы это ему ни стоило, – работать на своих гонителей, тюремщиков, мучителей, спасая их ценой своей жизни. В этом была его слава и его грех – ему внушили необходимость стыдиться своей славы и брать на себя роль жертвенного животного, приносимого на алтарь невежества во искупление вины, как наказание за грех разума. Трагическая насмешка, ирония истории человечества состоит в том, что на всех воздвигаемых людьми алтарях терзали людей и обожествляли животных. Человечество всегда поклонялось не человеческим, а звериным, животным качествам – идолам силы и инстинкта, царям и мистикам, которым нужны именно безвольные, безответные души. Чтобы править миром, мистики внушают людям, что темные эмоции выше разума, что знание приходит слепыми, немотивированными рывками и ему надо следовать так же слепо, не подвергая его сомнению. Цари же правят посредством клыков и когтей, их метод – отнять, их цель – чужое, их сила опирается исключительно на дубинку и пушки.

Те, которые пеклись о душе, заботились о чувствах человека; те, которые пеклись о плоти, заботились о его желудке. Но и те и другие, ополчась, сообща выступали против разума. Однако

никто, даже самый последний из людей, никогда не сможет окончательно отказаться от разума. Никто никогда до конца не верил в иррациональное – но верил в несправедливое. Когда отрицают разум, всегда преследуют цель, в которой человеческий разум по самой своей природе не позволит сознаться. Когда проповедуют противоречивое, рассчитывают, что кто-то другой взвалит на себя ношу невозможного и выполнит требуемую работу даже ценой собственных страданий. Разрушение – вот цена любого противоречия. Несправедливость становится возможной благодаря согласию ее жертв. Власть хама стала возможной, потому что это позволили люди разума. Поношение разума – эта цель движет всеми иррациональными доктринами. Поношение таланта – эту цель преследуют все учения, превозносящие самопожертвование. Хулители всегда знали это. Этого не знали мы. Пришло время прозреть. Тот, кому нас теперь призывают поклоняться, тот, кого в свое время рядили в одежды Бога или короля, на деле не более чем жалкая, никчемная, хнычущая от своей никчемности бездарь. Таков нынешний идеал, идол, цель, и всякий может рассчитывать на награду в той мере, в какой он приближается к этому образу. Ныне век простого человека, говорят нам, и всякий может претендовать на этот титул в той степени, в какой ему удалось ничего не достичь. Его возведут в ранг благородства соответственно усилиям, которых он не совершил, его будут почитать за добродетели, которых он не выказал, ему заплатят за товары, которых он не производил. Что же до нас, мы должны искупать грех таланта, нам назначено трудиться на пользу бездари так, как она распорядится, наградой нам будет ее удовлетворение. Мы вносим наибольший вклад, поэтому наш голос наименее весом. Мы мыслим лучше других, поэтому нам не позволено высказывать свое мнение. Поскольку мы способны действовать правильно, нам не позволено поступать по своей воле. Мы работаем по приказам и распоряжениям, под контролем тех, кто сам не способен трудиться. Они распоряжаются нашей энергией, ибо у них нет своей, продуктами нашего труда, ибо сами они не способны производить. Вы скажете: это невозможно, из этого ничего не получится. Им это известно, но неизвестно вам, и все их расчеты строятся на вашем незнании. Они рассчитывают, что вы будете и дальше трудиться на пределе возможного и кормить их до конца своих дней; а когда вы свалитесь, появится новая жертва и станет кормить их, с трудом поддерживая собственную жизнь. И жизнь каждой новой жертвы будет короче; если после вашей смерти им останется железная дорога, то последний ваш потомок по духу оставит им разве что краюху хлеба. Но нынешних паразитов это не беспокоит. Их планы, как и планы царственных бандитов прошлого, не идут дальше срока их собственной жизни – лишь бы добычи хватило на их век. Раньше всегда хватало, потому что в каждом поколении всегда хватало жертв. Но на сей раз не хватит. Жертвы объявили забастовку. Атлант расправил плечи.

Мы не согласны страдать и объявили забастовку против морального кодекса, обрекающего нас на страдания. Мы выступаем против тех, кто полагает, что один человек должен жить ради другого. Мы протестуем против морали каннибалов, против людоедства тела и духа. Мы будем общаться с людьми только на наших условиях, а по нашему моральному кодексу человек сам себе цель, а не средство для осуществления целей других людей. Мы не стремимся навязать им нашу веру. Они вольны верить, во что им заблагорассудится. Но отныне им придется и жить, и верить без нашей помощи. Они должны раз и навсегда усвоить смысл и значение своей веры. Эта вера веками держалась на молчаливом согласии жертв, которые мирились с наказанием за нарушение порочного кодекса. Но этот кодекс для того и предназначен, чтобы его нарушали. Он процветает не благодаря тем, кто его соблюдает, а благодаря тем, кто его нарушает, это мораль, которая питается не добродетелью своих святых, а покладистостью грешников. Мы решили не грешить. Мы больше не нарушаем этот моральный кодекс. Мы покончили с ним единственным безотказным способом – его соблюдением. Мы неукоснительно следуем ему. Мы законопослушны. Во всех общественных делах мы до буквы соблюдаем предписания кодекса и

ограждаем людей от тех зол, которые они осуждают. Разум – зло? Мы отняли у общества плоды работы разума, ни одна из наших идей не станет известна и не будет использована в обществе. Талант эгоистичен и не оставляет шанса тем, кто менее способен? Мы вышли из игры и оставили все шансы на победу неспособным. Погоня за богатством – жадность, корень всех зол? Мы больше не стремимся к богатству. Безнравственно зарабатывать больше, чем необходимо, чтобы прокормиться? Мы беремся только за самую простую работу и усилием наших мышц производим не более, чем потребляем, с учетом самых необходимых потребностей, чтобы не навредить миру ни единым лишним центом, ни единой продуктивной идеей. Безнравственно добиваться успеха, поскольку сильные добиваются успеха за счет слабых? Мы больше не досаждаем слабым своими амбициями и предоставили им возможность благоденствовать без нас. Аморально быть нанимателем? Мы никого не нанимаем. Аморально владеть собственностью? Мы ничем не владеем.

Аморально наслаждаться жизнью в этом мире? Мы не ищем никаких радостей в их мире, и – добиться этого было труднее всего – наше нынешнее отношение к их миру выражается тем чувством, которое там проповедуется как идеал: безразличие, пустота, ноль, знак смерти... Мы даем людям все, что они веками провозглашают своей вожделенной целью, высшей добродетелью. Посмотрим, как им это понравится.

Эту забастовку начали вы? – спросила она.

Да, я.

Он встал, держа руки в карманах; на лицо упал свет лампы. Она увидела, что он улыбается спокойной, уверенной, естественной улыбкой – жесткой и твердой.

– Я много слышал о стачках, – сказал он, – и о зависимости людей незаурядных от простых. Мы слышали крики о том, что промышленник – паразит, что он живет за счет рабочих, которые обогащают его, обеспечивают ему роскошную жизнь, и о том, что случилось бы с ним, если бы рабочие бросили на него работать. Отлично. Я намерен показать миру, кто от кого зависит, кто кого содержит, кто источник богатства, кто кому дает средства на жизнь и что с кем произойдет, когда кто-то выйдет из игры.

В окна смотрела темнота, отбрасывающая назад огоньки зажженных сигарет. Галт тоже взял со стола сигарету, и, когда вспыхнула спичка, Дэгни на миг увидела между его пальцами блеск золота – знак доллара.

– Я бросил все, присоединился к нему и забастовал, – сказал Хью Экстон, – потому что не мог заниматься своим делом рядом с людьми, которые заявляют, что назначение человека интеллектуального труда состоит в отрицании интеллекта. Никто не пригласит водопроводчика, который будет доказывать свое профессиональное превосходство, утверждая, что никакого водопровода нет вообще. Но, увы, таким критерием осмотрительности не пользуются применительно к философам. От своего ученика, однако, я узнал, что сам сделал это возможным. Именно мыслители, держа в своих рядах тех, кто отрицает существование мысли, считая это всего лишь иным философским направлением, позволяют разрушать разум. Они соглашаются с основной предпосылкой противника, тем самым соглашаясь признать отсутствие разума его разновидностью. Основная предпосылка – постулат, который абсолютно исключает собственную антитезу и абсолютно нетерпим к ней. По той же причине, по которой банкир не может принимать и пускать в оборот фальшивые деньги, наделяя их честью и престижем своего банка, как он не может удовлетворить требование фальшивомонетчика быть терпимым к нему ради его права на различное с ним мнение, так и я не могу считать философом доктора Саймона Притчета и соперничать с ним в борьбе за умы людей. Доктору Притчету нечего внести на счет философии, кроме объявленного им намерения разрушить ее. Он рассчитывает заработать на силе разума, отрицая разум. Он пытается наложить печать разума на планы своих хозяев-

бандитов и использовать престиж философии в целях порабощения мысли. Но этот престиж – счет, который существует и действителен лишь до тех пор, пока я готов подписывать чеки на него. Пусть доктор Притчет обходится без меня. Пусть он и те, кто вверяет ему юные умы своих детей, получают то, к чему стремятся, – мир интеллектуалов без интеллекта, мыслителей без мысли. Я умываю руки. Я уступаю им. И когда они обретут свой лишенный абсолютов мир как абсолютную реальность, меня там не будет, и не я буду оплачивать цену их противоречий.

– Доктор Экстон ушел, руководствуясь принципами нормальной банковской деятельности, – сказал Мидас Маллиган. – Я ушел, руководствуясь принципом любви. Любовь – конечная форма признания вечных ценностей. Я ушел после дела Хансакера, того дела, когда суд постановил, что я должен уважать в качестве основного права на фонды моих вкладчиков требования тех, кто был готов предъявить доказательства, что у них нет права требовать этого. Мне было велено отдать заработанные людьми деньги никчемному лентяю, единственным правом которого на эти деньги была его неспособность их заработать. Я родился на ферме. Я узнал цену деньгам. В своей жизни я имел дело со множеством людей. Я видел, как они росли. Я заработал свое состояние, потому что умел найти нужных людей. Тех, кто никогда не просит веры, надежды и милостыни, но предлагает факты, доказательства и прибыль. Знаете ли вы, что я инвестировал деньги в дело Хэнка Реардэна, когда он только вставал на ноги, едва проторив путь из Миннесоты в Пенсильванию, чтобы приобрести там сталеплавильные заводы? Так вот, когда я увидел постановление суда на своем столе, меня озарило. Я увидел одну картину, и так отчетливо, что все мои взгляды изменились. Я ясно увидел лицо и глаза молодого Реардэна, каким я его впервые встретил. Я увидел его лежащим у подножья алтаря, его кровь текла на землю, а на алтаре стоял Ли Хансакер, глаза его гноились, и он ныл, что у него никогда в жизни не было шанса... Удивительно, как все становится просто, когда ясно разглядишь. После этого мне было нетрудно закрыть банк и уйти. Впервые в жизни я четко осознал: вот то, что я всегда любил и для чего жил.

Дэгни посмотрела на судью Наррагансетта:

И вы ушли из-за того же дела?

Да, – ответил судья Наррагансетт. – Я ушел, когда суд высшей инстанции отменил мое решение. В свое время я выбрал профессию, чтобы стать стражем справедливости. Но меня принуждали руководствоваться законами, которые делали меня орудием гнуснейшего бесправия. От меня требовали санкционировать именем закона подавление силой оружия безоружных людей, которые обратились ко мне с просьбой защитить их права. Подсудимые подчиняются приговору суда исходя единственно из предпосылки, что суд объективен, что есть объективные правила поведения, которые одинаковы и для судьи, и для подсудимого. Однако я видел, что один человек признает это и руководствуется этим, а другой нет, что один живет по правилам, а другой навязывает произвольное решение исходя из собственного желания и интересов, причем закон должен принимать сто– Рону произвола. От права требуют оправдания бесправия. И я ушел, ушел, потому что не мог слышать, как честные люди обращались ко мне «ваша честь».

Дэгни медленно перевела глаза на Ричарда Хэйли, словно умоляя его рассказать, что было с ним, и боясь этого рассказа. Он улыбнулся.

– Я готов был простить людям свои испытания, – начал Ричард Хэйли, – но не мог смириться с тем, как они воспринимали мой успех. Я не роптал все годы, пока меня отвергали. Если мои творения были новы, людям требовалось время, чтобы освоиться и привыкнуть к ним; если я испытывал гордость от сознания, что первым достиг таких высот, я не имел права жаловаться на медлительность людей. Это я втолковывал себе все те годы, хотя иной раз по ночам мне было уже не вмоготу ждать и верить; тогда я кричал: «Почему?!» – и не находил ответа. Потом, в тот вечер, когда меня решили-таки чествовать, я стоял на театральной сцене и

думал: вот тот момент, которого я добивался. Я думал, что буду счастлив, но ничего не испытывал. Помнил только те бесконечные, бессчетные ночи и свой возглас «Почему?!», так и оставшийся без ответа. Поздравления и аплодисменты теперь значили так же мало, как прежде насмешки. Если бы мне сказали: «Простите, мы запоздали, спасибо, что не перестали ждать», – я не потребовал бы большего; они могли бы взять у меня все, чем я владел. Но то, что я видел на лицах, то, что говорили, наперебой восхваляя меня, ничем не отличалось от речей, которыми обычно потчуют художников, а я никогда не верил, что это может говориться всерьез. Казалось, люди говорили, что ничем мне не обязаны, напротив, своими убеждениями и целями я обязан их глухоте, что бороться, страдать, терпеть – это мой долг перед ними и ради них, несмотря на всю несправедливость, пренебрежение, издевательства и глумление, – все это я должен был смиренно переносить, чтобы научить других наслаждаться моим трудом, это и мое предназначение и их законное право. Тогда-то я и постиг природу духовного нахлебника, понял то, чего раньше не мог и вообразить. Я увидел, что они залезают в мою душу так же, как в карман Маллигана, присваивают богатство моего духа так же, как его состояние. Мне открылись наглость и озлобленность посредственности, хвастливо демонстрирующей свою пустоту, как пропасть, которую надо заполнить телами более достойных людей. Я понял: они стремятся насытиться моей музыкой так же, как деньгами Маллигана, жить за счет тех часов, когда я сочинял ее, за счет того, что послужило источником моего вдохновения; они хотят все заглотить и сохранить уважение к себе, вырвав из меня признание, что я создавал свою музыку для них, что своим успехом я обязан в конечном итоге не собственному таланту, а их значимости... В тот вечер я поклялся, что впредь они не услышат ни единой моей ноты. Я ушел из театра последним, улицы были пустынные, в свете фонаря меня поджидал незнакомый человек. Меня не понадобилось долго убеждать. Концерт, который я посвятил этому человеку, назван «Песнь свободных». Дэгни посмотрела на остальных.

Расскажите мне, что привело вас сюда, – сказала она, придав некоторую крепость голосу, словно подвергалась наказанию, но терпела его до конца.

Я ушел от дел несколько лет назад, когда медицину передали в руки государства, – сказал доктор Хендрикс. – Знаете ли вы, что нужно для операции на мозге? Нужны долгие годы изнуряющей, самоотверженной, страстной преданности делу, чтобы освоить это искусство! И я не за хотел поставить его под контроль и оставить в распоряжении тех, чьим единственным основанием руководить мною является способность болтать без зазрения совести о высоких материях и тем самым достигать ответственных постов, что дает им возможность навязывать свои мнения именем закона. Я не мог допустить, чтобы они диктовали цели моим многолетним исследованиям, условия работы, выбор пациентов и размер моего вознаграждения. Я заметил, что во всех дискуссиях, которые предшествовали порабощению медицины, обсуждалось все, кроме интересов самих врачей. Рассматривалось только благополучие пациентов, те, кто Должен его обеспечить, не принимались во внимание. Права медиков, желание, возможность выбора были объявлены вредным эгоизмом; говорили, что их дело служить, а не выбирать. Тем, кто требовал внимания к больным, сделав невыносимой жизнь здоровых, не приходило в голову, что человек, готовый работать из-под палки, – это быдло, которому опасно поручать даже бездушный груз, не то что здоровье человека. Меня всегда поражало благодушие, с которым люди навязывают свое право превратить меня в раба, контролировать мой труд, насиловать волю, угнетать сознание, душить мою мысль. На что только они рассчитывают, ложась на операционный стол, вверяя себя моим рукам? Их моральный кодекс научил их верить в добродетельность своих невинных жертв. Так пусть знают – больше этого не будет. Пусть лечатся у врачей, которых порождает их система. Пусть испытают на себе, ложась в больничную палату или на операционный стол, что далеко не безопасно доверять свою жизнь человеку, которого они всю жизнь притесняли.

Опасно, если ему не по душе такая жизнь, но еще опаснее, если он ничего не имеет против этого.

Я ушел, – сказал Эллис Вайет, – потому что не хотел служить пищей людоедам, да еще и самому готовить ее для них..

Я обнаружил, – сказал Кен Денеггер, – что люди, с которыми я сражался, жалкое племя слабаков. У них нет цели, разума, принципов; они мне не нужны, не им диктовать мне правила, они мне не указ. Я ушел, чтобы они осознали это.

Я ушел, – сказал Квентин Дэниэльс, – потому что люди бывают прокляты в разной степени, но самое страшное, вечное проклятие ждет ученого, который ставит свой талант на службу хаму.

Наступило молчание. Дэгни повернулась к Галту:

А вы? Вы были первым. Что побудило вас? Он усмехнулся:

Неприятие идеи первородного греха в любом виде. – Что это значит?

– Мои способности никогда не внушали мне чувства вины. Как и мой разум. Быть человеком для меня никогда не было зазорно. У меня никогда не было чувства беспричинной вины, я знал себе цену и действовал соответственно.

Сколько себя помню, я всегда был готов уничтожить того, кто потребовал бы, чтобы я жил ради удовлетворения его нужд, и я всегда считал этот принцип в высшей степени нравственным. В тот вечер на собрании в «Твентис сенчури», услышав, как о страшном зле говорят тоном высшей праведности, я понял, в чем корень трагедии мира, и увидел ключ к ее решению. Я понял, что надо делать. И приступил к делу.

А двигатель? – спросила она. – Почему вы забросили его? Почему оставили его наследникам Старнса?

Он был собственностью их отца. Старнс платил мне за него. Я занимался им, служа у него. Но я понимал, что для них он бесполезен и что о нем больше никто никогда не услышит. Это была первая экспериментальная модель. Ни кто, кроме меня или специалиста, равного мне, не смог бы завершить работу или понять, что это такое. Я знал, что на этом заводе уже не появится специалист моего уровня.

Вы понимали, что значил ваш двигатель? -Да.

И понимали, что предаете его забвению?

Да. – Он смотрел в темноту за окнами и улыбался, но улыбка была невеселой. – Уходя, я последний раз взглянул на мой двигатель. Я думал о людях, утверждающих, что богатство заключается в природных ресурсах, и о людях, утверждающих, что богатство – в присвоении фабрик, и о людях, утверждающих, что машины обуславливают наше мышление. И что же? Вот двигатель, но что он может обусловить в их жизни без человеческого разума? Просто груды металла и проводов, обреченная ржаветь. Вы думали о той пользе, которую принес бы человечеству двигатель, если бы был запущен в производство. Полагаю, что в тот день, когда люди осознают, что значит, когда машина такого рода попадает в металлолом, они извлекут из этого понимания больше пользы, чем от применения двигателя.

И, бросая двигатель, вы рассчитывали, что такой день наступит?

Нет.

Надеялись ли вы воссоздать его в другом месте?

Нет.

И все-таки готовы были бросить его как металлолом?

Ради того, что двигатель значил для меня, – медлен но произнес он, – я хотел, чтобы он не попал в производство и сгинул навсегда. – Он смотрел прямо в глаза Дэгни, и она ясно различала в его голосе жесткую, непреклонную, беспощадную, ровную ноту. – Так же, как вам придется пожелать, чтобы «Таггарт трансконтинентал» развалилась и сгинула.

Подняв голову, она выдержала его взгляд и тихо сказала – открыто, гордо и просительно:
Не заставляйте меня отвечать сейчас.

Хорошо. Мы расскажем вам все, что пожелаете. Мы не будем торопить с решением. – Потом он добавил, и ее поразила мягкость его тона: – Я сказал, что самым трудным для нас было не испытывать ничего, кроме равнодушия, к миру, который мог быть нашим. Я знаю, все мы прошли через это.

В комнате наступила полная, ничем не нарушаемая тишина. Свет – от изобретенного им двигателя – падал на лица собравшихся, безмятежные и уверенные. Дэгни еще не доводилось бывать на собрании столь спокойных и уверенных в своей правоте людей.

Что вы делали после того, как оставили «Твентис сенчури»? – спросила она.

Отправился искать факелы в ночи. Моей задачей стал поиск тех, кто нес свет в сгущающейся тьме дикости, поиск людей таланта, разума. Я следил за их делами, их борьбой и агонией. Я забирал их, когда видел, что с них довольно.

Что вы им говорили, чтобы заставить все бросить?

Я говорил им, что они правы. – В ответ на ее вопросительный взгляд он добавил: – Я возвращал им гордость, которую они не осознавали. Я давал им слова, чтобы все назвать и понять. От меня они получали бесценное приобретение, о котором так долго и страстно мечтали, даже не зная, что нуждаются в нем: моральное право. Не вы ли называли меня разрушителем и охотником за людьми? Я вы ступил агитатором и зачинщиком этой забастовки, вожакom восстания жертв, защитником угнетенных, эксплуатируемых, обездоленных, и, когда я употребляю эти слова, они впервые обретают свой прямой, буквальный смысл.

– Кто первым последовал за вами?

Он намеренно выдержал паузу, чтобы подчеркнуть свои слова, и ответил:

Два моих лучших друга. Одного вы знаете. И наверное, вы лучше других знаете, какую цену он заплатил за это. Следующим был наш учитель доктор Экстон. Он при соединился к нам после одной вечерней беседы. Вильяму Хастингсу, моему начальнику в исследовательской лаборатории «Твентис сенчури», было нелегко побороть себя. Это заняло целый год. Но он пришел к нам. За ним Ричард Хэйли, затем Мидас Маллиган.

Которому понадобилось пятнадцать минут, – вставил Маллиган.

Дэгни повернулась к нему:

Вам они обязаны долиной?

Да, – ответил Маллиган. – Сначала это было про сто место моего отшельничества. Я приобрел ее давно; скупал эти горы милую за милей, участок за участком у ферме ров и скотоводов, которые не понимали, чем владеют. Долина не обозначена на картах. Я построил здесь дом, когда решил выйти из игры. Я уничтожил все подходы к долине, кроме одной дороги, но и та замаскирована, чтобы ее нельзя было отыскать. Я обеспечил долину всем необходимым, чтобы ни от чего не зависеть, чтобы прожить здесь остаток своих дней, ни разу не увидев какого-нибудь паразита. Узнав, что Джон заполучил судью Наррагансетта, я пригласил его сюда. Потом мы пригласили Ричарда Хэйли. Остальные вначале оставались вовне.

– Мы не устанавливали никаких правил, кроме одно го, – сказал Галт. – Принимая наш обет, человек связывал себя только одним обязательством – не работать по своей профессии, чтобы мир не пользовался плодами его разума. Каждый держал свой обет, как считал нужным. Тот, у кого были деньги, отходил от дел и жил на сбережения. Тот, кому приходилось работать, выбирал самую простую работу, какую только мог найти. Некоторые из нас были знамениты; других, как вашего юного кондуктора, которого отыскал Хэйли, мы остановили в самом начале пути, который привел бы их к страданиям. Но мы не отказались от своего таланта и от работы, которую любили. Каждый возвращался к своему призванию, насколько мог себе позволить, но

тайно и ничем не делясь с миром. Мы были разбросаны по всей стране, как отверженные, какими и являлись. Только теперь мы позволили себе сознательно выбрать занятие. Вначале единственным утешением для нас были редкие встречи, когда мы могли сойтись вместе. Оказалось, что нам нравится собираться вместе, это напоминало нам о том, что еще существуют настоящие люди. Так и случилось, что мы отвели один месяц в году для встречи в этой долине, чтобы отдохнуть, пожить в разумном мире, вернуться к своему потаенному настоящему делу, обменяться своими достижениями здесь, где достижение оплачивается, а не экспроприируется. Каждый построил себе здесь дом на свои средства, чтобы жить в нем один месяц из двенадцати. Так стало легче переносить остальные одиннадцать.

Как видите, мисс Таггарт, – сказал Хью Экстон. – человек существо общественное, но совсем не в том смысле, в каком проповедают паразиты.

Разорение Колорадо привело к росту населения долины, – сказал Мидас Маллиган. – Эллис Вайет, а затем и другие поселились здесь, потому что вынуждены были скрываться. Они превратили в золото и машины то, что смогли спасти от своего состояния, как сделал и я, и пере правили сюда. Нас стало достаточно, чтобы возделывать долину и создавать рабочие места для тех, кто вынужден был зарабатывать там на пропитание. Ныне мы достигли этапа, когда большинство из нас могут жить здесь круглый год. Долина почти полностью обеспечивает себя; что касается товаров, которые мы здесь еще не производим, я покупаю их через специального агента, нашего посредника, который заботится о том, чтобы мои деньги не достались бандитам. Мы не государство и не какое-то особое общество, мы просто добровольная ассоциация, основанная на интересах каждого ее члена. Я владелец долины и продаю землю другим, если им надо. Судья Наррагансетт действует как арбитр в случае разногласий. До сих пор обращаться к нему не было необходимости. Говорят, людям трудно дается согласие. Но вы удивитесь, как это просто, когда обе стороны держатся одного категорического императива, когда никто не живет ради другого и единственной основой общения является разум. Приближается время, когда мы призовем всех наших жить здесь, – мир рухнет так быстро, что скоро начнется голод. Но здесь, в долине, мы сможем обеспечить себя всем необходимым.

Мир движется к краху быстрее, чем мы думали, – сказал Хью Экстон. – Люди перестают бороться. Застывшие поезда, бандитизм, дезертиры и бродяги – эти люди никогда о нас не слышали, они не участвуют в нашей забастовке и действуют сами по себе, но это естественная реакция того разумного, что в них еще осталось, протест того же рода, что и наш.

Мы не ставили себе цель во времени, – сказал Галт. – Мы не знали, увидим ли освобождение мира, или должны завещать нашу борьбу и нашу тайну следующим поколениям. Знали лишь, что хотим жить только так, а не иначе. Но теперь мы думаем, что увидим освобождение, и скоро: придет день нашей победы и нашего возращения.

Когда? – прошептала она.

Когда рухнет доктрина бандитов. – Он увидел, что она смотрит на него с полувопросом-полунадеждой, и добавил: – Когда доктрина самоуничтожения наконец обнажит свою сущность, когда не останется жертв, все еще готовых помешать торжеству справедливости, все еще готовых принять возмездие на себя, когда проповедники самопожертвования обнаружат, что их последователям нечем пожертвовать, а те, у кого есть чем жертвовать, не желают этого делать, когда люди поймут, что ни их сердца, ни их мускулы не в состоянии спасти их, а разума, который они осудили, у них уже нет, чтобы прийти к ним на выручку в ответ на вопли о помощи, когда они рухнут, что неизбежно постигнет людей без рассудка и разума, когда они утратят весь свой престиж, власть, право, мораль, надежду, пищу и у них не останется шансов вернуть их, – когда они рухнут и путь будет свободен, мы вернемся, чтобы заново отстроить мир.

Терминал Таггарта, подумала Дэгни. Она чувствовала, как слова пробиваются сквозь ее

онемевший мозг; они суммировали тяжесть той ноши, которую у нее не было времени взвесить. Да, это терминал «Таггарт трансконтинентал», думала она, здесь, в этой комнате, а не в гигантском сплетении путей в Нью-Йорке. Здесь ее цель, конец пути, та точка за линией горизонта, где сходятся все прямые нити рельсов, сходятся и исчезают, и влекут ее вперед, как влекли в свое время Натаниэля Таггарта. Это та цель, которую видел вдали Натаниэль Таггарт, та точка, к которой был устремлен над постоянным кружением вокзальной толпы взгляд его поднятой головы. Ради этого она посвятила себя служению «Таггарт трансконтинентал» как телесной оболочке, в которую еще предстояло вдохнуть душу. Она нашла эту цель, нашла все, к чему стремилась; цель была здесь, в этой комнате, обретенная, она была с ней... Но ценой ей была сеть железных дорог, оставленных позади; исчезнут рельсы, рухнут мосты, погаснут сигнальные огни... И все же... Все, к чему я стремилась, думала она, не глядя на человека с вызолоченными солнцем волосами и беспощадным взглядом.

– Не надо отвечать сейчас.

Она подняла голову; он наблюдал за ней, словно восходя по ступеням ее мысли.

– Мы никогда не требуем согласия, – сказал он. – Мы никогда не говорим человеку больше, чем он готов слышать. Вы первая, кому наша тайна стала известна до времени. Но вы здесь, и вам следовало узнать. Теперь вы представляете характер решения, которое вам предстоит принять. Если оно кажется трудным, то только потому, что вы все еще полагаете, что необязательно выбирать одно или другое. Но это так, и вы это поймете.

Вы дадите мне время?

Не мы распоряжаемся вашим временем. Не спешите. Только вы определяете, что делать и когда. Мы знаем цену этому решению. Мы заплатили за это знание. То, что вы оказались здесь, сделает ваш выбор проще... или труднее.

Труднее, – тихо сказала она.

Я знаю.

Он произнес это так же тихо, как она; казалось, звук шел без выдоха; время замерло и на миг остановило для нее свой бег, как после удара, потому что она ощутила: не те минуты, когда он нес ее на руках по горному склону, а именно это слияние голосов заключало в себе их самый тесный физический контакт.

Когда они отправились домой, в небе над долиной стояла полная луна. Она висела над головой, как плоский круглый фонарь, не испускающий лучей, но окруженный прозрачным светлым ореолом. И фонарь, и его ореол висели над головой в бесконечной дали; свет не доходил до земли, наоборот, казалось, сама земля под ногами светилась странным белым сиянием. В неестественной тишине на застывшие вокруг предметы будто спустилась необъятная прозрачная пелена; их контуры не сливались в единый пейзаж, а медленно, порознь, один за другим проплывали мимо, словно отражения на облаках. Дэгни внезапно обнаружила, что улыбается. Она смотрела на дома внизу, в долине. Их освещенные окна приобрели голубоватый оттенок; очертания стен расплылись; длинные ленты тумана мягко, волнами клубились вокруг. Казалось, долина опускается подводу.

– Как называется это место? – спросила она.

Я называю его Маллигановым Урочищем, – сказал он. – Другие называют его Долиной Галта...

Я бы назвала ее... – Она не договорила.

Он взглянул на нее; она поняла, что он увидел в ее лице, – его губы медленно шевелились, давая выход перехваченному дыханию, как будто он усилием воли заставлял себя дышать. Она отвела взгляд, ее руки внезапно налились тяжестью в локтях, и она оперлась ими о сиденье.

Дорога поднималась в гору, где сосны смыкались над головой. Стемнело. Поверх откоса

скалы, к которой они приближались, Дэгни увидела лунный свет, отражавшийся в окнах его дома. Откинув голову на спинку сиденья, она застыла без движения, забыв о машине, ощущая лишь движение вперед. Над ее головой в ветвях сосен каплями воды блестели звезды.

Когда машина остановилась, Дэгни приказала себе не задумываться, почему, выходя, не взглянула на Галта. Она даже не заметила, что с минуту постояла, глядя на темные окна. Она не слышала, как он подошел, но с внезапной остротой ощутила прикосновение его рук. Казалось, только это могло вывести ее из забытья. Он поднял ее на руки и стал медленно подниматься по тропе, ведущей к дому.

Он шел, не глядя на Дэгни, крепко держа ее в руках. Он будто сдерживал ход времени. Его руки словно сжимали в объятиях тот миг, когда он впервые прижал ее к своей груди. Для нее его шаги сливались в единое движение к цели, и вместе с тем она ощущала каждый шаг, не осмеливаясь подумать о том, что будет и следующий. Их головы оказались совсем рядом, его волосы касались ее щеки, но она знала, что ни один из них не приблизит свое лицо к другому ни на миллиметр. Она испытывала внезапное, ошеломляющее тихое опьянение, полностью завладевшее ею; их волосы сплелись, как лучи космических тел, нашедшие друг друга в бесконечной пустоте; она видела, что он идет с закрытыми глазами, будто даже зрение было бы сейчас помехой.

Он вошел в дом и пересек гостиную, не взглянув налево; она тоже не смотрела налево, но знала, что оба они видели дверь, ведущую в его спальню. Он пересек темноту, направляясь к полосе лунного света, падающего на кровать в комнате для гостей, и опустил на нее свою ношу; его руки на секунду задержались на плечах и талии Дэгни и оставили ее; она поняла, что это мгновение миновало.

Он отступил назад, нажал на выключатель, и в комнату сторонним свидетелем вторгся режущий яркий свет. Галт стоял неподвижно, словно требуя, чтобы она смотрела на него. На его лице читалось строгое ожидание.

– Вы забыли, что собирались отыскать и убить меня? – спросил он.

Вопрос казался бы нереальным, если бы Галт не стоял перед ней неподвижно и открыто. Она содрогнулась и выпрямилась, подавив крик ужаса, который бы все отрицал, но, выдержав его взгляд, ровным голосом ответила:

Да, правда, собиралась.

За чем же дело стало?

Ее ответ прозвучал тихо, но в нем слышалось напряженное признание ошибки и презрительный упрек:

– Разве вам не ясно за чем? Он покачал головой:

– Нет. Вспомните, вы хотели этого. И были тогда правы. Будучи частью внешнего мира, вы и должны были стремиться уничтожить меня. И из двух открытых перед вами сейчас путей один ведет к тому дню, когда вы будете вынуждены разделаться со мной.

Она не ответила, не подняла головы. Он увидел, как встрепенулись пряди ее волос, когда она отчаянно затрясла головой в знак протеста, и продолжил:

Вы единственная опасность для меня, единственный человек, который может выдать меня врагам. И вы это сделаете, если останетесь с ними. Поступайте так, если хотите, но делайте это с полным пониманием дела. Не отвечайте мне сейчас. Но помните, – жесткость его голоса теперь была направлена и против него самого, – что я знаю значение обоих ответов.

Так же хорошо, как я? – прошептала она.

Так же хорошо.

Он повернулся, чтобы уйти, но тут ее взгляд упал на надписи на стене, которые она заметила раньше и о которых забыла.

Они были вырезаны в полированном дереве и еще хранили силу, с которой нажимали на карандаш сделавшие их руки. Буквы яростно бежали по поверхности: «Ты с этим справишься. Эллис Вайет»; "К утру все будет в порядке. Кен

Денеггер"; «Дело стоит того. Роджер Марш». Были и другие.

– Что это? – спросила она.

Он улыбнулся:

– Это комната, в которой они провели свою первую ночь в долине. Первая ночь труднее всего. Полный разрыв с прошлым дается нелегко. Я помещаю их здесь, что бы они могли позвать меня, если надо. Я разговариваю с ними, если им не заснуть, как и бывает с большинством. К утру все проходит... Они все прошли через эту комнату. Теперь ее называют кто камерой пыток, кто прихожей, потому что все попали в долину через мой дом. – Он повернулся, но перед уходом, стоя в дверях, добавил: – Я не предназначал эту комнату для вас, мисс Таггарт. Спокойной ночи.

Глава 2 . Утопия стяжательства

– Доброе утро.

Она стояла на пороге своей комнаты и смотрела на него. Горы за окнами гостиной были окрашены в тот серебристо-розовый оттенок, который кажется ярче дневного света, потому что этот оттенок нес в себе обещание света. Солнце встало над землей, но еще не поднялось над гребнем гор; пока сияло только небо, возвещая его приход. Дэгни услышала радостное приветствие восхода, но не в птичьем пении, а в телефонном звонке, раздавшемся всего минуту назад; она увидела начало дня, но не в сиянии зелени за окном, а в сверкании хромированной посуды на электрической плите, в поблескивании стеклянной пепельницы на столе и в отглаженной белизне рубашки Галта. Невольно заражаясь его тоном, она услышала улыбку в собственном голосе, произнеся в ответ:

– Доброе утро.

Он собирал со стола листки с вычислениями и засовывал их в карман.

– Мне надо на электростанцию, – сказал он. – Только что сообщили, что возникли проблемы с локатором. Похоже, ваш самолет сбил его с толку. Я вернусь через полчаса и приготовлю нам завтрак.

Именно простота и легкость тона, обыденность манер, делавших ее присутствие привычным в рамках заведенного порядка, чем-то давно освоенным ими, именно все это и придавало его обращению особый смысл и значение в ее глазах – и еще сознание, что он чувствует то же самое.

Она ответила так же просто:

– Если вы принесете мне из машины трость, я ее там за была, завтрак будет готов к вашему возвращению.

Он взглянул на нее с легким удивлением, охватив взглядом повязки и бинты на ее ноге, на локте. В прозрачной блузке с короткими рукавами и открытым воротом она выглядела школьницей; длинные волосы падали на плечи, наготу которых не могла скрыть тонкая, воздушная ткань; весь ее вид и поза отрицали серьезность травм и ушибов.

Он улыбнулся, не столько ей, сколько какому-то своему забавному воспоминанию:

– Как вам угодно.

Было странно остаться одной в его доме, отчасти из-за ощущения, которого ей не доводилось испытывать раньше, – трепетного уважения при каждом нерешительном прикосновении к вещам в его доме, словно это всякий раз было крайне интимным действием. Но рядом появилось другое чувство – беззаботная, радостная легкость, ощущение родного дома, где ей принадлежит все, включая хозяина.

Было странно испытывать такую чистую радость от простого приготовления завтрака. Эта работа превратилась в самоцель, она была самодостаточна, будто все движения и действия: засыпать кофе, выжать апельсины, нарезать хлеб – выполнялись ради самих себя и несли в себе то же удовольствие, которого ищут, но редко испытывают в танце. Дэгни с изумлением поняла, что не испытывала такого удовольствия от работы с тех дней, когда сидела за пультом оператора на станции Рокдэйл.

Она накрывала на стол, когда увидела, что вверх по дорожке к дому проворно и легко, упругими прыжками перелетая через валуны, спешит мужчина. Он распахнул дверь настежь, крикнул: «Джон, привет!» – и умолк, увидев Дэгни. На нем был темно-синий свитер и легкие брюки; волосы у него отливали золотом, а лицо светилось такой безупречной красотой, что она замерла, уставившись на него, – даже не от восхищения, а просто не веря своим глазам.

Он тоже смотрел на нее, очевидно, не ожидая встретить в доме женщину. Потом он, похоже, узнал ее, и удивление во взгляде перешло отчасти в радость, отчасти в легкую усмешку, и все завершилось улыбкой:

Вы тоже присоединились-таки к нам? – полуутвердительно-полувопросительно произнес он.

Нет, – сухо ответила она, – не присоединилась. Я штрейкбрехер.

Он залился смехом взрослого над ребенком, который использует мудреные слова, недоступные его пониманию.

Если вы понимаете, что говорите, то понимаете, что это невозможно, – сказал он. – Только не здесь.

Я вломилась в дверь. В буквальном смысле.

Он посмотрел на бинты и не смог сдержать простого, не очень вежливого любопытства:

Когда?

Вчера.

И как же?

На самолете.

Зачем вам понадобилось лететь в эти края?

У него были уверенные, властные манеры аристократа или грубияна, внешностью он походил на первого, одеждой – на второго. Дэгни некоторое время рассматривала его, намеренно заставляя ждать ответа.

Я попыталась использовать для посадки доисторический мираж, – сказала она. – Что и сделала.

Так вы и в самом деле штрейкбрехер. – Он покатился со смеху, видимо, осознав все последствия. – А где Джон?

Мистер Галт на электростанции. Он должен вот-вот вернуться.

Не спрашивая разрешения, гость уселся в кресло, как у себя дома. Она молча вернулась к делу. Он весело следил за ее действиями; похоже, вид Дэгни, раскладывающей на кухонном столе вилки и ложки, доставлял ему наслаждение – как удачный парадокс.

– Что сказал Франциско, увидев вас здесь? – спросил он. Чуть вздрогнув, она повернулась к нему, но ответила ровным тоном:

Его пока нет здесь.

Пока нет? – Кажется, он изумился. – Вы уверены?

Так мне сказали.

Он закурил сигарету. Глядя на него, Дэгни пыталась представить себе, какую профессию он избрал для себя там, что ему нравилось и что он бросил, чтобы переселиться в долину. Однако картина никак не вырисовывалась, и ей пришло в голову невероятное желание, чтобы у него вообще не было никакой профессии, потому что любой труд казался слишком опасным для такой немыслимой красоты. Эта мысль не затрагивала ее лично, она смотрела на него не как на мужчину, а как на произведение искусства. Его красота лишь подчеркивала неустроенность внешнего мира – как можно подвергать испытаниям, передрягам и травмам, неизбежным для любящего свое дело человека, такое совершенство? Однако, возможно, ее сочувствие было в данном случае неуместно, потому что в чертах его прекрасного лица угадывалась твердость характера, которой нипочем любое испытание.

– Нет, мисс Таггарт, – произнес он, перехватив ее взгляд, – раньше мы не встречались.

Она поразились, осознав, что открыто изучает его.

– Откуда же вы меня знаете? – спросила она.

Во-первых, я много раз видел ваши фотографии в га зетах. Во-вторых, вы единственная

женщина из всех оставшихся во внешнем мире, которой, насколько я могу судить, позволительно оказаться в Долине Галта. В-третьих, вы единственная женщина, у которой в этих обстоятельствах хватает смелости оставаться штрейкбрехером.

Почему вы так уверены в моем отношении к забастовке?

Не будь вы ее противником, вы бы знали, что доисторическим миражом является не эта долина, а тот взгляд на жизнь, которого придерживаются люди вовне.

Они услышали шум мотора и увидели, как внизу перед домом остановилась машина. Дэгни обратила внимание, как быстро вскочил с кресла гость, завидев Галта. Если бы не очевидная радость на его лице, это выглядело бы как проявление армейской субординации.

Она увидела, как Галт, войдя в комнату, остановился, обнаружив посетителя, заметила, что он улыбнулся, но голос его прозвучал необычайно тихо, даже торжественно, будто его наполнило невысказанное облегчение:

Здравствуй.

Привет, Джон, – весело откликнулся гость.

Она обратила внимание, что они чуть замешкались с рукопожатием и что оно получилось чуть более продолжительным, как у людей, не вполне уверенных, не была ли их предыдущая встреча последней.

Галт повернулся к ней.

Вы знакомы? – спросил он, обращаясь к обоим.

Не совсем, – сказал гость.

Мисс Таггарт, позвольте представить вам Рагнара Даннешильда.

Дэгни догадывалась, что отразилось у нее на лице, когда она словно издали услышала голос Даннешильда:

– Не надо пугаться, мисс Таггарт. Здесь, в долине, я не опасен.

Она могла только потрясение качать головой, потом к ней вернулся голос, и она сказала:

– Дело не в том, что вы делаете с другими, а в том, что делают с вами они...

Его заразительный смех вывел ее из оцепенения:

Осторожно, мисс Таггарт. С такими чувствами вам недолго оставаться штрейкбрехером. – И добавил: – Но вам надо бы начать перенимать от здешних обитателей то, в чем они правы, а не их ошибки; они двенадцать лет тряслись из-за меня – и зря. – Он перевел взгляд на Галта: – Когда ты появился?

Вчера поздно вечером.

Садись. Позавтракаем вместе.

Но где Франциско? Почему его все еще нет?

Не знаю, – слегка нахмурился, сказал Галт. – Я толь ко что узнавал в аэропорту. Никаких известий от него.

Дэгни направилась на кухню, и Галт двинулся следом.

Не надо, – сказала она. – Сегодня этим занимаюсь я.

Я вам помогу.

Но здесь не то место, где просят помощи, правда? Он улыбнулся:

Это верно.

Никогда ей не было так приятно двигаться, ходить, не ощущая собственного веса; трость в руке осталась лишь элегантным штрихом, Дэгни переполняло приятное ощущение, что необходимость в трости исчезла, что походка становится легкой, четкой и прямой, а все движения – безупречно точными и естественными. Всему этому она порадовалась, когда ставила еду на стол перед двумя мужчинами. По ее поведению они видели, что она сознает, что они следят за ней, и она держалась, как актриса на сцене, как женщина на балу, как победительница

в негласном состязании.

Франциско будет приятно узнать, что его сегодня заменили вы, – сказал Даннешильд, когда она присоединилась к ним за столом.

Заменила?

Дело в том, что сегодня первое июня, а в этот день мы каждый год, вот уже двенадцать лет, завтракаем вместе.

Здесь?

Поначалу нет. Но здесь уже восемь лет – с тех пор как построен этот дом. – "Он, улыбаясь, пожал плечами: – Странно, что Франциско,, человек, за плечами которого более многовековая традиция, чем у меня, первым нарушил нашу традицию.

А мистер Галт? -,спросила она. – Сколько веков традиции за его плечами?

– У Джона? Совсем ни чего. Ничего в прошлом, но все в будущем.

Не будем говорить о веках, – вмешался Галт. – Рас скажи, каким для тебя был последний год. Потерял людей?

Нет.

Потерял время?

Ты хочешь сказать, был ли я ранен? Нет. Ни единой царапины с тех пор, десять лет назад, когда я только начинал, но об этом давно пора забыть. В этом году мне ничего не угрожало, в сущности, я оказался бы в большей опасности, заведя аптекой в каком-нибудь городишке в соответствии с указом десять двести восемьдесят девять.

Были поражения?

Нет. Потери в этом году несла противоположная сторона. Бандиты лишились большей части своих кораблей, которые перешли ко мне, а большинство их людей – к тебе. Для тебя год тоже был удачным, не правда ли? Я в курсе, следил за событиями. Со времени нашего последнего зав трака ты заполучил всех, кого наметил, в штате Колорадо и еще прихватил других, таких, как Кен Денеггер, – отличное приобретение. Но хочу сказать еще об одном, лучшем, – он почти твой. Скоро ты его получишь, он уже висит на тонкой ниточке И вот-вот свалится к твоим ногам. Этот человек спас мне жизнь, так что можешь себе представить, как далеко он зашел.

Галт откинулся на стуле, глаза его сузились.

– Так тебе вообще ничто не угрожало? Даннешильд рассмеялся:

– Я пошел на некоторый риск. Дело стоило того. Такой приятной встречи у меня никогда не было. Не мог дожидаться, чтобы рассказать. Тебе захочется услышать. Знаешь, о ком идет речь? О Хэнке Реардэне. Я...

– Нет!

Голос Галта прозвучал как приказ. Коротенькое слово было нагружено таким импульсом воли, какого никому из них не приходилось слышать от него раньше.

Что? – не веря своим ушам, тихо спросил Даннешильд.

Не рассказывай мне об этом сейчас.

Но ты всегда говорил, что больше всех хочешь видеть здесь Хэнка Реардэна.

Я и сейчас так думаю. Но расскажешь позже.

Дэгни внимательно следила за Галтом, но не видела разгадки, только замкнутый, бесстрастный взгляд, выражение решимости и сдержанности на лице, напряженную линию рта и натянувшуюся кожу на скулах. Независимо от того, что он о ней знал, единственным, что могло объяснить это, была информация, которой он не мог располагать.

– Вы знаете Хэнка Реардэна? – спросила она, поворачиваясь к Даннешильду. – И он спас вам жизнь?

– Да.

Я хочу услышать об этом.

А я нет, – сказал Галт.

Почему?

Вы не наш человек, мисс Таггарт.

Ах вот что! – Она улыбнулась с легким вызовом. – Не боитесь ли вы, что я помешаю вам сманить Хэнка Реардэна?

Дело не в этом.

Она заметила, что Даннешильд всматривается в лицо Галта, видимо, не понимая его поведения. Галт открыто выдержал его взгляд, словно приглашая поискать объяснение и потерпеть неудачу. Ей стало ясно, что Даннешильд так и не нашел объяснения, когда она увидела, как веки Галта смягчили жесткий прищур легкой усмешкой.

Что еще удалось тебе за этот год? – спросил Галт.

Я опроверг закон земного тяготения.

– Я знал, что ты этим постоянно занят. В какой на сей раз? С

А вот в какой: перелетел, нарушив все нормы грузоподъемности, на самолете с середины Атлантики до Коло rado с грузом золота. Посмотришь, что будет с Мидасом, когда я приду к нему с таким вкладом. Мои клиенты в этом году станут богаче на... Кстати, ты сказал мисс Таггарт, что она тоже мой клиент?

Пока нет. Можешь сделать это сам, если хочешь.

Кто я?.. Как вы сказали? – спросила она.

Не волнуйтесь, мисс Таггарт, – сказал Даннешильд. – И не протестуйте. Я привык к протестам. Все равно все здесь считают меня кем-то вроде фантазера. Никто здесь не одобряет моих методов борьбы. Ни Джон, ни доктор Экстон. Они полагают, что моя жизнь ценнее моих методов. Но понимаете, мой отец был епископом, и из всех его поучений я усвоил только одно: «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом»*.

Что вы имеете в виду?

Насилие непрактично. Если мои сограждане верят, что мною можно управлять, объединив против меня груды мышц, пусть они узнают, каков исход поединка, в котором на одной стороне только грубая сила, а на другой – сила, управляемая разумом. Даже Джон согласен, что в наш век у меня было моральное право избрать свой образ действий. Я делаю то же, что и он, но по-своему. Он лишает бандитов человеческого духа, я лишаю их продуктов человеческого духа. Он лишает их разума, я лишаю их богатства. Он забирает у мира душу, а я – тело. Он дает урок, который они должны усвоить, а я нетерпелив и ускоряю программу обучения. Но, подобно Джону, я просто сообразуюсь с их моральным кодексом и отказываюсь признать за ними право на двойную мораль за мой счет. Или за счет Реардэна. Или за ваш.

О чем вы говорите?

*Здесь Даннешильд цитирует Апокалипсис (:). (Прим ред.)

– О налогообложении налогоплательщиков. Большинство способов налогообложения сложно, а этот прост, потому что в нем обнажена сущность всех налогов. Я вам поясню.

Она слушала. Задорный юношеский голос тоном дотошного бухгалтера излагал сухой отчет о финансовых трансфертах*, банковских счетах, процентах подоходного налога, словно зачитывая пыльные страницы реестров, где каждая запись сделана ценой собственной крови, отданной в залог, и этот залог был бы немедленно востребован при малейшей ошибке бухгалтерского пера. Она слушала, и смотрела на лицо совершеннейшей красоты, и не могла не думать о том, что мир назначил многомиллионную награду, лишь бы сгноить эти прекрасные голову и тело в тюрьме... Лицо, которое показалось мне слишком красивым, чтобы обречь его

превратностям обычного ремесла, оцепенело размышляла она, пропуская половину его слов, образ, слишком изысканный, чтобы подвергать его риску... Ей внезапно открылось, что его физическое совершенство – всего лишь иллюстрация, истина, понятная ребенку, предъявленная ей в самой элементарной форме наглядная демонстрация природы внешнего мира и судьбы любой человеческой ценности в бесчеловечный век. Справедливо ли он поступает, или заблуждается, думала она, как могут они... Но нет! Он избрал справедливый путь, и в этом весь ужас: у справедливости не было выбора, и Дэгни не могла осудить его, не могла произнести ни слова упрека или одобрения.

– ...имена моих клиентов, мисс Таггарт, выбирались по степенно – одно за другим. Я не имею права на ошибку. И в этом списке тех, кому нужно возместить убытки, ваше имя стояло одним из первых.

Усилием воли она сохранила непроницаемое выражение лица, промолвив только:

Здесь: перевод иностранной валюты или 'золота из одной страны в другую. (Прим. ред.)

Понятно.

Ваш счет один из последних оставшихся неоплаченными. Вы найдете счет в банке Маллигана, можете востребовать его, как только присоединитесь к нам.

Понятно.

Ваш счет, однако, не так велик, как некоторые другие, даже с учетом того, что за последние двенадцать лет у вас принудительно изъяли немалые суммы. Вы увидите, это обозначено на копиях ваших деклараций о доходах, подлежащих налогообложению, – их вам передаст Маллиган, – что я вернул на ваш счет только подоходный налог, выплаченный вами в качестве вице-президента компании, но не налоги на доходы от ваших акций «Таггарт трансконтинентал». Вы заслужили эти деньги до последнего цента, и во времена вашего отца я возместил бы всю вашу прибыль, но когда компанией управлял ваш брат, дело не обошлось без бандитизма, компания получала прибыли за счет силы, правительственных льгот, субсидий, замораживания активов, за счет указов. Не вы несете ответственность за это, фактически вы пострадали от этой политики больше всех, но я возместил только суммы, полученные благодаря вашему умению вести дело, но не те доходы, которые компания наградила, хотя бы частично.

Понятно.

Завтрак подошел к концу. Даннешильд закурил сигарету и, выпустив клуб дыма, с минуту молча смотрел на Дэгни, видимо, понимая, какая жестокая борьба разворачивается в ее сознании. Потом, улыбнувшись, поднялся из-за стола.

Побегу, – сказал он, – жена ждет.

Кто? – изумилась Дэгни.

Жена, – весело повторил он, будто не понимая причины ее удивления.

Кто ваша жена?

Кей Ладлоу.

У нее все смешалось в голове, она не могла выстроить логическую цепь.

Когда же... когда вы женились?

Четыре года назад.

И вас не схватили во время брачной церемонии?

Нас обручил здесь судья Наррагансетт.

Но как можно... – Она пыталась остановить себя, но слова выскочили помимо ее воли, выражая недоуменное негодование, бессильный протест то ли против него, то ли против судьбы, то ли против внешнего мира, – она и сама не могла сказать. – Как она живет одиннадцать месяцев, зная, что каждую минуту с вами может... – Она не договорила.

Он улыбнулся, но ей была понятна огромная важность того дела, которое давало ему и его

жене право на такую улыбку.

– Она в состоянии выдержать это, мисс Таггарт, потому что мы не верим в то, что этот мир угоден печали, где чело век обречен на гибель. Мы не верим, что трагедия – наш жребий. Мы не живем в постоянном страхе перед несчастьем. Мы не ждем беды до того, как появятся реальные причины опасаться ее, а встретившись с ней, вступаем в борьбу. Неестественным мы считаем страдание, счастье для нас норма. В человеческой жизни горе – исключение из правила, успех же – в порядке вещей.

Галт проводил его до двери, вернулся, присел к столу и неторопливо налил себе еще чашку кофе.

Дэгни внезапно вскочила, будто подброшенная вверх давлением, сорвавшим клапан:

– И вы думаете, что я могу принять его деньги?

Он подождал, пока изогнутая струйка кофе не наполнила его чашку, потом поднял голову и сказал:

Да, я так думаю.

И зря! Я не хочу, чтобы он рисковал жизнью ради этого!

Это от вас не зависит.

Я могу никогда не потребовать этих денег!

Конечно.

Вот они и пролежат в банке до Судного дня!

Этого не случится. Если вы их не востребуете, часть суммы, очень малая, будет передана мне от вашего имени.

Как – от моего имени?

В оплату за стол и проживание в моем доме.

Она уставилась на него – сначала гневно, затем изумленно – и медленно опустилась на стул. Он улыбнулся:

– Как долго вы предполагаете оставаться здесь, мисс Таггарт? – Она смотрела на него беспомощным, непонимающим взглядом. – Вы об этом не думали? А я подумал. Вы пробудете здесь месяц. Месяц отпуска, как все мы. Я не спрашиваю вашего согласия, вы нас тоже не спрашивали, когда появились здесь. Вы нарушили наши правила, так что должны принять последствия. В течение этого месяца доли ну не покидают никто. Конечно, я мог бы сделать для вас исключение, но не сделаю. Нет такого правила, чтобы вас задержать, но, проникнув сюда по своей воле, вы дали мне право поступать, как мне заблагорассудится, и я намерен задержать вас, просто потому что вы нужны мне здесь. Если по истечении месяца вы решите вернуться, у вас будет такая возможность. Но не раньше.

Она сидела выпрямившись, мышцы ее лица расслабились, линия рта смягчилась слабым, но определенным, устойчивым намеком на улыбку; это была опасная улыбка противника, глаза ее холодно блестели, но были затуманены – такими глазами смотрит противник, который полностью настроен на борьбу, но надеется проиграть.

Очень хорошо, – сказала она.

Вы оплатите мне проживание и питание, не в наших правилах обеспечивать человека бесплатно. У некоторых из нас есть жены и дети, но и тут существует взаимообмен и взаиморасчет особого рода, – он взглянул на нее, – хотя это и не мой случай. Так что я буду брать с вас полдоллара в день, а вы рассчитаетесь со мной, когда признаете свое право на счет в банке Маллигана. Если вы от него откажетесь, Маллиган зачтет ваш долг и переведет мне деньги, когда я попрошу.

Я согласна на ваши условия, – ответила она; в ее голосе появились нотки расчетливого, спокойного, хладно кровного финансиста. – Но я не позволю использовать эти деньги для

покрытия моих долгов.

Как же вы собираетесь рассчитываться?

Я предпочла бы сама заработать деньги в оплату долга.

Каким образом?

Своим трудом.

В какой должности?

Исполняя обязанности вашей прислуги.

Впервые ей довелось увидеть реакцию Галта на неожиданность, и такую яростную, какой она и представить себе не могла. Галт взорвался смехом, будто в его укреплениях пробили огромную брешь, много большую, чем мог заключать прямой смысл ее слов. Она почувствовала, что вторглась в его прошлое, выпустила на волю какие-то воспоминания и образы, о которых не могла знать. Он хохотал, словно перед ним возник призрак далекого прошлого и он смеялся ему в лицо, будто это было его победой... и ее.

Если вы меня наймете, – говорила она строго и вежливо, не вкладывая в слова никакого чувства, в самой деле вой, безличной, будничной манере, – я буду готовить, убирать, стирать и делать все прочее, что положено прислуге, – все это в оплату комнаты, питания, а также за не большую сумму, чтобы купить кое-что из одежды. Травмы будут немного мешать работе первые дни, но вскоре все пройдет, и я буду полностью работоспособна.

Вы этого хотите? – спросил он.

Да, я этого хочу... – ответила она и замолчала, чтобы не произнести все, что подумала: «Больше всего на свете».

Он все еще улыбался, улыбка была веселой, это было веселье, которое легко могло перейти в сияющую радость.

– Хорошо, мисс Таггарт, – сказал он, – вы приняты на работу.

Она сухим, официальным жестом склонила голову в знак благодарности:

– Спасибо.

Я буду платить вам десять долларов в месяц помимо комнаты и питания.

Прекрасно.

В этой долине я первый нанимаю прислугу. – Он поднялся, сунул руку в карман и бросил на стол пятидолларовую золотую монету: – Аванс.

Потянувшись за монетой, Дэгни с удивлением обнаружила, что испытывает то же, что молодая девушка на своей первой работе: горячее, страстное, отчаянное стремление доказать свою пригодность.

– Да, сэр, – промолвила она, опустив глаза.

Оуэн Келлог появился в долине к вечеру на третий день.

Дэгни не могла сказать, что поразило его больше всего: ее появление на краю летного поля, когда он спускался по трапу, ее вид – тончайшая прозрачная блузка от самого дорогого нью-йоркского портного и широкая цветастая юбка, купленная в долине за шестьдесят центов, трость и бинты или корзина с провизией на ее руке.

Он спускался по трапу с группой мужчин, увидел ее, остановился, а потом бросился к ней, будто выброшенный из катапульты чувством таким сильным, что оно, независимо от его

природы, походило на ужас.

– Мисс Таггарт... – только и прошептал он, а она, смеясь, пыталась объяснить ему, как получилось, что она опередила его.

Он слушал, не воспринимая, казалось, значения ее слов, потом высказал то, от чего должен был прийти в себя:

Но мы думали, что вы погибли.

Кто думал?

Все... все там, ввне.

Ее улыбка сразу погасла, когда после радостных восклицаний он начал свой рассказ.

– Мисс Таггарт, разве вы не помните? Вы велели мне позвонить в Уинстон, штат Колорадо, сказать, что буде те там к следующему полудню, то есть позавчера, тридцать первого мая. Но вы не появились в Уинстоне, и к вечеру все радиостанции сообщили, что вы погибли в авиакатастрофе где-то в Скалистых горах.

Дэгни медленно кивала; до нее доходил смысл событий, о которых она не подумала.

– Я узнал об этом в поезде, – сказал он. – На маленькой станции где-то посреди штата Нью-Мексико. Нас там продержали целый час. Мы с начальником поезда звонили по междугородной связи, чтобы проверить сообщение. Оно поразило его, как и меня. В ужас пришли все – поездная бригада «Кометы», начальник станции, стрелочники. Они сгрудились вокруг меня, пока я связывался с редакциями газет в Денвере и Нью-Йорке. Нам мало что могли сообщить. Только что вы вылетели из Эфтона перед рассветом тридцать первого мая, что, по-видимому, вы преследовали какой-то неопознанный самолет, что дежурный аэропорта видел, как вы направились на юго-восток, и больше вас никто не видел... И что поисковые группы прочесывают горы в поисках обломков самолета.

Она невольно спросила:

«Комета» прибыла в Сан-Франциско?

Не знаю. Когда я прекратил поиски, она шла на север по Аризоне. Навалилось слишком много задержек, все время неполадки, распоряжения противоречили одно другому. Я сошел с поезда и за ночь добрался до Колорадо – на попутных грузовиках, в фургонах, на чем придется, лишь бы вовремя успеть туда, где ждал самолет Мидаса, чтобы собрать всех и переправить сюда.

Она неторопливо направилась по дорожке к машине, которую оставила у продуктового рынка Хэммонда. Келлог шел следом и, когда заговорил снова, приглушил голос и замедлил темп речи, будто у них обоих имелось нечто, что оба не хотели торопить.

– Я устроил на работу Джеффа Аллена, – сказал он, и его тон был очень торжественным, он больше подходил бы для слов: «Я выполнил вашу последнюю волю». – Начальник станции в Лореле усадил его за работу, едва мы добрались туда. Ему нужны были люди с хорошим здоровьем, а главное, с хорошей головой.

Они подошли к машине, но Дэгни не садилась.

Мисс Таггарт, вы не очень пострадали? Вы ведь сказали, что разбились, это не очень серьезно?

Нет, совсем несерьезно. Завтра я уже смогу обходиться без машины Маллигана, а через пару дней мне и эта штука не понадобится. – Она взмахнула тростью и небрежно швырнула ее в салон. Они стояли молча, она ждала.

Когда я звонил с той станции в Нью-Мексико по междугородной связи, последний звонок был в Пенсильванию. Я переговорил с Хэнком Реардэном. Рассказал ему все, что знал. Он выслушал меня, потом было долгое молчание, и наконец он сказал лишь: «Спасибо, что позвонили». – Келлог опустил глаза и добавил: – Вот уж никогда не по желаю себе еще раз услышать такое молчание.

Он поднял на нее глаза, в его взгляде она не заметила упрёка, только осознание того, о чем он не подозревал, когда услышал ее просьбу, того, что понял только потом.

– Спасибо, – сказала она и открыла дверцу машины. – Вас подвезти? Мне надо домой, чтобы приготовить обед к приходу хозяина.

Разбираться в своих чувствах она начала, когда вернулась в дом Галта и осталась одна в тишине залитой солнцем комнаты. Она смотрела из окна на горы, подпиравшие небо на востоке. Она думала о Хэнке Реардэне и видела, как он сидит за своим столом в двух тысячах миль отсюда, как осунулось и напряглось его лицо, защитившись неподвижной маской от агонии бесчисленных ударов, сыпавшихся на него все эти годы; она испытывала отчаянное желание вступить за него, присоединиться к его битве, бороться ради его прошлого, ради энергии в его лице и мужества, которое его поддерживало. Точно так же ей хотелось вступить в бой за «Комету», которая из последних сил тащилась через пустыню по разрушающемуся полотну гибнущей железной дороги. Она содрогнулась и закрыла глаза с чувством вины за двойное предательство, ощущая себя словно подвешенной между этой долиной и остальным миром, не имея права быть ни здесь, ни там.

Это чувство прошло, лишь когда она уселась за стол напротив Галта. Он смотрел на нее открытым, спокойным взглядом, словно в ее присутствии не было ничего необычного, словно его сознание не регистрировало ничего, кроме простого факта наличия женщины в доме.

Как бы приняв значение его взгляда, она выпрямилась на стуле и сухим, деловым тоном намеренно парировала его:

Я перебрала ваши рубашки и обнаружила, что на одной нет двух пуговиц, а на другой прохудился левый рукав. Починить их?

Да, конечно, если можете.

Конечно, могу.

Но этот обмен репликами не повлиял на характер его взгляда, в нем лишь отразилось удовлетворение, словно этого он от нее и ожидал. Все же она была не вполне уверена, можно ли назвать удовлетворением то, что отразилось в его взгляде. Зато была вполне уверена: ему совсем не хотелось, чтобы она вообще что-либо говорила.

Стол стоял у самого окна; за окном грозовые облака согнали остатки света с неба на востоке. Интересно, подумала Дэгни, почему мне так хочется удержать золотые пятна света на деревянной крышке стола, на поджаристой корочке булочек, на медном кофейнике, на волосах Галта – удержать, как маленький архипелаг на краю бездны.

Потом она услышала, как прозвучал ее голос – внезапно и помимо воли, и поняла: вот предательство, которого она хотела избежать:

Вы разрешите мне связаться с внешним миром?

Нет.

Совсем никак нельзя? Хотя бы записку без обратного адреса? Простое сообщение, не выдающее никаких ваших секретов.

Отсюда – нет. В течение месяца. А для чужаков ни когда.

Она обратила внимание, что избегает смотреть ему в глаза, и, подняв голову, заставила себя встретить его взгляд. Теперь он смотрел иначе – пристально, неподвижно, с беспощадным пониманием. Он спросил, глядя на нее так, будто знал причину ее любопытства:

Вы хотите попросить, чтобы для вас сделали исключение?

Нет, – ответила она, выдержав его взгляд.

На следующее утро, после завтрака, когда Дэгни сидела в своей комнате, накладывая аккуратную заплатку на рукав его рубашки, для чего она притворила дверь, чтобы он не видел, как она неумело старается справиться с непривычным делом, она услышала шум подъехавшей к

дому машины.

Послышались торопливые шаги Галта, он пересек гостиную, распахнул входную дверь и воскликнул с сердито-радостным облегчением:

– Ну, наконец!

Она поднялась, но осталась на месте, услышав, как внезапно изменился и стал серьезным его голос, очевидно, что-то поразило его:

– Что случилось?

Послышался чистый, спокойный голос, ровный тон которого, однако, выдавал крайнюю усталость:

– Привет, Джон.

Она уселась на кровать, силы, казалось, оставили ее, – она услышала голос Франциско.

Раздался голос Галта, он строго и участливо спросил:

В чем дело?

Расскажу потом.

Почему так поздно?

Через час я должен уехать.

Уехать?

Джон, я приехал только для того, чтобы сообщить тебе, что в этом году не смогу остаться.

Последовало молчание, потом Галт тихо и серьезно произнес:

– Неужели так скверно, что бы там ни было?

Да. Может... может, я вернусь до конца месяца. Не знаю. – Он прибавил, делая, видно, отчаянное усилие: – Не знаю, надеяться ли, что удастся справиться за это время.

Франциско, у тебя еще хватит сил для шока?

Меня уже ничто не может шокировать.

У меня остановился человек, которого ты должен по видеть. Тебя это поразит, так что лучше тебе знать, что этот человек не из наших.

Что? Не из наших? И в твоём доме?

Позволь, я тебе все расскажу, как...

Нет уж! Это я должен видеть сам!

Она услышала презрительный смех Франциско и быстрые шаги. Дверь в ее комнату распахнулась, и Дэгни смутно запомнила, что закрыл ее Галт, оставив их наедине.

Сколько времени Франциско смотрел на нее, она не помнила, потому что полное сознание вернулось к ней в тот момент, когда она увидела его перед собой на коленях; он бросился к ней, прижался лицом к ее ногам, все его тело дрожало, потом замерло, дрожь передалась ей и вывела ее из оцепенения.

Она с удивлением осознала, что нежно гладит рукой его волосы и думает, что у нее нет на это права, чувствует, как из ее руки будто изливается умиротворяющий поток и обволакивает их обоих, разглаживая прошлое. Франциско не двигался, не издавал ни звука, все, что он должен был сказать, говорила его поза.

Когда Франциско поднял голову, он выглядел так же, как ощущала себя она, впервые очнувшись в этой долине: будто в мире никогда не существовало боли. Он смеялся.

– Дэгни, Дэгни, Дэгни... – Его голос звучал так, будто это было не долго скрываемое признание, которое прорва лось наружу, а простое повторение давно известного, неоднократно высказанного, что теперь просто смешно утаивать. – Конечно, я люблю тебя. Ты испугалась, когда он заставил меня сказать это? Я повторю это столько раз, сколько ты захочешь: я люблю тебя, дорогая, люблю и всегда буду любить... Не бойся меня... Неважно, если мне больше не знать тебя, какое это имеет значение? Ты жива, ты здесь, и теперь ты все знаешь. И все

оказалось так просто, правда? Тебе понятно, как все получилось и почему я должен был покинуть тебя? – Он обвел рукой долину: – Вот она, теперь это и твоя земля, твое царство, твой мир... Дэгни, я всегда любил тебя, и именно любовь заставила меня покинуть тебя.

Он схватил ее руки, прижал к своим губам и так держал; это был не поцелуй, а долгожданный отдых; речь будто отвлекала его от главного факта – ее присутствия здесь; его разрывало желание высказать сразу многое, распирало множество слов, скопившихся за годы молчания.

– Женщины, за которыми я гонялся... Ты ведь не поверила этому, правда? Я не дотронулся ни до одной, и ты, конечно, знала об этом, знала всегда. Повеса – это роль, которую я должен был играть, чтобы меня не заподозрили, пока я разрушал «Д'Анкония коппер» на глазах у всего мира. Таков изъян их системы: они мгновенно ополчаются против человека честного и достойного, но подай им никчемного бездельника, и они увидят в нем приятного и безопасного – безопасного!. – человека. Так они смотрят на жизнь, и когда они только разберутся, приятна ли некомпетентность и безопасно ли зло!.. Дэгни, в ту ночь, когда я понял, что люблю тебя, я понял и то, что должен уйти. Когда ты вошла в мой номер в отеле в ту ночь, когда я увидел, как ты выглядишь, и понял, что ты за человек и что ты значишь для меня... и что тебя ожидает в будущем. Будь ты чем-то меньшим, ты, может быть, и задержала бы меня на какое-то время. Но ты, именно ты сама была последним доводом, который побудил меня оставить тебя. В ту ночь я попросил тебя о помощи – в противодействии Джону Галту. Но я понимал, что ты – его самое сильное оружие в борьбе со мной, хотя, конечно, ни ты, ни он не могли этого знать. Ты была всем, что он искал, всем, за что, говорил он, мы должны жить или умереть, если потребуется... Той весной, когда он внезапно призвал меня в Нью-Йорк, я был готов служить ему. До этого я некоторое время не имел с ним связи. Он сражался за то же дело, что и я. И он знал как... Ты помнишь? Тогда ты ничего не слышала обо мне три года. Дэгни, когда дело отца перешло ко мне, когда я столкнулся с мировой экономической системой, тогда-то я начал прозревать природу зла – у меня уже возникли подозрения, которые я вначале счел слишком чудовищными, чтобы поверить им. Я увидел раковую опухоль налогов, которая разрасталась веками, как гангрена, высасывая из нас жизненные соки без всякого на то права, писаного или неписаного. Я видел, как правительство душит меня своими указами, потому что я преуспел, и помогает моим конкурентам, потому что они бездельничали и потерпели крах... Я видел, как профсоюзы выигрывали все свои иски против меня в благодарность за то, что я обеспечивал их существование. Я видел, что желать незаработанных, незаслуженных трудом денег считается вполне правомерным, но если человек стремится больше заработать, его клеймят как стяжателя. Я видел, как политики, подмигивая мне, говорят, чтобы я не дергался, – просто надо чуть больше работать, и я внакладе не останусь. Я мог поступиться сиюминутными выгодами, но видел, что чем больше тружусь, тем крепче затягивается петля на моем горле; я видел, как моя энергия уходит в песок; я видел, что паразиты, которые кормились благодаря мне, в свою очередь становились пищей для других, попадались в собственный капкан... И все это не имело никакого разумного объяснения, никто не знал, почему, зачем и куда этот чудовищный насос откачивает животворные соки мира, чтобы они пропадали где-то в непроглядной мгле, куда никто не осмеливается заглянуть, – люди только пожимали плечами и говорили, что жизнь на земле устроена по закону зла. И тогда я прозрел: вся промышленная система мира с ее великолепной техникой, тысячетонными домнами, трансатлантическими кабелями, роскошными деловыми центрами, биржами, ослепительной рекламой, со всей ее мощью и богатством, – вся она управляется не банкирами, не советами директоров, а небритым гуманистом из пивнушки в каком-нибудь подвале, типом с опухшим от ненависти лицом, который проповедует, что добро должно быть наказано за то, что оно – добро, что задача талан

та – служить бездарности, а у человека есть одно право – существовать ради других... Я прозрел, но не знал, как бороться. Это знал Джон. Когда он нас позвал в Нью-Йорк, мы приехали к нему вдвоем – Рагнар и я. Он сказал, что мы должны делать и какие люди нам нужны. Сам он уже ушел из «Твентис сенчури» и жил тогда на чердаке в трущобе. Он подошел к окну и показал нам небоскребы ночью. Он сказал, что нам придется погасить огни мира, и, когда мы увидим потухшие огни Нью-Йорка, мы поймем, что наше дело сделано. Он велел нам все обдумать, взвесить, что это означает для нас и как это перевернет нашу жизнь. На другой день утром я дал ему ответ, а Рагнар несколькими часами позже... Дэгни, это утро настало после нашей последней ночи. У меня было что-то вроде видения того, за что я должен сражаться – за то, как ты выглядела в ту ночь, за то, как ты говорила о своей железной дороге, за то, какой ты была, когда мы пытались разглядеть силуэт Нью-Йорка с вершины скалы над Гудзоном... Я должен был спасти тебя, расчистить путь перед тобой, помочь тебе обрести твой город... и не позволить пустить по ветру годы твоей жизни, не дать тебе дышать отравленным туманом, пока твой взор еще устремлен вперед, а голова поднята навстречу солнцу, не дать тебе найти в конце жизни не башни обетованного города, а жирного, рыхло-равнодушного калеку, ублажающего себя сивухой, за которую уплачено твоей жизнью... Чтобы ты не знала радости жизни во имя того, чтобы он знал? Чтобы ты служила удобением для других? Чтобы ты оказалась пьедесталом для недоумка? О нет! Дэгни, вот что предстало перед моими глазами, вот что я узрел. Нет, этого я им не мог позволить! Этого я не мог допустить – ради тебя, ради любого ребенка, который смотрит в будущее с тем же выражением, какое я видел у тебя, ради любого другого человека, душа которого схожа с твоей и который способен испытывать гордое самосознание, уверенное, светлое и радостное. Такова была моя любовь, в таком душевном состоянии я покинул тебя, чтобы бороться за нее. Я знал, что, даже если потеряю тебя, я все же буду завоевывать тебя, сражаясь за это дело. Тебе ведь все теперь понятно, правда? Ты видела долину. Именно это мы с тобой искали, когда были детьми. И мы нашли. Чего еще мне желать? Только видеть тебя здесь. Джон сказал, что ты еще не с нами. Ну, это вопрос времени, ты будешь с нами, одной из нас, потому что ты такой всегда и была, а если тебе все же понадобится время, мы подождем. Главное, что ты жива и мне не надо больше летать над горами в поисках обломков твоего самолета.

У нее перехватило дыхание, она поняла, почему он не появился в долине вовремя.

Он рассмеялся:

Не надо смотреть на меня так, будто я сплошная рана, до которой страшно дотронуться.

Франциско, я причинила тебе столько боли...

Нет! Никакой боли ты мне не причинила. И он тоже. Не говори так. Сейчас больно ему, но мы его спасем, и он тоже окажется здесь, здесь его место, и он все узнает и тоже сможет над всем этим посмеяться. Дэгни, я не думал, что ты будешь ждать, не надеялся, я знал, на что шел, чего мог ожидать, и если кто-то должен быть у тебя, я рад, что им оказался он.

Она закрыла глаза и сжала губы, чтобы не застонать.

– Дорогая, не надо! Разве ты не видишь, что я смирился?

Но ведь это не он, думала Дэгни, совсем не он, и я не могу открыть правду, потому что тот человек, возможно, никогда не узнает правды от меня, никогда не станет моим.

– Франциско, я действительно любила тебя, – сказала она и замерла, поразившись, так как совсем не собиралась этого говорить, и одновременно – тому, что употребила прошедшее время.

– Но ты любишь меня, – спокойно улыбаясь, сказал он. – Ты все еще любишь меня, даже если существует толь ко одна форма, в которой выражается твоя любовь ко мне, она останется, ты всегда будешь ее чувствовать, хотя и не Уступишь больше этой любви. Я остался таким же, и ты всегда будешь это знать и так же отзываться на меня, даже если другой мужчина будет

вызывать в твоём сердце большой отклик. Но как бы ты ни относилась к нему, это не изменит твоего отношения ко мне, твоего чувства, и это не будет предательством, потому что корень у чувства один, одна и та же плата за одни и те же ценности. И что бы ни случилось в будущем, мы останемся друг для друга такими же, как прежде, потому что ты всегда будешь любить меня.

Франциско, – прошептала она, – так ты знаешь об этом?

Конечно. Разве тебе непонятно? Дэгни, счастье едино во всех формах, всякое желание движимо одной силой – любовью к единственной ценности, к высочайшему потенциалу всей нашей жизни, и каждый наш успех – выражение этой любви. И все наши достижения свидетельства тому. Взгляни вокруг. Видишь, как много открыто нам здесь, на свободной земле. Как много я могу сделать, испытать, достигнуть здесь! И все это – часть того, чем являешься для меня ты, так же, как я часть этого для тебя. И если я увижу, что ты с восхищением рассматриваешь новую медеплавильню, которую я построил, это будет другой формой того, что я испытывал, лежа с тобой в постели. Буду ли я желать тебя? Буду отчаянно. Буду ли я завидовать другому счастливцу? Конечно. Но какое это имеет значение? Уже так много просто видеть тебя здесь, любить тебя и жить.

Как будто исполняя торжественное обещание, опустив глаза, склонив голову, словно принося ему свое поклонение, она медленно, с серьезным выражением лица произнесла:

– Простишь ли ты меня?

Он удивленно взглянул на нее, потом, вспомнив, весело улыбнулся:

– Пока нет. Хотя и нечего прощать, но я прощу, когда ты присоединишься к нам.

Он встал сам и поднял на ноги ее. Когда он обнял ее, поцелуй подвел итог их прошлому и, как печать, скрепил этот итог.

Когда они вышли в гостиную, Галт повернулся к ним. Все это время он стоял у окна и смотрел на долину. Дэгни была уверена, что он простоял так долго. Она видела, что он внимательно всматривается в их лица, медленно переводя взгляд с одного на другого. Увидев, как изменилось лицо Франциско, он позволил себе расслабиться. Франциско, улыбаясь, спросил:

Почему ты так пристально смотришь на меня?

А ты знаешь, как выглядел, когда появился?

Как выглядел? Это потому, что я три ночи не спал. Джон, не пригласишь ли ты меня поужинать? Я хочу узнать, как здесь появился этот штрейкбрехер, но боюсь заснуть на полуслове, хотя на сей момент у меня такое ощущение, что сон мне никогда больше не понадобится. В общем, думаю, мне сейчас лучше отправиться домой и про быть там до вечера.

Галт наблюдал за ним, слегка улыбаясь:

Разве ты не собирался через час покинуть долину?

Что? Нет... – с удивлением начал Франциско, но тут же спохватился: – А, нет. – Он громко и радостно рассмеялся. – В этом нет необходимости. Ну конечно, я ведь не успел сказать тебе причину. Я искал Дэгни, искал обломки ее самолета. Сообщили, что она разбилась в Скалистых горах и останки ее не найдены.

Ясно, – спокойно сказал Галт.

Я мог подумать что угодно, но чтобы она выбрала для аварии Долину Галта! – продолжал Франциско счастливым тоном, это был тот тон радостного облегчения, когда ужас прошедшего почти смакуешь, ликуя в настоящем. – Я летал между Эфтоном, штат Юта, и Уинстоном в штате Колорадо, осматривая каждую вершину, каждое ущелье, обломки машин в ущельях, и всякий раз, когда видел их, я... – Он замолчал, по его телу пробежала дрожь. – Ночью мы отправлялись на поиски пешком, сколотив поисковые группы из железнодорожников Уинстона; мы шли наугад, вслепую карабкаясь по горам, вперед и вперед, без всякого плана, и так до рассвета... – Он

передернул плеча ми, отгоняя воспоминания: – Даже злейшему врагу не по желаю пережить такое.

Он замолчал, улыбка сошла с его лица; вернулся слабый отблеск того выражения, которое не сходило с него последние три дня; в его памяти вдруг возник забытый на время образ.

После долгой паузы он повернулся к Галту.

– Джон, – его голос звучал до странности серьезно, – не могли бы мы известить людей вовне на тот случай, если там... может быть, там кто-то так же тревожится, как я?

Галт прямо смотрел на него:

– Не хочешь ли ты облегчить чужаку страдания, вы званые тем, что он остается вовне?

Франциско опустил глаза, но ответ был тверд:

Нет.

Жалость, Франциско?

Да. Но забудь об этом. Ты прав.

Галт отвернулся, движение это выглядело нехарактерным для него – произвольным и угловатым.

Он стоял спиной к ним. Франциско удивленно смотрел на него, потом мягко спросил:

– В чем дело?

Галт повернулся к нему и некоторое время смотрел на него не отвечая. Дэгни не могла определить, какое чувство смягчило черты лица Галта, в них отражались нежность, боль и улыбка и еще нечто большее, в чем были сплавлены все эти переживания.

– Чего бы ни стоила наша борьба каждому из нас, – сказал Галт, – тебе она обошлась дороже всего.

– Кому? Мне? – Франциско иронически усмехнулся, будто не веря своим ушам. – Вот еще! Что с тобой? – Он посмотрел на Галта: – Жалость, Джон?

– Нет, – твердо ответил Галт.

Она заметила, что Франциско смотрит на него, озадаченно нахмурясь, потому что, отвечая ему, Галт смотрел на нее.

Впечатление, которое произвело на нее первое посещение жилища Франциско, несколько не походило на впечатление, возникшее у нее, когда она впервые увидела это одинокое строение снаружи. Она совсем не ощущала трагического одиночества, напротив – животворную радость. Комната поражала простором и простотой; дом был сработан искусно, при этом обнаруживая типичные для Франциско решительность и нетерпение; он больше походил на времянку первопроходца, поставленную как трамплин для затяжного прыжка в будущее: искателя ждало такое обширное поле деятельности, что ему некогда было обставить свою базу с комфортом. Дом был чист и прост – не как жилье, а как недавно поставленный первый ярус строительных лесов для возведения небоскреба.

Закатав рукава рубашки, Франциско с видом владельца замка стоял посреди небольшой гостиной. Из всех мест, на фоне которых Дэгни доводилось его видеть, это подходило ему больше всего. Простота одежды в сочетании с осанкой придавала ему облик истинного аристократа; точно так же безыскусность обстановки сообщала дому вид патрицианского убежища. Лишь один королевский штрих вносил ноту роскоши: в маленькой нише, вырубленной

в бревенчатой стене, стояли два старинных серебряных кубка; их изысканный орнамент наверняка потребовал огромного мастерства – большего, чем возведение хижины; орнамент на кубках потускнел от времени, более долгого, чем потребовалось для того, чтобы выросли сосны, пошедшие на стены дома. Стоя посреди дома, Франциско, с его естественной раскованностью, был явно горд своим жильем; его улыбка, казалось, говорила: вот я какой, и таким я был все эти годы.

Дэгни перевела взгляд на серебряные кубки.

– Да, – ответил он на ее невысказанную догадку, – они принадлежали Себастьяну Д'Анкония и его жене. Это все, что я захватил с собой из своего дворца в Буэнос-Айресе. Да еще фамильный герб над дверью. Это все, что мне хотелось сохранить. Остальное сгинет через несколько месяцев. – Он усмехнулся. – Они захапают все, что осталось от копей, но их ждет сюрприз. Осталось там немного.

А что касается дворца, то средств не хватит даже на отопление.

А что потом? – спросила она. – Куда ты отправишься?

Я? Я отправлюсь работать на «Д'Анкония коппер».

То есть?

Помнишь старый клич: «Король мертв, да здравствует король!»? Когда с останками собственности моих предков будет покончено, моя шахта станет новым молодым телом «Д'Анкония коппер», станет той собственностью, какую хотели иметь мои предки, ради которой они работа ли, но которой никогда не владели.

Твоя шахта? Что за шахта? Где?

Здесь, – сказал он, указывая на горные пики. – Разве ты не знала?

Нет.

Я владею медными копиями, до которых бандитам не добраться. Здесь, в этих горах. Я провел изыскательские работы, обнаружил медь и оценил запасы. Уже больше восьми лет назад. Мне первому в этой долине Мидас про дал землю. Я приобрел эту шахту. Все сделал своими руками, начал так же, как в свое время Себастьян Д'Анкония. Теперь я поставил там управляющего, он был моим лучшим металлургом в Чили. Шахта дает столько меди, сколько нам нужно. Прибыль размещаем в банке Маллигана. Через несколько месяцев у меня останется только это. И это все, что мне нужно.

«...чтобы завоевать мир» – так он мог бы закончить, судя по тому, как звучал его голос. И Дэгни поразила разница между тем, как произнес слово «нужно» он, и тем, как пошло звучит оно в устах людей нынешнего времени – постыдно, унижительно, просительно, наполовину как нытье, наполовину как угроза, как мольба нищего и наезд уголовного одновременно.

– Дэгни, – говорил между тем он, стоя у окна и рассматривая, казалось, не пики гор, а пики времени, – возрождение «Д'Анкония коппер» и возрождение мира должны начаться здесь, в Соединенных Штатах. Это единственная в истории страна, которая возникла не по воле слепого случая, не из племенных раздоров, а по воле разумных человеческих действий. Она строилась на верховенстве разума и в течение одного блестящего столетия искупила пороки мира. Ей придется сделать это снова. «Д'Анкония коппер» сделает первый шаг отсюда, и все истинные человеческие ценности начнут свой победный марш отсюда, потому что весь остальной мир оказался во власти тех псевдоистин, которые он накапливал веками: вера в мистику, верховенство иррационального, которое возводит в конце своего пути только два монумента – сумасшедший дом и кладбище... Себастьян Д'Анкония совершил одну ошибку: он принял систему, провозгласившую, что собственность, которую он заработал, должна принадлежать ему не по праву, а по разрешению. Его наследники заплатили за эту ошибку. Последним заплатил я... Надеюсь, я увижу день, когда, разрастаясь от своего корня в этой почве, «Д'Анкония

копเปอร์» покроем всю землю своими шахтами, копиями, плавильнями и вернется в мой родной край, и я первым начну перестройку моей страны. Я могу представить себе это, но не могу быть уверен. Никому не дано предсказать, когда люди захотят вернуться к разуму. Может случиться так, что к концу своей жизни я ничего не создам, кроме этой шахты – "Д'Анкония коппер Но " в Долине Галта, штат Колорадо, США. Но помнишь, Дэгни, моей мечтой было удвоить добычу меди по сравнению с отцом? Даже если в конце жизни я буду выдавать лишь фунт меди в год, я все равно буду богаче отца, богаче всех моих предков с их тысячами тонн, потому что этот фунт будет моим по праву и послужит такому миру, который это право признает!

Это был Франциско их детства – его манеры, его движения, его сверкающие глаза; и она начала расспрашивать его о шахте с тем же интересом, как когда-то во время прогулок по берегам Гудзона расспрашивала о его промышленных проектах, вновь переживая тогдашнее ощущение безграничности будущего.

– Я возьму тебя с собой на шахту, – сказал он, – как только твоя нога заживет. Там надо преодолеть крутой подъем, тропинка годится только для мулов, машинам пока не пройти. Вот, посмотри чертежи новой плавильни. Я уже изрядно над ней поработал, она велика для нынешних объемов производства, но когда добыча руды вырастет, это будет то, что надо, увидишь, сколько мы сэкономим времени, труда и денег!

Они сидели рядом на полу, склонившись над чертежами, которые он расстелил перед ней, и разглядывали переплетения линий – с тем же жаром и увлечением, как когда-то рассматривали груды металлолома на свалке.

Она подалась вперед, как раз когда он потянулся за очередным листом, и невольно прижалась к его плечу. Она бессознательно замерла на мгновение в этом положении и подняла глаза на него – всего лишь краткая пауза в движении. Он тоже смотрел на нее сверху, не скрывая своего чувства, но и не претендуя на большее. Она отстранилась, осознав, что испытывает то же желание, что он.

В этот момент, все еще сохраняя вернувшееся ощущение того чувства, которое она испытывала к нему в прошлом, она впервые ясно осознала то, что постоянно присутствовало в этом чувстве и объясняло его, – радость жизни, праздничное предвкушение будущего. Именно это всегда присутствовало в ее отношениях с Франциско – предвкушение радостей будущего, подобное тому ликованию, с которым делают первый взнос в оплату чего-то грандиозного, подтверждая для себя реальность будущего счастья. И в тот же момент она осознала, что это ее будущее приобретает черты настоящего, воплощаясь в конкретном образе – образе человека, стоящего у двери небольшого строения из гранита. Вот воплощение мечты, во имя которой я живу, подумала она, оно – в этом человеке, который, возможно, так и останется для меня недостижимой мечтой.

Но ведь это, с изумлением подумала она, не что иное, как тот взгляд на человеческую судьбу, который я так страстно ненавидела и яростно отвергала, взгляд, согласно которому человека постоянно влечет к себе сияющее впереди видение, образ недостижимого, того, к чему постоянно стремятся, но чего никогда не получают. Моя система ценностей, думала она, мои жизненные установки не могли привести меня к этому: я никогда не видела прелести в мечтах о невозможном, а возможное никогда не считала недоступным... И вот это случилось, а ответа у нее не было.

Я не могу отказаться от него ценой отказа от мира, думала она в тот вечер, глядя на Галта. В его присутствии найти ответ было еще труднее. Ей казалось, что проблемы вовсе нет, что ничто не заставит ее отказаться видеть его, никакая сила не вынудит ее уехать. Но одновременно она чувствовала, что если бросит свою железную дорогу, то потеряет право смотреть на него. Она чувствовала, что он принадлежит ей, что они оба с самого начала поняли то, о чем не

обмолвились ни словом. Но тут же ей казалось, что он может исчезнуть из ее жизни и когда-нибудь где-нибудь во внешнем мире равнодушно пройдет мимо.

Она обратила внимание, что он не спрашивал ее о Франциско. Она сказала, что посетила дом Франциско, и не заметила никакой реакции с его стороны – ни одобрения, ни недовольства. Ей показалось, что по его лицу пробежала чуть заметная тень: он выглядел так, будто намеренно старался ничего не чувствовать по этому поводу.

Сначала у нее возникло смутное опасение, потом оно переросло в вопрос, а вопрос перерос в душевную боль, которая все глубже въедалась в душу и саднила все последующие вечера, когда Галт уходил из дому, оставляя ее одну. Он уходил после ужина каждый второй вечер, не говоря, куда идет. Возвращался он в полночь или позднее. Дэгни запрещала себе определять меру душевной тревоги и беспокойства, с которыми она дожидалась его возвращения. Она не спрашивала его, где он проводит вечера. Нежелание расспрашивать его коренилось в излишне страстном желании знать, где он пропадает. К молчанию ее побуждало смутно осознаваемое упрямое чувство вызова, направленного и против него, и против собственной тревоги.

Она не хотела признаться себе, чего боится, и не хотела выразить свои опасения словами; она только ощущала, как какое-то неприятное, непризнаваемое чувство настойчиво охватывает ее душу. Отчасти это была яростная обида, какой ей не приходилось испытывать раньше, обида, источником которой был страх, что в его жизни может быть какая-то женщина. Однако обида смягчалась рассуждением: если ее подозрение справедливо, то с его стороны это вполне естественное, здоровое проявление, и с такой опасностью можно бороться, в конце концов, с ней можно смириться. Но существовало и другое, более ужасное подозрение, которое страшно было вменить ему: что, если за этим стоит малопривлекательная форма самопожертвования, что, если он хочет уйти с ее дороги, чтобы одиночество снова бросило ее к человеку, который является его лучшим другом.

Прошли дни, прежде чем она решилась. За ужином, перед его уходом, видя, как он с удовольствием ест приготовленную ею пищу, и невольно радуясь этому, под влиянием внезапного побуждения, помимо собственной воли, будто картина вечернего застолья на кухне давала ей особое право, природу которого она не осмеливалась уяснить себе, будто не ее боль, а ее радость преодолела ее сопротивление, она вдруг услышала, что спрашивает его:

– Чем вы заняты каждый второй вечер?

Он ответил просто, видимо, приняв как данность, что ей уже известно об этом:

Читаю лекции.

Что?

Читаю курс лекций по физике, я делаю это каждый год в этот месяц. Это моя... Что вас так развеселило? – спросил он, увидев на ее лице облегчение, – оно озарилось радостью, которая, казалось, не могла иметь отношения к его словам.

Тотчас же, еще не слыша ответа, он тоже вдруг улыбнулся, словно догадался об ответе. В его улыбке она увидела что-то особенное, очень личное и интимное, интимное почти до дерзости, и эта дерзость резко контрастировала с его тоном, когда он продолжил говорить – обыденно и безлично:

– Вы уже знаете, что в этот месяц мы обмениваемся знаниями, каждый по своей настоящей специальности. Ричард Хэйли согласился давать концерты, Кей Ладлоу – появляться в двух пьесах тех авторов, которые не пишут для внешнего мира... а я читаю лекции, докладываю о работе в течение го да.

Бесплатные лекции?

Естественно, нет. Десять долларов с человека за курс лекций.

– Я хочу послушать вас. Он покачал головой:

Нет. Вам разрешается пойти на концерт или любую развлекательную программу, но не на мои лекции или другие познавательные мероприятия, так как вы можете вынести идеи во внешний мир. Кроме того, все мои слушатели, или, если угодно, ученики, ходят с определенной практической целью. Это Дуайт Сандерс, Лоуренс Хэммонд, Дик Макнамара, Оуэн Келлог и другие. В этом году у нас новичок, Квентин Дэниэльс.

Вот как, – сказала она почти с завистью. – Как он может позволить себе такой дорогой курс?

В кредит и в рассрочку. Он того стоит.

Где проходят лекции?

В ангаре на ферме Дуайта Сандерса.

А где вы работаете в течение года?

В своей лаборатории. Она осторожно спросила:

А где ваша лаборатория? Здесь, в долине?

Он посмотрел ей прямо в глаза, давая понять, что вопрос его забавляет и что ее цель ему понятна, потом ответил:

Нет.

Вы все эти двенадцать лет жили во внешнем мире? -Да.

– И работаете, – мысль казалась ей недопустимой, – на обычной работе, как все?

– Конечно. – Усмешка в его глазах имела какое-то особое значение.

Уж не хотите ли вы сказать, что работаете младшим помощником бухгалтера?

Нет, не младшим помощником.

Тогда кем же?

У меня такая работа, которой желает от меня внешний мир.

И где это?

Он покачал головой:

– Нет, мисс Таггарт. Если вы решите уехать из долины, вам этого знать не дозволено.

Он снова улыбнулся той же уверенной понимающей улыбкой, которая, казалось, говорила, что он сознательно прибегает к угрозе, которая, конечно, содержалась в его словах, понимая, что это означает для нее. Потом он поднялся из-за стола.

Когда он ушел, ей показалось, что время замедлило свой бег и налилось в тишине дома давящей тяжестью, как малоподвижная густая текучая масса, которая заполнила все пустоты в неощутимом движении, так что она не могла судить, минуты проходили или часы. Она легла, вытянувшись в кресле, скованная вялостью и безразличием; ею двигали не лень или физическая усталость, а подавленная жажда самых решительных действий, неутолимая никакими полумерами.

Как приятно было смотреть, думала она, лежа неподвижно, закрыв глаза, чувствуя, что мысли и образы разворачиваются тягуче, как время, скрываясь за полупрозрачной кисеей, с каким удовольствием он ест приготовленный мною завтрак; как приятно было знать, что я тем самым доставляю ему чувственное наслаждение, являюсь источником радости для его тела... Вот почему женщине хочется готовить еду для мужчины... конечно, не из чувства долга, не в качестве дела всей жизни, а изредка, как своего рода ритуал, как символ чего-то... Но во что превратили это ревнители женской доли, требующие неукоснительного исполнения ею предначертанного долга?.. Они постановили, что подлинная добродетель женщины состоит в том, чтобы изо дня в день безропотно заниматься нудным, монотонным домашним трудом, а то, что придает этому труду смысл и радость, объявили позорным грехом. Они постановили, что участь женщины – иметь дело с жиром, мясом и картофельными очистками, а ее место – на пропитанной запахами, затопленной паром кухне. В этом она должна видеть духовный смысл

своей жизни, моральный долг и предназначение. Когда же она отдается в спальне, то это уступка животному инстинкту, плотская забава, в которой ни одна из сторон не стяжает духовной славы и не придаст своей жизни ни нового смысла, ни значения.

Дэгни резко вскочила. Нет, она не хочет думать о внешнем мире и его моральном кодексе. Впрочем, она тут же поняла, что мысли ее заняты отнюдь не внешним миром. Но и то, к чему независимо от ее воли постоянно возвращались ее мысли, – нет, и о нем она запретит себе думать, как бы он ни притягивал ее...

Она ходила по комнате и ненавидела себя за эти бесцельные, несобранно-порывистые движения. Она разрывалась между потребностью нарушить движением эту неподвижную тишину и сознанием, что это не принесет ей облегчения. Она закуривала сигарету, создавая иллюзию целенаправленного действия, и тут же бросала, сознавая бесплодность такого суррогата. Как отчаявшаяся нищенка, она оглядывала комнату в поисках вещи, которая подбросила бы ей стимул, побудила к конкретному занятию – почистить, починить, отполировать, и понимала, что никакое занятие не стоит затрачиваемых усилий. Когда ничто не может тебя занять, строго сказал ей внутренний голос, значит, ты лишь заслоняешься от какого-то неодолимого желания. Чего же ты хочешь?.. Она нетерпеливо чиркнула спичкой и поднесла огонек к сигарете, с раздражением заметив, что та давно болтается между губ... Чего же ты хочешь? – повторил тот же голос тоном судьи.

Я хочу, чтобы он вернулся! Ответ вырвался беззвучным криком; она выбросила его из груди, швырнув обвинителю, сидевшему в ней, как швыряют кость зверю, чтобы он не растерзал тебя.

Я хочу, чтобы он вернулся, спокойнее повторила она в ответ на упрек, что ее нетерпение неоправданно... Пусть он вернется, умоляла она в ответ на холодное замечание, что мольбы не склонят чашу весов в ее пользу... Я хочу его возвращения! – с вызовом крикнула она, борясь с собой, что бы не опустить одно лишнее, оправдывающее ее слово в этом возгласе.

Она чувствовала, что голова и плечи бессильно поникли, как после хорошей трепки. Сигарета между пальцами, заметила она, сгорела, однако, всего на полдюйма. Дэгни пригасила ее в пепельнице и снова упала в кресло.

Я не уклоняюсь, думала она, не уклоняюсь, все дело в том, что я не вижу никакой возможности какого-нибудь ответа... То, чего ты хочешь, сказал тот же голос, пока она блуждала в сгущающемся тумане, ты без труда можешь получить, но получить это, не приняв все полностью, без твердого убеждения означает предать все, чем он является... Ну и пусть он проклянет меня, думала она, будто потеряв тот голос в тумане и больше не слыша его, пусть завтра он меня проклянет... Я хочу его... возвращения... Ответа она не услышала, потому что ее голова тихо упала на спинку кресла – она заснула.

Открыв глаза, она увидела, что он стоит в трех шагах от нее и смотрит на нее, видимо, уже давно.

Она увидела его лицо и с внезапной ясностью внутреннего озарения поняла значение того, что выражало это лицо, – именно этому она много часов сопротивлялась. Она не удивилась, потому что ее рассудок еще не вполне очнулся от сна и не подсказал ей, что надо удивиться.

– Вот так вы выглядите, – тихо произнес он, – когда, случается, засыпаете за столом у себя в кабинете. – Она поняла, что, говоря, он не знал, что она его слышит. По тому, как были сказаны эти слова, она поняла, как часто он думал об этом и почему. – Вы выглядите так, словно, проснувшись, окажетесь в мире, где не надо скрываться и бояться. – Дэгни ощутила, что первым ее движением при пробуждении была улыбка, но ощутила это в тот миг, когда улыбка исчезла с ее лица и она поняла, что проснулась. Он тоже увидел это и добавил: – Как здесь, в нашей долине.

В мир реальности она вернулась иной – с ощущением силы. Вставая, она потянулась

гибким, уверенно-плавным движением, чувствуя, как эластично включаются мышца за мышцей. Неторопливо, тоном простого любопытства, который исключал непонимание, а нес едва уловимый оттенок пренебрежения, она спросила:

Откуда вам известно, как я выгляжу у себя в кабинете?

Я ведь говорил, что давно наблюдал за вами.

Как вам удавалось увидеть все? Откуда вы наблюдали?

Сейчас я этого вам не скажу, – сказал он просто, без тени дерзости.

Когда вы увидели меня первый раз? – Эти слова со провождало легкое движение плеч – она откинулась на спинку кресла. Они были сказаны после паузы чуть более низким, грудным голосом, с улыбкой, веселым, победным тоном.

Десять лет назад, – ответил он, глядя на нее и давая понять, что исчерпывающе отвечает на ее вопрос.

Где? – Вопрос звучал как приказ.

Он помешкал. Потом она увидела, что он чуть заметно, одними губами улыбнулся. Глаза в улыбке не участвовали – с такой улыбкой обзревают, испытывая гордость, горечь и желание, то, что приобретено невероятной ценой. Глаза его, казалось, были обращены не к ней сегодняшней, а к девушке из того времени.

– В тоннеле под терминалом Таггарта, – ответил он. Дэгни заметила, как сидит: ее лопатки съехали вниз по спинке кресла, она беззаботно полулежала, вытянув вперед одну ногу; в прозрачной блузке строгого покроя, яркой широкой крестьянской юбке, тонких чулках и туфлях с высокими каблуками она совсем не походила на деловую женщину. Она поняла это по его глазам, которые, казалось, видели недостижимое: она выглядела тем, чем была, – его служанкой. Она уловила по легкому блеску его темно-зеленых глаз момент, когда с них спала вуаль прошлого и далекий образ уступил место сидящей перед ним женщине. Она посмотрела ему в лицо прямым, вызывающим взглядом, лицо ее оставалось невозмутимым.

Он отвернулся и пошел, пересекая комнату, шаги его были так же красноречивы, как звуки голоса. Она знала, что он хотел уйти в своей обычной манере: он никогда не задерживался здесь надолго, ограничиваясь лишь кратким пожеланием спокойной ночи. Она следила за ходом его борьбы, судя о ней по его походке, по направлению шагов: сначала прямо, затем чуть в сторону, – судя о ней на основании собственной уверенности в том, что ее тело стало чутко воспринимающим его инструментом, экраном, отражавшим его движения и побуждения. Она точно судила о нем, сама не зная как. Она знала, что он, не ведавший, что значит борьба с самим собой, сейчас не находит в себе сил выйти из комнаты.

Казалось, в его поведении не было напряжения. Он снял пиджак, бросил его в сторону, оставшись в рубашке, и сел наискосок от окна, лицом к ней. Но сел он на подлокотник кресла – будто и не уходя, и не оставаясь.

Ей сделалось легко, она ощутила бесшабашную радость победы от сознания, что может удерживать его все равно что физическими узами, и на какое-то время, короткое и опасное, эта связь стала еще более дорога ей.

И тут на нее обрушился неожиданный оглушающий удар, болезненный и кричащий, и она отчаянно, слепо попыталась нащупать причину, по которой вмиг рухнула ее уверенность, разлетелись мечты о триумфе. Все дело в том, осознала она, как изменилась его поза, нет, какой она и была с самого начала: совершенно случайной и небрежной, она ничего не значила. Об этом определенно говорила длинная ломаная линия от плеча к талии, к бедрам и дальше вдоль ног. Дэгни отвернулась, чтобы он не увидел, что она дрожит.

С тех пор я видел вас неоднократно, – говорил он между тем спокойно и ровно, чуть медленней, чем обычно, будто мог контролировать все, кроме потребности высказаться.

Где же?

В разных местах.

Но вы постарались остаться незамеченным? – Дэгни знала, что его лицо она не смогла бы не заметить.

– Да.

– Почему? Вы опасались?

– Да.

Галт сказал это просто, она не сразу осознала, что этим он признавал: он понимал, что могло значить для нее его появление.

Вы знали, кто я, когда увидели меня в первый раз?

Конечно: мой злейший враг номер два. Этого она не ожидала.

Что? – Потом, спокойнее, добавила: – Кто же номер один?

Доктор Роберт Стадлер.

Вы ставили меня на одну доску с ним?

Нет. Он мой сознательный противник. Человек, про давший душу. Мы не намерены обращать его в свою веру. Вы же... вы другая, вы одна из нас. Я знал это задолго до того, как увидел вас. И еще я знал, что вы присоединитесь к нам последней и сломить вас будет труднее всего.

Кто вам это сказал?

Франциско.

Чуть помедлив, она спросила:

Что он сказал?

Он сказал, что из всех, кто значится в нашем списке, вас будет труднее всех завоевать. Тогда я впервые услышал ваше имя. Он сказал, что вы единственная надежда и будущее компании «Таггарт трансконтинентал», что вы сможете долго противостоять нам, будете отчаян но биться за свою дорогу, потому что смелы, выносливы и преданы делу. – Он взглянул на нее: – Больше он ни чего не сказал. Он говорил, обсуждая вас как одного из возможных забастовщиков. Я знал, что вы с ним друзья детства. Вот и все.

Когда вы увидели меня?

Спустя два года.

Как?

Случайно. Был поздний вечер, это было на платформе терминала.

Дэгни поняла, что он уступает ей, рассказывать ему не хотелось, но не сказать он не мог, в его голосе ей слышались приглушенное напряжение и сопротивление, но он должен был говорить, потому что просто не мог не сохранить между собой и ею хотя бы такую связь.

Вы были в вечернем платье. У вас с плеча сползла накидка, и прежде всего мне бросились в глаза обнажившиеся плечи, спина и профиль. На мгновение показало, что платье сейчас соскользнет вниз вместе с накидкой и вы окажетесь обнаженной. Тут я заметил, что платье на вас длинное, цвета льда, как туника греческой богини. Но при этом – короткая стрижка и властный профиль американки. Вы выглядели совершенно не уместно на железнодорожной платформе. И видел я вас вовсе не на платформе, мне представился совсем иной фон, которого я никогда раньше не воображал... Но по том я внезапно понял, что именно здесь ваше место – среди рельсов, гари и копоти, машин и семафоров, что именно такой фон и нужен вашему скользкому вечернему платью, обнаженным плечам и такому оживленному лицу. Именно железнодорожная платформа, а не будуар. Вы казались воплощением роскоши, совершенно уместным там, где находится ее источник; вы несли с собой богатство, грацию, экстравагантность и радость жизни, возвращая их законным владельцам – людям, которые

создали заводы и железные дороги. Вы несли с собой силу и еще – компетентность и роскошь как свидетельства этой силы. Я первым констатировал эту неразрывную связь и подумал: если бы наше время сотворило своих богов и воздвигло скульптурный символ американских железных дорог, то это была бы ваша статуя... По том я увидел, чем вы занимаетесь, и понял, кто вы. Вы отдавали распоряжения трем служащим терминала. Слов я не слышал, но голос ваш звучал уверенно, четко и решительно. Я понял, что вы Дэгни Таггарт. Я подошел ближе и расслышал всего две фразы. «Кто это так решил?» – спросил один из служащих. "Я", – ответили вы. Вот и все, что я услышал. Этого было достаточно.

А потом?

Он медленно поднял глаза и посмотрел на нее через комнату. От подавляемого напряжения голос его стал ниже тоном и мягче тембром, в нем послышалась насмешка над собой, нотка отчаяния и нежности:

– Я понял, что бросить двигатель – это не самая дорогая цена, которую мне придется заплатить за нашу забастовку.

Кто же, спрашивала она себя, из тех пассажиров, которые тогда спешили мимо нее, бесплотные, как тени, как пар локомотива, и так же бесследно исчезающие, – кто же из тех теней был им, когда возникло и исчезло его лицо, как близко промелькнуло оно перед ней на неощутимый миг?

О, почему же вы не заговорили со мной тогда или позднее?

Вы можете припомнить, зачем оказались на вокзале в тот вечер?

– Смутно помню вечер, когда меня вызвонили из гостей. Отца не было в городе, а новый начальник терминала что-то напутал, и нарушилось движение в тоннелях. Дело в том, что прежний начальник неожиданно уволился.

Я побудил его к этому.

Ах вот как...

Ее голос прервался, звук иссяк; веки опустились, свет затуманился. Что, если бы он не удержался, подумала она, пришел за ней тогда или позже, какая драма могла бы прежде разыгаться между ними?.. Она вспомнила, что чувствовала, когда кричала, что пристрелит разрушителя на месте... Я сделала бы это – мысль пробилась не в словах, она возникла дрожащей тяжестью в желудке; я убила бы его, если бы раскрылась его роль... а она, конечно, раскрылась бы... но все же... Она содрогнулась, потому что поняла, что ей все равно хочется, чтобы он пришел к ней тогда, потому что всем ее существом владела одна мысль, которую она силилась не допустить в сознание, но которая против ее воли черной волной растекалась по телу: «Я убила бы его, но не раньше, чем...»

Она подняла глаза и поняла, что он прочел в них ее мысли, как она прочла те же мысли в его взгляде. Она видела, что страдания его безмерны – взгляд затуманен, губы плотно сжаты, – а ее захлестывала волна неистового желания заставить его страдать еще больше, видеть эти страдания, наблюдать за ними, наблюдать, пока им обоим, и ей, и ему, не станет неволе, а потом довести его до беспомощности наслаждения.

Он встал, глядя в сторону, его лицо показалось ей удивительно спокойным и ясным; казалось, эмоции в нем иссякли и осталась незамутненная чистота черт. Почему у нее возникло это впечатление? Быть может, потому что он слегка приподнял голову, что его мышцы напряглись?

– Все толковые люди, которых ваша дорога потеряла за последние десять лет, – сказал он, – ушли благодаря мне. – Он говорил бесцветным ровным тоном, четко и внушительно, как финансист, напоминающий безрассудному клиенту, что цена – это тот абсолют, который не обойти. – Я выбил почву из-под вашей компании, и если вы все же вернетесь во внешний мир, то

увидите, как она рухнет вам на голову.

Он повернулся, намереваясь уйти. Дэгни остановила его. Остановили его не столько слова, сколько ее тон; он был глух, в нем не было эмоций, только давящая тяжесть, легкую окраску ему придавал лишь один настойчивый подголосок, вплетенный в него обертон, походивший на угрозу; это был голос умоляющего человека, который еще сохранил представление о чести, но уже давно перестал беспокоиться о ней.

Вам хочется удержать меня здесь, не правда ли?

Больше всего на свете.

Вы могли бы удержать меня.

Я знаю.

Он произнес последние слова тем же тоном, что и она. И помедлил, чтобы перевести дух. Когда он вновь заговорил, его голос был тих и внятен, с четко расставленными акцентами, с расчетом на взаимопонимание.

– Мне нужно, чтобы вы приняли идею этой долины. Что хорошего получу я от одного вашего физического присутствия здесь, не наполненного смыслом? Это была бы та же поддельная реальность, которой большинство людей обманывают себя всю жизнь. Я на это не способен. – Он повернулся, чтобы уйти. – И вы тоже. Спокойной ночи, мисс Таггарт.

Он прошел к себе в спальню, закрыв за собой дверь. Она не могла рассуждать. Лежа на кровати в темноте своей комнаты, она не могла ни думать, ни спать. Яростный вихрь, заполнивший ее сознание, казался физически осязаемым; он свивался в мечущиеся тени, рвался наружу мольбой, не словами – криком сплошной боли. Пусть он придет, пусть сломает все... пусть все летит к черту – и моя дорога, и его забастовка, и все, чем мы жили!.. Пусть летит к черту все, чем мы были и что мы есть!.. Пусть он придет, даже если завтра я умру... так пусть я умру, но завтра... пусть только он придет ко мне, назначив любую цену, у меня больше нет ничего, что я не продала бы ему... Так вот что значит быть животным?.. Да, и я – животное...

Она лежала на спине, крепко прижимая ладони к простыне, чтобы не встать и не пойти к нему в комнату, сознавая, что способна даже на это... Нет, это не я, это мое тело, от которого я не могу отказаться, которое не могу утратить...

Но где-то в глубине ее сознания, не в форме слов, а скорее сверкающей устойчивой точкой, жил судья, который постоянно наблюдал за ней, теперь уже не с суровым осуждением, а с веселым одобрением, будто говоря: «Твое тело?.. Если бы он не был таким, каким ты его знаешь, разве оно довело бы тебя до этого?.. Почему ты хочешь его тело и ничье другое?.. Думаешь, ты проклинаешь все, чем вы оба жили?.. Проклинаешь ли ты то, чему поклоняется в этот самый момент твое желание?..»

Ей не надо было слышать эти слова, они были ей знакомы, она всегда знала их...

Немного погодя это знание потеряло свой блеск, остались лишь страдания и прижатые к простыне ладони; она почти равнодушно подумала, что, быть может, и он не спит и его терзает та же боль.

В доме не слышалось ни звука, на деревья за окнами комнаты Галта не падал свет. Прошло немало времени, прежде чем она услышала в темноте его комнаты два звука, которые на все ответили, которые сказали ей, что он не спит и что он не придет: она услышала звук шагов и щелчок зажигалки.

Ричард Хэйли закончил играть и повернулся к Дэгни. Он увидел, как она склонила голову, непроизвольно скрывая слишком сильное чувство. Он встал, улыбнулся и тихо сказал:

Спасибо.

О нет... – прошептала она, зная, что благодарить должна она, но слова бессильны. Она думала о годах, в течение которых создавалась музыка, которую он только что исполнял для нее,

создавалась здесь, в этом маленьком домике на уступе горы. Здесь из бесконечного богатства звуков его талант творил блистательную гармонию своих произведений, словно живой монумент теории, согласно которой ощущение жизни есть ощущение красоты. А она в те годы бродила по улицам Нью-Йорка в тщетных поисках настоящего искусства, и ее повсюду преследовали скрежет и вопли современных симфоний, словно их выплевывало, давясь ненавистью к жизни, простуженное горло динамика.

Я сказал не из вежливости, – улыбнулся Ричард Хэйли. – Я деловой человек и ничего не делаю даром. Вы мне заплатили. Вам понятно, почему я решил играть для вас сегодня?

Она подняла голову. Он стоял посреди гостиной своего дома, они были вдвоем, распахнутые окна звали в летнюю ночь, к темным деревьям на уступах гор, террасами спускавшихся к сиянию далеких огней в долине.

– Мисс Таггарт, много ли есть людей, для которых моя музыка значит то же, что для вас?

– Немного, – просто ответила она, не хвастаясь и не льстя, объективно отдавая должное реальным ценностям, о которых шла речь.

Вот какой платы я требую. Немногие могут позволить ее себе. Я не имею в виду ни ваши эмоции, – к черту эмоции! – ни получаемое вами наслаждение. Я имею в виду ваше понимание моей музыки и тот факт, что и вы, и я испытываем наслаждение одного рода, что мы получаем его из одного источника – вашего интеллекта, сознательного суждения разума, способного оценить мое творение по тем же критериям, с которыми оно создавалось... Я имею в виду не ваши чувства, а то, что они соответствовали моему замыслу, не то, что вас восхищают мои работы, а то, что вас восхищает в них то, что входило в мой замысел. – Он усмехнулся. – Большинству художников свойственно одно чувство, значительно более сильное, чем жажда восхищения, – страх, что будет раскрыта истинная природа восхищения, которое они вызывают. Но мне этот страх никогда не был свойственен. Я не питаю иллюзий относительно своей музыки и того отклика, которого ожидаю, я слишком ценю и то и другое. Меня не привлекает восхищение беспричинное, эмоциональное, интуитивное, инстинктивное – попросту слепое. Я не люблю слепоту любого рода, потому что мне есть что показать, то же и с глухотой – мне есть что сказать. Я не хочу, чтобы мною восхищались сердцем – только разумом. И когда я встречаю слушателя, обладающего этим бесценным даром, между ним и мною совершается взаимовыгодный обмен. Художник тоже торговец, мисс Таггарт, самый требовательный и неуступчивый. Теперь вы понимаете меня?

Да, понимаю, – недоверчиво сказала она, недоверчиво, потому что услышала собственное кредо нравственной гордости из уст человека, от которого никак не ожидала его услышать.

А если понимаете, почему вы приняли такой трагический вид всего минуту назад? Вы о чем-то жалеете?

О годах, когда вашу музыку не слышали.

– Но ее слышали. Я давал два-три концерта каждый год. Здесь, в долине. На следующей неделе даю еще один. Надеюсь, вы придете. Плата за вход – двадцать пять центов.

Она невольно рассмеялась. Он улыбнулся, потом к нему медленно вернулась серьезность, вероятно, под наплывом каких-то невысказанных мыслей. Он всматривался в темноту за окном, туда, где в пробеле между ветвей, теряя цвет в лунном свете и сохраняя лишь металлический блеск, висел знак доллара – словно кружок сияющей стали, выгравированный на небе.

– Мисс Таггарт, понятно ли вам, почему я променял бы три дюжины современных художников на одного настоящего бизнесмена? Почему у меня намного больше общего с Эллисом Вайетом или Кеном Денеггером, который, кстати, лишен музыкального слуха, чем с людьми вроде Морта Лидди и Больфа Юбенка? Будь то симфония или шахта, любой труд есть акт созидания и имеет один источник – нерушимую способность видеть своими глазами, что

означает способность видеть, устанавливать связь и создавать то, что не было увидено, связано воедино и создано ранее. Об авторах симфоний и романов говорят, что они наделены блестящим даром видения, но разве не тот же дар движет людьми, которые увидели, как использовать нефть, построить шахту или спроектировать электродвигатель? Говорят, в душе музыканта и поэта горит священный огонь, а что же, по их мнению, заставляет промышленника бросать вызов всему свету, чтобы создать новый металл? А авиаконструкторы, строители железных дорог, открыватели новых бактерий и новых континентов...

Неодолимая страсть к поиску истины, мисс Таггарт? Слышали ли вы, как моралисты и любители искусства веками говорят о неодолимой страсти художника к поиску истины? Укажите мне, однако, пример большей преданности истине, чем преданность человека, который заявил, что Земля вертится, или человека, который говорит, что сплав стали и меди имеет определенные свойства, позволяющие использовать его определенным образом, что именно так и есть, и пусть мир пытается и поносит такого человека, он не станет лжесвидетельствовать против показаний разума! Такой дух, мисс Таггарт, такие смелость и любовь к истине, а не то, что у немытого оборванца, который истерично вопит, что достиг совершенства безумца, потому что он – художник, не имеющий ни малейшего представления о сути и смысле собственного творчества, и ему наплевать на сами понятия сути и смысла, ведь он вместилище высших тайн, он не знает, как и зачем творит, все исторгается из него спонтанно, как блевотина из пьяного; он не задумывается, он презирает мышление, он просто чувствует; все, что ему нужно, это чувствовать, и он чувствует, этот потный, мокрогубый, похотливый, трусливый, гундосящий, студнеобразный подонок! Я же знаю, какая требуется дисциплина, сколько усилий, напряжения, какой ясности духа надо достигнуть, чтобы создать произведение искусства. Я-то знаю, что это такой каторжный труд, что позавидуешь закованному в колодки рабу на галере, требуется такая строгость к себе, какой не придумает никакой садист, с которой не сравнится никакая армейская муштра. Поэтому я ставлю любого шахтера выше бродячего носителя высших тайн. Шахтер знает, что не его чувство двигает вагонетки с углем под землей, он знает, что их двигает. Чувства? О да, мы, конечно, чувствуем, он, вы и я, – фактически только мы и способны чувствовать, – и мы знаем, что порождает наши чувства. Но чего мы не знаем и изучение чего слишком долго откладывали, так это природа тех, кто утверждает, что не может объяснить свои чувства. Мы не знали, что они чувствуют. Теперь мы это узнаем. Эта ошибка дорого обошлась нам. И те, кто больше других повинен в ней, заплатят дороже всего, и поделом. Больше всех повинны в ней подлинники художники, которые теперь поняли, что с ними расправятся в первую очередь и что они сами подготовили триумф своих гонителей, помогая гонению своих единственных заступников. Если и существует еще более трагический глупец, чем бизнесмен, который не подозревает, что именно в нем скрыт высший творческий дух, так это художник, который видит в бизнесмене врага.

Верно, думала она, проходя по улицам долины и с детским восхищением глядя на сверкавшие на солнце витрины магазинов, что бизнес здесь так же взыскателен, как искусство... и что само искусство, продолжала она размышлять, сидя в обшитом тесом концертном зале и слушая размеренное неистовство математически выверенной музыки Хэйли, обладает строгой дисциплиной бизнеса.

Великолепие инженерного дела, думала она, сидя среди публики на скамье театра под открытым небом и следя за игрой Кей Ладлоу, сродни драматическому искусству. Здесь она испытала наслаждение, какого не знала с детства: целых три часа она не отрывала глаз от сцены, где разыгрывалась история, которая была нова для нее, поэтическим языком, которого она раньше не слышала; это не был какой-то бродячий сюжет, извечная тема, передаваемая из поколения в поколение. Как чудесно испытывать давно забытое наслаждение, когда полностью

отдаешься во власть блестящего воображения, неожиданного и обоснованного, оригинального и целенаправленного, когда видишь воплощение такого сюжета в несравненной, высочайшего художественного достоинства игре актрисы, чей персонаж соединяет в себе физическое совершенство и духовную красоту.

– Вот почему я здесь, мисс Таггарт, – сказала Кей Ладлоу после спектакля в ответ на ее комплименты. – Каково бы ни было человеческое величие, на изображение которого хватает моего таланта, его, это величие, в любом случае опошляют и унижают во внешнем мире. Там мне позволяли воплощать лишь символы человеческого падения: проституток и развратниц, женщин, разрушающих семейный очаг, прожигающих жизнь и всегда терпящих поражение от живущей по соседству малышки, которая олицетворяет добродетельную посредственность. Они эксплуатировали мой талант, чтобы опорочить его. Вот почему я ушла.

Дэгни с самого детства не испытывала такого подъема после спектакля, ощущения того, что в жизни еще есть к чему стремиться, а не того, что ей в очередной раз показали выгребную яму.

Когда зрители расходились, пропадая в темноте позднего вечера, она заметила Элвиса Вайета, судью Наррагансетта и Кена Денеггера, о которых когда-то говорили, что они презирают всякое искусство.

Последним, что осталось в ее памяти в тот вечер, были силуэты двух высоких, прямых, стройных фигур, мужской и женской, которые вместе уходили по тропке среди скал; свет фонарика, которым они освещали себе дорогу, упал на золото их волос. Это были Кей Ладлоу и Рагнар Даннешильд. Она спросила себя, сможет ли вернуться в мир, где эти двое обречены на уничтожение.

Воспоминания о детстве всякий раз возвращались к ней, когда она встречала двоих сыновей молодой женщины, хозяйки булочной. Она часто видела, как они бродят по горным тропкам, два бесстрашных малыша семи и четырех лет. Казалось, они жили той же жизнью, что и она в свое время. На них не было той печати, которую накладывал на детей внешний мир, – выражения страха, скрытности и вызова, маски, защищающей ребенка от взрослых, когда он слышит ложь и узнает, что такое ненависть. Эти два мальчика излучали дружелюбную доверчивость котят, открытую, радостную, не допускающую, что им навредят; им было свойственно невинное и естественное врожденное чувство собственной ценности и столь же естественная вера в то, что всякий незнакомый человек признает за ними эту ценность; смелое любопытство, готовое исследовать все вокруг без всякой опаски, они верили: мир охотно открывается им и в нем нет ничего недостойного; глядя на них, всякий понимал: столкнувшись с недоброжелательством, они с презрением отвергнут его – не как опасность, а как глупость, они не примут его как закон бытия даже по принуждению.

– В них моя карьера и дело всей моей жизни, мисс Таггарт, – сказала молодая мать в ответ на ее восхищение, заворачивая для нее хлеб и улыбаясь ей через стойку. – Они мое основное занятие, в котором во внешнем мире, при всей тамошней болтовне о материнстве, нет никакой возможности преуспеть. Наверное, вы видели моего мужа, он преподаватель экономики, а здесь работает обходчиком у Дика Макнамары. Вы, конечно, знаете, что здесь нет коллективной поруки и не разрешено брать с собой в долину семью и родственников, каждый приносит клятву верности индивидуально, по собственной воле и независимо от других. Я приехала сюда не ради мужа, а ради себя самой. Я приехала сюда, чтобы вырастить своих сыновей настоящими людьми. Я не могла доверить их системе образования, которая придумана для того, чтобы притупить мозг ребенка, убедить его в бессилии разума, в том, что жизнь – иррациональный хаос, с которым невозможно бороться, и тем самым привести ребенка в состояние хронического ужаса. Вы удивляетесь разнице между моими детьми и детьми из внешнего мира, мисс Таггарт? Но объяснение просто. Причина в том, что здесь, в Долине Галта, нет ни одного человека, который

не счел бы чудовищным внушать ребенку что-то иррациональное.

Дэгни еще раз вспомнила об учителях, которых лишили школы внешнего мира, когда увидела трех учеников доктора Экстона на их ежегодной встрече.

Кроме них он пригласил только Кей Ладлоу. Вшестером они сидели во дворе его дома, освещенные заходящим солнцем. На дне долины собирался нежный голубой туман.

Дэгни смотрела на учеников доктора Экстона, на их гибкие, ловкие тела, удобно, в раскованных позах разместившиеся в парусиновых креслах, одетые в легкие брюки, ветровки и рубашки с открытым воротом. Это были Джон Галт, Франциско Д'Анкония и Рагнар Даннешилд.

– Не удивляйтесь, мисс Таггарт, – с улыбкой сказал доктор Экстон, – и не думайте, что эти трое моих учеников что-то сверхъестественное. Поразительно другое – они нормальные люди, нечто невиданное в мире, а подвиг их в том, что они сумели выжить и остаться таковыми. Требуется незаурядный разум и еще более незаурядная воля, чтобы уберечь свой интеллект от разлагающего влияния мировых доктрин, аккумулировавших зло веков, и остаться человеком, поскольку человек означает существо разумное.

Она почувствовала нечто новое в отношении к ней доктора Экстона, что-то изменилось в его обычной сдержанности; казалось, он принимал ее в свой круг, словно она уже больше чем гость. Франциско вел себя так, будто ее присутствие на их встрече вполне естественно, он радостно принимал это как должное. Лицо Галта не выдавало никаких чувств, он вел себя как галантный спутник, приведший Дэгни сюда по просьбе доктора Экстона.

Она обратила внимание на то, что взгляд доктора Экстона постоянно возвращается к ней, словно он с гордостью представлял своих воспитанников понимающему собеседнику. В своих рассуждениях он вновь и вновь затрагивал одну тему, говоря тоном отца, который нашел заинтересованного слушателя по близкому его сердцу предмету.

– Видели бы вы их в университете, мисс Таггарт. Колоссальное различие в среде, которая их воспитала, но – черт побери эту среду! – они сошлись с первого взгляда, выбрав друг друга среди тысяч студентов. Франциско, богатейший наследник в мире, Рагнар, европейский аристократ, и Джон, человек, сотворивший, сделавший себя в полном смысле слова из ничего – ниоткуда, без родителей, без денег, без связей. Вообще-то он сын автомеханика с бензоколонки где-то на перекрестке дорог в Огайо, ушел из дома в двенадцать лет, чтобы самостоятельно пробиться в жизни, но мне его явление всегда представлялось в образе Минервы, богини мудрости, которая вышла из головы Юпитера взрослой и в полном вооружении... Хорошо помню день, когда впервые увидел их вместе. Они сидели на задних скамьях. Я читал спецкурс для аспирантов, очень трудный, настолько, что сторонние студенты редко заходили послушать. А эта троица выглядела слишком молодо даже для первокурсников, тогда им было по шестнадцать лет, как я позднее узнал. В конце лекции Джон поднялся и задал мне вопрос. Вопрос был таков, что я как преподаватель был бы горд, если бы услышал его от студента, который шесть лет изучал философию. Он касался метафизики Платона и не пришел в голову самому Платону. Я ответил и пригласил Джона к себе в кабинет после лекции. Он пришел, а вместе с ним и вся троица, двоих других я увидел в приемной и тоже пригласил к себе. Я говорил с ними около часа, потом отменил все, что запланировал на этот день, и мы проговорили весь остаток дня. А потом я договорился, чтобы их записали на мой спецкурс с оформлением зачетов. Они прослушали курс и получили самые высокие оценки в группе... Основными предметами они избрали физику и философию. Их выбор удивил всех, кроме меня: современные мыслители считали, что реальность несущественна, а современные физики считали, что мышление несущественно. Я, однако, думал иначе, но, что самое удивительное, так же думали мои юноши... Роберт Стадлер заведовал кафедрой физики, я – кафедрой философии. Вдвоем мы сняли для этих ребят все

правила и ограничения, избавили их от рутины бесполезных дисциплин, зато нагроутили самыми сложными заданиями и дали им возможность закончить университет по этим двум специальностям за четыре года. Им пришлось потрудиться. Кроме того, им надо было все четыре года зарабатывать на жизнь. Франциско и Рагнару помогали родители, Джон ни от кого не ждал помощи, но все трое совмещали учебу с работой, чтобы заработать деньги и жизненный опыт. Франциско работал в медеплавильне, Джон – в железнодорожных мастерских, а Рагнар... Нет, мисс Таггарт, он был самым усидчивым и дисциплинированным из этой троицы, а не наоборот... Он работал в университетской библиотеке. Им хватало времени на все, кроме развлечений и общественной деятельности. Они... Рагнар! – внезапно резко прервал он себя. – Не сиди на земле!

Даннешильд к тому времени соскользнул на траву и сидел, положив голову на колени жены. Он послушно встал, усмехаясь. Доктор Экстон тоже виновато улыбнулся.

– Старая привычка, – объяснил он Дэгни. – Можно сказать, условный рефлекс. Бывало, в университете я заставлял его сидящим на земле во дворе моего дома в холодное, сырое время, была у него такая привычка, безрассудство молодости, она меня беспокоила, ему следовало понимать, как это опасно и...

Он внезапно осекся, прочитав в удивленном взгляде Дэгни то же, о чем подумал сам, – мысль о тех опасностях, которые избрал для себя, повзрослев, Рагнар. Доктор

Экстон повел плечами, развел руками в жесте беспомощной насмешки над самим собой. Кей Ладлоу понимающе улыбнулась ему.

Он со вздохом продолжил:

– Мой дом стоял на окраине университетского городка, на высоком холме близ озера Эри. Много вечеров провели мы вместе, вчетвером. Так же как сегодня, сидели вечерами во дворе моего дома ранней осенью или весной, только вместо этого горного склона перед нами, уходя к далекому горизонту, расстилалась водная гладь. В те вечера мне доставалось больше, чем на семинарах, приходилось отвечать на массу вопросов, обсуждать множество поднимаемых ими проблем. Ближе к полуночи я заставлял их выпить горячего какао – я подозревал, что им никогда не хватало времени толком поесть, – а потом беседа продолжалась; озеро между тем погружалось в плотную тьму, и небо казалось светлее земли. Нередко бывало и так, что я спохватывался, замечая, что небо темнеет, а озеро делается бледнее, и до рассвета мы успевали сказать друг другу всего несколько фраз. Мне не следовало увлекаться, я знал, что им не хватает сна, но я вновь и вновь забывался, теряя ощущение времени. Понимаете, глядя на них, я всегда чувствовал себя так, будто сейчас раннее утро и впереди бесконечный бодрый день. Они никогда не говорили о том, чем им хотелось бы заняться в будущем, у них и мысли не было, что некая таинственная высшая сила наделила их невиданным даром осуществлять свои желания. Они говорили о том, что сделают.

Может ли любовь сделать человека трусом? Я испытывал страх лишь иногда – в те моменты, когда слушал их и, зная, каким становится мир, думал, с чем им придется столкнуться в будущем. Страх? Да, но это было больше чем страх. Такое чувство делает человека способным на убийство. Когда я думал о том, что мир склоняется к тому, чтобы уничтожить этих детей, о том, что эти трое моих сыновей намечены на убой, я готов был отстоять их ценой смерти. Да, я готов был убить, но кого? Всех и никого – у врага не было лица, центра, гнусного негодяя. Не убивать же работника армии спасения, не способного самостоятельно заработать ни цента, или вороватого чиновника, шарахающегося от собственной тени, – весь мир катился в позорную бездну, подталкиваемый руками милых, чудесных людей, верящих, что потребность выше способности, а жалость выше справедливости.

Но эти мысли возникали лишь время от времени, это чувство не было постоянным. Я

слушал своих учеников и знал, что ничто их не сломит. Я смотрел на них, когда они сидели во дворе моего дома, а неподалеку высились погруженные во тьму здания Университета Патрика Генри, который все еще держался цитаделью непоработанной мысли, за ними, в оранжевом сиянии сталелитейных заводов, батареями труб подпиравших небо, виднелись огни Кливленда; мерцали красными огоньками радиовышки, шарил в черном небе длинными белыми лучами прожекторов аэропорт. И я надеялся, что ради величия мира, которое двигало ими, величия, последними наследниками которого они были, они победят.

Помню один вечер, когда Джон долго молчал, а потом я заметил, что он заснул, растянувшись на земле. Его друзья признались, что он не спал трое суток. Я тотчас отослал их обоих домой, но не решился будить его. Стояла теплая весенняя ночь; я принес одеяло и укрыл его, оставив спать во дворе. Я просидел рядом с ним до утра и смотрел на его лицо при свете звезд, а потом при первых лучах солнца смотрел на его гладкий, высокий лоб и опущенные веки. И тогда ко мне пришло то состояние души, – нет, не молитвенное, я не молюсь, – но то, что люди по наивному заблуждению стараются вызвать молитвой: полная, всеобъемлющая, твердая решимость посвятить себя деятельной любви к правде; меня охватила уверенность, что правда победит и этот юноша обретет то будущее, которое он заслужил. – Он показал рукой на долину: – Я не думал тогда, что он будет таким великим... и таким трудным.

Стемнело, и горы слились с небом. Огни внизу, в долине, казалось, повисли в пространстве, над ними полыхала красным зевом литейная Стоктона, светилась цепочка огней в доме Маллигана, напомнившая Дэгни огни вагона, подвешенного в небе.

– У меня был соперник, – медленно произнес доктор Экстон. – Роберт Стадлер... Не хмурься, Джон, дело прошлое... Джон когда-то любил его. Да и я тоже... Нет, так сказать нельзя, но мое отношение к человеку такого ума, как Стадлер, было нестерпимо близко к чувству любви, в общем, я испытывал одно из редчайших наслаждений – восхищение. Нет, конечно, я не мог бы назвать это любовью, но и он, и я всегда ощущали себя последними могиканами давно минувших дней, людьми исчезнувшего племени, два представителя которого каким-то чудом выжили среди засасывающей трясины нынешней серости. Смертельный грех Роберта Стадлера в том, что он так и не прибил к берегу... Он ненавидел глупость, и только это чувство он не скрывал от людей и давал им знать об этом, – язвительная, горькая, усталая ненависть к невежеству, которое осмелилось выступить против него. Он все хотел делать по-своему, хотел, чтобы его оставили в покое и он мог без помех следовать своим путем; он без колебаний сметал людей со своего пути, не заботясь о выборе средств; его мало волновало, каким путем он следует и какие враги ему противостоят. Он избрал кратчайший путь. Вы улыбаетесь, мисс Таггарт? Вы его ненавидите, да? Конечно, вам известно, что это оказался за путь... Он сказал вам, что мы состязались за этих троих студентов. Так и было, вернее, с моей стороны это было не так, но он относился к этому именно так, и я знал об этом.

Что ж, мы были соперниками, однако я имел одно преимущество: я знал, зачем им нужны обе науки, а он никак не мог понять их интереса к моей. Он никак не мог уразуметь, что она необходима ему самому, и это в конце концов погубило его. Но в те годы в нем еще достаточно оставалось силы жизни, чтобы вцепиться в этих студентов. «Вцепиться» – так он это называл. Поскольку он поклонялся исключительно интеллекту, он вцепился в них, будто в свою собственность. Он всегда был очень одинок. Я полагаю, что за всю свою жизнь он только однажды почувствовал любовь – к Франциско и Рагнару – и только раз испытал страсть – к Джону. Именно в Джоне он видел преемника – свое будущее и свое бессмертие. Джон хотел стать изобретателем, а это требовало знания физики, и он собирался пойти в аспирантуру к Роберту Стадлеру. Франциско хотел после университета пойти работать, ему предназначено было стать идеальным продолжением нас обоих, его духовных отцов, – промышленником. А

Рагнар? Вы ведь не знали, какую профессию выбрал он, мисс Таггарт? Нет, вовсе не летчик-испытатель, не исследователь джунглей, не глубоководный ныряльщик. Нечто требовавшее гораздо большей храбрости. Рагнар намеревался стать философом. Абстрактным теоретиком, затворником, философом в башне из слоновой кости...

Да, Роберт Стадлер любил их. И что же? Я ведь уже сказал, что пошел бы на убийство, чтобы оградить их, только убивать было некого. Но если бы решение проблемы заключалось в этом, что, конечно, не так, то убить следовало бы Роберта Стадлера. Из всех носителей зла, которое теперь губит мир, он виновен больше всех. Ему был дан разум, чтобы все понять. У него было имя, заслуги и признание, но все это использовалось для освящения власти бандитов. Именно он поставил науку на службу бандитам с их пушками. Джон не ожидал этого. Я тоже... Джон вернулся в университет, чтобы приступить к учебе в аспирантуре по специальности физика. Но он ее не закончил. Он ушел в тот день, когда Роберт Стадлер одобрил учреждение ГИЕНа. Я случайно встретил Стадлера в университетском коридоре, когда он выходил из своего кабинета после последнего разговора с Джоном. Он выглядел изменившимся. Надеюсь, мне больше не доведется увидеть подобным образом изменившееся лицо. Он заметил, что я иду ему навстречу, и, сам не понимая почему, – но мне это было понятно – вдруг повернулся ко мне и закричал: «Мне до смерти осточертели вы все, непрактичные идеалисты!» Я отвернулся. Я понял: передо мной человек, который произносит свой смертный приговор... Мисс Таггарт, вы помните, какой вопрос задали мне о троих учениках?

Да, – прошептала она.

Из вашего вопроса мне понятно, что Роберт Стадлер сказал вам о них. Расскажите мне, почему он вообще заговорил о них.

Он заметил, что ее губы складываются в невеселую усмешку.

Он рассказал мне их историю в оправдание своей веры в бессилие человеческого разума. Он поведал мне это как пример утраченных надежд. «В них, – сказал он, – крылись способности, которых можно ожидать у человека будущего, способности, которые могли бы изменить ход истории».

А разве они не изменили ее ход?

Она медленно склонила голову и некоторое время не поднимала в знак согласия и уважения.

– Я хочу, мисс Таггарт, чтобы вы полностью осознали зло, которое исходит от тех, кто заявляет о своей уверенности в том, что мир есть царство зла и у добра нет в нем никакого шанса победить. Им надо проверить свои исходные положения, проверить свои ценностные критерии. Прежде чем утверждать право на свой тезис о зле как необходимости, пусть они проверят, знают ли, что такое добро и каковы условия добра. Роберт Стадлер ныне полагает, что интеллект бессилен и человеческая жизнь не может не быть иррациональной. Неужели он ожидал, что Джон Галт ста нет великим физиком и захочет работать под началом док тора Флойда Ферриса? Неужели он рассчитывал, что Франциско Д'Анкония станет великим предпринимателем и захочет развешивать свое производство по указам и во благо Висли Мауча? Он, что же, полагал, что Рагнар Даннешильд станет великим философом и будет проповедовать по повелению доктора Саймона Притчета, что никакого разума все равно нет, а право – это сила? И такое будущее Роберт Стадлер счел бы разумным? Хочу обратить ваше внимание на то, мисс Таггарт, что те, кто громче всех кричит о разочаровании, крахе добродетели, тщете разума, бессилии логики, получили от своих идей сполна и закономерно тот результат, на какой напрашивались, он вытекает из их учения с такой беспощадной логикой, что они не осмеливаются признать его.

В мире, где разум объявляется фикцией, где признается моральное право управлять

посредством грубой силы, угнетать знание в интересах невежества, жертвовать лучшими ради худших, – в таком мире лучшее должно выступить против общества и стать его смертельным врагом. В таком мире Джон Галт, человек безграничной интеллектуальной мощи, останется чернорабочим, Франциско Д'Анкония, чудотворец богатства, будет мотом, а Рагнар Даннешильд, просветитель, станет пиратом. Общество вместе с доктором Стадлером получило то, что отстаивало. На что же теперь им жаловаться? На то, что вселенная иррациональна? Но иррациональна ли она? – Он улыбнулся, и в этой улыбке сияла беспощадная нежность истины. – Всякий творит мир по своему подобию, – сказал он. – Нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора. Тот, кто отказывается от выбора, отказывает себе в праве называться человеком, и в его жизни воцаряется все перемалывающий хаос иррациональности – но он сам выбрал это. Всякий, кто сохраняет цельность разума, не извращенного уступками чужой воле, всякий, кто приносит в мир спичку или зеленый газон, созданные по его замыслу, и есть человек, причем человек в той мере, в какой он поступает так. И это единственное мерило его достоинств. Они, – он показал на своих учеников, – не шли на уступки. Вот, – он показал на долину, – мера того, что они сберегли, и того, чем являются они сами... Теперь я могу повторить ответ на ваш вопрос, зная, что он будет полностью понят вами. Вы спросили меня, горжусь ли я тем, чем стали трое моих сыновей. Горжусь так, как никогда не надеялся. Горжусь каждым их поступком, целями, которые они ставят перед собой, идеалами, которым они следуют. Вот, Дэгни, мой исчерпывающий ответ.

Ее имя, которое он неожиданно назвал, было произнесено отцовским тоном; произнося две последние фразы, он смотрел не на нее, а на Галта. Она видела, что Галт ответил ему долгим открытым взглядом – знаком согласия. Потом

Галт перевел взгляд на нее. Он смотрел на нее, словно она удостоилась неназванного, но почетного титула, который повис в тишине между ними, титула, который ей даровал доктор Экстон; он не был назван, и другие его не заметили. По веселым искоркам в глазах Галта она видела, что ему доставляет удовольствие ее волнение, что он поддерживает ее и – невероятно – полон нежности.

Шахта "Д'Анкония коппер Но " казалась небольшим шрамом на склоне, как будто по лицу горы несколько раз полоснули бритвой и на бурой поверхности остались красные раны. Нещадно палило солнце. Дэгни стояла на краю тропинки, держась двумя руками за Галта и Франциско. Они находились на высоте двух тысяч футов над долиной, в лицо им бил переваливший через горы ветер.

Вот, думала Дэгни, история человеческого благополучия, вырезанная на складках гор. Над разрезом свешивались несколько сосен, скрученных бурями, которые веками проносились над этим безлюдным краем. В разрезе работали шестеро мужчин, тут же находилось множество сложных механизмов, своими четкими очертаниями вносящих порядок в мятежный пейзаж. Основную работу выполняли машины.

Она обратила внимание, что Франциско показывает свои владения не только ей, но и Галту, а может быть, прежде всего ему.

Джон, ты не был здесь с прошлого года... Вот увидишь, что здесь будет еще через год. Через несколько месяцев я разделаюсь со своими делами в мире вовне и тогда полностью сосредоточусь на копях.

Нет уж, Джон! – смеясь, кричал он, отвечая на какой-то вопрос, и она заметила, что всякий раз было что-то особенное в его взгляде, когда он смотрел на Галта. То же самое она видела в его глазах, когда он стоял в ее комнате, ухватившись за край стола, стараясь пережить то, чего пережить нельзя; тогда он смотрел так же, будто видел кого-то перед собой. А видел он Галта, подумала она, у его образа искал он поддержки.

В глубине ее души зародилось смутное опасение. Усилие, которое Франциско сделал над собой тогда, в Нью-Йорке, чтобы смириться с тем, что потерял ее, а другой обрел, – такую цену ему пришлось заплатить за свою борьбу, – это усилие было столь неимоверно, что он уже не мог увидеть истину, которую угадал доктор Экстон. Но что с ним будет, когда он узнает правду? – спрашивала себя Дэгни и слышала в своей душе горькое возражение: внутренний голос напоминал ей, что, вероятно, и узнавать будет нечего.

В глубине ее души зарождалось смутное напряжение, когда она видела, как Галт смотрит на Франциско: это был открытый, простой, ничего не таящий взгляд, говорящий об отсутствии необходимости скрывать свои чувства. Этот взгляд повергал ее в смятение, которое она не могла ни определить, ни отбросить: не приведет ли его это чувство к отвратительному самоотречению?

Но в целом ее душа праздновала огромное облегчение, радость освобождения, и это облегчало груз сомнений. Она все оборачивалась и смотрела на подъем, который они одолели, чтобы добраться сюда, – две мили тяжелейшего пути по извилистой, как штопор, дорожке, приведшей их сюда с самого дна долины. Глаза ее изучали тропу, а разум был занят чем-то своим.

По гранитным уступам вверх карабкались кусты, сосны, цепкие мхи и лишайники. Кустарник и мох первыми прекращали подъем, но сосны, редая, взбирались все выше и выше, пока не осталось лишь несколько одиночных деревьев, растающих в голые скалы в непреклонном стремлении из последних сил достичь сияющих горных вершин, забитых в расщелинах искрящимся на солнце снегом.

Дэгни залюбовалась великолепным оборудованием, равного которому ей видеть не доводилось, а потом вновь посмотрела на тропу, по которой, покачиваясь, шагали мулы – древнейший вид транспорта.

Франциско, – спросила она, – кто спроектировал эти машины?

Это стандартные механизмы, правда, усовершенствованные.

Кто же их усовершенствовал?

Я. У нас мало рабочих рук. Приходится компенсировать это.

Но вы несете чудовищные потери рабочей силы и времени, транспортируя руду на мулах. Вам надо провести железнодорожную ветку в долину.

Она смотрела вниз и не заметила, как зажегся его взгляд, а в голосе появилась осторожная нотка:

Я знаю, но это такое непростое дело, нынешняя производительность копеек его не оправдывает.

Вздор! Все проще, чем кажется. С востока есть проход, градиент* там ниже и порода мягче, я заметила это по пути сюда. Там путь прямее, значит, можно рассчитывать мили на три полотна или того меньше.

Указывая на восток, она не заметила, как пристально двое мужчин вглядываются в ее лицо.

– Узкоколейка, вот что вам нужно... как в годы строительства первых железных дорог... так ведь и появились первые железные дороги – при шахтах, правда, угольных... Смотрите, видите тот хребет? Там в перепаде высот достаточно места для трехфутовой колеи, не потребуется взрывать скалы или расшивать путь. Видите тот пологий подъем длиной почти в полмили? Градиент не больше четырех процентов, любая машина одолеет. – Она говорила быстро, четко и уверенно, сознавая только, что выполняет свое естественное назначение в естественных условиях, где нет ничего важнее, чем предложить решение задачи. – Дорога окупится за три года. По грубой прикидке, дорожке всего обойдется пара стальных станин, возможно, в одном месте придется пробить тоннель, но длиной лишь в сотню футов или меньше. Мне потребуются

стальные станины, чтобы

Здесь: мера возрастания высоты над уровнем моря на единицу расстояния. (Прим. ред.) перебросить дорогу через расщелину и довести ее досюда, но это не самая сложная задача, я вам покажу. Нет ли у вас листа бумаги?

Она не обратила внимания, как стремительно Галт вытащил блокнот и карандаш и сунул ей в руки. Она схватила их, будто там и ожидала найти, будто отдавала распоряжения на строительной площадке, где подобные мелочи не могли быть помехой.

– Объясню приблизительно, что я имею в виду. Здесь мы поставим диагональные опоры, вогнав их в скалу. – Она быстро набросала чертеж. – Это составит около шестисот футов пути, зато не понадобится серпантин... рельсы можно будет уложить за три месяца и потом...

Она остановилась. Когда она подняла глаза, недавнего запала в ней уже не было. Она скомкала набросок и швырнула его на красный гравий.

– Но какой смысл? – воскликнула она, впервые давая выход отчаянию. – Построить три мили дороги и бросить трансконтинентальную сеть!

Двое мужчин смотрели на нее, на их лицах она не увидела упрека, только понимание, почти сострадание.

Простите, – сказала она, опустив глаза.

Если передумаешь, я готов тут же нанять тебя, или Мидас в пять минут даст тебе кредит, если захочешь быть владельцем, – сказал Франциско.

Она покачала головой.

– Нет, не могу, – прошептала она, – пока не могу. Дэгни подняла глаза, зная, что им понятна причина ее отчаяния и бесполезно скрывать страдание.

Однажды я уже пыталась, – сказала она, – пыталась все бросить... я знаю, что это значит... Каждая положенная здесь шпала, каждый забитый костыль напоминал бы мне о моей дороге. Я вспоминала бы другой тоннель и мост Нэта Таггарта... Как бы я хотела забыть о моей дороге! Если бы я могла остаться здесь и не знать, что они сделают с ней и когда ей придет конец!

Забыть не получится, – сказал Галт. Голос его звучал беспощадно и неумолимо именно потому, что был лишен эмоций и считался только с фактами. – Вам придется услышать об агонии своей дороги во всех деталях, от начала до конца. Новости будут поступать каждую неделю – о снятых с расписания поездах, заброшенных ветках, о том, что рухнул мост Таггарта. В этой долине никто не остается, не сделав окончательный выбор. Решение принимается сознательно на основе ясного представления обо всех связанных с ним последствиях. Никакого обмана, подмены реальности, никаких иллюзий.

Она смотрела на него, подняв к нему лицо, сознавая, какую возможность он отвергает. Она думала: никто во внешнем мире не сказал бы ей такого в эту минуту; она подумала о моральном кодексе того мира, который почитал сладкую ложь как акт милосердия, и ощутила приступ отвращения к этому кодексу, впервые ясно осознав его уродливый, извращенный характер. Она испытывала огромную гордость за стоящего рядом мужчину с ясным, сильным лицом. И он видел, как твердо и энергично сложились ее губы, но видел также, как их смягчило какое-то трепетное чувство, когда она ответила ему:

Благодарю вас. Вы правы.

Вам не надо отвечать мне сейчас, – сказал он. – Скажете, когда решите. Осталась еще неделя.

– Да, – спокойно ответила она, – всего одна неделя. Он наклонился, поднял скомканный чертеж, аккуратно сложил его и положил в карман.

Дэгни, – сказал Франциско, – когда будешь принимать решение, вспомни, если хочешь, как ты пыталась расстаться с дорогой в первый раз, все тщательно взвесь. Здесь, в долине, тебе не

придется мучить себя, перестилая черепицу или прокладывая дорожки, которые никуда не ведут.

Скажи, – внезапно спросила она, – как ты узнал тогда, где я?

Он улыбнулся:

Мне сказал Джон. Помнишь, разрушитель? Ты удивлялась, почему разрушитель никого не прислал за тобой. Но он прислал. Это он послал меня туда.

Он послал тебя?

– Да.

Что же он тебе сказал?

Ничего особенного, а что?

Что он сказал? Ты помнишь точно слова?

Да, хорошо помню. Он сказал: «Если хочешь использовать свой шанс – рискни. Ты это заслужил». Я помню, потому что... – Он повернулся к Галту, слегка нахмурясь, немного озадаченный: – Джон, я так и не понял, почему ты так сказал. Что ты имел в виду, о каком шансе говорил?

Не возражаешь, если я не отвечу сейчас?

Да, но...

Кто-то из рабочих позвал Франциско, и он быстро отошел, как будто разговор не требовал продолжения.

Дэгни осознала, каким значением для нее наделены те моменты, когда ее взгляд искал взгляд Галта. Она знала, что встретит его взгляд, но не сможет прочесть в нем ничего, кроме намека на легкую усмешку, словно он знал, какого ответа она ищет, но не обнаружит в его лице.

Вы дали ему шанс, который сами хотели получить?

У меня не могло быть шанса до тех пор, пока он не использует все доступные ему шансы.

Откуда вы знали, что он это заслужил?

Десять лет я расспрашивал его о вас при любой возможности, любым доступным образом, с разных точек зрения. Нет, он ничего мне не рассказывал. За него все сказали его интонации, его голос. Он не хотел говорить о вас, но говорил – с жаром, с чрезмерным жаром и вместе с тем неохотно. Тогда-то я и понял, что это больше чем просто дружба с детства. Я понимал, как много он потерял, соглашаясь на забастовку, как отчаянно он хватался за малейшую надежду. Я? Я просто расспрашивал его об одном из наших будущих соратников, так же как расспрашивал о многих других.

Намек на насмешку остался в его глазах; он знал, что она хотела услышать это, но что это не ответ на тот единственный вопрос, которого она страшилась.

Она перевела взгляд на подходившего к ним Франциско, больше не скрывая от себя, что внезапная гнетущая, отчаянная тревога, которая владела ею, вызвана страхом того, что Галт может погрузить их троих в безнадежную пучину самопожертвования.

Подошел Франциско. Он задумчиво смотрел на Дэгни, словно взвешивая какой-то вопрос, такой, от которого в глазах его зажигались искорки безрассудного веселья.

– Дэгни, осталась всего неделя, – сказал он. – Если решишь вернуться, неделя будет последней, и надолго. – В его голосе не было ни упрека, ни печали, только мягченность тона – единственное свидетельство волнения. – Если ты уедешь сейчас, конечно, ты все же вернешься, но очень нескоро. А я... через несколько месяцев я вернусь сюда, чтобы остаться здесь навсегда, так что, если ты уедешь, я не увижу тебя, возможно, долгие годы. Я хочу, чтобы ты провела эту неделю со мной, чтобы ты переехала в мой дом. Просто как мой гость, ничего больше, без всякой причины, кроме того, что мне так хочется.

Он сказал это просто, будто между ними троими не было и не могло быть тайн. В лице Галта она не заметила никаких признаков удивления. Она почувствовала, как что-то

стремительно сжалось в груди, что-то жесткое, безрассудное, даже злобное, какое-то мрачное возбуждение, слепо требовавшее выхода.

Но я работаю по найму, – сказала она, со смиренной улыбкой глядя на Галта. – И должна отработать положенный срок.

Я не стану удерживать вас, – сказал Галт, и она ощутила, что его тон вызывает у нее гнев. Он не признавал за ее словами никакого скрытого смысла и ответил только на их буквальное значение. – Вы можете уволиться, когда захотите. Все зависит от вас.

Нет. Я здесь пленница. Разве вы забыли? Мое дело выполнять приказы. Я не могу выражать желания, выбирать, решать. Хочу, чтобы решение приняли вы.

Вы хотите, чтобы решил я?

– Да.

– Вы выразили свое желание.

Насмешка была в серьезности тона, и Дэгни без улыбки приняла вызов, приглашая его продолжить притворяться, будто он не понял:

– Хорошо. Я так желаю.

Он улыбнулся, как будто это дитя пробовало хитрить с ним, но ему были ясны все ее уловки.

– Прекрасно. – Но улыбки не было на его лице, когда он повернулся к Франциско и сказал: – В таком случае – нет.

Франциско прочитал в его лице только вызов противнику, самому суровому из учителей. Он с сожалением, но без уныния пожал плечами:

– Вероятно, ты прав. Если ты не сможешь отговорить ее вернуться, то никто не сможет.

Она уже не слышала слов Франциско. Ее ошеломило огромное облегчение, которое охватило ее с ответом Галта, облегчение, которое обнажило перед ней громадность страха, который был этим развеем. Только теперь, после его ответа, она поняла, как много зависело от его решения, поняла, что, будь его ответ иным, он бы уничтожил долину в ее глазах.

Ей хотелось смеяться, обнимать их обоих и ликовать вместе с ними; было уже неважно, останется она здесь или уедет, неделя казалась вечностью; как бы она ни поступила потом, сейчас все заливал солнечный свет. Любая борьба по плечу, думала Дэгни, если жизнь такова. Облегчение проистекало не от того, что он не отверг ее, не от уверенности в победе, – подтвердилось с несомненностью, что он всегда останется таким, каким был.

– Не знаю, вернусь я во внешний мир или нет, – рассудительно заговорила она, но в ее голосе еще звучали отголоски пролетевшей грозы, оставившей после себя чистую радость. – Прошу простить меня, но я все еще не в состоянии принять решение. Но в одном я уверена: я не убоюсь решения.

Внезапное озарение ее лица Франциско принял за доказательство, что инцидент не имеет значения. Но Галт понял, он взглянул на нее, и веселая ирония в его взгляде сочеталась с презрительным упреком.

Он ничего не сказал, пока они не остались одни; спускаясь рядом с ней по тропе, он окинул ее веселым взглядом:

– Вам надо было подвергнуть меня испытанию, чтобы узнать, снизойду ли я до последней степени альтруизма?

Она не ответила, но взглядом открыто, без оговорок признала его правоту.

Он усмехнулся и посмотрел в сторону, а спустя несколько шагов медленно, словно цитируя, произнес:

– Здесь не допускают никакой подмены реальности. Испытанное мною облегчение, думала она, молча шагая рядом с ним, оказалось столь сильным отчасти в силу шока по контрасту: живо

и наглядно, с внезапной четкостью внутреннего зрения она представила себе, что означал бы для них троих кодекс самопожертвования, если бы все трое последовали ему. Галт отказывается ради своего ближайшего друга от женщины, которую жаждет, лицемерно изгоняет из своей жизни и души свое величайшее чувство, а ее лишает себя, чего бы это ни стоило им обоим, а потом влачит остаток своих лет сквозь пустыню неисполненного, недостигнутого; она обращается за утешением к дублеру, притворяется, что испытывает к нему любовь, которой нет, и притворяется с готовностью, поскольку воля к самообману составляет необходимое, существенное условие для самопожертвования Галта; затем она живет долгие годы, испытывая безнадежное стремление и приемля, как слабое лекарство для незаживающей раны, редкие моменты усталой любви, подкрепляя их тезисом, что любовь вообще тщетна и что на земле нельзя обрести счастья; Франциско бродит в вязком тумане фальшивой реальности, его жизнь – обман, подстроенный двумя людьми, ближе которых у него не было, которым он верил больше, чем себе; он пробует понять, чего ему не хватает для счастья, спускается на землю с шаткого эшафота лжи и падает в пропасть прозрения: она любила вовсе не его, он всего лишь нежеланная замена – то ли объект благотворительности, то ли подпорка; прозрение ввергнет его душу в ад, и только смирение, покорный, летаргический сон равнодушия будет удерживать от распада призрачное здание его былой радости; вначале он будет бороться с собой, потом сдастся и свыкнется с бесцветной, монотонной жизнью, оправдание которой в вынужденном убеждении, что реализовать себя в этом мире человеку не дано; трое, которых природа наградила всеми мыслимыми дарами, ожесточатся умом и сердцем, от них останется только бездушная телесная оболочка, из которой будет рваться последний крик разочарования в жизни, потому что они не смогли сделать нереальное реальным.

Но ведь это и есть, думала Дэгни, моральный кодекс внешнего мира, кодекс, который требует действовать исходя из постулата слабости ближнего, его глупости и склонности к обману. Такова схема жизни людей внешнего мира – блуждание в тумане лицемерия и уклончивости; они не считают факты чем-то твердым и окончательным; они не признают за реальностью определенности формы; они проходят по жизни и уходят из нее туманными призраками, будто и не рождались. Здесь же, думала она, глядя сквозь зелень ветвей вниз, на сверкающие крыши в долине, к человеку относятся как к существу такому же определенному и ясному, как солнце и скалы. В этом и источник ее облегчения, чудесной легкости на сердце: где нет зыбких, как трясина, истин, бесформенных, как марево, убеждений, там никакая борьба не страшна, никакое решение не пугает.

– Не приходило ли вам в голову, мисс Таггарт, – говорил между тем Галт нейтральным тоном отвлеченного рассуждения, словно угадав ее мысли, – что интересы людей не вступают в конфликт ни в сфере бизнеса, ни в сфере торговли, ни в том, что касается интимнейших личных желаний, если они исключают из области возможного нелогичное и не допускают ничего разрушительного в области практической деятельности? Нет конфликтов, призывов жертвовать собой, никто не препятствует целям другого, если люди понимают, что реальность нельзя подделать, что ложь непродуктивна, что, не заработав, ничего не получишь, что разрушение имеющихся ценностей не придаст ценности тому, что ценностью не является. Бизнесмен, который хочет монополизировать рынок, задушив более предприимчивого конкурента, рабочий, который хочет получить доступ к богатству нанимателя, художник, который завидует более яркому таланту и видит в нем соперника, которого надо устранить, – все они стремятся разделаться с фактами, и у них есть единственный метод для этого – разрушение. Идя таким путем, они не завладеют рынком, богатством или бессмертной славой – они просто разрушат производство, труд и искусство. Стремление к нелогичному нельзя удовлетворить, согласны на то или нет те, кого приносят в жертву. Но люди не перестанут желать невозможного и не

утрачат жажды разрушать – пока самоуничтожение и самопожертвование преподносятся им как практический способ обрести счастье с минимальными усилиями. – Он посмотрел на Дэгни и медленно, с легким нажимом, чуть изменив своему бесстрастному тону, добавил: – В моей власти добиться счастья только для себя или уничтожить собственное счастье, но не счастье другого. Вам следовало бы больше уважать и его, и меня и не страшиться того, чего вы страшитесь.

Она не ответила, чувствуя, что лишнее слово лишь переполнило бы полноту момента. Она просто смотрела на Галта соглашающимся взглядом, обезоруженно, по-детски покорно. Ее взгляд можно было бы принять за просьбу о прощении, если бы он не сиял радостью.

Он улыбнулся приветливо и понимающе, почти как товарищ по общему делу, одобряя ее чувства.

Дальше они шли молча, и этот солнечный день казался ей днем из беззаботной юности, которой у нее не было; всего лишь прогулка на природе двух людей, которые наслаждаются движением и сиянием солнца; у них нет забот, они свободны, и ничто не гнетет их. Ощущение душевной легкости смешивалось с физической невесомостью спуска: не требовалось никаких усилий, оставалось только удерживать себя от полета; Дэгни шла, сдерживая невольно ускоряющийся шаг, откинув назад голову, и встречный ветер помогал ей, надувая юбку как парус.

Они разошлись внизу, он отправился на встречу с Мидасом Маллиганом, а она – на рынок, за покупками к ужину. Сейчас у нее не осталось других забот.

Жена, думала она, сознательно повторяя слово, которого не произнес доктор Экстон, слово, которое она с тех пор чувствовала, но никогда не произносила, – три недели она была его женой во всех смыслах, кроме одного, и это последнее еще предстояло заслужить, но остальное было реальностью, и сегодня она могла позволить себе осознать это, почувствовать и жить с этой мыслью весь день.

Продукты, которые Лоуренс Хэммонд по ее заказу выложил на сверкающей чистотой прилавок, никогда не казались ей столь привлекательными, и, сосредоточившись на них, она лишь смутно чувствовала какое-то беспокойство, что-то тревожное, чего не осознавала за своим занятием. До нее дошло, что происходит, только когда она заметила, что Хэммонд остановился, нахмурился и уставился вверх, на небо, через открытую витрину магазина.

Одновременно с его словами: «Кажется, кто-то пытается повторить ваш трюк, мисс Таггарт», – она услышала над головой шум самолета, который уже летал там некоторое время. Этот звук раздался над долиной впервые с начала месяца.

Они выбежали на улицу. Над кольцом гор кружил серебряным крестом самолет, похожий на сверкающую стрекозу, которая вот-вот заденет вершины своими крыльями.

– Что ему там надо? – спросил Лоуренс Хэммонд.

У дверей лавки стояли люди, другие останавливались посреди улицы и смотрели вверх.

Кого-нибудь ждут? – спросила она, поразившись тревогой в своем голосе.

Нет, – сказал Хэммонд. – Все, кому надо быть здесь, уже здесь. – В его голосе не было тревоги, но звучали озабоченность и любопытство.

Самолет теперь стал полоской вроде серебряной сигареты, он спустился ниже и виднелся на фоне склонов гор.

– Должно быть, чей-то личный самолет, – сказал Хэммонд, щурясь на солнце. – На военный не похож.

– Лучевой экран выдержит? – напряженно спросила она, словно недовольная вторжением врага.

Хэммонд усмехнулся:

Выдержит?

Он нас увидит?

Экран надежнее банковских сейфов, мисс Таггарт. Вы-то должны знать.

Самолет набрал высоту и на время превратился в яркую полосу, в обрывок бумаги, гонимый ветром; он завис в нерешительности, потом вновь снизился, кружа по спирали.

Какого черта ему надо? – сказал Хэммонд. Она стремительно повернулась к нему.

Он что-то высматривает, – сказал Хэммонд. – Что?

Где-нибудь есть телескоп?

– Есть, конечно, на аэродроме, но... – Он хотел спросить, что случилось с ее голосом, но она уже бежала по до роге к аэродрому, даже не осознавая, что бежит, что гонит ее смутная мысль, выразить которую у нее не было ни времени, ни духу.

В диспетчерской вышке у небольшого телескопа сидел Дуайт Сандерс, он внимательно следил за самолетом и озадаченно хмурился.

– Дайте мне взглянуть! – выпалила Дэгни.

Она вцепилась в металлическую трубку и прижалась лицом к окуляру, перемещая телескоп вслед за самолетом. Потом Сандерс увидел, что она застыла, не разжимая пальцев и не отводя лица от телескопа. Присмотревшись, он заметил, однако, что она прижимается к окуляру лбом.

Что случилось, мисс Таггарт? Она медленно подняла голову.

Вы кого-то узнали?

Она не ответила и поспешила прочь, быстро, но без всякой цели и определенного направления. Бежать она не осмелилась, но ей надо было укрыться, спрятаться, Она не понимала, от кого хотела укрыться, от людей вокруг или от самолета, на серебряных крыльях которого чернел номер, принадлежащий Хэнку Реардэну.

Остановилась она, когда споткнулась о камень и упала. Тогда она заметила, что бежала. Она оказалась на небольшой площадке среди скал рядом с аэродромом. Городка отсюда не было видно. Зато открывался прекрасный обзор неба. Она встала, держась за гранитную стену, ощущая ладонями тепло нагретых солнцем скал. Она не двигалась, лишь следовала взглядом за самолетом.

Самолет медленно кружил над долиной, то ныряя вниз, то взмывая вверх, стараясь. подумала она, как тогда старалась она, рассмотреть следы катастрофы в безнадежном хаосе расщелин и валунов, где не понять, то ли там ничего нет, то ли стоит продолжить поиск. Он искал обломки ее самолета, он не сдался, и, чего бы ему ни стоили эти три недели, что бы он ни чувствовал, единственным свидетельством, которое он предъявлял миру, его единственным ответом было упорное, монотонно-настойчивое жужжание двигателя, несшего хрупкое суденышко дюйм за дюймом над смертельно опасным нагромождением неприступных гор.

В искрящемся чистом летнем воздухе самолет казался таким родным и близким, Дэгни видела, как его сотрясают внезапные порывы ветра, как подхватывают воздушные потоки. Она видела все, и казалось невероятным, что такая же ясность недоступна его взгляду. Под ним лежала вся долина, залитая солнцем; она сияла оконными стеклами, зеленела лужайками и полянами, она кричала: смотри, вот я, здесь конец твоим мучительным поискам, осуществление твоих желаний, не обломки самолета, не ее бездыханное тело – здесь она сама, живая, и здесь твоя свобода. Здесь находилось все, что он искал сейчас и искал всегда, – лежало перед ним как на ладони и ждало его, стоило только нырнуть в чистый ясный воздух. Все лежало перед ним и требовало от него одного - способности видеть.

– Хэнк! – закричала она, размахивая руками, подавая ему отчаянный сигнал. – Хэнк!

Она откинулась на скалу, понимая, что бессильна пробиться к нему, что не может дать ему зрение, что никакая сила на земле не способна пробить лучевой экран, кроме его разума и

озарения. Внезапно она впервые ощутила лучевой экран не как самый неосязаемый, а как самый жесткий и абсолютный в мире барьер.

Привалившись к скале, она молча следила за безнадежным кружением самолета и слышала, как, не жалуясь, взывает о помощи мотор, и не могла ответить на этот зов. Самолет круто пошел вниз, но лишь для того, чтобы, набрав скорость, снова взмыть вверх; он стремительно пересек горную цепь по диагонали и вырвался в чистое небо. Затем, будто упав на поверхность бескрайнего, безысходного моря, стал медленно оседать, удаляясь, пока не скрылся из виду.

С горьким состраданием Дэгни подумала о том, сколько же осталось недоступным его взгляду. А моему? – думала она. Если она покинет долину, завеса так же плотно сомкнется за ней. Атлантида скроется под сводом лучей, укрывших ее от глаз надежнее, чем на дне океана, и ей тоже останется только бороться за то, что она не смогла увидеть, только сражаться с призраками первородной дикости и никогда больше не осязать реальность того, к чему она стремится.

Но притяжение внешнего мира, притяжение, которое властно влекло ее за самолетом, не носило облик Хэнка Реардэна – она знала, что не сможет вернуться к нему, даже если вернется в мир, – это притяжение имело облик отваги Хэнка Реардэна, отваги всех тех, кто еще сражался за жизнь. Он не бросит поиски ее самолета, даже когда все давно отчаются, как не бросит своих заводов, не бросит любую избранную им цель, пока остается хотя бы один шанс. Уверена ли она, что у «Таггарт трансконтинентал» и у того мира, который связан с ней, не осталось никаких шансов? Уверена ли она, что условия битвы таковы, что не оставляют у нее желания победить? Они были правы, граждане Атлантиды, они могли с полным правом исчезнуть, если знали, что не оставляют позади ничего ценного. Но пока она не увидит, что испробовано все, исчерпаны все силы и средства до последнего, у нее нет права остаться с ними. Этот вопрос терзал ее последние недели, но так и остался без проблеска ответа.

В ту ночь она лежала без сна, замерев без движения, следуя, как изыскатель, как Хэнк Реардэн, ходу мысли, бесстрастного, математически строгого рассуждения, не внимавшего ни эмоциям, ни тому, чего это ей будет стоить. Муки, терзавшие его в самолете, она переживала теперь в темноте и молчании своей комнаты; она искала и не находила ответа. Она смотрела на едва различимые в бликах звездного света надписи на стенах комнаты – но не имела права просить о помощи, как просили те, кто пережил здесь до нее самый тяжелый час своей жизни.

– Да или нет, мисс Таггарт?

Она смотрела в лица четверых мужчин, собравшихся в гостиной дома Маллигана; день уже угасал. Галт сидел с безмятежным, бесстрастным и внимательным, как у ученого, лицом. На лице Франциско таился намек на легкую улыбку, такую, которая скрывала заинтересованность в том или ином ответе, лишала его лицо всякого живого выражения. Хью Экстон, казалось, сочувствовал сложности ее положения, он выглядел по-отцовски нежным. Мидас Маллиган задал вопрос без тени жесткости в голосе. Где-то за две тысячи миль отсюда в этот закатный час над крышами Нью-Йорка вспыхнуло прямоугольное табло календаря – двадцать восьмое июня. Ей вдруг показалось, что она видит да у воочию, словно та висела над головами собравшихся.

– У меня остался еще один день, – ровным голосом ответила она. – Вы даете его мне? Думаю, я пришла к решению, но еще не вполне в нем уверена, а мне нужна полная ясность,

насколько это возможно.

Конечно, – сказал Маллиган. – У вас фактически есть время до утра послезавтра. Мы подождем.

Мы будем ждать и позже, – сказал Хью Экстон, – в ваше отсутствие, если будет необходимо.

Она стояла у окна, повернувшись к ним, радуясь уже тому, что может стоять прямо, что руки ее не дрожат, а голос звучит так же ровно, без обиды или сожаления, как у хозяев: это как-то сближало ее с ними в этот момент.

Если вы не можете принять решение из-за конфликта между умом и сердцем, – сказал Галт, – доверьтесь уму.

Думайте о тех доводах, которые убеждают нас в на шей правоте, – сказал Хью Экстон, – а не о том факте, что мы убеждены. Если у вас нет уверенности, не принимайте во внимание нашу уверенность. Не поддавайтесь соблазну подменить свое суждение нашим.

Не полагайтесь на наше мнение о том, каким должно быть ваше будущее, – сказал Маллиган. – Мы действительно знаем, каким оно должно быть, но лучший для вас выбор тот, который считаете лучшим вы сами.

Не обращай внимания на наши интересы и желания, – сказал Франциско, – ты никому ничем не обязана, кроме себя.

Она улыбнулась, ни весело, ни печально, думая о том, что там, во внешнем мире, она никогда не услышала бы подобных слов. Сознывая, как сильно их желание помочь ей даже в том, в чем помочь невозможно, она почувствовала себя обязанной успокоить их.

– Я вторглась сюда без приглашения, – спокойно сказала она, – и должна сама нести ответственность за по следствия. Я готова нести ее.

В награду она получила улыбку Галта, подобную ордену за боевые заслуги.

На мгновение ее отвлекло внезапное воспоминание о Джеффе Аллене, бродяге, ехавшем на «Комете»; ей вспомнился момент, когда она восхищалась его попыткой облегчить ей общение с ним; он пытался убедить ее, что знает, куда едет, а не просто передвигается куда глаза глядят. Она слабо улыбнулась при мысли, что теперь испытала обе роли и узнала, что нет ничего хуже и бесполезнее для человека, чем перекладывать на другого груз отказа от выбора. Она испытывала странное, безмятежное спокойствие и понимала, что так проявляется напряжение, но напряжение величайшей ясности. Она поймала себя на мысли: «Она отлично ведет себя в чрезвычайной ситуации, у меня с ней не будет проблем», – и тут же поняла, что думает о себе.

Давайте же отложим до послезавтра, мисс Таггарт, – сказал Мидас Маллиган, – сегодня вы еще с нами.

Благодарю вас, – сказала она.

Она осталась стоять у окна, а они занялись обсуждением дел в долине; проводилось последнее совещание месяца. Они только что поужинали. Она вспомнила о своем первом ужине здесь месяц назад. Сейчас на ней был тот же, что и тогда, серый костюм, который был бы уместнее в ее кабинете, а не крестьянская юбка, которую так славно носить на солнце. Пока я еще здесь, думала она, по-хозяйски опираясь рукой о подоконник. Солнце еще не скрылось за горами, но глубокое небо было ровного, обманчиво ясного голубого цвета, который над горизонтом смешивался с голубизной скрытых за горами облаков, образуя покрывало, в складках которого спряталось солнце. Верхний край облаков окаймляла тонкая огненная черта, напоминавшая о неоновом сиянии городских огней, о голубых артериях рек на карте... о схеме железнодорожных путей, прочерченной белым огнем небес.

Она слышала, как Маллиган перечисляет Галту имена тех, кто не возвращается во внешний мир.

У нас есть работа для всех, – сказал Маллиган. – В целом в этом году вовне вернутся только человек десять – двенадцать, и то в основном чтобы свернуть дела, распродать имущество и переехать сюда на постоянное жительство. Думаю, мы провели здесь последний отпускной месяц, потому что менее чем через год мы все будем жить в долине.

Хорошо, – сказал Галт.

– Иначе и нельзя, учитывая положение вовне. – Да.

Франциско, – спросил Маллиган, – ты возвращаешься через несколько месяцев?

Самое позднее в ноябре, – ответил Франциско, – я сообщу вам на коротких волнах, когда буду готов вернуться. Включите, пожалуйста, отопление в моем доме к моему возвращению.

Обязательно, – сказал Хью Экстон. – К приезду тебя будет ждать ужин.

Джон, само собой, ты на сей раз не возвратишься в Нью-Йорк? – спросил Маллиган.

Галт бросил на него взгляд и ответил ровным голосом:

– Я еще не решил.

Ей бросилось в глаза, как резко подались вперед и удивленно уставились на него Франциско и Маллиган, в то время как Хью Экстон медленно повернул к нему лицо: казалось, Экстон не удивился.

Уж не намереваешься ли ты еще год повариться в этом аду? – воскликнул Маллиган.

Намереваюсь.

Но, ради Бога, Джон, зачем?

Я вам скажу, когда решу.

Но у нас не осталось там никаких дел. Мы заполучи ли всех, кого знали или могли знать. Наш список исчерпан, за исключением Хэнка Реардэна, и он будет наш до конца года, как и мисс Таггарт, если пожелает. Так что все, твоя задача выполнена. Там нечего ждать, кроме финальной катастрофы, когда крыша обрушится на головы жильцов.

Я это знаю.

Джон, я не хотел бы, чтобы она рухнула на голову тебе.

Я никогда не давал повода волноваться из-за меня.

Но осознаешь ли ты, на какой они стадии? Только шаг отделяет их от вспышки открытого насилия, да, черт возьми, они уже давно сделали этот шаг и давно о нем объявили! Очень скоро до них дойдет весь смысл того, что они натворили, – бабахнет им прямо в морду! Начнутся повсеместная кровавая резня, неприкрытое, слепое насилие, грубый произвол всех против всех, всеобщее безумие, бьющее всех без разбору. Мне не хотелось бы, чтобы ты оказался в гуще этой свары.

Я сумею позаботиться о себе.

Джон, нет оснований рисковать, – вставил Франциско.

Какой риск?

Бандиты обеспокоены из-за тех, кто исчез. Они что-то подозревают. Кто-кто, а ты не должен там дольше оставаться. Всегда есть риск, что они раскроют, кто ты и чем занимаешься.

Риск есть, но он невелик.

Нет смысла испытывать судьбу. Там не осталось ни чего, с чем бы не справились Рагнар и я.

Хью Экстон молча наблюдал за ними, откинувшись на спинку кресла; на лице у него не было ни опасения, ни улыбки, только внимание, с каким человек следит за ходом спора, который для него уже решен и понятен.

– Если я туда отправлюсь, – сказал Галт, – то не ради нашего дела, а чтобы получить от мира нечто для себя самого, поскольку задачи нашего общего дела уже выполнены. Я ничего не взял от мира и ничего от него не хотел. Но есть одно, что еще там удерживается, что принадлежит мне, что я им не оставлю. Нет, я не нарушу свою клятву, я не буду иметь дело с

бандитами. Там я ни для кого не ценен и никому не собираюсь помогать – ни бандитам, ни тем, кто нейтрален, ни штрейкбрехерам. Если я туда отправлюсь, то лишь ради себя. Не думаю, что моей жизни что-то угрожает, но если и угрожает, теперь я волен рисковать ею.

Он не смотрел на Дэгни, но ей пришлось отвернуться и прижаться лицом и ладонями к окну, потому что у нее дрожали руки.

– Но, Джон! – воскликнул Маллиган, обводя руками долину, – вдруг с тобой что-то случится, что мы будем... – Он резко оборвал себя и виновато замолк.

Галт усмехнулся:

– Что ты собирался сказать?

Маллиган, уклоняясь, жестом отказа махнул рукой.

Не собирался ли ты сказать, что если со мной что-нибудь случится, то я умру как величайший в мире неудачник?

Ладно, – виновато произнес Маллиган, – ничего не буду говорить. Не буду говорить, что мы без тебя не обойдемся. Обойдемся. Не буду упрашивать тебя остаться ради нас – вот уж не думал, что когда-нибудь меня потянет упрашивать, но, Бог ты мой, до чего же велико искушение! Почти понимаю, почему людей тянет просить. Понимаю, что, какие бы ты ни ставил цели, если ты хочешь подвергнуть свою жизнь опасности, это твое право, но я вот о чем не могу не думать: ведь это такая ценная жизнь, Джон. Галт улыбнулся:

– Знаю, знаю. Вот почему я не думаю, что есть какой-то риск... Я надеюсь победить.

Теперь молчал Франциско, он пристально следил за Галтом, недоуменно нахмурясь, словно, еще не найдя ответа, внезапно осознал смысл вопроса.

Послушай, Джон, – сказал Маллиган, – поскольку ты еще не решил, поедешь или нет... Ты ведь еще не решил, правильно?

Нет, не решил.

Поскольку ты еще не решил, позволь мне кое о чем тебе напомнить, просто чтобы подумать.

Пожалуйста.

Я боюсь случайных опасностей в распадающемся мире. Опасно, когда сложное оборудование и машины попадут в руки ослепленных страхом, обезумевших трусов и недоумков. Подумай только об их железных дорогах. Всякий раз, садясь в поезд, ты будешь подвергать себя риску попасть в ужасную катастрофу, вроде той, что случилась в тоннеле близ Уинстона. И таких катастроф будет все больше, их частота будет возрастать, наступит время, когда не пройдет и дня без крупной аварии.

Я знаю.

Но то же будет происходить в промышленности, везд, где используются машины – машины, которыми они рассчитывали заменить разум. Авиакатастрофы, взрывы цистерн, прорывы раскаленного металла в домнах, короткое замыкание в электросетях высокого напряжения, проседание почвы под зданиями, плавунки в метро – ничто их не минует. Механизмы, которые обезопасили их жизнь, станут для них источником опасности.

Я знаю.

Я знаю, что знаешь, но все ли ты обдумал в деталях? Представил ли ты себе все мыслимые картины? Я хочу, чтобы ты представил себе крушение мира, в который вступаешь, а потом решил, может ли что-либо оправдать твое появление там. Ты понимаешь, что больше всего пострадают города. Города созданы железными дорогами, и они погибнут вместе с ними.

Верно.

Когда встанет железная дорога, в Нью-Йорке через пару дней начнется голод. Запас продовольствия в городе на два дня. Его кормит континент, раскинувшийся на три тысячи миль.

Как они смогут доставить в Нью-Йорк продукты? Указами и воловьими упряжками? Но сначала, до того как это произойдет, они пройдут все стадии агонии – дефицит, разруху, голодные бунты, волны насилия в океане опустошения.

Так и будет.

Остановятся фабрики, остынут печи, замрут радио станции. Погаснет электричество.

Так и будет.

Они потеряют сначала самолеты, потом автомобили и, наконец, лошадей.

Так и будет.

Континент держится благодаря тонким нитям дорог. Сначала один поезд в день, потом один поезд в неделю, потом рухнет мост Таггарта, и тогда...

Нет, этого не будет! – Это сказала Дэгни, и все разом обернулись к ней. Лицо ее побледнело, но было более спокойным, чем тогда, когда она отвечала на их вопросы.

Галт медленно поднялся и склонил голову, словно принимая приговор.

Вы приняли решение, – сказал он.

Да, приняла.

Дэгни, – сказал Хью Экстон, – мне жаль. – Говорил он тихо, с усилием, слова, казалось, с трудом заполняли молчание комнаты. – Хотел бы я, чтобы этого не случи лось. Я предпочел бы все что угодно, кроме одного: видеть, как вы остались здесь потому, что вашим убеждениям не хватило смелости.

Она стояла в простой и искренней позе: руки опущены вдоль тела, ладони повернуты вперед. Она сказала, обращаясь ко всем, максимально спокойным тоном, так как не могла позволить себе поддаться эмоциям:

Хочу, чтобы вы знали: если бы было возможно, я хо тела бы остаться в этой долине еще на месяц и умереть. Так сильно во мне желание остаться. Но я выбрала жизнь и не могу дезертировать с поля битвы, которую веду.

Конечно, – с уважением сказал Маллиган, – если вы все еще так считаете.

Если вам угодно знать ту единственную причину, по которой я возвращаюсь, я скажу вам: я не могу заставить себя бросить на гибель все величие мира, все, что было мо им и вашим, все, что создано нами и до сих пор по праву принадлежит нам, потому что я не в состоянии поверить в то, что люди могут отказаться видеть, что они могут оставаться слепыми и глухими и никогда не смогут понять нас и нашу правоту, от принятия которой зависит их жизнь. Они ведь все еще любят жизнь, это еще осталось в их извращен ном сознании. До тех пор, пока люди хотят жить, я не могу потерпеть поражение.

Но хотят ли они? – тихо спросил доктор Экстон. – Хотят ли они жить? Нет, не отвечайте мне сейчас. Понять и принять ответ на этот вопрос оказалось самым трудным делом для всех нас. Унесите этот вопрос с собой, как последний довод, нуждающийся в проверке.

Вы покидаете нас, оставаясь нашим другом, – сказал Мидас Маллиган, – но мы будем сражаться против всех ваших действий, потому что знаем: вы ошибаетесь, но осуждать мы будем не вас.

Вы вернетесь, – сказал Хью Экстон, – потому что ваша ошибка идет от незнания, это не нравственный изъян, не уступка злу, а последняя жертва, которую вы приносите своей добродетели. Мы будем ждать вас, Дэгни, и, когда вы вернетесь к нам, вы уже будете знать, что нет необходимости в конфликте желаний или в таком трагическом столкновении разных систем ценностей, которое вы так мужественно переносите.

– Благодарю вас, – сказала она, опуская глаза.

– Мы должны обсудить условия вашего отъезда, – сказал Галт; он говорил бесстрастным тоном человека, исполняющего свой долг. – Во-первых, вы должны дать нам слово, что

сохраните все в тайне: и наше дело, и наше существование, и нашу долину, и место вашего пребывания в течение этого месяца. Никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не должен узнать об этом мире вовне.

Даю вам слово.

Во-вторых, вы не должны пытаться вновь отыскать долину. Путь сюда вам заказан – без приглашения. Если вы нарушите первое условие, вы не подвергнете нас серьезной опасности; нарушив второе, подвергнете. Не в наших правилах ставить себя в зависимость от доброй или злой воли стороннего лица, в зависимость от обещания, выполнение которого мы не в состоянии гарантировать. Мы также не вправе ожидать, что вы поставите наши интересы выше собственных. Поскольку вы верите в правильность своего пути, может наступить день, когда вы сочтете нужным направить в долину наших врагов. По этому мы не дадим вам возможности сделать это. Вас вывезут из долины на самолете с завязанными глазами, вас доставят на расстояние, достаточное для того, чтобы вы не могли найти обратный путь.

Она склонила голову:

Это справедливо.

Ваш самолет отремонтирован. Угодно ли вам оплатить стоимость ремонта за счет ваших средств в банке Маллигана?

Нет.

Тогда он останется здесь до тех пор, пока вы не со благоволите заплатить за него. Послезавтра я вывезу вас из долины на своем самолете и оставлю в пределах досягаемости транспортных средств.

Она склонила голову:

– Я согласна.

Уже стемнело, когда они отправились домой. Дорожка к дому Галта пересекала долину, минуя хижину Франциско, и они шли втроем. В темноте изредка возникали освещенные прямоугольники окон, первые полосы тумана, свиваясь, поднимались к рамам, подобно теням, отброшенным далеким морем. Они шли молча, звуки их шагов сливались в единый ровный ритм, как речь, которую надо понять, но нельзя выразить в иной форме.

Немного погодя Франциско сказал:

Ничто не изменилось, только отсрочилось, а последний отрезок всегда самый трудный. Зато последний.

Я тоже буду надеяться на это, – сказала она. И, помедлив, тихо повторила: – Последний самый трудный. – Она обратилась к Галту: – Можно вас попросить?

Да, о чем?

Позвольте мне уехать завтра.

Как вам угодно.

Когда несколько минут спустя Франциско заговорил, он, казалось, пытался разрешить какое-то невысказанное недоумение; он сказал, как бы отвечая на вопрос:

Дэгни, мы все трое любим... – она быстро взглянула на него, – одно и то же, неважно, в какой форме. Не удивляйся поэтому, что между нами нет ощущения разрыва. Ты будешь одной из нас, пока тебе будут милы твоя дорога и твои локомотивы. Они приведут тебя обратно к нам, сколь бы раз ты ни сбивалась с пути. Потерян навсегда лишь тот, в ком угасли стремления.

Спасибо, – тихо сказала она.

За что?

За то, как ты это сказал.

А как я это сказал? Поясни, Дэгни.

Ты сказал это так, будто счастлив.

А я счастлив... точно так же, как ты. Не говори, что ты чувствуешь. Я знаю и так. Но видишь ли, мы способны стерпеть ад в той мере, в какой любим. Для меня невыносимым адом было бы видеть твое равнодушие.

Дэгни молча кивнула и, хотя не смогла бы назвать радостью то, что испытывала, тем не менее чувствовала, что он прав.

Пряди тумана, сплетаясь и клубясь, как дым, наплывали на светлый лик луны. В рассеянном свете было не рассмотреть лиц. Дэгни шла между Галтом и Франциско и могла воспринимать только прямые очертания их фигур, мерный звук шагов и собственное желание идти так все дальше и дальше. Она не углублялась в свои переживания и осознавала только, что в ней нет сомнения и боли.

Возле своего дома Франциско остановился и, включив их обоих в единый жест, указал на дверь:

Зайдем ко мне, ведь нам предстоит на время расстаться. Давайте в последний вечер выпьем за то будущее, в ко тором мы все трое уверены.

Уверены? – спросила она.

Да, – ответил Галт, – уверены.

Она всмотрелась в их лица, когда Франциско включил в доме свет. Выражения она не могла определить, их лица не выражали счастья или другого радостного чувства, они были энергичны и торжественны, но они излучали свет, если такое, подумала она, возможно, но то же странное сияние она ощущала в себе, и тот же свет озарял ее лицо.

Франциско достал из буфета три стакана, потом внезапно замер, как при неожиданной мысли. Он поставил один стакан на стол, потянулся за двумя серебряными кубками Себастьяна Д'Анкония и поставил их рядом.

Ты отправишься прямо в Нью-Йорк, Дэгни? – спросил он спокойным, приветливым тоном хозяина, до стающего бутылку доброго старого вина.

Да, – так же спокойно ответила она.

Я послезавтра лечу в Буэнос-Айрес, – сказал он, откупоривая бутылку. – Не уверен, окажусь ли я позже в Нью-Йорке, но на случай, если окажусь, встречаться со мной опасно.

Меня это не пугает, – сказала она, – если только ты сочтешь меня достойной встречи.

– Не сочту. Во всяком случае, в Нью-Йорке нас не должны видеть вместе. – Разлив вино, он взглянул на Галта: – Джон, когда ты решишь, остаешься или возвращаешься?

Галт прямо посмотрел на него и неторопливо, тоном человека, осознающего все последствия своих слов, ответил:

– Я уже решил, Франциско. Я возвращаюсь.

Рука Франциско замерла. Какое-то время он видел только лицо Галта. Потом перевел взгляд на Дэгни. Франциско поставил бутылку, и, хотя он не отступил назад, казалось, взгляд его обрел глубину и сразу вместил их обоих.

– Ну конечно, – сказал он.

Казалось, он отодвинулся еще дальше и теперь мог охватить всю протяженность их жизни; голос его звучал ровно, ненапряженно; звук как будто приобрел ту же глубину, что и зрение.

– Я знал это двенадцать лет назад, – сказал он. – Знал задолго до того, как об этом узнали вы, и мне надо было понимать, что вам это откроется. В ту ночь, когда я связался с тобой в Нью-Йорке, я подумал об этом, как... – он говорил это Галту, но перевел взгляд на Дэгни, – о воплощении всего, что ты искал... всего, ради чего ты учил нас жить или умереть. Иначе и быть не могло. Это должно было случиться. Все определилось тогда, двенадцать лет назад. – Он взглянул на Галта и тихо усмехнулся: – А ты говорил, что мне досталось больше всех!

Он резко отвернулся, затем медленно, словно подчеркивая значимость действия, долил

вина в три сосуда на столе. Он поднял два серебряных кубка, чуть помедлил, глядя на них, потом протянул один Дэгни, другой – Галту.

– Держите, – сказал он. – Вы это заслужили, и вовсе не по воле случая.

Галт принял кубок из его рук, глядя прямо в глаза Франциско:

– Я отдал бы все за то, чтобы все было по-другому. Кроме того, что отдать невозможно.

Дэгни подняла свой кубок и посмотрела на Франциско так, чтобы он мог видеть, что она перевела взгляд на Галта.

– Да, – сказала она, и это звучало ответом на вопрос, – но я этого не заслужила, то, что заплатили вы, я плачу сейчас и еще не знаю, сумею ли расплатиться, и если ценой и мерой окажется ад, то гореть мне в нем дольше вас двоих.

Пока они пили, она стояла, закрыв глаза, чувствуя, как вино течет по горлу, и понимала, что для них троих это самый мучительный... и самый возвышенный момент в жизни.

Она не разговаривала с Галтом, пока они добирались вдвоем до его дома. Она не поворачивала к нему голову, сознавая, что даже взгляд был бы слишком опасен. Несмотря на молчание, она чувствовала спокойствие полного понимания, и еще она ощутила в себе напряжение, осознавая, что они не должны называть то, что понимали.

Но, когда они оказались лицом к лицу в гостиной, она обернулась к нему с полной уверенностью, будто убедилась в своем праве на это и могла опираться на эту убежденность и спокойно называть все своими именами. Она ровным голосом, в котором не звучало ни просьбы, ни ликования, лишь констатация факта, спросила:

– Вы возвращаетесь во внешний мир, потому что там буду я?

– Да.

Я не хочу, чтобы вы возвращались.

У меня нет выбора.

Вы уезжаете отсюда ради меня?

Нет, ради себя.

Вы позволите мне видиться с вами там?

Нет.

Я не должна видеть вас?

Не должны.

Я не должна знать, где вы и что с вами?

Не должны.

Вы будете следить за мной, как раньше?

Даже больше.

Чтобы защитить меня?

Нет.

Тогда зачем же?

Чтобы оказаться на месте, когда вы решите присоединиться к нам.

Она внимательно смотрела на него, не позволяя себе никакой иной реакции. Казалось, она пыталась нащупать ответ на вопрос, который не вполне понимала.

Остальные соберутся здесь, – объяснил он. – Остаться там будет слишком опасно. Я стану для вас как бы последним ключом, чтобы открыть дверь в долину, прежде чем вход будет замурован.

Ах вот что! – Она подавила свой взглас, прежде чем он превратился в стон. Потом, вернув себе спокойствие, спросила бесстрастным, отстраненным тоном: – А если я скажу, что мое решение окончательно и я никогда не при соединюсь к вам?

Это будет ложь.

А если бы я захотела сейчас окончательно принять такое решение и придерживаться его, невзирая на будущее?

Невзирая на то, что вы увидите в будущем, и на убеждения, которые у вас сложатся?

– Да.

Это будет хуже, чем ложь.

Вы уверены, что я приняла ошибочное решение?

Уверен.

Вы полагаете, что человек должен нести ответственность за свои ошибки?

– Да.

– Тогда почему бы вам не позволить мне одной нести ответственность за мои ошибки?

Я вам это позволю, и вы будете нести ответственность.

Если я обнаружу, что хочу вернуться в долину, но слишком поздно, почему вы должны рисковать, оставляя Дверь открытой для меня?

Я не должен и не стал бы, если бы не преследовал личной выгоды.

Какой личной выгоды?

Я хочу, чтобы вы были здесь.

Дэгни закрыла глаза и опустила голову, открыто признавая свое поражение, поражение в споре и попытке спокойно принять все значение того, что оставляла.

Когда она подняла голову и, словно вобрав в себя его искренность, посмотрела на него, не скрывая ни страдания, ни страстного стремления, ни спокойствия, она знала, что и первое, и второе, и третье отражается в ее взгляде.

Лицо Галта было таким, каким она впервые увидела его при свете солнца, – лицом беспощадной ясности и бесстрашной пронизательности, без боли, без страха и без чувства вины. Она подумала: «О, если бы я могла стоять так и смотреть на него – на разлет прямых бровей над темно-зелеными глазами, на изгиб тени, подчеркивающей линию его губ, на словно отлитую из металла поверхность его кожи в открытом вороте рубашки, на спокойно неподвижную статью его ног, у меня не осталось бы других желаний, кроме как провести всю свою жизнь здесь таким образом». Но в следующую минуту она уже знала, что, если бы ее желание осуществилось, такое созерцание потеряло бы всякий смысл, потому что она предала бы все, что сообщало смысл этому желанию.

И тогда, вовсе не как воспоминание, а как факт из настоящего, Дэгни заново пережила тот вернувшийся к ней момент, когда она стояла у окна своей комнаты в Нью-Йорке и смотрела на окутанный туманом город, на недостижимые очертания погрузившейся в небытие Атлантиды, и она поняла, что теперь видит ответ на этот момент. Она ощутила не слова, которые тогда адресовала городу, а то непере译имое чувство, из которого возникли эти слова: «Ты, кого я всегда любила, но так и не обрела, ты, кого я мечтала увидеть в конце пути за горизонтом...»

Вслух же она сказала:

– Я хочу, чтобы вы знали: я начала свою жизнь с незыблемого правила, что свой мир я должна создать по образу своих наивысших ценностей и никогда, какой бы суровой и долгой ни оказалась битва, никогда не занижать критерии («ты, чье присутствие я всегда ощущала на улицах города, – звучал в ней беззвучный голос, – чей мир я стремилась построить»); теперь я знаю, что сражалась за эту долину («меня поддерживала любовь к тебе»); я увидела, что долина – это не сон, и я ни на что не променяю ее и не отдам во власть безрассудного зла («мою любовь и надежду быть с тобой, быть достойной тебя в тот день, когда встану лицом к лицу с тобой»); я возвращаюсь, чтобы сражаться за долину, дать ей свободу, вывести ее в принадлежащий ей по праву широкий мир, чтобы земля принадлежала вам физически, как она принадлежит вам духовно, чтобы снова встретиться с вами в тот час, когда смогу вернуть вам весь отвоєванный

мир; если же я потерплю поражение, то навсегда останусь изгнанницей из этой долины, до конца жизни («но все, что останется от меня, всегда будет твоим, и я всегда буду носить в себе твое имя, даже если никогда не произнесу его; всегда буду служить тебе, даже если не смогу победить, я никогда не сойду с этого пути, чтобы быть достойной тебя в день нашей встречи, даже если его никогда не будет»); за это я буду сражаться, даже если мне придется выступить против вас, даже если вы заклейте меня как предателя... даже если мне не суждено будет снова увидеть вас.

Галт стоял не двигаясь, он слушал, не меняясь в лице, только смотрел ей в глаза, будто слышал каждое слово, даже те, что остались произнесенными. Он ответил ей, и взгляд его не менялся, будто через него проходил ток, который еще нельзя было прервать; тон его голоса был тот же, что у нее, словно он отвечал ей на той же частоте; голос его ничем не выдавал волнения, разве что размеренностью речи:

– Если вы потерпите неудачу, как терпели ее борцы за мечту, которая должна была стать явью, но никогда не давалась в руки, если, подобно им, вы придете к выводу, что высокие идеалы недостижимы, а лучшие мечты неосуществимы, не проклиняйте этот мир, как это делают они, не осуждайте жизнь. Вы видели Атлантиду, цель их поисков, она здесь, она существует, но человек должен войти сюда нагой и один, сбросив вековые лохмотья лжи, с чистым и ясным разумом, не с невинным сердцем, а с гораздо более редким качеством – разумом, не способным к компромиссу; вот ключ к Атлантиде и единственное достояние, с которым можно сюда войти. Вам не будет доступа сюда, пока вы не усвоите, что не надо ни убеждать, ни отвоевывать мир. Когда вы это усвоите, вы увидите, что во все годы вашей борьбы ничто не закрывало вам путь в Атлантиду и никакие цепи не держали вас, кроме тех, которыми вы сами с готовностью опутали себя. Все эти годы то, за что вы так страстно боролись, ожидало вас, – он взглянул на нее, словно отвечая на ее невысказанные слова, – ожидало с тем же упорством, с каким вы сражались, с той же страстью и тем же отчаянием, но с большей уверенностью, чем ваша. Идите и продолжайте вашу борьбу, несите и дальше ненужную ношу, принимайте незаслуженную кару и продолжайте верить, что можно служить делу справедливости, с готовностью обрекая свою душу на незаслуженные муки. Но в самые худшие, самые мрачные минуты помните, что вы видели иной мир. Помните, что он открыт для вас, когда вам захочется. Помните, что он возможен, он существует, он ждет – это ваш мир. – Затем, отвернувшись, тем же ясным голосом, но взглядом прерывая контакт, он спросил: – Когда вы хотели бы отбыть завтра?

Ну... как только вам будет удобно, но желательно по раньше.

Тогда приготовьте завтрак в семь, а в восемь мы вы летим.

Хорошо.

Он вытащил из кармана и протянул ей маленький блестящий кружок, который она сначала не рассмотрела. Он опустил его ей на ладонь – это была пятидолларовая золотая монета.

– Расчет за месяц, – сказал он.

Она с силой сжала монету в кулаке, но ответила спокойным и бесстрастным тоном:

Благодарю вас.

Спокойной ночи, мисс Таггарт.

– Спокойной ночи.

В оставшиеся часы она не спала. Она села на пол, прижалась лицом к кровати и не ощущала ничего, кроме его присутствия за стеной. Иногда ей казалось, что он стоит перед ней, а она сидит у его ног. Так она провела последнюю ночь с ним.

Она покинула долину так же, как появилась, не взяв с собой ничего. Она оставила кое-что из того, что успела приобрести здесь, – крестьянскую юбку, блузку, фартук, кое-что из белья.

Все это она аккуратно сложила в комод. С минуту она смотрела на свои вещи, прежде чем закрыла ящик, подумав, что, если вернется, быть может, найдет их на месте. Она ничего не взяла с собой, кроме золотой монеты и куска пластыря, все еще прилепленного к ребрам.

Солнце коснулось горных вершин, обведя сверкающей чертой границу долины. Дэгни поднялась на борт самолета. Она откинулась на спинку сиденья рядом с Галтом и взглянула снизу в его лицо, склонившееся над ней, как тогда, в первое утро, когда она открыла глаза. Потом она закрыла глаза и почувствовала его руки: он завязывал ей глаза.

Раздался рокот мотора, который она ощутила не как звук, а как дрожь после того, как внутри нее что-то взорвалось. Дрожь, казалось, настигла ее издалека, причинила бы ей телесную боль, будь она рядом с ее источником.

Она не могла сказать, когда самолет оторвался от земли и пересек горную гряду. Она сидела тихо, воспринимая пространство только по шуму мотора, ее будто нес звуковой поток, иногда сопровождаемый тряской. Звуки исходили от двигателя, от приборов в кабине; об остальном она не могла судить, и ей оставалось терпеть не вмещиваясь.

Она полулежала на сиденье, вытянув вперед ноги, держась за подлокотники; она не ощущала движения, не ощущала даже собственного тела; ничто не могло подсказать ей время – у нее не было ни ощущения пространства, ни зрения, ни будущего, только ночь под стянутыми плотной повязкой веками; единственной надежной реальностью оставалось сознание присутствия Галта.

Они не разговаривали. Только однажды она вдруг позвала:

– Мистер Галт. – Да?

Нет, ничего. Я просто хотела убедиться, что вы на месте.

Я всегда буду на месте.

Она не могла сказать, сколько миль продержался в ее памяти звук этих слов, оставаясь на их пути вехой, которая быстро откатывалась назад, пока не исчезла совсем. И не осталось ничего, кроме тишины неделимого настоящего.

Она не могла сказать, день прошел или час, когда она ощутила, что самолет резко устремился вниз, что могло означать посадку или крушение; для нее это было почти равнозначно.

Она ощутила толчок колес о землю с опозданием, словно не сразу поверила, что они приземлились.

Самолет еще немного пробежал вперед, подпрыгивая на выбоинах, потом мотор стих, и наступила тишина. Она ощутила руки Галта на своих волосах – он снял с нее повязку.

В глаза ей ударило ослепительное солнце, вокруг, насколько хватал глаз, расстилалась выжженная прерия, покрытая редкими пучками жесткой травы, вдаль уходило заброшенное шоссе, в конце которого на расстоянии мили виднелись дрожащие в знойном мареве расплывчатые очертания города. Дэгни взглянула на часы: сорок семь минут назад ее окружала Долина Галта.

– Там вы найдете железнодорожную станцию «Таггарт трансконтинентал», – сказал Галт, указывая на город, – и сможете сесть в поезд.

Она кивнула, будто ей все понятно.

Галт не последовал за ней, когда она спустилась из кабины на землю. Он перегнулся через колесо к открытой дверце самолета, и они посмотрели друг на друга. Она стояла, подняв к нему лицо, ветерок шевелил ее волосы, взгляду Галта открылась скульптурно-четкая линия ее плеч в безукоризненном костюме – деловая женщина, одиноко стоящая на фоне бескрайней пустынной прерии.

Он указал рукой на восток в сторону невидимых городов.

– Не ищите меня там, – сказал он. – Вы не найдете меня, пока я не понадобится вам таким, каков есть. И когда я понадобится вам таким, вам не составит труда отыскать меня.

Дверца с шумом захлопнулась; звук показался ей намного громче, чем последовавший за ним рев двигателя. Она следила, как самолет разбегается, подминая колесами траву. Потом между травой и шасси показалась полоска неба.

Она огляделась. Город в отдалении окутывала прозрачная пелена струящегося горячего воздуха. Здания, казалось, провисали под ржавыми потеками, крыши провалились, над ними руиной возвышалась фабричная труба. Дэгни увидела неподалеку выцветший, пожелтевший лоскут, который слабо шелестел в траве, – обрывок газеты. Она смотрела на все вокруг невидящими глазами, все казалось ей нереальным.

Потом она отыскала в небе самолет. Размах крыльев становился все меньше и меньше, и одновременно затихал шум двигателя. Самолет еще набирал высоту, подставляя небу крылья, отсюда он походил на большой серебряный крест; потом траектория полета выровнялась, следуя линии горизонта и даже слегка склоняясь к земле; еще немного, и он, казалось, замер без движения, но становился все меньше. Дэгни следила за ним, как за падающей звездой: крест, потом точка, потом сверкающая искорка, то ли она есть, то ли это плод воображения. Увидев, что весь небесный полог усыпан такими искорками, она поняла, что самолет скрылся из вида.

Глава 3 . Антипод стяжательства

– Что я здесь делаю? – спросил доктор Роберт Стадлер. – Зачем меня вызвали? Я требую объяснений. Я не привык тащиться через полконтинента без веской на то причины.

Доктор Флойд Феррис улыбнулся.

– Поэтому я тем более ценю ваше появление, доктор Стадлер. – По его тону нельзя было определить, что в нем звучало – благодарность или самодовольство.

Солнце жгло немилосердно, и доктор Стадлер чувствовал, как по виску скользнула струйка пота. Он не понимал, как можно, не стесняясь, затевать глубоко, до раздражения личный разговор посреди шумной толпы, которая торопилась занять места вокруг них на центральной трибуне, – разговор, которого он безуспешно добивался последние три дня. Ему пришло в голову, что именно по этой причине его встреча с доктором Феррисом откладывалась до этого момента, но он отбросил эту мысль, как отмахнулся от какого-то насекомого, нацелившегося на его потный лоб.

– Почему вы избегали встречи со мной? – спросил он. Коварное оружие сарказма в значительной мере теряло свою эффективность в этих условиях, но другого у доктора Стадлера не было. – Почему вы сочли необходимым писать мне на фирменных бланках и в стиле, более подходящем, как я думаю, для военных... – Он хотел сказать «приказов», но поправил себя: – Канцеляристов, но уж никак не для научной переписки?

– Это вопрос государственной важности, – мягко сказал доктор Феррис.

Вы понимаете, что я слишком занят и что это означает перебой в моей работе?

О да, – небрежно подтвердил доктор Феррис.

Вы понимаете, что я мог бы и отказаться?

Но вы же не отказались, – мягко возразил доктор Феррис.

Почему мне не дали разъяснений? Почему вы лично не приехали ко мне вместо того, чтобы посылать этих поразительно наглых юнцов, которые несли невероятную чушь, смесь квазинауки с низкопробными штучками из дешевых шпионских боевиков.

Я был очень занят, – отрезал доктор Феррис.

Тогда будьте любезны объяснить мне, что вы делаете посреди равнин Айовы, а заодно и что здесь делаю я. – Он презрительно обвел рукой пыльный горизонт пустынной прерии, включив в свой жест и три деревянные трибуны. Трибуны поставили совсем недавно, и дерево, казалось, тоже потело – он видел, как выступали и сверкали на солнце капли смолы.

Мы станем свидетелями исторического события, док тор Стадлер, которое явится вехой в развитии науки, цивилизации, общественного благосостояния и политического благоустройства. – Голос доктора Ферриса звучал так, будто он декламировал рекламный текст. – Поворотный пункт новой эры.

Какое событие? Какой новой эры?

Как вы сами увидите, только самые выдающиеся граждане, сливки нашей интеллектуальной элиты получили привилегию участвовать в этом событии. Мы, конечно, не могли обойти ваше имя. Разумеется, мы не сомневаемся, что можем рассчитывать на вашу лояльность и сотрудничество.

Ему никак не удавалось поймать взгляд доктора Ферриса. Трибуны быстро заполнялись людьми, и доктор Феррис постоянно отвлекался, чтобы помахать рукой вновь прибывшим, которых доктору Стадлеру не доводилось встречать раньше, но которые несомненно являлись важными особами, о чем можно было догадаться по тому, как приветствовал их доктор Феррис, – весело и неофициально, но с особой почтительностью. Они тоже, казалось, знали

доктора Ферриса и разыскивали его, словно он был церемониймейстером или гвоздем программы.

Не могли бы вы рассказать мне поконкретнее, что здесь... – начал было доктор Стадлер.

Привет, Спад! – воскликнул доктор Феррис и помахал рукой солидному седовласому джентльмену, заполнившему своим грузным телом парадный генеральский мундир.

Доктор Стадлер возвысил голос:

Я повторяю, не могли бы вы, не отвлекаясь, объяснить мне в конце концов, что здесь происходит...

Все очень просто. Это окончательный триумф... Но простите меня на минутку, доктор Стадлер, – торопливо проговорил доктор Феррис и, как услужливый лакей на барский звонок, бросился вперед к группе людей, походивших на разношерстную кучку гуляк. Он успел лишь обернуться на бегу и с почтением бросить одно слово, которое он, похоже, посчитал достаточным объяснением: – Пресса!

Стадлер присел на деревянную скамью, испытывая необъяснимое нежелание общаться с окружавшей его публикой. Три трибуны расположили полукругом на некотором расстоянии друг от друга, и это создавало обстановку бродячего цирка; они явно предназначались для какого-то представления и вмещали около трехсот человек, но пока перед зрителями не было ничего, кроме пустынной прерии, тянувшейся до самого горизонта; виднелась только одинокая ферма вдалеке.

Перед трибуной, очевидно бронированной для прессы, были установлены микрофоны. Напротив трибуны для официальных лиц находилось что-то вроде пульта управления и коммутатор; на панели пульта блестели под солнцем полированные рычажки. Позади трибун устроили импровизированную автостоянку, где уже надменно красовались немало роскошных лимузинов. У доктора Стадлера возникло смутное чувство тревоги, и вызвало его сооружение, стоявшее в нескольких тысячах футов на невысоком пригорке, – маленькое приземистое строение непонятного назначения, с массивными каменными стенами, без окон, если не считать узких прорезей, забранных толстыми металлическими решетками; здание венчал громадный купол; непропорционально тяжеловесный для такого сооружения, он, казалось, вдавливал его в землю. У основания купола находилось несколько выходов неправильной, произвольной формы; они напоминали грубо сляпанные из глины портики и, казалось, имели мало общего с индустриальным веком; назначение их было непонятно. У здания был мрачный, даже зловещий вид, как у раздувшегося круглого ядовитого гриба; построено оно было наверняка недавно, но со своими нелепыми закругленными нефункциональными очертаниями выглядело обнаруженным где-то посреди джунглей примитивным сооружением, посвященным какому-то тайному дикарскому культу.

Доктор Стадлер с раздражением вздохнул: он устал от тайн. «Секретно» и «строго секретно» – такие слова стояли на полученном им приглашении, которое гласило, что он должен на два дня прибыть в Айову, цель поездки не сообщалась. Двое молодых людей, назвавшихся физиками, прибыли в институт, чтобы сопровождать его, его звонки в офис Ферриса в Вашингтон остались без ответа. Во время утомительной поездки сначала самолетом, потом в тесном салоне автомобиля – все за государственный счет – он не узнал ничего нового. Молодые люди говорили о науке, о чрезвычайных ситуациях, социальной стабильности, о необходимости соблюдать тайну, так что в конце пути доктор Стадлер понимал меньше, чем в начале. Он только заметил, что в их рассуждениях постоянно повторялись два слова, которые фигурировали и в тексте приглашения. Применительно к неизвестной проблеме они звучали зловеще – это было требование лояльности и «сотрудничества».

Молодые люди доставили его в первый ряд трибуны и исчезли, как отработанный пар,

оставив наедине с доктором Феррисом, который внезапно конденсировался перед ним, – должно быть, из этого пара. Теперь же Стадлер озирался вокруг и видел, как уклончиво и небрежно доктор Феррис управляет с оравой газетчиков. Стадлер впал в полное оцепенение, он не мог понять, что к чему, картина происходящего казалась ему бессмысленной и хаотичной.

Вместе с тем у него зародилось подозрение, что за всем этим скрывается четко продуманный план, что все впечатления, которые он получал, кем-то строго дозировались по продолжительности и силе.

Внезапно он ощутил приступ паники, накативший, как удар грома, он вдруг понял, что ему ужасно хочется скрыться. Но он изгнал эти мысли из своего сознания. Он понимал, что его согласие и сам приезд связаны с мрачной тайной, непостижимой и более смертельно опасной нежели та, которая скрывалась в строении, похожем на шляпку гриба.

«Смогу ли я разобраться в собственных мотивах, которые привели меня сюда?» – думал он. Ведь они коренились и выражались не в словах; они осознавались на уровне эмоций, как удушающий спазм, оставлявший после себя ядовитую коррозию души. Его мозг сверлили слова, которые всплыли в памяти, когда он дал согласие приехать; они стояли перед ним, как магическое заклятие, которое произносят, когда нужно, не смея задуматься, что за ним стоит: "Что поделаться, когда имеешь дело с людьми?"

Он обратил внимание, что трибуна для тех, кого Феррис назвал интеллектуальной элитой, больше той, что предназначалась для государственных чиновников. Он поймал себя на том, что ему приятно оказаться в первом ряду. Он обернулся, чтобы посмотреть на ряды позади. И тут его ожидало разочарование, близкое к шоку: случайное сборище потрепанных, унылых личностей плохо отвечало его представлению об интеллектуальной элите. Он увидел агрессивно растерянных мужчин и безвкусно одетых женщин, увидел завистливые, блеклые, подозрительные физиономии, на которых лежала печать, несовместимая с образом носителя интеллекта, – печать заурядности. Он не нашел ни одного известного ему лица, здесь не было знаменитостей или тех, кто мог претендовать на это звание. Ему было непонятно, по какому принципу были отобраны эти люди.

Потом он заметил во втором ряду костлявую фигуру пожилого человека с длинным дряблым лицом, которое ему кого-то напоминало, но кого – он не мог сказать, только бледное воспоминание, как о фотографии, которую он видел в каком-то второсортном издании. Он наклонился к соседке и спросил, указывая:

– Не скажете ли, кто это?

Женщина ответила благоговейным шепотом:

– Это же доктор Саймон Притчет!

Доктор Стадлер отвернулся, надеясь, что его никто не узнает и не увидит среди такой публики.

Он поднял глаза и увидел, что Феррис ведет к нему всю пишущую братию. Доктор Феррис изготовился распорядиться им как гид местной достопримечательностью. Когда они приблизились, он громогласно объявил:

– Зачем вам терять время на меня, когда вот он – главный виновник торжества, человек, сделавший возможным сегодняшнее достижение, – доктор Роберт Стадлер.

На мгновение ему показалось, что на истасканных, циничных лицах газетчиков появилось странное выражение не то чтобы уважения, интереса или надежды, а скорее какого-то отдаленного эха этих чувств, слабого отблеска того выражения, которое принимали их лица в молодости при упоминании имени Роберта Стадлера. В тот момент у него возникло побуждение, в котором он не хотел признаться даже самому себе, – желание сказать им, что он ничего о сегодняшнем событии не знает, что он здесь так же мало значит, как и они, или еще

меньше, что он всего лишь пешка в какой-то грандиозной афере, что он здесь почти... заключенный.

Вместо этого доктор Стадлер услышал собственный уверенный, снисходительный голос, он принялся отвечать на вопросы тоном человека, посвященного в секреты самых верхних эшелонов власти:

– Да, мы, в Государственном институте естественных наук, гордимся своими достижениями, поставленными на службу обществу. Наш институт не какое-нибудь орудие частных интересов и личных амбиций, он работает на благо человечества, всего мира, – выдавил он, как диктофон, тошнотворные банальности, позаимствованные у доктора Ферриса.

Он запрещал себе осознавать, что испытывает отвращение к самому себе: отвращение есть, но объект другой; он внушал себе, что его тошнит от окружающих; это они вынуждали его подвергаться этой позорной процедуре. Что поделать, думал он, когда имеешь дело с людьми?

Репортеры кратко записывали его ответы. Теперь их лица превратились в лица роботов, приученных с притворным вниманием выслушивать пустые высказывания таких же роботов.

– Доктор Стадлер, – спросил один из них, указывая на здание на пригорке, – правда ли, что вы считаете проект "К" величайшим достижением Государственного института естественных наук?

Наступила гнетущая тишина.

– Проект... "К"?.. – переспросил доктор Стадлер.

Он понял, что тон выдавал его с головой, и это почувствовали репортеры, которые тут же, как по сигналу тревоги, вскинули головы. Они замерли с поднятыми вверх карандашами.

На какое-то мгновение, пока мышцы его лица усилием воли собирались в некое подобие улыбки, доктор Стадлер ощутил, как на него накатывает бесформенный, почти сверхъестественный ужас. Он почувствовал, что на него будто надвигается мощный, отлаженный механизм и подминает под себя, а у него нет воли противиться.

– Проект "К"? – тихо выдавил он из себя тоном заговорщика. – Вы же знаете, господа, что значимость, как и мотивы, достижений нашего института не может быть поставлена под сомнение, так как мы некоммерческая организация. К этому нечего добавить.

Он поднял голову и заметил, что доктор Феррис в течение всего интервью стоял позади группы репортеров. Ему показалось, что теперь лицо Ферриса вроде бы расслабилось, а взгляд... взгляд как будто стал наглее.

На автостоянку на полном ходу влетели две роскошные машины и замерли под роскошный визг тормозов. Репортеры бросили на полуслове доктора Стадлера и помчались навстречу выходящим из машин важным особам.

Доктор Стадлер повернулся к доктору Феррису:

– Что такое проект "К"? – строго спросил он.

Феррис невинно и одновременно нагло улыбнулся.

– Некоммерческий проект, – ответил он и помчался встречать важных особ.

Из почтительного шушуканья в толпе Стадлер узнал, что человек в модном полотняном костюмчике, который походил на жуликоватого адвоката и уверенно и энергично шагал в центре группы, – мистер Томпсон, глава государства. Он расточал улыбки, хмурился и резко отвечал на вопросы репортеров. Доктор Феррис пробирался сквозь толпу с грацией кошки, трущейся о множество ног.

Группа приблизилась, и доктор Стадлер увидел, что Феррис подводит прибывших к нему.

– Мистер Томпсон, – зычным голосом произнес доктор Феррис, когда они поравнялись, – позвольте представить вам доктора Роберта Стадлера.

Стадлер увидел, что глава государства долю секунды оценивающе обшаривал его взглядом,

в котором промелькнуло благоговение, как при виде загадочного феномена из области, недоступной для мистера Томпсона. Но в его глазах читалось и другое – расчетливость, пронизательность и оборотистость тертого мошенника, который знает, что все, так или иначе, живут по его меркам. Взгляд этот как будто говорил: «Ну а какой навар снял с этого дела ты?»

– Рад, рад, наслышан, – энергично трясая его руку, кивнул ему мистер Томпсон.

Стадлер узнал, что высокий сутулый мужчина с армейской стрижкой – мистер Висли Мауч. Имена других, кому он пожимал руки, доктор Стадлер не разобрал. Группа двинулась дальше, к трибуне для официальных лиц, а он остался на месте. Его жгло неприятное открытие: оказалось, что одобрителный кивок этого мелкого жулика вызвал у него трепет удовольствия.

Откуда-то появились молодые служители с ручными тележками – они выглядели как театральные капельдинеры и стали раздавать какие-то блестящие предметы с тележек. Это оказались полевые бинокли. Доктор Феррис занял место у микрофона на правительственной трибуне. По сигналу Висли Мауча он обратился к собравшимся.

– Дамы и господа!.. – Его торжественный, полный приторного пафоса голос, многократно усиленный динамиками, казался, вылетел из глотки гиганта и заполнил тишину прерии.

Толпа замерла, все головы одновременно повернулись в сторону ладной фигурки доктора Ферриса.

– Дамы и господа! В знак признания ваших вы дающихся заслуг и преданности идеалам нашей страны и общества вы избраны, чтобы присутствовать при первой демонстрации научного достижения такой огромной значимости, такой исключительной важности и эпохальных возможностей, что о нем до сих пор было известно лишь узкому кругу лиц как о проекте "К".

Доктор Стадлер сфокусировал бинокль на единственном объекте впереди – отдаленной ферме.

Теперь он хорошо видел беспризорный фермерский дом. Очевидно, дом покинули давно, крыши уже не было, сквозь стропила просвечивало небо. Темные глазницы окон лишь кое-где поблескивали осколками разбитых стекол. Сарай осел, крыша его провалилась, колесо над крытым колодцем заржавело, на дворе валялся опрокинутый трактор.

Доктор Феррис между тем распространялся о первопроходцах научной целины, о годах самозабвенного труда и неустанного поиска, о преданности идее, которая воплотилась в изделие "К".

Странно, думал доктор Стадлер, что посреди этого запустения на ферме все еще пасется стадо коз – шесть или семь, одни щипали траву, другие дремали на солнце среди руин.

– Проект "К", – вещал доктор Феррис, – это исследование в области звука. Наука о звуке содержит немало неожиданного, такого, о чем непосвященные едва ли подозревают...

Футах в пятидесяти от фермерского дома Стадлер увидел новое сооружение непонятного назначения – конструкцию из стальных балок и панелей, которая без видимой цели возвышалась на пустом месте.

Доктор Феррис теперь толковал о колебаниях звука.

Стадлер направил бинокль к горизонту за фермой, но там на десять миль ничего не было видно. Его внимание привлекла одна из коз: она как-то странно дергалась. Теперь он заметил, что козы цепями прикованы к вбитым в землю кольям.

– ...были обнаружены, – говорил доктор Феррис, – такие частоты колебаний звука, которых не может выдержать никакая органическая или неорганическая структура.

Стадлер увидел скачущее в траве между козами серебристое пятно. Это непривязанный козленок, резвясь, прыгал вокруг матери.

– Звуковой луч генерируется и направляется из гигантской подземной лаборатории, – сообщил доктор Феррис, указывая на здание на горизонте. – Пульт управления мы между собой

именуем «ксилофоном», потому что надо быть чертовски осторожным и нажимать на нужные клавиши, а точнее, на рычажки. Для этой демонстрации основной пулы выведен сюда, на временный «ксилофон», – он ука зал на панель управления, установленную перед правительственной трибуной, – так что вы сможете увидеть все операции и оценить их простоту...

Стадлер с удовольствием смотрел на резвящегося козленка, его вид и уморительные прыжки действовали умиротворяюще. Мальшу не исполнилось еще и двух недель – комочек шелковистого белого меха на грациозных длинных ножках; казалось, он намеренно весело и рьяно имитировал неуклюжесть всех своих четырех прямых, негнущихся конечностей. Казалось, он веселился, радуясь солнечным лучам, летнему дню, своему существованию.

– ...звуковой луч невидим, неслышим и полностью управляем относительно направления, расстояния и цели. Первый показ, на котором вы присутствуете, проводится в узком секторе, всего две мили, и полностью безопасен: оцеплена территория в двадцать миль. Этот лабораторный генератор излучает звуковые волны, способные распространяться – через выходное отверстие под куполом, вы можете его видеть, – по территории в радиусе ста миль, самые удаленные точки этой окружности простираются от берегов Миссисипи, приблизительно в районе моста Таггарта, до Де-Мойна и Форт-Доджа в Айове, Остина в Миннесоте, Вудмена в Висконсине и Рок-Айленда в Иллинойсе. Это всего лишь скромное начало. Мы имеем возможность создавать звукогенераторы высокой частоты с радиусом в две и три тысячи миль, но так как мы не смогли своевременно получить необходимое количество термостойкого металла, такого, как сплав Реардэна, нам пришлось удовлетвориться нынешним оборудованием с указанным радиусом действия. В знак признания выдающейся роли, которую сыграл в осуществлении проекта его вдохновитель мистер Томпсон, обеспечивший выделение Государственному институту естественных наук необходимых средств, без которых проект "К" не был бы осуществлен, это великое изобретение впредь будет именоваться гармонизатором Томпсона.

Толпа заплодировала. Мистер Томпсон не шелохнулся, не двинул ни единым выражением лица. Доктор Стадлер не сомневался, что мелкий мошенник имел к проекту не больше отношения, чем служители-капельдинеры, что у него не хватило бы ни мозгов, ни инициативы, даже достаточной злобы на мир, чтобы подсунуть людям еще одну смертоносную ловушку, что и сам он был всего лишь пешкой, винтиком безмолвной машины – аппарата, у которого не было ни центра, ни вождя, ни направления, аппарата, который приводили в движение отнюдь не доктор Феррис и не Висли Мауч, никто из безмозглых зрителей, собравшихся на трибунах, равно как никто из тех, кто скрывался за кулисами, – аппарата бездушного, неразмышляющего, неосязаемого, в котором не было руководителя, а все были пешками, каждая в меру своей безнравственности. Доктор Стадлер ухватился за край скамьи, ему хотелось вскочить с места и броситься прочь.

– Что же касается того, как и зачем используется звуковой луч, об этом я говорить не стану. Пусть он скажет сам.

Сейчас вы увидите его в действии. Когда доктор Блодгетт нажмет на рычаг «ксилофона», сосредоточьте внимание на цели – ферме в двух милях от вас. Больше смотреть не на что. Луч невидим. Все прогрессивные мыслители давно признали, что нет явлений, а есть только процессы, нет ценностей, есть только следствия. Сейчас, дамы и господа, вы увидите процесс работы гармонизатора Томпсона – и следствие.

Доктор Феррис поклонился, медленно отошел от микрофона и уселся на скамью рядом с доктором Стадлером.

У пульта встал молодцеватый толстячок и выжидающе уставился в глаза мистеру Томпсону.

Мистер Томпсон некоторое время смотрел, озадаченно моргая, не понимая или забыв, что от него требуется, пока к нему не наклонился Висли Мауч и не прошептал ему что-то на ухо.

– Контакт! – громко произнес мистер Томпсон.

Доктор Стадлер не нашел в себе сил смотреть на манипуляции Блоджетта, который грациозным, округло женственным движением потянул один рычажок на пульте, затем другой. Доктор Стадлер поднял бинокль и стал смотреть на ферму.

В тот момент, когда он поймал фокус, одна из коз дергала цепочку, чтобы спокойно пожевать пучок высокой травы. В следующий момент она взлетела в воздух, вверх ногами, дергаясь и брыкаясь; потом свалилась в конвульсиях в серую кучу, образованную семью козами – уже без признаков жизни. Только одна нога, прямая, как палка, высунулась вверх из кучи и какое-то время трепетала, как ветвь на ветру. Едва все это дошло до сознания доктора Стадлера, как дом разлетелся на куски, как картонная коробка, и рухнул вниз, накрытый сверху обвалом кирпичей развалившейся трубы. От трактора осталась лепешка. Навес над колодцем разлетелся на части, а колесо, описав длинную Дугу в воздухе, плашмя упало на землю. Стальные балки и перемычки конструкции лопнули и рухнули вниз, как спичечный домик, если на него дунуть. Все произошло так быстро, просто и бесповоротно, что Стадлер не успел ужаснуться, не успел ничего осознать, это не был знакомый ему мир, это был кошмарный сон из тех, что мучают детей, когда предметы можно уничтожать одной злой волей.

Он отвел от глаз бинокль и посмотрел на пустынную степь. Фермы больше не существовало, в отдалении не осталось ничего, кроме темноватой полосы, похожей на тень от облака.

Из рядов сзади раздался пронзительный, душераздирающий вопль: какой-то женщине стало дурно, и она упала в обморок. Он удивился, почему она закричала с таким запозданием, но тут же сообразил, что с момента, когда дернули за первый рычаг, не прошло и минуты.

Он снова поднес бинокль к глазам; казалось, у него появилась внезапная надежда, что он увидит только тень от облака. Но все осталось на месте – груда развалин и трупов. Он вгляделся пристальнее и понял, что ищет козленка. Но ничего не нашел: от живого существа остался только холмик серого меха.

Опустив бинокль, он повернулся и увидел, что доктор Феррис смотрит на него. Он не сомневался, что все это время Феррис следил не за испытанием, а за его лицом, будто хотел знать, сможет ли он, Роберт Стадлер, сам выдержать испытание лучом.

– Вот и все, – тоном рыночного зазывалы, рекламирующего новый товар, объявил в микрофон толстяк Блоджетт. – В каркасах зданий не осталось ни одного гвоздя, ни одной петли, а в телах животных – ни одной нелопнувшей артерии или вены.

В толпе началось шевеление, послышался возбужденный шепот. Люди переглядывались, неуверенно поднимались с мест и вновь садились, им меньше всего нужна была эта пауза, мешавшая хоть чем-то заполнить беспокойство. В шепоте угадывалась едва сдерживаемая истерика. Казалось, все ждут, чтобы им подсказали, что чувствовать и что делать.

Доктор Стадлер видел, как из задних рядов выводили по ступенькам женщину, она низко наклонила голову, прижимая ко рту платок: ее тошнило.

Он отвернулся и заметил, что доктор Феррис все еще следит за ним. Доктор Стадлер слегка отклонился назад и спросил, с лицом строгим и презрительным, лицом величайшего ученого страны:

Кто изобрел этот чудовищный механизм?

Вы.

Доктор Стадлер смотрел на него замерев.

Это всего лишь практическое приспособление, – любезным тоном продолжал доктор

Феррис, – в основу которого положены ваши теоретические работы, а именно бесценные исследования природы космических излучений и передачи энергии в пространстве.

Кто работал над проектом?

Несколько третьестепенных, как вы выразились, физиков. Их задача была не так уж сложна. Никто из них ни когда бы не представил себе первого шага на этом пути, не имея они в своем распоряжении вашей теории и формулы передачи энергии, но с этим багажом остальное оказалось просто.

Какова практическая цель этого изобретения? В чем его «эпохальные возможности»?

Ах, разве не ясно? Это неоценимый инструмент национальной безопасности. Кто осмелится напасть на вас, если вы обладаете таким оружием? Оно избавит страну от страха перед агрессией, страна может в полной безопасности строить свое будущее. – В его тоне была странная беззаботность, сиюминутная импровизация; казалось, его не заботило, поверят ему или нет, и он не делал для этого никаких усилий. – Ослабнет напряжение в обществе. Вы играет дело мира, стабильности и, как мы указали, гармонии. Изобретение устранил угрозу войны.

Какой войны? Какой агрессии? Когда весь мир голо дает, а так называемые народные республики еле сводят концы с концами за счет подачек нашей страны, где вы видите опасность войны? Вы что же, думаете, что на вас нападут дикари в лохмотьях?

Доктор Феррис посмотрел ему прямо в глаза.

– Внутренний враг может быть столь же опасен, как и внешний, – ответил он. – Может быть, еще более опасен. – На сей раз его голос звучал так, словно он рассчитывал, что его поймут, и нисколько в этом не сомневался. – Государственные системы уязвимы. Но представьте себе, какой стабильности можно достичь в обществе, если разместить энное количество таких установок в ключевых пунктах. Это гарантирует вечный покой, разве не так?

Доктор Стадлер не шевельнулся и не ответил, время шло, а выражение его лица не менялось, оно застыло, как парализованное. Он смотрел неподвижным взглядом человека, которому внезапно открылось то, что он знал, знал с самого начала, но до сих пор упорно старался не замечать, и который теперь никак не мог примирить увиденное с желанием отказать увиденному в праве на существование.

– Не понимаю, о чем вы говорите! – выдохнул он на конец.

Доктор Феррис улыбнулся.

– Никакое частное лицо, даже самый алчный промышленник или финансист никогда не дал бы денег на проект "К", – негромко сказал он тоном простецкой дружеской беседы. – Не по зубам. Требуются огромные капиталовложения без всякой перспективы материальной отдачи. Какой прибыли тут можно ожидать? С этой фермы уже ничего не получишь. – Он показал на темное пятно в отдалении. – Но, как вы уже заметили, проект "К" с самого начала замыслен как некоммерческий. В отличие от коммерческих фирм, Государственный институт естественных наук не испытывал затруднений с финансированием. Вам ведь не приходилось в последние два года слышать, что институт испытывает финансовые трудности? А раньше такая проблема существовала – заставить их проголосовать за выделение фондов на развитие науки. В обмен на деньги, как вы говаривали, они всегда требовали игрушек. Вот это и есть игрушечка, которую вполне оценят власть предержащие. Они выбили голоса. Это оказалось не так уж трудно. Большинство законодателей охотно пошли на выделение фондов: раз проект секретный, значит, важный, а раз важный, то понятно, почему секретный и почему им не раскрывают всех карт, так и надо. Были, конечно, немногие скептики и сомневающиеся. Но они сдались, когда им напомнили, что во главе института стоит доктор Роберт Стадлер – личность, заслуживающая полного доверия.

Доктор Стадлер рассматривал ногти на своей руке.

Внезапно загудел микрофон, и толпа мгновенно настроилась на внимание, люди уже теряли самообладание и были на волосок от истерики. Диктор бодро затараторил, выстреливая слова с благожелательностью пулемета: сейчас начнется радиопередача, из которой нация узнает об эксперименте, в котором они участвовали. Взглянув на часы, затем на текст перед глазами и повинуясь указующему сигналу Висли Мауча, диктор начал вещать в блестящую змеевидную головку микрофона для громадной аудитории слушателей в гостиных, конторах, кабинетах и детских садах:

– Дамы и господа! Проект "К"!

Доктор Феррис наклонился к доктору Стадлеру, чтобы пробиться сквозь мерный оглушающий галоп диктора, несущегося со своим известием об изобретении по континенту, и сказал тоном малозначащего замечания:

– Жизненно важно, чтобы в эти неустойчивые времена в стране не возникло критики проекта. – Тут он как бы невзначай полушутливо добавил: – Чтобы вообще никогда не возникло никакой критики.

– ...политические, интеллектуальные, культурные и духовные лидеры нашей страны, – продолжал кричать в микрофон диктор, – которые присутствовали при этом выдающемся событии от вашего имени, как ваши представители, лично поделятся с вами своими впечатлениями.

Первым по ступенькам на трибуну с микрофоном поднялся мистер Томпсон. Он толкнул краткую, но энергичную речь, в которой возвестил новую эру и воинственным тоном, как предупреждение непоименованным супостатам, заявил, что наука принадлежит народу и каждый человек на земном шаре имеет право на свою долю в достижениях научно-технического прогресса.

Следующим выступил Висли Мауч. Он говорил о плановом развитии общества и необходимости как один сплотиться в поддержку тех, кто планирует. Он упирал на дисциплину, единство, самоотверженность, патриотический долг и стойкость в борьбе с временными трудностями.

Мы собрали лучшие умы нации, чтобы работать на ваше благо. Данное великое изобретение есть продукт гения человека, чья преданность идеалам человечества не может быть поставлена под сомнение, человека, который едино душно признан величайшим ученым нашего столетия, – доктора Роберта Стадлера!

Что! – вырвалось у доктора Стадлера. С беспомощным видом он круто повернулся к доктору Феррису.

Доктор Феррис терпеливо и заботливо смотрел на него.

– Он не спросил у меня разрешения на такое заявление! – полувывалил-полупрошептал доктор Стадлер.

Доктор Феррис развел руками в жесте беспомощного упрека.

– Теперь вы видите, доктор Стадлер, как нехорошо позволять беспокоить себя политическими делами, которые вы всегда считали недостойными вашего внимания. Видите ли, мистер Мауч вовсе не обязан спрашивать у вас разрешения.

Теперь на трибуне возникла долговязая фигура доктора Саймона Притчета. Обвив своим тощим телом треногу микрофона, он говорил скучающим, презрительным тоном, будто вещал о чем-то непристойном. Он заявил, что новое изобретение – инструмент общественного благосостояния, что оно гарантирует всеобщее процветание и что всякий, кто усомнится в этом очевидном факте, является врагом общества и заслуживает соответствующего порицания.

– Это изобретение порождено доктором Робертом Стадлером, выдающимся борцом за свободу...

Доктор Феррис открыл портфель и, достав несколько страниц аккуратно напечатанного текста, обратился к доктору Стадлеру:

– Вы будете гвоздем программы, – сказал он. – Вы выступите последним в конце этого часа. – Он протянул страницы доктору Стадлеру. – Вот ваша речь. – Остальное досказали его глаза: слова были выбраны неслучайно.

Доктор Стадлер взял листки, но держал их кончиками пальцев, как держат ненужный клочок бумаги перед тем, как выбросить.

Я не просил вас утруждать себя составлением моих речей, – сказал он. Сарказм в его голосе подсказал Феррису: сейчас не время для ответного сарказма.

Я не мог допустить, чтобы вы тратили свое драгоценное время на подготовку выступлений на радио, – сказал доктор Феррис. – Я не сомневался, что вы оцените это. – Он говорил притворно вежливым тоном, не скрывая фальши, как будто щадя гордость нищего, которому он бросил подачку.

Реакция доктора Стадлера встревожила его: доктор Стадлер не только ничего не ответил, но даже не взглянул на рукопись.

Неверие, – рычал между тем на трибуне коренастый оратор с мясистой физиономией и интонациями забулдыги, – неверие – вот чего нам надо бояться! Если мы поверим в планы наших лидеров, то планы сами собой начнут работать, и у всех нас будет всего навалом, будет и процветание, и кайф. Надо только дать укорот болтунам, которые сеют смуту и сомнения и подрывают нашу мораль. Это из– за них нищета и дефицит. Но скоро на них найдется управа, мы защитим от них наш народ, пусть эти умники и критиканы только покажутся, мы им покажем, почем фунт лиха, можете мне поверить!

Было бы весьма прискорбно, – мягко проговорил Доктор Феррис, – в такое взрывоопасное время, как сейчас, обратить общественное негодование против института. В стране хватает недовольства и волнений; если люди неправильно поймут характер нового изобретения, они могут выместить свой гнев на ученых. Ученые никогда не пользовались уважением в народе.

– ...исключительно мирный характер, – убеждала, вздыхая в микрофон, высокая, жилистая женщина, – это изобретение – великое новое оружие мира. Оно защитит нас от агрессивных замыслов корыстолюбивых врагов, оно позволит нам свободно дышать и учиться любить своих ближних. – У нее было костлявое лицо и рот, сложившийся горестной складкой, словно с похмелья; она была в переливчатом бледно-голубом платье из тех, что надевают на концерт артистки. – С этим изобретением мы подошли к тому, о чем мечтали веками, – к синтезу науки и любви.

Доктор Стадлер вглядывался в лица. Люди на трибунах теперь сидели спокойно, они слушали, но в их глазах пульсировал отблеск сумерек, отблеск боязни того, что происходящее – процесс, который никогда не прекратится; их глаза походили на свежие раны, подернутые пленкой заразы. Они знали, как знал и он, что именно на них нацелен луч из отверстий в основании грибообразного купола. Интересно, подумал доктор Стадлер, как им удастся отключать свой рассудок и отмахиваться от истины. Он понимал, что слова, которые они с готовностью впитывали, подобны цепям, которыми их, как подопытных животных, удерживали на месте в радиусе действия луча. Они страстно желали верить; он видел, как сжимались их губы, видел, как время от времени они окидывали своих соседей подозрительным взглядом, словно ужас таился не в звуковом луче, а в тех людях, которые заставят их признать его ужасным. Их глаза подергивались пленкой, но во взгляде кровоточила и взывала о помощи рана.

– Почему вы полагаете, что они думают? – нежно увещевал его доктор Феррис. – Разум – единственное оружие ученого, но разум не властен над людьми, разве не так? В такие времена, как наше, когда страна близка к распаду, когда слепое отчаяние подталкивает чернь к

открытому бунту и насилию, позволительны любые средства, лишь бы сохранить порядок. Что поделаться, когда имеешь дело с людьми?

Доктор Стадлер не ответил.

Желеобразно-толстая женщина в потемневшем от пятен пота платье, с выпиравшей из лифа грудью убеждала страну – доктор Стадлер вначале не поверил своим ушам, – что особую признательность за новое изобретение должны испытывать женщины-матери.

Доктор Стадлер отвернулся; наблюдавший за ним доктор Феррис мог теперь видеть только благородную линию высокого лба и глубокую горькую складку в уголке рта.

Внезапно, без всякой связи с происходящим, Роберт Стадлер повернулся к доктору Феррису. Это напоминало неожиданный выброс крови из вдруг открывшейся раны, которая уже почти затянулась. Лицо Стадлера открылось; выплеснулись боль, ужас, подлинное чувство, будто на миг оба они вернулись к человеческой сути, и он простонал в смертельной тоске:

– И это, Феррис, цивилизованная страна, цивилизованная страна!

Доктор Феррис немного выждал и извлек из себя долгий, негромкий хохоток.

– Не понимаю, о чем вы говорите, – сказал он тоном, каким произносят цитату.

Доктор Стадлер опустил глаза.

Когда Феррис заговорил вновь, в его голосе появились едва заметные резкие нотки, значение которых Стадлер не мог определить, кроме того, что они неуместны в интеллигентной беседе.

– Крайне нежелательно поставить под угрозу интересы Государственного института естественных наук. Печально, если институт закроют или кому-либо из нас придется оста вить его. Где нас ждут? Наука нынче непозволительная роскошь, осталось не много лиц или организаций, которые могут позволить себе самое необходимое, не то что роскошь. Двери для нас закрыты. В исследовательских отделах промышленных концернов, к примеру, «Реардэн стил», нам вряд ли скажут «добро пожаловать». Кроме того, если мы наживем себе врагов, их будут опасаться и те люди, которым понадобился бы наш талант. Человек вроде Реардэна, возможно, поборолся бы за нас. А человек вроде Орена

Бойла? Но все это чисто теоретические рассуждения, потому что фактически все частные исследовательские лаборатории закрыты в соответствии с законом – указ десять двести восемьдесят девять подписан, между прочим, чего вы, вероятно, не знаете, мистером Висли Маучем. Может быть, вы подумали об университетах? Они в таком же положении. Они тоже не могут позволить себе иметь врагов. Кто же заступится за нас? Кто-нибудь вроде Хью Экстона мог бы выступить в нашу защиту, но думать об этом значит впасть в грех анахронизма. Он принадлежал к другой эпохе. Условия нашей социально-экономической действительности давно уже исключили возможность существования людей его типа. И уж конечно, я не думаю, что доктор Саймон Притчет и поколение ученых, возвращенных под его опекой, смогли и захотели бы хоть пальцем пошевелить ради нас. Я никогда не верил в действенность идеалистов, а вы? Сейчас не время для беспочвенного идеализма. Если кто-нибудь и захочет выступить против политики правительства, как ему добиться, чтобы его голос услышали? С помощью этих господ журналистов, доктор Стадлер? Через этот микрофон? Разве в стране осталась хоть одна независимая газета? Свободная радиостанция? Или по-настоящему частная собственность, если уж на то пошло? Может быть, есть независимое собственное мнение? – Он уже не маскировал своего тона, это был голос уличного громилы. – Собственное мнение по нынешним временам – роскошь, которой никто не может себе позволить.

Доктор Стадлер с трудом владел онемевшими губами, окоченевшими, как мышцы несчастных коз.

Вы разговариваете с Робертом Стадлером.

Я это помню. Именно поэтому я и говорю вам: Роберт Стадлер – славное имя, и я бы не хотел, чтобы слава его померкла. Но что такое в наши дни славное имя? Славное в чьих глазах? – Он обвел рукой трибуны. – В глазах людей, которых вы видите вокруг? Если они готовы поверить, когда им внушают, что орудие смерти – это орудие процветания, разве они не скажут, когда им велят, что Роберт Стадлер – предатель и враг Отечества? И вы будете уповать, что это ложь? Уж не думаете ли вы об истине и лжи, доктор Стадлер? Вопросы истины не имеют никакого отношения к общественным проблемам. Принципы не имеют веса в общественных делах. У разума нет власти над людьми. Логика бессильна. Нравственность излишня. Не отвечайте мне сейчас, доктор Стадлер. Ответите через микрофон. Вы следующий оратор.

Поглядывая на оставшееся от фермы темное пятно в отдалении, доктор Стадлер понимал, что испытываемое им чувство – страх, но не позволял себе понять причину этого страха. Человек, проникший в тайну частиц и субчастиц космоса, не позволял себе исследовать собственные чувства, иначе он понял бы, что его ужас имел три истока: во-первых, его страшил стоявший перед глазами образ – надпись над входом в институт, начертанная в его честь: «Неустрашимому Разуму. Неоскверненной Истине»; во-вторых, он испытывал элементарный, грубый, животный страх перед физическим уничтожением, унижительный страх, которого со времен собственной юности он никак не ожидал испытать на себе в цивилизованном мире; в-третьих, его терзал ужас от сознания того, что, предавая первое, человек оказывается во власти второго.

Он шагал к микрофону медленным, твердым шагом, подняв голову, скомкав в ладони текст выступления. Казалось, он шел и на пьедестал, и на гильотину. Подобно тому, как в момент кончины перед взором умирающего проходит вся его жизнь, голос диктора развертывал свиток жизни и достижений Роберта Стадлера. Легкая дрожь пробежала по лицу Роберта Стадлера, когда диктор читал из его послужного списка: «...бывший заведующий кафедрой физики в Университете Патрика Генри». Он понимал, но как-то отвлеченно, будто какой-то сторонний человек, которого он оставил позади, что еще миг, – и это сборище станет свидетелем краха более ужасного, чем разрушение фермы.

Он уже поднялся на первые три ступеньки помоста, когда один молодой журналист вырвался вперед, подбежал к нему и, ухватившись снизу за ограждение, попытался остановить его.

– Доктор Стадлер! – отчаянным шепотом молил он. – Скажите им правду! Скажите, что вы не имеете к этому никакого отношения! Скажите, что это изобретение дьявола, предназначенное для убийства! Скажите народу, стране, что за люди пытаются править ими! Вам поверят! Скажите правду! Спасите нас! Вы один можете это сделать!

Доктор Стадлер посмотрел на него сверху. Журналист был молод, его движения и голос отличались быстротой и четкостью, им руководила ясная цель; среди своих престарелых коллег, продажных искателей выгоды и связей, он смог добиться известности и вторгся в элитарный круг политической прессы посредством и в качестве последнего бесспорно яркого таланта. В его глазах горел огонь бесстрашного интеллекта, такие же глаза когда-то смотрели на доктора Стадлера со студенческой скамьи. Он даже заметил, что глаза были карие, с зеленоватым оттенком.

Доктор Стадлер отвернулся и увидел, что к нему на выручку, на правах слуги или надзирателя, спешит Феррис.

– Прошу оградить меня от оскорблений и провокаций со стороны безответственных юных сумасбродов с изменчивыми настроениями, – громко сказал доктор Стадлер.

Доктор Феррис набросился на молодого человека и, потеряв самообладание, с лицом, искаженным от ярости при виде этого внезапного, непредвиденного препятствия, заорал:

Немедленно сдать журналистское удостоверение! Вон отсюда!

Я счастлив, – начал читать свой текст в микрофон для притихшей публики и всей страны доктор Стадлер, – что после долгих лет работы на поприще науки могу пере дать уважаемому главе нашего государства мистеру Томпсону изобретение огромной мощи, способное оказать ни с чем не сравнимое облагораживающее воздействие на людей в интересах мира и прогресса...

Небо дышало, как раскаленная добела печь, а по улицам Нью-Йорка, как по желобам, текла расплавленная пыль, вытеснившая свет и воздух. Дэгни стояла на перекрестке, где она сошла с аэропортового автобуса, и ошеломленно рассматривала город. Казалось, здания поблекли от жары, державшейся много недель, а люди поблекли от боли, не отпуская их многие столетия. Она стояла и смотрела на них, не в силах избавиться от всепоглощающего ощущения нереальности.

Это ощущение нереальности не оставляло ее с раннего утра, с того момента, когда, пройдя по обезлюдевшему шоссе, она вошла в незнакомый город и спросила первого встречного, где находится.

В Ватсонвилле, – ответил тот.

А не скажете ли, какой это штат? – спросила она. Мужчина с удивлением оглядел ее с ног до головы.

Небраска, – ответил он и быстро удалился.

Она невесело улыбнулась, понимая, что ему хотелось узнать, откуда она явилась, но, как бы он ни напрягал воображение, никогда не додумался бы до истинного ответа, так он был неправдоподобен. Однако неправдоподобным ей показался Ватсонвилл, пока она шла по его улицам к вокзалу. Она уже отвыкла постоянно видеть отчаяние как нормальное, обыденное состояние человеческой жизни, настолько привычное, что его перестаешь замечать. Теперь вид его поразил ее в самое сердце своей безысходностью. Она видела на лицах людей печать боли и страха – и упорное нежелание признать это. Казалось, все погрузилось в чудовищный ритуальный самообман, отстраняя от себя реальность, не замечая фактов, отказывая себе в подлинной жизни, – и все из страха перед чем-то безмянным и запретным, тогда как запрещали они себе только одно – Увидеть источник своего страдания и усомниться в необходимости терпеть его. Все это было ей предельно ясно, и ей все время хотелось подойти к незнакомым людям, хорошенько встряхнуть их, рассмеяться им в лицо и крикнуть:

– Очнитесь!

У людей нет оснований так бедствовать, думала она, нет никаких причин быть несчастными, но тут же вспоминала, что причина имелась: они изгнали из своей жизни разум – то, что делает их сильными.

Поездом Дэгни добралась до ближайшего аэропорта, она никому не представлялась, поскольку в этом не было необходимости. В вагоне она села у окна, как незнакомец, которому непонятен язык окружающих людей. Она подобрала оставленную кем-то газету, с трудом заставила себя понять, что в ней говорилось, но так и не поняла, зачем об этом писать: все казалось ей детской бессмыслицей. На странице новостей из Нью-Йорка она с удивлением прочитала о себе: мистер Джеймс Таггарт с глубоким прискорбием извещал о гибели своей сестры в авиакатастрофе – вопреки всякого рода непатриотическим измышлениям. Она не сразу

вспомнила об указе десять двести восемьдесят девять и поняла, что Джим скорбит из-за слухов о том, что она якобы попросту дезертировала.

Судя по газете, ее исчезновение вызвало большой резонанс и все еще волновало общественность. Ее имя повторялось в разных контекстах в связи с возрастающим числом авиакатастроф. На последней странице она нашла объявление, подписанное Генри Реардэном, назначавшим вознаграждение в сто тысяч долларов тому, кто найдет место катастрофы и обломки ее самолета.

Это объявление вызвало у нее потребность торопиться, все прочее казалось бессмысленным. И тут до нее дошло, что ее возвращение будет крупным событием и она опять станет центром внимания. Она заранее испытала смертельную усталость, представив свое неизбежно эффектное появление, встречу с Джимом и журналистами, всеобщий ажиотаж и бесконечные расспросы. Хорошо бы все это прошло без ее участия.

В аэропорту она увидела репортера местной газеты, который брал интервью у какого-то официального лица перед его отлетом. Подождав, пока он закончит, она подошла к нему, протянула свои документы и тихо сказала, глядя в его округлившиеся от изумления глаза:

– Я Дэгни Таггарт. Я хочу, чтобы вы сообщили, что я жива и к вечеру вернусь в Нью-Йорк.

Самолет был уже готов к вылету, это избавило ее от необходимости отвечать на вопросы.

Она смотрела, как внизу, оторвавшись от нее, проплывают прерии, реки и города, и это ощущение отрыва, отчужденности, отстраненности, которое возникает, когда смотришь на землю из самолета, было сродни тому ощущению, которое она испытывала, глядя на людей, только расстояние, отделявшее ее от людей, казалось больше.

Пассажиры слушали радио, по-видимому, передавали что-то важное, судя по серьезным, внимательным лицам. До нее доносились обрывки лживых речей, в которых говорилось о каком-то новом изобретении; утверждалось, что оно принесет огромную пользу общественному благосостоянию, но ни то, ни другое не уточнялось. Специально выбирались слова без определенного смысла; интересно, думала Дэгни, как можно притворяться, что слушаешь нечто содержательное, но пассажирам это удавалось. Они вели себя как еще не умеющий читать ребенок, который открывает книгу и вычитывает из нее то, что ему хочется, притворяясь, что именно это и содержится в непонятных черных строчках. Но ребенок, думала она, знает, что играет, а эти люди притворяются сами перед собой, что не притворяются; другой способ существования им неизвестен.

Ощущение нереальности не покинуло ее, когда она высадилась в Нью-Йорке и сбежала незамеченной от толпы репортеров, не появившись на стоянке такси и вскочив в городской автобус; когда она ехала на автобусе, а потом стояла на перекрестке, всматриваясь в Нью-Йорк. Ей казалось, что перед ней покинутый людьми город.

Она не ощущала, что вернулась домой, даже войдя в свою квартиру, – всего лишь удобство, которое можно использовать, не придавая ему особого значения.

Но она испытала прилив энергии – как первый проблеск солнца в тумане, как первое осмысленное действие, – когда подняла телефонную трубку и набрала номер офиса Реардэна в Пенсильвании.

Мисс Таггарт? Неужели это вы? – радостно просто налад обычно строгая и несклонная к эмоциям мисс Айвз.

Здравствуйте, мисс Айвз. Надеюсь, я вас не напугала? Вы уже знали, что я жива?

О да! Узнала по радио сегодня утром.

Мистер Реардэн у себя?

Нет, мисс Таггарт, он... в Скалистых горах... ищет... то есть...

Да, я знаю. Нельзя ли с ним связаться?

Он должен вот-вот позвонить. Он остановился в Лос-Гатосе, в Колорадо. Я позвонила ему туда, как только услышала новость, но его не было на месте, и я передала, чтобы он перезвонил мне, как только вернется в отель.

Как называется отель?

«Эльдорадо», в Лос-Гатосе.

Спасибо, мисс Айвз. – Она собиралась повесить трубку.

Да, мисс Таггарт! -Да?

Что с вами случилось? Где вы были?

Я... я расскажу при встрече. Сейчас я в Нью-Йорке. Когда позвонит мистер Реардэн, передайте ему, что я у себя дома.

Да, мисс Таггарт.

Она положила трубку, но не сняла с нее руки, стремясь продлить контакт с тем, что имело для нее значение. Она осмотрела свою квартиру, взглянула из окна на город, ей не хотелось снова погружаться в мертвый туман бессмысленности.

Она подняла трубку и вызвала Лос-Гатос.

Отель «Эльдорадо», – недовольно ответил ей сонный женский голос.

Прошу вас передать сообщение мистеру Генри Реардэну. Попросите его, когда он вернется...

– Подождите, пожалуйста, минутку, – протянула в ответ женщина недовольным тоном человека, который считает всякую просьбу что-то сделать посягательством на личную жизнь.

Она слышала, как переключается номер, потом последовало жужжание, минутное молчание, и наконец раздался ясный, твердый мужской голос:

– Алло. – Она узнала Хэнка Реардэна.

Она уставилась на телефонную трубку, как на дуло револьвера, с чувством человека, попавшего в западню, с трудом переводя дыхание.

Алло? – повторил он.

Хэнк, это ты?

В ответ она слышала тихий звук, то ли просто глубокий вдох, то ли вздох, а за ним – долгие, ничего не значащие щелчки в трубке.

Хэнк! Ответа не было.

Хэнк! – в ужасе закричала она.

Ей показалось, что в трубке сделали усилие, чтобы восстановить дыхание, потом она услышала шепот – не вопрос, а утверждение, которое все ставило на место:

Дэгни.

Хэнк, прости меня! Дорогой, прости! Так ты не знал?

Где ты, Дэгни?

С тобой все в порядке?

Конечно.

Разве ты не знал, что я вернулась, что я... жива?

Нет, я не знал.

О Боже! Прости мой звонок, я...

О чем ты говоришь? Дэгни, где ты?

В Нью-Йорке. Ты не слышал? Об этом сообщали по радио.

Нет. Я только что вошел.

Разве тебе не передали, чтобы ты связался с мисс Айвз?

Нет.

У тебя все хорошо?

Теперь? – Она услышала, как он тихо и радостно рассмеялся. С этого момента его голос наполнился весельем и молодостью, счастье росло в нем с каждым словом. – Когда ты вернулась?

Сегодня утром.

– Дэгни, где ты была? Она ответила не сразу.

– Мой самолет разбился, – сказала она. – Меня по добрали, мне помогли, но я не могла сообщить о себе.

Радость в его голосе померкла.

Скверная история.

Если ты об аварии, то все не так уж скверно. Я не по страдала, то есть легко отделалась.

Тогда почему же не могла сообщить о себе?

Там не было... не было средств связи.

Почему ты так долго не возвращалась?

Я... я не могу ответить сейчас.

Дэгни, тебе что-то угрожало?

В тоне ответа, полурадостном-полугорьком, звучало почти сожаление:

Нет.

Тебя удерживали силой?

Нет, несколько.

Но тогда ты могла бы вернуться раньше, разве нет? Но ты ведь не вернулась.

Да, но это все, что я могу тебе рассказать.

Где ты была, Дэгни?

Прости, давай не будем говорить об этом сейчас. По дождем до встречи.

Конечно. Не буду задавать вопросов. Только скажи мне: с тобой все хорошо?

Хорошо? Да.

Я имею в виду, не осталось ли серьезных увечий или последствий?

Тем же безрадостно-бодрым тоном она ответила:

Увечий? Нет, Хэнк. Что касается последствий, то не знаю.

Сегодня вечером ты еще будешь в Нью-Йорке?

Ну конечно. Теперь я... вернулась насовсем.

Точно?

Почему ты спрашиваешь?

Не знаю. Вероятно потому, что слишком хорошо знаю, что это такое – искать тебя и не находить.

Я вернулась.

Да. Увидимся через несколько часов. – Его голос прервался, будто сказанное показалось ему невероятным. – Через несколько часов, – утверждающе повторил он.

Я буду на месте.

– Дэгни... -Да?

Он радостно рассмеялся:

Нет, ничего. Просто хотел чуть дольше слышать твой голос. Прости меня. То есть не сейчас; я имею в виду, что сейчас я ничего не хочу сказать.

Хэнк, я...

До встречи, дорогая. Скоро увидимся.

Она стояла и смотрела на умолкшую трубку. Впервые после возвращения она почувствовала боль, но эта боль оживила ее.

Она позвонила секретарю в управление дороги и коротко известила, что будет через

полчаса.

Памятник Натаниэлю Таггарту стоял перед ней в вестибюле вокзала во всей своей реальности. Дэгни казалось, что они одни в огромном храме, где раздавалось эхо; вокруг вились и исчезали туманными завихрениями бесплотные, бесформенные призраки. Она безмолвно стояла и смотрела на памятник, словно давая немногословную клятву. «Я вернулась» – эти слова были единственным ее приношением.

На двери ее кабинета висела все та же табличка «Дэгни Таггарт». Когда она вошла в приемную, на лицах ее сотрудников появилось выражение, в точности повторяющее выражение лица утопающего, которому бросили спасательный круг. В стеклянной загородке из-за своего стола навстречу ей поднялись Эдди Виллерс и какой-то человек, стоявший позади него. Эдди шагнул вперед, затем остановился, он словно оказался в клетке. Она же по очереди поприветствовала взглядом всех присутствующих, мягко улыбаясь им, как обреченным детям, и подошла к столу Эдди.

Эдди взирал на ее приближение, словно больше ничего не мог сейчас видеть, однако его поза должна была показать, что он еще слушает стоящего рядом с ним мужчину.

Тяга? – говорил тот голосом резким и звучным, но вместе с тем гнусавым и пренебрежительным. – С тягой нет проблем. Вот, например...

Привет, – тихо произнес Эдди с приглушенной улыбкой, словно приветствуя далекое видение.

Мужчина обернулся к ней. У него оказалось тяжелое желтое лицо, сложенное из дряблых мышц, и волнистые волосы. Он был красив той отвратительной красотой, которая удовлетворяет эстетическим критериям пивных. Тускло-матовые карие глаза были пусты и плоски, как стекляшки.

Мисс Таггарт, – звучным строгим голосом сказал Эдди, вбивая своим тоном манеры гостининой в мужчину, который там никогда не бывал, – позвольте представить вам мистера Мейгса.

Наше вам, – без интереса отозвался мужчина, снова повернулся к Эдди и продолжал, не обращая на Дэгни внимания: – Просто снимешь «Комету» с расписания на завтра и на вторник и перебросишь локомотивы в Аризону под срочные сельскохозяйственные перевозки, и, как я уже сказал, снимешь подвижной состав из-под угля в Скрэнтоне. Сейчас же отправляй распоряжение, надо вывозить грейп фрукты.

Ни в коем случае! – возмутилась Дэгни, не веря своим ушам.

Эдди молчал.

Мэйгс посмотрел на нее, пожалуй, с удивлением, если только его тусклые глаза могли отражать какие-то эмоции.

Отправляй распоряжение, – бросил он Эдди и вышел. Эдди делал пометки на листе бумаги.

Вы что здесь, с ума сошли? – спросила она.

Он поднял на нее глаза, будто в изнеможении после долгой потасовки:

Придется, Дэгни, – сказал он тусклым, как взгляд ушедшего мужчины, голосом.

Что это такое? – спросила она, указывая на входную дверь, которая захлопнулась за мистером Мейгсом.

Полномочный координатор.

Кто?

Уполномоченный из Вашингтона, ответственный за программу координации железнодорожных перевозок.

Что это за программа?

Ну, это... Ладно, потом. Как ты-то, Дэгни? Ты не пострадала? Ты ведь попала в

авиакатастрофу?

Дэгни представления не имела, как будет выглядеть Эдди, когда начнет стареть, но теперь она могла это видеть: он состарился в тридцать пять лет и всего за месяц. Дело было не в коже, не в морщинах, лицо осталось таким же, те же мышцы, но оно поблекло, взгляд потух, в нем застыло безнадежное страдание.

Она улыбнулась ему нежно и уверенно, понимая и снимая все проблемы, и сказала, протягивая руку:

– Все хорошо, Эдди. Здравствуй же.

Он схватил ее руку и поднес к губам – раньше он никогда этого не делал. В его жесте не было ни фамильярности, ни извинения, только простое, искреннее движение души.

Да, произошла авария, самолет разбился, – рассказывала она, – но, слава Богу, все обошлось, я не особенно пострадала, ничего серьезного. Но журналистам я скажу иначе, как и всем остальным. Прошу не выдавать меня.

Конечно, не выдам.

У меня не было возможности сообщить о себе, но не потому, что я пострадала. Вот все, что я могу тебе рассказать, Эдди. Не спрашивай, где я была и почему так долго не возвращалась.

Хорошо, не буду.

– А теперь расскажи мне об этой программе координации перевозок.

Ну, это... Если не возражаешь, пусть тебе расскажет Джим. Он охотно расскажет, не сомневайся. Просто у меня душа не лежит, если только ты не настаиваешь, – добавил он, делая над собой усилие, чтобы соблюсти субординацию.

Хорошо, не надо. Просто скажи, правильно ли я поняла координатора: он хочет на два дня снять «Комету», чтобы послать локомотивы в Аризону на срочную перевозку грейпфрутов?

Именно так.

И он так же отменяет перевозки угля, чтобы отдать вагоны под перевозку грейпфрутов?

– Да Грейпфрутов?

Именно.

Но почему?

Дэгни, слова «зачем», «почему» теперь не употребляют.

Помедлив, она спросила:

Ты не догадываешься о причине?

Догадываюсь? Мне незачем догадываться. Я знаю.

Хорошо, скажи.

Специальный грейпфрутовый предназначен для компании братьев Сматеров. Год назад они приобрели фруктовое ранчо в Аризоне у владельца, который разорился после выхода Закона о равных возможностях. До этого он тридцать лет владел ранчо. Братья Сматеры год назад занялись производством фруктовых соков. Они получили в Вашингтоне кредит под программу возрождения кризисных зон, таких, как Аризона, и на эти деньги купили ранчо. У них в Вашингтоне друзья.

Ну и?..

Дэгни, это известно всем. Все знают, как составляется расписание последние три недели и почему одни районы и грузоотправители получают вагоны, а другие нет. Но считается, что мы не должны говорить о том, что знаем. От нас ждут, что мы будем притворяться, будто верим в то, что все решения продиктованы соображениями общественного благосостояния и что для благополучия Нью-Йорка требуется немедленно доставить сюда большое количество грейпфрутов. – Он немного помолчал и добавил: – Только полномочный координатор может судить, что нужно для благополучия общества; он один обладает полномочиями выделять

локомотивы и подвижной состав на всех без исключения железных дорогах Соединенных Штатов. Наступило молчание.

Понятно, – сказала Дэгни. Еще через минуту она спросила:

Что сделано по тоннелю Уинстона?

Все забросили три недели назад. Поезд так и не откопали. Оборудование вышло из строя.

А что сделано для восстановления старого пути в обход тоннеля?

Ничего, проект положили на полку.

У нас еще остались трансконтинентальные марш руты?

Эдди как-то странно взглянул на нее.

А как же! – с горечью произнес он.

В обход по «Канзас вестерн»?

Нет.

Эдди, что здесь происходило последний месяц?

Он нехорошо скривился, будто собираясь сделать гнусное признание.

– Последний месяц мы делали деньги, – ответил он. Дверь открылась, и вошли Джеймс

Таггарт и мистер

Мейгс.

Эдди, ты хочешь присутствовать на совещании, – спросила Дэгни, – или предпочитаешь уйти?

Нет, я хочу остаться.

Лицо Джима походило на комок мятой бумаги, хотя на дряблых, пухлых щеках не добавилось новых складок.

– Дэгни, надо многое обсудить, много серьезных изменений, которые... – начал он высоким, взвинченным тоном, его голос включился в дело раньше, чем он сам. – Я рад твоему возвращению, рад, что ты жива, – нетерпеливо вставил он, спохватившись. – Есть неотложные вопросы...

– Пройдемте ко мне, – сказала она.

Ее кабинет походил на историческую реконструкцию, которую осуществил и поддерживал в таком виде Эдди Виллерс. На стенах висели те же карта, календарь и портрет Нэта Таггарта. От эры Клифтона Лоуси не осталось и следа.

Полагаю, я все еще вице-президент компании? – сказала она, садясь за стол.

Конечно, – торопливо, почти с вызовом, даже обвиняюще сказал Таггарт. – Безусловно так, и ты не должна забывать об этом, ты ведь не ушла с поста, ты все еще... Или?..

Нет, я не ушла с поста.

Первым делом надо объявить в прессе, что ты вернулась к своим обязанностям, сообщить, почему ты отсутствовала и где... Да, кстати, где ты была?

Эдди, – сказала она, – займись журналистами. Сообщи, что, когда я летела над Скалистыми горами к тоннелю Таггарта, у меня отказал двигатель. Я сбилась с маршрута, отыскивая место для посадки, и потерпела аварию в безлюдном горном районе... Вайоминга. Меня подобрал старый пастух с женой, они перенесли меня в свою хижину, расположенную в пустынном месте, в пятидесяти милях от ближайшего населенного пункта. Я сильно пострадала и почти две недели находилась без сознания. У стариков не было ни телефона, ни радио, никакой связи или транспорта, кроме старого грузовичка, который окончательно развалился, когда они попытались воспользоваться им. Мне пришлось оставаться с ними, пока я не набралась сил и не смогла ходить. Я прошла пятьдесят миль до подножия гор, потом добралась на попутных машинах до железнодорожной станции в Небраске.

Ах вот что, – сказал Таггарт. – Ну и отлично. Когда ты дашь интервью...

Я не собираюсь давать никаких интервью.

Как так? Меня весь день осаждают! Ждут! Это же не обходимо! – Он был в панике. – Невероятно важно!

Кто тебя осаждает весь день?

Из Вашингтона и... и другие. Ждут твоего заявления. Она показала на то, что Эдди записал в своем блокноте:

Вот мое заявление.

Но этого недостаточно! Ты должна объявить, что не уходишь со своей должности.

Это и так понятно. Я вернулась.

Надо так и объявить.

Как еще?

Сказать что-то от себя.

Кому?

Стране, народу. Люди тревожатся из-за тебя. Их надо успокоить.

Сообщение их успокоит, если только кто-то переживал из-за меня.

Я не это имею в виду.

Тогда что же?

Я имею в виду... – Он поперхнулся, избегая смотреть ей в глаза. – Я имею в виду... – Он сел, ломая пальцы в поисках слов.

Джим разваливается на глазах, подумала она; это возбуждение, дерганье, нетерпение, визгливый голос, панический вид – этого раньше за ним не водилось. Обычно осторожное ровное поведение сменилось несдержанными всплесками эмоций, скрытой, беспомощной злобой.

– Я имею в виду...

Он подыскивает слова, чтобы передать смысл, не выражая его, подумала Дэгни. Хочет, чтобы она поняла то, чего он не предназначал для понимания.

Я имею в виду, что общественность...

Я знаю, что ты имеешь в виду. Нет, Джим, я не собираюсь успокаивать людей относительно состояния нашей экономики.

Но ты...

Пусть у людей будет столько волнений, сколько у них ума. Теперь к делу.

Я...

Джим, говори о деле.

Он взглянул на мистера Мейгса. Тот сидел молча, скрестив ноги и покуривая сигарету. Он был в куртке, не форменной, но выглядевшей как военная форма. Мясистая шея выпирала из ворота, а живот вываливался из приталенной куртки, призванной скрыть его. На руке сверкало кольцо с большим желтым бриллиантом, который переливался, когда Мейгс шевелил толстыми пальцами.

Ты уже познакомилась с мистером Мейгсом, – полу уточнил Таггарт. – Я так рад, что у вас будут хорошие отношения. – Он выжидающе помолчал, но не получил отклика ни от нее, ни от него. – Мистер Мейгс представляет Комитет по координации железнодорожных перевозок. Ты будешь часто сотрудничать с ним.

Что это за Комитет по координации?

Это новая федеральная структура, образованная три недели назад. Ты ее оценишь, одобришь и увидишь, что она чрезвычайно эффективна. – Ее поражала примитивность его приемов: он полагал, что, высказав за нее авансом ее мнение, тем самым отрежет ей возможность изменить его. – Это чрезвычайный комитет, который спас транспортную систему страны от развала.

В чем его смысл?

Тебе, конечно, не надо объяснять, что при нынешнем кризисе всякое новое строительство сталкивается с непредвиденными трудностями. Временно оказалась невозможной прокладка новых дорог. Поэтому главная проблема, стоящая перед страной, – сохранить существующую систему путей сообщения со всеми ее возможностями как единое целое. Выживание нации требует...

В чем его конкретный смысл?

В целях самосохранения нации железные дороги страны объединены в единую систему с общими резервами. Их совокупный доход передан Управлению пула** (Пул – в переводе с англ, букв.: общий котел; особый вид картелей, отличающийся тем, что прибыль всех участников поступает в общий фонд и затем распределяется между ними согласно заранее установленной пропорции (Прим. ред.)) железных дорог в Вашингтоне, который осуществляет функции доверенного лица всей системы дорог и распределяет доходы по дорогам в соответствии с... более современным принципом распределения.

Что это за принцип?

Не надо волноваться, права на собственность полностью сохраняются и защищены государством, им просто придана новая форма. Каждая дорога сохраняет независимость и ответственность за свою деятельность: движение поездов, расписание, поддержание в порядке путей и оборудования. В качестве своего вклада в общенациональный пул каждая дорога разрешает любой другой при необходимости бесплатно использовать свои пути и прочие возможности. В конце года Управление пула распределяет совокупный доход, и каждая конкретная дорога получает свою долю не на основе старомодных случайных расчетов в зависимости от числа составов, тоннажа перевезенного груза и прочего, а на основе ее потребностей, а именно, поскольку поддержание путей в порядке является главной потребностью, каждая дорога получает свою долю доходов соответственно длине путей, которыми она владеет и которые содержит в рабочем состоянии.

Слова она слышала, значение их поняла, но поверить в них не могла, поэтому она не удостоила их чести выказать гнев, озабоченность, сопротивление против этого очевидного и кошмарного случая массового безумия, которое стало возможно только благодаря готовности людей притворно верить, что это разумно. Она ощущала тупую пустоту, она чувствовала, что ее забросило туда, где нравственное негодование бессмысленно.

Чьи пути мы используем для трансконтинентальных перевозок? – спросила она бесцветным, сухим тоном.

Ну, наши, конечно, – торопливо ответил Таггарт, – то есть от Нью-Йорка до Бедфорда, Иллинойс. Оттуда – по путям «Атлантик саузерн».

До Сан-Франциско?

Это будет быстрее, чем по тому обходному пути, который ты хотела обеспечить.

И мы ничего за это не платим?

Кроме того, твой обходной путь долго бы не продержался: «Канзас вестерн» обанкротилась и к тому же...

Никакой платы за использование путей «Атлантик саузерн»?

Но и мы ничего не берем с них за пользование нашим мостом через Миссисипи.

Спустя минуту она спросила:

Вы на карту смотрели?

Конечно, – вмешался вдруг Мейгс. – У вашей дороги самая большая протяженность путей в стране. Так что вам не о чем волноваться.

Эдди Виллерс расхохотался.

Мейгс непонимающе уставился на него:

Что с вами?

Ничего, – устало сказал Эдди, – ничего.

Мистер Мейгс, – сказала она, – если вы посмотрите на карту, то увидите, что две трети расходов на поддержание путей для наших трансконтинентальных перевозок несет наш конкурент, а нам они ничего не стоят.

Конечно. Ну и что из этого? – спросил Мейгс, но зрачки его сузились. Он подозрительно смотрел на нее, вероятно, не понимая, что толкает ее на такое откровенное заявление.

В то же время нам платят за то, что мы владеем миля ми и милями бесполезных путей, движения по которым нет, – сказала она.

До Мейгса дошло. Он откинулся на спинку стула, явно потеряв всякий интерес к спору.

Это неправда! – взорвался Таггарт. – У нас на ходу множество местных поездов, которые обслуживают участки и целые регионы нашей бывшей трансконтинентальной магистрали – Айову, Небраску, Колорадо, а по другую сторону тоннеля – вся Калифорния, Невада, Юта.

Два местных поезда в сутки, – сказал Эдди Виллерс сухим, бесстрастным тоном деловой справки. – Кое-где и того меньше.

Чем определяется количество поездов, которые данная дорога обязана иметь на ходу? – спросила она.

Потребностями общества, – ответил Таггарт.

Управлением пула в Вашингтоне, – сказал Эдди.

Сколько поездов снято по стране за последние три не дели?

Вообще-то надо иметь в виду, – затараторил Таггарт, – что программа комитета помогла наладить сотрудничество на транспорте и покончила с хищнической конкуренцией.

Она покончила с тридцатью процентами поездов, которые раньше ходили по стране, – сказал Эдди. – Остался только один вид конкуренции – все наперебой просят Управление пула разрешить им закрыть очередные марш руты. Выживет та дорога, которая ухитрится вообще не пускать поезда.

Кто-нибудь подсчитал, как долго в таких условиях сможет удержаться на плаву «Атлантик саузерн»?

– А с вас-то от этого что убудет?.. – встрял было Мейгс.

Пожалуйста, Каффи!!! – прервал его Таггарт.

Президент «Атлантик саузерн», – бесстрастно сообщил Эдди, – покончил жизнь самоубийством.

При чем тут это! – взревел Таггарт. – Он из-за личных причин.

Она молчала. Она сидела и смотрела на их лица. В ее душе поселилось глухое равнодушие, но и сквозь него пробилось удивление: Джиму всегда удавалось переключать тяжесть своих провалов на плечи самых сильных людей из тех, кто оказывался рядом, они расплачивались за его ошибки и гибели, а он оставался. Так обстояло дело в случае с Дэном Конвэем, с предприятиями Колорадо. Но в этом случае его нельзя было понять даже с позиций захребетника – плясать на могиле отчаявшегося человека, у которого в момент банкротства сдали нервы. Ведь его самого, как и его бывшего конкурента, отделяли от катастрофы считанные дни, он тоже катился в пропасть.

Разум по давней привычке настойчиво побуждал ее говорить, спорить, убеждать, указывать им очевидное, но она смотрела на их лица и понимала, что они все знают. Конечно же, своим особым способом, извращенным и трудно постижимым, но они понимали все, что она собиралась растолковать им, поэтому не имело смысла доказывать им нелогичность и гибельность их пути; и Мейгс, и Таггарт представляли себе последствия – тайна их способа

мыслить заключалась в том, как они отстраняли от себя ужас выводов.

Понятно, – спокойно сказала она.

Как бы ты хотела, чтобы я поступил? – хныкал Таггарт. – Отказаться от трансконтинентальных перевозок? Объявить о банкротстве? Превратить магистраль в жалкую местную ветку на востоке страны? – Казалось, его начинало трясти от этого спокойного «понятно», потому что это слово показывало, что именно ей понятно. – Я ничего не мог сделать! Надо было спасти магистраль! Обойти тоннель мы не могли! У нас не хватало денег на дополнительные затраты! Надо было что-то предпринимать! Другого выхода не оставалось!

Мейгс смотрел на него наполовину с удивлением, наполовину с отвращением.

Я не спорю, Джим, – сухо сказала она.

Мы не могли допустить, чтобы такая дорога, как на ша, погибла! Это было бы национальной трагедией! Нам приходилось думать о городах, промышленности, грузах, пассажирах, служащих, акционерах – обо всех, чья жизнь зависела от нас! Не только и не столько о себе, сколько об общественном благосостоянии! Все согласны, что программа координации необходима! Кто владеет информацией, тот...

Джим, – сказала она, – если ты хочешь обсудить со мной какие-то дела, обсуждай.

Ты никогда не принимала во внимание социальный аспект дела, – угрюмо сказал он, наконец отступаясь.

Она заметила, что его притворная вспышка пришлась не по душе мистеру Мейгсу так же, как и ей, но по диаметрально противоположной причине. Он смотрел на Джима со скучающе презрительным видом. Джим вдруг представился ей человеком, который пытался отыскать средний путь между ней и Мейгсом и теперь видит, что возможности маневра сужаются и он оказался между двумя жерновами.

– Мистер Мейгс, – спросила она, движимая горьким ироническим любопытством, – каков ваш план действий на послезавтра?

Он без всякого выражения посмотрел на нее карим взглядом тусклых глаз.

Пустое, – сказал он.

Теоретизировать о будущем абсолютно бесполезно, – вмешался Таггарт, – когда текущие проблемы требуют незамедлительного решения. В конечном счете...

В конечном счете мы все померем, – сказал Мейгс. С этими словами он быстро поднялся. – Я побегу, Джим, – сказал он. – У меня нет времени на разговоры. – И добавил: – И поговори с ней насчет того, как бы предотвратить аварии на дороге... если наша девочка такая кудесница в железнодорожных делах. – Он не хотел обидеть ее: Мейгс относился к тем людям, которые не понимают, когда обижают, а когда обижают их самих.

– Увидимся позже, Каффи, – сказал Таггарт, когда Мейгс, ни на кого не глядя, уже выходил.

Таггарт выжидающе и испуганно смотрел на Дэгни, по-видимому, страшась ее комментариев и вместе с тем отчаянно надеясь, что она что-то скажет – что угодно.

Ну? – спросила она.

Что ты хочешь сказать?

У тебя есть еще что обсудить?

Ну, я... – Казалось, он разочарован. – Ах, да! – за кричал он, будто стремглав сорвавшись с места. – Есть одно дело, страшно важное...

Возрастающее количество аварий?

Нет, не это.

Тогда что же?

Дело в том... Тебе придется сегодня вечером выступить по радио в программе Бертрама Скаддера.

Она откинулась в кресле:

– Вот как!

– Дэгни, обязательно надо, это чрезвычайно важно, ни чего не поделаешь, отказаться невозможно, в такие времена не выбирают, и кроме того...

Она взглянула на часы:

Даю тебе три минуты на объяснение, если ты хочешь, чтобы я тебя выслушала. И говори по существу.

Хорошо, – с отчаявшимся видом сказал он. – Наверху, на самом высоком уровне, я имею в виду Чика Моррисона, Висли Мауча, мистера Томпсона, не ниже, считают, что ты должна обратиться с речью к нации, чтобы поднять дух народа и сказать, что ты на посту. Этому придается большое значение.

Зачем?

Затем, что все думают, будто ты все бросила!.. Ты не знаешь, что происходило в последнее время, а дело серьезное. Страна полна слухов, всякого рода домыслов, и очень опасных. Я имею в виду, подрывных. Люди словно ничем не заняты, только перешептываются. Газетам не верят, заявлениям властей и авторитетных людей тоже, верят только злобному, сеющему панику вранью. Кругом потоки лжи. Не осталось ни веры, ни доверия, ни порядка, ни закона, власти не уважают. Мы на грани всеобщей истерии.

Ну и?..

– Причина, с одной стороны, в загадочном исчезновении всех крупных промышленников, они как в воздухе растаяли, черт бы их побрал! Никто ничего не может объяснить, и люди опасаются. Ходят самые панические слухи, но чаще всего слышишь: «Какой порядочный человек захочет работать на эту публику?» Это они про власти в Вашингтоне. Теперь понимаешь? Ты сама не знаешь, как популярна и известна, но это так, особенно после авиакатастрофы. Никто в нее не поверил. Думают, что ты нарушила закон, то есть указ десять двести восемьдесят девять и сбежала. В связи с этим указом в обществе много недопонимания и беспокойства. Теперь ты понимаешь, почему тебе нужно выступить в эфире и сказать людям, что мнение о том, что указ десять двести восемьдесят девять губителен для экономики, ошибочно, что это справедливый законодательный акт, необходимый для всеобщего благосостояния, и что, если еще немного потерпеть, дела пойдут на лад и процветание вернется. Народ больше не верит официальным лицам. Ты же из предпринимателей, одна из немногих представителей старой школы, и ты – единственный человек, который вернулся, из тех, кого считают исчезнувшими. Ты известна как... реакционер – противник политики Вашингтона. Так что тебе люди поверят. Ты произведешь сильное впечатление, укрепишь доверие, поднимешь дух. Понимаешь?

Он торопился, поощряемый странным выражением ее лица, взглядом, устремленным куда-то вперед, и легкой улыбкой на губах.

Она же слушала его, и сквозь звуки его голоса ей слышался голос Реардэна, который говорил ей весенним вечером год назад:

«Им нужно от нас что-то вроде оправдания. Не знаю, что это за оправдание, но, Дэгни, если мы ценим нашу жизнь, мы не должны давать согласия. Пусть тебя пытаются, пусть разрушат твою железную дорогу; им нужно твое согласие – не давай его!»

Теперь ты понимаешь?

О да, Джим, я понимаю!

Он не мог определить тон ее голоса: полустон, полуусмешка, полуликование, – но это была ее первая реакция, и он ухватился за нее, ему ничего другого не оставалось, кроме как надеяться.

Я обещал в Вашингтоне, что ты выступишь! Мы не можем подвести их в таком деле! Нельзя,

чтобы нас заподозрили в нелояльности. Все подготовлено. Ты выступишь в качестве гостя в программе Бертрама Скаддера сегодня вечером, в десять тридцать. Он ведет радиопрограмму, в которой беседует с видными общественными деятелями, программа очень популярна, у нее большая аудитория – больше двадцати миллионов. Из Комитета пропаганды и агитации...

Какого комитета?

– Пропаганды и агитации. Это комитет Чика Моррисона. Они уже три раза звонили мне, чтобы убедиться, что ничего не сорвется. Они разослали распоряжение всем радиостанциям, и те весь день рекламируют твоё выступление по всей стране, приглашая людей послушать тебя сегодня вечером в программе Бертрама Скаддера.

Он смотрел на нее так, будто требовал одновременно и ответить ему, и признать, что в подобных обстоятельствах в ее ответе нет необходимости. Она сказала:

Ты знаешь, что я думаю о политике Вашингтона и об указе десять двести восемьдесят девять?

В такое время мы не можем себе позволить роскошь думать! Неужели тебе не понятно?

Она громко рассмеялась.

Разве тебе не ясно, что отказаться нельзя? – воскликнул он. – Если после всей этой рекламы ты не появишься, это лишь подтвердит слухи, практически будет равнозначно открытому проявлению нелояльности.

Джим, ловушка не срабатывает.

Какая ловушка?

Та, которую ты постоянно ставишь.

Не понимаю, о чем ты.

Понимаешь. Ты знал, все вы знали, что я откажусь. Вот и толкнули меня в публичную ловушку, где мой отказ будет означать для тебя крупные неприятности, более крупные, чем, как ты полагал, я осмелюсь причинить. Вы рас считывали, что я спасу ваши репутации и ваши головы. Но я не собираюсь их спасать.

Но ведь я обещал!

А я нет.

Нет, нам нельзя отказаться. Неужели ты не видишь, что мы связаны по рукам и ногам? Что нас держат за горло? Разве тебе не ясно, что они могут сделать с нами через Управление пула, через Комитет по координации или через замораживание наших облигаций?

Это было мне ясно два года назад.

Его трясло, в его ужасе проступало что-то бесформенное, отчаянное, почти сверхъестественное, непропорциональное тем опасностям, которые он называл. Внезапно Дэгни почувствовала уверенность, что в основе его переживаний лежит нечто более глубокое, чем страх перед начальственным гневом, что этот страх перед таким наказанием служил всего лишь единственной формой, в которой он позволял себе осознать гораздо больший подспудно угнетающий его кошмар, потому что страх перед наказанием со стороны властей содержал хотя бы видимость разумности и скрывал истинные мотивы поведения брата. Она пришла к убеждению, что он хотел предотвратить вовсе не национальный психоз, а свой собственный, что и он, и Чик Моррисон, и Висли Мауч, и вся их бандитская бригада нуждались в ее одобрении не затем, чтобы успокоить своих жертв, а затем, чтобы успокоить себя. Идея же усыпить беспокойство их жертв, хотя на первый взгляд и выглядела искусной, весьма практичной и целесообразной, на деле была для них лишь громоотводом, самообманом, облегченным признанием их реальных мотивов, которые с истеричной настойчивостью рвались в их сознание и которые они изо всех сил старались не впускать туда.

Испытывая презрение и содрогаясь от чудовищности того, что ей открылось, она

спрашивала себя, до какой же степени нравственного падения должны были дойти эти люди, чтобы достичь такой стадии самообмана, когда они силой вырывали у сопротивляющейся жертвы одобрение своих действий в качестве морального оправдания этих действий, полагая при этом, что они всего-навсего пытаются обмануть весь мир.

– У нас нет выбора! – кричал он. – Ни у кого нет выбора!

– Уходи! – велела она тихим и спокойным голосом. Что-то в ее тоне однозначно сказало ему, что она пони мает его лучше, чем оба выразили в словах. Он вышел.

Она взглянула на Эдди; тот выглядел как человек, смертельно уставший бороться с приступами отвращения, которые он учился переносить как хроническое заболевание.

После долгого молчания он спросил:

Дэгни, что случилось с Квентином Дэниэльсом? Ты ведь вылетела за ним, да?

Да, – сказала она. – Он ушел.

К разрушителю?

Слово хлестнуло ее, как плеть. Целый день она жила со светлым воспоминанием о долине, оно оставалось с ней, как безмолвное неизменное видение, чудесный, принадлежащий только ей образ, на который не влияло ничто вокруг; о нем можно было не думать, а только ощущать как источник силы. Но внешний мир грубо вторгнулся в ее душу. Разрушитель, подумала она, так в этом мире называют мою мечту, мое воспоминание.

– Да, – тусклым голосом, с усилием ответила она, – к разрушителю.

Затем она крепко оперлась обеими руками о край стола, чтобы придать устойчивость своей позе и своей решимости, и с горькой усмешкой сказала:

– Ну ладно, Эдди, посмотрим, как два непрактичных человека, ты и я, могут предотвратить аварии на железной дороге.

Два часа спустя, когда она одна сидела за столом, склонившись над ворохом бумаг, на которых не было ничего, кроме цифр, но которые, как киноплёнка, разворачивали перед ней полную картину состояния дороги в последние четыре недели, раздался звонок и голос ее секретаря произнес:

Мисс Таггарт, вас хочет видеть миссис Реардэн.

Мистер Реардэн? – не веря в появление ни одного из Реардэнов, переспросила она.

Нет, миссис Реардэн. Помедлив минуту, Дэгни сказала:

Попросите ее войти.

Лилиан Реардэн вошла и направилась к столу, намеренно утрируя манеры и жесты. На ней был прекрасный модный костюм, дополненный свободно повязанным ярким бантом, висевшим слегка на сторону, чтобы внести ноту элегантно небрежности, и маленькая шляпка, слегка сдвинутая набок, что тоже считалось элегантно, поскольку выглядело забавно; кожа ее лица была самую малость слишком гладкой, а при ходьбе она самую малость больше, чем следовало, раскачивала бедрами.

– Добрый день, мисс Таггарт, – сказала она слегка небрежным, но приятным тоном, принятым в светских гостиных; здесь, в рабочем кабинете, этот тон нес ту же ноту элегантно нелепости, что костюм и бант. Дэгни с серьезным видом склонила голову.

Лилиан мельком оглядела кабинет, в ее взгляде была та же нотка милой небрежности, что и в ее шляпке, и эта небрежность была призвана подчеркнуть ее знание жизни: ведь жизнь и не может быть ничем иным, кроме забавы.

– Прошу вас, садитесь, – сказала Дэгни.

Лилиан села, приняв свободную, уверенно-грациозную, непринужденную позу. Когда она повернулась лицом к Дэгни, на нем оставалось то же веселое выражение, но несколько иного свойства: она, казалось, намекала, что у них есть общая тайна, отчего ее присутствие здесь всем

остальным показалось бы крайне неуместным, но для них обеих было само собой разумеющимся.

Чем могу быть вам полезна?

Я пришла сообщить вам, – мило начала Лилиан, – что сегодня вечером вы выступаете по радио в программе Бертрама Скаддера.

В лице Дэгни она не обнаружила ни удивления, ни потрясения, только внимание механика, рассматривающего мотор, в котором возник странный звук.

– Полагаю, – произнесла Дэгни, – вы отдаете себе полный отчет в том, что сказали.

О, конечно! – сказала Лилиан.

Тогда обоснуйте ваше утверждение.

Простите?

Объясните то, что вы сказали.

У Лилиан вырвался натушный короткий смешок, свидетельствующий, что она ожидала несколько иной реакции.

– Уверена, что долгих объяснений не потребуется, – сказала она. – Вам понятно, почему ваше выступление так необходимо властям. Я знаю, почему вы отказались выступить. Мне известны ваши убеждения. Возможно, для вас это несущественно, но вы знаете, что я всегда поддерживала существующую систему. Поэтому вы поймете мою заинтересованность в этом деле и мою роль в нем. Когда ваш брат сообщил мне о вашем отказе, я потрудились вмешаться, потому что, видите ли, я одна из тех немногих, кто знает, что вы не можете отказаться.

– Сама я, однако, пока еще не принадлежу к этим не многим, – сказала Дэгни.

Лилиан улыбнулась:

Да, я должна пояснить. Вы, конечно, понимаете, что ваше выступление по радио имеет для нынешних властей такое же значение, как поступок моего мужа, когда он подписал дарственный сертификат, по которому им достались права на его металл. Вам известно, как часто и эффективно они используют этот факт в своей программе.

Я этого не знала.

Ах да, вы отсутствовали большую часть времени последние два месяца, так что этот факт мог пройти мимо вашего внимания, хотя о нем постоянно твердили радио и пресса; даже Хэнк Реардэн одобряет и поддерживает указ десять двести восемьдесят девять, поскольку он добровольно отписал свое изобретение государству. Даже Хэнк Реардэн. Это сдерживает очень многих несогласных, помогает держать их в узде. – Она откинулась на спинку кресла и как бы невзначай спросила: – Вы никогда его не спрашивали, почему он это сделал?

Дэгни не ответила, казалось, вопрос не дошел до нее. Она сидела не двигаясь, без всякого выражения на лице, но глаза ее широко раскрылись и были устремлены на Лилиан, как будто единственное, чего она сейчас хотела, – выслушать Лилиан до конца.

– Нет, я не думала, что вы знаете причину. Не думала также, что он когда-нибудь скажет ее вам, – сказала Лилиан более ровным тоном, видимо, реагируя на выражение лица Дэгни. Она решила, что дальше все пойдет, как она и предполагала. – Однако вы должны знать причину, потому что та же причина заставит вас выступить сегодня в программе Бертрама Скаддера.

Она сделала паузу, ожидая, что ее попросят продолжать. Дэгни ждала.

– Причина должна быть вам приятна, – сказала Лилиан, – поскольку она касается поступка моего мужа. Представьте себе, что для него означало поставить свою подпись. Металл был его величайшим успехом, вершиной всей его жизни, великолепным символом его страсти и гордости, а мой муж, как вам, должно быть, известно, человек в высшей степени страстный, гордость, вероятно, его величайшая страсть – металл Реардэна был для него больше чем просто достижение, он символизировал его возможности, его независимость, его борьбу и восхождение.

Это была его собственность, его по праву, а вы знаете, что значит право для человека столь щепетильного и что значит для такого стяжателя, как он, собственность. Он с готовностью отдал бы за свой металл жизнь, но не уступил бы его людям, которых презирал. Вот что он значил для него, вот что он отдал. Вам будет приятно узнать, что он отдал его ради вас, мисс Таггарт. Ради вашей репутации и чести. Он подписал дарственный сертификат на передачу государству права на металл Реардэна под угрозой разоблачения его интимной связи с вами. О да, мы располагаем неопровержимыми доказательствами, нам известны самые сокровенные детали. Насколько я знаю, вы придерживаетесь философии, которая не одобряет жертвоприношений, но в этих обстоятельствах вы, конечно, чувствуете себя прежде всего женщиной, и я уверена, вы испытываете величайшее удовлетворение от того, что мужчина принес столь великую жертву ради счастья наслаждаться вашим телом. Вам несомненно доставили колоссальное наслаждение ночи, которые он провел в вашей постели. Теперь вы можете насладиться знанием, во что эти ночи ему обошлись. И поскольку – вы ведь предпочитаете прямой разговор, мисс Таггарт? – поскольку вы сами избрали положение шлюхи, я снимаю перед вами шляпу, принимая во внимание, какую цену вы за это получили; вряд ли подобные вам особы могут рассчитывать на такое вознаграждение.

В голосе Лилиан росли недовольство и резкость, как в звуках дрели, у которой ломается сверло, если не может нащупать податливое место в камне. Дэгни не отводила от нее взгляда, но в ее глазах и позе больше не было напряжения. Лилиан не могла понять, почему ей казалось, что в лицо Дэгни ударил луч прожектора. На ее лице ничего не отразилось, на нем оставалось просто выражение спокойствия; казалось, ясность исходила от всех ее черт, от строгости контуров, четкой, твердой линии рта, прямого взгляда. Лилиан не могла уловить выражения взгляда; он был ей непонятен, не соотносился с обстоятельствами – взгляд был чист и спокоен, но то было спокойствие не женщины, а ученого; он сиял тем особым лучистым светом, какой свойственен бесстрашию достигнутого знания.

– Об адюльтере моего мужа чиновников поставила в известность я, – тихо произнесла Лилиан.

Дэгни заметила первый проблеск живого чувства в ее безжизненных глазах. Оно напоминало удовлетворение, но так же отдаленно, как отражение солнечного света от мертвой поверхности луны, попавшее затем на застойную воду гнилого болота, – минутный отблеск, и нет его.

– Я, – продолжала Лилиан, – отняла у него его металл. – Ее голос звучал как мольба.

Разум Дэгни отказывался понять такую мольбу, не дано ей было и знать, на какой отклик рассчитывала Лилиан; Дэгни лишь почувствовала, что надежды Лилиан не оправдались, потому что голос ее внезапно стал резок и пронзителен:

– Вы меня понимаете? -Да.

– Тогда вам понятно мое требование, и вы его выполните. Вы считали себя непобедимыми, вы и он, не так ли? – Она старалась контролировать свой голос, но в нем звучали нервные всплески. – Вы всегда действовали только по собственной воле, я никогда не могла позволить себе такую роскошь. На сей раз в виде компенсации вы выполните мою волю. Вы не можете бороться со мной. Вы не можете откупиться от меня, хотя у вас есть деньги, а у меня их нет. Вы не можете предложить мне выгодную сделку – я лишена алчности. Чиновники мне ничего не платят – я действую бескорыстно. Бескорыстно. Вам понятно?

– Да.

– Тогда больше ничего объяснять не надо, но, чтобы вы знали, все доказательства: записи в журналах регистрации в гостиницах, счета на драгоценности и тому подобное – находятся в распоряжении нужных людей, и завтра об этом будет объявлено по всем радиостанциям, если

сегодня вече ром вы не выступите. Ясно?

– Да.

Что же вы ответите? – На нее смотрели ясные глаза ученого, и она вдруг ощутила, что ее видят насквозь или вовсе не видят, словно пустое место.

Я рада, что вы рассказали мне все, – сказала Дэгни. – Сегодня вечером я выступлю в программе Бертрама Скаддера.

Белый луч света бил в сверкающий металл микрофона, стоявшего в центре стеклянной клетки, где Дэгни была заточена вместе с Бертрамом Скаддером. Микрофон сиял зеленовато-голубыми отблесками – его изготовили из металла Реардэна.

Сверху, за стеклянной панелью, она могла различить помещение, откуда вниз на нее смотрели два ряда лиц: рыхло-тревожное лицо Джеймса Таггарта, рядом с ним сидела Лилиан Реардэн, успокаивающе держа его за руку, далее сидел человек, прилетевший из Вашингтона и представленный ей как Чик Моррисон, за ним – группа молодых людей из его комитета, которые рассуждали о процентной кривой интеллектуального влияния и вели себя как полицейский патруль на мотоциклах.

Бертрам Скаддер, казалось, боялся ее. Он припадал к микрофону, брызжа словами в его изящную решетку и в уши всей страны. Он представлял тему передачи. Из всех сил стараясь выглядеть одновременно циником и скептиком, равнодушным и истеричным, чтобы создать образ человека, который высмеивает все, во что люди верят, и поэтому требует, чтобы слушатели немедленно и безоговорочно поверили ему. На шее сзади у него блестели капли пота. Он с красочными деталями расписывал, как она целый месяц выздоравливала после авиакатастрофы в заброшенной пастушьей хижине, как она героически ковыляла, спускаясь пятьдесят миль по горным тропам, чтобы в это чрезвычайно трудное для страны время вернуться к исполнению своего долга перед отечеством.

– ...и если кого-либо из вас ввели в заблуждение вредительские слухи, имеющие целью подорвать веру в великую социальную программу нашего руководства, вы можете довериться слову мисс Таггарт, которая...

Дэгни стояла и смотрела на белый луч. В нем плясали пылинки, и она заметила, что одна из них живая, – это была мошка; на месте ее бьющихся крылышек трепетала светящаяся точка, она отчаянно куда-то стремилась. Дэгни следила за ней, ее собственная цель была одинаково далека и от стремлений мошки, и от стремлений этого мира.

– ...мисс Таггарт человек независимых взглядов, замечательный предприниматель; в прошлом она часто критиковала правительство. О ее взглядах можно сказать, что она представляет крайне консервативный участок спектра мнений, разделяемых такими гигантами промышленного мира, как Хэнк Реардэн. Но даже она...

Ее удивляло, как легко можно себя чувствовать, когда чувствовать не надо; казалось, она стояла обнаженная на виду у всего мира и ее мог нести белый луч, потому что в ней не было тяжести – ни боли, ни надежды, ни сожаления, ни забот, ни будущего.

– А теперь, дамы и господа, я представляю вам героиню сегодняшнего вечера, нашего необычного гостя...

И тут боль вернулась к ней внезапным, разящим ударом, словно от сознания, что теперь

предстоит говорить ей, разбилась защитная стеклянная перегородка и острый осколок стекла вонзился в нее; боль возникла на краткий миг вместе с именем в ее сознании, именем человека, которого она называла разрушителем: она не хотела, чтобы он услышал то, что она должна сейчас сказать. Если ты услышишь это, как голос, кричала ему боль, ты перестанешь верить тому, что я тебе сказала... Нет, хуже, ты перестанешь верить тому, чего я тебе не сказала, но что ты знал, и чему ты верил, и что ты принял. Ты будешь думать, что я не была свободна, не имела права распоряжаться собой и что мои дни с тобой были ложью. Это погубит один месяц моей жизни и десять лет твоей. Не так я хотела, чтобы ты узнал об этом, не так и не сегодня. Но ты узнаешь, ты ведь следишь, тебе известно каждое мое движение, ты сейчас наблюдаешь за мной, где бы ты ни был. Но не сказать нельзя.

– ...последняя носительница славного имени в истории нашего предпринимательства, женщина – руководитель высшего эшелона, что возможно только в Америке, управляющая в качестве вице-президента крупнейшей железной дорогой, – мисс Дэгни Таггарт.

Взявшись за подставку микрофона, она ощутила рукой металл Реардэна, и внезапно все стало легко. Она чувствовала не наркотическую легкость опустошенности, а ясную, четкую, живую легкость действия.

– Я пришла рассказать вам о социальной программе, политической системе и нравственной философии, при которых вы живете.

В ее голосе звучала такая спокойная, такая естественная, такая непоколебимая уверенность, что и помимо слов они несли громадный заряд убеждения.

– Вам приходилось слышать, что я считаю, что наша нынешняя система имеет своим движущим мотивом порочность, своей целью – захват чужого, своими методами – обман и принуждение и единственным своим результатом – разруху. Вы также слышали, что я, как и Хэнк Реардэн, – лояльная сторонница этой системы и что я добро вольно сотрудничаю в осуществлении нынешних мер, таких, как указ десять двести восемьдесят девять. Я выступаю перед вами, чтобы сказать вам правду обо всем этом.

Верно то, что я разделяю позицию Хэнка Реардэна. У меня такие же политические убеждения, как у него. Вы знаете, что в прошлом его поносили как реакционера, который противился всем шагам, мероприятиям, лозунгам и установкам нынешнего правительства. Теперь вы слышите, что его превозносят как нашего величайшего промышленника, на суждения которого о здравости экономической политики вполне можно положиться. И это верно. Его суждениям можно доверять. Если вы теперь начинаете опасаться, что оказались во власти темных, безответственных сил, что страна гибнет и впереди маячит голод, то надо прислушаться к мнению нашего самого способного предпринимателя, который знает, какие условия необходимы, чтобы оживить производство и вывести страну из смертельно опасного кризиса. Обдумайте все, что вы знаете о его взглядах. Когда он имел возможность говорить, вы слышали, как он предупреждал вас: политика правительства ведет вас к рабству и гибели. Однако он не дал отповеди основополагающему и итоговому документу этой политики – указу десять двести восемьдесят девять. Вы осведомлены о его борьбе за свои права – за свои и ваши: независимость, собственность. Однако он не выступил против указа десять двести восемьдесят девять. Он добровольно – так вам сказали – подписал дарственный сертификат на передачу металла Реардэна в собственность своим врагам. Он подписал документ, против которого, судя по опыту всей его прошлой жизни, как все могли ожидать, должен был сражаться, не щадя жизни. Что это могло означать, постоянно твердили вам, как не признание необходимости указа десять двести восемьдесят девять и добровольный отказ от своекорыстных интересов ради государственных? Судите о его взглядах по мотивам этого поступка, неустанно внушали вам. И я с этим безоговорочно согласна: судите о его взглядах по мотивам этого поступка. И какое бы значение

вы ни придавали моему мнению и тому предупреждению, которое можете услышать от меня, судите о моих взглядах также по мотивам того поступка, потому что его убеждения – это мои убеждения.

Два года я была любовницей Хэнка Реардэна. Пусть не возникнет недопонимания на этот счет: это не признание в чем-то постыдном, я заявляю это с чувством высочайшей гордости. Я была его любовницей. Я спала с ним, в его постели, в его объятиях. Теперь нет ничего, что кто-нибудь мог бы рассказать обо мне, чего я не рассказала бы вам первой. Бесплезно порочить меня. Я знаю суть этих обвинений и сама назову их вам. Испытывала ли я физическую страсть к нему? Да, испытывала. Руководили ли мною страсти моего тела? Да, руководили. Испытывала ли я самое неистовое чувственное наслаждение? Да, испытывала. Если это покрывает меня позором в ваших глазах – ваше дело, как судить обо мне. Я буду судить себя своим судом.

Бертрам Скаддер оцепенело уставился на Дэгни: не такой речи он ожидал; впадая в панику, он смутно понимал, что передачу надо прервать, но ведь Дэгни получила особое приглашение, вашингтонские правители приказали ему обращаться с ней осторожно, и он не был уверен, должен ли прервать ее сейчас. Кроме того, ему ужасно нравились такие истории. В помещении для публики Джеймс Таггарт и Лилиан Реардэн оцепенели, как звери, парализованные светом летящего на них поезда. Из всех присутствующих только они знали связь между тем, что сейчас слышали, и целью передачи. Двигаться, бежать, что-то делать было уже поздно; они не осмеливались взять на себя ответственность за какое-то действие или его последствия. Выход в эфир контролировал молодой интеллект из комитета Чика Моррисона, готовый прекратить передачу при малейшей несообразности, но он не усматривал в том, что услышал, ничего политически нежелательного, ничего вредного для своих хозяев. Он уже привык выслушивать заявления, к которым скрытым давлением вынуждали несчастных жертв, и решил для себя, что в этом случае раскололи очередную реакционную особу и она сознается в позорных делах, по этому ее признание имеет определенную политическую ценность. Кроме того, ему было любопытно послушать.

– Я горда тем, что он избрал меня источником своего наслаждения, и тем, что мой выбор пал на него. Это не был, как у большинства из вас, акт случайного влечения при взаимном презрении, а высшая форма восхищения друг другом с полным сознанием тех достоинств, которые определили наш выбор. Мы – те, у кого нет разрыва между ценностями духа и действиями тела, те, кто не оставляет свои принципы на уровне пустых фантазий, но осуществляет их, те, кто воплощает в жизнь свои замыслы, придает материальную форму своим представлениям о ценностях. Мы – те, кто варит сталь, прокладывает железные дороги и кует счастье. И тем из вас, кто ненавидит саму мысль о человеческой радости, кто хотел бы видеть в человеческой жизни непрерывное страдание и поражения, кто хотел бы, чтобы люди извинялись за свое счастье или успех, за талант, достижения или богатство, – тем из вас я сейчас говорю: я желала его, я имела его и была счастлива. Я знала радость, чистую, полную, безвинную радость, радость, признания которой любым человеком вы страшитесь, радость, узнав о которой, вы испытываете только ненависть к тем, кто способен достичь ее. Что ж, вы можете ненавидеть меня – я ее достигла.

Мисс Таггарт, – нервно произнес Бертрам Скаддер, – не отклоняемся ли мы от предмета нашей... В конце концов, ваши личные отношения с мистером Реардэном не имеют отношения к экономической политике, которую...

Я тоже так думала. Конечно, я пришла сюда, чтобы сказать о политическом и нравственном климате, в котором вы сейчас живете. Так вот, я думала, что знаю о Хэнке Реардэне все, но одну вещь я узнала только сегодня. Его шантажировали, угрожая раскрыть его отношения со мной. Этим его принудили подписать дарственный сертификат на передачу его металла государству.

Вот в чем кроется причина его поступка – в шантаже, шантаже вашими государственными чиновниками, вашими властями, вашими...

В тот момент, когда Скаддер взмахнул рукой, чтобы вырвать у нее микрофон, в горле микрофона раздался слабый щелчок и он замолк, не успев упасть на пол. Это означало, что полицейский-интеллектуал отключил эфир.

Дэгни расхохоталась, но рядом уже не было никого, кто бы мог видеть ее, слышать ее смех и понять его причину. Между тем в аппаратную набилась масса народу, но всем, кто туда ворвался, не было дела до нее: они неистово вопили друг на друга. Чик Моррисон крыл непечатными словами Бертрама Скаддера. Бертрам Скаддер визжал, что он с самого начала выступал против этой затеи, но ему приказали. Джеймс Таггарт по-звериному скалил зубы на двух самых молодых помощников Моррисона, но избегал оскала третьего, старшего. Лицо Лилиан Реардэн стало вдруг удивительно дряблым, как тело валяющейся на дороге кошки – вроде бы неповрежденное, но уже неживое. Ревнителю нравственности вопили друг на друга в страхе перед тем, что сделает с ними мистер Мауч.

– Что мне сказать слушателям? – кричал растерянный диктор, указывая на микрофон. – Мистер Моррисон, страна ждет, что я должен сказать народу? – Никто не обращал на него внимания. Их волновало другое – не что делать, а кого винить.

Никто не сказал Дэгни ни слова, никто даже не взглянул в ее сторону. Никто не остановил ее, когда она направилась к выходу.

Она села в первое подвернувшееся такси и назвала адрес своего дома. Когда машина тронулась, она заметила, что круглая шкала радиоприемника на панели перед шофером освещена, радио молчало, из него раздавались короткие, резкие, как заразный грудной кашель, разряды статического электричества. Радио было настроено на волну программы Бертрама Скаддера.

Она откинулась на сиденье, не ощущая ничего, кроме опустошенности от понимания, что в своем порыве могла смести человека, который после этого, возможно, больше никогда не захочет ее видеть. Впервые она почувствовала, как ничтожно мала возможность обрести его, если только он сам не обнаружит себя. Где его искать? На городских улицах, в городах целого континента, среди каньонов Скалистых гор, где цель поиска укрыта лучевым экраном? Но одно осталось с ней, как спасательный круг в океане, за который она держалась во время передачи, и она знала, что никогда не отпустит его, даже если потеряет все, – звук его голоса, говоривший ей: «Здесь не допускают никакой подмены реальности».

– Дамы и господа, – внезапно возник на фоне треска в эфире голос Бертрама Скаддера, – в связи с непредвиденными техническими неполадками, которые пока не поддаются устранению, вещание на этой волне прекращается впредь до того времени, когда их удастся устранить. – Водитель презрительно засмеялся и выключил радио.

Когда Дэгни, выходя из такси, протянула ему деньги, он вернул сдачу и, внезапно наклонившись ближе к ней, всмотрелся в ее лицо. Она была уверена, что он узнал ее, и ответила ему поначалу суровым взглядом. Его усталый вид и латаный-перелатаный пиджак подсказали ей, что он давно и безнадежно ведет горькую борьбу с нищетой. Она оставила ему чаевые, и он тихо, но со значением, даже торжественно, подчеркивая слова больше, чем требовала простая признательность, сказал:

– Благодарю вас, мэч.

Она быстро отвернулась и побежала к дому, чтобы скрыть внезапно нахлынувшее чувство, с которым ей было трудно справиться.

С низко опущенной головой она открыла дверь в квартиру, и свет ударил ей в лицо снизу, от ковра, прежде чем она удивленно вскинула глаза вверх и увидела, что в комнате горит свет. Она

шагнула вперед... и увидела, что посреди комнаты стоит Хэнк Реардэн.

Два обстоятельства поразили ее и заставили замереть. Одно – само его присутствие, поскольку она не ожидала, что он появится так скоро. Другое – выражение его лица. Такое твердое, такое уверенное, такое решительное. Он весь излучал спокойствие и надежность, они светились в ясном взгляде, легкой улыбке; ей показалось, что если он и постарел на десятки лет за один месяц, то постарел в том смысле, что обогатился опытом, человеческой мудростью, знанием жизни, прозрением и мужеством. Она поняла, что, пережив месяц душевных мук, этот человек, которому она причинила такие страдания и вот-вот нанесет еще большую рану, еще более возвысился в своем благородстве, и теперь он будет для нее поддержкой и опорой, и его сила защитит их обоих.

Она лишь минуту простояла неподвижно и тут же увидела, как ширится его улыбка: он как будто читал ее мысли и говорил ей, что бояться нечего. Она услышала легкое пощелкивание и увидела на столе рядом с ним светящийся кружок молчащего радиоприемника. Ее глаза вопросительно двинулись навстречу его взгляду, и он ответил чуть заметным кивком, легким движением век: он слышал ее выступление.

Они одновременно шагнули друг к другу. Он схватил ее за плечи, чтобы поддержать; ее лицо было поднято к нему, но он не коснулся ее губ; он взял ее руку и целовал запястье, пальцы, ладонь – единственное проявление долгожданного приветствия после стольких страданий. И внезапно, не выдержав груза этого дня и целого месяца, она разрыдалась в его объятиях, склонившись к нему, сотрясаясь от плача, чего никогда раньше с ней не бывало, по-женски отдаваясь боли в последнем бессильном протесте против нее.

Он поддерживал ее – она стояла и передвигалась только вместе с ним и благодаря ему. Так он подвел ее к дивану и пытался усадить рядом с собой, но она соскользнула на пол и села у его ног, зарывшись головой в его колени, безудержно, беззащитно рыдая.

Он не поднимал ее, крепко обняв, он позволил ей выплакаться. Он гладил ее по голове, по плечам, она чувствовала, как надежно ограждают ее от мира его руки; их сила, казалось, говорила ей, что она плачет за них обоих, что он знает ее боль, понимает ее и тоже чувствует, но в состоянии воспринимать ее спокойно. Его спокойствие, казалось ей, снимает тяжесть с ее сердца, оно позволяло ей не сдерживать своих чувств и свободно рыдать здесь, у его ног; оно говорило ей, что он способен вынести то, что ей не под силу.

Она смутно понимала, что это и есть настоящий Хэнк Реардэн; независимо от того, в какую оскорбительно грубую форму он облек их первые ночи, независимо от того, как часто она казалась более сильной из них двоих, это всегда жило в нем, и именно это лежало в основе их связи – его сила, способная защитить ее, когда собственные силы оставят ее.

Она подняла голову, и он улыбнулся ей.

Хэнк... – виновато прошептала она, удивляясь своему отчаянию и срыву.

Тише, дорогая.

Она снова уронила голову ему на колени и тихо лежала так, нуждаясь в отдыхе и борясь с накатывавшейся на нее неотвратимой мыслью, беззвучно кричавшей ей: он смог вынести и принять твою речь только как исповедь любви, и от этого та правда, которую ты сейчас должна обрушить на него, будет бесчеловечным, невыносимым ударом. Она испытывала ужас от того, что у нее не хватит сил сделать это, и ужас от того, что она это сделает.

Когда она вновь посмотрела на него, он провел ладонью по ее лбу, отводя прядь волос.

– Все кончилось, дорогая, – сказал он. – Худшее позади – для нас обоих.

– Нет, Хэнк, не позади. Он улыбнулся.

Он поднял ее с полу и усадил рядом, положив ее голову себе на плечо.

– Не говори ничего сейчас, – сказал он. – Ты знаешь, что мы оба понимаем все, что должно

быть сказано, и мы поговорим об этом, но не раньше чем это перестанет причинять тебе такую боль.

Его рука проследовала вниз по ее рукаву, по складкам юбки – движением таким легким, что казалось, рука не ощущает тела под одеждой; он, казалось, возвращал себе во владение, но не ее тело, а лишь его образ.

– На нашу долю выпало слишком много, – сказал он. – Пусть они избивают нас. Но мы им помогать не будем. Что бы нас ни ожидало, между нами не будет страдания. Мы не добавим друг другу боли. Пусть их мир заставляет нас страдать. Мы же не будем источником боли. Не бойся. Мы не причиним друг другу зла. Сейчас тем более.

Подняв голову, она покачала ею с горькой улыбкой, в ее движении были отчаяние и ярость, но улыбка говорила о том, что воля возвращается к ней, что возвращается решимость идти навстречу отчаянию.

Хэнк, из-за меня за последний месяц тебе пришлось столько пережить... – Ее голос дрожал. Это ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить тебе из-за меня за последний час. – Его голос был ровен.

Она встала, чтобы пройтись по комнате, доказать свои силы, и шаги, как слова, говорили ему, что она больше не нуждается в жалости. Когда она остановилась и повернулась к нему лицом, он тоже встал, словно поняв ее намерения.

– Я понимаю, что сделала все хуже для тебя, – сказала она, указывая на радио.

Он покачал головой:

Нет.

Хэнк, я должна тебе кое-что сказать.

Я тоже. Позволь, я скажу первый. Я давно должен был тебе сказать. Разреши, я сначала выскажусь, и не отвечай, пока я не закончу.

Она кивнула.

С минуту он смотрел на нее, будто хотел сохранить в памяти во всех деталях, запечатлеть ее образ, ее фигуру, как она стоит перед ним, – весь этот момент и все, что привело их к нему.

– Я люблю тебя, Дэгни, – тихо сказал он тоном простого, еще не омраченного, но уже не ликующего счастья.

Ей хотелось вмешаться, но она знала, что не может, даже если бы он позволил; она подавила произнесенные слова, оставив ответом только движение губ и склонив голову в знак почтения.

– Я люблю тебя. С тем же значением для меня, тем же проявлением, с той же гордостью и тем же переживанием, как я люблю свою работу, заводы, фирму, часы за рабочим столом, у домны, в лаборатории, в шахте, как я люблю свою способность работать, как люблю акт созерцания мира и акт понимания его, как люблю ход моей мысли и движение моего сознания, когда решаю химическое уравнение или люблю восход солнца, как люблю вещи, которые сочинил и ощутил как созданное мною, как мой выбор, как образ моего мира, как лучшее мое зеркало, как жену, которой у меня никогда не было, как то, что делает возможным все остальное, – силу моей жизни.

Она не отводила взгляд, держала его открытым и ровным, чтобы видеть, слышать и воспринять так, как ему хотелось и как он заслуживал.

– Я полюбил тебя с первого дня, когда увидел на станции в Милфорде. Я полюбил тебя, когда мы ехали в кабине первого локомотива по линии Джона Галта. Я полюбил тебя в доме Эллиса Вайета. Я полюбил тебя в то, следующее, утро. Ты знала об этом. Но сказать тебе об этом дол жен я сам, и я это делаю сейчас, если я должен искупить все эти дни и позволить им остаться для нас обоих тем, чем они были. Я любил тебя. Ты это знала. Не знал я. И именно

поэтому я должен был узнать и осознать это, сидя у себя в кабинете и глядя на дарственный сертификат, лишивший меня права на мой металл.

Она закрыла глаза. Но в его лице не было страдания, не было ничего, кроме большого, спокойного счастья и ясности духа.

– «Мы – те, у кого нет разрыва между ценностями духа и действиями тела». Ты сказала это в своем выступлении. Но ты это знала и тогда, в то утро в доме Эллиса Вайета. Ты знала, что все оскорбления, которые я тогда бросал тебе в лицо, и есть самое полное признание в любви, которое может сделать мужчина. Ты знала, что физическое влечение, которое я проклинал как наш с тобой общий позор, вовсе не физической природы, что это не телесное проявление, а выражение самых сокровенных духовных ценностей, независимо от того, хватает у человека смелости признать это или нет. Вот почему ты так смеялась надо мной тогда, разве не правда?

Правда, – прошептала она.

Ты сказала: «Мне не нужен твой разум, твоя воля, твоя душа, лишь бы ты приходил ко мне, чтобы удовлетворить самое низменное из всех своих желаний». И я хочу сказать сейчас, чтобы то утро приобрело то значение, какое имело изначально: моя душа, моя воля, мое существо и мой разум принадлежат тебе, Дэгни, пока я жив.

Он прямо смотрел на нее, она видела, как на миг вспыхнула искорка в его глазах; это не было улыбкой, он почти слышал крик, которого она не издала.

– Позволь мне закончить, дорогая. Я хочу, чтобы ты поняла, как полно я осознаю то, о чем говорю. Я, тот, кто думал, что сражается с ними, вдруг принял худшую из заповедей моих врагов, и именно за это я постоянно расплачивался с тех пор, как расплачиваюсь и сейчас. Так оно и должно быть. Как и большинство жертв, я принял постулат, посредством которого они губят человека еще до того, как он состоялся: убийственный постулат о разъединенности души и тела. Я принял его, не понимая, что такой вопрос вообще существует. Я восстал против их учения о бессилии человека, я возгордился своей способностью трудиться, действовать, думать – ради удовлетворения своих желаний. Но я не знал, что все это – достоинство, никогда не считал это нравственной ценностью, высшей из всех нравственных ценностей, которую надо защищать пуще самой жизни, потому что она обеспечивает саму жизнь. И я принял за это наказание, наказание за собственные достоинства от высокомерных темных сил, которые сделали высокомерными мое невежество и мое непротивление.

Я принял их оскорбления, их обман, их домогательства. Я думал, что могу позволить себе игнорировать их – всех этих мистиков-импотентов, которые болтают о своих душах, а сами не могут возвести крышу над собственной головой. Я полагал, что мир принадлежит мне, а все эти болтливые бездари мне не страшны. Я не мог понять, почему проигрываю битву за битвой. Я не понимал, что против меня брошены мои же силы. Пока я трудился, покоря материю, я сдал им царство духа, мысли, закона, ценностей, нравственности. Я согласился, бездумно и по недоразумению, с постулатом, что идеи не обуславливают жизнь человека, его работу, его среду и саму землю, будто идеи не принадлежали к царству разума, а относились к той мистической вере, которую я презирал. Но это как раз и составляло ту уступку, которой они ожидали от меня. Им этого оказалось достаточно. Я сдал им то, для свращения чего и гибели расставили они свои сети, – человеческий разум. Нет, они не знали, как покорить материю, как создать изобилие, распорядиться нашей планетой. Но им и не требовалось знать. В их распоряжении был я.

Я, человек, который знал, что богатство – это только средство ради цели, именно я создал средства, но позволил им определять мне цели. Я, человек, который гордился своей способностью добиваться удовлетворения своих желаний, позволил им определять мою систему ценностей, посредством которой я судил о своих желаниях. Я, человек, который сумел

преобразовать материю в соответствии со своими целями, остался с горой стали и золота, но все мои планы потерпели крах, все мои желания оказались преданы, все мои усилия добиться счастья остались тщетными.

Я раздвоился, в полном соответствии с учением мистиков; дела я вел по одному кодексу, а собственную жизнь строил по другому. Я восставал против того, чтобы бандит устанавливал цену и стоимость моей стали, но позволил ему устанавливать систему ценностей моей жизни. Я восставал против присвоения чужого труда, но считал своим долгом дарить незаслуженную любовь своей жене, которую презирал; я оказывал незаслуженное уважение матери, которая ненавидела меня; незаслуженную поддержку брату, который замыслил уничтожить меня. Я восставал против незаслуженного финансового ущерба, но согласился на жизнь, полную незаслуженного страдания. Я восставал против принципа, что умение созидать греховно, но считал греховной свою способность к счастью. Я восставал против постулата, что добродетель – это духовная категория, бесплотная и непознаваемая, но осуждал тебя, тебя, самое дорогое мне существо, за влечение твоей и моей плоти. Но если плоть греховна, то греховны и те, кто обеспечивает ее жизнь, греховно и вещественное богатство, и те, кто его производит. И если нравственные ценности устанавливаются в противовес нашему физическому существованию, тогда верно, что награды не должны быть заслужены, что добродетель надо искать в несодеянном, что не должно быть связи между достижениями и успехами, что низшие животные, способные производить, должны служить высшим существам, чье духовное превосходство состоит в телесной немощи.

Если бы, когда я начинал, человек вроде Хью Экстона сказал мне, что, принимая проповедуемую мистиками теорию секса, я тем самым принимаю экономическую теорию бандитизма, я бы рассмеялся ему в лицо. Но теперь я не стал бы осмеивать его. Теперь я вижу, что металлом Реардэна распоряжаются отбросы человечества; я вижу, что достижение всей моей жизни служит обогащению моих злейших врагов. Что же касается двоих человек, которых я только и любил, то одному я нанес смертельное оскорбление, а другого выставил на позор перед всеми. Я нанес пощечину человеку, который был моим другом, защитником, учителем, человеку, который сделал меня свободным, так как помог мне узнать то, что я узнал. Я любил его, Дэгни, он был мне и братом, и сыном, и товарищем, каких у меня никогда не было, но я вышвырнул его из своей жизни, потому что он не помог мне работать на бандитов. Я отдал бы все, чтобы заполучить его обратно, но у меня нет ничего, что бы я мог предложить ему, и я больше никогда не увижу его, потому что не знаю способа заслужить хотя бы право просить прощения.

Но то, что я сделал с тобой, дорогая, еще хуже. Твое выступление и вынужденная необходимость его – вот что досталось от меня единственной женщине, которую я любил, в благодарность за единственное счастье, которое я знал. Не говори мне, что ты сама приняла решение, сама сделала свой выбор, принимая все последствия, включая сегодняшний вечер; это не искупает того факта, что я не мог предложить тебе ничего лучшего. И то, что бандиты принудили тебя к выступлению, что ты согласилась, чтобы отомстить за меня и дать мне свободу, не искупает того факта, что именно я дал им возможность прибегнуть к такой тактике. Чтобы опорочить тебя, они воспользовались не своими понятиями о грехе и бесчестии, а моими. Они просто осуществили на практике то, во что я верил и о чем говорил тогда в доме Эллиса Вайета. Именно я скрывал нашу любовь как постыдную тайну, и они так ее и представили в соответствии с моим отношением к ней. Именно я стремился исказить реальность ради приличия в соответствии с их критериями, и они попросту сыграли на том праве, которое я им предоставил.

Люди полагают, что лжец одерживает верх над своей жертвой. Я же понял, что ложь – это акт самоотречения, потому что лжец отдает истину в руки того, кому лжет, превращая этого

человека в своего господина, обрекая себя с этого момента всегда выставлять истину в ложном свете, как будет требовать тот, кому он солгал. И даже добившись ложью желаемого, он платит за это ценой разрушения того, чему это желаемое должно служить. Человек, который лжет миру, становится впредь рабом мира. Когда я решил скрыть свою любовь к тебе от света, публично отречься от нее и жить во лжи, я превратил ее в собственность общества, и общество востребовало ее должным образом. Я не имел ни средств, ни возможностей предотвратить это и спасти тебя. Когда я уступил бандитам и подписал дарственный сертификат, чтобы оградить тебя, я все еще творил подмену, ничего другого мне не оставалось. Дэгни, я скорее согласился бы на нашу, мою и твою, смерть, чем позволил им осуществить свою угрозу. Но белой лжи нет, есть только черный мрак гибели, а белая ложь – самая черная из лжи. Я все еще искажал реальность, и результат оказался неумолимо неизбежен: вместо того чтобы ограждать, я навлек на тебя еще более ужасное испытание, вместо того чтобы защитить твоё имя, обрек тебя на публичную казнь, заставил побивать самое себя камнями. Я знаю, ты гордилась тем, что говорила, и я гордился тобой, когда слушал твои слова, но эту гордость нам следовало проявить два года назад.

Нет, ты не сделала мое положение хуже, ты освободила меня, спасла нас обоих, вернула честь нашему прошлому. Я не могу просить у тебя прощения, мы давно прошли этот этап; единственное, чем я могу искупить свою вину, это сказать тебе, что я счастлив. Я счастлив, любовь моя, я не страдаю. Я счастлив, что мне открылась истина, даже если способность видеть ее – это все, что мне осталось. Если бы я уступил боли, сдался в бессильном сожалении, что разрушил прошлое своей ошибкой, вот это действительно было бы окончательной изменой, полным провалом. Тогда я бы безнадежно утратил истину и право сожалеть об ошибках. Но до тех пор, пока любовь к истине остается единственным моим достоянием, чем больше потерь я оставлю позади, тем больше гордости я буду испытывать за то, во что мне обошлась эта любовь. И тогда обломки прошлого не превратятся в могильный холм надо мною, а будут служить мне пьедесталом, который расширит горизонт моего зрения. Личное достоинство и способность видеть – вот все, чем я обладал в начале пути, и все, чего я достиг, получено с их помощью. И то и другое теперь возросло. Более того, в моем распоряжении теперь высшее знание, которого мне недоставало, – я знаю о своем праве гордиться своим видением мира. Достичь остального в моей власти.

И первым шагом в мою новую жизнь будет то, что я хотел сказать и говорю тебе сейчас: я люблю тебя, дорогая, самой слепой страстью своего тела, которую питает чистейший источник моего духовного восприятия. Моя любовь к тебе останется со мной – одно из всех завоеваний моего прошлого, останется неизменной навсегда. Это я хотел сказать тебе, пока у меня оставалось такое право. И поскольку я не сказал этого вначале, я должен сказать это сейчас – в конце. А теперь я скажу тебе то, что ты сама хотела сказать мне, потому что я знаю все и приемлю: в этот месяц ты встретила человека и полюбила его, и если любовь означает окончательный, единственный выбор, то и он единственный, кого ты когда-либо любила.

– Да! – Ее голос прозвучал полувыдохом-полукриком, как будто ее ударили и этот удар был единственным, что она ощутила. – Хэнк! Но откуда ты узнал об этом?

Он улыбнулся и показал на радио:

Дорогая, ты употребляла только прошедшее время.

Ох!.. – Теперь ее голос был полувыдохом– полустоном; она закрыла глаза.

Ты ни разу не произнесла слова, которые могла бы с полным основанием швырнуть им в лицо, если бы дело об стояло иначе. Ты сказала: «Я хотела его», а не «Я люблю его». Сегодня по телефону ты подтвердила, что могла бы вернуться раньше. Никакая другая причина не заставила бы тебя покинуть меня так, как ты это сделала. Только такая причина все оправдывала и все

объясняла.

Она слегка отклонилась назад, словно стараясь сохранить равновесие, но смотрела на него так же прямо, с улыбкой, которая не тронула ее губ, но смягчила выражение глаз. В ее взгляде читалось восхищение, в складке рта – боль.

– Это правда. Я встретила человека, которого полюбила и всегда буду любить. Я виделась с ним, мы говорили, но я не могу быть с ним, он не может стать моим, и возможно, мы никогда больше не увидимся.

Мне кажется, я всегда понимал, что ты встретишь его. Я знал, что ты чувствуешь ко мне. И хотя чувство твое было велико, я знал, что я не окончательный твой избранник. То, что ты дашь ему, не будет отнято у меня, оно мне никогда не принадлежало. Я не могу восставать против этого. То, что досталось мне, слишком много для меня значит, и ничто не изменит и не отнимет у меня то, что у меня было.

Ты хочешь, Хэнк, чтобы я сказала это? Ты поймешь меня, если я скажу, что всегда буду любить тебя?

Думаю, я понял это раньше тебя.

– Ты всегда виделся мне таким, как сейчас. Величие твоей души, которое ты только сейчас позволяешь себе за метить... Но я всегда знала о нем и следила за тем, как ты постепенно начинаешь открывать его в себе. Не надо говорить об искуплении, ты не причинил мне страданий, твои ошибки проистекали из целостности твоей велико лепной натуры, попавшей под мучительный пресс невыносимого кодекса. Твоя борьба против него не причинила мне страданий, я испытала крайне редкое для меня чувство – восхищение. Если ты готов принять его, оно всегда останется со мной. Никогда не изменить того, что ты значил для меня. Но человек, которого я встретила, – он воплощает для меня ту любовь, к которой я всегда стремилась, еще не зная о его существовании. Вероятно, я никогда не буду с ним, но мне достаточно любить его, чтобы жить дальше.

Он взял ее руку и поднес к губам.

– Тогда ты можешь понять, что чувствую я, – сказал он, – и почему я все же счастлив.

Глядя на его лицо, она осознала, что он впервые предстал перед ней таким, каким она всегда его себе представляла, – человеком, наделенным огромной способностью наслаждаться жизнью. Исчезла печать невысказанной боли, смягчилась напряженность резких черт, растворились ярость и терпенье; в его лице в момент крушения, в самый тяжелый час его жизни проступило безмятежное выражение чистой силы; такое же выражение она видела на лицах мужчин в долине.

Хэнк, – прошептала она, – не знаю, смогу ли я объяснить это, но я не чувствую, что когонибудь предала, тебя или его.

Ты не предала.

Ее глаза казались неестественно живыми на лишенном красок лице, как будто страдание изнемогавшего тела не коснулось духа. Он заставил ее сесть и, не прикасаясь к ней, протянул руку вдоль спинки дивана, словно взяв ее под надежную защиту.

– Теперь расскажи мне, – спросил он, – где ты была?

Я не могу этого рассказать. Я дала слово держать все в тайне. Могу только сказать, что случайно оказалась в одном месте, когда потерпела аварию, и покинула это место с повязкой на глазах, и никогда не смогу найти его.

Нельзя ли восстановить твой путь туда?

Не буду и пытаться.

А тот мужчина?

Искать его я не буду.

Он остался там?

Не знаю.

Почему ты оставила его?

Не могу сказать.

Кто он?

От отчаяния она ответила иронической фразой:

– Кто такой Джон Галт?

Он удивленно взглянул на нее, но понял, что она не шутит:

– Так, значит, Джон Галт существует? – медленно спросил он.

– Да.

И расхожая фраза относится к нему? -Да.

И в ней есть особый смысл?

О да!.. Одно могу рассказать тебе о нем, потому что узнала об этом раньше, когда не была связана обещанием сохранять тайну: он тот, кто изобрел найденный нами двигатель.

Ах вот кто! – Он улыбнулся, будто так и знал. Потом тихо произнес, глядя на Дэгни почти сочувственно: – Разрушитель, не правда ли? – Увидев, что она содрогнулась, он добавил: – Нет, не отвечай сейчас, если не можешь. Думаю, я знаю, где ты была. Ты хотела спасти Квентина Дэниэльса от разрушителя, ты мчалась вслед за Дэниэльсом, когда произошло крушение, да?

– Да.

– Боже мой! Дэгни, неужели это место существует? И они все живы? Есть ли там?.. Не отвечай.

Она улыбнулась:

Оно действительно существует. Он долго молчал.

Хэнк, ты мог бы бросить «Реардэн стил»?

– Нет! – Ответ был резок и последовал незамедлительно, но Реардэн добавил, впервые с ноткой безнадежности: – Пока нет.

Потом он взглянул на нее, словно в этом переходе от одного слова к двум прошел весь тот мучительный путь, который прошла за последний месяц она.

– Понимаю, – сказал Реардэн. Он провел рукой по ее лбу – в этом жесте были понимание, сочувствие и восхищенное изумление. – Через какой же ад тебе теперь пред стоит пройти – по собственному выбору! – чуть слышно сказал он.

Она кивнула.

Она скользнула вниз и легла, положив голову ему на колени. Он гладил ее волосы и говорил:

– Мы будем драться с бандитами, сколько хватит сил. Не знаю, что нас ждет впереди, мы или победим, или убедимся, что надежды нет. Но прежде мы поборемся за наш мир. Мы последнее, что от него осталось.

Она заснула, сжимая его руку в своей. Последним, что она помнила, прежде чем покинул свой пост страж ее сознания, было ощущение огромной пустыни, пустыни в городе и на континенте, где ей никогда не найти человека, искать которого она не имела права.

Глава 4 . Антипод жизни

Джеймс Таггарт сунул руку в карман своего смокинга, вытащил первую попавшуюся бумажку, которая оказалась стодолларовой банкнотой, и швырнул ее нищему.

Он заметил, что нищий подобрал банкноту так же равнодушно, как ее ему бросили.

– Спасибо, братан, – презрительно бросил нищий и заковылял прочь.

Джеймс Таггарт остался стоять посреди тротуара, пытаясь разобраться, откуда взялся шок и лютый страх. Наглость нищего тут ни при чем – он не ждал благодарности и дал деньги не из жалости, его милостыня была рефлекторной и ничего не значила. Дело было в том, что нищий вел себя так, будто ему все равно – получить сотню долларов или медный пятак или вообще не получить в эту ночь никакой подачки и умереть с голода.

Таггарт передернул плечами и поспешил прочь; пробежавшая по спине дрожь прогнала мысль, что настроение нищего под стать его собственному.

Дома вокруг проступали в летних сумерках с подчеркнутой, неестественной четкостью, каньоны перекрестков и уступы крыш погружались в оранжевое марево, и казалось, пространство вокруг, на земле, незаметно сужалось. Из этого марева упорно выступала дата на вздернутом над улицами табло календаря, пожелтевшем, как лист старого пергамента. Она гласила: пятое августа.

Нет, думал он, отвечая своим невысказанным мыслям, неправда, я прекрасно себя чувствую, вот почему мне хочется что-нибудь сделать сегодня. Он не мог признаться себе, что теперешнее его беспокойство проистекало из потребности в удовольствии; он не мог также признаться себе, что ему хочется только одного удовольствия – праздника, потому что он не мог признаться себе в том, что именно ему хотелось отпраздновать.

Сегодня выдался напряженный день, целиком растраченный на слова – податливые и бесформенные, как вата, однако эффективные в достижении результата, как вычислительная машина, выдавшая вполне удовлетворившую его итоговую сумму. Но приходилось тщательно скрывать не только от других, но и от самого себя и цели, и характер его удовлетворения, поэтому, внезапно загоревшись желанием отметить свой успех, он подвергал себя риску.

День начался с неофициального завтрака с приехавшим из Аргентины законодателем в его гостинице, где в роскошном номере несколько человек разных национальностей благодушно и пространно рассуждали об Аргентине, ее климате, почвах, природных и прочих ресурсах, о нуждах ее населения, о важности прогрессивного, динамичного подхода к будущему страны и в числе прочего кратко упомянули, что в ближайшие две недели Аргентина будет объявлена Народной Республикой.

Затем последовало несколько коктейлей в доме Орена Бойла, где присутствовал только один неприметный господин из Аргентины, который молча сидел в углу, в то время как двое чиновников из Вашингтона и несколько знакомых хозяина с неопределенным статусом вели беседу о ресурсах страны, металлургии, минералогии, взаимозависимости соседей и благополучии всей планеты, упоминая попутно, что в ближайшие три недели будет выделен заем в четыре миллиарда долларов Народной Республике Аргентина и Народной Республике Чили.

За сим последовал легкий ужин с выпивкой в отдельном кабинете бара на крыше небоскреба, декорированного под подвал; угощал он, Джеймс Таггарт, а гостями были директора недавно организованной компании – Корпорации прогресса и международной взаимопомощи, президентом которой являлся Орен Бойл, а казначеем – стройный, грациозный, чрезвычайно подвижный чилиец по имени Марио Мартинес, которого Таггарта все тянуло, по духовному

сродству, назвать сеньор Каффи Мейгс. Тут говорили о гольфе, скачках, мотогонках, автомобилях и женщинах. Не было необходимости упоминать, поскольку этот факт был хорошо известен, что Корпорация прогресса и международной взаимопомощи получила эксклюзивный, сроком на Двадцать лет, контракт на управление всеми промышленными предприятиями народных республик Южного полушария.

Последним событием этого дня стал большой официальный прием в доме сеньора Родриго Гонсалеса, дипломатического представителя Чили. Год назад никто не слышал о сеньоре Гонсалесе, но за последние полгода он прославился приемами, которые стал давать по прибытии в Нью-Йорк. Завсегдатаи приемов называли его прогрессивным бизнесменом. Как говорили, он расстался со своей собственностью, когда Чили, став Народной Республикой, национализировала частную собственность, кроме той, что принадлежала гражданам отсталых ненародных государств, таких, как Аргентина. Однако сеньор Гонсалес занял прогрессивную позицию, примкнул к новому режиму и посвятил себя служению своей стране.

Его апартаменты в Нью-Йорке занимали целый этаж роскошного отеля. У него было жирное ничего не выражающее лицо и взгляд убийцы. Понаблюдав за ним на сегодняшнем приеме, Таггарт решил, что этому человеку чужды эмоции; он выглядел так, что казалось, будто висячие складки его тела можно резать ножом. А он ничего и не заметит. С этим впечатлением контрастировало наслаждение, почти сексуальное, порочное, с которым он погружал ноги в толщу роскошных персидских ковров, поглаживал полированные подлокотники кресел и смаковал губами кончик сигары.

Его жена, сеньора Гонсалес, маленькая привлекательная женщина, была не столь красива, как полагала, но пользовалась репутацией красавицы благодаря своей неистовой импульсивной энергии и странной манере поведения – раскованной, живой и циничной, – казалось, она обещала все всем и заранее отпускала все грехи. Все знали, что тот специфический товар, которым она торговала, был основным капиталом ее мужа, ведь в наше время выгоднее торговать не товарами, а связями. Наблюдая, как она общается с гостями, Таггарт забавлялся, представляя, какие сделки заключались, какие указы инициировались, какие отрасли промышленности рушились в обмен на несколько скоротечных ночей, имевших весьма сомнительную ценность для большинства этих мужчин и недолго остававшихся в их памяти.

Вечер ему наскучил, присутствовало всего с полдюжины людей, ради которых он появился; кроме того, говорить с ними было необязательно, достаточно было попасться им на глаза и обменяться с ними взглядами. Незадолго до того, как пригласили к столу, он услышал то, ради чего пришел: сеньор Гонсалес, окутав клубами дыма своей сигары себя и полдюжины собравшихся около его кресла гостей, обронил, что, по соглашению с будущей Народной Республикой Аргентина, собственность компании «Д'Анкония коппер» будет национализирована Народной Республикой Чили и состоится это менее чем через месяц – второго сентября.

Все шло, как и предполагал Таггарт. Неожиданностью для него, однако, было то, что, услышав эту информацию, он ощутил нестерпимое желание убираться. Он чувствовал, что не вынесет скучного обеда, ему, видимо, требовалось отпраздновать успех этого вечера иным, более активным образом. Он вышел в летние сумерки с ощущением, что за чем-то гонится и что за ним самим тоже что-то гонится. Он гнался за неким наслаждением, которого нигде не мог найти, чтобы отпраздновать чувство, которое не осмеливался назвать. Самого же его преследовал страх: он боялся признаться самому себе в сущности того, что заставляло его планировать сегодняшний успех, и четко определить для себя, что именно в этом успехе давало ему такое лихорадочное удовлетворение.

Он напомнил себе, что надо продать акции «Д'Анкония коппер», которая так и не

оправилась после прошлогоднего краха, и купить акции Корпорации прогресса и международной взаимопомощи, как он договорился со своими приятелями. Это должно принести ему целое состояние. Но даже эти мысли не вызвали у него ничего, кроме скуки. Не это хотелось отпраздновать.

Он пытался заставить себя порадоваться; деньги, думал он, вот моя цель – заработать много денег, вот мотив, только и всего. Разве стремиться к этому ненормально? Что в этом плохого? Разве не за этим они все гонятся, те же Вайеты, Реардэны, Д'Анкония?.. Он мотнул головой, чтобы отогнать эти мысли, они заводили его в какой-то опасный тупик. Нет, нельзя позволить себе упереться в него.

Однако, вяло подумал он, неохотно признаваясь себе в этом, деньги больше ничего не значили для него. Он сотнями швырял доллары направо и налево, к примеру, сегодня вечером: на недопитое вино, несъеденные деликатесы, необязательные чаевые, внезапные причуды, на телефонный разговор с Аргентиной, потому что один из гостей у него на вечеринке захотел удостовериться, точно ли он пересказал одну скандальную историю; масса денег тратилась бездумно, импульсивно, под влиянием момента, от лени и инертности мысли, оттого, что уже вошло в привычку: легче заплатить, чем думать.

– Теперь, когда началась координация железнодорожных перевозок, тебе не о чем волноваться, – пьяно хихикая, сказал ему Орен Бойл.

Неважно, что благодаря этой координации в Северной Дакоте обанкротилась местная железнодорожная компания и это превратило весь регион в кризисную зону; местный банкир кончил жизнь самоубийством, сначала убив жену и детей; в Теннесси сняли с расписания грузовой маршрут с уведомлением всего за один день, из-за чего местная фабрика осталась без сырья и закрылась, а сын ее владельца вынужден был вскоре бросить колледж и теперь сидит в тюрьме, ожидая казни за убийство, которое совершил с бандой налетчиков; в Канзасе закрылась станция, и станционному служащему, который хотел подкупить денег, пойти учиться и стать ученым, пришлось оставить свои мечты и пойти в мойщики посуды. И все ради того, чтобы он, Джеймс Таггарт, мог сидеть в отдельном кабинете ресторана и беззаботно оплачивать выпивку, которой накачивался Орен Бойл, официанта, который чистил манишку Бойла, когда тот пролил на себя вино, ковер, который прожег сигаретой бывший сутенер из Чили, поленившийся дотянуться до пепельницы, стоявшей всего в трех футах от него.

Вовсе не то, что он стал безразличен к деньгам и понимал это, вызывало у Таггарта до дрожи беспокойное чувство. Его страшило сознание, что он остался бы так же равнодушен ко всему, даже оказавшись вдруг в положении нищего. Было время, когда он ощущал какую-то вину – не больше чем приступ раздражения – при мысли, что страдает пороком стяжательства, который сам же усердно клеймил. Теперь его охватывал холод при мысли, что он и в самом деле никогда не лицемерил, – деньги действительно никогда ничего не значили для него. Но это разверзало перед ним еще одну пропасть, вело в еще один тупик, упереться в который он не мог себе позволить.

Мне просто хочется что-нибудь сделать сегодня! – беззвучно, но гневно и требовательно кричал он в темноту, протестуя против того, что настойчиво возвращало его к этой мысли, сердясь на мир, где какая-то недобрая сила не позволяла ему наслаждаться, не задаваясь вопросом, что ему нужно и зачем.

Что тебе нужно? – постоянно вопрошал враждебный голос, и Таггарт ускорял шаг, чтобы убежать от него. Ему казалось, что его мозг похож на лабиринт со множеством тупиков на каждом повороте и все они ведут в туман, скрывающий пропасть. Ему казалось, что, пока он бежал, маленький островок безопасности вокруг него все сжимался и оставались только тупики. Еще сохранялся свет посередине, но все выходы затягивало маревом. Почему круг должен

сужаться? – в панике думал он. Всю жизнь он прожил таким образом, упорно и боязливо глядя только себе под ноги, искусно избегая дальней перспективы, углов, вершин и расстояний. Он никогда не хотел куда-то отправиться, продвигаться, он хотел быть свободным от диктата прямой линии, ему вовсе не хотелось, чтобы его годы сложились в некую сумму. Что же их подытожило? Как получилось, что он, сам того не желая, достиг конечного пункта, где нельзя ни стоять на месте, ни отступить назад?

– Разуй глаза, приятель, смотри, куда прешь, – прорычал кто-то, отбрасывая его локтем в сторону.

Очнувшись, он увидел, что на бегу налетел на чье-то грузное, дурно пахнущее тело.

Он замедлил шаг и заставил себя разобраться в расположении улиц, понять, куда его привело бессмысленное бегство. Ему не хотелось думать, что путь его лежит домой, к жене. Это тоже был тупиковый, окутанный туманом маршрут, но другого у него не оставалось.

Едва увидев, как Шеррил молча, напряженно поднимается ему навстречу, когда он вошел в ее комнату, Таггарт понял, что здесь тоже таится опасность, большая, чем он позволял себе осознать, и что здесь он тоже не найдет того, что ему нужно. Но опасность служила для него сигналом замкнуться, отключить чувства и мысли и следовать, не меняя курса, полагаясь на невысказанное предположение, что его нежелание признавать опасность возьмет над ней верх и сделает ее нереальной. Как всегда в таких случаях, в нем включился сигнал тревоги: внимание, туман! Но включился не для того, чтобы рассеять туман, а для того, чтобы сгустить его.

Да, мне надо было пойти на важный деловой ужин, но я передумал, мне захотелось сегодня поужинать с тобой, – сказал он тоном комплимента. Но в ответ получил только:

Хорошо.

И то, что Шеррил не удивилась, и ее бледное, замкнутое лицо вызвали в нем раздражение. Его раздражало, как спокойно и уверенно она отдает распоряжения прислуге; раздражала необходимость сидеть напротив нее в столовой при свечах, за безукоризненно сервированным столом с двумя хрустальными вазами для фруктов и столовым серебром.

Больше всего его раздражали ее полные достоинства манеры. Она уже не была оказавшейся не на своем месте замарашкой, придавленной роскошью дома, в котором очутилась. Она вполне вписалась в интерьер, собранный знаменитым дизайнером. За столом она вела себя как полноправная хозяйка богатого дома. На ней было прекрасно сшитое ярко-коричневое парчовое платье в тон ее бронзовым волосам, строгость линий прямого покроя служила ее единственным украшением. Но он предпочел бы дешевые браслеты и блестящую бижутерию ее прошлого. Уже не первый месяц его тревожили ее глаза: они смотрели не враждебно и не дружественно, а настороженно и вопросительно.

– Сегодня я заключил отличную сделку, – сказал он отчасти хвастливым, отчасти просительным тоном. – Сделку, затрагивающую весь континент и полдюжины государств.

Он видел, что изумление, восторг и преклонение, которых он ожидал, исчезли без следа – вместе с маленькой продавщицей. Их уже не было в лице его жены, как не было ни гнева, ни ненависти, которые он предпочел бы ее теперешнему прямому, изучающему взгляду, – этот взгляд не обвинял, а спрашивал, и это уже совсем никуда не годилось.

Какую сделку, Джим?

Что значит «какую сделку»? Что ты подозреваешь? Почему ты сразу начинаешь допытываться?

Извини. Я не знала, что это тайна. Ты не обязан мне отвечать.

Это не тайна. – Он остановился, но она молчала. – Ну, ты ни о чем не хочешь спросить?

Да нет. – Это было сказано просто; очевидно, она не хотела вызывать его недовольство.

Так тебе совсем неинтересно?

Я думала, ты не хочешь говорить на эту тему.

Нечего юлить! – взорвался он. – Сделка большая. Тебе ведь нравится большой бизнес. Так вот это будет еще побольше, нашим мальчишкам такое и не снилось. Большинство бизнесменов собирают состояние по крохам, а мне достаточно сделать вот так. – Он щелкнул пальцами. – Такой куш еще никто не срывал.

Ты сорвал куш, Джим?

Я заключил сделку.

Сам?

А ты не веришь? Нашему толстому дурню, Орену Бойлу, этого и за миллион лет не провернуть. Тут требуются знание, умение и расчет. – Он заметил искорку интереса в ее глазах. – И понимание психологии. – Искорка погасла, но он, не обращая внимания, продолжал, как заведенный: – Надо было знать, как подъехать к Висли, как нейтрализовать дурное влияние на него, как заинтересовать мистера Томпсона, но чтобы он не узнал лишнего, как подключить к делу Чика Моррисона и исключить Тинки Хэллоуэя, как вовремя устроить в нужных домах банкеты в честь Висли и... Слушай, Шеррил, есть у нас в доме шампанское?

Шампанское?

Пусть сегодня у нас будет особенный вечер. Почему бы нам не отпраздновать мой успех?

Конечно, Джим, шампанское у нас есть.

Она позвонила и распорядилась в своей обычной странной манере, апатичной и безучастной, – полное согласие с его желаниями при полном эмоциональном самоустранении.

Кажется, на тебя это не произвело большого впечатления, – сказал он. – Впрочем, что ты понимаешь в бизнесе. Дела такого масштаба тебе не по уму. Вот дождись второго сентября. Увидишь, что будет, когда они услышат.

Кто они?

Он взглянул на нее, словно неосторожно сболтнул лишнее:

Мы, то есть я, Орен и кое-кто еще устроили так, что сможем контролировать всю промышленную собственность к югу от границы.

Чью собственность?

Ну... народную. Речь идет не о старомодных методах присвоения собственности ради личной выгоды. Эта сделка имеет достойную, общественно значимую цель – управление национализированной собственностью ряда народных государств Латинской Америки с тем, чтобы научить их рабочих современным методам и технологиям производства, помочь обездоленным, которые никогда не имели возможности... – Он резко оборвал себя, хотя она все так же сидела и слушала его, не отводя взгляда. – Знаешь что, – вдруг с неприятным, циничным смешком сказал он, – если тебе так хочется свое происхождение, не мешало бы проявлять больше интереса к проблемам общественного благосостояния. Гуманных чувств не хватает именно бедным. Надо родиться богатым, чтобы тонко чувствовать аль трузизм.

Я никогда не пыталась скрыть, что вышла из ни зов, – сказала она простым, безличным тоном, которым констатируют факт. – И я не сочувствую философии социального равенства. Я достаточно видела собственными глазами и понимаю, откуда берутся бедняки, которые хотят получить что-то ни за что. – Он молчал, и она неожиданно для него и себя продолжила удивленным, но окрепшим голосом, словно выражая свой окончательный вывод из долгих размышлений и сомнений: – Джим, тебе и самому это безразлично. Тебе ровным счетом наплевать на болтовню о социальном равенстве.

Ладно, если тебя интересуют только деньги, – взвинулся он, – позволь доложить, что эта сделка принесет мне целое состояние. Тебя ведь это всегда восхищало, огромное состояние?

Смотря какое.

Полагаю, что в конце концов я стану одним из богатейших людей в мире, – сказал он, не спросив ее, какое же состояние ее действительно восхищало. – Я смогу позволить себе все что угодно. Все что угодно. Только прикажи. Я смогу дать тебе все, что ты захочешь. Давай, приказывай.

Мне ничего не надо, Джим.

Но я хочу сделать тебе подарок! Отметить это со бытие, понимаешь? Проси все, что придет в голову. Все что хочешь. Все. И получишь. Я хочу доказать тебе, что могу все. Могу удовлетворить любой твой каприз.

У меня нет капризов.

Ну, давай же. Хочешь яхту?

Нет.

Хочешь, я куплю тебе весь район в Буффало, где ты жила?

Нет.

Хочешь сокровища короны Народной Республики Англия? Их тоже можно купить, да будет тебе известно. Их правительство давно уже намекает об этом на черном рынке. Но больше не осталось магнатов-мастодонтов, которые могли бы это себе позволить. А я могу, точнее, смогу после второго сентября. Ну, хочешь их?

Нет.

Тогда чего же ты хочешь?

Я ничего не хочу, Джим.

Но ты должна! Ты же должна, черт побери, чего-то хотеть!

Она смотрела на него, слегка встревожась, но в общем равнодушно.

Ну хорошо, извини, – сказал он. Казалось, его уди вила собственная горячность. – Мне просто хотелось сделать тебе что-нибудь приятное, – продолжал он потухшим голосом, – наверное, все это выше твоего понимания. Ты не можешь взять в толк, как это важно. Не можешь пред ставить себе, какой великий человек твой муж.

Я пытаюсь разобраться, – медленно произнесла она.

Ты все еще думаешь, как раньше, что Хэнк Реардэн – великий человек?

Да, Джим, я так думаю.

Так вот, я его победил. Я выше любого из них, важнее, чем Реардэн, важнее, чем тот другой любовник моей сестры, который... – Он умолк, решив, видимо, что зашел слишком далеко.

Джим, – ровным голосом спросила она, – что должно произойти второго сентября?

Он посмотрел на нее исподлобья, взгляд его заиндевел, хотя мышцы лица распускались в циничную полуулыбку; он, видимо, разрешал себе нарушить какое-то священное табу:

– Национализация «Д'Анкония коппер», – сказал он. Прежде чем она ответила, он услышал долгий, хриплый рев: где-то в темноте над крышей пролетал самолет; следом послышался тоненький звон – в серебряной чаше для фруктов звякнул тающий кубик льда. Тогда она сказала:

Он ведь был твоим другом?

О, замолчи!

Он больше ничего не произнес и долго не смотрел на нее. Потом снова взглянул ей в лицо, она все следила за ним и заговорила первая, странно строгим тоном:

– Как здорово выступила по радио твоя сестра!

Слышал, слышал, ты повторяешь это уже целый месяц.

Ты так и не ответил ей.

А что отвечать?..

И твои приятели в Вашингтоне тоже так и не ответили ей.

Он молчал.

– Джим, я не меняла тему разговора. Он не отвечал.

Твои приятели в Вашингтоне как воды в рот набрали. Они ничего не отрицали, ничего не объяснили, не попытались оправдаться. Ведут себя так, будто выступления не было. Наверное, думают, что люди забудут. Конечно, кто-то забудет. Но остальные помнят, что она сказала, и пони мают, что ваши люди боятся ее.

Неправда! Соответствующие меры были приняты, теперь инцидент исчерпан, и я не понимаю, зачем ты все время возвращаешься к нему.

Что же за меры, как ты говоришь?

Бертрам Скаддер снят с эфира, его программу признали не соответствующей интересам общества в на стоящий момент.

Это и есть ответ твоей сестре?

Это закрывает вопрос, и больше незачем об этом рассуждать.

А о правительстве, которое действует методами шантажа и вымогательства?

Ты не можешь говорить, что ничего не было сделано. Всенародно объявили, что программа Скаддера но сила подрывной, разрушительный и неблагонадежный характер.

Джим, я вот чего не пойму. Скаддер ведь не принадлежал к ее сторонникам, он поддерживал вас. Не он организовал ее выступление. Он ведь действовал по указке из Вашингтона, разве не так?

А я полагал, что ты не жаловала Бертрама Скаддера.

Не жаловала и не жалую, но...

Тогда какое тебе дело?

Виноват ведь был не он, а твои друзья из Вашингтона.

Я бы предпочел, чтобы ты не лезла в политику. Ты мало что в ней смыслишь.

Но ведь не он был виноват?

Ну и что?

Она смотрела на него, широко, изумленно раскрыв глаза:

Значит, его просто сделали козлом отпущения.

Нечего сидеть с видом Эдди Виллерса!

У меня такой вид? Мне нравится Эдди Виллерс. Он честный человек.

Недоумок, черт бы его побрал, он понятия не имеет о практических делах!

А уж ты, конечно, имеешь, Джим?

Можешь не сомневаться!

Тогда почему ты не помог Скаддеру?

Я? С какой стати? – Он безудержно, зло расхохотался. – Ну когда ты повзрослеешь? Да я сделал все что мог, чтобы выбросить Скаддера на свалку! Кого-то ведь надо было. Ты что же, не понимаешь, что я сам был на очереди. Кого-то срочно надо было подставить под топор, иначе полетела бы моя голова.

– Твоя голова? Почему не Дэгни, если виновата она? Выходит, она права?

Дэгни совсем другое дело. Выбор был – Скаддер или я.

Почему?

Интересы страны требовали, чтобы наказание понес Скаддер. Так не надо обсуждать ее выступление, а если кто-то поднимет этот вопрос, мы его тут же урезоним: выступала она в программе Скаддера, а эта программа дискредитировала себя, и сам Скаддер оказался лжецом и явным прохвостом и так далее, и тому подобное. Уж не думаешь ли ты, что люди сами разберутся? Все равно ведь никто никогда не верил Бертраму Скаддеру. Не надо так смотреть на меня! Ты что же, хочешь, чтобы полетела моя голова?

– Почему не Дэгни? Не потому ли, что ее выступление нельзя опровергнуть?

– Тебе так жаль Бертрама Скаддера, а он из кожи вон лез, чтобы мне вмазали на полную катушку. Он копал под всех все эти годы, как, ты думаешь, он пролез наверх? Карабкаясь по трупам. Считал, что вошел в силу, видела бы ты, как лебезили перед ним большие тузы. Но на сей раз номер у него не прошел, не на ту карту поставил.

Приятно развалившись в кресле, блаженно улыбаясь, радуясь возможности расслабиться и отдохнуть, Таггарт начал смутно осознавать, что это-то ему и нужно, – наслаждение быть самим собой. Быть собой, и все тут, а каким собой – это неважно; он словно в тумане проплыл мимо самого опасного тупика, в конце которого маячил вопрос – что же он такое?

– Понимаешь, он принадлежал к тусовке Тинки Хэллоуэя. Какое-то время ни у кого не было перевеса, весы колебались, то ли тусовка Хэллоуэя, то ли Чика Моррисона. Но мы взяли вверх. Тинки пошел на попятный, ему пришлось пожертвовать своим дружкой Бертрамом в обмен на кое-что от нас. Слышала бы ты, как взвыл Бертрам! Но поезд ушел, и бобик сдох.

Таггарт заколыхался от смеха, но тут же осекся: дымка самодовольства улетучилась, он увидел, как смотрит на него жена.

Ах, Джим, – прошептала она, – такие-то ты одерживаешь победы?

Ради Христа, прошу тебя! – Он снова завелся и ударил кулаком по столу. – Где ты была все это время? В каком мире, по-твоему, ты живешь? – От удара опрокинулся бокал с водой, и по вышитой скатерти поползли темные пятна.

Я пытаюсь разобраться, – тихо проговорила она. Плечи ее поникли, лицо вдруг осунулось и постарело, она выглядела потерянной и изможденной.

А что я могу сделать? – вырвалось у него в насту пившем молчании. – Приходится принимать все, как есть. Не я создал этот мир!

Его поразило, что она улыбнулась, – улыбкой такого яростного презрения, какое казалось совершенно невозможным на ее нежном, терпеливом лице. Она не смотрела на него, она вглядывалась в себя, в свою память.

Так частенько говаривал мой отец, когда напивался в забегаловке на углу, вместо того чтобы искать работу.

Как ты смеешь сравнивать меня с... – начал было он, но не закончил, потому что она не слушала.

То, что она сказала потом, снова посмотрев ему в глаза, удивило его, как не имеющее никакого отношения к делу.

Дату национализации, второе сентября, установил ты? – задумчиво спросила она.

Нет, конечно. Это не в моей компетенции. Ее назначили на своем заседании их законодатели. А что?

Это первая годовщина нашей свадьбы.

Ах да, ну конечно! – Он заулыбался, довольный переходом к безопасной теме. – Мы женаты уже год. И не подумаешь, что прошло столько времени.

Подумаешь, что прошло намного больше, – бесцветным тоном сказала она.

Она смотрела в сторону, и он с досадой подумал, что тема совсем небезобидна; хорошо бы она не смотрела так, будто представила себе весь год их супружеской жизни. «Только не бояться, а учиться» – эти слова Шеррил повторяла себе так часто, что эта мысль уже казалась ей столбом, до блеска отполированным ее беспомощно соскальзывавшим вниз телом; этот столб поддерживал ее весь минувший год. Она пыталась повторять эти слова, но ей казалось, что руки скользят по гладкой поверхности, и спасительная мысль уже не спасала ее от ужаса: она начала понимать.

Если не знаешь, не надо бояться, надо учиться... Это она начала твердить себе с первых недель замужества, столкнувшись с одиночеством, и ничего не понимала. Она не могла

объяснить себе поведение Джима, его угрюмую сердитость, выглядевшую как слабость характера, уклончивые, невнятные ответы на расспросы, что походило на трусость. Такие черты были невозможны в том Джеймсе Таггарте, за которого она выходила замуж. Шеррил говорила себе, что нельзя осуждать не поняв, что она ничего не знала о его среде, что незнание мешает правильно оценивать его поступки. Она принимала вину на себя, мучилась и упрекала себя, отчаянно сопротивляясь упрямым фактам, которые настойчиво твердили ей, что что-то не так и что ей становится страшно.

«Я должна знать и уметь все, что положено знать и уметь миссис Джеймс Таггарт» – так объяснила она задачу своему учителю манер и этикета. За учебу она взялась с прилежанием, напором и неукоснительностью курсанта военного училища или религиозного неопита. Иначе, думала она, нельзя заслужить то высокое положение, которое доверил ей муж; она должна стать достойной своей мечты, теперь она обязана осуществить ее на деле. Не признаваясь себе в этом, она надеялась, что, выполнив поставленную задачу, поймет его дела и узнает его таким, каким видела в день его триумфа на железной дороге.

Ее озадачила реакция Джима, когда она рассказала ему о своих занятиях. Он рассмеялся, и она не хотела верить, что в его смехе звучало злорадное презрение.

– В чем дело, Джим? Что с тобой? Над чем ты смеешься?

Он не стал объяснять, как будто самого факта презрения было достаточно и указывать причины не имелось необходимости.

Она не могла заподозрить его в недоброжелательности, ведь он так терпеливо, не жалея времени, разъяснял ей ее ошибки. Он, казалось, с удовольствием водил ее в лучшие дома города, никогда не попрекал необразованностью, неловкостью манер, спокойно реагировал на те жуткие моменты, когда по молчаливому обмену взглядами среди гостей и приливу крови к своим щекам она догадывалась, что опять попала впросак. Это его не смущало, он просто наблюдал за ней с мягкой улыбкой. Когда они возвращались Домой с таких приемов, он нередко бывал весел и внимателен. Он хочет помочь мне, облегчить мою задачу, думала она и, полная благодарности, занималась еще усерднее.

В тот вечер, когда незаметно свершился переход в новое качество и она впервые получила удовольствие от приема, Шеррил ожидала его похвалы. Она чувствовала себя свободной, раскованной, способной действовать не по заученным правилам, а в свое удовольствие, в полной уверенности, что правила трансформировались в естественную привычку. Она знала, что привлекает внимание, но теперь впервые над ней не потешались – ею восхищались, искали ее общества, интересовались ею самой, а не миссис Таггарт, в ней открыли ее собственные достоинства, она перестала быть объектом снисходительного милосердия, обузой для Джима, которую терпели ради него. Она весело смеялась, и ей улыбались в ответ, она видела по лицам окружающих, что ее приняли и оценили, и, лучась радостью, все поглядывала на него, как ребенок, протягивающий дневник с отличными оценками и ожидающий восхищения. А Джим сидел один в углу и следил за ней непроницаемым взглядом.

По дороге домой она не услышала от него того, чего ожидала, он попросту отмалчивался.

Не знаю, зачем я таскаю тебя по приемам, – ни с того ни с сего вдруг рассердился он дома, стоя посреди гостиной и срывая с себя галстук. – Никогда не терял столько времени в таком тошнотворно скучном и вульгарном обществе!

Что ты, Джим, – поразилась она, – а мне так понравилось.

Еще бы! Ты была как дома – у себя на Кони-Айленд. Не мешало бы тебе знать свое место и научиться не компрометировать меня на людях.

Я компрометировала тебя? Сегодня вечером?

Вот именно!

Но как?

Если не понимаешь сама, я растолковать не могу, – сказал он загадочным тоном, будто подразумевая, что не понимание – непростительный, позорный недостаток.

– Нет, не понимаю, – твердо сказала она. Он вышел из комнаты, хлопнув дверью.

На сей раз ей впервые показалось, что она не может объяснить себе поведение мужа не потому, что не понимает, не знает его, а потому, что не хочет видеть в нем дурное. С того вечера в ней поселился страх – жгучий кружок, слепивший ей душу, как свет летящей на нее невидимой машины.

Такое же чувство вызывало у нее окружение Джима, увеличивая ее смятение. Она не могла понять, почему от нее ожидают восхищения скучными, бессмысленными вернисажами, которые расхваливали его друзья, романами, которые они читали, политическими статьями, которые они обсуждали. На вернисажах она видела рисунки не лучше тех, что рисуют на асфальте дети трущоб. В романах доказывалась бесполезность науки, промышленности, цивилизации и любви – и все это в выражениях, которые ее отец не использовал, даже будучи пьян в стельку. Журналы с трусливой оглядкой проповедовали вздорные идеи, бездоказательные и устаревшие, как в тех проповедях, за которые она называла духовных наставников обитателей трущоб лживыми краснобоями. Она не могла поверить, что это и есть культура, на которую она так почтительно взирала и к которой так страстно стремилась. Она чувствовала себя так, словно вскарабкалась на вершину горы, где высились зубчатые стены замка, и обнаружила там лишь развалины сарая с провалившейся гнилой крышей.

Джим, – сказала она однажды, когда они вернулись с вечера, проведенного среди людей, которых именовали духовными вождями страны, – доктор Притчет – шарлатан, гадкий, испуганный шарлатан.

Так уж и шарлатан, – ответил он. – Как ты можешь судить о философах?

Я могу судить о мошенниках, я столько их повидала, что могу сразу распознать.

Вот почему я говорю, что ты никогда не разделаешься со своим прошлым. Если б могла, то научилась бы ценить взгляды доктора Притчета и его философию.

Какую философию?

Если не понимаешь сама, как я тебе растолкую?

Она не хотела позволить ему закончить разговор своей любимой формулой.

– Джим, – сказала она, – он обманщик, и он, и Больф Юбенк, и вся их шайка. Я думаю, они задурили тебе голову.

Она ожидала, что он рассердится, но увидела, что он только иронически поднял брови.

– Это ты так думаешь, – ответил он.

У нее впервые мелькнула испугавшая ее мысль, которую она считала невозможной: а что, если он вовсе не обманывается на их счет? Она могла понять жуликоватость доктора Притчета, он извлекал из нее доход, хоть и незаслуженный; она даже могла теперь допустить, что Джим тоже жульничал в делах, но что никак не укладывалось у нее в голове, так это представление о Джиме как об абсолютно бескорыстном жулике; неужели он обманывал за так, ничего не выигрывая, обмана ради; по сравнению с этим любой шулер или аферист выглядел честным, морально здоровым человеком. Ей не удавалось нащупать никакого мотива, она лишь чувствовала, что свет летящей на нее невидимой машины слепит все больше.

Она уже не могла вспомнить, как постепенно, с малого, с мелких царапин до ожога сердца, с легкого недоумения до хронической, непрерывной боли в ней рос и становился неотступным страх, а с ним и сомнение в положении Джима на железной дороге. Сомнение переходило в уверенность, когда в ответ на ее невинные вопросы он взвизгивал и без всякой причины сердито кричал:

– Значит, ты мне не веришь?

Из своего нищего детства Шеррил извлекла урок: только нечестные люди так болезненно реагируют, когда им не верят.

– Хватит разговоров о работе, – обычно отвечал он, когда она заводила речь о дороге.

Однажды она попробовала умаслить его:

Джим, ты ведь знаешь, как я ценю твою работу и как восхищаюсь тобой.

Да ну? За кого же ты вышла замуж, за человека или за президента компании?

Но я... я никогда их не разделяла.

Не очень-то это лестно для меня.

Шеррил огорченно взглянула на него: она-то думала, что лестно.

Мне бы хотелось верить, – продолжал он, – что ты любишь меня, а не мою железную дорогу.

Господи, Джим, – огорчилась она, – неужели ты думал, что я...

Нет, – сказал он печальным, благородным голо сом. – Я не думал, что ты вышла за меня замуж из-за моих денег или положения. Уж я-то никогда не сомневался в тебе.

Она совсем растерялась и смешалась, опасаясь, что была несправедлива к нему и, вероятно, дала ему повод неверно истолковать ее чувства. Разве она забыла, сколько ему, наверное, пришлось испытать горьких разочарований в женщинах, которые, как он часто убеждался, охотились только за его деньгами? Думать об этом ей было мучительно, и она только отрицательно качала головой и со стоном повторяла:

– Ах, Джим, я совсем не это имела в виду!

Он утешающе посмеялся над ней, как над ребенком, и обнял за талию.

Ты любишь меня? – спросил он.

Да, – прошептала она.

Тогда ты должна верить мне. Ты ведь знаешь: любить значит верить. Мне так надо, чтобы ты мне верила. Я ни кому вокруг не доверяю. Кругом одни враги. Я очень одинок. Разве ты не видишь, что нужна мне?

Спустя несколько часов она все ходила по своей комнате в мучительном волнении. Ей отчаянно хотелось поверить ему, но она не верила ни единому слову из того, что он ей говорил, и вместе с тем знала, что в них была правда.

В них была правда, но не та, которую вкладывал он. Ей никак не удавалось понять, в чем она состояла. Верно, что он нуждался в ней, но она никак не могла уяснить себе, зачем она ему нужна, что ему от нее надо. Он не искал похвалы, он недоволен или безучастно выслушивал лесть подобострастных лгунов; при этом он походил на наркомана, которому предлагают дозу, недостаточную, чтобы возбудить его. Но она видела, что на нее он смотрит, будто ожидая, даже выпрашивая глоток живительной энергии. Она видела, как в его глазах мелькал живой блеск, когда ему доставался от нее знак восхищения, но стоило ей назвать причину восхищения, как тут же следовал взрыв гнева. Казалось, он хотел, чтобы она считала его великим человеком, но не осмеливалась наполнить это величие каким-то конкретным содержанием.

Она ничего не поняла той ночью в середине апреля, когда он вернулся из поездки в Вашингтон.

– Привет, малыш! – громко сказал он и протянул ей охапку сирени. – К нам снова вернулось счастье! Увидел эти цветы и подумал о тебе. Весна идет, дружок!

Он налил себе вина и начал кружить по комнате с веселым и беззаботным видом – слишком веселым и беззаботным. В его глазах горело лихорадочное возбуждение, говорил он с несвойственной ему лихой интонацией. Она не знала, что и подумать: то ли он в восторге, то ли на грани нервного срыва.

– Я знаю, что они замышляют, знаю все их планы! – внезапно, без перехода сказал он.

Она быстро взглянула на него: ей был знаком этот тон, он предшествовал взрыву.

Во всей стране не наберется и дюжины людей, которые знают об этом. А я знаю! Высокое начальство держит все в секрете, пока в один прекрасный день не ошеломит страну. Вот это будет новость! Все ошалеют! Все до единого. Равнодушных в этой стране не будет. Это коснется всех без исключения. Вот насколько важная тайна.

Как коснется, Джим?

Коснется, и очень! Они и знать не знают, что будет, а я знаю! Вот они сидят, – он махнул рукой на освещенные окна домов, – строят планы, распределяют деньги, обнимают деток, лелеют свои мечты и ничего не знают. А я знаю, что все станет иначе, все изменится: и жизнь, и планы, и мечты!

Изменится к лучшему или к худшему?

Конечно, к лучшему, – нетерпеливо ответил он, как будто это не имело значения. Жар, казалось, ушел из его голоса, к нему вернулась фальшивая интонация долга. – Этот план спасет страну, остановит развал экономики, он обеспечит стабильность, порядок и безопасность.

Какой план?

Я не могу открыть его тебе. План секретный. Совершенно секретный. Ты и представить себе не можешь, сколь ко людей хотело бы узнать о нем. Любой предприниматель охотно расстался бы с немалой толикой своего капитала за один намек, но увы, на то она и тайна за семью печатями. Взять хотя бы, к примеру, Хэнка Реардэна, которым ты так восхищаешься. – Он усмехнулся, представив себе будущее.

Джим, – спросила она, опасаясь, что догадалась, каков характер его усмешки, – почему ты ненавидишь Хэнка Реардэна?

Я его не ненавижу! – Он резко повернулся к ней, лицо его по непонятной причине стало озабоченным, даже испуганным. – Я никогда не говорил, что ненавижу его. Не волнуйся, он одобрит план. Все одобряют. Он же всем на пользу. – Голос его звучал почти просительно. Шеррил с горечью осознала, что он лжет, но просьба в голосе звучала искренне, словно он отчаянно старался успокоить, разубедить ее, но не в том, о чем он ей сказал.

Она заставила себя улыбнуться.

– Да, Джим, конечно, – ответила она, сама не зная, какое инстинктивное чувство руководит ею в этом невероятном хаосе переживаний и заставляет ее говорить так, будто это она должна успокаивать и разубеждать его.

Он ответил ей почти улыбкой, почти благодарным выражением на лице.

– Я не мог не высказаться перед тобой сегодня. Мне на до было рассказать тебе. Я хотел, чтобы ты знала, с какими проблемами я имею дело, какими делами ворочаю. Ты все время заговариваешь о моей работе, но тебе не понять, она много больше, чем ты можешь себе представить. Ты думаешь, что управлять дорогой – это только укладывать рельсы, грузить вагоны и вовремя отправлять поезда. Это было бы слишком просто. Это может любой мой подчиненный. На деле же сердце железной дороги – в Вашингтоне. Моя работа – политика. Да, политика. Решения на уровне всей страны, которые касаются всех и вся. Несколько слов на бумаге, указ – и меняется жизнь каждого человека в любом уголке страны, будь то жалкая трущоба или роскошные апартаменты.

Да, Джим, – сказала она; ей хотелось верить, что он и в самом деле занимает высокое положение в загадочных далях Вашингтона.

Вот увидишь, – говорил он, расхаживая по комнате. – Думаешь, они всемогущи, эти промышленные гиганты, которые так ловко управляются с производством металла и двигателей? Их приструнят! Им дадут укорот! Их по ставят на колени! Их... – Он заметил, как

она смотрит на него. – Все это мы делаем не для себя, конечно, – торопливо и сердито вставил он, – а для народа. Вот в чем разница между бизнесом и политикой, мы не преследуем корыстных целей, нами руководят не личные эгоистические мотивы, мы не гонимся за выгодой, не тратим жизнь на то, чтобы нажить капиталы. Нам этого не надо. Вот почему на нас клеветают, почему нас не понимают все, кто гонится за прибылью; им не понять, что есть духовные мотивы, нравственные идеалы, что есть... Мы ничего не могли поделать! – вдруг возопил он, резко наклонившись к ней. – Нам пришлось принять этот план! Надо было остановить падение производства! У нас не было выбора!

Казалось, он дошел до предела. Она не могла понять, хвастается он или умоляет о прощении, ликует или ужасается.

Джим, хорошо ли ты себя чувствуешь? Может быть, ты слишком много работал и переутомился?..

Я здоров как никогда! – отмел он ее заботу и продолжал вышагивать по комнате. – Конечно, я много работаю. Не знаю, кто может работать больше. Моя работа значит много больше, чем потуги всех этих меркантильных технарей и управленцев вроде Реардэна и моей сестрицы. Пусть специалисты строят дороги, а технологи налаживают процессы, потом приду я и все на рушу одним махом, вот так! – Он взмахнул рукой. – Я сломаю им хребет!

Тебе нравится ломать хребты? – вся дрожа, прошептала она.

Этого я не говорил! – взревел он. – Что ты выдумываешь? У меня и в мыслях не было ничего подобного!

Прости, Джим! – задохнулась она, сраженная и своим подозрением, и ужасом в его глазах. – Просто я никак не пойму, но... теперь я понимаю, что не должна досаждать тебе вопросами, когда ты так устал, – она отчаянно старалась переубедить себя, – когда у тебя столько забот... столько важных дел... проблем, которые выше моего пони мания...

Таггарт весь обмяк, расслабился; подойдя к ней, он бессильно рухнул на колени и обхватил ее руками.

– Ах ты бедная моя дурочка! – нежно сказал он.

Она прижалась к нему, движимая чем-то вроде нежности и, должно быть, жалости. Но он поднял голову, чтобы взглянуть ей в лицо, и ей показалось, что в его глазах она увидела удовлетворение, смешанное с презрением, будто какой-то особой данной ей властью она отпустила ему грехи, но обрекла на проклятие себя.

Бесполезно – обнаружила она в последовавшие затем дни – внушать себе, что многое недоступно ее разумению, что ее долг верить ему, что любовь и есть вера. Ее сомнение росло, сомнение в его непонятной работе и роли в управлении дорогой. Станным образом оно росло в прямой зависимости от ее стараний внушить себе, что верить в него является ее долгом. Однажды бессонной ночью она поняла, что ее старания исполнить этот долг сводились к тому, что она должна отходить в сторону, когда люди обсуждали его работу, не читать газеты, если в них упоминалось о его дороге, вообще не воспринимать никаких свидетельств, фактов и, тем более, противоречий. У нее перехватило дыхание, и она замерла перед вопросом: что же это – вера против истины? И тогда, осознав, что в значительной мере ее старание поверить диктовал страх перед знанием, она отправилась на поиски истины с более твердым, чистым и спокойным сознанием своего права на истину, чем мог ей дать самообман слепого супружеского долга.

Долго искать не пришлось. Уклончивые ответы служащих на ее как бы случайные вопросы, нежелание говорить по существу, их напряженность при упоминании имени босса, явное нежелание ввязываться в обсуждение его деловых качеств – все это не сообщало ей ничего конкретного, но означало самое худшее. Рабочие проявили большую откровенность – стрелочники, проводники, обходчики, все, кто ее не знал и с кем она затевала якобы случайный

разговор.

Джим Таггарт? Да он только нудит и ноет, пустой человек, только и умеет что речи толкать.

Я вам вот что скажу, мисс, никудашный из нашего Джима босс, толку от него ни на грош, только под ногами путается.

– Босс? Мистер Таггарт? Вы хотите сказать – мисс Таггарт?

Всю правду она узнала от Эдди Виллерса. Ей доводилось слышать, что он знает Джима с детства, и она пригласила его на обед. Когда она уселась напротив него за столом, увидела прямой, честный, открытый взгляд его глаз, вопросительно смотревших на нее, услышала его простые, прямые и точные ответы, она не стала ходить вокруг да около, а так же прямо сказала ему, коротко и ясно, не прося ни помощи, ни сочувствия, что и почему она хочет узнать. Она хотела от него только правды. Он ответил ей так же открыто и рассказал все – спокойно, беспристрастно, не высказывая оценок и мнений, не вдаваясь в эмоции, ни в свои, ни в ее, не выказывая озабоченности ее переживаниями, сообщая только факты – во всей их устрашающей, неприкрытой наготе. Он рассказал ей, кто управляет компанией «Таггарт трансконтинентал». Рассказал ей историю линии Джона Галта. Она слушала и испытывала не шок, а нечто худшее – отсутствие шока, будто слышала нечто давно известное.

– Благодарю вас, мистер Виллерс, – только и сказала она, когда он закончил.

В тот вечер, дожидаясь, когда вернется Джим, она испытывала чувство, которое растворяло всякую боль и негодование, – чувство отстраненности, будто ничто уже не имело для нее значения, будто от нее требовалось что-то сделать, но было уже неважно, что именно она сделает и какие это вызовет последствия.

Увидев, что Джим входит в комнату, она почувствовала не гнев, а досаду и удивление, будто не вполне понимала, кто он и почему с ним надо разговаривать. Она рассказала ему, коротко, усталым, потухшим голосом, то, что узнала. Ей показалось, что он все понял с первых фраз, как будто уже знал, что рано или поздно это должно случиться.

Почему ты не сказал мне правду? – спросила она.

Так-то ты понимаешь благодарность? – закричал он. – Так-то ты думаешь после всего, что я сделал для тебя? Говорили же мне, что, когда поднимаешь из грязи нищенку, не на что рассчитывать, кроме грубости и эгоизма.

Она смотрела на него так, словно он издавал бессвязные звуки, которые не вызывали в ней никакого отклика.

Почему ты не сказал мне правду?

И это твоя любовь, жалкая ты лицемерка? Так ты мне отплатила за то, что я поверил в тебя?

Почему ты лгал? Почему позволил мне думать так, как я думала?

Ты должна стыдиться себя, тебе должно быть стыдно так стоять и разговаривать со мной!

Стыдно? Мне? – Бессвязные звуки связались в осмысленное слово, но она не могла поверить в его смысл. – Чего ты добиваешься, Джим? – спросила она.

Ты подумала обо мне, о моих чувствах? Подумала, каково будет мне? Тебе следовало подумать, что это будет означать для меня. Первейший долг жены – думать о муже, каково ему, а для женщины в твоём положении – особенно! Нет ничего хуже, отвратительнее неблагодарности!

В один миг ее озарило, и она поняла то, что не поддается пониманию: вот человек, он виноват и знает, что виноват, но стремится избавиться от чувства вины, переложив ее бремя на свою жертву. Это не умещалось у нее в голове. Ее трясло от ужаса, ее разум отказывался осмыслить такой разрушительный для него феномен. Она чувствовала, что Должна отпрянуть от пропасти безумия, и, закрыв глаза и опустив голову, чтобы не видеть его, ощущала уже только

отвращение, ее тошнило от зрелища, имени которому она не могла подобрать.

Когда же она вновь подняла голову, ей показалось, что она заметила в его взгляде досаду; в нем не было уверенности, он отступал, просчитавшись: прием не сработал. Но он не дал ей времени убедиться в своей догадке, тут же спрятался под маской оскорбленного негодования.

Когда она заговорила с ним снова, ей пришлось адресовать свои слова разумному существу, которого не было, но присутствие которого приходилось вынужденно предполагать, чтобы высказаться:

В тот вечер... все почести, вся слава, кричащие заголовки газет... все это был не ты, а Дэгни.

Заткнись, ты, гнусная сучка!

Она смотрела на него пустым взором, не реагируя. Оскорбления больше не могли затронуть ее, словно ее предсмертные слова уже были произнесены.

Он извлек из своей груди рыдающие звуки:

– Шеррил, прости, я не хотел этого говорить, я беру свои слова назад, я не это имел в виду...

Она осталась стоять там, где стояла, прислонившись к стене.

Он бросился на край дивана в позе безысходного отчаяния.

– Ну как я мог объяснить тебе? – сказал он тоном утраченной надежды. – Как я мог рассказать тебе о транс континентальной железной дороге, если ты не понимала деталей и тонкостей? Как я мог донести до тебя историю долгих лет своей работы, своей?.. Да и какой в этом смысл? Меня всегда не понимали, и мне пора бы привыкнуть к этому, но я думал, что ты другая и у меня еще есть шанс.

– Джим, зачем ты женился на мне? Он печально усмехнулся:

– Все спрашивали меня об этом. Не думал, что и ты когда-нибудь спросишь. Почему? Потому что я тебя люблю.

Она с удивлением подумала: как странно, что это слово, которое должно быть самым простым в человеческом языке, понятным каждому, должно быть универсальной связующей нитью между людьми, не имело для нее никакого значения. Она не знала, что оно значило для него.

Меня никто никогда не любил, – сказал он. – В ми ре нет любви. Люди бесчувственны. Но я чувствую. И кому до этого дело? Их заботят только расписания, товарные составы и деньги. Я не могу жить среди людей. Я очень одинок. Я всегда жаждал понимания. Возможно, я безнадежный идеалист, ищущий невозможного. Меня никто ни когда не поймет.

Джим, – сказала она со странной суровой ноткой в голосе, – все это время я стремилась к одному – понять тебя.

Он махнул рукой, без обиды, но с печалью отменяя ее слова:

Я надеялся, что ты сможешь понять меня. Ты единственное, что у меня есть. Но возможно, людям вообще не дано понять друг друга.

Почему не дано? Почему бы тебе не сказать мне, чего ты хочешь? Почему бы тебе не помочь мне понять тебя?

Он вздохнул:

– В том-то и дело. В том и беда, что ты произносишь свои «почему?». Постоянно, по любому поводу «почему?». Но то, о чем я говорю, нельзя выразить словами. Нельзя назвать. Это надо чувствовать. Ты или чувствуешь, или нет. Это не для ума, а для сердца. Неужели ты никогда не чувствуешь? Просто чувствуешь, не задавая вопросов. Неужели ты не можешь понять меня как человека, а не как подопытного кролика? Тем высшим пониманием, которого не вмещают наши жалкие слова и беспомощные умы... Нет, зря я на это рассчитываю. Но все равно я буду ждать и надеяться. Ты моя последняя надежда. Ты все, что у меня есть.

Она стояла у стены не двигаясь.

– Ты мне нужна, – тихо стонал он. – Я очень одинок. Ты не такая, как другие. Я верю в тебя. Я тебе доверяю. Что дали мне все мои деньги, известность, работа, борьба? Ты все, что есть у меня.

Она стояла не двигаясь. О том, что он еще существует для нее, он мог судить только по направленному на него взгляду. Все, что он говорит о своих страданиях, – ложь, думала она, но то, что он страдает, правда; он – человек, мучимый постоянным беспокойством, о котором он, кажется, не в состоянии рассказать, но может быть, она научится понимать его. Я не имею права отказать ему в этом, подумала она с мрачным чувством долга, – в уплату за то положение, которое он мне дал и кроме которого, похоже, не мог дать ничего. Она обязана постараться понять его.

В последующие дни она находилась в странном состоянии: она оказалась чужой сама себе, вместо нее появился незнакомый человек без желаний и стремлений, а вместо любви, разожженной в ней некогда огнем поклонения герою, появилась саднящая серая жалость. Вместо мужчины, которого она искала, мужчины, который сражался за свои цели и отказывался страдать, она оказалась с человеком, который единственным своим достоинством выставлял страдание, его он ей и предлагал в обмен на ее жизнь. Но ей все стало безразлично. Раньше подлинная Шеррил с живым интересом вглядывалась во все, что встречалось на ее пути. Теперь ее место заняла безразличная ко всему незнакомка, ничем не отличавшаяся от лоценой публики вокруг. Она вступила в круг людей, которые считали себя зрелыми, потому что не пытались ни думать, ни желать.

Но новую, равнодушную Шеррил все еще навещал призрак прежней, настоящей Шеррил, и этот призрак выполнял определенную миссию. Нужно было понять то, что ее погубило. Нужно было понять, и поэтому она жила в постоянном ожидании. Нужно было понять, даже ценой жизни, так как ее все сильнее слепили огни мчавшейся на нее машины и она знала, что в тот момент, когда все поймет, колеса сомнут ее.

Что вам от меня надо? – этот вопрос непрерывно, как дятел, стучал у нее в голове. Что вам от меня надо? – беззвучно кричала она за столом, в гостиной, бессонными ночами, кричала Джиму и тем, кто делил с ним общую тайну, – Больфу Юбенку, доктору Саймону Притчету. Что вам от меня надо? Она не произносила этого вопроса вслух, так как знала, что ответа не будет. Что вам от меня надо? – спрашивала она, и ей казалось, что она спасается бегством, но выхода нет. Что вам от меня надо? – спрашивала она, оглядываясь на долгие муки своего замужества, которому еще не исполнилось и года.

– Что тебе от меня надо? – спросила она вслух и увидела, что сидит за столом у себя в столовой и смотрит на Джима, на его воспаленное лицо и на подсыхающее пятно на скатерти.

Она не помнила, как долго они сидели молча; она вздрогнула от звука собственного голоса и от вопроса, которого не намеревалась высказывать. Она не рассчитывала, что он поймет его; раньше он, казалось, не понимал и более простых обращений; она тряхнула головой, чтобы вернуться к реальности.

Ей пришлось вздрогнуть еще раз, когда она, взглянув на него, увидела, что он смотрит на нее с изрядной долей насмешки, даже с издевкой, словно отвергая ее оценку его сообразительности.

– Любви, – ответил он.

У нее безнадежно опустились руки, она почувствовала себя беспомощной перед таким ответом, одновременно и простым, и бессмысленным.

– Ты не любишь меня, – обвиняюще сказал он. Она не ответила.

Ты не любишь меня, иначе ты не задала бы такой вопрос.

Когда-то я тебя любила, – тусклым голосом ответила она, – но ты хотел не этого. Я любила тебя за мужество, за стремления, за способности. Но ничего этого не оказалось.

Он слегка надул нижнюю губу, выпятив ее в знак презрения.

Какое жалкое представление о любви! – сказал он.

Джим, за что ты хочешь, чтобы я тебя любила?

Что за дешевый, торгашеский подход к любви!

Она промолчала, вопросительно глядя на него; вопрос застыл в широко раскрытых глазах.

Любить за что-то! – сказал он язвительным тоном праведника. – Итак, ты полагаешь, что любовь – это вопрос математики, обмена, взвешивания и измерения, вроде фунта масла на прилавке в гастрономе. Но я не хочу, чтобы меня любили за что-то. Я хочу, чтобы меня любили просто ради меня, не за то, что я делаю, имею, говорю или думаю. Ради меня самого, а не моей плоти, духа, слов, трудов и поступков.

Но тогда что же ты сам?

Если бы ты любила, ты бы не спрашивала. – В его голосе появилась резкая, нервная нотка, словно он опасно завис между благородием и яростной, неодолимой потребностью вывернуть перед ней душу. – Ты бы не спрашивала. Ты бы знала. Чувствовала. Почему ты всегда хочешь все рассортировать и навесить ярлыки? Неужели ты не можешь стать выше этих мелочных вещественных дефиниций? Разве ты никогда не чувствуешь – просто чувствуешь?

Да, Джим, я чувствую, – тихим голосом ответила она. – Но я пытаюсь избежать этого, потому что... потому что я чувствую страх.

Передо мной? – с надеждой спросил он.

Нет, не совсем. Я страшусь не того, что ты можешь сделать со мной, а того, что ты есть.

Он поспешно опустил веки, как будто захлопнул дверь, но Шеррил успела уловить, как вспыхнули его глаза, и в этой вспышке проступил ужас.

Ты, со своей жалкой торгашеской душонкой, не способна на любовь! – внезапно закричал он голосом, лишенным всяких красок и эмоций, кроме желания унижить ее. – Да, торгашеской. Торгашеский дух принимает множество обличей, это еще хуже, чем обыкновенная погоня за деньгами. Ты – духовная стяжательница! Ты вышла за меня замуж не ради денег, а ради моих талантов, мужества или еще чего-то ценного, что ты сочла ценой за твою любовь!

Ты что же, хочешь, чтобы любовь была беспричинной?

Любовь сама себе причина! Любовь выше причин и доводов разума. Любовь слепа. Но ты на это не способна. У тебя мелочная, расчетливая, меркантильная душонка лавочника, который всегда торгуется, но никогда не дает! Любовь – это дар, великий, свободный дар безо всяких условий; она прощает все, она выше всего. Какая щедрость в том, чтобы любить человека за его достоинства? Что ты даешь ему? Ничего. Всего лишь воздаешь ему по заслугам.

Глаза Шеррил напряженно потемнели: она поняла, к чему подводит ее этот разговор.

Ты хочешь незаслуженной любви, – сказала она; это был не вопрос, а приговор.

Ах, ты не понимаешь!

Нет, Джим, я понимаю. Именно этого тебе хочется, именно этого вы все хотите – не денег, не материальных благ, не экономической выгоды, не всяких льгот, которых постоянно требуете. – Она говорила ровно и монотонно, будто декламируя для себя, сообщая надежную устойчивость слов мучительному хаосу мыслей, которые кристаллизовались в ее сознании. – Всех вас, проповедников общественного благосостояния, влекут вовсе не незаработанные деньги. Вы хотите подачек, но другого рода. Я духовная стяжательница, говоришь ты, потому что мне дороги духовные ценности. В таком случае вы, проповедники благо состояния, – духовные бандиты. Мне никогда раньше это не приходило в голову, и никто не подсказал мне эту мысль, не указал ее значение – духовный бандитизм. Но именно этого вам хочется. Вы

хотите незаслуженной любви. Вы хотите незаслуженного восхищения. Вы хотите незаслуженного величия. Хотите быть людьми уровня Хэнка Реардэна, не потрудившись стать такими, как он. Не потрудившись стать кем-либо вообще. Не потрудившись жить.

Заткнись! – взвизгнул он.

Они смотрели друг на друга с ужасом, и оба чувствовали, что стоят перед чем-то, что у них не хватало духу назвать, и следующий шаг будет для них роковым.

– Ты понимаешь, что говоришь? – спросил он тоном пустячного раздражения, почти благожелательно, чтобы вернуться в плоскость нормального, в пределы обычной семейной ссоры, неизбежной и даже полезной при любых тесных отношениях. – Понимаешь, в какую философию ты полезла?

Не понимаю... – устало произнесла она, опуская го лову, как будто что-то зыбкое, неустойчивых очертаний, что она старалась схватить, растаяло у нее между пальцев и стало неосвязаемым. – Не понимаю... Кажется, нельзя...

Зачем лезть в омут, ведь там можно и... – Но ему пришлось замолчать, потому что вошел дворецкий с ведер ком, полным сверкающего льда, и бутылкой шампанского, заказанного по случаю торжества.

Они молчали, позволив комнате наполниться звуками, которыми люди испокон века отмечали победные вехи в своей борьбе, как символами радостных свершений, – выстрел пробки, смеющееся журчание бледно-золотистой струи, сбегаящей в высокие хрустальные бокалы, искрясь в ярком свете свечей, шелест поднимающихся вверх пузырьков, которые, кажется, так и велят всем тоже подняться и слиться в общем порыве.

Они молчали, пока дворецкий не удалился. Таггарт смотрел на пузырьки, небрежно вертя ножку бокала между пальцев. Потом он вдруг резко и неуклюже сжал бокал в кулаке и поднял его, но не как бокал шампанского, а как топор мясника.

За Франциско Д'Анкония! – сказал он. Она поставила бокал на стол.

Нет, – сказала она.

Пей! – взвизгнул он.

Нет, – сказала она тяжелым, как свинец, голосом. Минуту они смотрели в глаза друг другу; отблеск свечей играл на золотистой жидкости, не достигая их лиц и глаз.

– А, к черту все! – закричал он, вскочил, швырнул на пол, вдребезги разбив, свой бокал и выбежал из комнаты.

Она еще долго, не шевелясь, сидела за столом, потом медленно встала и дернула за шнурок звонка.

Мерным, неестественно мерным шагом она направилась к себе в комнату, открыла дверцу шкафа, достала костюм и туфли, сняла свое платье – четкими осторожными движениями, будто сама ее жизнь зависела от того, чтобы не задеть что-то вокруг или внутри себя. В ней билась одна мысль: надо уйти из этого дома, хотя бы на время, хотя бы на час, а потом, позднее, она сможет противостоять всему, чему ей предстояло противостоять.

Строчки на листках перед ней расплывались. Подняв голову, Дэгни увидела, что давно стемнело.

Она отодвинула бумагу в сторону. Зажигать свет не хотелось, она позволила себе насладиться отдыхом и темнотой. Темнота отрезала ее от города за окнами гостиной. На далеком табло календаря высвечивалась дата: пятое августа.

Прошел уже месяц и ничего не оставил после себя, кроме безжизненной пустоты. Он был заполнен неблагоприятной, беспорядочной работой от одного аврала к другому, усилиями предотвратить окончательный развал дороги. Месяц обернулся грудой разрозненных дней, и каждый день шла борьба с новым ЧП. Дни не складывались в сумму достижений, получалась

сумма нулей, того, что не случилось, сумма предотвращенных катастроф, не служение жизни, а бегство от смерти.

Временами перед ней вставал незванный образ – видение долины, он не возникал внезапно, он неприметно жил в ее душе всегда, время от времени по своему выбору приобретая зримые черты. Он всплывал на поверхность сознания, когда она, замерев, разрывалась между непреклонным решением и непроходящей болью, которую можно было приглушить, только признав и сказав: «Хорошо, пусть будет и это».

Иногда утром, проснувшись с лучами солнца на лице, она думала: надо поторопиться на рынок Хэммонда за свежими яйцами для завтрака, но, окончательно очнувшись от сна, увидев за окнами своей спальни дымку Нью-Йорка, она испытывала на сердце тоску, похожую на прикосновение смерти; реальность, которую она отвергала, вновь обступала ее. Ты это знала, сурово внушала она себе, ты знала, что тебя ждет, когда делала свой выбор. И стаскивая тело, как непослушный груз, с кровати, чтобы встретить нежеланный день, она шептала: «Хорошо, пусть будет и это».

Самой страшной пыткой становились моменты, когда она вдруг замечала на улице в людском потоке шапку золотистых волос и чувствовала, как город исчезает и устанавливается напряженная тишина, и она медлила, на долю секунды откладывая тот миг, когда бросится к нему и обнимет, но миг проходил, и перед ней возникало незнакомое, ничего не значащее лицо. Оно удалялось, а она продолжала стоять на месте, не желая сделать следующий шаг, не имея сил жить дальше. Она старалась избегать таких моментов, она запрещала себе смотреть и ходила, опустив голову, глядя только под ноги. Но это ей не удавалось, помимо воли ее глаза выхватывали из толпы каждую вспышку золота.

Она не опускала штор на окнах своего кабинета, помня о его обещании, думая только об одном: если ты следишь за мной, где бы ты ни был... На уровне ее окон поблизости не было других зданий, но она всматривалась в дальние башни, спрашивая себя, в каком окне его наблюдательный пункт, какой новый прибор из лучей и линз он изобрел для того, чтобы из какого-нибудь далекого небоскреба за несколько кварталов или за целую милю от нее фиксировать каждое ее движение. Она сидела за своим столом, не зашторив окна, и думала: «Просто чтобы знать, что ты видишь меня, даже если я никогда тебя не увижу».

Вспомнив это теперь в темноте кабинета, она вскочила и включила свет.

Потом на минуту склонила голову и горько усмехнулась над собой. Она подумала, что яркий свет ее окон во мгле бескрайнего города служит сигналом бедствия, криком о помощи или спасительным маяком, предупреждающим мир о катастрофе.

Зазвенел дверной звонок.

Отворив дверь, Дэгни увидела силуэт девушки с едва знакомым лицом. Она с изумлением узнала Шеррил Таггарт. Со времени свадьбы они почти не виделись, если не считать нескольких редких встреч в коридорах центрального офиса «Таггарт трансконтинентал».

Шеррил не улыбалась, но лицо ее было спокойно.

– Мне надо поговорить с вами, мисс Таггарт, – начала она.

– Прощу вас, входите, – пригласила Дэгни. Неестественное спокойствие Шеррил подсказало ей, что та отчаянно нуждается в помощи. Она окончательно убедилась в этом, когда рассмотрела лицо девушки в ярком свете комнаты.

– Садитесь, – сказала она, но Шеррил осталась стоять.

– Я пришла вернуть долг, – заговорила Шеррил ровным тоном; она старалась, чтобы в него не прокрались эмоции. – Я хочу извиниться за то, что наговорила вам на свадьбе. Вы не обязаны прощать меня, но пришло время мне сказать вам: я сознаю, что тогда оскорбила все, чем восхищаюсь, и защищала все, что презираю. Я понимаю, что мой приход и извинение не

исправят случившегося; мой приход сюда – большая наглость, вы не обязаны меня выслушивать; долг всегда останется неоплаченным, я могу только просить выслушать меня, позвольте мне высказать то, с чем я пришла.

Ее появление, вид и слова произвели на Дэгни сильнейшее впечатление, приятное и одновременно мучительное. Она отказывалась верить своим глазам, ее посетила поразившая ее мысль: пройти такой путь менее чем за год!.. Осознавая, что улыбка неуместна и может нарушить шаткое равновесие между ними, она ответила серьезным и внимательным тоном, словно протягивая Шеррил руку:

И все же многое можно исправить, я охотно выслушаю вас.

Я знаю, что дела компании ведете вы. Вы построили линию Джона Галта. Мы живы благодаря вашему уму и мужеству. Наверное, вы думали, что я вышла замуж за Джима ради денег – какая девчонка не польстилась бы на него? Но это не так, я вышла за него, потому что... Я думала, что он – это вы. Я думала, что компания – это он. Теперь я знаю, что он, – она колебалась, но твердо продолжала, не желая, очевидно, жалеть себя, – какой-то злобный бездельник, но какой именно и почему – не могу понять. Когда я говорила с вами на свадьбе, я думала, что защищаю величие и нападаю на его врага... но все оказалось наоборот; совсем, до ужаса наоборот!.. Вот я и пришла сказать вам, что теперь знаю правду, пришла не для того, чтобы сделать вам приятное, на это я не могу рассчитывать; нет, я пришла ради того, что любила. Дэгни медленно произнесла:

Конечно, я прощаю.

Благодарю вас, – прошептала Шеррил и повернулась, чтобы уйти.

Сядьте.

Шеррил отрицательно покачала головой:

– Это... это все, что я хотела вам сказать, мисс Таггарт. Дэгни впервые позволила улыбке коснуться глаз, сказав:

– Шеррил, меня зовут Дэгни.

Ответом Шеррил была слабая, дрожащая складка в уголке губ, так что вместе у них получилась полная улыбка, одна на двоих...

Не знаю, должна ли я...

Мы ведь сестры, правда?

Нет! Только не по линии Джима! – Крик вырвался непроизвольно.

Нет, конечно. Сестры по собственному выбору. Садись, Шеррил.

Шеррил послушно села, стараясь не показать, как рада тому, что ее приняли, стараясь не расчувствоваться, не хвататься за руку помощи.

Тебе ведь пришлось много пережить, правда?

Да... но это неважно... это мои проблемы... моя вина.

Не думаю, что это твоя вина, Шеррил.

Шеррил сначала ничего не ответила, потом вдруг сказала с отчаянием:

Послушайте, чего мне не надо, так это милостыни.

Джим, должно быть, говорил тебе, что я не занимаюсь благотворительностью, так что милостыня не по моей части.

Да, говорил, но я имею в виду, что...

Я понимаю, что ты хочешь сказать...

Все равно у вас нет оснований беспокоиться обо мне... Я пришла не для того, чтобы жаловаться и перекладывать свою ношу на чужие плечи. Мои страдания вас ни к чему не обязывают.

Да, конечно. Но ты ценишь то же, что ценю я, и это меня обязывает.

Вы хотите сказать... если вы хотите выслушать меня, то это не милостыня? Не просто сострадание?

Я очень тебе сочувствую, Шеррил, и хотела бы по мочь не потому, что ты страдаешь, а потому, что ты не заслуживаешь страданий.

Вы имеете в виду, что у вас не вызвали бы жалости нытье, слабость или дурной характер? Вы сочувствуете только тому хорошему, что есть во мне?

Конечно.

Шеррил не шевельнулась, но выглядела так, будто подняла голову выше, будто освежающий поток разглаживал ее лицо, так что на нем появилось редкое выражение, сочетающее боль с достоинством.

Шеррил, это не милостыня. Не бойся рассказать мне.

Странно... вы первая, с кем я могу говорить легко, а ведь я... я боялась обратиться к вам. Я давно хотела попросить у вас прощения... с тех пор, как узнала правду. Когда подошла к вашей двери, я остановилась и долго стояла, не решаясь войти. Я вообще не собиралась идти к вам сегодня. Я вышла из дому, только чтобы обдумать... но потом внезапно поняла, что мне надо увидеть вас, что вы – единственный человек во всем городе, к которому я могу обратиться. Мне больше ничего не осталось.

Я рада, что ты пришла.

Знаете, мисс Таг... Знаешь, Дэгни, – тихо сказала Шеррил, удивляясь сама себе, – ты совсем не такая, как я думала. Джим и его приятели говорили, что ты холодный, жесткий и бесчувственный человек.

Но так и есть, Шеррил, в том смысле, какой имеют в виду они, вот только сказали ли они тебе, что понимают под этими словами?

Нет. Они никогда ничего не уточняют. Они только насмеются надо мной, когда я спрашиваю, что они пони мают под тем или иным... да под чем угодно. Что же они имеют в виду, когда говорят о тебе?

Всегда, когда кто-то обвиняет кого-то в бесчувствии, он подразумевает, что этот человек справедлив. Он подразумевает, что этот человек не испытывает беспричинных эмоций и не приемлет в людях чувств, на которые они не имеют права. Он подразумевает, что чувствовать – то же, что идти против разума, нравственных ценностей, реальности. Он подразумевает, что... Что с тобой? – спросила она, увидев неестественное напряжение на лице Шеррил.

Это то, что я изо всех сил давно пытаюсь понять.

Обрати внимание, этим обвинением защищается не правый, а виноватый. Никогда не услышишь этого от доброго человека в адрес тех, кто поступает с ним несправедливо. Всякий раз это говорит никчемный человек о тех, кто относится к нему как к никчемному человеку, о тех, кто не испытывает никакого сочувствия к злу, которое он совершил, и к страданиям, которые он навлекает на себя в результате совершенного им зла. В этом смысле они правы – это мне не свойственно чувствовать. Но эти «чувствительные люди» не испытывают никаких чувств, сталкиваясь с величием человека в любых его проявлениях, остаются бесчувственными к людям и поступкам, которые заслуживают восхищения, одобрения, преклонения. Я же эти чувства испытываю. Либо одно, либо другое – так делятся люди. Тот, кто сочувствует виноватому, лишает сочувствия правого. Теперь спроси себя, кто же бесчувственный. Тогда ты поймешь, какой принцип противостоит благотворительности.

Какой же? – прошептала она.

Справедливость, Шеррил.

Шеррил вдруг содрогнулась и опустила голову.

– О Боже! – простонала она. – Если бы ты знала, как Джим терзал меня за то, что я верила

именно в то, что ты сейчас сказала! – Она подняла голову в новом приступе дрожи, было видно, что чувства, которые она до сих пор всячески сдерживала, прорвались наружу; в ее глазах стоял прежний ужас. – Дэгни, – шептала она, – Дэгни, я боюсь их, Джима и всех остальных, боюсь не того, что они могут сделать, если бы дело было в этом, я бы просто скрылась, меня страшит, есть ли вообще выход, страшит то, что они существуют, что они такие, как есть.

Дэгни быстро подошла к ней, села на подлокотник ее кресла и ободряющим жестом обняла девушку за плечи.

Успокойся, дитя, – сказала она, – ты ошибаешься. Никогда не надо так бояться людей. Никогда не надо бояться, что жизнь других – это отражение твоей жизни, а ты сейчас именно так думаешь.

Да, я думаю именно так, я боюсь, что с ними у меня нет никаких шансов, нет места; с такой жизнью мне не справиться... Я гоню эти мысли, не хочу думать об этом, но они меня осаждают, и я чувствую, что мне негде укрыться. Мне трудно выразить словами, что я испытываю, у меня нет ясности, и в этом часть моего ужаса: нет ничего определенного, за что можно было бы ухватиться. У меня такое ощущение, что мир вот-вот погибнет, не от взрыва – взрыв все-таки что-то жесткое и определенное, – а от какого-то чудовищного размягчения. Нет ничего твердого, устойчивого, все теряет форму и прочность, можно проткнуть пальцем каменную стену, камень поддастся, как студень, горы осядут, здания расползутся, как облака, и тогда наступит конец света, от мира останется не огонь и гарь, а одна слизь.

– Ах, Шеррил, Шеррил, бедняжка, многие философы веками порывались превратить мир именно в слизь, стремясь погубить человеческий разум тем, что заставляли людей верить, будто именно это они и видят вокруг. Но нет нужды принимать это на веру. Не надо смотреть на мир глазами других, верь своему зрению и разуму, держись своих суждений; ты же знаешь: то, что есть, и есть на деле. Повторяй это, как самую святую молитву, и пусть кто-нибудь попробует внушить тебе другое.

Но осталось только ничто. Джим и его друзья – они и есть ничто. Когда я среди них, я не знаю, на что смотрю; не знаю, что слышу, когда они говорят... Все у них нереально, они играют в какую-то страшную игру... и мне не понять, к чему они стремятся... Дэгни! Нам все время тверди ли, что человек обладает огромными возможностями по знания, несравнимо большими, чем животное, но я сейчас... я способна понимать намного меньше любого животного. Животное знает, кто его друзья, и кто враги, и когда защищать себя. Оно не боится, что друг нападет и перережет ему горло. Оно не боится, что ему вдруг скажут: любовь слепа, грабеж – достойное занятие, бандиты могут управлять государством, а стереть в порошок Хэнка Реардэна – великое дело! О Господи! Что я говорю?

Я тебя хорошо понимаю.

Как вести себя с людьми, если нет ничего постоянно го, хотя бы на час? Как можно так жить? Хорошо, вещи постоянны, но люди? Дэгни! Они – ничто и все что угодно, они не живые люди, а просто переключатели, переключатели без образа и подобия. Но мне приходится жить среди них. Можно ли это вынести?

– Шеррил, то, с чем ты борешься, – самая ужасная вещь в человеческой истории, причина всех наших бед и страданий. Ты поняла много больше, чем другие люди, которые мучаются и умирают, так и не узнав, что их погубило. Я помогу тебе понять. Это сложный вопрос, и борьба предстоит нешуточная, но прежде всего и превыше всего – не страшись.

На лице Шеррил отразилось странное, горестное стремление, будто она смотрела на Дэгни издалека, рвалась и не могла приблизиться к ней.

– Хотела бы я, чтобы у меня было желание бороться, – тихо произнесла она, – но его у меня нет. Мне больше не хочется даже победить. У меня нет сил изменить свою жизнь. Никогда не

думала, что мое замужество так обернется. Вначале, когда я стала его женой, я была полна чудеснейших грез, как будто случилось то, о чем я не смела и мечтать. А теперь мне приходится смириться с мыслью, что жизнь и люди отвратительнее самых страшных кошмаров и что мое замужество совсем не ослепительное чудо, которым я грезила, а страшное зло, меру которого мне еще предстоит узнать. Как мне смириться, если все мое существо восстает против этого? Как справиться с этим? – Она бросила быстрый взгляд на Дэгни: – Дэгни, как тебе это удалось? Как ты сумела сохранить себя?

Я твердо держалась одного правила.

Какого?

Превыше всего ставить собственное суждение.

Тебе пришлось столько вынести! Наверное, больше, чем мне, больше, чем кому-либо из нас... Что поддерживало тебя?

Сознание того, что моя жизнь есть величайшая ценность, слишком важная, чтобы отдать ее без борьбы.

Она увидела, как удивилась Шеррил, как воспоминание о чем-то знакомом отразилось на ее лице, она словно пыталась вернуть какое-то давнее ощущение.

Дэгни, – прошептала она, – как раз такое чувство было у меня в детстве, я испытывала нечто подобное; кажется, это главное, что осталось у меня в памяти от юности, это чувство. Я никогда его не теряла, оно осталось со мной, но, когда стала взрослой, я начала думать, что это чувство надо скрывать... Я не знала, как его назвать, но, когда ты заговорила об этом, сразу же подумала: вот оно!.. Дэгни, но хорошо ли так относиться к собственной жизни?

Шеррил, слушай меня внимательно: это чувство и все, что оно подразумевает, есть высшее, благороднейшее и единственное благо на земле.

Я спрашиваю потому, что сама никогда бы не решилась так думать. Из того, что я знаю о людях, у меня сложилось впечатление, что они считают такую установку греховной, и если они замечали ее у меня, то всегда как будто осуждали и хотели, чтобы я избавилась от нее.

Так и есть. Есть люди, которые хотели бы покончить с таким принципом. И когда ты поймешь их мотивы, тебе откроется самое темное, уродливое, что есть в мире. Тебе откроется главное зло этого мира. Но ты будешь вне опасности, оно уже не достигнет тебя.

Дрожащая улыбка на лице Шеррил походила на слабый огонек, цепляющийся за последние капли топлива, чтобы, вспыхнув, продлить свою жизнь.

– Впервые за многие месяцы, – прошептала она, – я чувствую, что еще не все потеряно. – Она увидела, что Дэгни наблюдает за ней с участливым вниманием, и добавила: – Со мной все будет хорошо... мне надо привыкнуть... привыкнуть к тебе и твоим идеям. Мне кажется, я поверю в них... в то, что они истинны, и в то, что Джим уже не имеет значения. – Она поднялась, но видно было, что ей хотелось продлить, удержать уверенность.

Движимая внезапным, казалось бы, беспричинным, но совершенно однозначным импульсом, Дэгни быстро сказала:

Шеррил, мне не хочется, чтобы ты сегодня возвращалась домой.

О нет! Со мной все в порядке. Я не боюсь, не так боюсь. Не боюсь возвратиться домой.

Там ничего не произошло сегодня?

Нет... ничего особенного... не хуже обычного. Про сто я многое начала понимать лучше, вот и все... Со мной все в порядке. Мне надо все обдумать, мне придется напрячься, и тогда я решу, что делать. Можно я... – Она поколебалась.

– Да?

Можно я еще приду к тебе поговорить?

Конечно.

Спасибо, я... я очень тебе благодарна.

Обещай, что придешь.

Обещаю.

Дэгни смотрела, как Шеррил шла по коридору до лифта, сначала сторбившись, потом расправив плечи; видела стройную фигурку, которая сначала пошатывалась, потом, собрав все силы, выпрямилась. Она напонила Дэгни цветок со сломанным стеблем, в котором уцелело лишь одно волокно, стремящийся исцелиться, но обреченный на гибель при первом же порыве ветра.

Через открытую дверь кабинета Джеймс Таггарт видел, как Шеррил прошла прихожую и вышла из квартиры. Тогда он громко хлопнул дверью кабинета и грузно опустился на диван. Он еще ощущал мокрое пятно от шампанского на брюках, эта неприятность воспринималась им как своего рода месть жене и всей вселенной, лишившим его желанного торжества.

Через некоторое время он поднялся, стащил с себя пиджак и швырнул его через всю комнату. Потом потянулся за сигаретой, но сломал ее и бросил в картину, висевшую над камином.

В поле его зрения попала ваза венецианского стекла, музейная ценность, вещь многовековой давности, с причудливой сеткой перекрученных голубых и золотых канавок на прозрачных стенках. Он схватил ее и ударил об стену; ваза рассыпалась на мелкие осколки стекляннм дождем, будто разбитая электрическая лампочка.

Когда-то он купил эту вазу ради удовольствия, доставляемого мыслью о знатоках-коллекционерах, которым ваза оказалась не по карману. Теперь он утер нос столетиям, на протяжении которых ею восхищались. И еще он с удовольствием подумал о миллионах нищих семейств, каждое из которых могло бы безбедно прожить целый год на деньги, уплаченные за эту вазу.

Он отшвырнул в сторону ботинки и свалился на диван, болтая ногами в воздухе.

Звук звонка заставил его вздрогнуть, звук был под стать его настроению – такой же нетерпеливый, резкий и требовательный; если бы он сейчас нажимал на кнопку чьего-нибудь звонка, то хотел бы извлечь такой же звук.

Он прислушался к шагам дворецкого, заранее предвкушая удовольствие отказать в приеме, кто бы там ни звонил.

Через минуту он услышал стук в дверь, вошел дворецкий и объявил:

К вам миссис Реардэн, сэр.

Кто?.. А-а... Хорошо, пусть войдет.

Он спустил ноги с дивана, но этим и ограничился и стал дожидаться с полуулыбкой на лице, в нем проснулось любопытство. Он решил подняться после того, как Лилиан войдет.

На ней был наряд темно-красного цвета, покрой которого имитировал дорожное платье с миниатюрным двубортным жакетом, высоко перехватывавшим талию над длинной просторной юбкой, на голове красовалась маленькая чуть сдвинутая набок шляпка с длинным пером, которое спускалось вниз, закругляясь под подбородком. Лилиан вошла резким, неровным шагом, разметав на ходу шлейф юбки и перо, так что они закрутились, один – вокруг ног, другое – вокруг шеи, как штормовые вымпелы.

Лилиан, дорогая, должен ли я быть польщен, восхищен или просто сражен этим сюрпризом?

Ах, оставь церемонии! Мне понадобилось повидать тебя, и срочно, вот и все.

Нетерпеливый тон, властный вид, с которым она уселась, на деле выдавали ее слабость; по принятым между ними неписаным правилам не полагалось вести себя требовательно, если не собираешься просить об услуге, не имея ничего предложить взамен – хотя бы угрозы.

– Почему ты ушел с приема у Гонсалеса? – спросила она с небрежной улыбкой, не вязавшейся с раздраженным тоном. – Я появилась там после ужина только для того, чтобы поймать тебя, но мне сказали, что ты не совсем здоров и отправился домой.

Он прошелся по комнате, чтобы взять сигарету, а на самом деле ради удовольствия прошлепать в носках перед элегантно разодетой гостьей.

Мне стало скучно, – ответил он.

Я не выношу их, – сказала она с легкой дрожью.

Он удивленно взглянул на нее: слова прозвучали искренне и естественно.

Я не выношу сеньора Гонсалеса и эту шлюху, которую он взял в жены. Отвратительно, что на них теперь объявлена мода, на них и их вечера. Вообще мне больше не хочется нигде появляться. Пропал стиль, нет того духа. Я уже несколько месяцев не встречала ни Больфа Юбенка, ни доктора Притчета, ни других из нашей компании. А эти новые лица, они похожи на подручных мясника. Все-таки наша братия были джентльмены.

Да, конечно, – мечтательно произнес он. – Смешно, но разница налицо. То же самое происходит и в нашей фирме: можно было общаться с Клемом Уэзерби, культурный человек, а Каффи Мейгс – тут иное дело... – Он резко оборвал себя.

Просто позор какой-то, – сказала она, будто обвиняя всех и вся. – Нет, это им с рук не сойдет.

Она не объясняла, кому и что не сойдет с рук. Он знал, что она имеет в виду. В наступившей минуте молчания они как будто потянулись друг к другу за поддержкой.

Еще через минуту он не без иронии и некоторого удовольствия констатировал, что Лилиан начинает упускать из виду признаки старения. Ей не шел темно-красный цвет; он придавал ее лицу воспаленный оттенок, который, насыщаясь тенями в неровностях кожи, разрыхлял ее то того, что она выглядела дряблой. В результате ее весело-насмешливый вид сменился на застарело-озлобленный.

Он видел, что она изучающе смотрит на него. Потом она изобразила на лице приятную улыбку – верный признак того, что сейчас скажет какую-нибудь гадость, и сказала:

– Ты плохо себя чувствуешь, Джим? Выглядишь как не проспавшийся кучер.

Он усмехнулся:

Могу себе это позволить.

Я знаю, милый. Ты ведь один из самых влиятельных людей в Нью-Йорке. – И добавила: – Бедный Нью-Йорк!

Ну-ну.

Во всяком случае надо признать, что ты способен на что угодно. Вот почему я пришла к тебе, – добавила она и весело хохотнула, чтобы несколько смягчить жесткую откровенность тона.

Ну хорошо, – спокойно и безучастно отозвался он.

Я решила, что лучше прийти к тебе и поговорить так, чем у всех на глазах.

Конечно, так благоразумнее.

Кажется, в прошлом я была тебе полезна.

В прошлом – да.

Уверена, что могу рассчитывать на тебя.

Конечно, только не звучит ли это слишком просто, не философски? Как мы можем быть нынче в чем-то уверены?

Джим, – вскинулась она, – ты должен помочь мне.

Дорогая, я в твоём распоряжении, сделаю для тебя все, – ответил он, так как их правила общения требовали отвечать на прямое заявление заведомой ложью. Лилиан теряет почву под

ногами, подумал он и порадовался, что имеет дело со слабеющим противником.

Она уже начала пренебрегать своим главным оружием – внешностью. Из прически выбилось несколько прядей; лак на ногтях, в тон платью, был густо-красного цвета, как запекшаяся кровь, но не составляло труда заметить, что в некоторых местах он потрескался и сошел; на широком фоне обнаженной в низком квадратном вырезе кожи, атласно гладкой, он заметил поблескивание крошечной булабочки, которой была подхвачена лямка сорочки.

Ты не должен этого позволять! – с воинственным пафосом заявила она, маскируя просьбу тоном приказа. – Ты этого не позволишь!

Вот как? Чего же?

Развода!

О-о! – На его лице вспыхнул живой интерес.

Ты знаешь, что он намерен развестись со мной?

Да, слышал мельком кое-что.

Процесс назначен на следующий месяц. Именно уже назначен, как я и говорю. Это встало ему в кругленькую сумму, но он купил судью, бейлифов, судебных клерков, нескольких законодателей, их сторонников и сторонников их сторонников, полдюжины чиновников – купил весь бракоразводный процесс, как частную лавочку, не оставив ни единой щелочки, куда бы я могла втиснуться и заявить обоснованный протест.

Вот как.

Ты, конечно, знаешь, на каком основании он начал процесс.

Догадываюсь.

Но ведь я сделала это в качестве услуги тебе! – В ее голосе уже проступали тревога и истерика. – Я рассказала тебе о твоей сестре, чтобы ты смог добиться дарственного сертификата в пользу своих друзей, которого...

Клянусь, я не знаю, кто проболтался... Только очень немногие люди на самом верху знали, что информация по лучена от тебя, и уверен, никто не осмелился бы упомянуть...

Я тоже уверена, что никто не упоминал мое имя. У него самого ума хватило догадаться, как ты думаешь?

Пожалуй, да. Но ведь ты знала, что рискуешь.

Я не думала, что он пойдет так далеко. Не думала, что он разведется со мной. Не думала, что...

Он прервал ее легким хохотком и сказал с удивительной прозорливостью:

– Ты не думала, что на чувстве вины долго не поиграешь, а, Лилиан?

Она изумленно взглянула на него и холодно ответила:

Я и сейчас так не думаю.

Нет, дорогая, виной не повяжешь, во всяком случае, не такого мужчину, как твой супруг.

Я не хочу, чтобы он развелся со мной! – вдруг истерично вырвалось у нее. – Не хочу, чтобы он освободился! Я этого не позволю! Не допущу, чтобы моя жизнь оказалась полным провалом! – Она резко остановилась, словно вы дала слишком много.

Он тихонько посмеивался и покачивал головой с понимающим, почти исполненным достоинства и сочувствия видом.

В конце концов, он мой муж, – беспомощно сказала она.

Да, Лилиан, конечно, я знаю.

Знаешь, что он задумал? Он хочет добиться такого решения суда, чтобы оставить меня без гроша, – никаких алиментов, никакого обеспечения – ничего! Он хочет, что бы последнее слово осталось за ним. Вот видишь? Если ему это удастся, то значит, этот дарственный сертификат обернулся против меня.

Конечно, дорогая, я все понимаю.

И кроме того... Стыдно подумать, но на что же я буду жить? По нынешним временам моих собственных денег ни на что не хватит. В основном это акции, доставшиеся мне от отца, но все те предприятия давно закрылись. Что я буду делать?

Но, Лилиан, я думал, тебя не волнуют деньги или какие-то иные материальные блага.

Ты не понимаешь! Я говорю не о деньгах, я говорю о нищете! Настоящей, вонючей, жалкой нищете! Недопустимой для культурного человека! Неужели мне... придется думать о еде, о жилье?

Он смотрел на нее с легкой улыбкой; на его обмякшем стареющем лице появилось мудрое выражение, оно даже подтянулось; он открывал для себя радость полного понимания – той реальности, которую он мог позволить себе понимать.

– Джим, ты должен мне помочь! Мой адвокат бессилен. Я истратила все свои небольшие средства на него и его помощников, на агентов и детективов, но с одним результатом: они ничего не могут для меня сделать. Сегодня днем я получила от адвоката окончательный отчет. Он прямо сказал, что у меня нет ни единого шанса. Больше, как ни ломала голову, я не нашла никого, к кому могла бы обратиться с таким делом. Я рассчитывала на Бертрама Скаддера, но... ты сам знаешь, как его дела. Кстати, именно потому, что я старалась помочь тебе. Джим, ты один можешь спасти меня. Твои связи выводят на самый верх. Ты имеешь доступ к первым лицам. Шепни своим друзьям, чтобы они шепнули своим друзьям. Достаточно будет одного слова Висли. Пусть прикажут отменить решение о разводе. Просто отменить.

Он медленно, почти сочувственно покачал головой, как утомленный профессионал, глядя на не в меру прыткого дилетанта.

– Лилиан, это невозможно, – твердо сказал он. – Я был бы рад это сделать – по тем же соображениям, что и ты, – и ты это, конечно, знаешь. Но моих возможностей явно не хватит в этом деле.

Она смотрела на него потемневшими безжизненными глазами. Когда она заговорила, губы ее искривились столь злобно и презрительно, что он осмелился признать лишь одно – это презрение относится к ним обоим. Она сказала:

– Я знаю, что ты был бы рад это сделать.

Он не имел намерения притворяться; как ни странно, впервые ему приятнее оказалось сказать правду; как ни удивительно, сказать правду иной раз тоже доставляло ему удовольствие – особого рода.

– Полагаю, ты и сама знаешь, что тут ничем не поможешь, – сказал он. – Нынче никто не оказывает услуг, не получая ничего взамен. А ставки все растут. Связи, о которых ты говорила, штука сложная, все они переплелись в клубок, ниточки от одного тянутся ко всем другим, и никто не осмелится пальцем пошевелить, боясь, как бы это ему потом не вышло боком. Там люди начинают действовать, только когда их самих подпирает, когда ставка – жизнь или смерть; только на таком уровне ставок мы нынче ввязываемся в игру. И какое этим тузам дело до твоей личной жизни? Тебе хочется удержать мужа, а им до этого какое дело? Им от этого ни холодно, ни жарко. Ну, допустим, влезу я в это дело, и что же я им предложу за то, чтобы перешерстить всю судебную мафию, дорвавшуюся до выгодного дельца? Кроме того, в данный момент ребята наверху не возьмутся за это вообще ни за какие коврижки. Им надо Держать ухо востро насчет твоего муженька, сейчас под него не подкопаешься – после того как моя сестричка взорвала бомбу на радио.

Ведь это ты упросил меня вынудить ее выступить по радио!

Да, я. Знаешь, Лилиан, в тот раз мы оба проиграли. И на сей раз мы оба опять проиграем.

Да, – сказала она, и глаза ее потемнели от презрения, – мы оба.

Презрение такого рода ему нравилось. Он испытывал странное, необъяснимое, ранее никогда не испытанное удовольствие, сознавая, что эта женщина видит его насквозь и, тем не менее, не рвет с ним связи, цепляется за него, сидит на месте, откинувшись в кресле, словно признавая свое рабство.

Ты удивительный человек, Джим, – сказала она тоном, которым проклинаят. Между тем это было признание заслуг и сказано было как таковое, так что его удовольствие проистекало из осознания, что они оба из того мира, где проклятие ценится.

А знаешь, – вдруг сказал он, – ты не права насчет подручных мясника вроде Гонсалеса. Они полезны. Тебе когда-нибудь нравился Франциско Д'Анкония?

Я его терпеть не могу.

Так вот, тебе надо знать, зачем сеньор Гонсалес пригласил нас сегодня вечером на коктейль. Чтобы отметить решение в месячный срок национализировать «Д'Анкония коппер».

Она с минуту не спускала с него глаз, сложив уголки губ в неторопливую улыбку.

– А ведь он вроде бы был твоим другом?

Она сказала это тоном, которого он ранее никогда не удостоивался, разве что добивался обманным путем. Теперь он впервые услышал его как осознанное признание реальной заслуги – им восхищались за то, что он сделал.

Внезапно его озарило – вот к чему он стремился все это время; он уже отчаялся, что так и останется без вознаграждения; вот какого признания ему не хватало.

– Давай выпьем, Лилиан, – сказал он.

Разливая ликер, он поглядывал на нее через комнату. Она лежала, расслабленно вытянувшись в кресле.

– Пусть он получит свой развод, – сказал он. – Последнее слово не за ним. Его скажут они, подручные мясника. Сеньор Гонсалес и Каффи Мейгс.

Она не ответила. Когда он подошел, она взяла свою рюмку равнодушным, автоматическим движением. Она выпила ликер, но не светски, а так, как пьет в одиночку пьяница в баре – ради самой выпивки.

Таггарт сел на валик дивана слишком близко к Лилиан и, прикладываясь к рюмке, наблюдал за ее лицом. Через минуту он спросил:

– Что он обо мне думает? Казалось, вопрос не удивил ее.

Он думает, что ты дурак, – ответила она. – Он считает, что жизнь слишком коротка, чтобы замечать твое существование.

Заметит, если... – Он замолк.

...если ты огреешь его дубинкой по голове? Не уверена. Он просто упрекнет себя в том, что вовремя не отстранился. Но все же это, пожалуй, твой единственный шанс.

Она развалилась в кресле, выпятив живот, будто отдых был неизбежно безобразен, будто она позволяла Таггарту такую степень интимности, которая не требует ни манер, ни уважения.

А я первым делом поняла, когда мы познакомились, что он не боится. Он выглядел так, будто уверен, что никто из нас ничего не может ему сделать, так уверен, что даже не замечал ни этой уверенности, ни ее предмета.

Когда ты видела его в последний раз?

Три месяца назад. Я не видела его после... после дарственного...

Я видел его на совещании промышленников две недели назад. Он остался таким же, как ты говоришь, по жалуй, выглядит еще больше в этом духе. Но теперь он осознает это. – Он добавил: – Неудачу потерпела ты, Лилиан.

Лилиан не ответила. Тыльной стороной ладони она сбросила шляпку, и та скатилась на ковер, при этом перо свернулось вопросительным знаком.

Помню, как я впервые увидела его заводы. Ты пред ставить себе не можешь, как он носился с ними. Невозможно вообразить, какое нужно интеллектуальное высокомерие, чтобы считать, что все, что имеет отношение к нему, все, чего он касается, освящено одним его прикосновением. Его заводы, его металл, его деньги, его кровать, его жена! – Она взглянула в сторону Таггарта; маленькая искорка, мелькнув на миг в ее летаргическом взгляде, тут же погасла. – Он никогда не замечал твоего существования. А мое замечал. Я пока еще миссис Реардэн, по крайней мере еще месяц.

Да... – сказал он, внезапно взглянув на нее с интересом.

Миссис Реардэн, – усмехнулась она. – Ты представить себе не можешь, что это значило для него. Ни один феодал никогда не испытывал и не требовал такого почтения к званию его жены, не считал это звание символом та кой чести. Его нерушимой, неприкосновенной, безупречной, непреклонной чести! – Она вялым жестом обвела свое рас простертое тело: – Жена Цезаря! – иронически произнесла она. – Ты помнишь, какой она должна быть? Нет, откуда тебе! Она должна быть выше подозрений.

Он смотрел сверху вниз, уставившись на нее тяжелым, невидящим взглядом бессильной ненависти, ненависти, не объектом, а внезапным символом которой она была:

Ему не нравилось, что его сплав сделали общественным достоянием, достоянием мест общего пользования, так что любой прохожий мог на него?..

Нет, не нравилось.

Язык у него начал слегка заплетаться, слова как будто отсырели от выпитого.

Не надо говорить, что ты помогла нам получить от него дарственный сертификат, оказав эту услугу мне и ни чего не получив для себя... Я-то знаю, зачем ты это сделала.

Ты это знал уже тогда.

– Конечно. Вот почему ты мне нравишься, Лилиан.

Его взгляд все время возвращался к низкому вырезу у нее на груди. Привлекала его не гладкая кожа, не видневшийся подъем груди, а потайная булавка на краю выреза.

Хотел бы я видеть его поражение, – сказал он. – Хо тел бы хоть раз слышать, как он завоет от боли.

Не придется, Джимми.

Почему он считает, что он лучше нас всех, – он и моя сестрица?

Лилиан усмехнулась.

Он встал, как будто она ударила его по щеке, направился к бару и налил себе, не предложив наполнить ее рюмку. Она говорила в пространство, мимо него:

Он замечал мое существование, хотя я не могу прокладывать для него рельсы и строить мосты во славу его сплава. Я не могу строить для него заводы, но могу их раз рушить. Я не могу производить его сплав, но могу отобрать его у него. Я не могу заставить людей упасть на колени от восхищения, но могу просто поставить их на колени.

Заткнись! – в ужасе закричал он, словно она слишком близко подошла к тому окутанному туманом тупику, который он изо всех сил старался не видеть.

Она взглянула ему в лицо:

Какой ты трус, Джим.

Почему бы тебе не выпить? – огрызнулся он, сунув свою недопитую рюмку ей ко рту, будто хотел ударить ее.

Ее пальцы вяло держали рюмку, она пила, проливая ликер на подбородок, грудь и платье.

– А, черт, ну и неряха ты, Лилиан! – сказал он, не собираясь, однако, вытаскивать платок; он просто протянул руку и вытер липкую жидкость. Пальцы его скользнули за вырез платья, накрыли ее грудь; он судорожно втянул в себя воздух, чуть не икнув. Веки почти сомкнулись,

закрывая глаза. У Лилиан от отвращения набухли губы. Когда он припал к ним, она послушно обняла его, и губы ответили ему, но не поцелуем, а просто прижавшись.

Он слегка отодвинулся, чтобы увидеть ее лицо. Улыбка обнажила ее зубы, но смотрела она мимо него, будто насмехаясь над чьим-то невидимым присутствием; улыбка ее была безжизненна, как злобный оскал, как ухмылка мертвого черепа.

Он плотнее прижал ее к себе, чтобы подавить собственную дрожь. Руки непроизвольно шарили по шелку, совершая интимные движения; она не сопротивлялась, но при этом удары крови в ее артериях при прикосновении его пальцев отдавались в нем как ехидные смешки. Оба действовали по привычной схеме, схеме, кем-то избранной и навязанной им, но исполняли ее как ненавистную пародию, которая позорила тех, кто ее сочинил.

Его душила слепая, безрассудная ярость, наполовину ужас, наполовину наслаждение – ужас от того, что он совершал действие, в котором никогда не осмеливался никому признаться; наслаждение от того, что это действие было наглым вызовом тем, кому он не осмеливался в нем признаться. Я стал самим собой! – казалось, кричало ему охватившее его неистовое безумие, какой-то своей частью все же сознававшее, что он делает, я стал наконец самим собой!

Они ничего не говорили. Они знали, что ими двигало. Между ними прозвучали только два слова:

– Миссис Реардэн, – выдавил он из себя.

Они не смотрели друг на друга, когда он потащил ее в спальню, бросил на кровать и повалился на ее тело. На их лицах застыло выражение соучастников постыдного дела, мерзкое и боязливое, гадкое и пристыженное, но наглое, как у детей, которые украдкой карябают мелом на чистой стене непристойные слова и рисунки.

Он не испытывал разочарования от того, что получил только бездушное тело, которое не сопротивлялось, но и не отвечало. Ему и не нужно было обладать женщиной. Он отнюдь не стремился совершить акт прославления жизни он лишь праздновал торжество бессилия.

Шеррил открыла дверь и тихо, почти крадучись, проскользнула внутрь, словно надеялась, что ее не увидят или она сама не увидит это место, бывшее ее домом. Воспоминание о Дэгни, о мире Дэгни поддерживало ее по дороге домой, но когда она вошла в квартиру, ей показалось, что стены сдвинулись и она попала в душную западню.

В доме стояла тишина, свет клином падал в прихожую из полуоткрытой двери. Шеррил механически потащилась было к своей комнате, но остановилась.

Полоса света вела в кабинет Джима, и там, на ковре, она увидела женскую шляпку с пером, слабо трепетавшим на сквозняке.

Она шагнула вперед. Кабинет был пуст, она увидела две рюмки, одну на столе, другую на полу, на сиденье кресла лежала дамская сумочка. Шеррил оцепенело стояла посреди комнаты, пока не услышала приглушенные голоса за дверью спальни Джима. Переговаривались два голоса, слов она не разобрала, понятна была только тональность: Джим говорил раздраженно, дама презрительно.

Потом Шеррил оказалась у себя в комнате, она торопливо запирает дверь на ключ. Она бросилась к себе, спасаясь в безотчетной панике, будто прятаться следовало ей, чтобы избежать безобразной сцены, когда они увидят, что она видела их; ее паника была естественной реакцией, вызванной смущением, жалостью, нравственной чистотой человека, который отшатывается от другого, нечаянно увидев, что тот совершает низость, которую нельзя оправдать.

Она замерла посреди комнаты, не в силах сообразить, что делать. Потом ноги ее подкосились, мягко подогнувшись под ней, и она осела на пол и осталась сидеть, сотрясаясь от дрожи, бессмысленно уставившись на ковер.

Она не чувствовала ни гнева, ни ревности, ни негодования, только ужас от того, что

приходится участвовать в бессмысленной дурной комедии. Ею владело одно – сознание, что ничто не имело смысла: ни их брак, ни его любовь к ней, ни его настойчивое желание удержать ее, ни его любовь к той, другой женщине, ни эта нелепая измена. Ничто не имело ни смысла, ни значения, и бесполезно было искать объяснение. Зло всегда казалось ей на что-то нацеленным, способом достижения какой-то цели; то, что предстало перед ней, оказалось чистым злом, злом ради зла.

Она не помнила, сколько времени просидела так, когда услышала шаги и голоса, потом звук захлопнувшейся входной двери. Она поднялась безо всякой цели, движимая только каким-то инстинктом из прошлого, словно теперь жила в вакууме, где честность более ничего не значила, но она не умела жить иначе, как по прежним правилам.

Джима она встретила в прихожей. С минуту они смотрели друг на друга, как будто не верили в реальность друг друга.

Ты когда вернулась? – выпалил он. – Ты давно дома?

Я не знаю...

Он всмотрелся в ее лицо:

Что с тобой?

Джим, я... – Она пыталась что-то сказать, потом сдалась и махнула рукой в направлении его спальни. – Джим, я знаю.

Что ты знаешь?

Ты... принимал у себя женщину.

Его первым побуждением было загнать ее в кабинет и захлопнуть дверь, словно испытывая необходимость спрятать их обоих, но от кого – он не мог сказать. В нем кипела с трудом сдерживаемая ярость, ему хотелось то ли взорваться, то ли сбежать. Из этой сумятицы чувств, как накипь, всплыла одна мысль: это ничтожество, его женушка, лишила его ощущения победы, но он не даст ей окончательно испортить его новый триумф.

– Ну принимал! – взревел он. – Так что? Что ты теперь намерена делать?

Она непонимающе смотрела на него.

– Да! Я был с женщиной! Мне так захотелось, и я так сделал! Думаешь, я испугаюсь твоих вздохов и причитаний, больших глаз и добродетельных нюней? – Он сложил пальцы в фигу. – Накось выкуси! Мне ровным счетом на плевать на твое мнение! Носись с ним, сколько душе угодно! – Его распялял вид ее побледневшего, беззащитного лица; он наслаждался ощущением, что его слова имеют силу ударов, способных обезобразить чужое лицо. – Уж не думаешь ли ты, что я побегу прятаться от стыда? Меня тошнит от того, что я должен притворяться ради твоей постной добродетели. Кто ты такая, черт тебя подери? Да никто! Я как хочу, так и поступаю, а ты будешь помалкивать и вести себя на людях как положено, как все жены. И хватит указывать, как мне себя вести в собственном доме! Дома никто не церемонится, показуха только для других. Вместо того чтобы ныть и кукситься, тебе надо поскорее повзрослеть!

Перед собой он видел не ее, а того человека, в лицо которому он хотел, но никогда не смог бы бросить поступок сегодняшнего вечера. Но она ведь всегда обожала, защищала его; в его глазах она выступала представителем того человека, он и женился на ней из-за этого, так что сейчас она оказалась как нельзя кстати, и он злобно крикнул ей:

Знаешь, кого я сегодня разложил? Догадываешься?

Нет! – воскликнула она. – Джим! Не надо! Я не хочу знать!

Ее, ее! Миссис Реардэн, жену мистера Реардэна!

Она отпрянула от него. На миг он испугался, потому что она смотрела на него так, словно увидела то, в чем он никогда не мог признаться самому себе. Она спросила безжизненным голосом, в котором неуместной ноткой звучал здравый смысл:

– Теперь ты, конечно, готов развестись? Он разразился хохотом:

– Ну и дура! Все туда же! Все хочет большой и чистой любви! Я и не подумаю разводиться, и не надеюсь, что я позволю тебе развестись со мной! С какой стати? Что особенного произошло? Знай же, дурочка, нет таких мужей, которые не спят с другими женщинами, и нет таких жен, которые не знали бы этого, просто они об этом не болтают. Я буду спать, с кем захочу, и ты можешь поступать так же, как вы все, сучки, только держи язык за зубами!

Внезапно он увидел в ее глазах новое, изумившее его выражение: ее взгляд был ясен и прям, в нем засветился жесткий, бесстрастный огонь всезнания:

Джим, если бы я была или хотела быть такой, как ты говоришь, ты бы на мне не женился.

Нет, конечно, не женился бы.

Тогда зачем ты на мне женился?

Он почувствовал, что его словно затягивает в водоворот, испытал одновременно и облегчение от того, что опасность миновала, и неодолимое желание бросить вызов этой опасности.

Потому что я подобрал тебя беспомощной, оборванной, невежественной уличной девчонкой, у которой никогда не будет шанса хоть в чем-нибудь сравняться со мной! По тому что я думал, что ты будешь любить меня! Думал, ты поймешь, что должна любить меня!

Таким, какой ты есть?

Любить, не смея спрашивать, какой я есть! Беспричинно! Не требуя, чтобы я всегда жил по совести и разуму, чтобы я всегда стоял навытяжку, как солдат на параде перед знаменем!

Ты любил меня... за никчемность?

А ты кем себя считала?

Ты любил меня за мою низость?

А что ты могла предложить, что могла дать? Но тебе не хватало смирения, чтобы оценить то, что ты имела. Я хотел быть щедрым, хотел, чтобы ты чувство вала себя как за каменной стеной, а о какой каменной стене можно говорить, если тебя любят только за твои достижения? Слишком велика конкуренция, стихия рынка, как в джунглях, всегда найдется кто-то лучше тебя! А я... я согласен был любить тебя за твои недостатки и слабости, за твое невежество, грубость манер, вульгарность привычек. Тебе не о чем было бы волноваться, не чего опасаться, нечего скрывать, ты могла оставаться собой, подлинной, вонючей, греховной, безобразной, ведь душа любого человека – помойка, но так ты могла сохранить мою любовь, и от тебя бы ничего не требовалось взамен!

Ты хотел, чтобы я... принимала твою любовь как милостыню?

А как ты собиралась ее заслужить! Ты, что же, воображала, что достойна стать моей женой, ты, жалкая бродяжка? Да я таких, как ты, бывало, покупал за кормежку! Я хотел, чтобы ты на каждом шагу, с каждой проглоченной ложкой икры понимала, что всем этим обязана мне, что ты была ничем и ничего не имела, ты и надеяться не могла сравняться, заслужить, отплатить!

Я... старалась... заслужить все.

И на кой бы ты мне сдалась, если бы ты заслужила?

Ты этого не хотел?

Какая же ты дура, черт бы тебя побрал!

Ты не хотел, чтобы я стала лучше? Не хотел, чтобы я встала на ноги? Ты считал меня гадкой и хотел, чтобы я оставалась гадкой?

Какой бы мне был от тебя прок, если бы ты все заслужила, а мне пришлось трудиться, чтобы удержать тебя? Ведь тогда ты могла бы, если бы захотела, поискать кого-нибудь на стороне.

Ты все свел к милостыне – каждому и от каждого из нас обоих? Ты хотел, чтобы мы оба

были нищими, прикованными друг к другу цепью?

Да, евангелистка чертова! Да, обожательница героев! Да, да!

Ты выбрал меня за никчемность? -Да!

Ты лжешь, Джим!

В ответ он только изумленно уставился на нее.

Те девицы, которых ты покупал за кормежку, они бы охотно продолжали продаваться, они бы схватили твою подачку и не подумали встать на ноги, но ты не захотел жениться ни на одной из них. Ты женился на мне, потому что я не принимала грубую нищету, не мирилась с ней и стремилась вырваться из нее, разве не так?

Да! – завопил он в ответ.

Тогда свет мчавшейся на нее машины ударил в цель и взорвался ярким сиянием; она закричала от этой вспышки и в ужасе отпрянула от него.

– Что с тобой? – завопил Таггарт, весь трясаясь, не осмеливаясь увидеть в ее глазах то, что увидела она.

Ее руки двигались, то ли отмахиваясь, то ли нащупывая то, что открылось ей в ярком свете. Когда она ответила, слова не точно передавали ее мысль, но других слов она не находила:

– Ты... убийца, который убивает... ради того, чтобы убивать.

Это было так близко к тому, что осталось неназванным, что, сотрясаясь от ужаса, он, как слепой, выбросил вперед руку и со всей силой ударил ее в лицо.

Падая, она ударилась о кресло, потом о пол, успев еще в падении, теряя сознание, взглянуть на него без удивления, пустым взглядом, будто реальность просто приняла тот образ, которого она ожидала. В уголке ее рта собралась грушевидная капля крови и соскользнула по щеке.

Он застыл на месте. Когда она очнулась и взглянула на него, он все еще стоял в оцепенении. Некоторое время оба смотрели друг на друга и, казалось, не осмеливались пошевелиться.

Она очнулась первой: вскочила на ноги и бросилась бежать. Она выбежала из комнаты, из квартиры; он слышал, как она выскочила в холл, не дожидаясь лифта, открыла железную дверь на лестницу и бросилась вниз. Она мчалась изо всех сил, хлопая пожарными дверями на лестничных площадках, хватаясь за перила и стены на поворотах, пока не оказалась в вестибюле и не выскочила на улицу.

Прошло время, и она, придя в себя, поняла, что бредет по замусоренному тротуару в каком-то мрачном, неосвещенном квартале. Впереди горела только лампочка у спуска в метро, напоминавшего лаз в подземелье, да светилась реклама крекеров на черной крыше прачечной. Она не помнила, как оказалась здесь. Казалось, ее сознание работало с провалами, разрывая связь событий и картин. Она только знала, что надо спастись и что спастись невозможно.

Надо бежать от Джима, думала она. Куда? – спрашивала она, оглядываясь вокруг взглядом, кричавшим, как мольба. Она бы нанялась вон в ту столовую, или в эту прачечную, или в любой из этих неприглядных магазинчиков, мимо которых проходила. Но начну я работать, думала она, и чем больше буду работать, тем больше зла буду получать от окружающих, и я перестану понимать, когда от меня ждут правды, а когда лжи, и чем строже будет моя честность, тем больше обманов мне придется терпеть от них. Она видела это раньше и терпела, дома, в своей семье, в труппах, на работе, но тогда она думала, что это все ненормальные отклонения от истины, случайное, нетипичное зло, от которого можно скрыться и которое можно забыть. Теперь она знала, что это вовсе не исключения, что таков моральный кодекс, принятый миром, жизненное кредо, всем известное, но замалчиваемое; она видела это в глазах людей, в их ухмылках, в хитрых, уклончивых, виноватых взглядах, которых никак не могла понять, и в основе этого кредо, укрытое общим молчанием, подстерегая ее в подвалах городских домов и подвалах человеческих душ, таилось нечто смертельно опасное, с чем невозможно жить.

Почему вы так поступаете со мной? – беззвучно кричала она в окружающую темноту. «Потому что ты честна и добра», – казалось, доносился ей в ответ странный смех с крыш и из канализационных люков. «Но тогда я больше не хочу быть честной и доброй». – «Нет, будешь». – «Я уже не могу, не вынесу». – «Нет, можешь».

Она содрогнулась и пошла быстрее, но впереди, в тумане, над крышами города она увидела табло светового календаря. Стояло раннее утро, и на календаре светило: шестое августа, но ей вдруг показалось, что она видит: второе сентября – крупными кровавыми буквами над городом, и она подумала: если я бы работала, боролась, поднималась вверх, если бы с каждым шагом все доставалось бы мне с большими муками, а в конце пути, чего бы я ни добилась, будь то медные копи или собственный домик, их все равно прибрал бы к рукам Джим в какой-нибудь день «второго сентября», и я лишилась бы всего в оплату за вечеринки, на которых Джим обтяпывает делишки со своими друзьями.

– Тогда ничего мне не надо! – простонала она и, круто повернувшись, бросилась бежать назад по улице. Ей почудилось, что на фоне черного неба, ухмыляясь ей в парах прачечной, возникла, сгустившись из клубящегося дыма, огромная фигура; она расплывалась, ее лицо меняло очертания, но ухмылка на нем оставалась неизменной. Она видела лицо Джима, и лицо проповедника из ее детства, и лицо работницы социальной службы из отдела кадров в «Тысяче мелочей». Ей чудилось, что лицо с ухмылкой твердит: такие, как ты, всегда останутся честными, такие, как ты, всегда будут работать, такие, как ты, всегда будут стремиться встать на ноги, так что мы в безопасности, нам ничто не угрожает, а у вас нет выбора.

Шеррил бросилась бежать. Когда она снова огляделась, она уже шла по тихой улице. Вокруг в богатых домах в застланных коврами холлах светились окна. Она заметила, что хромает, – один каблук расшатался, она сломала его, когда бежала, ничего не сознавая.

Внезапно оказавшись на широком перекрестке, она увидела вдалеке силуэты огромных небоскребов. Их башни постепенно скрывались под пеленой тумана, но свет все еще тускло пробивался сквозь него, огни печально сверкали прощальной улыбкой в разрывах тумана. Когда-то они несли ей надежду, и тогда среди окружавшей ее застойной грязи она искала в них подтверждение того, что есть и совсем другие люди. Теперь она знала, что это огромные надгробия, чудовищные обелиски в память о людях, которых погубили за то, что они их возвели. Они застыли в безмолвном крике, своими стройными, устремленными в небо силуэтами они возвещали, что у свершений одно вознаграждение – терновый венец.

Где-то в одной из этих теряющихся вдали башен, подумала Шеррил, находится Дэгни, но Дэгни – одинокий, борец, обреченный на поражение, она тоже жертва и погибнет, как все, погрузившись в туман небытия.

Идти некуда, думала она и ковыляла дальше, я не могу ни оставаться на месте, ни долго идти вперед, не могу ни трудиться, ни отдохнуть, ни сдать, ни бороться, но ведь именно этого, именно этого они и хотят от меня, только это им и нужно: чтобы я была ни живой, ни мертвой, ни мыслящей, ни безумной, чтобы я была просто визжащим от ужаса комком плоти, чтобы они могли лепить из этого комка все, что им заблагорассудится, – те, которые сами по себе бесформенны.

Она погрузилась во тьму, свернув за угол, шарахаясь и замирая при виде прохожих. Нет, думала она, не все они злые люди, многие уничтожают только самих себя, но они все разделяют убеждения Джима, и, зная это, я не могу иметь с ними дела... Если даже я заговорю с ними, они постараются проявить доброжелательность, но я-то знаю, что они считают добром, и увижу, как смерть щерится из их глазниц.

Тротуар превратился в узкую, разбитую дорожку, мусор и отбросы валялись возле покосившихся домов. За обшарпанной пивнушкой она увидела над запертой дверью освещенную

вывеску «Клуб отдыха для молодых женщин».

Ей были знакомы подобные учреждения и их хозяйки, женщины, утверждавшие, что их призвание – помогать страдальцам. Если войти, думала она, ковыляя мимо, если обратиться к ним с просьбой о помощи, они ее спросят: «В чем твой грех? Пьешь, воруешь, беременна, наркоманка?» Она ответит: «На мне нет греха, я невиновна, но я...» – «Извини, нам нет дела до страданий невиновных».

Она побежала. Потом остановилась, вновь обретая способность видеть, на углу длинной, широкой улицы. И здания, и мостовая сливались с небом; два ряда зеленых огней, подвешенных в густом воздухе, уходили в бесконечную даль, тянулись к каким-то городам, океанам, чужим странам, опоясывая землю. Зеленое сияние умиротворяло, как бесконечная тропа, манило, приглашало в желанный путь. Потом зеленые огни сменились красными, отяжелели, спустились ниже и из четких кругов превратились в расплывчатые пятна, в сигналы опасности. Она стояла и смотрела, как мимо промчался огромный грузовик, прочертивший гигантскими колесами сверкающую черную полосу на вдавленных в землю бульжниках.

Огни вновь сменились на зеленые, но Шеррил все стояла и дрожала, не в силах двинуться дальше. Вот так регулируется движение тела, подумала она. А движение души, что сделали с ним? Установили сигналы в обратном порядке: путь свободен, когда горит зловещий красный, а когда горит зеленый сигнал добродетели, давая право на движение, обещая безопасность, вы отваживаетесь идти и попадаете под колеса. Во всем мире, думала она, огни установлены в обратном порядке, и так протянулись они из страны в страну, опутывая обманом весь мир. Земля усеяна изувеченными телами; калеки не ведают, что их сокрушило и почему; они ползут, как могут, на раздавленных ногах, ощупью пробираясь сквозь мрак своих дней, и нет им ответа, кроме одного: страдание – суть жизни, а блюстители порядка на дороге, посмеиваясь, говорят им, что человек по природе не способен ходить.

В ее сознании не всплывали именно эти слова, но, будь она в силах найти их, она бы воспользовалась ими, чтобы выразить то, что творилась в ее душе и неожиданно нашло выход во внезапной вспышке гнева, – она начала в бессильной ярости колотить кулаками по фонарному столбу, по его полному железному телу, внутри которого с хриплым жужжанием и ржавым пощелкиванием работал, переключая огни, неумолимый механизм.

Она не могла разбить его своими кулачками, не могла сломать один за другим бесконечную шеренгу столбов, уходивших вдаль, исчезая из поля зрения, как не могла выбить обманную веру из душ людей, которые возникали перед ней один за другим бесконечной вереницей. Она больше не могла иметь дело с людьми, общение с ними сделалось выше ее сил. Она не могла следовать их путем. Но что она могла сказать им, если ей не хватало слов, чтобы назвать то, что она знала, если у нее не было голоса, который услышали бы люди? Что она могла им сказать? Как могла пробиться ко всем им? Где те, кто мог сказать?

В ее сознании не всплывали именно эти слова, были только удары кулаков о металл, и она внезапно заметила, что в кровь разбила фаланги пальцев о неподвижный столб. Она содрогнулась при виде крови и побрела прочь. Снова она шла, ничего не видя вокруг, с ощущением, что блуждает в лабиринте, не имеющем выхода.

Выхода нет, твердили ей остатки сознания, вбивая эту мысль в мостовую вместе со звуком шагов, выхода нет, и нет спасения, нет ориентиров, и нельзя отличить созидание от разрушения, друга от врага... Я как та собака, о которой слышала, чья-то собака в чьей-то лаборатории*, собака, которой переключили рефлексy, и она не могла различать удовольствие и боль, она видела, что глаза и уши стали обманывать ее, что пища чередуется с побоями, что она лишилась ориентиров, что ее сознание бессильно в искаженном, текучем, ненадежном мире, и она сдалась, отказалась есть и жить такой ценой в таком мире... Нет! – горело в мозгу Шеррил

единственное слово. Нет! Нет! Нет! Нет вашему миру! Нет вашему образу жизни! Даже если это «нет» – все, что от меня останется!

В самый темный час ночи в глухом переулке среди верфей и складов ее нашла сотрудница социальной службы. У служительницы милосердия было серое пальто и такое же серое лицо. И то и другое сливалось с серым цветом здешних стен. А увидела она молодую девушку в слишком изящном и дорогом для здешних мест костюме. Девушка была без шляпы, без сумочки, каблук сломан, волосы растрепаны, в углу рта кровоподтек; девушка брела, спотыкаясь, как слепая, не разбирая дороги. Переулок представлял собой лишь узкую щель между сплошными глухими стенами складских помещений; слабый, мутный свет проникал сюда сквозь холодный туман вместе с гнилым речным запахом; переулок упирался в каменный парапет, ограждавший черный зев бездонной реки, смыкавшейся с черным куполом бездонного неба.

Сотрудница подошла к девушке и сурово спросила:

– У вас несчастье?

На нее с опаской глядел один глаз, на другой упала прядь волос. Она увидела лицо дикого существа, которое забыло звук человеческой речи, но напряженно вслушивается в голос, как в отдаленное эхо, вслушивается с подозрением и надеждой.

Сотрудница схватила Шеррил за руку:

– Как не стыдно доводить себя до такого состояния... Если бы вы, девицы из богатых семей, занимались настоящим делом, вместо того чтобы потакать своим капризам и гоняться за удовольствиями, вы не шатались бы по улицам, как последние пропойцы и бродяги, в это-то время... Если бы вы перестали жить в свое удовольствие, думали не толь ко о себе, нашли бы себе какое-нибудь достойное...

Девушка вдруг дико вскрикнула, крик забился в переулке, отражаясь от стен, как в камере пыток, – вопль животного ужаса. Она вырвалась и отскочила назад, потом снова отчаянно закричала, но теперь можно было разобрать слова:

– Нет! Нет! Только не в вашем мире!

Она бросилась бежать, будто ее подхватил взрыв энергии, будто она спасала свою жизнь. Она мчалась прямо к реке; одним рывком, без единой задержки, без тени сомнения, в полном сознании, действуя ради самосохранения, она подбежала к стоящему на ее пути парапету и, не останавливаясь, перелетела через него – в бесконечность.

Глава 5 . Ревнителі общего блага

Утром второго сентября в Калифорнии лопнул медный кабель между двумя телефонными столбами вдоль полотна тихоокеанского ответвления железнодорожной магистрали «Таггарт трансконтинентал».

Еще с полуночи сеял тихий, мелкий дождик; утренняя заря так и не пришла, лишь серый свет пробивался сквозь набухшее небо. Одни дождевые капли, свисавшие с телефонных проводов, сверкали бриллиантовыми искрами на фоне студенистых облаков и свинцового мира. Однотонный унылый пейзаж разнообразили только нефтяные вышки, словно щетина проросшие на склонах холмов.

Кабель давно отслужил свой срок, время и непогода сделали свое дело. В то утро один из проводов провис под тяжестью нежных капель. Потом внизу дуги образовалась последняя, самая крупная капля; повиснув ненадолго, как хрустальная подвеска, она вобрала в себя тяжесть дождя и беззвучно, как слеза, сорвалась вниз вместе с проводом. Он лопнул и свесился к земле одновременно с падением сбегавших с него капель.

Служащие местного отделения дороги избегали смотреть друг на друга. Когда обрыв кабеля был обнаружен и об этом доложили, они писали докладные, искали причины, старательно избегая существа, истоков и масштабов проблемы, но, уходя от сути, они никого не могли обмануть, даже себя. Все знали, что медный кабель стал редкостью, дороже золота или чести; знали, что начальник отдела снабжения давно распродал со склада резервный запас кабеля неизвестным перекупщикам, которые навевались к нему по ночам, а днем оказывались вовсе не перекупщиками, а простыми гражданами, имевшими влиятельных друзей в Сакраменто и Вашингтоне. И у самого снабженца, недавно присланного в отделение дороги, имелся покровитель в Нью-Йорке, человек по имени Каффи Мейгс, о котором предпочитали не упоминать.

Они знали, что человека, который теперь отдаст распоряжение о восстановлении связи и назначит расследование причин аварии, результатом чего явится заключение, что восстановить связь невозможно, ждут крупные неприятности от неизвестных недоброжелателей, что его товарищи по работе почему-то вдруг не захотят распространяться на эту тему и будут отмалчиваться, будто воды в рот набрали, так что ему ничего не удастся выяснить и доказать, и вообще, если он будет стараться добросовестно выполнить свою работу, то вскоре потеряет ее. Нынче никто не знал, что можно, а чего нельзя; виновных не наказывали, наказывали тех, кто обвинял; подобно животным, они знали, что в случае опасности и неуверенности лучше затаиться и не обнаруживать себя никаким действием. И они бездействовали, они лишь рассуждали об отчетности в должной форме и в установленные сроки перед соответствующим начальством.

Молодой путевой обходчик вышел из здания управления дороги и по собственной инициативе направился позвонить без помех, за свой счет из телефонной будки в соседней аптеке; проигнорировав промежуточное вышестоящее начальство он позвонил прямо Дэгги Таггарт в Нью-Йорк.

Звонок застал ее в кабинете брата, где в это время проводилось экстренное совещание. Молодой обходчик сообщил только, что телефонная связь прервана, а кабеля для починки нет; больше он ничего не сказал и не объяснил, почему счел необходимым позвонить ей лично. Она тоже не стала спрашивать его, она все поняла. «Спасибо» – этим и ограничился ее ответ.

В своем кабинете в специальной папке она держала сведения о наличных запасах всех материалов первостепенной важности в каждом отделении железной дороги. Это была

картотека надвигающегося банкротства; она зарегистрировала потери; приобретения стали столь редки, что казались злорадными ухмылками изувера, бросавшего умирающей от голода жертве крошки со своего стола. Она просмотрела папку, закрыла ее, вздохнула и велела Эдди:

– Позвони в Монтану, пусть отправят свой резерв кабеля в Калифорнию. Отделение в Монтане продержится без него – еще неделю.

Когда Эдди Виллерс приготовился возражать, она добавила:

– Нефть, Эдди. Калифорния – один из последних производителей нефти в стране. Нам нельзя терять тихоокеанскую линию. – Потом она вернулась на совещание в кабинет брата.

Медный кабель? – сказал Джеймс Таггарт и как-то странно взглянул на нее, а потом перевел взгляд с ее лица на город за окном. – Еще немного, и у нас не будет никаких проблем с медью.

Почему? – спросила она, но он не ответил. За окном не было ничего особенного – солнечный день, ясное небо, тихий полдень с мягким светом на городских крышах, а над ними табло календаря – второе сентября.

Она не знала, почему Джим настоял на том, чтобы провести совещание в его кабинете, почему он настоял на том, чтобы переговорить с ней наедине, чего всегда старался избегать, и почему он все время поглядывал на часы.

– Мне кажется, дела идут не так, как надо, – сказал он. – Надо что-то предпринимать. По-видимому, мы оказались в таком положении, когда распадаются связи и на растает разброд, управление раскоординировано, стабильность утрачена. Я имею в виду, что, несмотря на то что в стране чрезвычайно высока потребность в перевозках, мы, тем не менее, теряем деньги. Мне кажется, что...

Они сидела и смотрела на старинную карту железных дорог «Таггарт трансконтинентал» на стене в его кабинете, на красные артерии на пожелтевшем теле континента. В былые времена сеть железных дорог называли кровеносной системой страны, цепочки поездов служили живым током крови, которая несла с собой расцвет и богатство каждому клочку пустыни, которого она достигала. И теперь кровь текла, но только в одном направлении: из ран, унося из тела энергию и саму жизнь. Одностороннее движение, безразлично думала Дэгни, только от производителя к потребителю.

Вот, думала она, поезд номер сто девяносто три. Шесть недель назад сто девяносто третий маршрут отправили с грузом стали, но не в Фолктон, штат Небраска, где заводы станкостроительной компании Спенсера простаивали уже две недели по причине недопоставок, хотя это был лучший из еще действующих станкостроительных концернов в стране, а в Сэнд-Крик, штат Иллинойс, где компания «Конфедерейтэд машин» захлебнулась в долгах уже год назад и теперь производила низкокачественные суррогаты, не выдерживая никакого графика. Груз был направлен туда согласно указу, в котором говорилось, что первая из компаний богата и в состоянии подождать, а вторая обанкротилась, и поэтому нельзя допустить, чтобы она рухнула, поскольку она единственный источник существования для жителей округа Сэнд-Крик, штат Иллинойс. Через две недели компания Спенсера прекратила свое существование. «Конфедерейтэд машин» тоже приказала долго жить, но спустя еще две недели.

Жители округа Сэнд-Крик, штат Иллинойс, получили пособие по безработице, но в пустых федеральных закромах для них не нашлось продовольствия, несмотря на отчаянные вопли о критическом положении, посланные, впрочем, с запозданием. Поэтому распоряжением Стабилизационного совета зерно фермеров штата Небраска, оставленное под посев будущего года, было реквизировано и маршрутом номер сто девяносто четыре несостоявшийся урожай следующего года и само будущее жителей штата Небраска были доставлены гражданам штата Иллинойс и съедены ими.

В наш просвещенный век, – заявил по радио Юджин Лоусон, – мы наконец осознали, что каждый должен радеть о ближнем и дальнем своем.

В годину испытаний, которую мы сейчас переживаем, – говорил Джеймс Таггарт, пока Дэгни рассматривала карту, – опасно, даже если к тому вынуждают обстоятельства, задерживать выдачу зарплаты и увеличивать даже на время задолженность перед отделениями дороги. Такое положение, будем надеяться, невечно, но...

Дэгни иронически рассмеялась:

Что, Джим, план координации перевозок трещит по всем швам?

Извини, что ты сказала?

Тебе причитается большой куш от доходов «Атлантик саузерн» при подведении годового баланса пула, да вот беда, никаких доходов не предвидится, и в пул ничего не поступит, правда?

– Неправда! Все дело в саботаже банкиров, это они сорвали координацию. Раньше эти ублюдки давали нам заем под залог самой дороги и не требовали больше никаких гарантий, а теперь отказывают в жалкой сотне-другой тысяч на короткий срок, чтобы мы могли выплатить зарплату. И это теперь, когда я могу им предложить в качестве гарантии всю сеть железных дорог страны благодаря пулу.

Дэгни скептически улыбнулась.

Нам больше ничего не оставалось! – патетически воскликнул он. – Виноват не план координации перевозок, а люди, которые отказываются нести свою часть общей ноши!

Джим, это все, что ты собирался сообщить мне? Если все, то я пойду. У меня есть дела.

Он взглянул на часы:

– Нет, нет! Еще не все! Крайне важно, чтобы мы обсудили положение и наметили решение, которое бы...

Она с отсутствующим видом выслушала новый ворох общих соображений, стараясь угадать его намерения. Он явно тянул время, но только ли это? Она не сомневалась, что он задерживает ее с вполне определенной целью и одновременно тянет время, потому что ему нужно ее присутствие.

У него появилась новая черта, ставшая заметной после смерти Шеррил. Вечером того дня, когда обнаружили тело Шеррил и новость о ее, как все говорили, необъяснимом самоубийстве заполнила газетные полосы, в красочных деталях рассказывавшие о последних минутах несчастной со слов очевидицы, он, задыхаясь, без предупреждения ворвался в ее квартиру.

– Я не виноват в ее смерти! – вопил он, как будто она была единственным судьей, перед которым он должен оправдаться в этом, по мнению газет, «загадочном, немотивированном уходе из жизни юной, цветущей женщины». – Моей вины в этом нет! Мне не в чем упрекнуть себя! – кричал он, а сам трясся от ужаса. И вместе с тем Дэгни поймала несколько острых взглядов, которые он бросил на нее и в которых угадывалось нечто невероятное – ликование.

– Убирайся, Джим, – только и сказала она ему.

С тех пор он никогда не заговаривал с ней о Шеррил, но стал чаще заходить в ее кабинет, останавливать ее в коридоре по пустяковым поводам, и в итоге у нее сложилось необъяснимое общее впечатление, словно он, приходя к ней в поисках поддержки и защиты от какого-то невыразимого ужаса, одновременно искал возможности заключить ее в объятия и ударить ножом в спину.

– Мне очень хочется знать твое мнение, – упорно настаивал он, когда она отстранялась от него. – Чрезвычайно важно, чтобы мы обсудили создавшееся положение и... Почему ты молчишь?

Она не оборачивалась к нему.

– Вроде бы и есть еще возможность заработать в нашем деле, но...

Она пристально взглянула на него, он отвел глаза в сторону, избегая смотреть на нее.

– Я что имею в виду: надо выработать какой-то конструктивный подход, – торопливо загудел он. – Кто-то что-то должен сделать. В годину испытаний...

Она понимала, почему он отводит взгляд, каких мыслей избегает, на что намекает, избегая прямо назвать и обсудить. Она знала, что уже нельзя придерживаться никакого расписания, обещания ничего не стоили, контракты не соблюдались, регулярные маршруты отменялись в любое время и заменялись специальными поездами, которые без всяких объяснений направляли в самом неожиданном направлении, – и все по указанию Каффи Мейгса, который один имел полномочия решать вопросы, касающиеся общественного блага и чрезвычайных ситуаций. Она знала, что закрываются заводы и фабрики, останавливаются станки и машины, консервируется оборудование из-за недопоставок сырья, топлива и материалов, разоряются фирмы и компании, склады которых забиты продукцией, потому что ее невозможно доставить потребителю. Она знала, что старые отрасли с гигантскими корпорациями, которые долгие годы последовательно и целеустремленно наращивали свою мощь, отданы на милость случая и прихоти, которых нельзя было ни прогнозировать, ни контролировать. Она знала, что лучшие из них, производства с длительным циклом и сложной инфраструктурой, давно рухнули, а те, что пока из последних сил держались на плаву, все еще отчаянно цепляясь за нормы того времени, когда существовала возможность успешно трудиться и производить, теперь вставляли в контракты с транспортниками позорный для наследников Нэта Таггарта пункт: «При наличии транспортных резервов».

Однако некоторые люди, и Дэгни знала об этом, могли раздобыть транспорт всегда, когда хотели, как по мановению волшебной палочки, по благоволению некой силы, которую не принято обсуждать. Эти люди обтяпывали свои дела с Каффи Мейгсом; у остальных они вызывали мистический ужас, так как были причастны к таинственной силе, которая сокрушала стороннего наблюдателя за один лишь грех наблюдения. Поэтому все закрывали глаза, страшась не неведения, а знания. Дэгни знала, что заключаются сделки, предмет которых является торговля «трансблатом», – этот термин все понимали, но не осмеливались определить. Она знала, что за маршрутами особого назначения стоял «трансблат», который мог снимать поезда с регулярного расписания и направлять их куда угодно, в любую точку континента, лишь бы получить волшебный штамп и подпись полномочного координатора по транспорту. Его подпись ставилась выше контракта, права собственности, закона, разума и жизни; она означала, что требовалось безотлагательно спасти «общественное благо». Именно эти люди направляли поезда на выручку урожая грейпфрутов в Аризоне, фабрики по производству кеглей во Флориде, конного завода в Кентукки, на помощь «Ассошиэйтэд стил» – компании Орена Бойла.

Эти люди, вынуждали к сделкам отчаявшихся промышленников и поставляли им транспорт, а те с готовностью шли на любые грабительские условия, лишь бы разгрузить забитые готовой продукцией склады. Те же люди, если сделка их не устраивала, скупали продукцию по дешевке, десять центов за доллар, когда фабрика прогорала и закрывалась, и спешно перебрасывали товар в откуда ни возьмись появлявшихся грузовых составах туда, где на них был спрос и где их уже ждали «бизнесмены» того же пошиба.»

Эти люди, как стервятники, кружили вокруг заводов, дожидаясь, когда погаснет последняя топка, тогда они разворовывали оборудование; они выслеживали груженые товаром вагоны на запасных путях и в тупиках и грабили их. Появился новый биологический вид – бизнесмен типа «урви – беги», который проворачивал всего одну операцию; ему не надо было что-то производить, платить кому-то зарплату, брать кредит под залог, обзаводиться недвижимостью, он не возводил цеха и не устанавливал оборудование, он ничего не создавал, но у него был ценный капитал – знакомства, связи и блат.

Этих людей в официальных выступлениях называли «прогрессивными бизнесменами нашего динамичного века», а народ окрестил блатмейстерами. Этот вид разделялся на множество подвигов, представлявших транспортный блат, стальной блат, нефтяной блат, сельскохозяйственный блат, профсоюзный и судебный блат. Они росли, как поганки, эти «динамичные новые американцы»; они сновали по всей стране, тогда как другие не имели такой возможности, они были деятельны и беспринципны, энергичны и неразборчивы, но своей деятельностью и энергичностью они смахивали на стервятников, питающихся падалью.

Дэгни знала, кто и как наживается на «транслате». Каффи Мейгс продавал все, что только мог продать без риска быть схваченным за руку, – подвижной состав и локомотивы, поезда и маршруты, оборудование и материалы. Ловко маскируясь, он продавал рельсы в Гватемалу, где строили железную дорогу, и в Канаду, где прокладывали трамвайные пути; он продал медный провод на фабрику музыкальных автоматов, а шпалы – зимнему санаторию на дрова.

Какая разница, думала Дэгни, глядя на карту, разные виды червей предпочитают разные части трупа и принимаются за дело каждый в своей очередности – сначала одни, потом другие. Результат один: от живой плоти остается лишь бездушный скелет, остальным набили свою утробу черви. Можно ли разделить зло, причиненное людям доброхотами, и зло, совершенное явными злодеями? Можно ли четко разграничить случаи хищений, к которым преступников подтолкнули проповедники милосердия, и те, на которые их навел пример несправедливо разбогатевших? Стоит ли усматривать разницу между случаями, когда обрекают на голод одних, чтобы лишнюю неделю прокормить, а потом все равно обречь на смерть других, и случаями, когда воры просто добывают себе денег на новые яхты?

Велика ли разница? Одно сходно с другим по природе и духу; и те и другие ощущали потребность и сочли, что потребность дает право на собственность; и в том, и в другом случае действовали в строжайшем соответствии с одним и тем же моральным кодексом. В обоих случаях допускалось – и достигалось – истребление человека. Невозможно было отличить людоедов от их жертв. Городки, в которых как должное принимали одежду и топливо, отобранные у их соседей на востоке, через неделю оказывались без зерна, отобранного у них, чтобы накормить западных соседей. Так осуществлялась и доводилась до совершенства вековая мечта: люди стали служить потребности как верховному правителю, считаться в первую очередь с ней, видеть в ней критерий ценности, всеобщую, изначальную, универсальную меру, более священную, чем право на жизнь.

Людей загнали в клетку, где каждый кричал, что человек человеку – друг, товарищ и брат, что каждый должен радеть ближнему и опекать его, а между тем каждый пожирал соседа и сам становился жертвой если не своего соседа, то его брата; каждый провозглашал право незаслуженно пользоваться чужим трудом и удивлялся, что кто-то сдирает шкуру с него самого; каждый пожирал сам себя и в ужасе вопил, что какая-то непостижимая злая сила губит мир.

«На что же им теперь жаловаться? – звучал в памяти Дэгни голос Хью Экстона. – На то, что вселенная иррациональна? Но иррациональна ли она?»

Она сидела и смотрела на карту бесстрастным и серьезным взглядом, как будто, когда видишь несокрушимую силу логики, невозможны никакие чувства, кроме уважения. В хаосе гибнущего материка она видела математически точное воплощение идей, которые разделяли люди. Сначала они отказывались понять, что именно этого и хотели, им не хотелось видеть, что в их силах желать, но не в их силах исказить реальность, и они в точности осуществили свои желания, до последней буквы, до последней окровавленной запятой.

О чем они думают сейчас, ревнители потребности и сострадания? – думала она. На что рассчитывают? Те, кто в свое время гундосил: «Я не хочу уничтожать богатых, я только хочу отнять у них избыток, чтобы помочь бедным, совсем немного, они и не заметят!» Позднее они

требовали: «Магнатов надо хорошенько прижать, ничего с ними не делается, они награбили столько, что им хватит на три поколения». Затем они яростно ревели: «Почему мы должны голодать, когда у богачей запасов на целый год?» А теперь они уже вопят: «Почему мы должны умирать от голода, когда у некоторых запасов на целую неделю?» На что они рассчитывают? – спрашивала себя Дэгни.

– Ты должна что-нибудь сделать! – завопил Джеймс Таггарт.

Она резко повернулась к нему:

Я?

Это твое дело, твоя обязанность, твой долг!

Что именно?

Действовать... что-то делать.

Что именно?

Откуда я знаю? Это по твоей части. Ты деловой чело век.

Она взглянула на него. Последнее его утверждение было до странности точным, но неуместным, почти бессмысленным. Она поднялась.

Это все, Джим?

Нет! Нет! Надо обсудить!

Начинай.

Но ты же ничего не сказала.

Ты тоже.

Но... я хочу сказать, надо решить практические задачи, которые... Например, что случилось с той партией рель сов, которую мы отправили в Питтсбург и которая там исчезла со склада?

Каффи Мейгс украл их и продал.

Ты можешь это доказать? – мгновенно оцетинился он.

Разве заботами твоих друзей еще остались какие-то средства, методы, правила и орудия доказательства?

Тогда нечего и заявлять, все это только предположения, а нужно иметь дело с фактами. Мы должны оперировать фактами сегодняшнего дня... Я хочу сказать, надо быть реалистами и найти практические средства защиты наших поставок в существующих условиях, исходя из реальных фактов, а не предположений, которые...

Она рассмеялась. Вот форма, которую принимает бесформенное, подумала она, вот метод его аморфного сознания: он хочет, чтобы она защитила его от Каффи Мейгса, как будто того и не существовало, бороться со злом, не признавая его реальности, одолеть его, не мешая ему играть в свои игры.

Что это тебя так развеселило? – сердито буркнул он.

Ты знаешь что.

Не пойму, что с тобой! Не пойму, что с тобой про изошло... за последние два месяца, после того как ты вернулась... С тобой стало невозможно работать!

Отчего же, Джим? Последние два месяца я с тобой не спорю.

Вот именно! – Он спохватился, но слишком поздно, она уже насмешливо улыбалась. – В общем, мне хотелось посоветоваться, хотелось узнать, что ты думаешь о ситуации...

Ты знаешь, что я о ней думаю.

Но ты и слова не вымолвила!

Все что надо я сказала три года назад. Я говорила тебе, куда приведет твой курс. Так и случилось.

Ну, опять ты за свое! Какой прок от теоретизирования? Сейчас есть сейчас, а не три года назад. Мы имеем дело с настоящим, а не с прошлым. Может быть, дела обстояли бы иначе, если

бы мы прислушались к твоему мнению, может быть, но дело в том, что оно не было принято во внимание, а теперь нам надо разобраться с тем, что есть, с реальностью нынешнего момента. С тем, что есть сегодня!

Хорошо, разбирайся.

Что ты сказала?

Разбирайся с тем, что есть. Я буду просто выполнять твои распоряжения.

Это нечестно! Мне нужно, чтобы ты высказала свое мнение...

– Тебе нужно, чтобы я тебя успокоила, Джим. Так вот – этого ты не получишь.

Что ты говоришь?

Я не стану помогать тебе притворяться, споря с то бой, притворяться, что реальность, о которой ты рассуждаешь, совсем не такова, как есть, что еще можно найти выход из положения и спасти свою шкуру, оставив все, как есть. Выхода нет.

Ну, ты... – Взрыва не последовало, никакой вспышки гнева, прозвучало только легкое сомнение человека, стоящего на пороге отречения. – И что же, по-твоему, я должен сделать?

Бросить все. – Он непонимающе смотрел на нее. – И ты, и все вы, и ваши друзья в Вашингтоне, и все глашатаи планирования, вашей философии людоедов, – бросьте все. Бросьте, уйдите с дороги и позвольте тем из нас, кто может, начать все сызнова, с нуля, с руин.

Нет! – Странно, но взрыв наконец последовал; вопль человека, который скорее умрет, чем откажется от своей идеи. И это вопил человек, который всю жизнь чурался идей и действовал подобно преступнику, по логике момента.

Она спросила себя, понимала ли до сих пор истинную сущность преступника. Ей было интересно, какова природа верности идее отрицания идей.

– Нет! – Он продолжал кричать, но уже тише, голосом хриплым и более спокойным, переходя с тона страстного борца за идею на тон не терпящего возражений руководителя. – Это невозможно! Об этом не может быть и речи!

Кто так сказал?

Неважно. Это так. Почему ты вечно носишься с не осуществимыми идеями? Почему ты не принимаешь реальность такой, какая она есть, и не сделаешь что-то исходя из этого? Ты ведь реалист, деловой человек, как Нэт Таггарт, меняешь мир, производишь вещи; ты человек, способный добиться любой поставленной цели! Ты могла бы сейчас спасти нас, могла бы найти решение, выход... если бы захотела.

Она расхохоталась.

Вот она, думала Дэгни, конечная цель всей этой пустой ученой болтовни, которую долго игнорировали деловые люди, цель всех этих заезженных формулировок, небрежных обобщений, аморфных абстракций, в один голос твердящих, что подчинение объективной реальности – то же самое, что подчинение государству, что нет разницы между законом природы и указом чиновника, что голодный человек несвободен, что его надо освободить от диктата пищи, крова и одежды, – и так долгие годы, чтобы наступил такой день, когда Нэту Таггарту, реалисту, велят считаться с волей Каффи Мейгса как с явлением природы, непреложным и абсолютным, подобно стали, рельсам и всемирному тяготению, велят признать мир, сотворенный Мейгсом, как объективную неизменную реальность и продолжить создавать изобилие в таком мире.

Вот она, цель всего этого жулья из библиотек и университетских аудиторий, которое торгует, выдавая свои откровения за разум, инстинкты – за науку, побуждения – за знание; цель всех идолопоклонников необъективного, неабсолютного, относительного, приблизительного, вероятного; Цель всех диких фанатиков, которые, видя, как крестьянин собирает урожай, способны считать этот факт мистическим феноменом, свободным от закона причин и следствий и сотворенным всемогущей прихотью крестьян. Однако вслед за тем эти фанатики хватают

крестьянина, заковывают его в цепи, лишают орудий труда, семян, воды, земли, загоняют на голые скалы и приказывают:

– А теперь выращивай урожай и корми нас!

Нет, думала Дэгни, ожидая, что Джим спросит, над чем она смеется, бесполезно объяснять, все равно он не поймет.

Но он не спросил. Вместо этого, увидела она, он съежился и осел в кресле, и она услышала, как он произносит до ужаса невероятные слова – неуместные, если он не понимал, о чем говорит, и совершенно чудовищные, если понимал:

– Дэгни, я твой брат...

Она выпрямилась и напряглась, будто под револьверным дулом убийцы.

– Дэгни, – говорил он тихим, гнусавым, монотонным, притворно униженным голосом попрошайки, – я хочу быть президентом компании, хочу управлять железной дорогой. Я этого хочу. Почему у меня не может быть своих желаний, как у тебя? Почему мои мечты не должны осуществиться, как всегда осуществляются твои? Почему ты должна быть счастлива, когда я страдаю? Ну конечно, этот мир принадлежит тебе, ты обладаешь даром руководить им. Но почему ты позволяешь, чтобы в твоём мире нашлось место страданию? Ты зовешь на поиски счастья, а меня обрекаешь на уныние. Разве у меня нет права требовать такого счастья, какое я хочу? Разве у тебя нет такого долга передо мной? Разве я не твой брат?

Он шарил глазами по ее лицу, как хищник в поисках добычи, только его целью было отыскать хотя бы намек на жалость. Нашел он лишь отвращение.

– Я страдаю за твои грехи! Из-за твоей нравственной неполноценности. Ведь я твой брат, и поэтому ты несешь ответственность за меня, и если ты не смогла обеспечить мне то, что мне нужно, это твоя вина! Все духовные вожди человечества веками провозглашали это. Кто ты такая, чтобы утверждать иное? Ты так гордишься собой, считаешь себя чистой и доброй, но ты не можешь быть доброй, пока мне плохо. Мое страдание – мера твоего греха. Мое удовлетворение – мера твоей добродетели. Мне нужен такой мир, как сейчас, он дает мне авторитет, позволяет чувствовать себя значительным. Сделай же так, чтобы он работал на меня! Сделай что-нибудь! Откуда мне знать, что надо сделать? Это твое дело и твой долг! Твое преимущество в силе, мое право в слабости! Это абсолютный нравственный закон! Разве ты не знаешь? Не знаешь? Не знаешь?

Его взгляд напоминал теперь руки человека, висящего над пропастью и отчаянно цепляющегося за мельчайшие выступы сомнения, но не способного удержаться на зеркально гладкой скале ее лица.

– Ты ублюдок, – произнесла она ровным голосом без всяких эмоций, поскольку эти слова не адресовались человеческому существу.

Ей показалось, что она видит, как он падает в пропасть, хотя на его лице ничего нельзя было рассмотреть, кроме выражения, какое бывает у ловкача, чей трюк не сработал.

Нет причин для большего отвращения, чем обычно, думала Дэгни, он просто говорил ей то, что им проповедовали, что они слышали и во что поверили; но их учение обычно излагалось от третьего лица, а Джим нагло и открыто объявил его от первого. Она подумала: а способны ли люди принять учение о жертвенности, если те, кому ее внушают, не вполне представляют себе характер своих притязаний и действий?

Она повернулась, намереваясь уйти.

– Нет! Нет! Подожди! – закричал он, вскакивая с места и бросая взгляд на часы. – Уже пора! Я хочу, чтобы ты послушала новости.

Она остановилась, удерживаемая любопытством.

Не спуская глаз с ее лица, напряженно, открыто, почти нагло вглядываясь в него, он

включил радиоприемник. На лице его странным образом смешались страх и плотоядное предвкушение.

Дамы и господа! – прорезался вдруг четкий голос диктора, в нем звучала паника. – Передаем новости об ошеломляющем развитии событий в Сантьяго, Чили!

Она видела, как Джим дернулся, как нахмурилось и застыло в тревожном напряжении его лицо: слова и тон диктора, видимо, не соответствовали тому, чего он ожидал.

– Сегодня в десять часов утра состоялась чрезвычайная сессия законодательного собрания Народной Республики Чили с тем, чтобы принять закон исключительной важности для народов Чили, Аргентины и других народных государств Южной Америки. В духе просвещенной политики, проводимой сеньором Рамиресом, новым главой Республики Чили, который пришел к власти под высоконравственным лозунгом «Человек человеку – друг, товарищ и брат», законодатели намеревались национализировать чилийскую долю собственности компании «Д'Анкония коппер», тем самым открывая возможность Народной Республике Аргентина национализировать оставшуюся часть собственности этой компании. Об этом, однако, знал узкий круг высокопоставленных лиц в обоих государствах. Эта мера держалась в секрете, чтобы избежать споров и противодействия со стороны реакционеров. Национализация многомиллиардной «Д'Анкония коппер» готовилась как великолепный сюрприз для граждан страны.

С десятым ударом часов, в тот самый момент, когда председатель Законодательного собрания открыл сессию ударом молотка, страшный взрыв потряс здание, так что стекла в нем разлетелись вдребезги. Взрыв произошел рядом, в порту, всего в нескольких кварталах от здания Законодательного собрания. Когда депутаты, придя в себя, бросились к окнам, они увидели огромный столб пламени на том месте, где прежде поднимался знакомый силуэт доков и складов «Д'Анкония коппер». Хранилище руды разнесло в щепки.

Председательствующий успокоил депутатов и призвал их продолжить работу. Был зачитан акт о национализации – под звуки пожарных сирен и тревожные возгласы. Утро стояло серое, небо покрывали плотные дождевые облака, взрыв повредил трансформаторы, подача электроэнергии прекратилась, сессия голосовала при свечах и от света пожаров, которые красными тенями металась под куполом над головами депутатов.

Но еще более ужасный удар ждал их позже, когда был поспешно объявлен перерыв, чтобы известить народ и страну, что отныне они стали владельцами «Д'Анкония коппер». Пока депутаты голосовали, из ближних и дальних уголков земного шара пришли известия, что «Д'Анкония коппер» больше не существует. Да, дамы и господа, компании больше нет. В тот самый момент, когда часы проббили десять, синхронно, с демонической точностью по всему миру была взорвана и сметена с лица земли вся собственность, все предприятия компании «Д'Анкония коппер» – от Чили до Сиама, от Испании до Порттсвилла в штате Монтана.

Ранее, в девять часов утра, повсюду рабочие и служащие компании получили последнее жалование наличными, а к девяти тридцати они очистили территорию. Склады руды, плавильни, лаборатории, административные помещения – уничтожили все. Ничего не осталось от речного и морского транспорта компании ни в портах, ни в море – только спасательные лодки с экипажами судов. Что же касается копей и шахт, то одни погребены под глыбами взорванных скал, а другие, как выяснилось, ничего не стоят. Как свидетельствуют получаемые сообщения, поразительно большое число шахт и копей продолжали эксплуатироваться, хотя иссякли много лет назад.

Среди тысяч работников компании полиции не удалось найти никого, кто мог бы пролить свет на то, как этот чудовищный заговор возник, организован и осуществлен. Но сливки персонала компании оказались вне досягаемости. Самые компетентные из служащих,

специалисты: геологи, инженеры и техники – исчезли, исчезли все, на кого народное государство рассчитывало в деле перестройки и продолжения производства и добычи. Ушли самые толковые... простите, самые эгоистичные. Сообщения из разных банков свидетельствуют, что на счетах компании ничего не осталось: снято все до последнего цента.

Дамы и господа, богатство Д'Анкония, величайшее в веках, легендарное состояние перестало существовать. Народным республикам Чили и Аргентина досталась не золотая заря процветания, а груды мусора и толпы безработных.

Нет никаких сведений о судьбе и местонахождении сеньора Франциско Д'Анкония. Он исчез, не оставив ничего, даже прощального письма.

«Благодарю тебя, мой дорогой, благодарю тебя от имени последнего из нас, даже если ты этого и не услышишь, даже если это тебе безразлично...» – это не было произнесено, это звучало безмолвное моление в ее душе, и адресовано оно было юноше со смеющимся лицом, которого она знала в шестнадцать лет.

Она заметила, что прильнула к радиоприемнику, словно слабое биение радиоволн в нем обеспечивало связь с живыми силами земли, частицу которых оно излучало, наполняя ими на короткое время комнату, где все умерло.

Как отдельные отголоски страшного взрыва, до нее донеслись звуки, которые издавал Джим, – полустоны, полукрики, полурычание. Потом она увидела, как сотрясаются его плечи над телефоном, и услышала, как он вопит искаженным голосом:

– Но ты, Родриго, утверждал, что дело абсолютно надежное! Знаешь, сколько я в него всади? – Раздался звонок другого телефона на его столе, и он стал кричать в другую трубку, держа в руке первую: – Заткни свою пасть, Орен! Что тебе делать! А мне какое дело, черт бы тебя по брал!

В кабинет ворвались люди, и Джим, то умоляя, то проклиная, кричал в трубку:

– Соедините меня с Сантьяго!.. Соедините через Вашингтон!

Где-то на периферии сознания Дэгни представляла себе, в какую игру играли и проигрывали люди у этих раскаленных телефонов. Они казались ей такими далекими, что представлялись крошечными запятыми под линзами микроскопа. Странно, что они ожидали, что их будут принимать всерьез, когда на земле существует Франциско Д'Анкония.

Отблеск этого взрыва она видела на лице каждого, кого встречала в этот день, на лицах всех, кто попадался ей навстречу в тот вечер на темных улицах. Если Франциско был нужен грандиозный погребальный костер в память «Д'Анкония коппер», думала она, то он добился своего. Он горел и здесь, на улицах Нью-Йорка, единственного города на земле, еще способного понять, что произошло, – на лицах людей, в приглушенных голосах, в перешептываниях, напоминающих потрескивание маленьких язычков большого пламени. Лица светились и торжеством, и отчаянием; пламя было зыбким, на лицах плясали колеблющиеся тени, казалось, отброшенные пламенем далекого пожара. Кто-то был напуган, кто-то возбужден и сердит, большинство были встревожены, чего-то ждали, не зная, чего можно ожидать, но все понимали, что случилось нечто гораздо более серьезное, чем производственная катастрофа. Все понимали, что это значит, но не хотели ни признаться, ни выразить это словами. Все принимали случившееся с долей юмора, с иронией и вызовом, с горьким смехом обреченных жертв, чувствующих, что они отомщены.

Это она увидела и на лице Хэнка Реардэна, с которым встретила в этот вечер за обедом. Когда он шел ей навстречу, высокий и уверенный, единственный человек, который, казалось, чувствовал себя как дома среди дорогого убранства знаменитого ресторана, она видела, как сквозь суровость его мужественного лица пробивался живой интерес, энтузиазм юноши, открытого очарованию неизведанного. Он не говорил о событии дня, но она знала, что оно не

переставало занимать его.

Они встречались всякий раз, когда он приезжал в город, проводя вместе эти короткие, редкие вечера. Общее прошлое все еще жило в их сердцах, и оба признавали это. Оба не видели будущего в своей работе и общей борьбе, но им придавало сил сознание, что они союзники, их поддерживал факт существования друг друга.

Он не хотел упоминать о сегодняшнем событии, не хотел говорить о Франциско, но, когда они уселись за стол, она заметила, что еле сдерживаемая улыбка все время порывалась раздвинуть мышцы его худого лица. Она понимала, что он имел в виду, когда он вдруг тихо и как бы невзначай, но тоном явного восхищения произнес:

Он-таки сдержал свою клятву.

Клятву? – изумилась Дэгни, вспомнив о надписи на электростанции Атлантиды.

Он сказал мне: «Клянусь женщиной, которую я люблю, что я ваш друг». И он им был.

И есть.

Реардэн покачал головой:

Я не имею права думать о нем. Не имею права принять то, что он сделал, как акт в мою защиту. И все же... – Он замолчал.

Но так и есть, Хэнк. В защиту нас всех, и тебя прежде всего.

Он посмотрел в сторону, на город. Они сидели рядом с огромным стеклом, ограждавшим их от безграничного пространства и улиц, отделенных от них шестьюдесятью этажами. Город казался поразительно далеким, он расстился вдаль крышами низкорослых домов. На расстоянии нескольких кварталов на погруженной в темноту башне, на одном уровне с ними висело светящееся табло календаря, отсюда оно выглядело не маленьким, внушающим тревогу прямоугольником, а громадным, придвинутым к ним экраном, залитым мертвенно-белым ярким светом, проступившим через пустой фон огненными знаками: второе сентября.

– Мое производство работает на полную мощность, – сказал Реардэн безразличным тоном. – Они сняли с моих заводов ограничительные квоты – на ближайшие пять минут, по-видимому. Не знаю точно, какие из своих постановлений они временно отменили, да вряд ли они и сами это знают, теперь законность мало кого заботит. Уверен, я нарушаю нынешние законы не менее чем по пяти-шести пунктам, но никто не может этого ни доказать, ни опровергнуть. Что я точно знаю, так это то, что нынешний главный бандит велел мне развести пары на полную мощность. – Он пожал плечами. – Когда его завтра вышибет другой громила, меня, возможно, прикроют за незаконные действия. Но в соответствии с планированием экономики на данный временной интервал меня нижайше попросили выдавать мой металл в любом количестве и любым удобным мне способом.

Она обратила внимание, что время от времени на них исподтишка бросают любопытные взгляды. Она замечала это и раньше, со времени своего выступления по радио, с тех пор как они стали открыто появляться вдвоем на людях. Вместо осуждения, которого он опасался, в поведении людей чувствовалась какая-то неуверенность, неуверенность в собственных моральных принципах и трепет перед этими двоими, которые осмеливаются не сомневаться в своем праве. Люди смотрели на них с тревожным любопытством, завистью, уважением и опасением нарушить некое неведомое, но жесткое, безоговорочное правило. Некоторые смотрели, почти извиняясь и словно говоря: «Пожалуйста, простите нас за то, что мы женаты». Но находились и такие, кто смотрел на них не просто сердито, а злобно. Некоторые же открыто восхищались.

Дэгни, – вдруг спросил он, – как ты думаешь, он в Нью-Йорке?

Нет, я звонила в отель «Вэйн-Фолкленд». Мне сказа ли, что бронь на его люкс кончилась месяц назад и он ее не возобновлял.

Его ищут по всему свету, – улыбаясь, сказал он. – Но им никогда не найти его. – Улыбка исчезла с его лица. – Мне тоже. – Он снова перешел на ровный, бес страстный, деловой тон: – Так вот, заводы работают, а я нет. Я только и делаю, что мечусь по всей стране, как гон чая, отыскивая, где можно незаконным путем достать сырье. Лгу, упрашиваю – все что угодно, лишь бы раздобыть несколько тонн руды, угля, меди. Они не сняли ограничений на нужное мне сырье. Им известно, что я даю больше металла, чем позволяют выделенные мне квоты. Но им все равно. – Он добавил: – Они думают, что мне не все равно.

Устал, Хэнк?

Надоело до смерти.

А когда-то, подумала она, его ум, энергия, неисчерпаемая предприимчивость были отданы делу подчинения природных сил и ресурсов интересам лучшего будущего для людей; теперь же их переключили на преступные действия. Сколько же можно терпеть такую перемену?

– Становится почти невозможно достать железную руду, – равнодушно сообщил он, потом, вдруг оживившись, добавил: – А теперь будет невозможно достать медь. – Он ухмыльнулся.

Интересно, подумала она, как долго сможет человек работать вопреки себе, работать, несмотря на то что в глубине души желает не успеха, а провала.

Она поняла ход его мысли, когда он сказал:

Я не рассказывал тебе, что видел Рагнара Даннешильда?

Он сам мне сказал.

Что ты говоришь? Где ты его могла... – Он остановился. – Ну конечно... – Голос его напрягся и на минуту прервался. – Он наверняка один из них. Ты не могла не встретить его. Дэгни, что они собой представляют, эти люди, которые... Нет, не отвечай мне. – Немного погодя он добавил: – Значит, я встречался с одним из их представителей.

– Ты встречался с двумя. Ответом ей была долгая пауза.

Конечно, – сказал он наконец потускневшим голо сом. – Мне надо было догадаться... Просто я не хотел признаться себе, что понимаю... Так он был их вербовщиком?

Одним из самых первых и лучших.

Он цокнул языком, в этом звуке выразились горечь и тоска по несбывшемуся.

– В ту ночь... когда они заполучили Кена Денеггера... Я не думал, что они кого-то прислали за мной...

Усилие, которое потребовалось ему, чтобы вернуть лицу спокойное, строгое выражение, походило на медленный поворот ключа в тугом замке, которым он запирает недоступную для него залитую солнцем комнату. Спустя минуту он сказал бесстрастным тоном:

– Дэгни, насчет партии рельсов, о которой мы говорили в прошлом месяце... боюсь, я не смогу поставить ее. Ограничения на поставки остаются в силе; они контролируют объем того, что я могу продать, и по своему усмотрению распоряжаются поставками моей продукции. Но учет так запущен, что мне удастся каждую неделю пускать на черный рынок по несколько тысяч тонн металла. Думаю, им об этом известно, но они притворяются, что не знают. Пока им не хочется противодействовать мне. Но, видишь ли, каждую лишнюю тонну, которой мне удастся распорядиться, я отправляю тем заказчикам, которые оказались в критическом положении. В прошлом месяце, Дэгни, я побывал в Миннесоте. Я видел, что там делается. В стране будет голод – не в будущем году, а этой зимой, если только кто-то из нас не вмешается быстро и энергично. Запасы зерна повсюду исчерпаны. Сброшены со счетов или еле-еле сами сводят концы с концами Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Канзас. В этом году Нью-Йорк и все города на востоке страны не получат поставок пшеницы, в других районах положение не лучше.

Миннесота – наша последняя житница. Два года подряд там был недород, но этой осенью урожай обещает быть исключительным. Надо, чтобы его смогли убрать. Ты интересовалась, в

каком состоянии производство сельскохозяйственной техники. Предприятия там недостаточно велики, чтобы содержать штат толкачей в Вашингтоне или давать крупные взятки. Поэтому поставки в эту отрасль урезаны до предела. Две трети заводов, производящих сельхозтехнику, уже закрылись, остальные дышат на ладан. В результате фермерские хозяйства гибнут по всей стране – из-за нехватки техники. Надо видеть фермеров Миннесоты. Они не столько пашут, сколько пытаются наладить старенькие трактора, которые давным-давно отжили свой век, так что им уже никакой ремонт не поможет. Не знаю, как им удалось пережить эту весну, как удалось отсеяться. Но они выжили и отсеялись. – Он смотрел сосредоточенным взглядом, как будто перед ним встала редкая, забытая картина – образ настоящих людей, и Дэгни понимала, какой мотив все еще привязывал его к работе. – Дэгни, они должны получить технику к жатве. Весь металл, который я в состоянии украсть у самого себя, я продаю производителям сельхозтехники. В кредит. А они направляют ее в Миннесоту, едва она выходит из цехов. В Миннесоте ее получают таким же образом – нелегально и в кредит. Но есть вероятность, что осенью мы вернем свои деньги. Это не благотворительность! Мы помогаем производителям – тем, что бьются до последнего! – а не каким-то паршивым, вечно клянчащим нахлебникам. Мы даем займы, а не милостыню. Мы поддерживаем кормильцев, а не нахлебников. Я не могу безучастно смотреть, как губят настоящих людей – опору нации, в то время как наживаются рвачи.

Перед его глазами встала картина, которую он видел в Миннесоте: силуэт заброшенной фабрики; свет заката беспрепятственно струился сквозь разбитые стекла и дыры в крыше, падая на покосившуюся вывеску – «Завод сельскохозяйственных машин Уорда».

Я, конечно, понимаю, – сказал он, – на этот раз мы их спасем, но на следующий год бандиты их доконают. И все же этой зимой мы не дадим им погибнуть... Вот почему, Дэгни, мне никак не удастся добыть для тебя партию рельсов. По крайней мере, в ближайшем будущем, а нам теперь ничего не осталось, кроме ближайшего будущего. Не знаю, какой смысл производить продовольствие, если не будет железных дорог, а с другой стороны – зачем нужны железные дороги, если не будет продовольствия? Все теряет смысл.

Ничего, Хэнк. Надеюсь, мы продержимся с тем, что у нас есть, в течение...

Месяца?

– Этой зимой. Они замолчали, но тут от одного из столиков донесся резкий голос. Обернувшись, они увидели, что кричал человек с манерами загнанного в угол бесноватого бандита, хватающегося за револьвер. Он громогласно возвещал, обращаясь к угрюмого вида собеседнику:

– Это акт вандализма, направленный против человечества в момент, когда оно переживает отчаянный дефицит меди!.. Мы не можем этого допустить. Этого не должно быть!

Рердэн резко отвернулся и посмотрел на город.

– Все бы отдал, чтобы узнать, где он, – тихо сказал он. – Просто знать, где он находится сейчас, в этот момент.

– И что бы ты сделал, если бы узнал? Он безнадежно махнул рукой.

– Я не стал бы искать его общества. Единственная дань уважения, которую я еще вправе уплатить ему, – это не просить прощения, когда прощение невозможно.

Они молчали, прислушиваясь к голосам вокруг, ощущая, как мутные волны паники захлестывают роскошный зал.

До этого они не замечали, что за каждым столом чувствуется присутствие невидимого гостя, что о чем бы ни заходила речь, разговор непременно сводился к одной теме. Посетители сидели не то что в униженных, покорных позах, но так, будто зал был для них слишком велик и они в нем и затерялись, и оказались выставленными напоказ, у всех на виду в этом помещении.

из стекла, голубого бархата, алюминия и приглушенного света. Они выглядели так, будто попали сюда ценой бесчисленных уверток, сделок с совестью, ценой постоянного притворства, натужной веры в то, что живут жизнью цивилизованных людей. И вдруг над их головами раздался страшный взрыв, и мир их раскололся и открылся, и они уже не могли не видеть.

Как он мог? Как он мог? – капризно надувая губы и ужасаясь, все повторяла одна молодая дама. – Он не имел права делать это!

Это роковая случайность, – раскатистым басом говорил молодой человек, явно состоящий на государственной службе. – Цепь совпадений, что нетрудно подтвердить вероятностной статистической кривой. Непатриотично распространять слухи, раздувающие силу врагов народа.

Добро, зло – это все для ученых разговоров, – говорила женщина с внешностью учительницы и повадками выпивохи. – Как можно принимать свои идеи настолько всерьез, чтобы уничтожать целое состояние, когда народ в нем так нуждается?

Я этого не понимаю, – с горечью говорил какой-то старик, трясаясь от возмущения. – Как это можно после многовековых усилий обуздать прирожденную склонность человека к насилию и жестокости? Неужели все потрачено столько сил на образование, воспитание, распространение идей добра и гуманизма?

Из общего шума возник и потерялся в нем неуверенный, растерянный женский голос:

Я думала, мы живем в эпоху братства...

Я так боюсь, – повторила молодая девушка, – я так напугана... ах, просто не знаю, но так страшно...

Он не мог этого сделать!..

Нет, сделал!..

Но зачем? Я отказываюсь в это верить!..

– Это бесчеловечно!.. -Но почему?..

– Просто негодяй и авантюрист!.. – Но почему?

В сознание Дэгни одновременно проникли сдавленный крик какой-то женщины и то, что мелькнуло на периферии ее зрения, и она круто повернулась к окну. Световой календарь на высотной башне управлялся механизмом, скрытым в помещении за огромным табло; год за годом в одном и том же ритме он проецировал на экран одни и те же даты, меняя их только в полночь. Дэгни повернулась так стремительно, что успела увидеть нечто столь же неожиданное, как изменение планетой своей орбиты: она увидела, как слова «второе сентября» поплыли вверх и исчезли за краем табло.

А вслед за этим, остановив ход времени, на огромной странице, как последнее послание миру и двигателю мира – Нью-Йорку, летящий почерк непреклонной руки начертал слова:

"Брат, ты сам этого хотел!

Франциско Доминго Карлос Андреас Себастьян Д'Анкония".

Она не могла сказать, что потрясло ее больше – это послание или смех Реардэна; Реардэн вскочил с места и у всех на виду заразительно и громко, на весь зал, засмеялся, заглушив панические крики, он смеялся, приветствуя, чувствуя и принимая дар, который когда-то пытался отвергнуть. Он смеялся в знак освобождения, победы и поражения.

Вечером седьмого сентября в Монтане на подъезде к шахте «Стэнфорд коппер» лопнул

медный кабель, отчего остановился двигатель крана-погрузчика, работавшего на местной ветке железной дороги компании «Таггарт трансконтинентал».

Шахта работала в три смены, чтобы ни на минуту не прерывать добычу медной руды из недр горы и хоть как-то утолить чудовищный спрос на нее. Кран внезапно остановился, когда загружал рудой состав; он беспомощно замер на фоне вечернего неба между цепочкой открытых вагонов и грудями неподвижной руды.

Шахтеры и железнодорожники застыли в изумлении, когда обнаружили, что среди всего их сложного оборудования: электромоторов, буров, насосов, подъемников, измерительной аппаратуры, прожекторов, нацеленных в недра и складки горы, – не нашлось кабеля, чтобы вновь пустить кран. Все остановилось, как океанский лайнер, двигатель которого мощностью в десять тысяч лошадиных сил идет вразнос из-за отсутствия одной шпонки.

Дежурный по станции, молодой человек с ловким телом и резким голосом, сорвал медный кабель с помещения станции, и кран снова заработал. Руда с грохотом посыпалась в вагоны, а в окнах станции, с трудом разгоняя вечерние сумерки, дрожали слабые огоньки свечей.

– Свяжись с Миннесотой, Эдди, – нахмурясь, сказала Дэгни, задвигая ящик со своей картотекой. – Распорядись, чтобы они переправили половину резервного кабеля из своего отделения в Монтану.

О Господи! Дэгни, ведь скоро самая страда...

Они, я думаю, обойдутся. Мы не можем позволить себе потерять ни единого поставщика меди.

Но я кручусь! – завопил Джеймс Таггарт, когда Дэгни в очередной раз напомнила ему о дефиците ресурсов. – Я пробил, чтобы нас включили в первоочередной список на поставки меди – по первой заявке, максимально возможный объем; я дал тебе все карты в руки, все документы и полномочия, право реквизиции запасов. Что тебе еще надо?

Медный кабель.

Я сделал все что мог! Меня не в чем обвинить!

Она не спорила. На ее рабочем столе лежала утренняя газета, в глаза ей бросилась заметка на последней странице: в штате Калифорния принят чрезвычайный закон помощи безработным, по которому каждая корпорация должна выплачивать штату на эти цели пятьдесят процентов своего дохода в качестве чрезвычайного налога, первоочередного относительно других налогов. Нефтяные компании штата прекратили свое существование.

Не беспокойтесь, мистер Реардэн, – вещал по теле фону бархатный голос из Вашингтона, – я для того и звоню вам, чтобы вы не волновались.

Из-за чего? – недоумевая, спросил Реардэн.

Из-за временной неразберихи в Калифорнии. Мы это немедленно выправим. То, что там произошло, будет квалифицировано как незаконные действия местных властей. У правительства штата нет полномочий вводить налоги в ущерб федеральным. Мы проведем переговоры и все уладим, а пока, мистер Реардэн, если вас обеспокоили непатриотичные слухи о нефтяных компаниях Калифорнии, хочу сообщить вам, что «Реардэн стил» включена в приоритетный список высшей категории на поставки нефти. Вы имеете первоочередное право на нефть, первоочередное, мистер Реардэн, и я хотел, чтобы вы знали об этом; этой зимой вам не надо беспокоиться о топливе.

Реардэн повесил трубку, обеспокоенно нахмурясь, но не из-за топлива или судьбы калифорнийских нефтяных компаний – катастрофы такого рода стали делом привычным, – а из-за того, что стратеги из Вашингтона сочли необходимым ублажать его. Это было что-то новенькое, и он спрашивал себя, что бы это значило. Опыт долгих лет борьбы научил его, что немотивированная вражда не так страшна, как немотивированная забота. За ней всегда крылась

опасность. Это предчувствие вновь нахлынуло на него, когда, проходя между заводскими строениями, он заметил пригнувшуюся фигуру, которая застыла в позе, сочетавшей наглый вызов с ожиданием крепкой и заслуженной порки. Он узнал своего брата Филиппа.

С тех пор как уехал в Филадельфию, Реардэн не бывал дома и не получал известий от родственников, чьи счета исправно оплачивал. Последние несколько недель он с удивлением замечал, что Филипп постоянно шатается по цехам без всякой видимой причины. Он не мог понять, то ли брат избегает попадаться ему на глаза, то ли намеренно крутится на заводе с этой целью. Можно было подумать и то и другое. Ему не приходило в голову, с чего бы это, разве что внезапная забота о брате, ранее Филиппу вовсе несвойственная.

Первый раз в ответ на недоуменный вопрос: «Что ты здесь делаешь?» – Филипп ответил уклончиво и неопределенно:

Я же знаю, что тебя не обрадует, если я появлюсь у тебя в кабинете.

Тебе что-нибудь надо?

Нет, ничего... правда, вот... мама о тебе беспокоится.

Она может позвонить мне, когда захочет.

Филипп не ответил, но не очень убедительно, из приличия стал расспрашивать о делах, здоровье, работе. Его вопросы были как-то странно бессмысленны – они относились не к самому делу, а вертелись вокруг его, Реардэна, отношения к делу. Реардэн прервал разговор и отослал Филиппа прочь, но у него осталось смутное досадное ощущение чего-то непонятного.

Во второй раз в качестве единственного объяснения Филипп сказал:

Нам просто хочется знать о твоём отношении.

Кому нам?

Ну... маме и мне. Время непростое и... в общем, мама хочет знать, как ты ко всему этому относишься, как тебе все это нравится.

Передай ей, что не нравится.

Слова, казалось, как-то особенно поразили Филиппа, будто он получил именно такой ответ, какого боялся.

– Иди-ка отсюда, – устало велел ему Реардэн, – и в следующий раз, когда захочешь меня увидеть, договорись о встрече и приходи ко мне в офис. Но только если у тебя есть что сказать. Тут не место обсуждать, кому что нравится или не нравится.

Филипп не позвонил, но снова появился на территории завода, слоняясь среди гигантских мартенов с виноватым и высокомерным видом, будто одновременно и прогуливаясь, и вынюхивая что-то.

Но у меня есть что сказать! Я по делу! – торопливо затараторил он в ответ на сердитый выговор Реардэна.

Почему же ты не пришел ко мне в офис?

Я там тебе не нужен.

Здесь ты мне тоже не нужен.

Я просто... просто не хочу навязываться и отнимать у тебя время, ты ведь так занят и... ты ведь действительно очень занят?

Ну и?..

Я... в общем, мне нужна работа.

Он произнес это агрессивным тоном и чуть отступил назад. Реардэн смотрел на него, никак не реагируя.

– Генри, мне нужна работа, я имею в виду работу здесь, на твоих заводах. Ты должен меня как-то пристроить. Я нуждаюсь в работе, мне надо зарабатывать на жизнь. Я устал жить на подачки. – Он с трудом подыскивал слова и говорил обиженным и вместе с тем умоляющим

тоном, как будто необходимость оправдывать просьбу воспринималась им как несправедливое посягательство на его права. – Я хочу сам зарабатывать на жизнь, мне нужно на что-то жить, иметь постоянный заработок. Я не прошу о благодеянии, я прошу дать мне шанс.

Тут завод, Филипп, а не казино.

Что?

Здесь работают, а не рассчитывают на шанс.

Я ведь и прошу дать мне работу!

Почему я должен дать ее тебе?

Потому что я в ней нуждаюсь!

Реардэн показал на красные языки пламени, которые вырывались из черного тела домны – воплощенного в жизнь замысла из стали, глины и пара, – поднимаясь на высоту четырехсот футов.

– Я нуждался в этой домне. Но получил ее не потому, что нуждался в ней.

На лице Филиппа было такое выражение, как будто он не слышал.

Официально ты не имеешь права брать на работу, но это формальность, если ты меня примешь, мои друзья не станут придирааться, одобряют без проблем и... – Что-то в лице Реардэна заставило его замолкнуть, а потом серди то спросить: – В чем дело? Что я сказал не так?

Дело в том, что ты не сказал.

Извини, не понимаю.

В том, что ты избегаешь сказать.

В чем же?

В том, что от тебя мне нет никакой пользы.

Так для тебя это... – начал было Филипп с видом попранной добродетели.

– Да, – сказал, улыбаясь, Реардэн, – для меня это главное.

Глаза Филиппа забегали; когда он снова заговорил, голос его звучал так, будто он неуверенно шарил вокруг, выхватывая случайные фразы:

Каждый имеет право на обеспеченную жизнь... Как же я ее получу, если никто не даст мне шанс?

А как я ее получил?

Я же не получил в наследство сталелитейный завод.

А я получил?

Я смогу делать все, что ты... если ты меня научишь.

А кто научил меня?

Почему ты все время твердишь одно? Ведь я не говорю о тебе.

А я говорю.

Через минуту Филипп пробормотал:

– Тебе-то хорошо, ни о чем не надо беспокоиться. Это мне приходится думать о средствах к существованию.

Реардэн показал на группу людей, работавших в зареве горна:

Ты можешь делать то, что делают они?

Не пойму, к чему ты клонишь?

Что случится, если я поставлю тебя горновым, а ты мне запрешь плавку?

Что важнее, твоя плавка или мой пустой желудок?

Как ты предлагаешь набить желудок, не сварив стали?

Филипп изобразил на лице упрек.

Сейчас я не в состоянии спорить с тобой, ведь у тебя в руках все козыри.

Тогда не спорь.

Что?

Закрой рот и двигай отсюда.

– Но я хотел... – Он осекся. Реардэн насмешливо улыбнулся:

Ты хотел сказать, что это я должен придержать язык, потому что сила на моей стороне, что я должен уступить тебе, потому что у тебя ничего нет за душой.

Что за странная, грубая манера формулировать этические нормы!

Но ведь именно в этом суть твоей этики?

О нравственности нельзя рассуждать в категориях материальных понятий.

Но мы рассуждаем о работе на сталелитейном заводе, и уж позволь, что может быть более материальным?

При этих словах Филипп как-то сжался, глаза еще больше потускнели и словно подернулись пленкой, как будто такое место, как литейный цех, его пугало, было ему настолько неприятно, что он отказывал ему в праве на существование. Он тихо, упрямым тоном, будто декламируя шаманское заклинание, произнес:

В наши дни и в наше время всеми признано как нравственный императив, что каждый человек имеет право на труд. – Он возвысил голос: – Я имею право работать!

Вот как? Так иди и возьми свое право.

Что?

Возьми свою работу. Сорви с куста, на котором она, по твоему мнению, растет.

Я хочу сказать, что...

Ты хочешь сказать, что она не растет на кусте? Хочешь сказать, что нуждаешься в рабочем месте, но не можешь создать его? Хочешь сказать, что имеешь право на рабочее место, которое должен создать для тебя я?

– Да!

– А если я его не создам?

Секунды шли, молчание затягивалось, Филипп не находил ответа. Наконец он сказал:

Я тебя не понимаю. – Он произнес это сердитым тоном человека, который играет опробованную роль, оперирует проверенными формулами, но, к своему изумлению, получает в ответ неожиданные реплики. – Не могу понять, почему с тобой стало невозможно разговаривать. Никак не пойму, какую теорию ты развиваешь и...

Понимаешь, прекрасно понимаешь.

В полной уверенности, что формулы и клише в конечном счете не могут подвести, Филипп выпалил:

С каких это пор ты увлекся абстрактной философией? Ты ведь не философ, а промышленник и не способен решать принципиальные вопросы, оставь это экспертам, которые уже давно признали, что...

Хватит, Филипп. Говори, где собака зарыта.

Какая собака?

Откуда вдруг желание работать?

Ну, в такое время...

В какое время?

Ну, каждый человек имеет право на то, чтобы ему как-то помогли... чтобы о нем не забыли, не оттолкнули в сторону... Когда все так нестабильно, надо найти опору, за что-то зацепиться... Я хочу сказать, что, если в такое время с тобой что-нибудь случится, у меня ничего не останется...

Что же, ты думаешь, должно со мной случиться?

Я ничего не думаю. Что может случиться? А ты сам что думаешь? Что-нибудь случится?

Например?

Откуда мне знать?.. Ведь у меня ничего нет, кроме то го скромного содержания, что ты назначил мне... но ты же можешь передумать.

Могу.

А у меня нет на тебя управы.

И тебе потребовалось столько лет, чтобы понять это и начать беспокоиться? Почему именно сейчас?

Потому что... потому что ты изменился. Раньше у тебя было чувство долга, моральной ответственности, а теперь... теперь ты их утрачиваешь. Ведь утрачиваешь, скажи честно?

Реардэн стоял и молча изучал брата. Филипп отличался какой-то особой манерой все время соскальзывать на вопросы, будто остальные слова были несущественны, случайны и лишь настойчивые вопросы являлись ключом к цели.

Я с удовольствием сниму груз с твоей души, если он на тебя давит, – вдруг требовательно проговорил Филипп. – Только дай мне работу, и тебя больше не будет мучить совесть!

Она меня не мучает.

Так я и думал! Тебе все равно! Тебе безразлично, что с нами станется!

С кем именно?

Ну... с мамой, со мной... с человечеством вообще. Но я не собираюсь взывать к твоим лучшим чувствам. Знаю, ты готов меня вышвырнуть, так что...

Ты лжешь, Филипп. Не это тебя беспокоит. Если бы дело обстояло так, ты примеривался бы, как разжиться у меня деньгами, а не получить работу...

Неправда! Мне нужна работа! – Реакция была быстрой и отчаянной. – Не пытайся отделаться от меня деньгами. Мне нужна работа!

Возьми себя в руки, прекрати истерику, мразь! И не глуши себя криком.

В ответ Филипп выпалил с бешеной яростью:

Ты не имеешь права так разговаривать со мной!

А ты имеешь?

Я только...

Ты только хотел, чтобы я откупился от тебя? Но по чему я должен откупаться, а не просто вышвырнуть тебя, как мне давно следовало сделать?

Но ведь я как-никак твой брат!

Ну и что это должно означать?

А то, что должны быть родственные чувства к брату.

У тебя они есть?

Филипп сердито надулся и не ответил, он ждал; Реардэн не мешал ему ждать. Наконец Филипп пробормотал:

Тебе следовало бы посочувствовать мне, но от тебя не дождешься. Тебе не понять моих переживаний.

А ты сочувствуешь моим переживаниям?

Переживаниям? Твоим? – В голосе Филиппа не было злорадства, в нем звучало нечто худшее – неподдельное удивление и негодование. – Ты не умеешь переживать. Переживания и чувства тебе недоступны. Ты никогда не страдал!

Реардэну показалось, что все пережитое собралось в тугой кулак и ударило его в лицо. Он продолжал отчетливо видеть стоящего перед ним брата, но еще отчетливее перед ним возникли образы прошлого. Он продолжал видеть белесые, водянистые глаза Филиппа, в которых отражалась последняя степень человеческой деградации, но ощущал другое: то, что пережил, когда по линии Джона Галта двинулся в путь первый поезд. Он видел глаза человека, который

нагло твердил о своих страданиях и бесстыдно, как мертвец, цеплялся за живых, требуя, чтобы они облегчили его участь и признали его смердящую плоть высшей ценностью. Ты никогда не страдал, говорили ему эти глаза и смотрели на него обвиняюще, а он вспоминал тот вечер в своем кабинете, когда у него отобрали шахты, тот момент, когда он подписал дарственный сертификат, отрекаясь от своего металла, видел бесконечную цепь дней того месяца, когда он искал останки Дэгни. Ты никогда не страдал, говорили ему эти глаза и смотрели на него с праведным презрением, а он вспоминал, как чисты были его чувства и непреклонна воля в каждый момент борьбы, как он не отступал перед болью, потому что в его душе соединились любовь, верность и убежденность в том, что цель жизни – радость, и что радость не попадает в руки случайно, как клад, – ее надо добиваться, и что нельзя позволять, чтобы лик радости утонул в трясине сиюминутной пытки, так как это означало бы предать радость.

Ты никогда не страдал, говорили ему, мертвенно уставясь на него, глаза брата, ты никогда ничего не чувствовал, потому что, чтобы чувствовать, надо страдать, и радости нет, а есть только боль и отсутствие боли, только боль и ничто – нуль, когда ничего не чувствуют; я страдаю, меня раздирает страдание, я весь соткан из страдания, в этом моя чистота, в этом моя добродетель, а вы, те, кто не раздираем страданием, не жалуется, не стонет, – ваша добродетель в том, чтобы уголять мою боль, резать на куски ваше бесчувственное тело и латать мое, резать на части вашу бесчувственную душу, чтобы умерить боль моей души, – так мы осуществим наш идеал, добьемся победы над жизнью, придем к нулю!

Глядя в эти глаза, Реардэн понимал сущность тех, кто во все века не отшатывался от проповедников уничтожения. Он понимал сущность врагов, с которыми сражался всю жизнь.

– Филипп, – сказал он, – убирайся. – Голос его напоминал солнечный луч в морге – сухой обыденный тон делового человека, здоровый голос, адресованный врагу, который недостоин ни гнева, ни даже опасения. – И не пытайся снова проникнуть на территорию завода. Я распорядюсь, чтобы тебя вышибали на всех проходных, если ты полезешь.

– Что ж, в таком случае, – сказал Филипп уязвленным, но осторожным тоном, подпуская угрозу, как пробный шар, – я ведь могу поступить иначе: скажу друзьям, чтобы направили меня сюда на работу, и они тебя заставят принять меня!

Реардэн отошел было, но остановился и снова повернулся к брату.

Филиппа внезапно озарило; как обычно, его озарение не было результатом работы мысли, оно накатывало на него в виде смутных ощущений – только так могло работать его сознание; он вдруг испытал ужас, у него перехватило дыхание, и судорога опустилась до желудка. Он другими глазами увидел размах цехов, из них рвались языки пламени, там на, казалось бы, ненадежных стропях перемещались тонны расплавленного металла, из зева печей жарко светило раскаленным добела углем, над головой, схватив невидимой силой электромагнита чудовищный стальной груз, сновали краны.

Он понял, что боится этого места, что ему здесь до смерти страшно, что он не осмелится шагу шагнуть без сопровождения и указаний стоящего перед ним человека. Он смотрел на его высокую, стройную фигуру: этот человек был у себя дома, в родной стихии, он здесь ничего не страшился, движения его отличались раскованностью и естественностью; этот человек смотрел твердым, немигающим взглядом, который в свое время проник сквозь скалы и пламя, чтобы возвести эти цеха.

Он подумал, что этому человеку, которого он пытался прижать к стенке, ничего не стоило опрокинуть на его голову поток раскаленного металла или обрушить тонны стали, – всего лишь секундой раньше положенного времени или футом ближе положенного места, и от него, Филиппа, со всем его гонором, не останется и мокрого места. Его спасало только то, что если ему такие мысли легко приходили в голову, то Хэнк Реардэн не мог и подумать о таком.

Нам лучше не ссориться, – сказал Филипп.

Тебе лучше не ссориться, – сказал Реардэн и зашагал прочь.

Да они же поклоняются боли, думал Реардэн, всматриваясь в образ врага, которого никогда не мог понять, – они же боготворят страдание. Это казалось чудовищным, но он не мог принимать их всерьез. Они не вызвали в нем никаких чувств, он относился к ним, как к неодушевленным предметам, как к селевой грязи, скатывающейся на него по горному склону. Можно бежать от селя, построить заграждения от него или быть погребенным под ним, но на бессмысленные движения неживой стихии, – нет, подумал он, в этом случае – противоестественной силы – не гневаются, не негодуют, их не обвиняют в безнравственности.

С тем же чувством отчужденности и безразличия он сидел в зале суда в Филадельфии и отстранение, безучастно наблюдал за действиями людей, оформляющих развод. Он слушал, как они механически произносят общие фразы, скользят по льду фальшивых свидетельских показаний, играют в сложные игры, растягивая сети слов так, что сквозь них ускользают смысл и факты. Он им за это заплатил, так как закон не оставил ему другой возможности обрести свободу, отнял у него право констатировать факты и утверждать правду, – закон, который отдал его судьбу не во власть строго сформулированных объективных правил, а на произвол и милость судьи с высохшим лицом хитреца и крючкотвора.

Лилиан на судебном заседании отсутствовала, ее адвокат время от времени подавал признаки жизни, воздевая вверх руки и растопыривая пальцы, будто просеивал сквозь них факты и доказательства. Решение было известно заранее, известно было, и почему оно должно быть таким, а не иным. Для иного решения не было причины, другой причины и не могло быть – в годы, когда не существовало никаких мерок, кроме прихоти. Судьи, по-видимому, считали решение своей неотъемлемой прерогативой и действовали так, будто цель судебной процедуры заключалась не в рассмотрении дела, а в обеспечении их работой, а работа их, очевидно, состояла в том, чтобы произносить надлежащие формулировки, не связывая себя необходимостью знать, что из этих формулировок следует. Можно было подумать, что суд – единственное место, где проблема добра и зла не имеет никакого значения, и что они, люди, облеченные властью вершить правосудие, прекрасно сознают, но мудро помалкивают о том, что никакого правосудия не существует. Они вели себя как дикари, исполняющие ритуальный обряд, который должен освободить их от объективной реальности.

Но десять лет супружеской жизни были реальностью, думал он, а здесь сидят люди, облеченные властью решать, что с ним делать, как им распорядиться: то ли открыть ему возможность счастья на земле, то ли обречь на муки до конца жизни. Он вспомнил, с каким беспомощным, суровым уважением относился к своему брачному контракту, для него он был выше всех деловых договоров и юридических обязательств. Теперь же он видел, какого рода правосудию должна послужить его решимость свято соблюдать контракт.

От его внимания не ускользнул тот факт, что в начале заседания судебные марионетки поглядывали на него хитро и понимающе, как на соучастника заговора, как будто их объединял с ним общий грешок, надежно, однако, скрытый от посторонних. Потом, когда они увидели, что он единственный человек в зале суда, который смотрит всем в глаза прямо и открыто, в них явно стала нарастать неприязнь к нему. Он с изумлением понял, чего от него ожидали: полагали, что он, как жертва, закованная в цепи, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, лишенная возможности помочь себе, разве что дать взятку, должен всерьез относиться к этому устроенному им на свои деньги фарсу и свято верить в него, как в подлинное судебное разбирательство. От него требовалось свято верить, что поработившие его уложения закона имеют нравственную силу, что он виновен в совершении блюстителей закона и виновен в этом только он, а отнюдь не они. Это было все равно что винить ограбленного в том, что он

подбивает бандита на грабеж.

И тем не менее, думал он, во все времена политического шантажа и вымогательства виновных видели не в паразитическом чиновничьем аппарате, а в связанных по рукам и ногам промышленниках, не в тех, кто торговал услугами закона, а в тех, кто вынужден был их покупать. И во времена всех крестовых походов против коррупции решение видели не в том, чтобы дать свободу ее жертвам, а в том, чтобы дать большую власть вымогателям. Единственная вина жертв, думал он, в том, что они признавали за собой вину.

Когда он вышел из зала суда, моросил холодный мелкий дождик. День клонился к вечеру. Он чувствовал себя так, будто развелся не только с Лилиан, но и со всем человеческим обществом, которое поддерживало только что перенесенную им процедуру.

На лице его адвоката, пожилого человека старой закалки, было такое выражение, будто ему срочно требовалось принять ванну. Его единственным комментарием было:

Скажи, Хэнк, что еще наши бандиты хотят у тебя урвать?

Понятия не имею, а что?

Все прошло как-то слишком уж гладко. В отдельные моменты я ожидал серьезного сопротивления и намеков накинуть еще, но нажима не последовало, и все прошло без лишних придиорок. Такое впечатление, что сверху поступила команда не давить на тебя и не перегибать палку, дескать, пусть получит, чего добивается. Как ты думаешь, они не замышляют ничего нового против твоей фирмы?

Мне ничего не известно, – ответил Реардэн и, поразившись, осознал, что про себя добавил: «И мне это безразлично».

В конце того же дня, уже на заводе, он увидел, что к нему на всех парах спешит, поразительным образом соединяя в походке неуклюжесть с напором и решительностью, вихлястый, долговязый Наш Нянь.

Мистер Реардэн, я хотел бы поговорить с вами, – проговорил он уважительно, но непривычно твердо.

Слушаю.

Я хочу вас кое о чем попросить. – Лицо молодого человека приняло напряженное, серьезное выражение. – Я хочу, чтобы вы знали, что я понимаю... вы наверняка мне откажете, но я все равно хочу вас попросить... и... если вы сочтете это наглостью, пошлите меня ко всем чертям.

Ладно. Так в чем дело?

Мистер Реардэн, не могли бы вы дать мне работу? – Он изо всех сил старался не сбиться с обыденного тона, и это выдавало его: он не один день набирался храбрости, чтобы обратиться с просьбой. – Я хочу перейти на другую работу – настоящую работу, варить сталь, как мечтал с самого начала, когда поступил к вам. Я хочу честно зарабатывать. Мне надоело быть прихлебателем.

Реардэн невольно улыбнулся и напомнил ему тоном цитирования:

Зачем употреблять такие слова, Нянюшка? Если мы не будем использовать скверные слова, наша жизнь не будет скверной и мы... – Но он увидел, как серьезно настроен парень, и замолчал, погасив улыбку.

Я серьезно, мистер Реардэн. Я все обдумал и пришел к твердому решению. Я понимаю и то, о чем вы мне сейчас напомнили. Я все помню. Но мне надоело получать от вас деньги за то, что я ничего не делаю, кроме того, что мешаю вам зарабатывать деньги. Я понимаю, что сегодня работать означает быть просто дойной коровой для бездельников вроде меня, но... черт бы меня побрал, уж лучше я буду дойной коровой, если ничего другого не остается! – Голос его возвысился до крика, и, осознав это, он сказал: – Извини те, мистер Реардэн. – Минуту он

выглядел скованно и смотрел в сторону, потом продолжил словно одеревеневшим, тусклым голосом: – Я сыт по горло работой в качестве заместителя директора по так называемому распределению: распределения нет, есть рэкет, а это не для меня. Не знаю, где могу быть вам полезен, но я закончил колледж, моя специальность – металлург; наверное, мой диплом стоит немногим больше бумаги, на которой напечатан. Но Думаю, я кое в чем начал разбираться за те два года, что пробыл здесь. И если вы дадите мне любое дело – хоть дворником, хоть разнорабочим, то я объясню им, в отделе, куда они могут пойти со своим распределением. А работать для вас я готов начать когда угодно, хоть завтра, хоть со следующей недели, а хотите, так хоть сейчас или как скажете. – Он избегал смотреть на Реардэна, но не в силу скрытности, а будто не имея на это права.

– Почему же ты раньше не решался обратиться ко мне? – мягко спросил Реардэн.

Молодой человек взглянул на него с явным удивлением и даже негодованием, словно ответ был ясен сам собой:

Потому что после того, с чего я начинал здесь, как вел себя и какую должность занимал, если бы я пришел к вам с просьбой, то мог рассчитывать только на хорошую взбучку, и по заслугам.

Да, ты во многом разобрался за эти два года.

Нет, я еще мало... – Он взглянул на Реардэна, понял, отвел глаза и сказал опять деревянным голосом: – Да, раз обрался... если вы это имеете в виду.

Послушай, что я скажу. Я дал бы тебе работу сию ми нуту, и что-нибудь получше дворника, если бы все решал я. Но ты забыл о Стабилизационном совете. Я не имею права нанимать рабочих, а ты не имеешь права бросать работу. Конечно, люди уходят сплошь и рядом, и мы оформляем на работу других – под вымышленными именами, по под дельным документам, подтверждающим, что они якобы давно у нас работают. Но как ты думаешь, если я приму тебя таким образом, твои друзья в Вашингтоне этого не заметят?

Юноша отрицательно покачал головой.

– И как ты думаешь, если ты уйдешь от них и подашься в дворники, они не поймут твоих мотивов?

Юноша утвердительно кивнул.

– И позволят тебе так просто уйти?

Юноша покачал головой. После минутного замешательства он удрученно сказал:

Я об этом не подумал, мистер Реардэн. Я совсем забыл о них. Все думал, возьмете вы меня или нет, и для меня важно было только одно – ваше решение.

Я понимаю тебя.

И вообще только это на самом деле и важно.

Верно, верно, только это.

Рот молодого человека внезапно скривился в невеселой улыбке, которая тут же погасла.

Да, похоже, я на привязи, хуже любой дойной коровы.

Пожалуй, что так. Сейчас ты можешь разве что обратиться в Стабилизационный совет за разрешением сменить работу. Я тебя поддержу, если ты решишь попытаться, только не думаю, что они согласятся. Не думаю, что они позволят тебе работать у меня.

Нет, не позволят.

Если изловчиться и соврать, они могут разрешить тебе перевестись с государственной службы на частную – в другую сталелитейную компанию.

Нет! Я не хочу никуда переводиться! Я не хочу уходить отсюда! – Он смотрел на топки домен, на бившее из них пламя. Спустя минуту он спокойно сказал: – Наверное, придется все оставить как есть, так я и буду бандитом второй руки. Кроме того, если я уйду, Бог знает, какого

подонка они посадят на мое место, чтобы досадить вам. – Он посмотрел на Реардэна. – Мистер Реардэн, они что-то замышляют. Не знаю что, но определенно что-то затевают против вас.

Что это может быть?

Не знаю. Но последние несколько недель они следят за каждой вакансией, за каждым самовольным уходом с работы и пропихивают сюда людей из собственной банды. Странная она какая-то, эта банда, а впрочем, настоящие головорезы, по крайней мере некоторые из них. И могу по клясться, что они никогда раньше не видели сталелитейного завода. Я получил распоряжение набрать как можно больше таких «наших парней». Мне не сказали зачем. Я даже не знаю, что они затевают. Я попытался исподволь порасспросить, но они очень осторожны. Не знаю даже, доверяют ли они мне по-прежнему. Наверно, я теряю нужный подход. Единственное, чем я располагаю, это то, что они намерены начать где-то здесь.

Спасибо, что предупредил.

Я попытаюсь еще кое-что разведать. И буду чертовски стараться узнать все вовремя. – Он резко повернулся к выходу, но остановился: – Мистер Реардэн, если бы это зависело от вас, вы бы меня взяли?

Конечно, тотчас же и с радостью.

Благодарю вас, мистер Реардэн, – тихо и торжественно произнес он и вышел.

Реардэн постоял, глядя ему вслед со щемящей улыбкой жалости, догадываясь, какой утешительный приз уносил с собой этот бывший релятивист, бывший прагматик, бывший аморалист.

Одиннадцатого сентября, днем, разрыв медного кабеля в Миннесоте остановил приводные ремни элеватора около небольшой пригородной станции компании «Таггарт трансконтинентал».

Поток пшеницы, которую вырастили на тысячах акров фермерских угодий, двинулся по шоссе и заброшенным колеям проселочных дорог и обрушился на хрупкие запруды железнодорожных станций. Он двигался день и ночь, тонкие струйки превращались в ручьи, в речки, в полноводные реки – он двигался на допотопных грузовиках с кашляющими туберкулезными моторами, в крытых повозках, которые волокли пыльные мощи оголодавших лошадей, на телегах, которые тащили волы, на нервах и остатках энергии людей, которые пережили два голодных неурожайных года ради торжествующего ликования, которое принес им урожай этой осени, людей, которые бессонными ночами чинили свои грузовички и телеги с помощью проволоки, одеял и веревок, чтобы те смогли выдержать еще и эту поездку, перевезти зерно и развалиться в пункте назначения, одарив своих владельцев шансом на выживание.

И каждый год в это же время начинал свое движение по стране еще один поток, несший товарные вагоны со всего континента к миннесотскому отделению «Таггарт трансконтинентал», – перестук колес предварял скрип повозок, как опережающее эхо – четко спланированное, внесенное в инструкции и расписания для встречи первого потока. Миннесотское отделение спокойно подремывало почти весь год и просыпалось для сумасшедшей жизни от звуков несшегося к нему урожая; четырнадцать тысяч товарных вагонов грудились на его приемных отделениях каждый год, а в этом году ожидалось пятнадцать тысяч. Первые поезда начали перекачку потока пшеницы в голодные зевы мукомольных заводов, затем

в булочные, а уже оттуда в желудок нации; каждый поезд, хранилище каждого элеватора и его лифты – все было учтено, и не оставалось ни единой свободной минуты, ни дюйма свободной площади.

Эдди Виллерс следил за лицом Дэгни, пока она просматривала папку самых срочных дел; по выражению ее лица он мог угадать содержание просматриваемых сообщений.

– Терминал, – спокойно сказала она, закрывая папку. – Позвони-ка на терминал и заставь их передать поло вину их запаса кабеля в Миннесоту.

Эдди молча подчинился.

Он не произнес ни слова и в то утро, когда положил перед ней на стол телеграмму из офиса «Таггарт трансконтинентал» в Вашингтоне, в которой сообщалось об указе, обязывавшем государственных уполномоченных в связи с острым дефицитом меди экспроприировать все медные рудники и управлять ими как национальным достоянием.

– Что ж, – сказала она, выбрасывая телеграмму в мусорную корзину, – это конец для Монтаны.

Она ничего не сказала, когда Джеймс Таггарт оповестил ее, что подготовил приказ снять с поездов все вагоны-рестораны.

– Мы больше не можем себе этого позволить, – объяснил он. – Мы всегда теряли кучу денег на этих проклятых вагонах, но если не достать продуктов, если рестораны закрываются, потому что им негде раздобыть и куска конины, как можно ожидать от железной дороги, что она с этим справится? И вообще, почему, черт возьми, мы должны заботиться о питании пассажиров? Пусть считают, что им повезло, если мы даем им возможность передвигаться. Понадобится, так поедут в вагонах для перевозки скота. Пусть сами возят с собой жратву, нам-то какое дело? Все равно у них нет выбора!

Телефон на столе Дэгни утратил обычную деловитость и превратился в сигнал бедствия, непрерывно передававший известия о неприятностях.

Мисс Таггарт, у нас нет медного кабеля!

Гвоздей, мисс Таггарт, простых гвоздей, не могли бы вы поручить кому-нибудь, чтобы нам выслали ящик гвоздей?

Не можете ли вы достать краски, мисс Таггарт, любой водостойкой краски, все равно откуда?

При этом тридцать миллионов долларов субсидий из Вашингтона всадили в проект «Соя» – огромную плантацию в Луизиане, где зрел урожай сои, потому что это посоветовала и организовала Эмма Чалмерс – в целях обновления национальной традиции в области питания. Эмма Чалмерс, более известная как Матушка Гора, была старым социологом, годами осаждавшим Вашингтон, как другие женщины ее возраста и типа осаждают стойки баров. По каким-то причинам, которых никто не мог бы определить, смерть сына во время катастрофы в тоннеле, облекла ее в глазах Вашингтона в тогу мученицы, и эта святость еще более усилилась после ее недавнего перехода в буддизм.

«Соя является гораздо более стойким, питательным и экономичным растением, чем все те дорогостоящие продукты, из которых состоит наш привычный рацион, – звучал по радио голос Матушки Горы. Слова сочились из нее как капли – но не воды, а майонеза. – Соя служит великолепной заменой хлебу, мясу, крупам и кофе. И если все мы заставим себя принять ее как основу нашего рациона, это поможет решить национальную продовольственную проблему и позволит прокормить больше народа. Больше пицци для большинства населения – таков мой лозунг. В годину национального бедствия наша прямая обязанность отказаться от изысканнейших трапез и вернуться к благосостоянию через употребление простой, здоровой пищи, которую восточные народы столь возвышенно вкушают на протяжении столетий. Мы

могли бы многому научиться у восточных народов».

Медные трубы, мисс Таггарт, не могли бы вы достать для нас где-нибудь медных труб? – умоляли голоса по телефону.

Костыли для шпал, мисс Таггарт!

Гаечные ключи, мисс Таггарт!

Электрические лампы, мисс Таггарт, в радиусе двух сот миль вокруг не достать ламп!

Однако пять миллионов долларов истратил Комитет по пропаганде и агитации – на Народный оперный театр, разъезжавший по стране с бесплатными представлениями для тех, кто ел всего один раз в день и не мог себе позволить тратить силы на посещение театра. Семь миллионов долларов выделили психологу, ответственному за реализацию проекта предотвращения мирового кризиса путем изучения природы братолюбия. Десять миллионов долларов заплатили создателю новой модели электрической зажигалки – но в магазинах пропали сигареты. На рынок выбросили электрические фонарики – но к ним не было батареек; имелись радиоприемники – но отсутствовали полупроводники; выпускались фотоаппараты, но исчезла пленка. Выпуск самолетов объявили «приостановленным». Авиаперелеты по частным делам были запрещены, все резервировалось на случай «общественной необходимости». Промышленник, летевший спасти свое предприятие, не считался «общественной необходимостью» и не мог купить билет на самолет, чиновник, летевший для сбора налогов, признавался общественно необходимым, и ему предоставлялся билет.

– У нас воруют болты и гайки с рельсов, мисс Таггарт, воруют по ночам; наши запасы иссякли, склад отделения пуст. Что делать, мисс Таггарт?

Однако в Народном парке в Вашингтоне установили для туристов цветной телевизионный экран с диагональю свыше десяти метров, и в Государственном институте естественных наук было начато строительство суперциклотрона для изучения космических лучей с тем, чтобы завершить его через десять лет.

Все неприятности современного человечества, – за явил по радио во время торжеств по случаю закладки циклотрона доктор Роберт Стадлер, – происходят потому, что слишком много людей слишком много думают. В этом причина всех наших сегодняшних страхов и сомнений. Просвещенным гражданам следовало бы отказаться от суеверного обожествления логики и устаревшего поклонения разуму. Как обыватели оставляют медицину док торам, а электронику инженерам, так и все люди, не имеющие необходимой квалификации, чтобы думать, должны оставить мышление экспертам и доверять авторитету экспертов. Только эксперты способны понять открытия современной науки, и это свидетельствует, что мысль – иллюзия, а разум – миф.

Этот жалкий век – Божья кара за то, что человек на чал полагаться на свой разум! – хрюкали голоса возбужденных своей правотой мистиков всевозможных сект и на правлений на каждом углу, под провисшими от сырости навесами, в обветшавших храмах. – Мучения мира – следствие попыток человека жить своим умом! Вот куда завел вас ваш разум, ваши логика и наука! И не будет вам спасения, доколе не поймете, что смертный ум не способен раз решить проблем человека, и не вернетесь к вере, вере в Бога, в Высшего Судью!

А Дэгни ежедневно лицезрела конечный продукт всего этого, наследника и собирателя – Каффи Мейгса, совершенно не способного мыслить. Каффи Мейгс, облаченный в полувоенный китель, дефилировал по отделам «Таггарт трансконтинентал» и похлопывал своей блестящей кожаной папкой по блестящим голенищам сапог. В одном из карманов у него лежал автоматический пистолет, в другом – кроличья лапка от сглаза.

Каффи Мейгс старался не сталкиваться с Дэгни; частично его поведение объяснялось презрением, словно он принимал ее за непрактичную идеалистку, а частично суеверным

опасением, что она обладает какой-то непонятной силой, с которой он предпочел бы не связываться. Он вел себя так, будто присутствие Дэгни не имело никакого отношения к железной дороге, и все же она была единственной, кому он не смел бросить вызов. В его стиле общения с Джимом присутствовало что-то вроде раздражительного презрения, как будто в обязанности Джима входило разбираться с сестрой и защищать его, как будто он считал, что Джим должен поддерживать железную дорогу в рабочем состоянии, давая ему, Мейгсу, свободу для занятий более практическими вещами. Таким образом, он ожидал, что Джим будет держать Дэгни в узде – как часть оборудования дороги.

За стеклами ее кабинета, вдалеке, как заплата из лейкопластыря, в небе висело пустое табло календаря. Календарь так и не починили с той ночи, когда Франциско сделал свой прощальный поклон. Чиновники, прибежавшие на башню, сломав, остановили мотор и вытащили пленку из проектора. Они обнаружили маленькие квадратики послания Франциско в ленте с изображением последовательности дней, но кто их туда вклеил, кто вошел и открыл запертое помещение, когда и как, так и осталось неизвестным, несмотря на создание трех комиссий по расследованию этого происшествия. Пустое табло календаря так и осталось висеть в небе над городом, свидетельствуя о тщетности их усилий.

Оно оставалось пустым и днем четырнадцатого сентября, когда в кабинете Дэгни раздался телефонный звонок.

– Звонят из Миннесоты, – прозвучал голос секретаря.

Она сказала секретарю, что будет отвечать на все звонки такого рода. Это были просьбы о помощи и ее единственный источник информации. Теперь, когда голоса железно-Дорожных чиновников издавали лишь звуки, предназначенные для того, чтобы ничего не сказать, голоса незнакомых людей служили последней ниточкой, связывавшей Дэгни с прежней системой, последними огоньками разума и измученной честности, изредка вспыхивавшими вдоль протянувшегося на тысячи миль полотна дорог Таггарта.

Мисс Таггарт, по инструкции я не имею права звонить вам, но никто больше не позвонит, – говорил голос в телефонной трубке, на этот раз он звучал молодо и очень спокойно. – Через день-другой здесь разразится катастрофа, не имеющая себе равных, и им уже не удастся скрыть ее. Только будет слишком поздно, возможно, уже сейчас слишком поздно.

О чем вы? Кто вы?

Один из ваших служащих в Миннесоте, мисс Таггарт. Через день-другой поезда отсюда уже не пойдут – а вы представляете, что это означает в разгар страды. В этом году небывалый урожай – а поезда остановятся, потому что у нас нет вагонов. Товарные вагоны под зерно мы в этом году вообще не получили.

Что вы сказали? – Ей казалось, что между каждым словом этого неестественного голоса, звучавшего так не похоже на ее собственный, протекали минуты.

Вагонов не присылали. На сегодня их должно быть здесь пятнадцать тысяч. Насколько мне удалось выяснить, мы имеем не более восьми тысяч вагонов. Я уже неделю звоню в управление. Они говорят, чтобы я не беспокоился. В последний раз, когда я с ними разговаривал, мне сказали, чтобы я занимался своим, черт возьми, делом. Вся тара, все силосные ямы, элеваторы и склады, гаражи и дискотеки в округе заполнены пшеницей. По дороге к шермановским элеваторам на целых две мили растянулись в ожидании фермерские грузовики и повозки. На станции Лейквуд вся площадь заполнена зерном вот уже трое суток. А они про должают утверждать, что вагоны нам отправят, что мы все успеем. Но мы не успеем. Не пришел ни один вагон. Я звонил всем, кому мог. По тому, как они отвечают, я понял, что они все знают, но никто из них не хочет в этом признаться. Все боятся шевельнуть пальцем, сказать, спросить, ответить. Они думают только о том, кто будет отвечать за то, что урожай сгниет здесь, на станции, а не о

том, кто же его вывезет. Теперь, наверно, уже никто. Возможно, вам уже тоже ничего не сделать, но я подумал, что вы – единственная из оставшихся, кто захочет знать, и что кто-то должен вам об этом сказать.

Я... – Она сделала усилие, глотнув воздуха. – Я понимаю... Кто вы?

Не в имени дело. Я дезертирую, как только положу трубку. Я не хочу оставаться здесь и видеть, как все это произойдет. Я больше не хочу во всем этом участвовать. Желаю удачи, мисс Таггарт.

Дэгни услышала щелчок в трубке.

– Спасибо вам, – сказала она в замолкший телефон.

В следующий раз она осознала, что находится у себя в кабинете, и разрешила себе что-то почувствовать только в полдень на другой день. Она стояла посреди своего кабинета и негнуцимися, растопыренными пальцами поправляла прядь волос, отбрасывая ее с лица. На мгновение она удивилась, где же это она и что за невероятные вещи случились с ней за последние двадцать часов. Она чувствовала ужас происходящего и знала, что этот ужас вселился в нее уже с первых слов человека из Миннесоты, только тогда у нее не было времени осознать это.

От последних двадцати часов в голове у нее почти ничего не осталось, лишь какие-то несвязные обрывки подтверждали их существование – вялые, равнодушные лица людей, старавшихся скрыть от самих себя, что знают ответы на все вопросы, которые она задавала.

Начиная с того момента, когда ей сообщили, что начальник отделения тяги и подвижного состава выехал из города на неделю, не оставив адреса, по которому с ним можно было бы связаться, она уже знала, что сообщение из Миннесоты – правда. Затем последовали лица помощников начальника, которые и не подтверждали сообщения, и не отрицали его, а все показывали ей какие-то бумаги, приказы, формы, карточки со словами на английском языке, не имевшими никакого отношения к реальным фактам.

Где товарные вагоны, посланные в Миннесоту?

Форма триста пятьдесят семь "В" заполнена по каждому пункту, как предписано службой полномочного координатора и в соответствии с инструкциями контрольно-финансового управления, изложенными в указе одиннадцать четыреста девяносто три.

Где товарные вагоны, посланные в Миннесоту?

Входящие за август и сентябрь обработаны...

Где товарные вагоны, посланные в Миннесоту?

Моя картотека показывает местонахождение товарных вагонов по штатам, датам, спецификациям и...

Вам известно, посланы ли товарные вагоны в Миннесоту?

Что касается передвижения товарных вагонов между штатами, я должен отослать вас к картотеке мистера Бенсона и...

Из картотеки ничего нельзя было извлечь. Там имелись входящие, каждая из которых содержала четыре возможных значения, с отсылками, которые вели к другим отсылкам, которые, в свою очередь, вели к окончательной отсылке, но она-то как раз в картотеке отсутствовала. Дэгни не составило большого труда установить, что вагоны и не посылались в Миннесоту и что приказ об этом был отдан Каффи Мейгсом; но кто его выполнил, кто замел следы, кто предпринял какие шаги, чтобы сохранить видимость нормальной операции, безропотно, не привлекая внимания более храброго человека, кто фальсифицировал отчеты и куда ушли вагоны – все это, казалось, уже невозможно распутать.

И в течение всей этой ночи небольшая группа отчаянных людей под руководством Эдди Виллерса обзванивала все возможные отделения дороги, все склады, депо, станции, запасные

пути и тупики компании «Таггарт трансконтинентал» в поисках любого вагона под погрузку в пределах видимости и досягаемости. Группа давала распоряжения разгрузиться, сбросить все, освободиться от всего, очиститься и срочно следовать в Миннесоту, а затем продолжала звонить на склады, станции, начальнику каждой уже почти не действовавшей железной дороги по всей территории страны, выпрашивая вагоны для Миннесоты – а Дэгни занималась тем, что пыталась выудить из череды трусливых лиц сведения о передвижении куда-то исчезнувших товарных вагонов.

Дэгни говорила с управляющими железных дорог, богатыми грузоотправителями, вашингтонскими чиновниками и вновь с железнодорожниками – по телеграфу и телефону, разъезжая на машине по следам недосказанных намеков. Поиск приблизился к концу, когда из одного вашингтонского офиса она услышала голос женщины, которая отвечала за связи с общественностью. Злобно поджав губы, та проговорила в телефонную трубку:

– Что ж, вообще-то говоря, можно поспорить, так ли уж необходима для национального благосостояния пшеница, – люди прогрессивных взглядов считают, что, возможно, соя является более ценным продуктом.

И теперь, в полдень, стоя посреди своего кабинета, Дэгни знала, что товарные вагоны, предназначенные для перевозки пшеницы в Миннесоте, посланы за соей с болот Луизианы, выращиваемой там по проекту Матушки Горы.

Первая заметка о катастрофе в Миннесоте появилась в газетах три дня спустя. Сообщалось, что фермеры, ожидавшие на улицах Лейквуда в течение шести дней, разгромили здание местного суда, дом мэра и здание железнодорожной станции. Затем сообщения из Миннесоты внезапно исчезли с газетных полос, газеты замолчали, а потом начали печатать увещевания, призывавшие не верить непатриотическим слухам.

В то время как мукомольные заводы и зерновой рынок страны стонали по телефонам и телеграфу, посылая призывы о помощи в Нью-Йорк и ходатаев в Вашингтон, в то время как ниточки товарных вагонов из отдельных уголков страны поползли, как ржавые трактора, по карте к Миннесоте, пшеницу и надежду всей страны ожидала гибель вдоль пустого пути под несменяемым зеленым светом семафоров, призывающих поезда, которых не было, продолжить свой путь.

На пульте управления «Таггарт трансконтинентал» несколько человек все еще продолжали разыскивать товарные вагоны, повторяя, как радисты на тонущем судне, свои сигналы SOS, которые оставались неслышанными. В депо компаний, которыми владели друзья вашингтонских благодетелей, скопились загруженные вагоны, стоявшие там месяцами, но их владельцы не обращали внимания на гневные требования разгрузить их и сдать в аренду.

– Можете передать этой железнодорожной компании, чтобы она пошла... – Далее шли непечатные слова. Так отозвались братья Сматер из Аризоны на SOS из Нью-Йорка.

В Миннесоте изымались любые вагоны с любого предприятия: с Месаби-Рейндж, с рудников Пола Ларкина, где вагоны стояли в ожидании ничтожного груза руды. Пшеницу засыпали в вагоны из-под руды, из-под угля, в вагоны для перевозки скота, которые при тряске рассыпали золотые ручейки вдоль железнодорожного полотна. Пшеницу засыпали в пассажирские купе – на сиденья, полки, в туалеты, чтобы как-то отправить ее хоть куда-то – даже если в итоге она попадала в придорожную канаву из-за внезапного отказа тормозов или пожара, вызванного воспламенившимися буксами.

Люди боролись за то, чтобы все двигалось, двигалось без мысли о пункте назначения, ради движения как такового, подобно разбитому апоплексическим ударом паралитику, который, понимая, что движение внезапно стало невозможным, пытается побороть это состояние, отчаянно дергая отказавшими конечностями. Других железнодорожных путей не было – Джеймс

Таггарт покончил с ними; на Великих Озерах не было судов – Пол Ларкин разделался с ними. Оставались лишь один рельсовый путь и сеть заброшенных шоссе.

Грузовики и повозки ожидающих своей очереди фермеров вслепую растекались по дорогам – без карт, без бензина, без корма для лошадей; все они двигались на юг, к миражу мукомольных заводов, где-то там, вдалеке ожидавших их; люди не знали, какое расстояние им предстоит преодолеть, но знали, что позади их ожидает смерть, они двигались, завершая свой путь посреди дороги, в оврагах, в провалах прогнивших мостов. Одного фермера нашли в полумиле к югу от останков его грузовика мертвым, лицом вниз, в канаве, все еще сжимавшим мешок пшеницы. Затем над прериями Миннесоты разверзлись хляби небесные; дождь шел, превращая пшеницу в гниль во время ожидания на железнодорожных станциях, он стучал по рассыпанным вдоль дорог кучам, смывая золотые зерна в землю.

Последними запаниковали парни из Вашингтона. Они тоже следили – но не за новостями из Миннесоты, а за хрупким балансом своих знакомств и связей; они взвешивали – не судьбу урожая, а непознаваемый результат непредсказуемых эмоций недумующих людей, обладающих неограниченной властью. Они ждали, они не внимали никаким мольбам, они заявляли:

– О, это смешно, не о чем беспокоиться! Эти ребята, Таггарты, всегда развозили пшеницу по расписанию, они найдут какой-нибудь выход и сейчас.

Потом, когда главный администратор штата Миннесота послал в Вашингтон запрос об использовании армии в борьбе с беспорядками, с которыми он сам не мог справиться, три указа последовали один за другим в течение двух часов, они требовали остановки всех поездов в стране и незамедлительной отправки всех вагонов в Миннесоту. Указ, подписанный Висли Маучем, обязывал немедленно отобрать у Матушки Горы все переданные в ее распоряжение вагоны. Но к этому времени было уже слишком поздно. Зафрахтованные Матушкой вагоны оказались уже в Калифорнии, где сою отправили в одно весьма прогрессивное предприятие, созданное социологами, исповедовавшими культ восточного аскетизма, и бизнесменами, ранее занимавшимися подпольным тотализатором.

В Миннесоте фермеры поджигали собственные фермы, громили элеваторы и дома местных руководителей, устраивали настоящие бои вдоль линии железной дороги – одни, чтобы разрушить и ее, другие, чтобы защитить ее ценой собственной жизни, – и, не добившись ничего, кроме очередного взрыва жестокости, умирали на улицах гибнущих городков и в глухих оврагах бездорожья. Оставался только резкий запах гниющего зерна, собранного в полуистлевшие кучи, и редкие струйки дыма, поднимавшиеся над равниной и стойко державшиеся над чернеющими руинами, – а где-то в Пенсильвании Хэнк Реардэн сидел за столом в своем кабинете и разглядывал список тех, кто обанкротился: производители сельхозтехники, те, с кем так и не расплатились, кто не расплатился с ним и уже не способен расплатиться.

Соя так и не поступила на рынки страны: ее собрали раньше положенного срока, она заразилась грибком и стала непригодной к употреблению.

Вечером пятнадцатого октября в Нью-Йорк-Сити, подземных сводах терминала Таггарта перегорел медный кабель, и цвета семафора умерли.

Перегорел только один кабель, но он вызвал короткое замыкание в единой системе, и сигналы, разрешающие движение или предупреждающие об опасности, исчезли с панелей

контрольных башен, а также с путей. Красные и зеленые линзы остались красными и зелеными, но в них не было живого блеска света, лишь мертвенный взгляд стеклянного глаза. На окраине города, у входа в тоннель «Таггарт трансконтинентал», скопилось несколько поездов, они безмолвно застыли там, подобно крови, которую остановила закупорка вены и которая уже не может поступать в сердце.

В тот вечер Дэгни сидела за столом в банкетном зале ресторана гостиницы «Вэйн-Фолкленд». Воск свечей капал на белую камелию и листья лавра на ножке серебряного канделябра. Арифметические расчеты велись на скатерти из дамасского полотна, окурок сигары плавал в чаше с водой для ополаскивания рук. Напротив нее сидели шестеро мужчин в смокингах: Висли Мауч, Юджин

Лоусон, Флloyd Феррис, Клем Уэзерби, Джеймс Таггарт и Каффи Мейгс.

– Зачем? – спросила она, когда Джим оповестил ее о необходимости присутствовать на этом ужине.

Ну... потому что наш совет директоров должен сойтись на следующей неделе.

Ну и что?

Тебе же интересно, что будет решено по поводу нашей линии в Миннесоте, правда?

А разве это будет решаться на совете директоров?

Ну, не совсем так.

Это будет решаться на этом ужине?

Не совсем так, но... Ну почему тебе всегда нужна такая определенность? Нет ничего определенного. Кроме того, они очень хотят видеть тебя там.

Зачем?

Разве этого недостаточно?

Дэгни не спросила, почему эти люди так любят принимать поворотные решения на такого рода мероприятиях: она знала, что любят. Она знала, что за многословными, тяжеловесными и ничего не решающими заседаниями совета директоров, комитетов и общими дебатами скрываются решения, принятые заранее, украдкой, неофициально, за обедами, ужинами, коктейлями, и чем более сложным было решение, тем случайнее выглядело его принятие. Впервые ее, человека со стороны, противника, пригласили на одну из таких тайных встреч; это, подумала она, равносильно признанию того факта, что она им нужна, возможно, первым знаком, что их сопротивление сломлено; этот шанс упускать было нельзя.

Но сидя в банкетном зале при свете свечей, она явственно ощущала, что никакого шанса у нее нет; все в ней сопротивлялось этому ощущению, потому что она не могла понять его причины. И вместе с тем какая-то неодолимая апатия мешала ей во всем разобраться.

– Я полагаю, вы согласитесь, мисс Таггарт, что экономических оправданий дальнейшей эксплуатации железной Дороги в Миннесоте, кажется, нет, что...

И даже если мисс Таггарт, как я уверен, согласится, что некое временное отступление весьма разумно, до тех пор...

Никто, даже мисс Таггарт, не станет отрицать, что необходимо пожертвовать частью во имя целого...

Слушая упоминания своего имени, вносимого в разговор с интервалом в каждые полчаса, упоминания как будто случайные, причем глаза говорившего никогда не обращались в ее сторону, она раздумывала о том, что же заставило их желать ее присутствия. Они не пытались обмануть ее, заставить поверить в то, что они советуются с ней, гораздо хуже, они пытались обмануть самих себя и убедить себя, что она согласилась. Время от времени они задавали ей вопросы и прерывали ее до того, как она успевала завершить первую фразу ответа. Казалось, они хотят ее одобрения, но не желают знать, согласна она одобрить их или нет.

Какая-то нелепая форма детского самообмана заставила их выбрать для этого случая пышную обстановку официального ужина. Они вели себя так, будто надеялись получить от изысканной роскоши ту власть и честь, продуктом и символом которой эта роскошь когда-то являлась; они вели себя, думала она, как те дикари, которые пожирают тела убитых врагов в надежде обрести их силу и доблесть.

Она сожалела, что выбрала столь элегантный наряд.

Это официальный ужин, – повторил ей Джим, – но не надо заходить слишком далеко... я хочу сказать – не стоит выглядеть слишком богатой... В наши дни деловые люди избегают любого намека на высокомерие... Конечно, не следует выглядеть замарашкой, но если бы ты могла про сто намекнуть на... ну, скажем, смирение, что ли... им бы это понравилось, они почувствовали бы себя большими людьми.

Да ну? – промолвила она, отворачиваясь.

Она надела черное платье, которое выглядело цельным куском ткани, наброшенным на грудь и ниспадающим к ногам мягкими складками греческой туники; оно было из мягкого шелка, настолько легкого и тонкого, что он подо шел бы для пеньюара. Блеск ткани, струящейся и переливающейся при движении, придавал Дэгни такой вид, будто свет зала, где она находилась, принадлежал лично ей, свет был чувственно послушен движениям ее тела, окутывая ее сиянием более роскошным, чем богатая ткань, подчеркивая нежную хрупкость ее фигуры и придавая ей вид настолько естественной элегантности, что она могла позволить себе даже вызывающую небрежность. На ней было всего одно украшение – брошь с бриллиантами сверкала на краю выреза от неприметного чередования вдоха и выдоха, преобразуя, подобно трансформатору, искру в пламя, заставляя окружающих ощущать не драгоценность, а живое дыхание за ней; она сверкала, как боевой орден, как богатство, принявшее форму почетного знака. Других украшений на Дэгни не было, лишь накидка из черного бархата, выглядевшая более вызывающе-аристократичной, чем соболий палантин.

Теперь, оглядывая сидевших перед нею мужчин, она сожалела о том, что так оделась: она чувствовала досаду бессмысленности, будто пыталась бросить вызов восковым фигурам. Она видела безрассудную злобу в их глазах и затаенную безжизненную, бесполоую, грязную улыбку, с какой мужчины смотрят на афишу варьете.

На нас, – говорил Юджин Лоусон, – лежит огромная ответственность принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть миллионов людей, и жертвовать ими, если потребуется, но у нас должно хватить мужества для этого. – Его мягкие губы, казалось, скривились в улыбке.

Единственное, что следует принимать во внимание, – безличным тоном заявил доктор Феррис, пуская к потолку кольца дыма, – это данные о размерах территории и о народонаселении. Поскольку больше невозможно поддерживать как дорогу в Миннесоте, так и трансконтинентальные перевозки по этой дороге, выбор встал между Миннесотой и штатами, расположенными к западу от гор, которые отрезаны в результате катастрофы в тоннеле Таггарта, так же как соседние штаты Монтана, Айдахо, Орегон, что, практически говоря, означает весь Северо-Запад. Если сравнить площади и плотность населения обоих районов, становится ясным, что следует сбросить со счетов Миннесоту, но нельзя отказываться от линий, объединяющих свыше трети континента.

– Континент я не отдам, – сказал Висли Мауч, опустив глаза в вазочку с мороженым, его голос звучал возмущенно и упрямо.

А Дэгни думала о Месаби-Рейндж, последнем из крупнейших месторождений железной руды, о фермерах Миннесоты, которые еще остались, а ведь это лучшие производители пшеницы в стране; она думала, что конец Миннесоты означает и конец Висконсина, а затем Мичигана, Иллинойса, она видела окрашенное в красный цвет замирающее дыхание заводов

индустриального Востока и сравнивала его с необъятными просторами безлюдных песчаных пространств Запада, с тощей травой на покинутых пастбищах и ранчо.

– Цифры показывают, – очень четко произнес мистер Уэзерби, – что поддержка обоих районов, по-видимому, становится невозможной. Пути и оборудование одной линии должны быть демонтированы, чтобы снабдить мате риалами другую.

Дэгни заметила, что Клем Уэзерби, их эксперт по железным дорогам, пользовался среди них наименьшим влиянием, а Каффи Мейгс – наибольшим. Каффи Мейгс сидел, развалившись на своем стуле и с отеческим терпением взирая на их игру в переливание из пустого в порожнее. Говорил он мало, но, когда ему приходилось говорить, его слова звучали как приказ, сопровождаемый презрительной ухмылкой:

Помолчи, Джимми! Или:

Чепуха, Вис, ты в этом ничего не смыслишь!

Она заметила, что ни Джим, ни Мауч не сердились на него. Казалось, они признавали его авторитет; они признавали в нем хозяина.

– Надо быть практичными, – продолжал убеждать доктор Феррис, – надо подходить ко всему с научной точки зрения.

Мне нужна экономика страны в целом, – постоянно повторял Висли Мауч. – Мне нужен весь совокупный национальный продукт.

Разве вы говорите об экономике? О производстве? – спросила Дэгни, когда ее размеренный, холодный голос смог на короткое время привлечь их внимание. – Если это так, то дайте нам сделать все, чтобы спасти восточные штаты. Это все, что осталось от страны... и от всего мира. Если вы позволите нам это спасти, мы получим шанс перестроить все остальное. Если нет – нам конец. Пусть «Атлантик саузерн» позаботится о трансконтинентальном движении, которое все еще существует. Пусть местные железные дороги позаботятся о Северо-Западе. И пусть «Тагтарт транс–континентал» отбросит все остальное – пусть – и оставит все ресурсы, оборудование и рельсы на поддержку железно дорожного сообщения в восточных штатах. Давайте же вернемся к тому, с чего начиналась наша страна, но удержим этот плацдарм. Мы не будем развивать железнодорожное сообщение к западу от Миссури. Мы станем местной железнодорожной линией – линией для индустриального Востока. Давайте спасать нашу промышленность. На Залпа де уже нечего спасать. Мы можем столетиями заниматься сельским хозяйством, используя ручной труд и воловьих упряжки. Но если разрушить последнее в стране промышленное предприятие, столетия усилий не помогут возродить его или накопить экономическую мощь для того, чтобы начать сначала. Как вы считаете, может ли наша промышленность – или железные дороги – выжить без стали? Как вы считаете, можно ли получить сталь, прекратив поставки железной руды? Надо спасать Миннесоту, все, что от нее осталось. Страна? Никакой страны не будет, если погибнет промышленность. Можно пожертвовать рукой или ногой. Но нельзя спасти тело, пожертвовав мозгом или сердцем. Спасите промышленность. Спасите Миннесоту. Спасите Восточное побережье.

Бесполезно. Сколько раз она уже произносила это, со многими подробностями, статистикой, цифрами, доказательствами, которые могла выдавить из своего уставшего мозга в их неслышащие умы. Бесполезно. Они не отвергали, но и не соглашались, они просто смотрели на нее, будто ее аргументы ничего не значили. В их ответах звучал какой-то скрытый смысл, они будто что-то объясняли ей, но ключа, чтобы расшифровать их объяснения, у нее не было.

В Калифорнии беспорядки, – мрачно сказал Висли Мауч. – Законодатели штата реагируют весьма раздраженно. Поговаривают об отделении от Штатов.

Орегон переполнен бандами дезертиров, – осторожно вставил Клем Уэзерби. – За последние три месяца убили двух налоговых инспекторов.

Важность промышленности для цивилизации в значительной степени преувеличена, – задумчиво произнес док тор Феррис. – Страна, ныне известная как Народная Республика Индия, столетиями существовала, не развивая ни какой промышленности.

– Народу пойдет только на пользу, если у него будет поменьше материальных ценностей и побольше возможностей укрепить свой дух лишениями, – небрежно вставил Юджин Лоусон. – Для него это будет благом.

Черт побери, вы что, намерены поддаться уговорам этой дамочки и позволить, чтобы богатейшая страна на свете просочилась у вас сквозь пальцы? – Каффи Мейгс вскочил с места. – Подходящее времечко отказываться от целого континента – ив обмен на что? На маленький, не значительный штат, к тому же насухо выдоенный! Говорю вам: к черту Миннесоту, но сохраните свою железнодорожную сеть. Когда повсюду волнения и беспорядки, вы не сможете держать людей в узде, если у вас не будет сети со общений – военных сообщений, – если вы не сможете за считанные дни перебросить солдат в любую точку континента. Сейчас не время отступить. И не трусьте, не поддавайтесь на ее речи. Вся страна у вас в кармане. Пусть так и останется.

Но в конечном счете... – неопределенно начал Мауч.

В конечном счете мы все порем, – оборвал его Каффи Мейгс. Он нетерпеливо мерил шагами зал. – Отступить, окопаться – черта с два! В Калифорнии, и в Орегоне, и во всех этих местах еще много чего можно взять. Я вот что считаю: стоит подумать о расширении, экспансии – пока дела обстоят таким образом, никто не сможет нас остановить... перед нами Мексика, возможно, Канада – это будет проще простого.

Теперь она знала ответ: знала, какая тайна стояла за их словами; несмотря на все их туманные заявления о преданности веку науки, их крикливый технический жаргон, их циклотроны и «ксифоны», стремление идти вперед у этих людей вызывал не зов промышленных горизонтов, а образ той формы существования, которую успехи промышленности свели на нет, – образ не признающего гигиены толстого индийского раджи, пустые глаза которого в ленивом бессилии уставились на мир из вонючих складок плоти и которому только и оставалось что пересыпать драгоценные камни сквозь пальцы и время от времени тыкать ножом в тело голодающего, изнуренного трудами и болезнями создания, требуя от него и от сотен миллионов таких же созданий еще немного риса, и таким образом заставить рисовые зерна обратиться в драгоценные камни.

Дэгни думала, что промышленное производство является ценностью, которой не оспаривал никто; она думала, что стремление этих людей отнять заводы у других можно объяснить их пониманием ценности заводов. Но эти люди в глубине своих скрытых душонок знали, – не посредством разума, а посредством какой-то безымянной дряни, которую они называли своими инстинктами или эмоциями, – знали то, о чем Дэгни, дитя промышленной революции, и помыслить не могла, что считала канувшим в Лету вместе с легендами об астрологии и алхимии: пока человек борется за жизнь, он никогда не будет производить меньше того, чего не мог бы отобрать другой человек, вооруженный дубинкой, оставив производителю лишь жалкие крохи, при условии, конечно, что миллионы производителей готовы подчиниться; что чем тяжелее труд и чем меньше они получают, тем более покорными становятся их души, что люди, которые живут, нажимая на кнопки пульта управления, не так легко подчиняются, как те, кто разгребает землю голыми руками, что феодальные бароны не нуждались в оснащенных электроникой заводах, чтобы пропивать свои последние мозги из драгоценных кубков, и радже из Народной Республики Индия такие заводы тоже не нужны.

Она понимала, чего они хотят и к какой цели ведут их инстинкты, которые они называли бессознательными. Она понимала, что Юджин Лоусон, гуманист, наслаждается при мысли о голоде, а доктор Феррис, человек науки, мечтает о том дне, когда люди вернутся к ручному

плугу.

Она испытывала одновременно изумление и безразличие: изумление, потому что она не могла взять в толк, что может привести человека к такому состоянию, безразличие, потому что не могла больше считать того, кто достиг этого состояния, человеком. Они продолжали говорить, но она не могла уже ни слушать, ни спорить с ними. Она вдруг поняла, что чувствует лишь одно желание: вернуться домой и уснуть.

– Мисс Таггарт, – услышала она за спиной вежливо безличный, слегка обеспокоенный голос; она подняла голову и увидела почтительно склоненную фигуру официанта, – заместитель управляющего терминалом Таггарта у телефона. Он просит разрешения переговорить с вами по срочному делу. Прямо сейчас.

Для нее было большим облегчением встать и выйти из этого зала, даже если речь пойдет о каком-нибудь новом несчастье. Большим облегчением было слышать голос заместителя управляющего, хотя он начал со слов:

– Система последовательного включения сигналов вышла из строя. Семафоры не работают. Сейчас задержаны восемь прибывающих и шесть отправляющихся поездов. Мы не в состоянии ввести или вывести их из тоннелей, мы не можем найти главного инженера, не можем обнаружить обрыв в цепи, у нас нет медного кабеля для ремонта, мы не знаем, что делать, мы не...

– Я сейчас буду, – сказала она и положила трубку. Она поспешила к лифту, а потом почти бегом пронеслась через величественный вестибюль «Вэйн-Фолкленд», чувствуя, как возвращается к жизни, едва возможность действовать позвала ее.

В последние дни такси стали редкостью, и ни одна машина не подъехала к подъезду, откликаясь на свисток швейцара. Дэгни быстро вышла на улицу, забыв, как одета, и удивившись тому, что ветер показался ей слишком холодным и вольно обращающимся с ее одеждой.

Задумавшись о том, что ее ждет на терминале, она почти испугалась красоты мелькнувшего перед ней видения: она увидела стройную фигуру женщины, спешившей ей навстречу, луч уличного фонаря скользнул по блестящим волосам, обнаженным рукам, слив воедино движение ее черной накидки, пламень бриллианта на ее груди, длинный пустынный коридор городской улицы позади нее и небоскребы, выделенные редкими точками света. Понимание, что она видит собственное отражение в витрине цветочного магазина, пришло мгновением позже, – она успела почувствовать очарование картины, в которую вошли и этот образ, и окружающий ее город. Затем она почувствовала укол грустного одиночества, одиночества более беспредельного, несравнимого с пространством пустой улицы, – и укол поднимавшегося в ней гнева на себя, на абсурдный контраст между ее внешностью и окружавшей ее ночью – ночью времени, в котором ей выпало жить.

Она заметила огибавшее угол такси, помахала ему рукой, вскочила в него и сильно хлопнула дверцей, отсекая чувство, вспыхнувшее в ней на пустом тротуаре у витрины цветочного магазина. Но она знала, несмотря на всю горечь, тоску и насмешку над собой, что это чувство сродни чувству ожидания, которое она испытывала на своем первом балу и в те редкие моменты, когда ей хотелось, чтобы внешняя красота окружавшей ее жизни соответствовала ее внутреннему великолепию. Нашла время думать об этом! – издеваясь над собой, подумала она. Не сейчас! – в гнев кричала она самой себе, в то время как спокойный печальный голос продолжал задавать свои вопросы под шелест колес такси. Вот ты, верившая, что должна жить лишь для своего счастья, что у тебя от него осталось? Чего ты достигла своей борьбой? Да, да! Скажи-ка честно: что тебе до всего этого? Или ты стала одним из тех выживших из ума альтруистов, которым больше незачем задумываться об этом?.. Не сейчас! – приказала она себе, когда в лобовом стекле автомобиля возник ярко освещенный въезд в терминал «Таггарт

трансконтинентал».

Люди в офисе заместителя управляющего терминалом напоминали вышедшие из строя семафоры, будто и здесь произошел разрыв в цепи и отсутствие живого тока не позволяло им двигаться. Они глазели на нее в каком-то оцепенении, словно им было все равно, оставит ли она их в покое, или заставит двигаться.

Управляющего терминалом не было на месте. Главного инженера не могли отыскать, его видели часа два назад. Заместитель управляющего исчерпал всю свою инициативу и энергию, вызвавшись позвонить ей. Остальные даже не пытались что-либо предложить. Инженер службы сигнализации, мужчина, на четвертом десятке сохранивший внешность студента, продолжал воинственно повторять:

– Но этого никогда раньше не случалось, мисс Таггарт! Система последовательного включения сигналов никогда не отказывала. Она безотказна. Мы знаем свое дело. Мы можем позаботиться обо всем, как и всякий другой, но ведь система отказала, хотя ей этого не полагается делать.

Дэгни не могла понять, сохранил ли диспетчер, пожилой человек, за плечами которого были годы работы на железной дороге, способность мыслить, но пытается скрыть это, или же за те месяцы, пока ему приходилось скрывать это, он полностью потерял сообразительность, позволив себе загнивать в безопасности.

Мы не знаем, что делать, мисс Таггарт.

Мы не знаем, к кому обращаться и за какой по мощью.

Нет никаких инструкций, как вести себя в такой чрезвычайной ситуации.

– Нет даже указаний о том, кто должен давать указания в подобном случае.

Она выслушала, молча, ничего не объясняя, подошла к телефону, приказала телефонисту соединить ее с ее коллегой в «Атлантик саузерн», в Чикаго, позвонить ему домой, вытащить его, если потребуется, из постели.

– Джордж? Дэгни Таггарт, – произнесла она, когда в трубке прозвучал голос коллеги. – Не одолжишь ли мне инженера службы сигнализации со своего терминала Чарльза Мюррея на сутки?.. Да... Так... Посади его на самолет и доставь сюда как можно быстрее. Скажи ему, что мы платим три тысячи долларов... Да, за один день... Да, так скверно... Да, я заплачу ему наличными из собственного кармана. Я заплачу, если понадобится дать взятку, чтобы он сел на самолет, но отправь его первым же рейсом из Чикаго... Нет, Джордж, никого... в «Таггарт трансконтинентал» не осталось ни одного умеющего думать работника... Да, я сделаю все бумаги, разрешения, исключения и позволения для чрезвычайных случаев... Спасибо, Джордж. Пока.

Она повесила трубку и быстро заговорила с присутствующими в помещении, где уже не слышалось звука бегущих колес, чтобы не слышать тишины в комнате и на терминале, не слышать горьких слов, которые, казалось, повторяла тишина: в «Таггарт трансконтинентал» не осталось ни одного умеющего думать работника...

– Немедленно подготовьте ремонтный состав и бригаду, – приказала она. – отошлите их на линию Гудзон с наказом обрывать каждый кусочек медного кабеля, с ламп, семафоров, телефонов, всего, что является собственностью компании. Чтобы сегодня все было здесь.

Но, мисс Таггарт! Обслуживание линии Гудзон прекращено лишь временно. И Стабилизационный совет отказался выдать нам разрешение на демонтаж линии!

За это несу ответственность я.

Но как мы доставим оттуда ремонтный состав, если не будет никаких семафоров?

Через полчаса будут.

– Как?

– Идите за мной, – сказала она, вставая.;• Они последовали за ней, и она торопливым шагом двинулась вдоль платформы, мимо суетившихся толп пассажи ров возле неподвижных поездов. Она спешила по узким переходам, через переплетение рельсов, мимо слепых семафоров и бездействовавших стрелок. И только перестук ее атласных туфель, сопровождаемый глухим скрипом ступенек под более медлительными шагами мужчин, следовавшими за ней запоздалым эхом наполнял высоченные своды подземных тоннелей «Таггарт трансконтинентал», – она спешила к освещенному стеклянному кубу диспетчерской башни А, которая висела в темноте, подобно одинокой короне – короне низложенных властителей королевства опустевших путей.

Главный диспетчер был слишком опытным работником на месте, слишком ответственным, чтобы быть в состоянии полностью скрыть опасный груз своего разума. Он понял, что от него требуется, как только Дэгни начала говорить, и ответил лишь отрывистым «да, мэм», тут же склонившись над своими графиками. В то время как другие последовали за Дэгни вверх по металлической лестнице, он уже мрачно сидел за самыми оскорбительными расчетами, какие ему приходилось делать за все время своей долгой карьеры. Дэгни догадалась, насколько глубоко он это осознал, по единственному взгляду, который он бросил на нее, взгляду, выражавшему и возмущение, и усталость, которые вполне могли сравниться с чувствами, которые он прочел на ее лице.

Сначала мы это сделаем, а наши чувства – потом, – сказала она, хотя он не промолвил ни слова.

Да, мэм, – деревянным голосом ответил он.

Его офис на самом верху подземной башни напоминал застекленную веранду, выходящую на то, что некогда представляло собой самый стремительный, самый обильный и упорядоченный поток в мире. Его учили прокладывать маршруты более девяноста поездов в час и следить за тем, чтобы они безопасно проходили лабиринты путей и стрелок при входе и выходе из терминала с помощью стеклянных стен и кончиков его пальцев. Теперь же он впервые разглядывал пустую темноту иссякшего русла.

Через открытую дверь диспетчерской Дэгни увидела, что диспетчеры мрачно стоят без дела; люди, работа которых не позволяла им расслабиться даже на секунду, стояли возле длинных рядов чего-то напоминавшего вертикальные медные пластины, подобные книгам на полках и также являвшиеся памятником человеческого разума. Один из рубильников, которые выступали из полок, приводил в действие напряжение тысяч электрических проводов, создавал тысячи контактов и прекращал тысячи других, переключал десятки стрелок, чтобы расчистить выбранный маршрут, и зажигал десятки семафоров, не оставляя возможности для ошибок и противоречий, – бесконечная сложность мысли, сконцентрированная в едином движении человеческой руки, чтобы установить и обеспечить маршрут каждого поезда, мимо которого несутся сотни других, тысячи тонн металла и человеческих жизней, проносящихся на расстоянии человеческого дыхания друг от друга и охраняемые только мыслью, мыслью человека, работающего с рубильниками. Но они – Дэгни взглянула в лицо инженера службы сигнализации, – они верят, что сокращение мышц руки – это единственное, что необходимо, чтобы руководить движением поездов; и вот теперь диспетчеры стоят без дела, а на большой панели напротив башни главного диспетчера некогда зеленые и красные огни, чей свет извещал о приближении поезда за много миль, представляют собой лишь стеклянные бусины, подобие других стеклянных бус, за которые другое племя дикарей некогда продало остров Манхэттен*.

– Созовите всех неквалифицированных рабочих, – обратилась она к помощнику управляющего терминалом, – подсобников, путевых обходчиков, мойщиков локомотивов, всех, кого сможете найти, и пусть они немедленно соберутся здесь.

Здесь?

Здесь, – ответила она и показала на пути у подножья башни. – Позовите и стрелочников. Позвоните на склад и распорядитесь принести все фонари, которые только можно найти, любые – кондукторские, штормовые, все.

Фонари, мисс Таггарт?

Отправляйтесь.

Да, мэм.

Что мы собираемся делать, мисс Таггарт? – спросил диспетчер.

Мы собираемся двинуть поезда, и мы будем делать это вручную.

Вручную? – поразился инженер службы сигнализации.

Да, дружок! А вы-то почему так шокированы? – Она не могла сдержать то, что в ней накопилось. – Мужчина – это ведь только мышцы, разве нет? А мы возвращаемся назад, к тому времени, когда не было ни соединительных систем, ни семафоров, ни электричества, к тому времени, когда связь осуществлялась не сталью и проволокой, а людьми, держащими фонари. Живыми людьми, которые служили фонарными столбами. Вы до статочно долго к этому стремились – вот и получайте что хотели. Ах, вы полагали, что ваши орудия труда сформируют ваше сознание? Но все вышло наоборот – и теперь вы увидите, что за орудие труда породило ваше сознание!

Однако даже возвращение назад требует мыслительной деятельности, подумала она, глядя на безразличные лица окружавших ее людей и чувствуя, что сама оказалась в парадоксальной ситуации.

А как переводить стрелки, мисс Таггарт?

Руками.

А подавать сигналы?

Руками.

Но как?

Поставив человека с фонарем у каждого семафора.

Но как? Там не разойтись.

Используйте соседнее полотно.

Как люди узнают, когда переключать стрелки?

По письменному распоряжению.

То есть?

По письменному распоряжению – как в старое время. – Она указала на главного диспетчера. – Сейчас он работает над расписанием, рассчитывает, как двигать поезда и какие пути использовать. Он напишет инструкции для каждой стрелки и семафора, отберет несколько связных, и они займутся доставкой инструкций на каждый железнодорожный пост – это займет часы вместо привычных минут, но мы выведем все ожидающие поезда на терминал, а по том – на линию.

Так что, мы так и будем работать всю ночь?

И весь завтрашний день – пока инженер, у которого хватит на это мозгов, не покажет вам, как исправить систему.

Но в профсоюзном договоре ничего не говорится о людях, стоящих с фонарями. Могут быть неприятности. Профсоюз будет недоволен.

Пусть они найдут меня.

Стабилизационный совет будет возражать.

Я за это отвечу.

Ладно, но мне не хотелось бы, чтобы подумали, что это я отдаю приказ.

Приказ отдаю я.

Она вышла на площадку боковой металлической лестницы; ей нужно было взять себя в руки. На мгновение ей показалось, что она тоже стала точнейшим инструментом, сработанным по высочайшей технологии, который, оставшись без электроснабжения, пытается управлять трансконтинентальной линией с помощью собственных рук. Она вглядывалась в безмолвную непроглядную тьму подземных помещений терминала «Таггарт трансконтинентал» и чувствовала жгучую боль от унижения, что вынуждена опуститься до того, чтобы использовать вместо фонарных столбов людей, которые будут стоять в тоннеле как статуи на могиле «Таггарт трансконтинентал».

Она едва различала лица людей, собравшихся у подножья башни. Они молча возникали из темноты и неподвижно стояли в белесом мраке, освещаемые только синими лампочками на стенах за их спинами и пятнами света, падавшими на их плечи из окон башни. Она видела только грязную одежду, поникшие мускулистые тела, безвольно висевшие руки людей, измотанных неблагоприятной утомительной работой, не требовавшей усилий мысли. Перед ней стояли самые жалкие люди на железной дороге: люди помоложе, которые уже не имели возможности продвинуться, и люди постарше, которые никогда и не хотели этого. Они стояли молча – не как желающие узнать, в чем дело, рабочие, а как потерявшие ко всему интерес заключенные.

– Указания, которые вы сейчас получите, исходят от меня, – начала она четким, звенящим голосом, стоя над ними на площадке металлической лестницы. – Люди, которые доведут их до вас, выполняют мои инструкции. Вы шла из строя система переключения семафоров. Ее работу будете выполнять вы. Железнодорожное сообщение будет восстановлено немедленно.

Она заметила в толпе лица, смотревшие на нее как-то необычно – с плохо скрываемой злобой и каким-то наглым любопытством, это заставило ее внезапно ощутить себя женщиной. Затем она вспомнила, как одета, подумала, что это придает ей нелепый вид, и, внезапно ощутив приступ злости, отбросила накидку – дерзко и с полным пониманием значимости момента, – оставшись под резким светом лампы, среди покрытых сажей колонн, в облике участницы официального приема. Она стояла, гордо выпрямившись, являя окружающим роскошь своих обнаженных плеч, блестящий черный атлас платья и бриллиант, сверкавший, как орден за боевые заслуги.

– Главный диспетчер укажет стрелочникам их посты. Он отберет людей, которые будут подавать сигналы поездам с помощью фонарей, и связанных для передачи своих указаний. Поезда будут...

Она пыталась подавить в себе полный горечи голос, который, казалось, твердил: «Это единственное, на что они способны, да и то вряд ли... в „Таггарт трансконтинентал“ не осталось ни одного умеющего думать работника...»

– Поезда продолжат свой маршрут как на терминал, так и из него. Вы останетесь на своих постах, пока...

Внезапно она замолчала. Сначала она увидела его глаза, безжалостно-проницательные глаза, и золотисто-медные волосы, словно излучающие солнечный свет во мраке подземелья, – среди безмозглого стада она увидела Джона Галта в засаленной спецовке с закатанными рукавами, увидела, как он почти невесомо стоит на земле, увидела его поднятое кверху лицо и смотревшие на нее глаза, как будто он уже видел все происходящее много раньше.

– Что с вами, мисс Таггарт?

Она услышала мягкий голос главного диспетчера, стоявшего возле нее с какой-то бумагой в руке, и подумала, как странно вынырнуть из краткого мига забытья, ставшего в то же время мигом величайшего прозрения, – она не могла понять, как долго он длился, где она находится и зачем. Она была уверена, что увидела лицо Галта, его изгиб рта, его очертания скул, выражение

свойственного ему незыблемого спокойствия, которое он сохранил во взгляде, словно помня о разрыве и допуская, что этот момент оказался не под силу даже ему.

Она знала, что продолжает говорить, потому что окружавшие ее люди выглядели так, будто слушают ее, хотя сама она не слышала ни звука. Она продолжала говорить, как будто выполняя приказ, который дала сама себе под гипнозом бесконечно давно, зная только, что этот приказ был своего рода вызовом ему, хотя она не понимала и не слышала собственных слов.

Ей казалось, что она стоит в сияющем молчании, где из всех чувств у нее осталось только зрение, и этим зрением она могла видеть только его, и вид его был подобен речи, замершей в горле. Его присутствие здесь казалось таким естественным, таким невыносимо простым, что ее поражал не этот факт, а присутствие всех остальных на железнодорожных путях, как будто здесь было место только ему, и никому другому. Перед ее мысленным взором проносились те мгновения, когда она ехала в поезде и поезд нырял в тоннель, и она внезапно ощущала приподнятое чувство напряженности, как будто эти тоннели являли в обнаженном виде суть ее железной дороги и ее жизни, союз мысли и материи, застывшие результаты работы творческой мысли, воплощавшие поставленную цель; она ощущала поднимающуюся в ней надежду, будто эти тоннели воплощали в себе все ее ценности, и чувство тайного возбуждения, будто исполнение невысказанных желаний ожидало ее под землей, – и правильно, что именно здесь она встретила его, он воплощал собой и обещание, и исполнение желаний; она уже не видела его одежды, его фигуры, уменьшенной разделявшим их расстоянием, – ее взору предстали только мучения целого месяца, с тех пор как она видела его в последний раз, и она видела на его лице исповедь о том, чего стоил этот месяц ему. И она словно слышала свои слова, обращенные к нему: «Это награда за всю мою жизнь», – и ответ: «И за мою тоже».

Она поняла, что уже закончила разговор с рабочими, увидев, что главный диспетчер выступил вперед и что-то говорит, сверяясь с бумажкой в руке. Потом, движимая чувством все подавляющей уверенности, она поняла, что спускается по лестнице, оставила позади толпу и направилась не к платформе и выходу, а в темноту пустых тоннелей. Ты должен последовать за мной, думала она, чувствуя, что мысль нашла выражение не в словах, а в напряжении мышц, воли, чтобы выполнить то, на что у нее не хватит сил, и все же она твердо знала, что это будет выполнено ее волей. Нет, подумала она, не волей, но абсолютной правильностью этого действия. Ты должен последовать за мной – это не было ни мольбой, ни просьбой, ни требованием, лишь констатацией факта, в которой сосредоточилась вся мощь ее знаний, знаний, которые она усвоила за свою жизнь. Ты должен последовать за мной, если ты тот, кто ты есть, если мы, ты и я, живем, если существует мир, если ты осознаешь значение этого момента и не дашь ему ускользнуть, как позволяют себе сделать другие, в бессмысленность нежеланного и недостигнутого. Ты должен последовать за мной – она чувствовала переполнявшую ее уверенность, испытывала не надежду, не веру, лишь преклонение перед логикой бытия.

Она быстро шла по заброшенным путям, опускаясь все ниже по извивавшимся в гранитной тверди длинным, темным коридорам. Она уже не слышала за спиной голоса главного диспетчера. Затем она почувствовала удары собственного сердца и услышала, как ответ, биение в том же ритме пульса города над головой, она ощущала его, как ток собственной крови, как звук заполнивший темноту, а шум города – как биение собственного пульса; далеко за собой она различила звук шагов. Она ускорила шаг.

Дэгни прошла мимо закрытой железной двери, где все еще лежали спрятанные останки его двигателя. Она не приостановилась, лишь слегка вздрогнула, словно отвечая на внезапное озарение, логически соединившее все события последних двух лет. Ряд синих огоньков уходил в темноту, над пятнами блестящего гранита, над разорванными мешками песка, рассыпанного по рельсам, над грудями лома. Услышав невдалеке приближавшиеся шаги, Дэгни остановилась и

оглянулась.

Она увидела, как отблески синего света скользнули по сияющим прядям волос Галта, она различила очертания его лица и темные впадины на месте глаз. Лицо исчезло, но звук шагов стал связующим звеном между ними до следующей вспышки синего света, осветившего его устремленные вперед глаза, – и она уже была уверена, что остается в поле его зрения с того момента, когда он увидел ее там, у башни.

Она слышала ритм города над головой. Эти тоннели, Думала она, когда-то были корнями города и истоком всего его движения, простиравшегося до неба. Но мы, думала она, Джон Галт и я, были движущей силой этих корней, их началом, целью и смыслом, он тоже, думала она, ощущал пульс города как свой собственный.

Она откинула капюшон и с вызовом остановилась, как тогда, когда он увидел ее на площадке башни, как тогда, когда он увидел ее в первый раз, десять лет назад, здесь же, под землей. Она слышала его исповедь, но не в словах, а в пульсирующих толчках своей крови, которые затрудняли дыхание: «Ты выглядела как символ роскоши и принадлежала тому, что было ее источником... Казалось, ты возвращала радость жизни ее настоящим владельцам... ты выглядела одновременно и источником энергии, и тем, что она дает... и я был первым среди тех, кто отметил, что эти оба момента неразделимы».

Потом она ощутила нечто подобное вспышкам света, перемежающимся с забытьем; вот она увидела его лицо совсем рядом, различила его невозмутимое спокойствие, сдерживаемое напряжение, улыбку понимания в темно-зеленых глазах; вот поняла, что он увидел в ее глазах, поняла по его стиснутым шершавым губам; вот почувствовала, как к ее губам прижались его губы; потом его губы двинулись вниз по ее горлу, и, наконец, она увидела сияние своей бриллиантовой броши на вздрагивавшей меди его волос.

Потом она уже не осознавала ничего, кроме ощущения своего тела, которое внезапно обрело силу непосредственно постигать ее самые глубинные ценности. И подобно тому, как ее глаза превращали световые волны в изображение, а уши преобразовывали колебания в звук, ее тело вдруг обрело способность превращать нравственную силу в непосредственное чувственное восприятие. Ее заставляло дрожать не прикосновение его рук, а сумма всего, что для нее составляло его прикосновение, знание, что это его рука, движения которой говорили ей, что теперь она принадлежит ему; этим прикосновением он как бы расписывался на документе, удостоверявшем, что он принимает все то, что есть она, Дэгни Таггарт. Она ощущала физическое наслаждение; но оно включало в себя и преклонение перед ним, перед всем, что олицетворяли его личность и его жизнь начиная с того вечера, когда на заводе в Висконсине проходило общее собрание, и до Атлантиды, скрытой в долине Скалистых гор, до торжествующей насмешливости его зеленых глаз, полных высочайшего интеллекта, глаз рабочего, стоявшего в толпе перед башней; оно включало в себя и гордость от осознания, что именно ее он выбрал, чтобы она стала его отражением, чтобы именно ее -тело дарило ему полноту жизни, так же как его тело дарило полноту жизни ей. И все это вбирали в себя ее ощущения – при этом она понимала, что ощущает только прикосновение его руки к своей груди.

Он сорвал с нее накидку, и она почувствовала стройность собственного тела, потому что ее обнимали его руки, как будто весь он был лишь инструментом, с помощью которого она смогла наполнить свою душу торжествующим осознанием самой себя, но, в свою очередь, и она сама словно превратилась в инструмент для осознания его личности. Как будто она достигла предела своей способности чувствовать, и все же то, что она чувствовала, было подобно крику нетерпеливого желания, которое она все еще не могла точно определить, понимала лишь, что оно такое же энергичное, как и вся ее жизнь, такое же неутолимое, как жажда получить от жизни все лучшее.

Он откинул ее голову назад, чтобы заглянуть ей в глаза и чтобы она тоже увидела его глаза, чтобы дать ей осознать полное значение того, что они делают, словно освещая светом сознания встречу их глаз в это мгновение наивысшей близости, превосходящей ту близость, которую им суждено будет испытать в следующий миг.

Затем она почувствовала, что ее плечи царапает грубая мешковина, и поняла, что лежит на рваных мешках с песком, увидела блеск своих чулок. Она почувствовала, что его рот коснулся ее лодыжки и мучительно продвигается вверх по ее ноге, как будто запечатлевая ее контуры губами; она ощутила, что ее зубы впились в плоть его руки, затем его локоть отстранил ее голову и его рот овладел ее губами еще более мучительно и сильно, чем ее; и когда у нее перехватило горло, то, что она ощущала как восходящее движение, вдруг освободило и спланило ее тело в единый порыв наслаждения; и она уже больше ничего не воспринимала, только вздрагивание его тела и жажду обладания, которая все росла и росла, как будто она перестала быть собой и превратилась в одно чувство бесконечного стремления к невозможному, – и она поняла, что невозможное возможно, и, глубоко вздохнув, осталась лежать спокойно, понимая, что ничего большего желать невозможно.

Галт лежал возле нее на спине, глядя на темный гранитный свод над ними, и она увидела, как он раскинулся по неровностям рваной мешковины, будто его тело, расслабившись, стало текучим, она увидела черный треугольник своей накидки, отлетевшей на рельсы у их ног; на сводах тоннеля поблескивали капельки сырости, они медленно смещались, скрываясь в невидимых трещинах, подобно огонькам машин на дальних дорогах. Когда Галт заговорил, его голос звучал так, будто он спокойно договаривал фразу в ответ на теснившиеся в ее голове вопросы, будто ему больше нечего было скрывать от нее, и теперь он уже не имеет права не обнажить перед ней свою душу, – так же просто, как он мог теперь обнажить перед ней свое тело:

– ...вот так я и следил за тобой в течение десяти лет... отсюда, из-под земли под твоими ногами... зная о каждом твоем шаге там, наверху, в твоем кабинете, но я никогда не видел тебя, не видел так, как хотел... Десять лет, ночи которых я провел, надеясь увидеть тебя хоть на минуту здесь, на платформе, когда ты садишься в поезд... Всякий раз, когда приходил приказ прицепить твой вагон, я всегда знал об этом и ждал, чтобы увидеть, как ты спускаешься по лестнице, и хотел, чтобы ты шла не так быстро... Как она идет тебе, твоя походка. Я ни с чем ее не спутаю... твою походку и твои ноги... Я всегда видел сначала твои ноги, спешащие по лестнице, проходившие мимо меня, пока я глядел на них с запасного пути, там, внизу, в темноте... Думаю, я мог бы отлить их в бронзе. Я помнил их не глазами, а ладонями – когда ты проходила мимо... когда я шел на работу... когда возвращался домой перед рассветом, намереваясь поспать часа три, – только я не мог уснуть...

– Я тебя люблю. – Она говорила спокойным голосом, почти без выражения, в нем звучала только хрупкая нотка юности.

Он закрыл глаза, будто давая звуку ее голоса пройти сквозь разделявшие их годы.

– Десять лет, Дэгни... и лишь раз мне выпало несколько недель, когда ты была передо мной, я видел тебя совсем рядом, и ты никуда не спешила, когда я мог просто оставаться на месте и смотреть, как на освещенную сцену; это походило на спектакль для меня одного... и я смотрел на тебя часами много вечеров подряд... в освещенном окне офиса компании под названием «Джон Галт лайн инкорпорейтэд»... И как-то вечером...

Ее дыхание почти замерло.

Так это ты приходил тем вечером?

Ты что, видела меня?

Я видела твою тень на тротуаре... Она мелькала туда– сюда... Это выглядело как борьба...

как... – Она замолчала, она не хотела произносить слово «мучение».

Так и было, – спокойно подтвердил он. – В тот вечер я хотел прийти к тебе, посмотреть на тебя, поговорить... Тем вечером я едва не нарушил свою клятву, когда увидел, как ты дремлешь за своим столом, увидел, что ты почти раздавлена той ношей, что взвалила на себя...

Джон, тем вечером я думала именно о тебе... только я не знала...

Но, понимаешь, об этом знал я.

...не знала, что это ты, и вся моя жизнь, все, что я де лала, и все, чего я хотела...

Я знаю.

Джон, самое трудное было не тогда, когда я простилась с тобой в долине... а когда...

Когда ты, вернувшись, выступила по радио?

Да! А ты слушал?

Конечно. Я рад, что ты это сделала. Это было совершенно великолепно. А я... я знал это.

Знал... о Хэнке Реардэне?

До того, как увидел тебя в долине.

– Ты... Когда ты узнал о нем, это оказалось для тебя неожиданностью?

– Да.

Было ли?.. – Она запнулась.

...мне тяжело? Да. Но только несколько первых дней. В следующую ночь после этого...

Хочешь, я расскажу тебе, что делал в ту ночь, когда узнал об этом?

– Да – Я никогда не видел Хэнка Реардэна, только его фото графии в газетах. Я узнал, что в тот вечер он поехал в Нью-Йорк на какое-то совещание крупных промышленников. Мне захотелось взглянуть на него. Я отправился в отель, где проходило совещание, чтобы подождать его у входа. Подъезд был ярко освещен, но вокруг стояла темнота, по этому я мог все видеть, оставаясь невидимым. У входа шаталось несколько зевак, а мелкий дождик заставлял прохожих держаться поближе к стенам домов. Участников совещания, выходящих из отеля, легко было узнать по одежде и манерам – сверхроскошная одежда и сочетание властности и робости – как будто они изо всех сил притворялись и из-за этого чувствовали себя виноватыми. Тут находились водители, ожидавшие их в автомобилях, несколько репортеров, пытавшихся остановить их, чтобы задать свои вопросы, и непрощенные поклонники, жаждущие услышать от них хотя бы слово. Эти промышленники оказались измученными людьми почтенных лет, рыхлые, лихорадочно стремящиеся скрыть свою неуверенность. А потом я увидел его. На нем был дорогой плащ и надвинутая на глаза шля па. Он шел быстрым шагом, с уверенностью, которая должна быть заслужена, и он ее заслужил. Кое-кто из знакомых промышленников набросился на него с вопросами, и эти киты индустрии, разговаривая с ним, ничем не отличались от снующих тут же прилипал. Я взглянул на него – он сто ял с поднятой головой, взявшись одной рукой за ручку дверцы своей машины. Я увидел беглую улыбку под надвинутой на глаза шляпой, улыбку уверенного в себе человека, нетерпеливого и слегка забавляющегося. А затем на какое-то мгновение я сделал то, чего никогда не делал раньше, чем грешит большинство людей, портя этим себе жизнь: я увидел этот момент вне его контекста, я увидел мир таким, каким он заставил его выглядеть, как будто он стремился привести его в соответствие с собой, как будто он олицетворял его. Я увидел мир свершений, неукротенной энергии, дороги без препятствий, ведущей через годы к радостям награды за свой труд; я увидел, пока стоял под дождем в толпе зевак, что принесли бы мне мои годы, если бы такой мир существовал, и почувствовал отчаянную тоску, ведь он был воплощением того, чем должен был быть я... имел все, что надлежало иметь мне... Но это длилось лишь долю секунды. Затем я увидел все то же самое, но уже в реальном виде и истинном значении – я увидел, какую цену он платит за свои блестящие способности, какие мучения он переносит, в молчаливом изумлении

пытаясь понять то, что я-то уже понял. Я увидел мир, к которому он стремится, но который еще не создан и не существует, я вновь увидел его, но уже тем, кем он являлся – символом моей борьбы, героем, не получившим вознаграждения, за которого я должен отомстить и которого должен освободить; и тогда... тогда я принял то, что узнал о тебе и о нем. Я увидел, что это ничего не изменило, что мне следовало этого ожидать... так оно и должно быть.

Он услышал ее слабый стон и мягко рассмеялся:

– Дэгни, это не значит, что я не страдал, это значит, что я знаю, что с болью надо бороться и надо отбросить ее. нельзя принимать ее как составную часть своей души, как постоянный шрам своих представлений о жизни. Не надо меня жалеть. Страдание сразу же оставило меня.

Она обернулась и молча взглянула на него, он улыбнулся, приподнявшись на локте, чтобы увидеть ее лицо, а она лежала замерев, не в силах пошевелинуться. Она прошептала:

– Ты был путевым рабочим здесь... здесь!.. Двенадцать лет...

– Да.

– Сразу же после...

Сразу же после того, как оставил «Твентис сенчури мотор».

В ту ночь, когда ты увидел меня в первый раз... ты ведь уже работал здесь?

Да. А в то утро, когда ты захотела наняться ко мне в прислуги, я все еще оставался твоим путевым рабочим, находящимся в отпуске. Теперь ты понимаешь, почему я так смеялся.

Она все еще смотрела на его лицо; улыбка на ее лице выражала страдание, а его улыбка излучала чистую радость.

Джон...

Говори. Только говори все.

– Ты был здесь.. И все эти годы...*: -Да –...все эти годы... когда погибала железная дорога...! когда я искала людей с интеллектом... боролась, пытаюсь удержать всякого, в ком оставалась хоть капелька ума, и если находила...

– ...когда ты прочесывала страну в поисках изобретателя моего двигателя, когда ты кормила Джеймса Таггарта и Висли Мауча, когда ты назвала свое высшее достижение именем врага, которого хотела уничтожить.

Она закрыла глаза.

– Я был здесь все эти годы, – продолжал он, – сов сем рядом, в твоём царстве, наблюдая твою работу, твоё одиночество, твои устремления, наблюдая, какова ты в битве, которую, как ты считала, ведешь вместо меня, в битве, в которой ты поддерживала моих врагов и постоянно проигрывала; я находился здесь, укрытый только недостатками твоего зрения, как Атлантида была укрыта от тебя рукотворным миражом. Я находился здесь в ожидании дня, когда ты прозреешь, когда ты поймешь, что согласно кодексу того мира, который ты поддерживаешь, все ценимые тобою вещи обречены попасть на самое темное дно подземелья и что именно там тебе придется искать их. Я находился здесь. Я ждал тебя. Я люблю тебя, Дэгни. Я люблю тебя больше своей жизни, и это я, который учил людей, как любить жизнь. Я также всегда учил их никогда не рассчитывать получить что-то, не уплатив, – и то, что я сделал сегодня ночью, я сделал с полным сознанием, что мне придется за это расплатиться и что ценой может оказаться моя жизнь.

– Нет!

Он улыбнулся и кивнул:

Да. Ты же знаешь, что на этот раз ты победила меня, что я нарушил собственное решение, но я сделал это сознательно, зная, к чему это ведет. Я сделал это не увлеченный моментом, не вслепую, а полностью понимая все последствия и готовый принять их на себя. Я не мог позволить себе упустить это мгновение, оно принадлежало нам, любовь моя, мы его заслужили.

Но ты еще не готова порвать со всем и присоединиться ко мне – не надо возражать, я это знаю, – и если я предпочел взять то, что еще не полностью принадлежит мне, я должен за это за платить. У меня нет возможности узнать, когда и как это будет, но я знаю, что, если поддамся врагу, буду сам отвечать за последствия. – Он улыбнулся в ответ на ее ищущий взгляд: – Нет, Дэгни, ты мне не враг по разуму, это-то и привело меня к тому, что произошло, но ты мой враг фактически, по своим действиям, хотя ты этого и не пони маешь, зато я хорошо понимаю. Мои сегодняшние враги не представляют для меня опасности. Ты – представляешь. Ты единственная, кто сможет помочь им отыскать меня. Они никогда не смогли бы узнать, кто я, но с твоей помощью – узнают.

Нет!

Намеренно, конечно, нет. И ты вольна пересмотреть свои действия и действовать по-другому, но пока ты про должает в том же духе, ты не вольна избежать логики собственных действий. Не хмурься, выбор сделал я – и я выбрал опасность. Я делец, Дэгни. Я хотел тебя, но был не властен изменить твое решение, мне оставалась только возможность справиться о цене и решить, смогу ли я заплатить ее. Смогу. Моя жизнь принадлежит мне, и мне решать, тратить ее или вложить во что-либо, а ты, ты для меня, – и жестом, как бы продолжавшим его рассуждения, он приподнял ее и поцеловал в губы, а она продолжала лежать, отдаваясь его силе, откинув назад голову в струящемся каскаде волос, удерживаемую на весу только губами, прижавшимися к его губам, – ты для меня единственная награда, которую я мог получить и которую избрал. Я хотел тебя, и если цена этому – моя жизнь, я отдам ее. Мою жизнь, но не мой разум.

Он сел, в глазах его внезапно появился жесткий отблеск; он с улыбкой спросил:

Хочешь, чтобы я присоединился к тебе и отправился работать? Хочешь, я исправлю систему сигнализации?

Нет! – Ее крик последовал почти тотчас же, словно в ответ на ее видение – она увидела мужчин, сидевших за отдельным столом в банкетном зале отеля «Вэйн– Фолкленд».

Он рассмеялся:

Отчего же нет?

Я не хочу, чтобы ты работал на них!

А сама?

Я считаю, что их дни сочтены, победа останется за мной. Я смогу еще немного продержаться.

Верно, ты сможешь еще немного продержаться, но не до победы, а до прозрения.

Я не могу допустить, чтобы все пошло прахом! – Это был крик отчаяния.

Пока не можешь, – спокойно возразил он.

Он поднялся, и она послушно встала следом за ним, все еще не в силах продолжить разговор.

– Я останусь здесь, на своей работе, – сказал он. – Но не пытайся меня увидеть. Тебе придется вынести то, что вынес я и от чего хотел избавить тебя, ты должна жить дальше, зная, где я, желая меня, как буду желать тебя я, но не позволяя себе приблизиться ко мне. Не ищи меня здесь. Не приходи в мой дом. Не позволяй им увидеть нас вместе. А когда достигнешь конца, когда будешь готова уйти, не говори ничего им, просто возьми мел и начерти знак доллара на пьедестале памятника Нэту Таггарту, где ему и надлежит быть, а потом отправляйся домой и жди. В течение суток я приду к тебе.

Она склонила голову в молчаливом обещании.

Но когда он повернулся, чтобы уйти, внезапная дрожь пробежала по ее телу, подобно первому толчку пробуждения или последней предсмертной судороге, и все кончилось произвольным возгласом:

Куда ты идешь?

Поработаю фонарным столбом, пока не рассветет, это единственная работа, которую позволяет мне твой мир, и единственная работа, которую он от меня получит.

Она схватила его за руку, чтобы остановить, слепо последовать за ним, бросить все, лишь бы видеть его лицо:

– Джон!

Он взял ее за руку, подержал и выпустил.

– Нет, – произнес он.

Потом он вновь поднял ее руку, поднес к губам, поцеловал, и прикосновение его губ было более чувственным и красноречивым, чем любые слова, которые он мог выбрать для признания. Затем он зашагал прочь вдоль исчезающей вдаль линии рельсов, и ей показалось, что рельсы и его удаляющаяся фигура одновременно покидают ее.

Когда она добрела до платформы терминала, первый перестук катившихся колес уже отдавался в стенах здания, как внезапное биение сердца после остановки. Храм Натаниэля Таггарта был пуст и тих, негасимый свет струился на опустевший мраморный пол, несколько оборванцев слонялись по нему, почти растворившись в этом свете. На ступенях пьедестала под памятником, исполненным торжества, дремал оборванный бродяга, отказавшийся от всякого сопротивления, подобно птице со сломанным крылом, которой негде приткнуться, кроме случайного местечка на карнизе.

Дэгни рухнула на ступеньки пьедестала, подобно еще одному покинутому всеми страдальцу, запахнувшись в пыльную накидку, и тихо сидела, опустив голову в ладони, не в силах ни плакать, ни чувствовать, ни двигаться.

Ей все время казалось, что она видит силуэт человеческой фигуры с факелом в руке, которая иногда принимала очертания Статуи Свободы, а иногда напоминала мужчину с кудрями солнечного цвета, протягивавшего навстречу ночному небу руку с фонарем, красные стекла которого останавливали движение мира.

– Что бы там ни было, не принимайте это близко к сердцу, леди, – произнес бродяга тоном, к которому примешивалась капля сострадания. – Все равно ничего не поделаешь... Да и вообще, к чему все это, леди? Кто такой Джон Галт?

Глава 6 . Песнь свободных

Двадцатого октября совет профсоюза сталелитейщиков «Рearдэн стал» потребовал увеличения зарплаты.

Хэнк Рearдэн узнал об этом из газет; никаких требований к нему не поступало, считалось, что вообще нет необходимости информировать его об этом. Требование направили в Стабилизационный совет, не приложив никаких объяснений, почему ни одной из других сталелитейных компаний не предъявлены подобные требования. Он не мог понять, выражает это заявление интересы рабочих или нет, постановления Стабилизационного совета о выборах в профсоюзах содержали такие формулировки, что разобраться в них не представлялось возможным. Он понял только, что группа состоит из тех новичков, которых совет протащил на его завод в течение последних нескольких месяцев.

Двадцать третьего октября Стабилизационный совет отклонил требования профсоюза, отказавшись поддержать повышение зарплаты. Если какие-то слушания по этому вопросу и состоялись, Рearдэн ничего о них не знал. С ним не консультировались, его не информировали и не ставили в известность.

Двадцать пятого октября газеты страны, контролировавшиеся теми же людьми, которые контролировали и Стабилизационный совет, начали кампанию солидарности с рабочими «Рearдэн стал». Они печатали истории об отказе повысить зарплату, не упоминая о том, кто отказал или кто обладал исключительными полномочиями решать такие вопросы, рассчитывая на то, что читатели забудут о юридических тонкостях под воздействием историй, повествующих о том, что настоящая причина всех несчастий рабочих – их работодатель. Появилась статья, описывающая тяжелую жизнь рабочих «Рearдэн стил» сейчас, когда стоимость жизни в стране возросла, а рядом другая, перечисляющая доходы Рearдэна пятилетней давности. Появилась статья о жизни жены рабочего заводов Рearдэна, обходившей пешком лавку за лавкой в тщетных поисках продуктов, рядом – статья о бутылке шампанского, разбитой о чью-то голову на пьяной гулянке, устроенной неназванным «королем стали» в модном отеле; этим «королем» был Орен Бойл, но в статье не упоминались имена. «Неравенство все еще царит среди нас, – писали газеты, – и лишает нас всех благ просвещенной эпохи». «Лишения переполнили чашу терпения народа. Ситуация близится к критической точке. Мы опасаемся взрыва насилия», – повторяли газеты.

Двадцать восьмого октября группа новых работников «Рearдэн стил» напала на мастера и повредила трубопровод, подающий воздух в дому. Два дня спустя они разбили нижние окна правления. Один из новичков сломал приводное устройство крана, и изложница с расплавленным металлом опрокинулась в двух шагах от пятерых рабочих. «Полагаю, что я психанул, беспокоясь о своих голодных детях», – сказал он при аресте. «Сейчас не время теоретизировать, кто прав, а кто виноват, – прокомментировали этот случай газеты. – Нас беспокоит главное – тот факт, что волнения угрожают выпуску стали в стране».

Рearдэн молча наблюдал. Он выжидал, будто постепенно, по крупице, постигал происходящее и понимал, что этот процесс нельзя ни замедлить, ни остановить. Нет, думал он, глядя в окно своего кабинета на ранние сумерки осеннего вечера, нет, я не равнодушен к судьбе своих заводов; только чувство, которое некогда было страстью к живому существу, теперь превратилось в грустную нежность, которую ощущаешь к памяти умершего любимого. Особый оттенок этому придавал, считал он, тот факт, что какие-либо действия уже невозможны.

Утром тридцать первого октября он получил уведомление, что на всю его собственность, включая текущие и депозитные счета, наложен арест в связи с обвинительным заключением,

вынесенным судом по делу о недоимке в уплате подоходного налога трехлетней давности, Это было официальное уведомление, оформленное в строгом соответствии с законом, если не считать, что никаких недоимок никогда не существовало, а судебное разбирательство и вовсе не имело места.

Нет, – сказал он задыхнувшемуся от негодования адвокату, – не расспрашивайте их, не отвечайте, не возражайте.

Но это фантастика!

А все остальное – не фантастика?

Хэнк, вы хотите, чтобы я ничего не делал? Смириться и лечь, задрав лапки?

Нет, стоять. Я имею в виду именно стоять. Не двигаться. Не действовать.

Но они оставили вас беззащитным.

Разве? – мягко улыбаясь, спросил он.

У него в кошельке осталось всего несколько сотен долларов, не больше. Но его, подобно рукопожатию далекого друга, согревала мысль о том, что в тайнике его сейфа в спальне лежит тяжелый слиток золота, полученный им от золотоволосого пирата.

На следующий день, первого ноября, ему позвонили из Вашингтона. Звонил чиновник, голос которого, казалось, скользил по телефонному проводу на коленях, извиваясь в оправданиях и извинениях.

Это ошибка, мистер Реардэн! Всего лишь весьма не приятная ошибка! Это уведомление... оно предназначалось не для вас. Вы знаете, как это сегодня происходит, когда все учреждения так скверно работают и у нас так много всяких правительственных распоряжений. И вот какой-то идиот спутал все данные и выкопал это постановление против вас – а это вас совсем не касается, в действительности речь шла о мыловаре! Пожалуйста, примите наши извинения, мистер Реардэн, наши глубочайшие личные извинения на самом высоком уровне. – Голос изобразил мягкую, выжидательную паузу. – Мистер Реардэн?..

Я слушаю.

Не могу выразить, как мы огорчены тем, что причинили вам неприятности и неудобства. Со всей этой кучей указов, формальностей, с которыми нам приходится иметь дело, – вы же понимаете, бюрократия! – у нас займет несколько дней, возможно неделю, чтобы опротестовать ваше уведомление и отозвать его... Мистер Реардэн?

Я вас слышу.

Мы бесконечно огорчены и готовы сделать все, что в нашей власти. Вы, конечно, можете потребовать возмещения за причиненные вам неудобства, и мы готовы все оплатить. Мы не станем ничего оспаривать. Вы, конечно, на правите такой протест и...

Я ничего не сказал.

Гм? Нет, не сказали... то есть... ну... что же вы сказали, мистер Реардэн?

Я ничего не сказал.

На следующий день из Вашингтона умолял другой голос. Но этот, казалось, не скользил по телефонному проводу, а подпрыгивал с веселой непринужденностью канатного плясуна. Он представился как Тинки Хэллоуэй и умолял Реардэна принять участие в совещании, «маленькое такое совещаньице, нас будет всего несколько человек – но на самом высоком уровне. Оно состоится в Нью-Йорке, в отеле „Вэйн-Фолкленд“, послезавтра».

За последние несколько недель произошло столько недоразумений, – заявил Тинки Хэллоуэй. – Столько не приятных недоразумений – и совершенно ненужных! Мы можем исправить все это буквально за секунду, мистер Реардэн, если у нас будет возможность переговорить с вами. Мы страстно желаем встретиться с вами.

Вы можете обязать меня явиться как свидетеля в судебном порядке, когда пожелаете.

О нет! Нет! – испугался голос. – Нет, мистер Реардэн, зачем вы так? Вы нас не понимаете, мы очень хотим встретиться с вами на дружеской основе, нам не нужно ни чего, кроме вашего добровольного сотрудничества. – Хэллоуэй напряженно ждал, не пошлится ли ему слабый звук отдаленного смеха; он ждал, но ничего не было слышно. – Мистер Реардэн?

– Да.

Конечно, мистер Реардэн, в такие времена, как сейчас, совещание с нами может принести вам большие выгоды.

Совещание... о чем?

– Вы столкнулись с серьезными трудностями... а мы стремимся помочь вам всем, чем можем.

– Я не просил о помощи.

– В наши беспокойные времена, мистер Реардэн, на строение общества столь непредсказуемо и непостоянно... столь опасно... Мы хотим быть в состоянии защитить вас.

Я не просил о защите.

Но вы, конечно, понимаете, что мы в состоянии быть для вас очень полезными, и если вы что-нибудь хотите от нас, любую...

Я ничего не хочу.

Но у вас могут возникнуть вопросы, которые вы за хотите обсудить с нами.

У меня нет вопросов.

Тогда... что ж, тогда... – Отказавшись от попыток изобразить, что оказывает любезность, Хэллоуэй начал откровенно умолять: – Тогда не согласились бы вы выслушать нас?

Если у вас есть что мне сказать.

Конечно, мистер Реардэн, конечно, у нас есть что сказать! Мы просим только об одном, – выслушайте нас. Дай те нам эту возможность. Просто приезжайте на наше совещание. Вы себя ничем не свяжете... – непроизвольно вы рвалось у него, и он замолчал, услышав появившееся в го лосе Реардэна веселое и насмешливое выражение, мало что обещающую интонацию, с которой Реардэн ответил:

Я это знаю.

Ну, я полагаю... то есть... так что ж, вы приедете?

Хорошо, – сказал Реардэн. – Я буду.

Он не вслушивался в изъявления благодарности, отметив только, что Хэллоуэй все время повторял:

– В семь вечера четвертого ноября, мистер Реардэн... четвертого ноября... – как будто дата имела какое-то особенное значение.

Реардэн положил трубку и откинулся в кресле, разглядывая отблески пламени доменной печи на потолке своего кабинета. Он понял, что это совещание ловушка, но знал, что пойдет на это и что ее устроители ничего от этого не выиграют.

Тинки Хэллоуэй положил трубку и, весь в напряжении, нахмурясь, сел. Клод Слагенхоп, президент общества «Друзья всемирного прогресса», сидевший в кресле и нервно покусывавший спичку, взглянул на него и спросил:

– Ну что, не очень? Хэллоуэй покачал головой:

Он приедет, но... Нет, не очень. – И добавил: – Не думаю, что он пойдет на это.

То же говорил и недоносок.

Я знаю.

Недоносок сказал, чтобы мы и не пытались.

К черту твоего недоноска! Мы должны пойти на это! Мы обязаны рискнуть!

Недоноском был Филипп Реардэн, который несколько недель назад сообщил Клоду

Слагенхопу:

– Нет, он не хочет брать меня, не хочет дать мне работу. Я попытался сделать, как вы хотели. Старался вовсю, но все бесполезно, он хочет, чтобы ноги моей не было за проходной. А что до настроения, то... послушайте, оно безобразное. Хуже, чем я ожидал. Я знаю его и могу сказать, что у вас нет никаких шансов. Он на пределе. Еще немного, и он сорвется. Вы сказали, что начальство интересуется. Скажите им, пусть и не пытаются. Скажите им, что он... Клод, да: поможет нам Бог, если они попробуют, они же потеряют его!

– Что ж, не очень-то ты нам помог, – сухо сказал Слагенхоп и отвернулся.

Филипп схватил его за рукав, в его голосе внезапно прозвучало явное беспокойство:

Послушай, Клод... согласно... указу десять двести во семьдесят девять... если он уйдет... у него не будет наследников?

Верно.

Они отнимут его заводы и... все остальное?

Верно, это – закон.

Но... Клод, они не проделают этого со мной, правда?

Они не хотят, чтобы он уходил. Ты же знаешь. Удержи его, если можешь.

Но я не могу. Вы же знаете, я не могу! И из-за моих политических взглядов и... за все, что я для вас сделал, вы же знаете, что он обо мне думает! Я не имею на него никакого влияния!

Что ж, такое уж твое счастье.

Клод! – в панике закричал Филипп. – Клод, меня ведь не выставят за дверь? Я же с ними, да? Они всегда повторяли, что я один из них, всегда повторяли, что я им нужен... говорили, что им нужны такие, как я, а не такие, как он... Люди моего склада, помнишь? После всего, что я для них сделал, после всей моей верности, моих услуг и веры в их дело...

Ты, придурок чертов, – рявкнул Слагенхоп, – зачем ты нам нужен без него!

Утром четвертого ноября Реардэна разбудил телефонный звонок. Он открыл глаза и посмотрел в окно спальни на ясное, бледное небо, начинавшее светлеть, окрашенное в этот час в цвета неяркого аквамарина. Уже начали проглядывать лучи невидимого еще солнца, бросавшие на старые крыши филадельфийских домов нежно-розовый отблеск. Какое-то мгновение, пока его сознание сохраняло чистоту, подобную этому небу, Реардэн ничего не ощущал, кроме себя самого, и, еще не подготовив душу к тяжести чуждых ему воспоминаний, лежал тихо, очарованный тем, что увидел и почувствовал, переживая встречу с миром, который должен быть подобен этому небу и в котором само существование человека должно стать нескончаемым утром.

Телефонный звонок вновь отбросил его в ссылку из этого утра; он вопил с короткими перерывами, подобно надоедливому, непрерывному крику о помощи, крику, не имевшему отношения к утреннему миру. Нахмурившись, Реардэн поднял трубку:

Алло?

Доброе утро, Генри, – сказал дрожащий голос матери.

Мама... в такой час? – сухо спросил он.

– Но ты же всегда поднимаешься с рассветом, я хотела перехватить тебя, пока ты не ушел на работу.

Да? Так в чем дело?

Мне надо увидаться с тобой, Генри. Мне надо с тобой поговорить. Сегодня. Это очень важно.

Что-нибудь случилось?

Нет... то есть да... Я должна поговорить с тобой лично. Ты придешь?

Извини, не могу. Сегодня вечером у меня назначена встреча в Нью-Йорке. Если ты хочешь,

чтобы я пришел завтра...

Нет! Нет, не завтра. Сегодня. Так надо. – В ее голосе прозвучало нечто похожее на панику, но не явно выраженную, как у человека, привыкшего к постоянному ощущению беспомощности, не чувствовалось в нем и чего-то чрезвычайно срочного, если не считать нотки страха в ее чисто механической настойчивости.

В чем дело, мама?

Я не могу говорить об этом по телефону. Мне нужно увидеться с тобой.

Если хочешь, можешь прийти ко мне в офис...

Нет! Только не там! Нам нужно увидеться наедине, поговорить. Ты не мог бы, в порядке одолжения, зайти сего дня ко мне? Ведь мать просит сделать ей одолжение. Ты отказываешься встречаться с нами. Возможно, это не толь ко твоя вина. Но не мог бы ты сделать это для меня, раз уж я тебя прошу?

Хорошо, мама. Я буду у тебя днем, в четыре.

Чудесно, Генри. Спасибо, Генри. Это просто чудесно.

Обстановка на заводе показалась ему несколько напряженной, в воздухе витало нечто не поддающееся определению, но заводы для него были как лицо любимой женщины, где он мог различить малейший оттенок чувства еще до того, как он появится. Он обратил внимание на небольшие группки новых рабочих – три или четыре такие группки занимали себя беседой несколько чаще обычного. Их манера держать себя больше напоминала бильярдную, чем завод. Он обратил внимание на взгляды, которые бросали на него, когда он проходил мимо, – немного слишком настойчивые и продолжительные. Он не стал вникать во все это; особо удивляться не приходилось – да и некогда ему удивляться.

Днем, отправившись в свой прежний дом, он резко затормозил у подножья холма. С пятнадцатого мая он ни разу не видел своего дома, минуло уже полгода с того момента, как он вышел из него в последний раз, и вид дома сразу напомнил ему все, что он чувствовал годами, когда ежедневно возвращался сюда: напряженность, изумление, тупую тяжесть несчастья, о котором никому не мог поведать, отчаянные усилия понять свою семью... Усилия быть справедливым.

Он медленно поднимался по дорожке, ведущей к дому. Он не испытывал никаких чувств, кроме всеобъемлющей и безрадостной ясности. Он понял, что этот дом – памятник вины, вины перед самим собой.

Реардэн ожидал встретить мать и Филиппа. Он никак не ожидал увидеть третьего человека, который поднялся, как и остальные, когда он вошел в гостиную, – Лилиан.

Он приостановился на пороге. Они стояли и смотрели на его лицо и на открытую дверь за ним. На их лицах отражались страх и хитрость – выражение людей, шантажирующих чужой добродетелью, которое он уже научился узнавать. Неужели они еще надеются добиться своего, взывая к его жалости, завлечь в ловушку? А ведь этого так легко избежать – достаточно сделать всего шаг назад.

Они возлагали все надежды на его жалость и боялись его гнева; они даже не осмеливались представить себе третью возможность: его безразличие.

Что она здесь делает? – спросил он, повернувшись к матери, голос его прозвучал ровно и бесстрастно.

Лилиан живет здесь со времени развода, – обороняясь, ответила она. – Я ведь не могла допустить, чтобы она умерла с голоду на улице, правда?

На лице матери появилось смешанное выражение мольбы, будто она умоляла его не бить ее по лицу, и торжества, будто она сумела ударить по лицу его. Он понял, почему она приютила Лилиан – отнюдь не из сострадания – между ней и Лилиан никогда не было особой любви, их

объединяло желание отомстить ему, – а из тайного удовольствия тратить его деньги на его бывшую жену, которую он отказался содержать.

Голова Лилиан склонилась в приветственном поклоне, с испытующей скромной и в то же время вызывающей улыбкой. Он не сделал попытки не заметить ее, лишь посмотрел на нее в упор, как будто видел ее насквозь, но ее присутствие не отложилось его сознании. Ничего не сказав, он закрыл дверь и вступил в комнату.

Мать испустила тихий вздох облегчения, поспешно опустилась на ближайший стул и, нервничая, наблюдала, последует ли он ее примеру.

– Так что же ты хотела? – спросил он, усаживаясь. Мать сидела выпрямившись, в неловкой позе, голова ее была опущена, а плечи подняты.

Пощады, Генри, – прошептала она.

Что это значит?

Ты не понимаешь?

Нет.

Что ж... – Она беспомощно развела руками. – Что ж... – Глаза ее перебегали с предмета на предмет, стремясь уйти от его внимательного взгляда. – Что ж, мне так много нужно тебе сказать, не знаю, с чего начать... Хорошо, есть одно дело, которое само по себе неважно... и не из-за него я позвала тебя...

И что же это за дело?

Дело? Наши денежные пособия, мое и Филиппа. Сей час начало месяца, а из-за ареста счетов мы ничего не можем получить. Ты ведь это знаешь, да?

– Знаю.

Хорошо. И что будем делать?

Не знаю.

Я имею в виду, что ты собираешься делать с этим арестом?

Ничего.

Мать уставилась на него, словно считая секунды в ожидании ответа:

Ничего, Генри?

У меня нет возможности что-то сделать.

Они следили за его лицом с напряженным, ищущим вниманием, и он чувствовал, что мать сказала ему правду, ее волновали не эти сиюминутные финансовые затруднения, они служили своего рода символом куда более широкого круга проблем.

Но, Генри, нам приходится туго.

Мне тоже.

Но разве ты не можешь послать немного наличных или чего-нибудь еще?

Меня не предупредили и не дали времени получить наличные.

Тогда... Послушай, Генри, все случилось так неожиданно, это испугало людей – – нам не хотят продавать в кредит, пока ты не скажешь. Я считаю, что они хотят, что бы ты подписал кредитную квитанцию или что-то в этом духе. Так ты поговоришь с ними и уладишь все это?

Нет, я не буду этого делать.

Не будешь? – У нее вырвался вздох удивления. – Почему?

Я не принимаю на себя обязательств, которые не смогу выполнить.

Что это значит?

Я не могу принять на себя долги, которые не смогу оплатить.

Что значит – не сможешь? Постановление – это только формальность, временное явление, это всем известно!

Разве? А мне нет.

Но, Генри... счета из магазина! Ты что, не уверен, что сможешь их оплатить, ты-то, со всеми твоими миллионами?

Я не буду обманывать владельцев магазинов, уверяя, что у меня есть деньги.

О чем ты говоришь? У кого же они тогда?

Ни у кого.

Что ты хочешь этим сказать?

Мама, я думаю, ты все понимаешь. По-моему, ты поняла это раньше, чем я сам. Никакого владения деньгами больше не существует, как и собственности. Ты одобряла это положение многие годы и верила в его справедливость. Ты хотела, чтобы у меня были связаны руки. Так и случилось. И сегодня уже слишком поздно пытаться переиграть.

– Может, ты изменишь некоторые свои политические взгляды... – Она резко замолчала, увидев выражение его лица.

Лилиан сидела, разглядывая пол, и казалось, боялась поднять глаза. Филипп хрустел пальцами.

Мать вновь взглянула Реардэну прямо в глаза:

– Не покидай нас, Генри. – Проскользнувшие в ее го лосе нотки подсказали ему, что сейчас последует то, ради чего она хотела с ним увидеться. – Для нас настали тяжелые времена, и мы боимся. И в этом вся правда, Генри, мы боимся, потому что ты отвернулся от нас. О, я не имею в виду счета, но это показательно... Еще год назад ты бы не допустил, чтобы это произошло с нами. А теперь... теперь тебе все равно. – Она выжидающе замолчала. – Разве не правда?

Правда.

Что ж... что ж, я полагаю, это наша вина. Это я и хо тела тебе сказать – мы знаем, что это наша вина. Мы плохо относились к тебе все эти годы. Мы проявляли несправедливость к тебе, заставили тебя страдать, использовали тебя, не проронив ни слова благодарности. Мы виноваты, Генри, мы допустили ошибку и признаем ее. Что еще я могу тебе сказать? Найдешь ли ты в себе силы простить нас?

Что ты хочешь, чтобы я сделал? – спросил он четким бесстрастным тоном, словно на деловых переговорах.

Откуда я знаю! Кто я такая, чтобы знать? Но я не об этом хочу сказать. Не о том, что тебе делать, а о том, что ты чувствуешь. Я обращаюсь только к твоим чувствам, Генри, даже если мы их и не заслужили. Ты сильный и великодушный. Давай забудем прошлое, Генри. Простишь ли ты нас?

В ее глазах отражался неподдельный испуг. Еще год назад он бы сказал себе, что это просто ее манера извиняться; он подавил бы в себе отвращение к ее словам, словам, которые ничего, кроме тумана бессмыслицы, не прибавили бы к его пониманию; он насильно бы свой разум, чтобы придать им какой-то смысл, даже если ничего в них не понимал; он приписал бы ей добродетель искренности – в том виде, в каком ее понимала мать, даже если бы ее трактовка не совпадала с его собственной. Но он уже перестал относиться с уважением к трактовкам, не совпадающим с его собственными.

– Ты простишь нас?

– Мама, давай не будем об этом. Не вынуждай меня объяснять тебе почему. Думаю, ты все понимаешь не хуже меня. Если ты хочешь, чтобы я что-то сделал, скажи мне прямо. И не будем больше ничего обсуждать.

– Но я тебя не понимаю! Не понимаю! Ведь я попросила тебя прийти именно затем, чтобы попросить у тебя прощения. Ты не хочешь ответить мне?

Хорошо. Что это значит – мое прощение?

Что?

Я сказал: что это значит?

Она удивленно развела руками, показывая, что ответ очевиден:

Господи, это... это даст нам возможность лучше себя чувствовать.

А это изменит прошлое?

Мы будем чувствовать себя лучше, зная, что ты простил нас.

Ты хочешь, чтобы я сделал вид, будто прошлого не существует?

О Господи, Генри, неужели ты не понимаешь? Нам надо всего лишь знать, что мы... мы не совсем безразличны тебе.

Совсем безразличны. Ты хочешь, чтобы я притворялся?

Я умоляю тебя – прояви к нам хоть какие-то чувства]

На каком основании?

Основании?

В обмен на что?

Генри, Генри, мы же не торгуемся, речь идет не о тоннах стали или банковском счете, ведь мы говорим о чувствах, а ты ведешь себя как делец!

Но я и есть делец.

В ее глазах проступил ужас – не ужас беспомощности, когда стараются, но не могут понять, а ужас, что тебя толкают к самому краю, где не понимать уже будет невозможно.

Послушай, Генри, – поспешно вступил в разговор Филипп, – мама не может понять, что происходит. Мы не знаем, как с тобой говорить. Мы не умеем говорить на твоём языке.

А я не говорю на вашем.

Она пытается сказать, что мы сожалеем. Мы ужасно сожалеем, что причинили тебе боль. Ты считаешь, что мы еще не расплатились за это, но мы уже расплатились. Мы испытываем угрызения совести.

На лице Филиппа отражалось неподдельное страдание. Еще год назад Реардэн почувствовал бы жалость. Сегодня он знал, что они удерживали его только его же нежеланием их обидеть, его боязнью причинить им боль. Это уже не пугало его.

Нам так жаль, Генри. Мы знаем, что доставили тебе много неприятностей. Нам хотелось бы как-то компенсировать их. Но что мы можем сделать? Прошлое есть прошлое. Нам его не переделать.

Мне тоже.

Ты можешь принять наше раскаяние, – сказала Ли лиан звенящим от осторожности голосом. – Мне от тебя ничего не надо. Я только хочу, чтобы ты знал: все сделанное мною делалось потому, что я тебя любила.

Он молча отвернулся.

– Генри! – вскричала мать. – Что с тобой произошло? Что заставило тебя так измениться? Похоже, ты потерял всю свою человечность! Ты заставляешь нас все время оправдываться, хотя сам ничего нам не ответил. Ты все время говоришь о логике – но какая может быть логика в наше время? Какая может быть логика, когда люди страдают?

– – Что мы можем сделать! – кричал Филипп.

– Мы в твоей власти, – вторила Лилиан.

Они бросали свои причитания в лицо человеку, которого уже ничем не могли задеть. Они не понимали – и панический страх стал последней чертой в их попытке избежать этого понимания, – что его безжалостное чувство справедливости, которое прежде оставляло его в их власти и заставляло его мириться с любым наказанием и решать в их пользу любое свое сомнение, теперь обращено против них, что та же сила, которая заставляла его быть терпеливым и понимающим, сделала его жестоким, что справедливость, которая простила бы тысячи

ошибок, совершенных по незнанию, не простит единственного шага, сознательно сделанного во зло.

– Генри, неужели ты нас не понимаешь? – умоляла мать.

– Понимаю, – спокойно ответил он.

Она отвела взгляд, избегая ясности его глаз:

Неужели тебе все равно, что с нами будет?

Совершенно все равно.

Разве ты не человек? – В ее голосе прозвучала злость. – Разве ты не способен кого-то любить? Я взываю не к твоему рассудку, а к твоему сердцу! Ведь любовь – это не то, о чем спорят, что доказывают и чем торгуют! Любовь – это отдача себя! Это чувства! О Господи, Генри, неужели ты не можешь чувствовать не думая?

Не приходилось.

Спустя мгновение снова зазвучал ее голос, тихий и монотонный:

– Мы не такие умные, как ты, и не такие сильные. Если мы грешили или ошибались, так это потому, что мы беспомощны. Ты нам нужен, ты – все, что у нас осталось, а мы теряем тебя, и нам страшно. Мы живем в ужасные времена, а впереди нас ждут еще худшие, все вокруг до смерти напуганы, ослеплены ужасом и не знают, что делать. Как нам справиться с этим, если ты нас покинешь? Мы маленькие, слабые люди, и нас снесет, как сплавной лес по реке, в том ужасе, который царит сейчас в мире. Возможно, в этом есть и доля нашей вины, возможно, и мы вызвали каким-то образом все это, по недомыслию, но что сделано – то сделано, и сейчас мы уже не можем ничего изменить. Если ты нас покинешь, мы погибнем. Если ты сдашься и исчезнешь, как те люди, которые...

Ее остановил даже не звук, а лишь движение его бровей, быстрое и короткое, полное сосредоточенного внимания. Затем они увидели его улыбку, улыбку, предвещавшую самый ужасный ответ.

– Так вот чего вы боитесь, – медленно произнес он.

– Ты не можешь нас бросить, – в откровенном ужасе визжала мать. – Не можешь бросить нас сейчас. Мог бы в прошлом году, но не сейчас! Не сегодня! Ты не смеешь дезертировать, потому что теперь они выместят зло на твоей семье! Они оставят нас без гроша, они отберут все, заставят нас голодать, они...

– Молчите! – вскричала Лилиан, которая лучше остальных понимала опасные признаки, появившиеся на лице Реардэна.

Улыбка все еще держалась на его губах; они знали, что он их больше не видит, но не могли понять, почему в его улыбке появилось страдание, почти тоска и почему он смотрел через комнату на проем самого дальнего окна гостиной.

Он видел, каким спокойным оставалось под градом его оскорблений это скульптурно вылепленное лицо, слышал голос, четко произносивший здесь, в этой гостиной: «Я хотел бы вас предостеречь от греха всепрощения». Ты, который это знал уже тогда, подумал он... но не закончил про себя эту фразу, лишь позволил своим губам скривиться в горькой улыбке, потому что знал, что будет его следующей мыслью: «Ты, который это знал уже тогда, прости меня».

Так вот оно, думал он, оглядывая свою семью, вот смысл их просьб о пощаде, логика тех чувств, которые они столь высокомерно провозглашали лишенными логики; в этом-то и состояла простая, животная сущность всех, кто провозглашал себя способным чувствовать, а не мыслить и ставил милость выше справедливости.

Они знали, чего им надо бояться; они вычислили и назвали до того, как это сделал он, единственный способ освобождения, еще открытый для него; они поняли безнадежность его позиции в промышленности, бесполезность его борьбы, сокрушительный груз, навалившийся на

него; они знали, что с точки зрения рассудка, справедливости, самосохранения выход у него оставался один – бросить все и бежать; и все же они хотели удержать его, сохранить его на жертвенном алтаре, заставить его разрешить им обглодать его до последней косточки во имя милости, всепрощения и братско-людоедской любви.

– Если ты все еще хочешь, чтобы я тебе все объяснил, мама, – очень спокойно произнес он, – если ты все еще надеешься, что я не захочу быть жестоким и не скажу того, что, как ты утверждаешь, тебе неизвестно, то здесь-то и заложен изъян твоего представления о том, что такое прощение: ты сожалеешь, что причинила мне боль, и, в качестве искупления, хочешь, чтобы я отдал себя на окончательное растерзание.

– Логика! – взвизгнула она. – Опять ты со своей мерзкой логикой! Нам нужна жалость, а не логика! Жалость, а не логика!

Он поднялся.

Подожди! Не уходи! Генри, не покидай нас! Не обрекай нас на смерть! Какие бы мы ни были, мы люди! Мы хотим жить!

Боже, не... – начал он в спокойном удивлении и закончил в спокойном ужасе, как будто эта мысль только сейчас дошла до него. – А по-моему, не хотите. Если бы хотели, вам было бы известно, как ценить меня.

И словно в доказательство и в ответ на лице Филиппа медленно проступило выражение, которое он хотел выдать за рассеянную улыбку, но на самом деле это были лишь страх и злорадство.

– Ты не сможешь бросить все и бежать, – сказал Филипп. – Не сможешь бежать без денег.

Казалось, его хитрость достигла цели, Реардэн резко остановился и усмехнулся.

Спасибо, Филипп, – сказал он.

Что? – Филипп нервно вздрогнул от изумления.

Так значит, вот из-за чего наложили арест. Значит, вот чего боятся твои дружки. Я знал, что они готовились что-то обрушить на меня сегодня. Я не знал, что арест моих счетов – это попытка отрезать мне отступление. – Он повернулся и недоверчиво посмотрел на мать: – Вот почему ты хотела видеть меня именно сегодня, до совещания в Нью-Йорке.

Мама ничего не знала об этом! – вскричал Филипп, за тем спохватился, смолк и закричал еще громче: – Не пони маю, о чем ты! Я ничего не говорил! Я этого не говорил! – Его страх, казалось, потерял мистический оттенок и стал более практичным.

– Не беспокойся, мразь несчастная, я не скажу им, что ты мне что-то говорил. Но если ты пытался...

Реардэн не договорил; он оглядел три лица перед собой, и внезапная улыбка завершила фразу. Это была улыбка усталости, жалости и невероятного отвращения. Он видел перед собой крайнее противоречие, гротескный абсурд в финале игры гонителей: люди из Вашингтона надеялись удержать его, выставив этих троих в роли заложников.

– Полагаешь, что ты такой хороший, да? – Этот внезапный крик метнула Лилиан; она вскочила с места, чтобы не пустить его к двери, лицо ее исказилось, он уже однажды видел у нее такое лицо, в то утро, когда она узнала имя его любовницы. – Ты так хорош! Так горд самим собой! Что ж, у меня тоже есть что тебе сказать!

Она выглядела так, будто до этого момента не верила, что игра проиграна. Ее лицо поразило его, как удар грома, и с внезапной ясностью он понял, в чем заключалась ее игра и почему она вышла за него замуж.

Если выбирать человека как постоянный главный объект заботы, как средоточие собственной жизни значит любить, полагал он, тогда она на самом деле любила его; но если для него любовь была торжеством жизни и своего Я, тогда, для тех, кто ненавидит себя и жизнь,

стремление к разрушению является единственной формой и эквивалентом любви. Лилиан выбрала его за его высокие добродетели: силу, уверенность, гордость; она выбрала его, как другие выбирают объект любви, как символ жизненных сил человека, но стремилась она к разрушению этих сил.

Он словно увидел себя и ее во время их первой встречи. Он – мужчина яростной энергии и страстных амбиций, человек, способный многое свершить, на котором сияли отблески его успеха и который ворвался в среду той претенциозной мертвечины, которая воображала себя интеллигентной элитой, уже отжившего охвостья непереваренной культуры, питавшейся отраженным светом чужих умов, предлагавшей отказ от ума как единственное свое достоинство и отличие от прочих и стремившейся к контролю над миром, как к единственному способу удовлетворения своих чувственных желаний. И она – женщина-паразит на теле этой элиты, удовлетворяющаяся их заемной презрительной усмешкой как собственной реакцией на окружающий мир, считающая умственную импотенцию превосходством, а пустоту добродетелью. Он – не ведавший об их ненависти и в неведении презиравший их пустое позерство; и она – считавшая его опасным для их мира, угрозой, вызовом, упреком ему.

Чувственное желание, которое толкало других к порабощению империй, в ее маленьком мирке превратилось в страсть захватить власть над ним. Она поставила своей целью разрушить его, будто, неспособная стать в один ряд с его достоинствами, могла превзойти их уничтожив, надеясь тем самым сравняться с ним в величии. Будто вандал, подумал он содрогнувшись, разбивший прекрасную статую, стал выше скульптора, изваявшего ее, будто убийца, умертвивший ребенка, стал величественнее выносившей его матери.

Он вспомнил ее постоянное презрение к его работе, его заводам, его металлу, его успехам; вспомнил, как она хотела, чтобы он хоть раз напился; ее попытки подтолкнуть его к неверности, ее удовольствие при мысли, что он скатывается на уровень пошлой любовной интрижки, ее ужас, когда она обнаружила, что это любовное увлечение оказалось не падением, а восхождением. Ее тактика нападения, которую он находил столь дикой, была, между тем, последовательна и ясна: она хотела убить в нем самоуважение, зная, что тот, кто отказывается от своих ценностей, попадает в зависимость от прихотей другого; она хотела запятнать чистоту его морали, расшатать его стойкость и праведность с помощью яда вины – как будто, если бы он поддался ей, его моральная нечистоплотность давала ей право стать такой же.

По тем же причинам и с той же целью, с тем же удовлетворением, с которым другие ткнут сложные философские системы, дабы уничтожить поколения, или устанавливают Диктатуру, дабы уничтожить целую страну, она, не имея в своем распоряжении никакого оружия, кроме своей женственности, поставила перед собой задачу – уничтожить одного мужчину. «Ваш кодекс был кодексом жизни, – вспомнил он голос давно потерянного молодого учителя. – Тогда каков их кодекс?»

– У меня есть что тебе порассказать! – кричала Лилиан, и в ее голосе звенела бессильная ярость, жаждавшая, чтобы слова превратились в кастет. – Ты так гордишься собой, да? Так гордишься своим именем! Заводы Реардэна, сплав Реардэна, жена Реардэна! Я ведь ею и была, да? Миссис Реардэн! Миссис Генри Реардэн! – Звуки, которые она издавала, напоминали квохтанье наседки, бездарную пародию на смех. – Ну так, я думаю, тебе понравится, когда ты узнаешь, что твою жену трахал другой мужчина! Я тебе изменила, слышишь, ты! Изменила не с каким-то великим, благородным любовником, а с последней вошью, с Джимом Таггартом! Три месяца назад! До развода! Еще будучи твоей женой! Оставаясь твоей женой!

Он стоял и слушал, как ученый, имеющий дело с предметом, не касавшимся его лично. Он наблюдал бесславный итог системы заповедей коллективной взаимозависимости, заповедей отрицания личности, собственности, фактов: вера в то, что моральная состоятельность одного

человека зависит от действий другого.

– Я тебе изменила! Слышишь, ты, нержавеющий пуританин? Я спала с Джимом Таггартом, ты, безупречный герой! Ты что, не слышишь?.. Не слышишь меня?.. Не слы...

Он смотрел на нее, как на совершенно незнакомую женщину, остановившую его на улице своей исповедью, его взгляд заменял слова: а зачем ты мне это говоришь?

Ее голос умолк. Реардэн не знал, на что может быть похож распад личности, но понимал, что видит распад Лилиан. Он видел это в исчезновении ее лица, во внезапном размягчении всех его характерных черт, как будто пропало то, что их связывало, в ее глазах, слепых, хотя еще и смотревших, обращенных внутрь, – в глазах, заполненных страхом, который не сравнится ни с какой внешней угрозой. Это был не взгляд личности, терявшей рассудок, а взгляд разума, видевшего полное поражение и одновременно впервые осознавшего собственную природу, взгляд человека, увидевшего, что после многих лет провозглашения несуществования как цели, он наконец добился этого.

Реардэн повернулся к двери, мать, схватив за руку, остановила его. Бросив на него взгляд, выражавший тупое удивление, и сделав последнюю попытку обмануть себя, она нетерпеливо простонала со слезливым упреком:

Ты действительно не можешь простить нас?

Нет, мама, – ответил он. – Вообще нет. Я бы простил прошлое... если бы сегодня ты попросила меня бросить все и исчезнуть.

На улице дул холодный ветер, прижимавший к телу пальто, словно в объятии, вокруг простиралось великолепное, свежее пространство земли, протянувшейся от подножья холма к горизонту, а на небе ясный день отступал перед только начинавшими сгущаться сумерками. И подобно двум закатам, венчающим день, на западе ясно и спокойно лилось багряное сияние солнца, а на востоке виднелся еще один красный мерцающий круг – огненное дыхание заводов Реардэна.

Чувство руля под руками, ровное шоссе, пронесившееся под колесами машины, когда он спешил в Нью-Йорк, оказывали на него какое-то странное бодрящее влияние. Он испытывал чувство высочайшей четкости и одновременно умиротворения, чувство, что делаешь все без напряжения, и это непонятным образом давало ощущение молодости. Только позднее Реардэн понял, что так он и действовал всегда и полагал, что так и должно быть, в свои юные годы, а то, что он ощущал сейчас, сводилось к простому, недоуменному вопросу: а почему надо действовать иначе?

Когда на горизонте возникли очертания Нью-Йорка, Реардэну показалось, что его силуэт как-то странно светится и очень четок, хотя расстояние набрасывало на город свою вуаль, словно свечение исходило не от города, а от самого Реардэна. Он смотрел на великий город, и ему были безразличны те его образы, которые возникали в сознании Других; для него это не был город гангстеров, попрошаек, бандитов и проституток, для него Нью-Йорк оставался величайшим промышленным завоеванием в человеческой истории, и то, что он значил для него, было его единственным значением; в облике города он ощущал что-то очень личное, что брало за душу и принималось тотчас же, без размышлений, как то, что видят в первый раз – или в последний.

Он остановился в гулком от тишины коридоре отеля «Вэйн-Фолкленд», у двери, в которую должен был войти; ему пришлось сделать усилие, чтобы нажать на кнопку звонка, это заняло у него некоторое время, ведь этот номер некогда занимал Франциско Д'Анкония.

Клубы табачного дыма вились в воздухе среди бархатных занавесей и непокрытых полированных столов гостиной. Дорого обставленная, но безликая комната имела уныло-роскошный вид временного пристанища и атмосферой своей мало чем отличалась от ночлежки.

В тумане застоявшегося у входа дыма возникли пять фигур: Висли Мауч, Юджин Лоусон, Джеймс Таггарт, Флойд Феррис и тощий, скрюченный тип с физиономией, напоминавшей крысу, похожий на теннисиста. Его представили как Тинки Хэллоуэя.

Ладно, – прервал Реардэн приветствия, улыбки, предложения выпить и рассуждения о тяжелом положении нации, – чего вы хотите?

Мы все здесь ваши друзья, мистер Реардэн, – вы ступил вперед Тинки Хэллоуэй, – исключительно ваши друзья, собравшиеся для неофициальных переговоров с целью более тесной совместной работы в единой команде.

Мы очень хотели бы воспользоваться вашими вы дающимися способностями, – сказал Лоусон, – и вашим опытом для решения проблем национальной промышленности.

Такие люди, как вы, нужны в Вашингтоне, – вставил доктор Феррис, – у вас нет никаких причин столь долгое время оставаться в стороне, когда ваш голос нужен на самом высоком уровне руководства страной.

Что особенно отвратительно во всем этом, думал Реардэн, так это то, что эти речи – ложь лишь наполовину, другая же половина, судя по истерично поспешному тону, содержала не выражаемое вслух желание, чтобы это каким-то образом оказалось правдой.

И чего вы хотите? – повторил он.

Господи... да послушать вас, мистер Реардэн, – сказал Висли Мауч; искажением черт лица он имитировал испуганную улыбку, улыбка была фальшивой, страх подлинным. – Мы... мы хотели воспользоваться вашей оценкой промышленного кризиса в стране.

Мне нечего сказать.

Но, мистер Реардэн, – сказал доктор Феррис, – мы хотим иметь возможность работать совместно с вами.

Я уже заявлял, причем публично, что не умею работать совместно под дулом пистолета.

Не пора ли зарыть топор войны в эти ужасные времена? – воззвал Лоусон.

Топор? Вы имеете в виду пистолет? Валяйте.

Что?

Это вы держите его в руках. Так заройте его, если сможете.

Но... но... я просто употребил фигуру речи, – объяснил Лоусон, мигая. – Я говорил в переносном смысле.

А я нет.

Не следует ли нам объединиться ради блага страны в это чрезвычайно тяжелое время? – спросил доктор Феррис. – Не можем ли мы переступить через мнения, которые нас разделяют? Мы согласны пройти свою половину пути. Если в нашей политике есть что-то, против чего вы выступаете, просто скажите нам, а мы выпустим указ и...

Завязывайте, ребята. Я приехал сюда не затем, чтобы помогать вам делать вид, что я совсем не в том положении, в котором сейчас нахожусь, и что между нами возможны какие-либо компромиссы. А теперь к делу. Вы подготовили какой-то новый трюк, чтобы заграбастать сталелитейную промышленность. Что это?

Кстати, – заявил Мауч, – нам предстоит обсудить жизненно важный вопрос, касающийся сталелитейной промышленности, но... что за выражения, мистер Реардэн!

Мы не хотим ничего заграбастать, – сказал Хэллоуэй. – Мы просили вас приехать, чтобы обсудить это с вами.

Я приехал получить приказы. Давайте, приказывайте.

Но, мистер Реардэн, нам бы не хотелось, чтобы вы рассматривали все таким образом. Мы не хотим приказывать вам. Нам нужно ваше добровольное согласие.

Реардэн улыбнулся:

Я понимаю.

Да? – радостно начал Хэллоуэй, но что-то в улыбке Реардэна смутило его. – Что ж, тогда...

И ты, голубчик, – заявил Реардэн, – знаешь, что в этом-то и заключается твой просчет, роковой просчет, который взорвет все. А теперь скажи мне, что за удар по моей голове ты готовишь, столь упорно не давая мне ничего замечать, или, может, мне пора домой?

О нет, мистер Реардэн! – вскричал Лоусон, внезапно бросив быстрый взгляд на часы. – Вы не можете покинуть нас сейчас! То есть, я хочу сказать, что вы не захотите уйти, не услышав того, что мы должны вам передать.

Тогда дайте мне это выслушать.

Он увидел, как они переглянулись. Висли Мауч, казалось, боялся обратиться к нему; лицо Мауча приняло выражение упрямого недовольства, которое, как приказ, было обращено к остальным в комнате, – какое бы положение они ни занимали в смысле их возможности решать судьбы сталелитейной промышленности, здесь они присутствовали только с целью поддерживать и защищать Мауча во время переговоров. Реардэн на минуту задумался о причине присутствия в комнате Джеймса Таггарта; Таггарт сидел в мрачном молчании и, надувшись, потягивал коктейль, стараясь не смотреть в его сторону.

– Мы выработали план, – весело начал доктор Феррис, – который поможет решить проблемы сталелитейной промышленности и который вы полностью одобрите в качестве меры достижения общего благосостояния, одновременно защищая ваши интересы и обеспечивая вам безопасность в...

Не надо говорить мне, что я одобрю или не одобрю. Дайте мне факты.

Этот план справедлив, основателен, взвешен и...

Мне не нужны ваши оценки. Только факты.

Этот план... – Доктор Феррис замолчал, он утратил способность приводить факты.

Исходя из этого плана, – вмешался Мауч, – мы гарантируем пятипроцентную прибавку к цене стали. – Он торжествующе умолк.

Реардэн молчал.

– Конечно, потребуются кое-какие мелкие поправки, – мягко вступил в разговор Хэллоуэй, как входят на пустой теннисный корт. – Определенную прибавку придется предоставить производителям железной руды, скажем, не больше трех процентов, из-за дополнительных трудностей, с которыми некоторые из них, например, мистер Ларкин из Миннесоты, теперь столкнутся, так как должны будут перевозить руду довольно дорогим способом – на грузовиках, после того как мистеру Джеймсу Таггарту пришлось пожертвовать своим отделением в Миннесоте во имя благосостояния страны. И конечно, повышение тарифов на перевозки должно быть предоставлено железным дорогам, ну, грубо говоря, семь процентов – ввиду абсолютно необходимой потребности в... – Хэллоуэй замолк, подобно игроку, вынырнувшему из водоворота беспорядочных ударов, заметив, что никто из противников его удары не отбивает.

– Но зарплату мы повышать не будем, – поспешно за метил доктор Феррис. – Одним из существенных пунктов плана является то, что мы не позволим увеличить размеры заработной платы рабочим-сталелитейщикам, несмотря на их настойчивые требования. Мы хотим быть честными с вами, мистер Реардэн, и защищать ваши интересы... не считаясь с риском вызвать недовольство и возмущение в обществе.

Конечно, если мы ожидаем, что рабочие пойдут на жертвы, – сказал Лоусон, – мы должны продемонстрировать им, что руководство тоже идет на известные жертвы ради блага страны. Настроение людей труда в сталелитейной промышленности в настоящее время чрезвычайно не устойчиво, мистер Реардэн, оно взрывоопасно и... чтобы защитить вас от... от... – Он замолчал.

Да? – спросил Реардэн. – От кого?

...от возможного... насилия, потребуются меры, которые... Послушай, Джим, – внезапно обратился он к Джеймсу Таггарту, – отчего бы тебе как коллеге– промышленнику не объяснить все это мистеру Реардэну?

Что ж, кто-то должен помогать железным дорогам, – недовольно заговорил, не глядя на Реардэна, Таггарт. – Страна нуждается в железных дорогах, и кто-то должен помочь нам нести эту ношу, а если мы не получим увеличения тарифов на перевозки...

Нет, нет и нет! – рявкнул Висли Мауч. – Расскажи мистеру Реардэну о программе координации железнодорожных перевозок.

Ну, программа выполняется очень успешно, – умирающим голосом заговорил Таггарт, – если не считать не вполне поддающийся контролю фактор времени. Поэтому вопрос о том, когда наша объединенная команда вновь поставит на ноги железные дороги страны, – это только вопрос времени. Программа, могу заявить с полной ответственностью, будет работать так же успешно и в любой другой области промышленности.

В этом нет никаких сомнений, – заявил Реардэн, обращаясь к Маучу. – Зачем вы велели своей шестерке отнять у меня время? Какое отношение ко мне имеет программа координации железнодорожных перевозок?

Но, мистер Реардэн, – вскричал Мауч с отчаянной веселостью, – это же модель, по которой будет строиться вся наша деятельность! Ради обсуждения этого мы и пригласили вас сюда!

Обсуждения чего?

– Программы координации сталелитейной промышленности!

Мгновение все молчали, как ныряльщики, только что вынырнувшие из глубины. Реардэн сидел и, казалось, глядел на них с проснувшимся интересом.

Ввиду критического положения в сталелитейной промышленности, – затараторил Мауч, будто не хотел дать себе времени разобраться, что во взгляде Реардэна заставляет его чувствовать себя неуютно, – и так как сталь является жизненно необходимым для страны продуктом, основой структуры нашей промышленности в целом, радикальные меры, которые должны быть нами предприняты, смогут сохранить для страны весь процесс сталеварения, оборудование и заводы. – Взятый тон и навыки публичных выступлений заставили его пойти довольно далеко, но не дальше. – Имея в виду эту цель, наш план является... наш план является...

Наш план на самом деле очень прост, – включился в разговор Тинки Хэллоуэй, пытавшийся доказать это и простотой весело подпрыгивавшей интонации. – Мы снимем все ограничения на производство стали, и любая компания сможет производить, сколько ей захочется, исходя из собственных возможностей. Но чтобы избежать ненужных потерь и опасности хищнической конкуренции, все компании вкладывают свой суммарный доход в общий котел, который будет известен как Координационный пул сталелитейной промышленности, с отдельным правлением. В конце года правление будет распределять доходы, принимая во внимание общий выпуск стали по стране и количество действующих домен, таким образом, получается некая усредненная величина, справедливая для всех, а каждой компании будет причитаться выплата в соответствии с ее потребностями. Сохранности домен придается первостепенное значение, и каждая компания будет получать выплаты в соответствии с числом домен в своем владении. – Он замолчал, выждал немного и прибавил: – Такова общая идея, мистер Реардэн. – И не получив ответа, сказал: – О, конечно, здесь еще много всяких сложностей, которые надо утрясти, но... общая идея такова.

Какой бы реакции они ни ожидали, они увидели совсем не то. Реардэн откинулся на спинку стула, в глазах напряженное внимание, но направленное куда-то в пустоту, как будто он разглядывал что-то на не слишком отдаленном расстоянии, затем он спросил со странным

спокойствием, как о безразличном ему развлечении:

– Вы, ребята, сказали бы мне только одно: на что же вы рассчитываете?

Он знал, что они поняли. Он видел это по их лицам, по тому упрямо уклончивому взгляду, который он прежде считал взглядом лжеца, обманывавшего свою жертву, но теперь он знал, что дело намного страннее: это был взгляд людей, обманывавших собственную совесть. Они не отвечали. Они сидели молча, словно борясь за то, чтобы не он забыл свой вопрос, а они сами забыли, что слышали его.

– Это разумный, практичный план! – неожиданно с нотками злого возбуждения рявкнул Джеймс Таггарт. – Он сработает! Должен сработать! Мы хотим, чтобы он сработал!

Все молчали.

Мистер Реардэн... – робко начал Хэллоуэй.

Давайте прикинем, – прервал его Реардэн. – «Ассошиэйтэд стил» Орена Бойла владеет шестьюдесятью домами, одна треть из которых не работает, а остальные дают в среднем по триста тонн стали в день на каждую. У меня двадцать действующих домен, производящих по семь сот пятьдесят тонн моего металла в день. Таким образом, у нас совокупно восемьдесят домен производительностью двадцать семь тысяч тонн, что дает в среднем триста тридцать семь с половиной тонн на домну. Каждый день в течение года я, производя пятнадцать тысяч тонн, буду получать за шесть тысяч семьсот пятьдесят, тогда как Бойл, производя двенадцать тысяч тонн, получит за двадцать тысяч двести пятьдесят. Неважно, кто там еще будет входить в ваш пул, это не изменит общей схемы расчетов, разве что средний итог опустится еще ниже, потому что большинство работает еще хуже Бойла, и никто не производит больше меня. А теперь ответьте, как долго, по вашему мнению, я смогу продержаться исходя из вашего плана?

Никто не ответил, и только потом Лоусон вдруг яростно и высокомерно закричал:

В период национальной катастрофы вашим долгом является служить, страдать и работать во имя спасения страны.

Что-то я не пойму, почему перекачивание моих заработков в карман Орена Бойла должно способствовать спасению страны!

Вы должны пойти на определенные жертвы во имя общественного блага!

– Что-то я не пойму, почему Орен Бойл является большим общественным благом, чем я.

Но мы обсуждаем сейчас вовсе не Орена Бойла! Вопрос не в личностях, он значительно шире. Речь идет о со хранении материальных ресурсов страны, таких, как заводы, и спасении всего промышленного потенциала Америки. Мы не можем допустить разрушения такого огромного предприятия, как завод мистера Бойла. Он нужен стране.

Я полагаю, – медленно произнес Реардэн, – что страна нуждается во мне намного больше, чем в Орене Б о иле.

Ну конечно! – с испуганным энтузиазмом закричал Лоусон. – Вы нужны стране, мистер Реардэн! Вы ведь это понимаете, да?

Однако жадное удовольствие, испытанное Лоусоном при намеке на знакомую формулу самопожертвования, тотчас испарилось при звуке голоса Реардэна, холодного голоса дельца, ответившего:

Понимаю.

Дело не только в Бойле, – умоляющим тоном заговорил Хэллоуэй. – Экономика страны не может сегодня вы держать столь большого сдвига. Есть еще и тысячи рабочих завода Бойла, поставщики и покупатели. Что будет с ними, если «Ассошиэйтэд стил» окажется банкротом?

А что будет с моими рабочими, поставщиками и покупателями, когда банкротом окажусь я?

Вы, мистер Реардэн? – недоверчиво произнес Хэллоуэй. – Вы же самый богатый и самый мощный промышленник в стране на данном этапе!

А что будет на следующем этапе?

Что?

Как долго, вы полагаете, я могу производить себе в убыток?

О, мистер Реардэн. Я безгранично верю в вас!

Ко всем чертям вашу веру! Как я могу производить себе в убыток?

Вы справитесь!

Как?

Ответа не последовало.

Мы не можем теоретизировать о будущем, – вскричал Висли Мауч, – когда речь идет о том, как избежать надвигающейся национальной катастрофы! Мы должны спасти экономику страны! Мы должны что-то сделать! – Невозмутимый заинтересованный взгляд Реардэна вынудил его забыть об осторожности. – Если вам это не нравится, можете ли вы предложить лучшее решение?

Конечно, – легко согласился Реардэн. – Если вас интересует только производство, то уйдите с дороги, отмените все свои чертовы постановления, пусть Орен Бойл лопнет, дайте мне возможность купить «Ассошиэйтэд стил» – и она будет производить тысячу тонн в день на каждую из шестидесяти домен.

– Но... мы не можем этого позволить! – вскрикнул Мауч. – Тогда получится монополия!

Реардэн усмехнулся.

Ладно, – равнодушно сказал он, – тогда пусть купит главный инженер моих заводов. Он будет работать лучше Бойла.

Но это будет означать, что мы дали сильному пре имущество над слабым! Мы не можем этого допустить!

Тогда к чему эти пустые разговоры о спасении экономики страны?

Все, чего мы хотим... – Мауч замолчал.

Все, чего вы хотите, – это производство без людей, способных производить, разве не так?

Это... это теория. Просто теоретическая крайность. Мы хотим только временного улучшения, исправления.

Вы ставите временные заплатки уже годы. Разве вы не понимаете, что ваше время вышло?

Это просто тео... – Голос отказал Маучу, и он за молчал.

Ну хорошо, пусть, – осторожно начал Хэллоуэй, – но ведь мистер Бойл в действительности... не так и слаб, он чрезвычайно способный человек. Просто дела его приняли печальный оборот, которого он не ожидал. Он вложил большие суммы в общественно значимый проект помощи слаборазвитым странам Южной Америки, а потом их медный кризис нанес ему тяжелые финансовые потери. Так что сейчас речь идет лишь о том, чтобы дать ему шанс поправить дела, протянуть руку помощи, оказать временную поддержку – не больше. Все, что надо сделать, – это про сто разделить убытки между всеми, тогда все встанут на ноги и будут процветать.

Вы делите убытки уже больше сотни... – Реардэн по молчал. – Больше нескольких тысяч лет, – медленно продолжил он. – Неужели вы не понимаете, что вы уже у самого конца этой дороги?

– Это только теория! – рявкнул Висли Мауч. Реардэн улыбнулся.

– Но мне знакома ваша практика, – мягко произнес он, – и я пытаюсь понять именно вашу теорию.

Он знал, что вся их программа затеяна конкретно ради Орена Бойла. Он знал, что работа столь запутанного механизма, приводимого в действие обманом, угрозами, давлением, шантажом, – механизма, подобного сошедшему с ума компьютеру, который выбрасывает по

прихоти момента любые случайные числа, – в итоге свелась к тому, что Бойл получил возможность давить на этих людей, чтобы они оторвали для него последний кусок добычи. Знал он и то, что сам Бойл не был причиной произошедшего или самым существенным его элементом; Бойл оказался лишь случайным пассажиром, а не создателем этой адской машины, которая разрушила мир, не Бойл сделал это возможным, равно как и ни один из сидевших в этой комнате. Они тоже были пассажирами в этой машине без водителя, дрожащими любителями автостопа, которые понимали, что их неуправляемая машина в конечном счете рухнет в пропасть; и вовсе не страх и не любовь к Бойлу заставляли их мчаться все по той же дорожке и гнать машину навстречу своему концу, а нечто другое, не имевшее названия, что-то, что они знали и в то же время не хотели знать, нечто не являющееся ни мыслью, ни надеждой, что он узнавал только по своеобразному выражению их лиц, пугливому выражению, говорившему: «А вдруг мне удастся как-нибудь выпутаться». Почему? – думал он. Почему они считают, что могут выпутаться?

Мы не можем позволить себе никаких теорий! – кричал Висли Мауч. – Мы должны действовать!

Хорошо, я могу предложить еще одно решение. Отче го бы вам не отобрать у меня мои заводы и не руководить ими самим?

От такого предложения они просто ударились в панику.

О нет! – задохнулся Мауч.

Мы и не думали об этом! – вскричал Хэллоуэй.

Мы за свободное предпринимательство! – вопил доктор Феррис.

– Мы не хотим причинить вам вред! – кричал Лоусон. – Мы ваши друзья, мистер Реардэн. Разве мы не можем работать все вместе? Ведь мы ваши друзья.

В другом конце комнаты стоял стол с телефоном, скорее всего, тот же самый стол и тот же самый телефон – и перед глазами Реардэна внезапно возникла фигура человека, склонившегося над телефоном, человека, который уже тогда знал то, что он, Реардэн, начал понимать только теперь, человека, который боролся с собой, чтобы отказать ему в той же просьбе, в которой он отказывал теперь находившимся в комнате людям; он увидел и конец этой борьбы, искаженное лицо человека, смотревшего ему прямо в глаза, и услышал его голос, с отчаянием, но отчетливо выговаривающий: «Мистер Реардэн, клянусь женщиной, которую я люблю, – я ваш друг».

Тогда он посчитал эти слова предательством и оттолкнул этого человека, чтобы уйти служить людям, смотревшим на него сейчас. Так кто же оказался тогда предателем? – подумал он; он подумал об этом почти без эмоций, не имея права на эмоции, осознавая только торжественную и почтительную ясность. Кто принял решение дать людям, сидящим здесь, денег, чтобы они могли снять этот номер? Кем он пожертвовал и ради кого?

– Мистер Реардэн, – проскулил Лоусон, – в чем дело? Он повернул голову, заметил, что Лоусон со страхом следит за ним, и догадался, что тот увидел на его лице.

– Мы не хотим отбирать у вас заводы! – кричал Мауч.

Мы не хотим лишать вас вашей собственности, – вторил ему доктор Феррис. – Вы нас не понимаете!

Начинаю понимать.

Еще год назад, подумал он, они, наверно, застрелили бы меня; два года назад они конфисковали бы мою собственность; поколения назад люди их типа могли позволить себе роскошь убивать и грабить, не считая нужным скрывать от себя и своих жертв, что их единственной целью является вполне материальный грабеж. Но их время ушло, ушли в прошлое и их жертвы, ушли раньше, чем обещало расписание истории, и им, бандитам, теперь оставалось только созерцать неприкрытую реальность собственных целей.

Послушайте, ребята, – устало произнес он. – Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите сожрать мои заводы и со хранить их одновременно. Все, что я хочу знать, заключается в следующем: что позволяет вам считать, что это воз можно?

Не понимаю, что вы хотите сказать, – оскорбленным тоном произнес Мауч. – Мы же сказали, что нам не нужны ваши заводы.

Хорошо, скажу точнее. Вы хотите и сожрать, и сохранить меня одновременно. Как вы думаете это проделать?

Не понимаю, как вы можете так говорить после того, как получили от нас все заверения, что мы считаем вас человеком, бесценным для страны, для сталелитейной промышленности, для...

Я верю вам. Но это-то и создает еще большие трудности. Вы говорите, я бесценен для страны? Да что там, вы считаете меня бесценным даже для вашей собственной шкуры. Вот вы сидите здесь и дрожите, потому что знаете – я последний, кто может спасти ваши жизни, и знаете, что времени почти не осталось. И все же вы предлагаете план, который уничтожит, разорит меня, план, который требует, с идиотской прямоотой, без уверток, кривляний, обмана, чтобы я работал себе в убыток, что бы я работал, а каждая тонна металла, которую я произведу, обходилась мне дороже, чем я за нее плачу, чтобы я скормил вам все, что имею, и мы будем вместе умирать с голоду. Такое отсутствие логики – это уже слишком для любого человека, даже для бандита. Ради самих себя – Бог с ней, со страной, и со мной – вы должны на что-то рас считывать. На что?

Он видел на их лицах выражение «авось пронесет», особое выражение, которое казалось одновременно таинственным и обиженным, как будто – совершенно невероятно! – именно он скрывал от них какой-то секрет.

Не понимаю, почему надо обязательно так пессимистично оценивать ситуацию, – мрачно изрек Мауч.

Пессимистично? Вы что, действительно считаете меня способным продолжить дело при вашем плане?

Но это только временно!

Временных самоубийств не бывает.

Но это только на время чрезвычайного положения! Только до тех пор, как все придет в порядок!

– И каким же образом все придет в порядок? Ответа не последовало.

Как, по-вашему, я буду давать сталь после того, как стану банкротом?

Вы не станете банкротом. Вы всегда будете давать сталь, – безразличным тоном вступил в разговор доктор

Феррис, не высказав ни порицания, ни одобрения, просто констатируя факт, как он мог бы сказать другому: ты всегда будешь лоботрясом. – Вам от этого никуда не деться. Это у вас в крови. Или, более научно, вы так устроены.

Реардэн сел; у него было такое чувство, словно он подбирал шифр к цифровому замку и при этих словах почувствовал – клик! – первая цифра встала на свое место.

Главное как-нибудь пережить кризис, – сказал Мауч, – дать людям передышку, шанс подняться.

А потом?

Потом будет лучше.

За счет чего? Ответа не последовало.

Кто же все улучшит?

Господи, мистер Реардэн, люди же не стоят на месте! – вскричал Хэллоуэй. – Они что-то

делают, растут, идут вперед.

Какие люди?

Хэллоуэй сделал неопределенный жест:

Просто люди.

Какие люди? Люди, которым вы намерены скормить последние крохи «Рearдэн стал», ничего не получив взамен? Люди, которые будут продолжать потреблять больше, чем производят?

Условия изменятся.

– Кто их изменит? Ответа не последовало.

– Останется ли у вас что-нибудь, что можно будет грабить? Если вы не понимали смысла своей политики раньше, просто невозможно, чтобы вы не осознали этого теперь. Взгляните вокруг. Все эти чертовы народные республики по всей планете существуют только за счет подачек, которые вы выдавливали для них из нашей страны. Но вы – у вас не осталось ничего, откуда еще можно что-то выжать или слизать. Ни одной страны на всем земном шаре. Наша была самой большой и последней. Вы ее полностью выжали. Вы – Доили насухо. Я остался последним обломком всего этого великолепия, которого не восстановить. Что вы будете делать, вы и ваш народный земной шар, после того как прикончите меня? На что вы надеетесь? Что у вас впереди – если не считать полного, окончательного и чисто биологического вымирания от голода?

Они не отвечали. Они не смотрели на него. На их лицах застыла упрямая злоба, как будто они слушали призывы лжеца.

Потом Лоусон мягко, полуупрекающе-полупрезрительно произнес:

– Хорошо, но вообще говоря, вы, бизнесмены, все время предрекаете всякие катастрофы, вы годами кричите о не счастьях при каждом прогрессивном начинании и пророчите нашу гибель – но мы живы. – Он улыбнулся, но тотчас стер с лица улыбку, наткнувшись на внезапно потяжелевший взгляд Рearдэна.

Рearдэн почувствовал, что у него в голове снова прозвучало: клик! – и встала на место еще одна цифра в замке. Он подался вперед.

На что вы рассчитываете? – спросил он, его голос изменился, он стал ниже, и в нем послышался настойчивый, тяжелый, стучащий звук дрели.

Нам надо выиграть время! – кричал Мауч.

Времени уже ни для чего не осталось.

Нам нужен только шанс! – кричал Лоусон.

Шансов тоже больше не осталось.

Только пока мы не встанем на ноги! – кричал Хэллоуэй.

Вы не встанете на ноги.

Только пока наша политика не начнет приносить плоды! – кричал доктор Феррис.

Абсурд бесплоден. Ответа не последовало.

Что теперь может вас спасти?

– О, вы что-нибудь придумаете! – кричал Джеймс Таггарт.

И тогда, хотя он привык к этой фразе, которую слышал всю свою жизнь, Рearдэн почувствовал оглушительный грохот внутри, как будто настезь распахнулась стальная дверь, – последняя цифра опустила рычаг механизма, еще одно маленькое число, пополнившее общую сумму, и сложный секретный механизм открыл замок; он получил ответ, вобравший в себя все проблемы и противоречия, раны всей его жизни.

В мгновение тишины, последовавшей за грохотом, ему показалось, что он слышит голос Франциско, спокойно спрашивавший его в бальном зале этого отеля и повторяющий вопрос

здесь и сейчас: «На ком из присутствующих здесь лежит самая большая вина?» И он услышал собственный ответ тогда, в прошлом: «Предполагаю, на Джеймсе Таггарте», и голос Франциско, произносящий без всякого упрека: «Нет, мистер Реардэн, это не Джеймс Таггарт».

Здесь и сейчас он мысленно ответил: «Я самый виновный».

И это был он, тот, кто проклинал всех бандитов за их упрямую слепоту? Но ведь он сам сделал это возможным. Начиная с первого вымогательства, которому уступил, с первого распоряжения, которому подчинился, он дал им основание считать, что с реальностью можно не считаться, что кто-то может потребовать самых нелепых вещей и всегда найдется кто-то другой, кто каким-то образом будет выполнять это требование. Если он принял Закон о равных возможностях, если он выполнял указ десять двести восемьдесят девять, если он подчинился закону, что те, кто не имеет его способностей, может ими пользоваться, что те, кто не зарабатывает, должны получать прибыль, а он, кто все это имеет, должен нести убытки, что те, кто не умеет мыслить, должны командовать, а он, который умеет, должен подчиняться, – так разве они погрешили против логики, полагая, что существуют в нелогичной вселенной? Это он создал ее для них, он им все это дал. Разве они погрешили против логики, полагая, что их делом было только желать, безотносительно к тому, исполнимо ли это, а его – исполнять их желания способами, которые они не должны знать и не могут назвать? Они, мистики-импотенты, стремились уйти от ответственности разума, и они знали, что он, рационалист, возьмет на себя исполнение их прихотей. Они знали, что он дал им свободу распоряжаться реальностью; он не должен спрашивать почему, а они не должны спрашивать как – именно это позволило им требовать, чтобы он отдал часть своего богатства, затем все, что имел, а затем больше, чем имел. Это невозможно? Отчего же? Ведь он что-нибудь придумает*.

Он не заметил, что вскочил с места, что стоит, уставясь на Джеймса Таггарта, пытаюсь увидеть в бесформенности черт Таггарта ответ на все катастрофы, которые наблюдал на протяжении всей своей жизни.

– Что случилось, мистер Реардэн? Что я такого сказал? – Таггарт спрашивал с возрастающим беспокойством, но Реардэн не слышал его голоса.

Перед ним проходила вереница лет, ужасные потери, невыполнимые требования, необъяснимые победы зла, дутые планы и невнятные цели, провозглашаемые в полных грязной философии книгах, отчаянное недоумение жертв, которые думали, что какая-то сложная, злая мудрость движет силами, разрушающими мир, – и все это покоится на одной догме, светившейся в лукавых глазах победителя: «Он что-нибудь придумает*... Выкрутится как-нибудь,.. Он не оставит нас... Он что-нибудь придумает!»

«Вы, промышленники, предсказывали, что мы погибнем, а мы живы...» И это правда, подумал он. Нет, вовсе не они, а он сам не замечал реальности, которую сам же создал. Нет, они не погибли, но тогда кто? Кто погиб, заплатив своей жизнью за то, чтобы выжили эти! Эллис Вайет... Кен Денеггер... Франциско Д'Анкония.

Он схватил шляпу и пальто и заметил, что остальные пытаются остановить его, что на их лицах отразилась паника и они, пораженные, кричат: «В чем дело, мистер Реардэн?.. Почему?.. Но почему?.. Что мы такого сказали?.. Вы не уйдете!.. Вы не можете уйти!.. Еще слишком рано!.. Не сейчас! О, не сейчас!»

Ему казалось, что он видит их сквозь заднее стекло скоростного экспресса, будто они стоят на пути, размахивая руками, делая бессмысленные жесты и издавая непонятные звуки, на расстоянии их фигуры становились все меньше, а голоса, умолкая, все тише.

Один из них попытался остановить Реардэна, когда тот повернулся к выходу. Он оттолкнул его с дороги, не сильно, простым, плавным движением руки, будто отстраняя мешавшие занавеси, и вышел.

Когда он уселся за руль своей машины и погнал ее по дороге на Филадельфию, то ощущал только тишину. В его душе застыло молчание, словно он знал, что теперь может позволить себе отдохнуть душой. Он ничего не чувствовал, ни подъема, ни страха, как человек, который после многолетних усилий достиг вершины горы, чтобы полюбоваться видом на окрестности, прилеги, растянувшись на земле, отдыхал, прежде чем взглянуть вокруг, впервые свободно располагая своим временем.

Он осознавал, что перед ним тянется длинное, пустынное шоссе, петляющее и вновь устремляющееся вперед, что его руки свободно лежат на руле, что, когда машину заносит на повороте, он слышит визг колес. Но ему казалось, что он несется вниз, спускаясь с неба по растянутой где-то в пустоте спирали.

Прохожие у заводских зданий, на мостах, рядом с электростанциями вдоль дороги наблюдали явление, прежде привычное для них: нарядный, мощный и дорогой автомобиль, за рулем которого уверенный в себе мужчина, вид которого кричал о преуспевании громче, чем неоновые вывески, – оно отражалось и в одежде водителя, и в его умелом обращении с машиной, и в целенаправленном, стремительном беге автомобиля. Они смотрели, как он пролетал мимо и исчезал в туманной дымке, предвестнице ночи.

Он же видел свои заводы, черными силуэтами поднимавшиеся из темноты на фоне пульсирующего зарева. Зарево было цвета расплавленного золота, а в небе прохладный белый, словно хрустальный, огонь отливался в слова «Реардэн стал».

Он смотрел на удлиненные силуэты, на изгибы домен, подобных триумфальным аркам, на столбы дыма, торжественной колоннадой поднимавшиеся вдоль триумфальной аллеи в столице империи, на повисшие гирляндами мосты, на краны, салютовавшие, как пики, на медленно развевавшиеся флаги дыма. Этот вид нарушил молчание его души, и он улыбнулся, приветствуя все, что его окружало. Это была улыбка счастья, любви, привязанности. Он никогда не любил свои заводы так, как в этот краткий миг, потому что смотрел на них сквозь призму собственных ощущений, очищенных от всего, кроме его собственных ценностей, в сияющей, избавленной от противоречий действительности; и в этот миг он понял и причину своей любви: заводы – это творение его мысли, направленной к ощущению счастья от бытия, они были воздвигнуты в разумном мире, населенном разумными людьми. Если эти люди исчезнут, если этот мир прекратит свое существование, если его заводы перестанут служить его ценностям – они останутся лишь грудой мертвого хлама, обреченного на исчезновение, и чем скорее, тем лучше, и их уничтожение будет не актом измены, а лишь выражением верности их подлинному значению.

До заводов оставалась еще миля, когда его внимание вдруг привлек взметнувшийся вверх небольшой язык пламени. Среди всех оттенков огня в лабиринте высоких строений он чувствовал его ненормальность и ненужность: пламя имело сырой желтый оттенок и пробивалось там, где не должно быть никакого пламени – из здания проходной.

В следующее мгновение он услышал сухой треск выстрела, в ответ раздался один за другим еще три хлопка, подобных звуку от удара разозлившегося человека, вlepившего пощечину нападавшему.

Затем черная масса, закрывавшая дорогу впереди, начала обретать очертания. Это было уже не просто темным пятном и не отступало по мере приближения – у главного входа бесновалась толпа, пытаясь штурмовать завод.

Он еще успел различить руки, размахивавшие дубинками, ломami, а некоторые и ружьями, желтые языки огня, и пробивавшиеся из окна проходной, синие вспышки ружейных выстрелов, летевших из толпы, и ответные вспышки с крыши; он еще успел увидеть силуэт человека, падающего, раскинув руки, с крыши грузовика, а затем круто вписал взвизгнувшие колеса своего

автомобиля в поворот, направив его в темноту объездной дороги.

Он несся на скорости шестьдесят миль в час по рытвинам грунтовой дороги к восточной проходной – и уже показались ворота, когда удар колес о рытвину отшвырнул машину к краю оврага, на дне которого покоилась груда старого шлака. Навалившись подбородком и локтем на руль, борясь с двумя тоннами стремившегося вперед металла, напряжением всего тела Реардэн пересилил инерцию машины. Она с визгом вывернула на дорогу и вновь стала послушной его воле. Все это заняло один миг, а еще через мгновение его нога нажала на тормоз, принудив машину остановиться, потому что в тот момент, когда свет фар скользил по оврагу, он мельком увидел темную длинную тень на фоне серых сорняков и нечеткое белое пятно показавшееся ему рукой человека, взывающего о помощи.

Сбросив пальто, он торопливо сбежал по склону оврага; комья земли сыпались из-под его ног, он бежал, скользя ногами, стараясь удержаться за сухие, колючие побеги кустарника, направляясь к черной груде, в которой он уже разглядел человеческое тело. Мимо луны клочком ваты проплыла туча, и Реардэн увидел белое пятно руки, вытянутой среди зарослей сорняков. Человек не двигался.

– Мистер Реардэн... – Он услышал шепот, который не смог стать криком, ужасный звук, словно воля пыталась заставить говорить голос, способный издавать лишь мучительные стоны.

Реардэн ощутил все сразу: и мысль, что голос ему знаком, и луч луны, проникший сквозь пену ватных облаков, и свое падение на колени возле белевшего овала лица. Перед ним лежал Наш Нянь.

Он ощутил, как рука молодого человека с почти нечеловеческой силой, рожденной агонией, ухватила за его руку, увидел измученное страданием лицо, сухие губы, стекленеющие глаза и тонкую темную струйку из маленького черного отверстия в опасном, слишком близком к сердцу месте на левой стороне груди.

Мистер Реардэн... я хотел их остановить... хотел спасти вас...

Что с тобой, малыш?

Они стреляли в меня, чтобы я не смог сказать... я хотел предупредить, – его рука пыталась указать на красное зарево в небе, – что они делают... я не успел, но я пытался... пытался... и... я еще могу... говорить... по слушайте, они...

Тебе нужен врач, Я отвезу тебя в больницу и...

Нет! Подождите!.. Я думаю, мне осталось немного... я должен сказать вам... послушайте, эта перестрелка... она устроена... по приказу из Вашингтона... это не рабочие... не ваши рабочие... это те, новые, и... бандиты, нанятые со стороны... Не верьте ни одному слову, что бы вам ни говори ли... Это все подстроено... эти сволочи подстроили...

На лице молодого человека отражалось отчаянное напряжение, напряжение битвы за правое дело, голос его, казалось, черпал силу и жизнь из какого-то источника, который пульсировал в его разбитом теле, и Реардэн понял, что должен его выслушать – это и будет самая большая помощь.

– Они... они уже подготовили программу координации сталелитейной промышленности... и им нужно какое-то оправдание для него... потому что они знают, что страна его не примет... и вы не примете... Они боятся, что это будет уже слишком для всех... это просто план содрать с вас шкуру заживо, вот и все... поэтому они хотели, чтобы все вы глядело так, будто вы морите рабочих голодом... и рабочие сходят с ума от ярости, и вы их не можете сдержать... и правительство должно вмешаться, чтобы защитить вас и обеспечить безопасность обществу... Вот ради чего все это затеяли, мистер Реардэн...

Реардэн обратил внимание на содранную кожу на руках молодого человека, засохшую кровь и грязь на его ладонях и одежде, серые следы пыли и грязи на коленях и животе. В неровном

свете луны, он различил колену примятых сорняков и поблескивавшие подтеки на них, уходящие во тьму. Страшно подумать, какой путь прополз парень и сколько это заняло времени.

– Они не хотели, чтобы вы были здесь, мистер Реардэн... Не хотели, чтобы вы видели их народное восстание... По том... вы знаете, как они прячут концы в воду... ничего не просочится... одна ложь... и они надеются убедить страну... и вас... что действовали ради вашей защиты... Не дайте им надуть вас, мистер Реардэн!.. Скажите стране... скажите людям... скажите журналистам... Расскажите то, что я вам сказал... я клянусь в этом... Теперь все имеет... юридическую силу, правда?.. Ведь правда?.. Это дает вам шанс?

Реардэн сжал руку молодого человека в своей:

Спасибо, малыш.

Мне... мне жаль, что я опоздал, мистер Реардэн, но... они не подпускали меня ни к чему до последней минуты... пока все не началось... Они вызвали меня... на очень важное совещание... там был один человек по имени Питере... из Стабилизационного совета... Он в подчинении у Тинки Хэллоуэя... а тот – у Орена Бойла... Они хотели от меня только... хотели, чтобы я подписал кучу пропусков... чтобы пропустить бандитов... чтобы начать беспорядки сразу и на территории завода, и снаружи... чтобы выглядело так, будто они действительно ваши рабочие... Я отказался подписывать.

Отказался? После того, как они посвятили тебя в свой замысел?

Но... конечно, мистер Реардэн... Не думаете же вы, что я мог участвовать в таких играх?

Нет, малыш, полагаю, что нет. Только...

Что?

Ты подставился.

Но я не мог иначе!.. Не мог же я помогать им разрушать завод, правда?.. Сколько я мог терпеть и выжидать?.. Пока они не убьют вас?.. И что бы я делал потом с собственной жизнью, если бы не рискнул ею?.. Вы... вы ведь это понимаете, мистер Реардэн?

Да, понимаю.

Я им отказал... я выбежал из офиса... побежал за главным инженером... рассказать ему... но не смог его найти... Потом услышал выстрелы возле главной проходной... пытался дозвониться до вас... но кто-то перерезал провода... я побежал к своей машине. Хотел добраться до вас, или полиции, или газет, кого-нибудь... но они, должно быть, следили за мной... Тогда они и начали стрелять... на автостоянке... в спину... помню только, что упал и... и потом, когда открыл глаза, они сбросили меня... на груды шлака...

На груды шлака? – медленно повторил Реардэн, зная, что эта груда находилась на сотню футов ниже.

Юноша неопределенно кивнул, показав куда-то вниз, в темноту.

Да... туда... И я... я пополз... пополз вверх... я хотел... хотел продержаться, пока не расскажу все кому-нибудь, кто сможет рассказать вам. – Его искаженное болью лицо внезапно разгладилось; он улыбнулся, в голосе послышалась живая нота торжества, и он прибавил: – И я это сделал. – Потом потрянул головой и спросил совсем как удивленный ребенок, сделавший неожиданное открытие: – Мистер Реардэн, так, наверное, и чувствуют... когда чего-то очень хотят... просто очень хотят... просто очень хотят... и делают?

Да, малыш, именно так. – Голова юноши откинулась назад и коснулась руки Реардэна, глаза его закрылись, линия рта разгладилась, как бы удерживая миг глубокого удовлетворения. – Но ты не должен останавливаться на этом. С тобой еще не кончено. Ты должен продержаться, пока я не отвезу тебя к врачу и... – Он осторожно приподнял юношу, но боль опять исказила его лицо, губы сжались, чтобы сдержать крик, и Реардэну пришлось осторожно опустить его обратно на землю.

Юноша покачал головой, и во взгляде его промелькнуло почти извинение.

– Мне уже не выкарабкаться, мистер Реардэн... Не стоит обманывать себя... Я знаю, что со мной все кончено. – Затем, чтобы покончить с приступом жалости к самому себе, он прибавил, словно цитируя заученный урок, отчаянно стараясь придать своему голосу прежние интонации циника-интеллектуала: – В чем дело, мистер Реардэн?.. Человек – это только совокупность... определенных химических элементов... и смерть человека... в принципе ничем не отличается от смерти животного.

Ничего поумнее не придумал?

Да, – прошептал тот, – пожалуй, придумал. – Он обвел взглядом темноту вокруг и вновь вернулся к Реардэну, глаза приняли беспомощное, мечтательное и по-мальчишески удивленное выражение. – Я знаю... это чепуха, все то, чему они нас учили... все, что они говори ли... о жизни и... о смерти... Умирание с точки зрения химии... действительно ничего не значит, но... – Он по молчал, и весь его отчаянный протест нашел выражение лишь в напряженности голоса, зазвучавшего очень глухо: – Но для меня это не так... И... я думаю, для животного это тоже не так... Но они говорят, что ценностей не существует... есть только социальные традиции, условности... но не ценности! – Его рука инстинктивно потянулась к ране на груди, как будто пытаясь удержать то, что он терял. – Нет... ценностей.

Потом его глаза раскрылись шире, и он произнес неожиданно спокойно и совершенно искренне:

– Мне хочется жить, мистер Реардэн. О Боже, как мне хочется жить! – Он говорил спокойно, хотя чувства обуревали его. – Не потому, что я умираю... а потому, что я только сегодня открыл, что это значит – действительно быть живым... и... это странно... Знаете, когда я это обнаружил?.. В офисе... когда подставился... сказал этим подонкам, чтобы убирались к черту... Есть... так много вещей, которые я хотел бы узнать раньше... но... что ж, снявши голову, по волосам не плачут. – Он перехватил невольный взгляд Реардэна на примятые сорняки и добавил: – Или по чему-то другому, мистер Реардэн.

– Послушай, мальщ, – ровным голосом проговорил Реардэн. – Я хочу, чтобы ты оказал мне услугу.

Сейчас, мистер Реардэн?

Да. Сейчас.

Боже, конечно, мистер Реардэн... если смогу.

Ты оказал мне сегодня вечером большую услугу, но я хочу попросить тебя о большем. Ты сделал большое дело, выдираясь из этой кучи шлака. Не хочешь ли ты сделать кое-что потруднее? Ты пошел на смерть, спасая мои заводы. Не хочешь ли ты попытаться жить для меня?

Для вас, мистер Реардэн?

Для меня, потому что я тебя об этом прошу. Потому что я этого хочу. Потому что нам вместе еще долго карабкаться до вершины – и тебе, и мне.

А разве... разве для вас это имеет значение?

Имеет. Можешь ли ты сейчас сказать себе, что хочешь жить, как тогда, лежа на груди шлака? Что хочешь продержаться и продолжать жить? Хочешь ли ты бороться за это? Ты хотел участвовать в моей битве. Хочешь ли ты участвовать в этом со мной, в нашей первой общей битве?

Он почувствовал прикосновение руки молодого человека. Оно передало страстное желание ответить, но голос смог только прошептать:

– Я попытаюсь, мистер Реардэн.

А теперь помоги мне доставить тебя к врачу. Расслабься, успокойся и позволь мне поднять

тебя.

Да, мистер Реардэн. – Внезапным усилием он рывком приподнялся, чтобы опереться на локоть.

Спокойней, Тони.

Он увидел, как на лице юноши промелькнуло подобие его прежней счастливо-нагловатой усмешки:

Тони... Так я перестал быть для вас величиной относительной?

Да. Ты величина абсолютная.

Да, теперь я уже знаю несколько абсолютных величин. Вот первая. – Он указал на рану в груди. – Это ведь абсолютно, правда? – Он продолжал говорить, пока Реардэн очень медленно и осторожно приподнимал его, продолжал жал, будто нервная напряженность слов служила своеобразным наркотиком, уменьшавшим боль: – И люди не могут жить... если паршивые подонки... вроде тех, в Вашингтоне... безнаказанно творят такие дела... как то, что они затеяли сегодня... Если все станет вонючей подделкой... и не останется ничего настоящего... и никто не будет ничем... люди не смогут так жить... И это абсолютно, правда.

– Да, Тони, это абсолютно.

Реардэн так же медленно, осторожно поднялся на ноги; он видел, как спазмы боли искажали лицо парня, пока он, как ребенка, пристраивал его поудобнее у себя на руках; но конвульсии перешли в еще одно подобие прежней нагловатой усмешки, и парень спросил:

И кто сейчас Наш Нянь?

Полагаю, что я.

Реардэн сделал первый шаг вверх по крошившейся под ногами земле, тело его напряглось, чтобы принять на себя все толчки, угрожавшие его хрупкой ноше, чтобы обеспечить продвижение вперед там, где некуда было устойчиво поставить ногу.

Голова юноши опустилась на плечо Реардэна; робко, как будто стесняясь собственной бесцеремонности, Реардэн наклонил голову и прижался губами к его грязному лбу.

Парень дернулся и приподнял голову в недоверчивом и протестующем удивлении.

Вы знаете, что вы сделали? – прошептал он, словно не мог поверить в то, что это значило для него.

Опусти голову, – произнес Реардэн, – и я сделаю это снова.

Голова юноши опустилась, и Реардэн поцеловал его в лоб; этим он выразил признательность отца сыну, принявшему свой первый бой.

Юноша спокойно лежал у него на руках – лицо спрятано, руки обвили шею Реардэна. Потом совершенно беззвучно наружу стали прорываться лишь слабые, размеренные толчки – они-то и подсказали Реардэну, что юноша плачет, плачет оттого, что приходилось признать и смириться с тем, что ему никак не выразить словами, не найти их для передачи того, что он испытывал.

Реардэн продолжал свой медленный подъем наверх, шаг за шагом в неизвестность, стараясь, чтобы его походка оставалась ровной, несмотря на заросли пыльных сорняков, металлолом – хлам прошлого. Он продолжал идти к той линии, которую прочертило багровое зарево его заводов, чтобы обозначить конец оврага, возвышавшегося над ним. Он шел плавно, неторопливо, но в его движениях ощущалась ярость воина в разгар битвы.

Он не слышал всхлипываний, но ощущал ритмичные толчки и сквозь ткань своей рубашки вместо слез чувствовал тонкую теплую струйку, вытекающую из раны в ритме этих толчков. Он знал, что напряжение его тесно сомкнутых рук заключало в себе единственный ответ, который теперь мог слышать и понять юноша, и держал это трепещущее тело так, будто сила его рук могла передать часть его жизненной силы артериям, биение крови в которых становилось все глуше.

Потом рыдания прекратились, и юноша поднял голову. Лицо его казалось тоньше и бледней, но глаза сияли, пока он, глядя на Реардэна, собирался с силами, чтобы заговорить.

Мистер Реардэн... я... я вас очень люблю.

Я знаю.

У юноши уже не хватало сил улыбнуться, но улыбка светилась во взоре, которым он смотрел в лицо Реардэна – лицо человека, которого он, сам того не подозревая, искал всю свою короткую жизнь, искал как воплощение его системы ценностей, о которой он ничего не знал.

Затем голова его вновь упала, но на лице уже не осталось боли, только рот принял умиротворенное выражение, по его телу пробежала легкая судорога, подобная последнему протестующему крику, – а Реардэн продолжал медленно идти, не изменив размеренности своей походки, хотя знал, что осторожничать уже ни к чему, потому что то, что он нес, стало тем, чем учителя юноши считали человека – совокупностью химических элементов.

Он шел так, будто участвовал в похоронной процессии, отдавая последнюю дань юной жизни, угасшей на его руках. Он чувствовал гнев такой силы, который нельзя было охарактеризовать иначе, чем желание убивать.

Это желание было направлено не на неизвестного негодяя, пославшего пулю в мальчика, или чиновников-бандитов, нанявших негодяя, чтобы это сделать, а на учителей мальчика, которые привели его, безоружного, под бандитскую пулю, – против этих мягких, не склонных к насилию убийц из учебных классов, которые, не будучи способными ответить на вопросы детей, стремившихся прикоснуться к разуму, находили удовольствие в том, что калечили юные умы, доверившиеся их попечению.

Где-то, думал он, живет мать этого мальчика, которая, дрожа от страха, наблюдала, готовая кинуться на помощь, за его первыми, еще неверными шагами, когда учила его ходить, которая с ювелирной точностью высчитывала, чем и когда его кормить, фанатически подчинялась последнему слову науки в отношении его диеты и гигиены, защищая его неокрепшее тело от заразы, – а затем отослала, чтобы он превратился в измученного неврастеника, людям, которые учили его, что разума не существует, а мыслить не надо и пытаться. Если бы она кормила его отбросами, думал Реардэн, подмешивала в его пищу яд, это было бы менее жестоко и губительно.

Он подумал о всех особях животного мира, которые тренируют свой молодняк в искусстве выживания: кошка обучает котят охотиться; птицы прикладывают огромные усилия, чтобы поставить на крыло свое подросшее потомство, а человек, инструментом выживания которого является его мозг, не только не способен научить ребенка думать, но даже посвящает образование своих детей целям разрушения разума, убеждая их, что мысль эфемерна и зла, еще до того, как они начнут думать.

Взрослые обрушивают на ребенка поток броских фраз, действующих как последовательность шоковых приемов, призванных заморозить желание действовать, остановить деятельность сознания: «Не задавай так много вопросов, Детей должно быть видно, но не слышно!»; «Кто ты такой, чтобы думать? Это так, потому что я это сказал!»; «Не спорь, подчинись!»; «Не пытайся понять, поверь!»; «Не возникай!»; «Не высовывайся!»; «Не борись, иди на компромисс!»; «Доверяй не уму, а сердцу!»; «Откуда тебе знать? Родители знают лучше!»; «Кто ты такой, чтобы понимать? Общество понимает лучше тебя!»; «Откуда тебе знать? Чиновники знают лучше всех!»; «Кто ты такой, чтобы возражать? Все ценности относительны!»; «Кто ты такой, чтобы пытаться не попасть под бандитскую пулю? Это только личное предубеждение!».

Люди содрогнулись бы, увидев, как птица-родительница вырывает перья из крыльев своего птенца, а затем выталкивает его из гнезда, чтобы он научился выживать, – а ведь именно это они

делают со своими детьми.

Не вооруженный ничем, кроме бессмысленного набора фраз, этот мальчик боролся за свое существование, он, спотыкаясь, вслепую, предпринял несколько обреченных на неудачу усилий, пропищал свой возмущенный, удивленный протест – и погиб в нервной попытке воспарить на своих выщипанных крыльях.

Но некогда существовала и другая плеяда учителей, подумал Реардэн и вспомнил о тех, кто создал эту страну; он подумал, что матерям следовало бы пасть на колени и пожалеть о таких людях, как Хью Экстон. Найти их и умолять вернуться.

Он прошел через проходную своего завода, не обратив внимания на охранников, позволивших ему войти; они уставились на его лицо и его ношу, он не приостановился, чтобы выслушать, что они говорят, указывая на кипевшую в отдалении драку; он продолжал медленно идти к полоске света, – открытым дверям больничного корпуса.

Он вошел в освещенное помещение, заполненное людьми, окровавленными бинтами и запахом антисептиков, положил свою ношу на лежак, ничего никому не объяснив, и вышел не оглянувшись.

Он пошел к главной проходной, в направлении огненного зарева и звуков перестрелки. Время от времени он замечал фигуры людей, бежавших под огнем в проходах между зданиями или стрелявших из-за угла, спасаясь от преследования охраны и рабочих. Он удивился, заметив, что его рабочие хорошо вооружены. Казалось, они уже утихомирили громил на территории завода и осталось справиться только с осадой главной проходной. Он увидел хамского вида парня, бегущего к пятну света, с животной радостью молотя обрезком железной трубы по широким окнам и пританцовывая, как горилла, под звуки бьющегося стекла; потом три человеческие тени упали на парня и поволокли его, упирившегося изо всех сил, по земле.

Осада проходной, казалось, захлебнулась, будто толпе сломали хребет. Реардэн слышал в отдалении отдельные выкрики, но выстрелы с дороги становились все реже, огонь, охвативший здание проходной, потушили, у ворот и окон появились вооруженные люди, занявшие умело организованную оборону.

На крыше здания у ворот Реардэн заметил, подойдя ближе, силуэт стройного человека, державшего по пистолету в каждой руке и под прикрытием трубы стрелявшего время от времени по толпе, казалось, сразу в двух направлениях, как часовой, охранявший подходы к проходной. Уверенность движений, сама манера стрелять, не тратя времени на поиск цели, – он лишь резко вскидывал пистолет для выстрела без промаха – делали его похожим на героя вестернов. И Реардэн любовался им с каким-то безличным удовольствием, как будто битва за завод уже перестала его интересовать, но он еще мог наслаждаться зрелищем умения и уверенности, с которым люди той далекой эпохи некогда боролись со злом.

Луч прожектора ударил Реардэну прямо в лицо, а когда он передвинулся вперед, Реардэн заметил, что человек на крыше наклонился вниз и как будто посмотрел в его сторону. Человек сделал кому-то знак заменить его и внезапно исчез со своего поста.

Реардэн поспешно бросился в узкий темный проход впереди, но со стороны, из-за поворота, вдруг послышался пьяный голос, заоравший: «Вот он где!» Круто повернувшись, Реардэн увидел две массивные фигуры, бежавшие к нему. Он увидел ухмыляющееся бессмысленное лицо с открытым в безрадостной гримасе ртом, дубинку в поднимающейся руке и услышал приближающийся звук бегущих шагов с противоположной стороны; он попытался увернуться, – и получил дубинкой по затылку. В тот момент, когда темнота взорвалась перед его глазами и он пошатнулся, отказываясь в это поверить, а затем стал падать, он почувствовал, как сильная рука невидимого защитника поддержала его, не давая упасть. Он услышал, как в дюйме от его уха грохнул пистолетный выстрел, потом еще один из того же оружия и в ту же секунду, но

показавшийся уже слабым и отдаленным, словно сам Реардэн падал в глубокую шахту.

Первое, что он осознал, открыв глаза, – ощущение полного покоя. Потом он увидел, что лежит на диване в современной, строго обставленной комнате, и понял, что это его собственный кабинет и что двое мужчин, стоящих рядом с ним, – заводской врач и главный инженер. Он ощущал боль в голове, которая казалась бы очень сильной, если бы он уделил ей больше внимания, он почувствовал, что голова его перевязана. Чувство покоя проистекало от ощущения полной свободы.

Значение повязки и значение собственного кабинета не следовало воспринимать как единое целое. Это не самое лучшее сочетание для жизни. Теперь это не его битва, не его дело, не его жизнь.

Полагаю, со мной все будет в порядке, доктор, – сказал он, поднимая голову.

Да, мистер Реардэн, к счастью. – Доктор разглядывал его, будто все еще не мог поверить, что такое могло случиться с Хэнком Реардэном на его же собственном заводе; в голосе доктора слышались нотки оскорбленной верности и негодования. – Ничего серьезного, просто поверхностная рана и легкое сотрясение. Но вам нужен покой, позвольте себе отдохнуть.

Хорошо, – твердо заверил Реардэн.

Все кончено, – сказал главный инженер, махнув рукой в сторону завода за окном. – Мы задали ублюдкам трепку, они бегут. Вам не о чем беспокоиться, мистер Реардэн. Все кончено.

Да, – подтвердил Реардэн. – Должно быть, вам еще придется поработать, доктор.

О да. Не думал, что доживу до того дня, когда...

Понимаю. Идите, доктор, займитесь другими. Со мной все будет в порядке.

Да, мистер Реардэн.

А я позабочусь о заводе, – сказал главный инженер, когда доктор поспешил к выходу. – Все под контролем, мистер Реардэн. Но такой мерзости...

Я знаю, – ответил Реардэн. – А кто был моим спасителем? Кто-то подхватил меня, когда я падал, и открыл огонь по громилам.

Еще как! Прямо в рожи. Всех уложил. Это наш новый горновой. Здесь уже два месяца. Лучший из всех, кого я когда-либо видел. Тот самый, кто догадался, что замышляют эти стервецы, и этим же утром предупредил меня. Сказал, чтобы я вооружил наших людей, всех, кого могу. От полиции мы не получили никакой помощи, да и от военных тоже. Они всячески мялись и выдумывали самые фантастические предлоги для отказа и проволочек. Понятно, что все было спланировано заранее и бандиты не ожидали вооруженного сопротивления. И все этот горновой, Фрэнк Адаме, который организовал защиту, руководил всей обороной и дежурил на крыше, снимая всю ту нечисть, которая подходила слишком близко к воротам. Господи, вот это снайпер! Я содрогаюсь при мысли, сколько жизней он сегодня спас. Эти подонки жаждали нашей крови, мистер Реардэн.

Я хотел бы увидеть его.

Он ожидает на улице. Это он принес вас сюда и по просил разрешения, если можно, поговорить с вами.

Пошлите его ко мне. Затем отправляйтесь к себе, принимайтесь за дело и кончайте со всем этим.

Могу ли я сделать для вас еще что-нибудь?

Нет, большое спасибо.

Реардэн лежал спокойно, один, в тиши своего кабинета. Он знал, что в существовании завода уже нет смысла, и полнота этого знания не оставляла места для боли сожаления об иллюзии. Он уже видел, как финал всего, дух и сущность своих врагов: бессмысленное лицо бандита с дубиной в руках. Но заставила его отпрянуть в ужасе мысль не об этом лице, а о

профессорах, философах, моралистах, мистиках, которые допустили его существование в этом мире.

Он ощущал особую ясность мысли. Ее породили гордость и любовь к этой земле, земле, которая принадлежала ему, а не им. Это чувство вдохновляло его всю жизнь, чувство, которое некоторые испытывали в молодости, а затем предали, но он всегда оставался верным ему и нес его в себе как потрепанный, побывавший в переделках, неопознанный, но вечно живой двигатель, – чувство, которое теперь он испытал в полной и ни с чем не сравнимой чистоте: ощущение собственной высшей ценности и высшей ценности своей жизни. Он почувствовал абсолютную убежденность в том, что его жизнь принадлежит только ему, и прожить ее надо, не покоряясь злу, и что никогда не существовало необходимости ему покоряться. Ему было радостно и спокойно от сознания, что он освободился от страха, боли и вины.

Если правда, думал он, что существуют те, кто бросил вызов этому миру, те, кто борется за освобождение людей, подобных мне, пусть они посмотрят на меня теперь, пусть откроют свой секрет, пусть воззовут ко мне, пусть...

– Входите! – громко произнес он в ответ на стук в дверь.

Дверь отворилась, он продолжал спокойно лежать. На пороге стоял человек с растрепанными волосами, испачканным сажей лицом и покрытыми ожогами от работы с раскаленным металлом руками, одетый в заскорузлый комбинезон и покрытую пятнами крови рубашку, но стоявший так, будто на нем развевающийся на ветру плащ, – и в этом человеке он узнал Франциско Д'Анкония.

Реардэну показалось, что его сознание метнулось вперед прежде, чем его тело, которое отказывалось двигаться, скованное изумлением; его сознание смеялось, говоря ему, что это совершенно естественно, иначе и быть не могло.

Франциско улыбнулся улыбкой, которой встречают солнечным утром друга детства, будто нет ничего более естественного. И Реардэн понял, что улыбается в ответ, хотя какая-то его часть ощущала это как невероятное чудо, осознавая все же, что это неотразимо правильно.

Вы месяцами мучили себя, – заговорил Франциско, приближаясь к Реардэну, – раздумывая, какие выбрать слова, чтобы попросить у меня прощения, и имеете ли вы право просить его, если когда-нибудь встретите меня; теперь вы убедились, что этого вовсе не нужно, не нужно ни чего просить и прощать.

Да, – ответил Реардэн, и это прозвучало удивленным шепотом, но к мгновению, когда закончил свое высказывание, он знал, что большей благодарности он не мог предложить. – Да, я знаю это.

Франциско сел у него в изголовье и медленно провел рукой по его лбу исцеляющим прикосновением, которое закрыло страницы прошлого.

Я хотел сказать тебе только одно, – произнес Реардэн. – Я хочу, чтобы ты услышал это от меня: ты сдержал свою клятву, ты действительно оказался моим другом.

Я понимал, что вы это знали, и знали с самого начала. Вы это знали, и неважно, что вы думали о моем поведении. Вы ударили меня потому, что не смогли заставить себя сомневаться в этом.

Это... – прошептал Реардэн. – Я не имел права говорить тебе это... не имел права выставлять ее в качестве оправдания...

Вы не предполагали, что я могу понять это?

Я хотел тебя найти... и не имел права искать... а все это время ты был... – Он указал на одежду Франциско, затем его рука беспомощно опустилась, и он закрыл глаза.

Я работал у вас горновым, – усмехнулся Франциско. – Не думаю, что вы стали бы возражать. Вы сами предложили мне эту работу.

И ты находился здесь как мой телохранитель все эти Два месяца?

– Да.

– Ты был здесь уже... – Он замолчал.

Правильно. Утром того дня, когда вы читали мое прощальное послание над крышами Нью-Йорка, я отметился здесь на своей первой плавке как ваш горновой.

Скажи, – медленно произнес Реардэн, – в тот вечер на свадьбе Джеймса Таггарта, когда ты говорил, что готовишься к своему самому большому завоеванию... ты ведь имел в виду меня?

Конечно.

Франциско слегка подтянулся, словно приступая к выполнению серьезной задачи, лицо его посуровело, улыбка осталась только в глазах.

– Я должен вам о многом поведать, – начал он. – Но сначала вы должны повторить некое слово, которое однажды предложили мне, но я... вынужден был отказаться, по тому что знал, что несвободен его принять.

Реардэн улыбнулся:

– Какое слово, Францисков

Франциско склонил голову в знак того, что принял его, и ответил:

– Спасибо, Хэнк. – Затем он поднял голову. – А теперь я расскажу тебе о вещах, ради которых появился здесь и которые недосказал тебе в тот вечер, когда появился здесь впервые. Полагаю, ты уже готов их выслушать.

– Да, готов.

Сияние стали, изливающейся из домны, окрасило небо за окном. Сияние медленно прошло красным отблеском по стенам кабинета, над пустым столом, по лицу Реардэна, будто приветствуя его и одновременно прощаясь.

Глава 7 . «Слушайте, говорит Джон Галт!»

Звонок в дверь прозвучал как сигнал тревоги – длинным, требовательным визгом, прерванным нетерпеливыми ударами чьих-то беспокойных пальцев.

Вскочив с постели, Дэгни заметила холодный, бледный солнечный свет позднего утра и часы вдалеке, которые показывали десять. Она работала у себя в кабинете до четырех утра и оставила записку, что придет не раньше полудня.

Искаженное паникой белое лицо, смотревшее на нее из дверного проема, принадлежало Джеймсу Таггарту.

Он сбежал! – закричал он.

Кто?

Хэнк Реардэн! Сбежал, смылся, пропал, исчез! Дэгни на мгновение замерла, держа в руках пояс от халата, который завязывала; затем, когда она все поняла, ее руки плотно завязали пояс, почти надвое перерезав тело в талии, и она разразилась смехом. Смехом победителя.

Он ошеломленно посмотрел на нее.

– Что с тобой? – выдохнул он. – Ты что, не поняла?

Хватит, Джим. – Она презрительно отвернулась, проходя в гостиную. – О да, я поняла.

Он смылся! Сбежал, сбежал, как и другие! Оставив свои заводы, свои банковские счета, свою собственность – все! Просто исчез! Взял кое-какую одежду и все, что у него было дома в сейфе, – нашли открытый сейф в его спальне, открытый и пустой, – и это все! Ни слова, ни записки, ни объяснения! Мне позвонили из Вашингтона, но это все уже гуляет по городу! Новости, я имею в виду, происшествие! Это уже не скрыть! Они попытались, но... Никто не знает, как это просочилось, но на заводах уже все известно: слово вылилось наружу, как из доменной печи, и все знают... и пока собирались их остановить, вся шайка исчезла! Его заместитель, главный металлург, главный инженер, секретарь Реардэна, даже заводской врач! И Бог знает, кто еще! Дезертируют, ублюдки! Дезертируют, несмотря на все наши указы! Он смылся, и остальные смылись. А заводы про сто брошены и стоят себе не работая! Ты понимаешь, что это значит?

А ты? – спросила она.

Он швырял в нее всю эту историю, фразу за фразой, будто пытался стереть с ее лица улыбку, странную неподвижную улыбку горечи и торжества; ему не удалось стереть ее.

– Это национальная катастрофа! Да что с тобой? Не ужели ты не понимаешь, что это смертельный удар для нас? Он разрушит остатки морального духа и экономики страны! Мы не можем допустить его исчезновения! Ты должна вернуть его!

Ее улыбка погасла.

– Ты можешь! – кричал он. – Ты единственная, кто может! Ведь он твой любовник, разве нет?.. Да не смотри на меня так! У нас нет времени жеманничать! У нас осталось лишь время, чтобы вернуть его! Ты должна знать, где он! Ты можешь его найти! Ты должна встретиться с ним и вернуть его!

Взгляд, который она бросила на него, оказался еще ужаснее ее улыбки – она смотрела на него так, будто он стоял перед ней совершенно голый и этот вид вызывал у нее омерзение, которого она не могла сдерживать.

Я не могу его вернуть, – сказала она, не повышая голоса. – И не сделала бы этого, даже если бы могла. А теперь – вон отсюда.

Но национальная катастрофа...

Вон отсюда.

Она не заметила, как он вышел. Она стояла одна посреди своей гостиной – голова опущена, плечи поникли, но при этом она улыбалась, улыбкой печали и нежности приветствуя Хэнка Реардэна. Она смутно поражалась, отчего так радуется, что он освободился, так уверена в его правоте, отказываясь все же сама от такого же освобождения. Два чувства боролись в ней: одно – как порыв торжества – он свободен, они его уже не схватят; другое напоминало молитву: ведь мы еще можем победить, но пусть я буду единственной жертвой...

Странно, размышляла она в последовавшие затем дни, разглядывая окружавших ее людей, эта катастрофа заставила их так много думать о Хэнке Реардэне, как ни одно из его достижений, как будто их сознание воспринимало лишь несчастья, а не ценности. Некоторые, говоря о нем, грязно ругались, другие говорили шепотом, с виноватым и испуганным видом, как будто неведомый меч отмщения вот-вот упадет на их головы, третьи – уклончиво, делая вид, что ничего не произошло.

Газеты подобно марионеткам кричали одинаково воинственно и в один голос: «Приписывать дезертирству Хэнка Реардэна столь важное значение является изменой обществу. Это подмена общественной морали обветшалым убеждением, что личность может иметь какое-то значение для общества». «Изменой обществу является и распространение слухов об исчезновении Хэнка Реардэна. Мистер Реардэн не исчез, он в своем кабинете, руководит своими предприятиями как обычно. На заводах „Реардэн стил“ все спокойно, если не считать мелочей вроде недавно имевшего место сведения личных счетов среди рабочих». «Это измена обществу – освещать в непатриотических тонах трагическую потерю Хэнка Реардэна. Мистер Реардэн не дезертировал, он погиб в автомобильной катастрофе, направляясь на завод, его убитая горем семья настояла на скромных похоронах».

Странно, размышляла Дэгни, узнавать новости только из отрицаний, как будто существование прекратилось, факты исчезли и только лихорадочные опровержения, произносимые официальными лицами и газетчиками, давали какую-то пищу для догадок о действительности, которую они отрицали. «Не соответствует действительности, что сталелитейный завод Миллера в Нью-Джерси прекратил свою деятельность». «Не соответствует действительности, что компания „Янсен моторе“ в Мичигане закрыла ворота». «Порочно и антиобщественно распространять лживые измышления, что машиностроители и металлообработчики оказались на грани краха под угрозой дефицита стали. Нет никаких оснований ожидать, что ее может не хватить». "Преувеличены и необоснованны слухи, что программа координации сталелитейной промышленности подготовлена и одобрена мистером Ореном Бойлом. Адвокат мистера Бойла выразил резкий протест и заверил прессу, что мистер

Бойл является яростным противником подобного плана. Мистер Бойл, как стало известно, лечится в настоящее время от нервного расстройства".

Но некоторые перемены бросались в глаза прямо на улицах Нью-Йорка, в холодных, сырых сумерках осенних вечеров. Толпа собралась напротив магазина скобяных товаров, хозяин которого широко распахнул двери, приглашая покупателей самих распорядиться тем, что осталось из его скудного запаса. А он в это время истерически хохотал, глотая рвавшие из груди рыдания, и на прощанье расколотил зеркальные стекла своей витрины. И толпа собралась у дверей ветхого жилого дома, рядом с которым ждала машина скорой помощи, а из дверей выносили трупы мужчины, его жены и троих детей, отравившихся газом в запертой комнате; мужчина владел небольшим предприятием по отливке изделий из стали.

Если сейчас они понимают ценность Хэнка Реардэна, думала Дэгни, почему они не понимали этого раньше? Почему они тогда не уберегли себя от неминуемой гибели и не спасли его от неблагоприятных многолетних мучений? Она не находила ответа.

В тишине бессонных ночей Дэгни думала, что она и Хэнк Реардэн поменялись местами: он

находится в Атлантиде, а она отрезана от него лучевым экраном; он, наверное, взывает к ней, как она пыталась подать сигнал его терпевшему бедствие самолету, но никакой зов не может пробиться сквозь этот экран.

И все же экран раздвинулся на очень короткое время – на длину письма, которое она получила спустя неделю после исчезновения Реардэна. На конверте не было обратного адреса, только штемпель какой-то деревушки в штате Колорадо. Письмо содержало два предложения:

«Я его встретил. Я не виню тебя. Х Р.»

Она долго сидела неподвижно, будто не могла ни двигаться, ни чувствовать. Я ничего не чувствую, подумала она, потом заметила, что ее плечи дрожат непрерывной мелкой дрожью, и догадалась, что огромное напряжение в ней рождено торжествующей благодарностью, благодарностью и печалью, радостью победы, которая позволила этим двоим встретиться, окончательной победы обоих; благодарностью, что они там, в Атлантиде, все еще считали ее своей и позволили ей в виде исключения получить письмо, и одновременно печалью от сознания, что ее бесчувствие – это борьба за то, чтобы не слышать вопросы, которые она слышит теперь. Бросил ли ее Галт? Ушел ли он в долину, чтобы встретиться со своей самой великой победой? Возвратится ли он? Отказался ли он от нее? Самое мучительное заключалось не в том, что у нее не находилось ответов, а в том, что ответы были настолько просты и настолько легко достижимы, и в то же время она не имела права сделать шаг и получить ответ на свои вопросы.

Она не пыталась увидеться с ним. Каждое утро в течение месяца, входя в свой кабинет, она ощущала не пространство вокруг себя, а тоннель внизу, под полами здания, и, работая, ловила себя на том, что часть ее мозга с какой-то безжизненной активностью считала цифры, читала отчеты, принимала решения, тогда как остальная, живая, пребывала в бездействии и покое, застывшая и созерцательная, ей запретили идти дальше повторения одной и той же фразы: он там, внизу. Единственный шаг в сторону, который она себе позволяла, заключался в быстром взгляде на платежную ведомость рабочих терминала. Она видела его имя: Галт, Джон. Оно стояло прямо и открыто на листе бумаги свыше двенадцати лет. Рядом с именем она видела его адрес, и весь следующий месяц делала все, чтобы забыть его.

Прожить этот месяц оказалось трудно – даже теперь, когда она смотрела на письмо, но еще труднее оказалось переносить мысль, что Галт ушел. Даже ее отказ видеть его служил своеобразной связью с ним, ценой, которую она согласилась платить, победой, одержанной во имя его. А теперь уже ничего не осталось, если не считать вопроса, которого не следовало задавать. Его присутствие в тоннеле поддерживало ее в движении в течение всех этих дней, так же как его присутствие в городе поддерживало ее в течение всего этого лета, так же как его присутствие где-то в этом мире поддерживало ее в течение тех лет до того, когда она впервые услышала его имя. Теперь она ощущала, что все замерло, остановилось.

Она продолжала движение, потому что у нее в кармане всегда лежала сверкающая пятидолларовая золотая монета – последняя капля горючего. Она продолжала движение, защищенная от внешнего мира своей последней броней – безразличием.

Газеты не печатали ничего о прокатившихся по всей стране вспышках насилия, но она следила за ними по отчетам проводников, сообщавших об изрешеченных пулями вагонах, разобранных путях, нападениях на поезда, осажденных станциях в Небраске, Орегоне, Техасе, Монтане, – тщетные, обреченные на провал вспышки, порожденные только отчаянием и кончавшиеся только разрушениями. В некоторых беспорядках участвовали лишь местные жители, другие распространялись шире. Целые районы поднимались в слепом мятеже, там арестовывали местных чиновников, изгоняли агентов Вашингтона, убивали налоговых инспекторов, затем провозглашали независимость от страны и доводили свои действия до крайних проявлений того самого зла, которое и сгубило их, словно борясь с убийством с

помощью самоубийства: отнимали всю собственность, которую можно было отнять, объявляли каждого ответственным за всех и вся – и погибали в течение недели, проев свою жалкую добычу, полные ненависти ко всему и ко всем, в хаосе, где не существовало никаких законов, кроме закона грубой силы, погибали под равнодушным натиском нескольких усталых солдат, посылаемых Вашингтоном, чтобы навести порядок на руинах.

Газеты об этом не упоминали. В редакционных статьях по-прежнему утверждалось, что самоотверженность – единственный путь к прогрессу, самопожертвование – единственная моральная установка, жадность – враг, а любовь – решение проблемы, убогие фразы оставляли во рту противно сладковатый привкус, как больничный запах эфира.

Слухи распространялись по стране циничным испуганным шепотом – и все же люди читали газеты и вели себя так, будто верят в то, о чем читают, и каждый соревновался с другими, кто лучше отмолчится, каждый делал вид, что ничего не знает, хотя все знал, каждый внушал себе, что неназванное не существует. Все это напоминало вулкан, который вот-вот начнет извергаться, в то время как люди у его подножья не хотят ничего знать о внезапно появившихся трещинах, черном дыме, клокотании в жерле горы и продолжают верить, что единственная опасность для них – осознание, что все эти признаки реальны.

«Слушайте доклад мистера Томпсона о глобальном кризисе двадцать второго ноября!»

Так в первый раз прозвучало признание того, что ранее не признавалось. Объявление начали передавать за неделю до события, и оно продолжало раздаваться во всех уголках страны.

«Мистер Томпсон выступит перед народом с докладом о глобальном кризисе! Слушайте мистера Томпсона на всех радиостанциях страны и по всем телевизионным каналам в двадцать часов двадцать второго ноября!»

Вначале первые полосы газет и вопли дикторов объясняли: «Чтобы противодействовать страху и слухам, распространяемым врагами народа, мистер Томпсон двадцать второго ноября выступит с обращением к стране и даст полный отчет о ситуации в мире в момент глобального кризиса. Мистер Томпсон положит конец силам зла, чья цель – держать нас в состоянии страха и отчаяния. Он внесет свет в объявляющую мир тьму и укажет путь решения наших трагических проблем – путь трудный, соответствующий тяжести положения, но путь славный, который принесет нам возрождение света. Обращение мистера Томпсона будет транслироваться всеми радиостанциями страны и всего мира, повсюду, где еще существует радиосвязь».

Затем хор голосов окреп и продолжал нарастать каждый день. «Слушайте мистера Томпсона двадцать второго ноября!» – вещали заголовки ежедневных газет. «Не забудьте о мистере Томпсоне двадцать второго ноября!» – кричали радиостанции в конце каждой программы. «Мистер Томпсон расскажет вам правду!» – твердили объявления в метро и автобусах, плакаты на стенах зданий, а потом и листовки на ограждениях заброшенных шоссе.

«Не теряйте надежды! Слушайте мистера Томпсона!» – вещали флажки на правительственных машинах. «Не сдавайтесь! Слушайте мистера Томпсона!» – зывали в конторах и магазинах. «Не отчаивайтесь! Слушайте мистера Томпсона!» – возвещали в церквях. «Мистер Томпсон даст вам ответ!» – выписывали в небе военные самолеты, буквы распадались в небесном пространстве, и ко времени, когда фраза бывала завершена, оставалось только последнее слово.

Задолго до двадцать второго на площадях Нью-Йорка водрузили уличные громкоговорители. Они хрипло просыпались к жизни каждый час, в одно время с перезвоном отдаленных часов, чтобы послать сквозь поредевший шум автомобилей над головами плохо одетой толпы звучный механический, как у будильника, крик: «Слушайте сообщение мистера Томпсона о глобальном кризисе двадцать второго ноября!» Крик прокатывался в морозном воздухе и исчезал среди окутанных туманом крыш, под пустой страницей календаря, на котором

отсутствовала дата.

Днем двадцать второго ноября Джеймс Таггарт передал Дэгни, что мистер Томпсон хотел бы встретиться с ней для беседы перед своим выступлением.

В Вашингтоне? – недоверчиво осведомилась она, глядя на часы.

Ну что ж, я должен заключить, что ты не читаешь га зет, чтобы быть в курсе важных событий. Разве тебе не известно, что мистер Томпсон будет вести передачу из Нью-Йорка? Он приехал сюда посоветоваться с ведущими деятелями в области промышленности, а также профсоюзов, науки, культуры и людьми из руководства страны. Он по требовал, чтобы я привел на совещание и тебя.

Где оно состоится?

Прямо на студии.

Надеюсь, от меня не ждут речей на публику в поддержку их политики?

Не беспокойся, скорее всего тебе не позволят даже сесть близко к микрофону! Им просто хочется выслушать твое мнение, и ты не можешь отказать, не в этот чрезвычайный для нации момент, не тогда, когда тебя лично при гласил мистер Томпсон. – Он говорил неприветливо, стараясь не встречаться с ней глазами.

Когда начнется совещание?

В семь тридцать вечера.

Не слишком много времени для совещания по случаю чрезвычайного положения в стране, тебе не кажется?

Мистер Томпсон очень занятой человек, а теперь, пожалуйста, не спорь, не начинай все снова. Я не понимаю, почему ты...

Ладно, – безразличным тоном произнесла она, – я буду. – И добавила под влиянием чувства, не позволявшего ей отправиться на бандитскую стрелку без свидетелей: – Но я привезу с собой Эдди Виллера.

Он нахмурился, задумался на минуту, лицо его выражало скорее недовольство, чем тревогу.

– А, ладно, если тебе хочется, – пожав плечами, резко бросил он.

Она приехала в радиостудию вместе с Джеймсом Таггартом в качестве надзирателя с одной стороны и Эдди Виллерсом в качестве телохранителя – с другой. Лицо Таггарта было злым и напряженным, на лице Эдди застыла покорность, и все же он выглядел удивленным и заинтересованным. Сцена, уставленная временными перегородками, находилась в углу широкого темного пространства, представлявшего собой нечто среднее между импозантной приемной и скромным кабинетом. Полукруг пустых кресел заполнял сцену, напоминая о групповом снимке из семейного альбома, а микрофоны походили на наживки на подставках-удочках, развешанных между креслами.

Лучшие представители руководства, стоявшие группками в нервном ожидании, выглядели остатками от распродажи в прогоревшей лавочке: Дэгни заметила Висли Мауча, Юджина Лоусона, Чика Моррисона, доктора Ферриса, доктора Притчета, Магушку Чалмерс, Фреда Киннена и горстку скверно одетых бизнесменов, среди которых виднелась и фигура испуганного и польщенного одновременно мистера Муэна из Объединенной компании по производству стрелок и сигнальных систем, который – совершенно невероятно! – получил приглашение в качестве промышленного магната.

Но присутствие среди собравшихся еще одного человека явно оказалось для нее ударом: она узнала доктора Роберта Стадлера. Она не думала, что можно так состариться за столь короткое время. Выражение бьющей через край энергии, мальчишеского задора покинуло его, и ничто не напоминало прежнего Стадлера, если не считать морщин, говоривших о презрительной горечи. Он стоял один, отдельно от других, и Дэгни видела, что он заметил ее появление; он выглядел

как человек в публичном доме, который вполне спокойно принимал существовавшее положение дел, пока вдруг не был обнаружен там собственной женой; в его глазах появилось выражение вины, которая вот-вот превратится в ненависть. Затем она увидела, как Роберт Стадлер, ученый, отвернулся, будто не заметил ее, будто его отказ видеть мог отменить факт ее присутствия здесь.

Мистер Томпсон расхаживал между группками, рвякая наугад на окружающих с беспокойным видом человека дела, который презирает себя за необходимость произносить речи. Он сжимал тонкую пачку отпечатанных листов, будто у него в руках была груда старой одежды, от которой надо избавиться.

Джеймс Таггарт перехватил его на полушаге, чтобы произнести неуверенно и громко:

Мистер Томпсон, могу ли я представить вам свою сестру, мисс Дэгни Таггарт?

Рад вас видеть, мисс Таггарт, – сказал мистер Томпсон, пожав ей руку, будто очередному избирателю, чье имя он никогда раньше не слышал, затем он быстро пере шел к другим.

Где же совещание, Джим? – спросила она, поглядывая на часы – гигантский циферблат с черной стрел кой, как нож нарезавшей минуты и двигавшейся к восьми часам.

Что я могу сделать! Я здесь не командую! – оборвал он ее.

Эдди Виллерс взглянул на нее с горечью смиренного изумления и подошел ближе.

Из радиоприемника слышались военные марши, передаваемые из другой студии, в помещении раздавались звуки нервных голосов, шум торопливых и бесцельных шагов, скрежет металлической аппаратуры, направляемой на сцену для съемки.

Настройте свои приемники, чтобы слышать доклад мистера Томпсона о глобальном кризисе! – по-военному рявкнул приемник, а между тем стрелка на циферблате показывала семь сорок пять.

Побыстрее, ребята, побыстрее! – покрикивал мистер Томпсон, а приемник взорвался еще одним маршем.

В семь пятьдесят Чик Моррисон, глава Комитета по агитации и пропаганде, который, казалось, отвечал и за передачу, закричал:

– Все в порядке, ребята, все в порядке, занимайте свои места! – Он махнул, как жезлом, свертком бумаги для записей в сторону залитого светом полукруга кресел.

Мистер Томпсон устремился к центральному креслу – словно спешил занять свободное место в вагоне метро.

Помощники Чика Моррисона направляли толпу к кругу света.

– Все вы сейчас – одна счастливая семья, – пояснил Чик Моррисон, – страна должна видеть нас большой, единой, счастливой... Что там такое?

Музыка в приемнике внезапно стихла, запнувшись о какую-то странную помеху как раз в середине музыкальной Фразы. Было семь часов пятьдесят одна минута. Чик Моррисон пожал плечами и продолжил:

– ...счастливой семьей. Побыстрее, ребята. Вначале мистера Томпсона крупным планом.

Стрелка часов продолжала нарезать минуты, в то время как фотографы щелкали своими аппаратами лицо мистера Томпсона – кислое и неприветливое.

– Мистер Томпсон сядет между наукой и промышленностью! – провозгласил Чик Моррисон. – Доктор Стадлер – в левое кресло от мистера Томпсона. Мисс Таггарт, сюда, пожалуйста, справа от мистера Томпсона.

Доктор Стадлер повиновался. Дэгни не сдвинулась с места.

– Это не для прессы. Это для телезрителей, – объяснил ей Чик Моррисон, стараясь действовать убеждением.

Она сделала шаг вперед.

Я не приму участия в этой программе, – ровным голосом произнесла она, обращаясь к

мистеру Томпсону.

Не примете? – без всяких эмоций спросил он с таким выражением лица, будто одна из цветочных ваз вдруг отказалась выполнять свои функции.

– Дэгни, ради Бога! – в панике закричал Джеймс Таггарт.

Но что с ней? – спросил мистер Томпсон.

Но, мисс Таггарт! Почему? – вскричал Чик Моррисон.

Вы все знаете почему, – обратилась она к окружающим. – Вам следовало бы лучше это понять, прежде чем пытаться повторить.

Мисс Таггарт! – завопил Чик Моррисон, видя, что она уходит. – В чрезвычайное для нации вре...

В это время к мистеру Томпсону подбежал какой-то человек, и Дэгни, как и все остальные, остановилась – выражение лица этого человека повергло вдруг толпу в молчание. Это был главный инженер радиостанции, и было странно видеть его взгляд, в котором примитивнейший ужас боролся с остатками цивилизованного самообладания.

Мистер Томпсон, – сказал он, – мы... нам, возможно, придется отложить передачу.

Что!– вскричал мистер Томпсон.

Стрелка на циферблате установилась на семи пятидесяти восьми.

Мы пытаемся выявить их, мистер Томпсон, пытаемся понять, что это такое... но мы не можем уложиться в это время и...

О чем вы говорите? Что произошло?

Мы стараемся обнаружить...

Что произошло?

Я не знаю! Но... мы не можем начать трансляцию, мистер Томпсон.

На секунду все стихло, затем мистер Томпсон спросил неестественно низким голосом:

Ты что, спятил?

Должно быть. Мне бы хотелось, чтобы это было так. Станция вышла из строя. Я не могу заставить ее работать.

Техника отказала? – прервал его мистер Томпсон, вскакивая с места. – Отказала, черт возьми, в такое-то время? Так-то ты руководишь станцией...

Главный инженер медленно покачал головой – как делают взрослые, чтобы не испугать ребенка.

– Не только наша станция, – осторожно проговорил он. – Все до единой радиостанции страны, насколько нам удалось выяснить. А технические неполадки полностью отсутствуют. Оборудование в порядке, и об этом докладывают все, но... на волне семь пять один все радиостанции прекратили свою работу... И никто не может понять, в чем дело.

Но... – начал мистер Томпсон, запнулся, посмотрел вокруг себя и взвизгнул: – Не сегодня же! Вы не имели права допустить это сегодня, вы должны передать мое сообщение!

Мистер Томпсон, – медленно ответил главный инженер, – мы запросили электротехническую лабораторию ГИЕНА. Они... с таким никогда не сталкивались. Они говорят, что это может быть естественного происхождения. Что– то там в космосе, чего мы не знаем, только...

И что же?

– Только они так не думают. И мы тоже, кстати. Они говорят, что это похоже на радиоволны, только неизвестной им частоты, они никогда с такой не сталкивались.

Никто не откликнулся. Через мгновение главный инженер продолжил очень серьезным голосом:

Похоже, мощный поток заблокировал эфир, и мы не можем прорваться сквозь него, не

можем его пробить... И более того, не можем обнаружить его источник, по крайней мере ни одним из наших обычных способов... Похоже, волны идут от передатчика, который... по сравнению с которым все имеющиеся у нас – детские игрушки!

Но это невозможно! – Этот крик прозвучал за спиной мистера Томпсона, и все повернулись в направлении крика, испуганные странной нотой ужаса, явно различимой в нем; кричал доктор Стадлер. – Этого не может быть! Никто на свете не может сделать это!

Так сделайте же что-нибудь! – воскликнул мистер Томпсон, не обращая ни к кому в отдельности.

Никто не шевельнулся, все молчали.

– Я не позволю этого! – продолжал мистер Томпсон. – И особенно сегодня! Я должен произнести эту речь! Сделай те что-нибудь! Решите же эту проблему наконец! Я приказываю вам – решите!

Главный инженер бесстрастно смотрел на него.

– Я всех уволю! Уволю всех электронщиков страны! Я прикажу судить всех специалистов за саботаж, дезертирство и измену! Вы слышите? Сделайте же что-нибудь. Черт бы вас всех подрал! Сделайте что-нибудь!

Главный инженер продолжал безучастно смотреть на него, как будто слова мистера Томпсона уже ничего не значили.

– Есть здесь кто-нибудь, кто подчиняется приказам? – кричал мистер Томпсон. – Неужели в стране не осталось ни одного мало-мальски толкового человека?

Стрелка часов достигла отметки восемь ноль-ноль.

– Леди и джентльмены, – прозвучал голос из радио приемника – четкий, спокойно-неумолимый мужской голос, совсем непохожий на те, что звучали в эфире уже много лет, – мистер Томпсон сегодня не будет говорить с вами. Его время истекло. С этого момента время принадлежит мне. Вы собирались выслушать сообщение о глобальном кризисе. Именно его вы сейчас и выслушаете.

Три человека одновременно ахнули, узнав этот голос, но в криках толпы никто уже не мог услышать их, потому что крики толпы были оглушительны. Один из негромких возгласов выражал торжество, другой ужас, третий изумление. Три человека узнали говорившего: Дэгни, доктор Стадлер и Эдди Виллерс. Никто не смотрел на Эдди Виллерса, но Дэгни и доктор Стадлер посмотрели друг на друга. Она увидела, что его лицо исказилось от нестерпимого страха, он понял, что она знает и что она смотрит на него так, будто этот спокойный голос ударил его по лицу.

– Вот уже двенадцать лет люди задают вопрос: «Кто такой Джон Галт?» Так вот – с вами говорит Джон Галт. Я человек, который любит себя и свою жизнь. Человек, который не жертвует своей любовью или своими ценностями. Человек, который отнял у вас жертвы и таким образом раз рушил ваш мир, и если вы хотите осознать, почему вы умираете, – вы, те, кто боится знаний, – я тот, кто вам сейчас это объяснит.

Из всех присутствующих сумел сдвинуться с места лишь главный инженер; он подбежал к стоящему в студии телевизору и начал лихорадочно крутить рычажки настройки, но экран оставался пустым: говоривший не пожелал, чтобы его видели. Только его голос наполнял эфир страны – всего мира, подумал главный инженер, и звучал так, будто он говорил совсем рядом, в этой комнате, и обращался не ко всем вместе, а к каждому в отдельности, голос его звучал не как на собрании – он звучал откровенно, обращаясь к сознанию каждого.

– Вы постоянно слышали, что наш век – век кризиса морали. Вы повторяли это, боясь и одновременно надеясь, что эти слова не имеют смысла. Вы кричали, что грехи человека разрушают мир. И проклинали человеческую природу за ее нежелание следовать тем

добродетелям, которых вы от нее требовали. Так как добродетель, считали вы, складывается из жертв, вы требовали все больше жертв при каждом последующем несчастье. Во имя возвращения к морали вы пожертвовали всем тем злом, с которым, вы считали, нужно бороться. Вы пожертвовали справедливостью во имя милосердия. Вы пожертвовали независимостью во имя единства. Вы пожертвовали разумом во имя веры. Вы пожертвовали богатством во имя бедности. Вы пожертвовали самоуважением во имя самоотречения. Вы пожертвовали счастьем во имя долга.

Вы разрушили все, что считали злом, и получили то, что, как вы считали, должно быть добром. Отчего же тогда вы дрожите от ужаса, глядя на тот мир, что окружает вас? Этот мир не порождение ваших грехов, он порождение и воплощение ваших добродетелей. Это ваш нравственный идеал, воплощенный в жизнь во всей своей полноте и совершенстве. Вы за это боролись, вы об этом мечтали, вы этого хотели, а я – я человек, который исполнил ваше желание.

У вашего идеала был неумолимый враг, уничтожить которого был призван ваш моральный кодекс. Я уничтожил этого врага. Я убрал его с вашего пути и из пределов вашей досягаемости. Я удалил источник всех тех зол, которое вы одно за другим приносили в жертву. Я закончил вашу битву. Я остановил ваш двигатель. Я лишил ваш мир человеческого разума.

Люди не живут разумом, говорите вы? Я убрал тех, кто им живет. Разум бессилён, говорите вы? Я убрал тех, чей разум силен. Есть ценности более высокие, чем разум, говорите вы? Я убрал тех, для кого разум наивысшая ценность.

В то время как вы тащили на заклание людей, веривших в справедливость, независимость, разум, богатство, собственное достоинство, я опередил вас, я пришел к ним первым. Я объяснил им суть той игры, в которую вы играете, и вашего морального кодекса, понять которые они, будучи слишком невинными и благородными, не могли. Я показал им, как можно жить, согласуясь с иной моралью – моей. И они предпочли следовать моей морали.

Все, кто для вас исчез, – это люди, которых вы ненавидели и все же боялись потерять, а отнял их у вас я. Не пытайтесь найти нас. Мы не хотим, чтобы нас нашли. Не стоит кричать, что наш долг служить вам. Мы не признаем этого долга. Не кричите, что мы вам нужны. Мы не считаем нужду обоснованным требованием. Не кричите, что владеете нами. Это не так. Не умоляйте нас вернуться. Мы объявляем забастовку – мы, люди, живущие разумом.

Мы бастуем против самопожертвования. Мы бастуем против догмы незаслуженных вознаграждений и невознагражденных обязанностей. Мы бастуем против доктрины, что стремление человека к счастью есть зло. Мы бастуем против учения, что жизнь греховна.

Есть разница между нашей забастовкой и всеми теми, которые вы устраивали веками: цель нашей забастовки не требовать, а удовлетворять требования. Мы – зло с точки зрения вашей морали. Мы решили больше не доставлять вам неприятностей. Мы бесполезны с точки зрения вашей экономики. Мы решили больше не эксплуатировать вас. Мы опасны, и с точки зрения вашей политики мы должны жить в оковах. Мы решили больше не подвергать вас опасности и не носить оков. Мы – только иллюзия с точки зрения вашей философии. Мы решили больше ничем не ослеплять вас и предоставить вам свободу, чтобы вы увидели реальность – ту реальность, которой вы хотели, мир, каким вы его видите сейчас, мир без людей, живущих своим умом.

Мы отдавали вам все, чего вы требовали от нас, – мы, которые всегда только отдавали, но лишь теперь поняли это. К вам у нас нет никаких требований, условий, достойных обсуждения, компромиссов, к которым стоило бы стремиться. Вам нечего нам предложить. Вы нам не нужны.

Но не вы ли теперь начинаете кричать: «Нет, мы не этого хотели!»? Бессмысленный мир развалин не был вашей целью? Вы не хотели, чтобы мы вас покинули? Вы моральные

каннибалы, я знаю, вы всегда знали, что именно этого вы и хотели. Но ваша игра окончена, потому что сегодня мы тоже это знаем.

Целые века репрессий и катастроф, порожденных вашим моральным кодексом, вы кричали, что кодекс нарушают, что репрессии – плата за его нарушение, что люди слишком слабы и эгоистичны, чтобы проливать столько крови, сколько требуется. Вы прокляли человека, вы прокляли жизнь, вы прокляли саму эту землю, но никогда не осмеливались подвергнуть сомнению свой кодекс. Ваши жертвы приняли на себя всю вину и продолжали бороться, осыпаясь вашими проклятиями за свое мученичество, а вы продолжали кричать, что ваш кодекс благороден, но природа человека недостаточно хороша, чтобы применять его на практике. И никто не поднялся и не спросил: «А по каким критериям вы определяете, что значит хорошо?»

Вы хотели узнать, кто такой Джон Галт. Я человек, который первым задал этот вопрос.

Да, наша эпоха – эпоха морального кризиса. Да, вы несете сейчас наказание за причиненное вами зло. Но судят сейчас не человека, взять на себя вину должна не природа человека. На этот раз мы судим ваш кодекс. Ваш моральный кодекс достиг своего логического конца, тупика в конце своего пути. И если вы хотите продолжать жить, то вам надо сейчас не возвращаться к нравственности – вы ее никогда и не знали, – вам надо открыть ее.

Вы не знаете никаких моральных учений, кроме мистической и общинной. Вас учили, что нравственность – это свод правил поведения, навязанный вам, – по прихоти сверхъестественной силы или общества, чтобы служить во имя Господа или на благо соседа, чтобы угодить авторитету на том свете или за соседней дверью – кому угодно, но не вашей жизни или удовольствию. Удовольствие, учили вас, вы найдете в аморальности, свои интересы лучше всего удовлетворите в пороке; любой моральный кодекс служит не вам, а против вас, не для того, чтобы сделать полнее вашу жизнь, но чтобы опустошить ее.

Веками битва за нравственность шла между теми, кто утверждал, что ваша жизнь принадлежит Богу, и теми, кто утверждал, что она принадлежит вашему соседу; между теми, кто проповедовал, что благо – это самоотречение ради призрачного рая, и теми, кто проповедовал, что благо – это самопожертвование во имя убогих на земле. И никто не сказал, что ваша жизнь принадлежит вам и благо состоит в том, чтобы прожить ее.

Обе стороны согласились, что нравственность требует отказа от личных интересов и своего ума, что нравственность и практичность противоположны, что нравственность относится не к сфере разума, а к сфере веры и силы. Обе стороны согласились и в том, что не может быть рациональной морали, что в разуме нет правильного или неправильного – что разуму нет причины быть моральным.

О чем бы ни спорили моралисты, все они боролись против разума, и в этом все они были едины. Мысль человека и стала тем объектом, против которого были направлены все их интриги и системы, именно ее они старались обокрасть и уничтожить. Выбирайте сами – погибнуть или понять: что против разума, то против жизни.

Ум человека – основное орудие его выживания. Жизнь человеку дана, выживание – нет. Тело человеку дано, пища – нет. Мозг ему дан, но ум – нет. Он должен действовать, чтобы жить, но прежде чем начать действовать, должен понять природу и цель своих действий. Он не может добыть пищу без знаний о ней и способах ее получения. Он не может вырыть яму или построить циклотрон без знания своей цели и способов ее достижения. Чтобы жить, он должен мыслить.

Но любая мысль – это акт выбора. Ключ к пониманию того, что вы так безрассудно называете природой человека, так называемая загадка, с которой вы живете, боясь ее назвать, – это факт, что сознание человека – это акт его воли. Разум не работает автоматически; мышление – не механический процесс; логические построения не инстинктивны. Ваш желудок, легкие или

сердце работают автоматически; ваш разум – нет. В любое время и в любом месте, пока живете, вы свободны в выборе: думать или избегать этого усилия. Но вы не свободны от собственной природы, от того факта, что разум – это средство вашего выживания, следовательно, для вас, людей, вопрос «быть или не быть» равнозначен вопросу «мыслить или не мыслить».

Поведение существа, наделенного сознательной волей, не является изначально заданным. Требуется система ценностей и приоритетов, направляющая его действия. Ценность – это то, что человек добывает и сохраняет своими действиями, добродетель – это действие, с помощью которого он добывает и сохраняет ценность. Ценность предполагает ответ на вопрос: ценность для кого и для чего? Ценность предполагает критерий – цель и необходимость действия перед лицом выбора. Там, где нет выбора, невозможно существование ценностей.

Во вселенной существует лишь один принципиальный выбор: выбор между жизнью и смертью – и этот выбор способно осуществить лишь живое существо. Существование неорганической материи безусловно, существование живых существ – нет; их жизнь зависит от предпринимаемых ими действий. Материя не уничтожима, она может изменить форму, но не может исчезнуть. Но лишь перед живыми организмами всегда встает возможность выбора: жить или умереть. Жизнь есть последовательность действий, направленных на самосохранение и самосовершенствование. Если организм не способен на самоподкрепление и самовозрождение, он умирает, хотя составляющие его химические элементы не исчезают. Понятие «ценность» существует лишь потому, что существует понятие «жизнь». Все существующее может быть хорошо или плохо лишь в применении к живому организму.

Растение должно питаться, чтобы жить; солнечный свет, вода, необходимые химические элементы – те ценности, которые диктует природа растения; сама жизнь растения является критерием ценности, управляющим его действиями. Но у растения нет выбора; условия, в которых оно оказывается, могут быть разными, но действует оно всегда одинаково: оно бессознательно стремится жить; оно не может стремиться к самоуничтожению.

Животное приспособлено к поддержанию собственной жизни; его органы чувств снабжают его набором бессознательных действий, бессознательным знанием, что для него хорошо и что плохо. Оно не в состоянии узнать больше или расширить свои знания. Когда его знаний оказывается недостаточно, оно погибает. Но пока живет, оно ведет себя так, как подсказывает ему знание, бессознательно делая все, что необходимо для самосохранения. Оно не властно выбирать, не может игнорировать то, что для него хорошо, не может выбрать зло и действовать в целях самоуничтожения.

Человек не запрограммирован на бессознательное выживание. Его отличает от других живых существ то, что перед лицом альтернативы – жизнь или смерть – ему необходимо действовать, сделав свободный выбор. Ему не дано бессознательного знания того, что для него хорошо, а что плохо, от каких ценностей зависит его жизнь, что он должен предпринимать, чтобы жить. Вы лепечете об инстинкте самосохранения? Именно инстинкта самосохранения у человека и нет. Инстинкт – это бессознательное знание. Желание не есть инстинкт. Желание жить не обеспечивает суммы необходимых для жизни знаний. И даже желание жить нельзя назвать бессознательным: зло, угрожающее вашей жизни, зло, о котором вы не знаете, заключается в том, что этого-то желания у вас и нет. Страх смерти не есть любовь к жизни, и он не дает необходимых для сохранения жизни знаний. Человек сам, с помощью собственного разума должен добыть эти знания и выбрать способ действия, но природа не может заставить его воспользоваться своим разумом. Человек способен уничтожить сам себя – именно так он и поступал на протяжении почти всей своей истории.

Живое существо, считающее свое орудие выживания злом, не выживает. Если бы растение калечило собственные корни, птица сама ломала свои крылья, они не выжили бы в реальности,

которой бросают вызов своими действиями. Но история человечества – это борьба за отрицание и разрушение собственного разума.

Человека называют разумным существом, но разумность есть вопрос выбора – и природа человека ставит перед ним выбор: быть разумным существом или убивающим самого себя животным. Человек должен быть человеком по собственному выбору; он должен ценить свою жизнь – согласно собственному выбору; он должен научиться поддерживать эту жизнь – по собственному выбору; он должен понять, что ценно для его жизни, и действовать в соответствии с этими ценностями – по собственному выбору.

Система ценностей, принятая в результате выбора, есть моральный кодекс.

Кем бы вы ни были, мои слушатели, я обращаюсь к вам, я обращаюсь к тому живому, что еще осталось в вас, к вашему разуму, и говорю: есть разумная нравственность, нравственность, приличествующая человеку, и критерием ее ценности является человеческая жизнь.

Все, что хорошо для жизни разумного существа, есть добро; все, что разрушает ее, есть зло.

Жизнь человека согласно его природе не есть жизнь неразумного зверя, бандита или мистика, живущего на подаяние. Нет. Это жизнь мыслящего существа, жизнь не за счет силы или обмана, а за счет созидания – это не выживание любой ценой, потому что выживание покупается только разумом.

Жизнь человека есть нравственный критерий, но ваша нравственная цель есть ваша собственная жизнь. Если ваша цель – существование на земле, вам следует действовать, выбрав то, что вы называете своими ценностями в соответствии с тем, что приличествует человеку, – ради того, чтобы сохранить, получить удовольствие и наиболее полно удовлетворить требованиям этой невосполнимой ценности – вашей жизни.

Так как жизнь определяет нормы поведения, нарушение этих норм приводит к гибели. Движущей силой и целью человека, не считающего собственную жизнь движущей силой и целью всех своих действий, является смерть. Такой человек – метафизический урод, борющийся с фактом собственного существования и в своем слепом безумии сеющий лишь разрушение, чудовище, способное лишь страдать.

Счастье есть торжество жизни, страдание – предвестник смерти. Счастье есть состояние сознания, проистекающее из достижения истинных ценностей. Нравственность, согласно которой счастье следует искать в отречении от него, согласно которой ценно отсутствие истинных ценностей, такая нравственность есть наглое отрицание нравственности. Доктрина, отводящая вам в качестве идеала роль жертвенного животного, ищущего смерти на чужом алтаре, предлагает в качестве критерия смерть. По милости реальности и по своей природе человек, каждый человек сам есть цель, он существует ради самого себя, и достижение собственного счастья – его высшая моральная цель.

Но следуя неразумным прихотям, нельзя обрести ни жизнь, ни счастье. Человек волен пытаться выжить любым способом, но он погибнет, если не будет жить в соответствии с требованиями своей природы. Таким же образом он волен искать счастья в бессмысленном самообмане, но обретет лишь муки разочарования, потому что он должен искать только приличествующее человеку счастье; цель нравственности – научить наслаждаться жизнью, получать удовлетворение от того, что ты есть, а не от страданий и смерти.

Отбросьте утверждения интеллектуальных паразитов, живущих за счет разума других, которые с детства внушали вам, что человеку не нужна нравственность или правила поведения, не нужны ценности. Именно они, выдающие себя за ученых и утверждающие, что человек только животное, утверждают, что законы жизни, которым подчиняются даже низшие насекомые, на человека не распространяются. Они признают, что природа каждого биологического вида диктует нормы поведения, следуя которым вид выживает. Они не

утверждают, что рыба может жить без воды или что собака может жить без обоняния, но человек, заявляют они, самое сложное из существ человек может выжить как угодно, человек не обладает ни индивидуальностью, ни своей природой, и нет причины, по которой он не мог бы выжить даже тогда, когда разрушены сами его средства выживания, когда его разум растоптан и поставлен в зависимость от любого приказа, который они соблаговолит отдать.

Не слушайте этих пожираемых ненавистью мистиков, притворяющихся друзьями человечества и проповедующих, что высочайшей добродетелью человека является обесценивание собственной жизни. Они утверждают, что цель нравственности – обуздание человеческого инстинкта самосохранения. Но именно для самосохранения человеку нужен моральный закон. Нравственным желает быть лишь тот, кто желает жить.

Нет, вы не обязаны жить; это ваш основной выбор; но если вы выбираете жизнь, вы должны жить так, как подобает человеку, – своим трудом и суждениями своего ума.

Нет, вы не обязаны жить, как подобает человеку; это нравственный выбор. Но иначе вы жить не можете; альтернатива этому – смерть при жизни, то, что вы наблюдаете сами в себе и вокруг себя. Это состояние нежизни, состояние нечеловеческое – ниже животного; такое существо знав! только страдание и тяжкую многолетнюю агонию бездумного самоуничтожения.

Нет, вы не обязаны мыслить; это нравственный выбор. Но кто-то должен мыслить, чтобы вы выжили; если вы не выполняете этого требования, вы не выполняете требования к своему существованию, перекладывая его выполнение на человека, следующего требованиям морали, и ожидая, что ради того, чтобы вы жили вопреки разуму, он пожертвует своей способностью мыслить.

Нет, вы не обязаны быть человеком; но сегодня тех, кто вправе назвать себя этим именем, с вами нет. Я отобрал у вас тех, за чей счет вы жили, – ваших жертв.

Если вам интересно, как я это сделал и что я им сказал, чтобы убедить их оставить вас, слушайте то, что я вам говорю. Я сказал им то же, что сейчас говорю вам. Эти люди жили согласно тому закону, которого придерживаюсь я, но они не знали, что это великая добродетель. Я убедил их в этом. Я помог им не переоценить, а осознать собственные ценности.

Мы, люди разума, бастуем против вас во имя единственной аксиомы, лежащей в основе нашей морали, так же как в основе вашей морали лежит нежелание признавать эту аксиому. Эта аксиома заключается в следующем: жизнь существует.

Жизнь существует – и понимание этого подразумевает понимание двух аксиом, вытекающих из первой: существует то, что человек сознает; человек существует, потому что обладает сознанием. Сознание же есть способность осознавать существующее.

Если ничего не существует, сознание не может существовать: сознание, которому нечего осознавать, есть противоречие в самом себе. Сознание, осознающее лишь само себя, есть также противоречие в самом себе; прежде чем оно определит себя как сознание, оно должно что-то осознавать. Если того, что, по-вашему, вы осознаете, не существует, тогда вы обладаете не сознанием, а чем-то другим,

При любом уровне ваших знаний, этих двух аксиом – существования и сознания – вам не избежать, их нельзя преодолеть, они имеют первостепенное значение, они подразумеваются любым вашим действием, они основа всего вашего знания от самых первых шагов в жизни до глубин понимания, которых вы можете достичь к ее концу. Неважно, идет ли речь о форме гальки на морском берегу, или о строении солнечной системы, – аксиома остается непреложной: это существует, и вы это знаете.

Существовать значит быть чем-то. Что-то есть нечто отличное от того, что есть ничто и что не существует. Существовать значит быть предметом, обладающим конкретной природой и конкретными свойствами. Много веков назад человек, который является, несмотря на свои

заблуждения, величайшим из философов, вывел формулу, определяющую основы существования и закон всякого знания: А есть А. Вещь является сама собой. Вы так и не поняли значения этого утверждения. Я дополню его: бытие есть тождественность, сознание есть отождествление.

Над чем бы вы ни размышляли, будь то объект, его свойство или действие, закон тождества непреложен. Лист не может одновременно быть камнем, не может быть одновременно зеленым и красным, он не может одновременно замерзнуть и гореть. А есть А. Или, если хотите: один пирог два раза не съешь.

Вы хотите узнать, что стряслось с миром? Все катастрофы, разрушившие ваш мир, есть результат попыток тех, кто стоит во главе вашего общества, не замечать, что А есть А. Все зло, которое есть в вас и в котором вы боитесь себе признаться, все страдания, которые вы вынесли, есть результат ваших попыток не замечать, что А есть А. Те, кто научил вас не замечать это, преследовали одну цель: заставить вас забыть, что Человек есть Человек.

Человек может выжить, лишь приобретая знания, и единственным средством для этого является разум. Разум есть способность осознавать, определять и обобщать то, что человек ощущает. Человек ощущает очевидность существования с помощью чувств, но осознать это он может лишь разумом. Чувства говорят только, что нечто существует, но определить что – дело разума.

Весь процесс мышления есть процесс отождествления и обобщения. Человек воспринимает цветное пятно; обобщая свидетельства своего зрения и осязания, он учится отождествлять это цветное пятно с твердым телом; он определяет это твердое тело как стол; он узнает, что стол сделан из дерева, что дерево состоит из клеток, что клетки состоят из молекул, что молекулы состоят из атомов. Работа мозга заключается в том, чтобы постоянно отвечать на единственный вопрос: что это? Установить, верны ли найденные ответы, можно с помощью логики, а основой логических рассуждений является аксиома: существующее существует. Логика есть искусство непротиворечивого отождествления. Противоречий не существует. Атом есть то, что он есть. Ни атом, ни вселенная не могут быть противоречием тому, чем они являются. Равным образом часть не может противоречить целому. Ни одно понятие, сформулированное человеком, не является подлинным, пока человек не сможет без противоречий включить его в общую сумму своих знаний. Прийти к противоречию значит признать ошибку в своих рассуждениях; отстаивать противоречие значит отрицать собственный разум и изгнать себя из реальности.

Реально то, что существует; нереальное не существует; нереальное есть лишь отрицание существующего, которое является содержанием человеческого сознания, пытающегося отказаться от разума. Истина есть признание реальности; разум – единственное средство познания, которым обладает человек, единственный критерий истины.

Худший вопрос, который вы можете сейчас задать, это «чей разум?» Ответ прост – «ваш». Независимо от того, как много или мало вы знаете, обрести это знание должен именно ваш разум. Вы можете иметь дело лишь с собственными знаниями. Лишь собственными знаниями вы можете обладать, и лишь с вашими собственными знаниями вы можете просить считаться других. Ваш разум – ваш единственный судья, и, если другие расходятся с вами во мнении, рассудит вас лишь реальность. Ничто, кроме человеческого разума, не может осуществлять сложный, тонкий, важный процесс отождествления, который называют мышлением. Ничто не может направлять этот процесс, кроме собственного суждения человека. Ничто не может направлять суждение, кроме нравственной целостности его носителя.

Я обращаюсь к вам, говорящим о «моральном инстинкте» так, словно это нечто противопоставленное разуму, – человеческий разум и есть моральный дар. Процесс работы разума есть процесс постоянного выбора в попытках ответить на вопрос: истинно или ложно, правильно или неправильно? Следует ли посадить зерно в землю, чтобы оно проросло, – верно

или нет? Нужно ли обработать рану, чтобы спасти человеку жизнь, – верно или нет? Природа атмосферного электричества такова, что его можно преобразовать в кинетическую энергию, – верно или нет? Именно отвечая на эти вопросы, вы получили все, что у вас есть, и ответы дал вам разум, разум, неуклонно следующий за тем, что истинно.

Процесс размышления есть моральный процесс. Можно ошибаться на каждом шагу, и охранить от ошибок может лишь строгость к себе. Можно и обманывать, искажать очевидное и не пытаться понять; но если преданность истине есть критерий нравственности, то нет преданности выше, благороднее и самоотверженнее, чем преданность истине человека, взявшего на себя ответственность мыслить.

Сознание есть то, что вы называете душой или духом, а то, что вы называете свободной волей, есть свобода выбора, предоставленная вашему разуму, – свобода думать или не думать; лишь в этом вы вольны, лишь в этом свободны, этот выбор определяет выбор во всем остальном, определяет вашу жизнь и ваш характер.

Способность мыслить есть единственная и основная человеческая добродетель, из которой вытекают все другие добродетели. А его основной порок, источник всего зла есть то, чему нет названия, но что все вы делаете, никогда в этом не сознаваясь: отказ от мышления, преднамеренная остановка работы сознания, нежелание думать – не слепота, а отказ видеть, не невежество, а отказ знать. Это нежелание сосредоточиться на мышлении, преднамеренное затуманивание, цель которого – избежать ответственности за суждение. Основанием для всего этого служит молчаливое предположение, что нечто не существует в том случае, если вы отказываетесь осознать это нечто и считаете, что А не есть А до тех пор, пока вы не признаете: «А существует». Отказ от мышления есть акт уничтожения, желание отрицать существующее, попытка истребить реальность. Но существующее существует; реальность невозможно уничтожить, напротив, реальность уничтожает того, кто попытается ее не заметить. Отказываясь сказать: «Это существует», вы тем самым отказываетесь сказать: «Я существую». Не высказывая собственного суждения, вы отрицаете себя как личность. Когда человек объявляет: «Кто я такой, чтобы знать?» – он говорит: «Кто я такой, чтобы жить?»

Ежесекундно, во всем вы совершаете свой основной нравственный выбор: мыслить или не мыслить, существовать или не существовать, А или не А, нечто или ничто.

В той мере, в какой человек разумен, он исходит из постулата жизни. В той мере, в какой он неразумен, его исходной предпосылкой становится смерть.

Вы, лепечущие, что мораль есть продукт общественных отношений и что на необитаемом острове человек не испытывал бы в ней нужды, – именно на необитаемом острове человек более всего нуждается в морали. Пусть он объявит – а ведь у него нет жертв, которые за это заплатят, – что скала – это дом, песок – это одежда, что пища сама, без усилий упадет ему в рот, что завтра он соберет урожай, съев весь запас зерна сегодня, и реальность сотрет его в порошок, как он и заслуживает. Реальность заставит его понять, что жизнь – это ценность, что за жизнь надо платить и что единственной монетой, которой можно расплатиться за жизнь, является разум.

Если бы я говорил на вашем языке, я бы сказал, что единственной моральной заповедью человека является утверждение: «Ты должен мыслить». Но моральная заповедь есть противоречие в самом себе. Мораль – это то, что мы избираем, а не то, что нам навязывают; то, что мы понимаем, а не то, чему нам следует подчиниться. Мораль рациональна, а разум не подчиняется чужим заповедям.

Мое нравственное правило, нравственное правило разума, заключено в единственной аксиоме: сущее существует – и в единственном выборе: жить. Все остальное является следствием. Для того чтобы жить, человеку следует почитать высшими, основополагающими ценностями следующие: разум, цель, собственное достоинство. Разум – единственный

инструмент познания. Цель – выбор своего счастья, которого можно достичь с помощью этого инструмента. Собственное достоинство – нерушимая уверенность в том, что разум способен размышлять и что личность достойна счастья, что значит: достойна жизни. Эти три ценности подразумевают все остальные человеческие добродетели, а все остальные добродетели входят в эти три; все человеческие добродетели проистекают из соотношения сущности и сознания: разумность, независимость, цельность, честность, справедливость, творчество, гордость.

Разумность есть признание того факта, что сущее существует, что ничто не властно изменить истину и ничто не может быть выше акта ее достижения – акта мышления, что ценности и поступки определяет лишь разум, что разум есть абсолют, не допускающий компромиссов, что уступка иррациональному сводит на нет всю деятельность сознания и вместо осознания действительности заставляет его эту действительность искажать, что якобы кратчайший путь к знанию – вера – есть лишь короткое замыкание, разрушающее разум, желание упразднить сущее и, соответственно, сознание.

Независимость есть признание того факта, что на вас лежит ответственность за суждения, и никто вас от этой ответственности не освобождает, никто не будет думать за вас, так же как никто не сможет жить за вас, что отвратительнейшая форма самоунижения и саморазрушения состоит в подчинении собственного разума разуму другого, в признании его власти над вашим разумом, в признании его суждений фактами, его голословных утверждений – истиной, а его указаний – единственным посредником между вашим сознанием и вашим бытием.

Цельность есть признание того факта, что нельзя обмануть собственное сознание, так же как честность есть признание того, что нельзя подделать бытие; что человек есть цельное существо, неделимое целое, обладающее двумя свойствами: материей и сознанием; что разлада между телом и разумом, действием и мыслью, жизнью человека и его убеждениями допускать нельзя – подобно судье, глухому к мнению толпы, человек не может жертвовать своими убеждениями ради желаний других, даже если все человечество умоляет его об этом или угрожает ему. Мужество и уверенность в себе есть практическая необходимость, мужество – практическая форма верности бытию, верности собственному сознанию.

Честность есть признание того факта, что нереальное нереально и не является ценностью; ни любовь, ни деньги, ни слава не имеют никакой цены, если они достигнуты обманом; попытка завладеть ценностями путем обмана – это попытка возвыситься над реальностью тех, кого вы избрали своими жертвами, и в этом случае вы отдаете себя в заклад их слепоте, в рабство их бездумности и бегства от реальности, а их ум, рациональность, восприимчивость становятся для вас врагами, которых вы опасаетесь и избегаете; честность – это нежелание жить в зависимости, в зависимости от глупости других, не менее того, или подобно глупцу, чьим источником ценностей служат еще большие глупцы, которых ему удалось одурачить; признание, что честность есть не общественная обязанность или жертва ради других, но наиболее эгоистичная из человеческих добродетелей: отказ приносить реальность собственного существования в жертву чужим заблуждениям.

Справедливость есть признание того факта, что характер человека подделать невозможно, так же как невозможно подделать природу, что следует судить о людях так же честно, как вы судите о неживых предметах, с тем же уважением к истине, столь же неподкупно, так же рационально и объективно; что каждого следует воспринимать таким, каков он есть, и соответственно относиться к нему; что подобно тому, как вы не заплатите за ржавую железную болванку больше, чем за слиток золота, вы не станете ценить мерзавца выше героя: что ваша нравственная оценка есть та монета, которой вы платите людям за их добродетели или пороки, и эта плата требует от вас такой же добросовестной порядочности, какая необходима в финансовых делах; что скрывать презрение к человеческим порокам означает быть моральным

фальшивомонетчиком, а сдерживать восхищение их добродетелями означает быть моральным растратчиком; что почитать что-либо выше справедливости значит обесценивать собственную моральную валюту и ставить зло выше добра, потому что от искажения справедливости пострадать может лишь добро, а выиграть лишь зло; и предел, до которого можно пойти, следуя этим путем, это наказание за добродетель и вознаграждение за порок, что это ведет к абсолютной развращенности, к черной мессе во славу смерти, к посвящению сознания делу разрушения бытия.

Способность производить есть наше признание нравственности, признание того, что наш выбор сделан в пользу жизни; что продуктивная деятельность есть контроль существования человека его сознанием, постоянное приобретение знаний и перестройка материи в соответствии со своей целью, перевод мысли в физическую сущность, преобразование земли в соответствии со своими ценностями; что вся деятельность есть деятельность творческая, если ее производит мыслящий ум, и никакая деятельность не может быть творческой, если ею занимается глупец, в равнодушном оцепенении повторяющий одни и те же действия, которым его научили другие; что работу себе вы выбираете сами, и выбор столь же широк, сколь неограничен ваш ум, что большее для вас невозможно, а меньшее унижит ваше достоинство; что обманывать себя и пытаться заниматься тем, на что вы не способны, значит превратиться в мартышку с вечно колотящимся от страха сердечком, копирующую чужие движения и живущую чужим временем, а удовлетвориться работой, требующей от вас меньше, чем вы в состоянии дать, значит заглушить двигатель и приговорить себя к движению вниз; что работа – это процесс достижения ценностей, а утратить стремление к ценностям значит утратить стремление к жизни; что ваше тело – это автомобиль, управляемый разумом, и дорога для этого автомобиля не должна быть ни длинной, ни короткой, а целью путешествия должно стать свершение; что человек, не имеющий цели, похож на автомобиль, который с выключенным мотором катится под уклон, готовый разбиться в любой канаве, по милости любого попавшегося на пути валуна; что человек, душащий собственный разум, подобен автомобилю, без дела ржавеющему на стоянке; что человек, позволяющий кому-то все решать за него, подобен гуде искореженного металла, которую тащат на свалку, а тот, кто делает своей целью другого, подобен человеку, путешествующему автостопом, ничего не платя, и ни одному водителю не стоит подвозить такого попутчика; что работа есть цель вашей жизни и следует, не снижая скорости, проезжать мимо любого убийцы, считающего, что он вправе вас остановить; что все ценности помимо вашего дела, верность чему-то еще или любовь должны быть приятными попутчиками, путешествующими с вами, идущими в том же направлении, что ивы.

Гордость есть признание того факта, что вы сами – высшая ценность и, подобно всем человеческим ценностям, эту ценность тоже нужно заработать; что, лишь создавая самого себя, вы окажетесь способными достичь всего, чего вы можете достичь; что ваш характер, поступки, желания, эмоции определяются вашим разумом; что подобно тому, как человек должен производить материальные ценности для поддержания своей жизни, он должен созидать себя, чтобы его жизнь стоило поддерживать; что подобно тому, как человек создает собственное благосостояние, он создает и собственную душу; что без чувства собственной значимости жить нельзя; но если жизнь лишена бессознательных, изначально данных ценностей, у человека нет и изначально данного чувства собственного достоинства и его приходится обретать, преобразуя душу в соответствии со своим нравственным идеалом, по образу Человека, существа разумного, которого каждый от рождения способен из себя сотворить, но акт творчества не навязывается, а выбирается; что первой предпосылкой к возникновению чувства самоуважения служит тот лучезарный эгоизм души, который побуждает искать лучшего во всем, будь то нечто физическое или духовное, душа, стремящаяся прежде всего к моральному самосовершенствованию, ценя

превыше всего себя; что знаком достигнутого самоуважения является Дрожь презрения и бунт против назначенной вам роли животного, обреченного на ритуальное заклятие, против низкой дерзости любого учения, предлагающего пожертвовать незаменимой ценностью – вашим сознанием и несравненным великолепием – вашим бытием в угоду слепому бегству от действительности, нравственному застою Других.

Теперь вы понимаете, кто такой Джон Галт? Я – по праву обретший то, за что вы не пытались бороться, от чего вы отреклись, что предали, опорочили, но так и не смогли полностью уничтожить, то, что вы теперь виновато скрываете, проводя жизнь в извинениях перед профессиональными людоедами, лишь бы не выдать, что в глубине души вам все еще хочется сказать то, что я говорю сейчас всему человечеству: я горжусь самим собой и тем, что хочу жить.

Это желание, которое вы разделяете, скрывая от самих себя как зло, и есть то, что еще осталось в вас от добродетели, но это желание нужно заслужить. Единственная моральная цель человека – его собственное счастье, но достичь этой цели может лишь человек добродетельный. Добродетель – это не самоцель. Добродетель – не награда самой себе и не жертва в угоду злу. Наградой добродетели служит жизнь, а цель и награда жизни – счастье.

Как тело имеет два основных ощущения: удовольствие и боль – знаки здоровья и болезни, жизни и смерти, этого фундаментального выбора, так и в вашем сознании существуют две основные эмоции: радость и страдание – знаки того же выбора. Эмоции подсказывают, что способствует жизни и что угрожает ей, это счетчик, мгновенно подсчитывающий ваши потери и приобретения. Хотите вы того или нет, вы чувствуете, что хорошо для вас, а что – плохо. Но лишь от ваших моральных критериев зависит, что вы назовете хорошим, что плохим, что принесет вам радость, что боль, что вы полюбите, что возненавидите, чего пожелаете, чего испугаетесь. Испытывать эмоции – ваше врожденное свойство, но содержание эмоций определяется вашим разумом. Способность чувствовать – это двигатель, который питает топливом ценностей разум. Если вы заправите свой автомобиль горючей смесью противоречий, у вас заглохнет мотор, коробка передач проржавеет, и при первой же попытке тронуться с места на машине, которую вы, водитель, сами и испортили, вы разобьетесь.

Если критерием ваших ценностей становится нелогичность, а вашим представлением о добре – утопия, если вы жаждете незаслуженной награды, богатства или любви, если вы пытаетесь обойти закон причин и следствий, ожидая, что по вашей прихоти А перестанет быть А, если вы стремитесь получить нечто противоположное бытию – вы этого добьетесь. Только не плачьтесь тогда, не говорите, что жизнь бесцельна, что счастья нет; проверьте, чем вы заправили свой автомобиль: вы доехали туда, куда и хотели.

Счастья нельзя достичь по прихоти эмоций. Счастье не есть удовлетворение безрассудных желаний, которым вы слепо потакаете. Счастье – это состояние непротиворечивой радости, радости без чувства вины, без страха наказания, радости, гармонирующей с вашими моральными ценностями, а не ведущей к саморазрушению; это радость от того, что способности разума используются полностью, а не от того, что удалось убежать от своих мыслей; от того, что достигнуты истинные ценности, а не от того, что удалось уйти от реальности; это радость творца, а не пьяницы. Счастлив может быть лишь разумный человек, человек, преследующий разумные цели, ищущий разумных ценностей и находящий радость лишь в разумных действиях.

Если я зарабатываю на жизнь не разбоем и не попрошайничеством, а собственным трудом, то я не пытаюсь построить свое счастье на благосклонности или несчастье других. Напротив, я заслуживаю его собственными достижениями. Ведь я не считаю целью своей жизни удовольствия других людей, равным образом я не считаю, что и другие сочтут целью своей жизни мои удовольствия. Мои ценности непротиворечивы, мои желания гармоничны –

подобным же образом среди разумных людей не существует ни столкновения интересов, ни жертв, ведь разумные люди не желают незаслуженного, они не смотрят друг на друга глазами людоедов, они не приносят и не принимают жертв.

Делец – вот символ взаимоотношений между разумными людьми, нравственный символ уважения к человеку. Мы, живущие ценностями, а не грабежом, – дельцы по сути и Духу. Делец – это человек, зарабатывающий то, что ему Достается, не дающий и не берущий незаработанного. Делец не ждет, что кто-то заплатит за его неудачи, не просит, что бы его любили за его недостатки. Делец не растрчивает себя физически на жертвы, а духовно на милостыню. Подобно тому, как он продает свой труд лишь в обмен на материальные ценности, он отдает свое уважение лишь в оплату, в обмен на человеческие добродетели, в оплату удовольствия, которое он получает, общаясь с людьми, которых уважает. Паразитирующие мистики, которые веками поносили и презирали дельцов, превознося попрошаек и бандитов, всегда знали скрытую причину своих глумлений: делец, приводивший их в ужас, – символ справедливости.

Вы спросите, каковы мои моральные обязательства перед согражданами. Никаких, кроме обязательства перед самим собой, перед материей и бытием: обязательство быть разумным. Я имею дело с людьми так, как того требует моя и их природа: посредством разума. Я не ищу и не желаю получить от них ничего, кроме тех отношений, какие они готовы установить по свободному выбору. Я могу иметь дело лишь с их разумом и лишь в собственных интересах – если наши интересы совпадают. Если это условие не соблюдается, я не устанавливаю никаких отношений. Я не препятствую тем, кто со мной не согласен, идти своим путем, и сам не сверну со своего пути. Я побеждаю лишь с помощью логики и подчиняюсь лишь логике. Я никому не подчиняю свой разум и не имею дела с теми, кто так поступает. Мне ничего не нужно ни от трусов, ни от глупцов; я не ищу никакой выгоды от эксплуатации человеческих недостатков: глупости, нечестности, страха. Единственная ценность, которую могут предложить мне люди, – плоды их разума. Когда я спорю с разумным человеком, судьей в нашем споре становится сама реальность; если прав я, он поймет свою ошибку; если прав он, осознаю свою ошибку я; выиграет в споре лишь один из нас, но спор принесет пользу обоим.

О чем бы ни шел спор, есть одно злодеяние, которого нельзя допускать, то, чего никому не дозволено совершать по отношению к другим и никому нельзя разрешить или простить. До тех пор, пока люди живут вместе, ни один человек не имеет права первым – вы слышите? – ни один человек не имеет права первым применить физическую силу против другого.

Угрожать физическим уничтожением человеку или его восприятию реальности значит отрицать или парализовать его инструмент выживания; силой принуждать его действовать вопреки своему разумению равнозначно тому, чтобы принудить его действовать вопреки себе самому. Кто бы ни начал насилие, какой бы цели он ни пытался таким образом достичь, он – убийца, действующий не в интересах жизни, а в интересах смерти, хуже, чем смерти: он исходит из стремления к разрушению самой способности человека жить.

Не говорите, что ваш разум убедил вас в праве принуждать мой разум к послушанию. Насилие и разум несовместимы; там, где начинается насилие, кончается мораль. Объявляя человека неразумным животным и предлагая соответственно с ним обращаться, вы определяете собственную личность и более не можете претендовать на разумность суждений – как не может на это претендовать ни один защитник противоречий. Не может быть права разрушать источник прав, единственное средство судить, что верно, а что неверно, -разум.

Заставлять человека отказаться от своего разума и принять взамен вашу волю, используя вместо доказательства оружие, вместо убеждения ужас, а в качестве самого сильного аргумента смерть, значит пытаться жить вопреки реальности. Реальность требует от человека действий в

соответствии с собственными разумными интересами; оружие, которое вы применяете, требует, чтобы человек действовал вопреки своим интересам. Если человек действует вопреки собственному разумному суждению, реальность угрожает ему смертью; вы угрожаете ему смертью, если он действует в соответствии с собственным суждением. По вашей милости он оказывается в мире, где ценой жизни становится отказ от всех добродетелей, которых она требует; и все, к чему придете вы и ваша система, есть смерть, постепенное уничтожение. Когда смерть становится определяющим аргументом и главной силой в человеческом обществе, ни к чему другому прийти невозможно.

Бандит ли ставит путника перед выбором «кошелек или жизнь», или политический деятель ставит целый народ перед выбором «образование для ваших детей или жизнь», смысл этих ультиматумов один: разум или жизнь – а эти две ценности неразделимы.

Если можно измерить зло, то трудно сказать, кто презренней: жестокая и тупая скотина, присваивающая право навязывать что-либо разуму другого человека, или моральный урод, позволяющий другим навязывать себе что-либо. Это моральная аксиома, спорить о которой не приходится. Я не согласен говорить на языке разума с теми, кто хочет лишить меня разума. Я не вступаю в дискуссии с соседями, которые считают, что могут запретить мне думать. Я не иду навстречу желанию убийцы, который хочет лишить меня жизни. Когда со мной пытаются говорить с позиции силы, я отвечаю тем же.

К насилию можно прибегать лишь в ответ на насилие и лишь против того, кто первым прибежит к нему. Нет, я не становлюсь на сторону того, кто творит зло, и не опускаюсь до его понимания нравственности; я лишь предоставляю ему то, что он выбрал, единственное, что он вправе уничтожить, – это он сам. Он прибегает к насилию, чтобы завладеть ценностями; я же – лишь для того, чтобы уничтожить уничтожение. Бандит, убивающий меня, стремится разбогатеть; я же не становлюсь богаче, убив бандита. Я не пытаюсь достичь ценностей посредством зла, но и от своих ценностей не откажусь перед лицом зла.

Во имя всех творцов, поддерживавших вашу жизнь и получавших от вас вместо платы согласие на свою же смерть, я обращаюсь к вам с единственным ультиматумом: наша работа или ваши штыки. Вы должны выбрать что-то одно; нельзя совместить и то и другое. Мы не прибегаем к насилию первыми, но и не покоряемся силе. Если вы когда-нибудь снова захотите жить в промышленно развитом обществе, оно будет построено на наших нравственных основах. Наши нравственные основы и наша движущая сила противоположны вашим. В качестве оружия вы использовали страх и карали смертью за отрицание вашей морали. Мы предлагаем человеку жизнь в награду за принятие нашей морали.

Вы, поклоняющиеся нулю, пустоте, вы так и не поняли, что обретение жизни и бегство от смерти – не одно и то же. Радость и отсутствие боли – не одно и то же, ум и отсутствие глупости – не одно и то же, свет и отсутствие темноты – не одно и то же, нечто не есть отсутствие ничто. Невозможно ничего создать одним лишь неучастием в разрушении; вы можете сидеть сложа руки и ждать веками, воздерживаясь от разрушения, но от этого не будет возведена ни одна стена, от разрушения которой вы могли бы воздержаться, и я, строитель, больше не стану слушать вас, если вы предложите мне: «Производи и корми нас, а мы взамен не станем разрушать созданное тобой». От имени всех ваших жертв я отвечаю: погибайте же от собственной никчемности, в собственной праздности; бытие не есть отрицание отрицания. Зло, а не ценности – вот что есть пустота и ничто, зло бессильно, оно не обладает никакой властью, кроме той, которую мы позволяем ему отнять у нас. Погибайте, потому что мы уже поняли, что нуль не может делать жизнь своей заложницей.

Вы стремитесь избежать страдания. Мы стремимся достичь счастья. Вы существуете ради того, чтобы избежать наказания. Мы живем ради того, чтобы получить вознаграждение. Нас

нельзя принудить угрозами; страх не является для нас стимулом. Мы не бежим от смерти, мы стремимся жить.

Вы, утратившие понимание этой разницы, вы, утверждающие, что страх и радость имеют одинаковую побудительную силу, и втайне добавляющие, что страх практичнее, вы не хотите жить и держитесь за существование, которое прокляли, лишь из страха смерти. Вы в панике мечетесь в ловушке своей жизни, пытаетесь найти выход, который сами же и закрыли, вы бежите от преследователя, которого не осмеливаетесь назвать, от страха, в котором не признаетесь сами себе; и чем больше вы боитесь, тем больше пугает вас то единственное, что может вас спасти: способность мыслить. Вы стремитесь ничего не знать, не понимать, не называть своими именами и не слышать. Я заявляю во всеуслышание: ваша мораль есть мораль смерти.

Смерть – критерий ваших ценностей, смерть – ваша цель, и сколько бы вы ни бежали, вам не уйти от преследователя, который явился уничтожить вас, и не уйти от понимания того, что этот преследователь – вы сами. Остановитесь же на минуту – бежать некуда, остановитесь такими, какие вы есть, какими вы боитесь казаться, но какими я вас вижу, и взгляните на то, что вы осмелились называть моральным кодексом.

Осуждение – основа вашего морального кодекса, разрушение – его цель, средство и результат. Ваш моральный кодекс начинает с осуждения человека как носителя зла, затем требует от него придерживаться добра, которое, как следует из того же закона, человеку недоступно. В качестве первого доказательства добродетельности он требует, чтобы человек принял за аксиому утверждение о своей порочности. Он требует, чтобы человек начинал жизнь не с кодексом ценностей, а с кодексом греха, признав свою порочность. И тем самым ваш моральный кодекс определяет, что такое добро: добро есть то, что несвойственно человеку.

И становится уже не так важно, кому выгодны отречение человека от собственного величия и его душевные муки, – неведомому ли Богу с его непостижимым промыслом или случайному прохожему, чьи гноящиеся язвы предъявляются как основание для необъяснимых притязаний, – это все неважно, ибо если человеку не дано понять, что есть добро, то ему остается годами пресмыкаться, неся тяжесть наказания, искупая вину за свое существование перед каждым, кому вздумается получить от него откуп за какие-то непонятные долги; человек будет воспринимать ценности лишь как нуль, ничто; добро есть то, что не относится к человеку.

Название этому чудовищному абсурду – первородный грех.

Первородный грех есть пощечина нравственности и вопиющее противоречие в самом себе: то, что вне вашего выбора, – вне сферы нравственности. Если человек плох от рождения, то у него нет ни воли, ни сил это изменить; но если у него нет воли, он не может быть ни хорош, ни плох; у робота нет моральных норм. Считать нечто лежащее вне сферы человеческого выбора грехом есть насмешка над нравственностью. Считать грехом человека его природу есть насмешка над природой. Наказание за грех, совершенный до рождения, – насмешка над справедливостью. Считать человека виновным в том, в чем не может быть самого понятия невинности, есть насмешка над разумом. Поражение нравственности, природы, справедливости, разума посредством лишь одного понятия есть искусная уловка зла, которую едва ли можно превзойти. Но именно это – основа вашей морали.

Не прячьтесь за трусливой уверткой, не говорите, что человек рожден со свободной волей, но склонностью к злу. Свободная воля, обремененная склонностью, подобна игральным костям, начиненным свинцом. Она побуждает человека выбиваться из сил, чтобы выиграть, нести ответственность и платить за свои ходы, но результат игры искажается вследствие некой склонности, которой не избежать. Если человек сам выбирает эту склонность, он не может с ней родиться; если же склонность не выбирают, то нельзя говорить и о свободной воле.

В чем же суть того, что ваши учителя называют первородным грехом? Насколько порочным

стал человек после своего падения, когда он перестал, как они считают, быть совершенным? Согласно их мифу, человек вкусил плод дерева познания добра и зла – он обрел разум и стал разумным существом. Речь идет о познании добра и зла – человек стал смертным. Он был осужден до конца дней своих зарабатывать хлеб свой трудом своим – и стал существом работающим. Он был осужден желать – и познал радость совокупления. Разум, нравственность, способность творить, радость, наивысшие ценности в его жизни, – вот пороки, из-за которых ваши учителя проклинали человека. Саму природу человека, а вовсе не его пороки они пытаются объяснить и осудить мифом о грехопадении человека. Сущность человеческой природы, а вовсе не его ошибки вменяют в вину человеку. Кем бы он ни был, этот робот в райском саду, существовавший бездумно, не имевший никаких ценностей, не работавший, не любивший, – он не был человеком.

По словам ваших учителей, грехопадение человека состояло именно в том, что он обрел жизненно необходимые достоинства. По их представлениям, именно эти достоинства и есть грех человека. Недостаток человека состоит в том, заявляют они, что он человек. А его вина, заявляют они, в том, что он живет.

Они называют это нравственностью милосердия и учением любви к человеку.

Нет, говорят они, мы не проповедуем о зле, свойственном природе человека, мы лишь утверждаем, что чуждое нечто – человеческое тело – несет в себе зло. Нет, говорят они, мы не хотим его убивать, мы лишь хотим, чтобы он от него отказался. Они заявляют, что стремятся помочь человеку перетерпеть страдания, – и указывают на дыбу, к которой сами его привязали, дыбу, раздирающую его надвое, дыбу учения, отделяющего душу от тела.

Они разодрали человека надвое, противопоставив одну его половину другой. Они убедили его, что тело – враг сознания и между телом и сознанием идет непримиримая борьба, что тело и сознание – антагонисты, имеющие различную природу, противоположные требования, несовместимые потребности, что угодить одному значит повредить другому; что душа человека относится к сфере сверхъестественного, а тело – мрачная темница, привязывающая его к земле, и добро состоит в том, чтобы нанести поражение своему телу, разрушить его годами терпеливой борьбы, с трудом продвигаясь к великолепному концу, когда откроются двери темницы и человек окажется на свободе – в могиле.

Они внушили человеку, что он безнадежный урод, состоящий из двух элементов, двух символов смерти. Тело без души – труп, душа без тела – призрак, и все же именно так они представляют себе природу человека; по их мнению, это поле битвы между трупом и призраком, трупом, наделенным злой волей, и призраком, знающим лишь то, что все, что человек знает, не существует, а существует лишь нечто непознаваемое.

Вы заметили, какую человеческую способность это учение пытается не замечать? Чтобы разодрать человека надвое, нужно отрицать наличие у него разума. Стоило человеку отказаться от разума, как он оказался в зависимости от милости двух чудовищ, непонятных и неуправляемых: тела, движимого бесчисленными инстинктами, и души, движимой мистическими откровениями, – он стал жертвой, позволившей себя ограбить, жертвой сражения между роботом и диктофоном.

И теперь, когда человек униженно и слепо пытается найти способ существовать в том хаосе, которым стала его разбитая жизнь, ему предлагают моральный кодекс, утверждающий, что на земле ему не найти разрешения конфликта с жизнью и не достичь совершенства. Истинного существования, говорят ваши учителя, человеку не постичь, истинное сознание есть способность постичь несуществующее – а если человек не способен это понять, то именно это и служит доказательством, что его существование есть зло, а сознание бессильно.

Представление о том, что тело и душа человека – различные сущности, привело к

появлению двух групп учителей, проповедующих нравственный закон смерти: фанатиков духа и фанатиков физической силы; вы называете их идеалистами и материалистами, одни считают, что сознание может существовать само по себе, другие считают, что можно существовать без сознания. И те и другие требуют, чтобы вы отказались от разума в обмен на откровение или на рефлекс. Неважно, что они громогласно заявляют о непримиримости своих позиций, у них один нравственный закон и одна цель: в физической сфере – порабощение человеческого тела, в духовной – разрушение разума.

Добро, говорят фанатики духа, есть Бог, существо, о котором известно только, что человеку постигнуть его не дано; это объяснение сводит на нет сознание человека и его понятие бытия. Добро, говорят фанатики силы, есть Общество – нечто, определяемое ими как организм, лишенный физической формы, сверхсущество, воплощенное ни в ком в частности и во всех вообще, кроме вас самих. Человеческий разум, говорят фанатики духа, должен подчиняться воле Бога. Человеческий разум, говорят фанатики силы, должен подчиняться воле Общества. Критерием человеческих ценностей, по словам фанатиков духа, является удовлетворение Бога, в нравственные нормы которого человек должен уверовать, так как постигнуть их не дано. По мнению фанатиков силы, критерием человеческих ценностей является удовлетворение Общества, нравственные нормы которого человек не вправе подвергать сомнению, но, напротив, должен им следовать, принимая как основополагающий абсолюте. По мнению и тех и других, цель жизни человека в том, чтобы стать жалким зомби, живым трупом, служащим целям, которых он не понимает, по причинам, о которых он не должен спрашивать. Вознаграждение за это, говорят фанатики духа, он получит в другой жизни. Награду за это, говорят фанатики силы, получают на земле его правнуки.

Эгоизм, говорят и те и другие, – порок. Добродетель, говорят и те и другие, состоит в том, чтобы не думать о собственных желаниях, отречься от самого себя, отказаться от себя, подчиниться; добродетель человека состоит в отрицании собственной жизни. Жертвенность, восклицают и те и другие, – вот сущность нравственности, высочайшая добродетель, которой только может достичь человек.

Кем бы вы ни были, те, кто слышит меня сейчас, кем бы вы ни были, если вы жертвы, а не палачи, я говорю с вами на пороге тьмы, готовой поглотить вас, и если осталась в вас хоть капля света, который когда-то освещал вас, – воспользуйтесь этим сейчас. «Жертвенность» – вот слово, сломившее вас. Попробуйте, хоть из последних сил, понять его значение. Вы еще не умерли. У вас еще есть шанс.

Жертвенность означает отказ не от того, что ничего не стоит, а, напротив, от того, что ценно. Жертвенность не означает отказ от зла ради добра, напротив – отказ от добра ради зла. Жертвенность означает отказ от того, что вы цените, ради того, что вам чуждо.

Если обменять цент на доллар, это нельзя назвать жертвой; все иначе, когда доллар меняют на цент. Когда результатом долгих лет борьбы становится желаемый успех, это не жертва; если же от добытого трудом положения отказываются в пользу соперника, это жертва. Если вы даете своему голодному ребенку бутылочку с молоком, это не жертва; если вы кормите молоком соседского ребенка, а ваше дитя умирает, вы приносите жертву.

Если вы помогаете деньгами другу, это не жертва; если вы отдаете деньги первому встречному, речь идет о жертве. Если вы помогаете другу деньгами, потому что можете себе это позволить, вы ничем не жертвуете, если вы помогаете ему в ущерб себе, это можно, в соответствии с такими нравственными нормами, назвать добродетелью. Но если вы помогаете ему деньгами, тем самым становясь банкротом, – это высочайшая добродетель жертвенности.

Если вы отказываетесь от собственных желаний и посвящаете жизнь тем, кого любите, вас еще нельзя назвать добродетельным: ведь вы не отказываетесь от ценности – любви. Если вы

посвящаете свою жизнь первому встречному, вы совершаете более добродетельный поступок. Если вы посвящаете жизнь служению ненавистным вам людям – это величайшая из доступных вам добродетелей.

Жертвенность есть отказ от того, что ценно. Абсолютная жертвенность заключается в отказе от всего, что вы считаете ценным. Если вы хотите достичь вершины добродетели, вам не следует рассчитывать ни на благодарность, ни на похвалу, ни на любовь, ни на восхищение в ответ на свою жертвенность, вы не должны даже уважать себя или гордиться своей добродетелью; малейшее подозрение в обретении чего-то ценного для себя сводит вашу добродетель на нет. Если ваши поступки не наполняют вашу жизнь радостью, не приносят вам никакого удовлетворения, ни духовного, ни материального, если вы ничего не обретаете, не выгадываете, не получаете никакой награды, – если вы достигнете этого абсолютного нуля, вы достигнете идеала нравственного совершенства.

Вам говорят, что нравственного совершенства достичь невозможно; и это верно, если следовать таким моральным нормам. Достичь его действительно невозможно до тех пор, пока вы живете, но ваша цена и цена вашей жизни измеряется в зависимости от того, насколько вы преуспели в достижении абсолютного нуля – смерти.

Однако, если вы уже превратились в бесстрастное ничто, в овощ, желающий только, чтобы его съели, если у вас нет ценностей, которые можно было бы отвергнуть, нет желаний, от которых можно было бы отречься, вам не завоевать венца жертвенности. Ведь в отречении от нежелаемого нет жертвы. Нет жертвы и в том, чтобы отдать свою жизнь другим, если смерть – все, к чему вы лично стремитесь. Чтобы достичь добродетели жертвенности, нужно хотеть жить, любить жизнь, пылать страстью к земле и всему ее великолепию – нужно ощущать каждый взмах ножа, отсекающего ваши желания и по капле выпускающего из вас любовь. Мораль жертвенности предлагает вам в качестве идеала не просто смерть, а смерть медленную, мучительную.

Не напоминайте мне, что это касается лишь жизни на земле. Другая меня не заботит. И вас тоже.

Если вы хотите сохранить остатки достоинства, не называйте свои лучшие поступки жертвой – это ставит на вас клеймо безнравственности. Если мать, вместо того чтобы купить себе новую шляпку, покупает еду для своего голодного ребенка, это не жертва: она ценит ребенка выше, чем шляпку; но для той матери, для которой высшей ценностью является шляпка, той, которая предпочла бы оставить свое дитя голодным, которая кормит его по обязанности, это действительно жертва. Если человек умирает в борьбе за свою свободу, это не жертва, ведь он не хочет быть рабом;; но для того, кто именно этого и хочет, это действительно жертва. Если человек отказывается продавать свои убеждения, это не жертва; это становится жертвой лишь в том случае, если у человека нет убеждений.

Жертвенность пристало практиковать лишь тем, кому нечем жертвовать, тем, у кого нет ни ценностей, ни норм, ни суждений, тем, чьи желания – лишь глупые прихоти, отказаться от которых ничего не стоит. Для человека нравственного, человека, чьи желания связаны с различными ценностями, жертвенность означает отказ от правды во имя лжи, отказ от добра во имя зла.

Доктриной жертвенности является нравственность безнравственного – нравственность, заявляющая о собственном банкротстве, признающая, что в обретении добродетелей или ценностей она не может предложить человеку никакого личного участия, ничего, кроме признания, что душа есть вместилище порока и нужно научить ее приносить себя в жертву. По их собственному признанию, такой моральный закон не может научить человека добру, лишь подвергает его непрерывному наказанию.

В смутном оцепенении вы думаете сейчас, что ваш моральный кодекс требует пожертвовать лишь материальными ценностями, не так ли? А что же такое, по вашему мнению, материальные ценности? Материальное приобретает ценность, лишь становясь средством удовлетворения желаний человека. Материя – лишь инструмент для выявления человеческих ценностей. На службу чему вас просят употребить ваши орудия труда – результат следования вашим добродетелям? Тому, что вы считаете злом: принципам, которые вы не разделяете, людям, которых вы не уважаете, достижению цели, совершенно противоположной тому, к чему вы стремитесь, – потому что, если это не так, ваш дар нельзя назвать жертвой.

Ваш моральный кодекс учит вас отречься от материального мира, разделять ценности и материю. Человек, чьи Ценности не имеют материального выражения, чье существование не связано с его идеалами, чьи действия противоречат его убеждениям, – лишь жалкий лицемер, но это именно тот, кто следует вашему моральному кодексу и разделяет ценности и материю. Тот, кто любит одну женщину, но спит с другой; тот, кто восхищается мастерством одного человека, но нанимает другого; тот, кто считает справедливым одно, но жертвует деньги на поддержку совсем иного; тот, кто обладает большим талантом, но растрчивает его на создание хлама; именно такие люди отрицают материю и считают, что их духовные ценности несовместимы с материальным миром.

Вы говорите, что такие люди отрицают дух? Да, конечно. Ведь дух и материя едины. Вы представляете собой неделимое единство материи и сознания. Отрекитесь от сознания – и станете скотами. Отрекитесь от тела – и станете мошенниками. Отрекитесь от материального мира – и отдадите его во власть зла.

Но именно это и есть цель вашего морального кодекса, именно эту обязанность и налагают на вас ваши нравственные правила. Посвящайте себя тому, что вас не радует, служите тому, что вам не нравится, покоряйтесь тому, что считаете злом, подчините свой мир ценностям других, откажитесь, отриньте, отрекитесь от своего Я. Ваше Я – это ваш разум; стоит вам отречься от него – и вы превратитесь в завтрак для людоеда.

Все, кто проповедует кредо жертвенности, как бы они себя ни называли, какими бы ни были их побуждения, – все они хотят, чтобы вы отказались именно от своего разума, и неважно, требуют они этого ради вашей души или ради вашего тела, обещают они вам иную жизнь на небесах или сытый желудок на земле. Все, кто начинает с утверждения, что стараться выполнять собственные желания эгоистично, что их нужно принести в жертву чужим желаниям, заканчивают обычно другим: «эгоистично иметь собственные убеждения, нужно принести их в жертву чужим убеждениям».

И это верно: нет ничего эгоистичнее независимого ума, не признающего над собой никакой власти и считающего свое суждение об истине превыше любых ценностей.

Вас просят пожертвовать интеллектуальной целостностью, логикой, разумом, критериями истины – ради того, чтобы уподобиться проститутке, кредо которой в том, что наивысшее благо – угодить как можно большему числу людей.

Если вы попытаете отыскать в своде ваших нравственных правил ответ на вопрос «что есть благо?», единственный ответ, который вы сможете там найти, будет таков: «Благо – это то, что хорошо для всех, кроме тебя». Благо – это то, чего хотят другие, то, чего, как вам кажется, они хотят, или то, чего, как вам кажется, они должны хотеть. «Благо для всех, кроме тебя». Это волшебная формула, преображающая все в золото, ее нужно затвердить как гарантию нравственного величия, она облагораживает любые действия, даже массовое уничтожение населения целого материка. Не предмет, не поступок, не принцип, а намерение – вот ваше мерило добродетели. Вам не нужны ни доказательства, ни аргументы, вам не нужен успех, вам не нужно практическое достижение блага для других – вы хотели знать, что вашим намерением

было достичь не собственного блага, а блага для всех остальных, – вот все, что вам нужно. Ваш единственный способ определить благо – применить отрицание: благо есть неблаго для меня.

Ваш моральный кодекс, который, по хвастливым утверждениям его сторонников, основан на вечных, абсолютных, объективных моральных ценностях и не унижается до ценностей условных, относительных, субъективных, – ваш моральный кодекс предлагает в качестве абсолюта такие правила нравственного поведения: то, чего хотите вы, есть зло; если того же хотят другие, это благо; если мотив ваших действий – ваше собственное благоденствие, это не разрешается; если же мотивом служит благоденствие других, можно все.

Такой двойной, двуликий моральный кодекс не только разлагает вас, но и разбивает все человечество на два враждебных лагеря: в одном лагере находитесь вы, в другом – все человечество. Лишь вы – изгнанник, не имеющий права хотеть жить. Лишь вы – слуга, остальные – хозяева, лишь вы должны отдавать, остальные – брать, вы – вечный Должник, остальные кредиторы, и вам никогда не погасить свой долг перед ними. Вы не должны подвергать сомнению их права на вашу жертву, вас не должна интересовать природа их желаний и потребностей; их право даровано им отрицанием, тем, что они – не вы.

Для тех же из вас, кто может поставить все это под сомнение, в вашем моральном кодексе приготовлен утешительный приз, одновременно играющий роль западни: в нем говорится, что служить счастью других значит достичь собственного счастья, единственный способ достичь радости состоит в том, чтобы отказаться от радости в пользу других, единственный способ достичь процветания – отказаться от своего богатства в пользу других, единственный способ защитить собственную жизнь – защищать всех, кроме самого себя; а если вы не находите в этом радости, вы сами в этом виноваты, и это лишь служит доказательством вашей греховности, не будь вы грешны, вы с радостью устроили бы пир для других и находили бы достойным питаться теми крохами, которые они соблаговолят вам кинуть.

Вы, не имеющие представления о чувстве собственного достоинства, принимаете вину и не осмеливаетесь задавать вопросы. Но вы знаете ответ, хотя не признаетесь в этом и отказываетесь признать то, что видите, ту скрытую предпосылку, которая движет вашим миром. Вы знаете ответ – он дан вам не в метких словах, а в мрачных предчувствиях, в охватившей вас путанице, в ваших метаниях от преступного самообмана к неохотному применению принципа столь порочного, что его лучше не упоминать.

Я, не принимающий ни не принадлежащих мне ценностей, ни вины за то, что сделано не мной, я задаю те вопросы, которых вы избегали. Почему служить чужому счастью нравственно, а своему – нет? Если наслаждение есть ценность, почему чужое наслаждение нравственно, а ваше – нет? Если ощущать вкус пирога есть ценность, почему дать возможность ощутить этот вкус другим – ваша нравственная цель, но ощущать его самому – безнравственное потворство собственным слабостям? Почему испытывать желание нравственно, когда речь идет о других, но не о вас? Почему отдавать ценности, которые вы произвели, нравственно, а оставлять их себе – нет? И если с вашей стороны безнравственно оставлять себе произведенные ценности, почему для других брать их – нравственно? Если вы поступаете самоотверженно и добродетельно, отдавая, разве другие поступают не эгоистично, разве они не грешат, принимая? Разве добродетель означает служение пороку? Разве цель добродетельных людей – самопожертвование ради тех, кто полон злом?

Вот ответ, которого вы боитесь, вот этот чудовищный ответ: нет, берущие не есть зло, при условии, что они получают незаслуженно. Принимать нравственно в том случае, если принимающий не может сам произвести то, что принимает, не может заслужить это, не может ничего вам дать взамен. Они не считают безнравственным наслаждаться тем, что принимают в том случае, если обрели это не по праву.

Вот скрытая суть вашей веры, оборотная сторона вашего морального кодекса: безнравственно жить, рассчитывая на собственные силы, а рассчитывать на чужие силы – нравственно; безнравственно жить тем, что произвел сам, а тем, что произвели другие, – нравственно; безнравственно содержать себя самому, а жить за чужой счет – нравственно; нравственным оправданием существования труженика становятся тунеядцы, но существование тунеядцев – это самоцель; извлекать выгоду из собственных достижений – зло, но извлекать выгоду из чужой жертвы – благо; строить собственное счастье – зло, но наслаждаться счастьем, добытым чужой кровью, – благо.

Ваш моральный кодекс делит человечество на две касты, которым даны противоположные заповеди: на тех, кому позволено иметь любые желания, и на тех, кому желать запрещено, на избранных и тех, с кого спросится, на ездовых и носильщиков, на тех, кто ест, и на тех, кого едят. К какой касте принадлежите вы? Какая отмычка поможет вам проникнуть в круг нравственной элиты? Вот она, эга отмычка, – отсутствие ценностей.

О каких бы ценностях ни шла речь, именно их отсутствие у вас дает вам право требовать их от тех, кто ими обладает. Право на вознаграждение дает вам именно недостаток, потребность. Если вы можете сами удовлетворить свои потребности, вы теряете право на их удовлетворение. Но та потребность, удовлетворить которую вы сами не можете, дает вам право на жизни других людей.

Если вы преуспеваете, любой неудачник – ваш хозяин; если вам не удастся добиться успеха, любой преуспевающий человек – ваш раб. Право на вознаграждение дает вам именно неудача, независимо от того, сами вы виноваты в ней или нет, разумны ваши желания или нет, заслужили вы свои злоключения своими пороками или несчастье ваше незаслуженно. Именно страдание независимо от его природы или причины, страдание как абсолют дает вам закладную на существование.

Если вы пытаетесь исцелить свою боль сами, вы недостойны морального вознаграждения: согласно вашему моральному кодексу это эгоистичный поступок, достойный презрения. Какими бы ценностями вы ни стремились овладеть, богатство это или пища, любовь или права, если вы добьетесь этого с помощью собственной добродетели, ваш моральный кодекс не считает это нравственным приобретением. В результате ваших действий никто ничего не теряет, это сделка, а не милостыня; плата, а не жертва. Заслуженное. принадлежит к эгоистической, коммерческой сфере взаимной выгоды; лишь незаслуженное требует нравственной сделки, результатом которой становится выгода для одного ценой разорения другого. Эгоистично и безнравственно требовать вознаграждения за добродетели; лишь отсутствие добродетелей преобразует требование в моральное право.

Критерием ценностей морального кодекса, согласно которому потребность есть право, является нуль, пустота – отсутствие существования; такой моральный кодекс вознаграждает отсутствие, поражение: слабость, неспособность, некомпетентность, страдание, болезнь, несчастье, недостаток, промах, изъян – нуль.

Кто же расплачивается за эти права? Тот, кого проклинаят за то, что он не нуль, проклинаят в той степени, в какой он отстоит от этого идеала – нуля. Поскольку все ценности суть результат лишь ваших добродетелей, степень добродетельности определяет и меру вашего наказания, и меру ваших приобретений. Ваш моральный кодекс провозглашает, что разумный человек должен принести себя в жертву неразумному, независимый – тунеядцу, честный – лжецу, справедливый – несправедливому, труженик – вору и бездельнику, цельный человек – приспособленцу и плуту, человек, обладающий чувством собственного достоинства, – слезливому неврастенику. Вы удивляетесь, отчего так духовно убоги люди вокруг вас? Тот, кто достиг этих добродетелей, не примет вашего морального кодекса; тому, кто принимает ваш

моральный кодекс, не достичь этих добродетелей.

Нравственность – вот та ценность, которой вы жертвуете в первую очередь, признав нравственным принцип жертвенности, следующая жертва – самоуважение. Коль скоро вашим критерием и нормой является потребность, вы становитесь жертвой и тунеядцем одновременно. Как жертва вы обязаны трудиться для удовлетворения потребностей других, а как тунеядец удовлетворяете свои потребности за счет труда других. Вы можете общаться с другими, лишь выступая в одной из двух постыдных ролей: нищего, выпрашивающего милостыню, или олуха, ее дающего, потому что вы и то и другое одновременно.

Вы боитесь того, у кого на доллар меньше, чем у вас, этот доллар по праву принадлежит ему, из-за него вы чувствуете себя моральным должником; того же, у кого на доллар больше, чем у вас, вы ненавидите, этот доллар по праву принадлежит вам, и вы чувствуете себя морально обворованным. Тот, кто стоит ниже вас, – источник вашей вины, тот, кто стоит выше, – источник вашего раздражения. Вы не знаете, от чего отказаться, что требовать, когда нужно отдать, когда взять, чем в жизни вы можете по праву наслаждаться и какой долг еще висит на вас; вы пытаетесь изо всех сил избежать как «чистой теории» понимания того, что согласно принятому вами же моральному кодексу вы виноваты, вы не можете проглотить ни куска, не осознавая, что этот кусок необходим, чтобы накормить кого-то еще на земле, и в слепом негодовании отказываетесь от решения этой проблемы, заключая, что нравственного совершенства вам не достичь, и этого даже не нужно желать, что вы будете доживать свой век кое-как, хватаясь за что попало и избегая смотреть в глаза молодым, тем, кто смотрит на вас так, словно самоуважение есть нечто возможное и словно они ждут, что у вас оно есть. Вина – вот все, что осталось в вашей душе и в душах других людей, проходящих мимо и избегающих смотреть вам в глаза. Вы спрашиваете, почему вашему моральному кодексу не удалось достичь братства на земле или выражения доброй воли человека человеку?

Оправдание жертвенности – а именно это предлагает ваш моральный кодекс – есть еще большее извращение, чем то извращение, которое он пытается оправдать. Согласно вашему моральному кодексу, любовь – любовь ко всем людям – должна побуждать вас приносить жертвы. Тот же моральный кодекс, который исповедует первичность духовных ценностей и вторичность ценностей материальных, закон, который учит презирать блудницу, отдающую свое тело всем без различия, – тот же моральный кодекс обязывает вас подчинить свою душу неразборчивой любви ко всем и каждому.

Подобно тому, как благосостояние не дается просто так, без всякой причины, не существует и любви без причины, и ни одно чувство не возникает без причины. Чувство возникает в ответ на то, что происходит вокруг, это оценка, основанная на определенных нормах. Любить значит ценить. Тот, кто утверждает возможность оценивать, не имея ценностей, любить тех, кого вы считаете недостойными, утверждает тем самым, что, лишь потребляя и ничего не производя, можно разбогатеть и что золото и бумажные деньги одинаково ценны.

Заметьте, что такие люди не ждут, что вы станете чего-то беспричинно бояться. Добравшись до власти, они оказываются специалистами в изобретении средств запугивания, причин бояться у вас при таких правителях в избытке, ведь именно так они хотят вами править. Но когда дело доходит до любви, а ведь это самое высокое из чувств, вы позволяете им громко обвинять вас в безнравственности, если вы не способны на беспричинную любовь. К человеку, испытывающему беспричинный страх, приглашают психиатра; почему же вы так беспечно отказываетесь защитить смысл, природу и достоинство любви?

Любовь есть признание ценностей, величайшая награда за те нравственные качества, которых вы достигли как личность, эмоциональная плата за радость, которую человек получает от добродетелей другого. Ваш моральный кодекс требует лишить любовь ценностного

содержания и отдать ее первому встречному бродяге, требует любить его не за достоинства, а за их отсутствие, не в награду, а из милости, такая любовь не плата за добродетель, а чек на предъявителя за порок. Согласно вашему моральному кодексу цель любви – освобождение от оков нравственности, любовь выше моральной оценки, истинная любовь превосходит, прощает и переживает любое зло, и чем сильнее любовь, тем больше недостатков прощается тому, кого любят. Согласно этому закону любить за добродетели мелко и очень по-человечески; любить за недостатки – свойство божественной природы. Любить тех, кто достоин любви, своекорыстно; любить недостойных жертвенно. Вы в долгу перед теми, кто недостойн любви, вы должны их любить, и чем менее они достойны, тем более вы должны их любить; чем отвратительнее объект любви, тем благороднее ваша любовь; чем менее разборчивы вы в любви, тем это добродетельней, – а если вы способны превратить душу в мусорную свалку, равно доступную для всех, если вы способны перестать ценить моральные ценности, вот вы и достигли наконец нравственного совершенства.

Такова ваша мораль жертвенности. Перекроить жизнь тела по образу скотного двора, а жизнь духа превратить в мусорную свалку – вот два ее идеала, похожих как две капли воды.

Такую цель вы себе поставили – и вы ее достигли. Отчего же вы теперь жалуетесь на бессилие человека и тщетность его стремлений? Не потому ли, что искали разрушения и теперь не способны процветать? Не потому ли, что не нашли радости в поклонении боли? Не потому ли, что смерть как критерий ценностей не привела вас к жизни?

Степень вашей способности к выживанию определяется степенью нарушения вашего же морального кодекса, и все же вы считаете проповедующих его друзьями человечества; вы проклинаете самих себя и не осмеливаетесь усомниться в их побуждениях и целях. Взгляните на них сейчас, ведь вы стоите перед решающим выбором – если вы выбираете гибель, погибайте, так до конца и не осознав, как дешево и сколь ничтожному врагу вы отдаете свою жизнь.

И фанатики силы, и фанатики духа, исповедующие жертвенность, – микробы, поражающие вас и проникающие через одну-единственную рану: страх перед необходимостью положиться на собственный разум. Они утверждают, что их инструмент познания, их сознание выше разума, – словно у них есть блат в небесной канцелярии, откуда им по секрету дают советы, утаиваемые от других. Фанатики духа заявляют, что у них есть еще одно чувство, которого недостает вам, – это особое шестое чувство противостоит вашим пяти. Фанатики силы не заботятся о том, чтобы отстаивать некое притязание на экстрасенсорное восприятие, – они попросту заявляют, что ваши ощущения субъективны, необоснованны, не отражают реальности, а их мудрость состоит в том, что они неким непонятным образом способны видеть, как вы слепы. И те и другие требуют, чтобы вы свели на нет собственное сознание и подчинились их власти. В качестве доказательства своего сверхзнания они указывают на то, что отстаивают точку зрения, противоположную всему, что вы знаете, а доказательством их превосходящей способности объять бытие служит уже то, что они ведут вас к нищете, самопожертвованию, голоду, разрушению.

Они претендуют на знание способа существования бесконечно более высокого, чем удел вашего земного бытия. фанатики духа назьгоают это другим измерением, суть которого – отрицание измерений. Фанатики плоти называют это светлым будущим, суть его – отрицание настоящего. Чтобы существовать, надо обладать определенными свойствами. Какие свойства они могут приписать своим высшим сферам? Они продолжают рассказывать вам, чем это не является, но никогда не говорят, что же это такое. Все определения, которые они могут подыскать, суть отрицания: Бог есть то, что не дано познать ни одному человеку, говорят они и после такого заявления требуют считать это знанием; Бог – это не человек, небеса – это не земля, душа – это не тело, добродетель – это отсутствие выгоды, А – это не А, восприятие не

связано с чувствами, знание не связано с разумом. Определения, которые они предлагают, ничего не определяют, лишь сводя все к небытию, нулю.

Фанатиков, которые допускают мысль о существовании такой вселенной, основным показателем которой является нуль, можно назвать пиявками-кровопийцами. Только пиявка хочет избежать необходимости в знании того, что субстанция, из которой состоит ее личная вселенная, – это кровь других.

Какова же природа того высшего мира, в жертву которому приносят мир существующий? Фанатики духа проклинаят материю, фанатики силы – выгоду; первые хотят, чтобы человек приобретал, отказываясь от земли, вторые хотят, чтобы человек унаследовал землю, отказываясь от любых приобретений. В их нематериальных мирах, в которых не существует выгоды, текут молочные и кофейные реки, стоит приказать – и из скалы потечет вино, стоит открыть рот – и с небес посыпятся пирожные.

Для прокладки железной дороги длиной в милю на этой материальной земле, где всякий гонится за выгодой, нужна масса благих качеств – ум, целеустремленность, энергия, мастерство; а в их нематериальном мире, где выгоды не существует, стоит пожелать – и можно совершить путешествие на другую планету. Если же честный человек спросит ак. их: «Как?» – они с праведным гневом ответят, что такими понятиями мыслят лишь вульгарные реалисты, а высший дух оперирует иными представлениями вроде: «как-нибудь». Награды на этой земле, ограниченной материей и выгодой, можно добиться работой мысли; а в свободном от таких ограничений мире награда достается по желанию.

В этом и заключается весь их жалкий секрет. Секрет всех их эзотерических философий, всей диалектики и шестых чувств, уклончивых взглядов и резких слов, секрет, ради которого они разрушают цивилизацию, язык, промышленность и ломают жизни людей, секрет, ради которого они оглушают и ослепляют сами себя, растаптывают собственные ощущения, затуманивают собственный разум, цель, ради которой они сводят на нет абсолют разума, логики, материи, бытия, реальности, – и все ради того, чтобы воздвигнуть на этой шаткой, туманной основе единственный священный абсолют: собственное желание.

Закон тождества – вот то ограничение, которого они стремятся избежать. Свобода, которой они ищут, – это свобода от факта, что А остается А, сколько бы они ни рыдали или впадали в истерику; что река не станет молочной, несмотря на их голод; что вода не потечет в гору, сколько бы это ни было для них удобно; и если им захотелось бы провести воду на крышу небоскреба, понадобились бы разум и труд, – в этом деле каждый дюйм водопроводной трубы намного важнее всех чувств. Чувства не способны изменить движение ни единой пылинки в космосе, как и природу ни одного совершенного ими действия.

Те, кто утверждает, что человек не может воспринимать реальность не искаженную его ощущениями, подразумевают, что они сами не желают постигнуть реальность, не искаженную их чувствами. Реальность такую, какова она есть, то есть реальность, осознаваемую разумом; отделите ее от разума и вы увидите ее такой, какой пожелаете видеть.

Честного бунта против разума не бывает; и если вы примете любое из положений их веры, значит, вами движет желание получить нечто, что именно разум не позволил бы вам получить. Свобода, которой вы ищете, есть свобода от того факта, что, если вы добыли состояние нечестным путем, вы подлец, сколько бы вы ни жертвовали на благотворительность и сколько бы ни молились; что, если вы проводите время с распутницами, вы недостойный муж, какую бы сильную любовь к жене ни испытывали на следующее утро; что вы единый организм, а не горсть разрозненных частиц, случайно разбросанных во вселенной, в которой все рассыпается, в которой вам не за что удержаться, во вселенной из кошмарного детского сна, где все меняется на глазах и перетекает одно в другое, где мерзавец и герой – взаимозаменяемые роли,

присваиваемые произвольно по желанию; что вы человек; что вы – цельность, нерасторжимость; что вы есть.

Протест против реальности есть нежелание существовать, как бы горячо вы ни заявляли, что цель ваших мистических желаний – некая высшая форма жизни. Нежелание быть чем-либо есть желание не быть.

Ваши учителя, фанатики обоих направлений, выстраивают события в обратной причинной связи, пытаясь и в реальности обратить ход событий вспять, Причиной они считают чувства, а разум – лишь следствием. Из чувств они творят инструмент познания реальности. Первостепенное значение, по их мнению, имеют желания, как факт, вытесняющий все остальные факты. Честный человек испытывает желание, лишь определив его объект. Он говорит: «Это существует, следовательно, я этого хочу». Они же говорят: «Я этого хочу, следовательно, это существует».

Они хотят обогнуть аксиому бытия и сознания, хотят, чтобы сознание служило инструментом не познания, а творения сущего, чтобы сущее было не объектом, а субъектом сознания, – хотят быть тем самым Богом, которого сотворили по своему образу и подобию, Богом, посредством произвольного желания сотворившим вселенную из ничего. Но реальность обмануть нельзя. И они добиваются не того, Чего хотят, а совершенно противоположного. Они хотят обрести безграничную власть над сущим, но лишь теряют власть над собственным сознанием. Отказываясь знать, они* приговаривают себя к вечному незнанию.

Нелогичные желания, толкнувшие вас к принятию их веры, чувства, которым вы поклоняетесь, как идолу, на алтарь которых вы возложили землю, темная, смутная страсть в самой глубине вашей души, которую вы принимаете за глас Божий или за глас своей плоти, – это всего лишь останки вашего разума. Чувства, противоречащие разуму, чувства, объяснить которые или управлять которыми вы не в состоянии, – это лишь ветхий остов мышления, обновить который вы сами запретили собственному разуму.

Всякий раз, когда вы совершали зло, отказываясь мыслить и видеть, освобождая какое-нибудь свое крошечное желание от абсолюта реальности, всякий раз, когда вы предпочли бы сказать: я не стану приносить на суд разума украденное мной печенье или факт существования Бога, пусть у меня будет одна безрассудная прихоть, а в остальном я буду разумным человеком, – именно тогда вы совершали акт разрушения собственного сознания, акт разложения собственного разума. И тогда ваш разум становится подобен суду подкупленных присяжных, выполняющих приказы преступного мира, выносящих приговор, искажающий показания, не противоречащие абсолюту, на который они не осмеливаются и взглянуть, – и результатом становится выхолощенная реальность, разбитая на осколки; некоторые из этих осколков, которые вы выбрали, чтобы видеть, плавают среди мириадов тех, что вы не желаете видеть в умозрительном бальзамическом растворе из эмоций, свободных от мысли. Связи, которых вы пытаетесь не замечать, – это причинно-следственные связи. Ваш враг, которого вы хотите уничтожить, – это закон причины и следствия, ведь он не допускает никаких чудес. Закон причины и следствия является законом тождества применительно к действиям. Смысл действия вызывается и определяется природой той реальности, которая действует: ничто не может действовать в противоречии со своей природой. Действие, не вызванное чем-то, вызвано нулем, что означало бы, что ноль управляет ненулем, несуществующее управляет существующим, – это и является высшим выражением желания ваших учителей, основной причиной их доктрин и беспричинных действий, смыслом их восстания против разума, целью их морали, их политики, их экономики; идеал, к которому они стремятся, – торжество нуля.

Закон причины и следствия не позволяет съесть пирог до того, как его получишь. Закон причины и следствия учит: чтобы съесть пирог, надо его иметь. Но если вы пытаетесь спрятать в

тайниках своего мозга оба закона, если вы обманете сами себя и других, притворившись, что не видите, – что ж, можете потребовать объявить себя вправе сегодня съесть свой пирог, а завтра мой, можете утверждать, что лучший способ стать обладателем пирога – съесть его, не успев испечь, что производить следует, начав с потребления, что у всех есть одинаковое право на все, поскольку ничто ни от чего не зависит. Нарушение закона причины и следствия в материальном мире равносильно приобретению незаслуженного в мире духовном.

Всякий раз, когда вы восстаете против закона причины и следствия, вас толкает на это недостойное желание не избежать его, но хуже: повернуть его действие вспять. Вы жаждете незаслуженной любви, словно любовь, следствие, способна придать вам личностную ценность, причину; вы жаждете незаслуженного восхищения, словно восхищение, следствие, способно повысить вашу ценность, причину; вы жаждете незаслуженного богатства, словно богатство, следствие, способно дать вам способность, причину; вы молитесь о милости, милости, а не справедливости, словно незаслуженное прощение может отменить причину вашей мольбы. А для того чтобы позволить себе эти недостойные мелкие подмены, вы поддерживаете доктрины своих учителей, с пеной у рта доказывающих, что расходы, то есть следствие, приводят к богатству, причине, что машины, то есть следствие, творят разум, причину, что желания плоти, то есть следствие, создают философские ценности, причину.

Кто же платит за эту оргию? Кто вызывает то, на что нет причины? Кто эти жертвы, приговоренные остаться в неизвестности и погибнуть в забвении, лишь бы не нарушить ваше притворство, ваше нежелание замечать, что они существуют? Это мы, люди разума.

Мы – причина всех ценностей, которых вы домогаетесь, мы те, кто мыслит, и следовательно, устанавливает тождество и постигает причинные связи. Мы научили вас знать, говорить, производить, желать, любить. Вы, отрицающие разум, – если бы не мы, сохраняющие его, вы не могли бы не только исполнить, но и возыметь желания. Вы не смогли бы желать несшитой одежды, неизобретенных автомобилей, невыдуманных денег на покупку несуществующих товаров, вы не жаждали бы восхищения, неведомого среди людей, ничего не достигших, любви, принадлежащей и свойственной лишь тем, кто сохранил способность мыслить, совершать выбор, ценить.

Вы, выскакивающие, подобно дикарям, из джунглей своих чувств на Пятую авеню нашего Нью-Йорка и заявляющие о своем желании иметь электрическое освещение, но при этом разрушить генераторы, – истребляя нас, вы пользуетесь нашим богатством; проклиная нас, вы пользуетесь нашими ценностями; отрицая разум, вы пользуетесь нашим языком.

Фанатики духа изобрели по образу нашей земли свои небеса, упустив из виду наше существование, и пообещали вам чудесным образом сотворенную из ничего награду – подобно этому современные фанатики плоти не замечают нашего существования и обещают вам небеса, на которых материя по собственной беспричинной воле превращается в любую награду, какой возжелает ваш неразум.

Фанатики духа веками жили легким заработком вымогательства – делая жизнь на земле невыносимой и обирая вас затем за успокоение и облегчение, запретив все добродетели, необходимые для бытия, и выезжая затем на вашей вине, объявляя грехом творческие способности и радость, а затем шантажируя грешников. Мы, люди разума, были безымянными жертвами их веры, мы, желающие нарушить их моральный кодекс и нести проклятие за грех мысли, мы, нравственные изгои, мы, живущие украдкой, когда жизнь почиталась преступлением, – в то время как они наслаждались ореолом нравственности, славы за добродетели, они, презревшие материальную жадность и раздававшие в порыве альтруизма материальные ценности, произведенные как бы никем.

Теперь мы в оковах, и нами командуют дикари, не удостоивающие нас даже кличкой

грешников, дикари, сначала объявляющие, что мы не существуем, а затем угрожающие лишить нас жизни, которой мы не обладаем, если мы не сможем снабжать их товарами, которых не производим. Теперь от нас ждут, что мы будем управлять железной дорогой, что мы будем знать с точностью до минуты, в котором часу прибывает поезд с другого конца континента, что мы и дальше будем управлять сталелитейными заводами и знать молекулярное строение каждой частички металла в опорах ваших мостов и в самолетах, несущих вас между небом и землей, – а в это время компания ваших нелепых, жалких фанатиков плоти спорит на развалинах нашего мира, невнятно бормоча на неязыке, что не существует ни принципов, ни абсолюта, ни знания, ни разума.

Опускаясь ниже дикаря, верящего в то, что, произнося магические слова, он властен изменить реальность, они верят, что изменить реальность властны невысказанные слова, их магическое оружие умолчания, самообман, нежелание видеть, что отказ назвать нечто не есть магическое средство покончить с его существованием.

И как они живут за чужой счет телесно, подобным же образом духовно они живут чужими представлениями. Поступая так, они заявляют, что быть честным значит отказываться понять, что ворует. Отрицая причины, они все же пользуются следствиями; подобным образом они пользуются нашими представлениями, отрицая их источник и сам факт существования представлений, которыми пользуются. Они стремятся не строить, а вступать во владение промышленными предприятиями; подобным образом они стремятся не думать, а иметь в своем распоряжении разум.

Они провозглашают, что управление предприятием требует лишь умения нажимать на кнопки автоматической системы управления, отказываясь ответить себе на вопрос, кто построил это предприятие; подобным образом они объявляют, что предметы не существуют, что не существует ничего, кроме движения, умалчивая о том, что движение предполагает нечто, что могло бы двигаться, что без представления о реальности бытия понятия «движение» не существовало бы. Подобно тому, как они грабят предпринимателя, отрицая его ценности, они стремятся захватить власть над сущим, отрицая сам факт существования.

«Мы знаем, что мы ничего не знаем», – легкомысленно заявляют они, умалчивая о том, что самим этим высказыванием заявили, что кое-что они знают; «Абсолюта нет», – легкомысленно заявляют они, умалчивая, что излагают абсолютное суждение. «Вы не можете доказать, что вы существуете», – легкомысленно заявляют они, умалчивая, что доказательство предполагает бытие, сознание и сложную цепочку знаний, – существование того, что можно знать, сознания, способного знать, и знания, способного отличить доказанное от недоказанного.

Когда не научившийся говорить дикарь объявляет, что существующее нужно доказать, он хочет, чтобы вы его доказали посредством несуществующего; когда он объявляет, что доказать нужно существование вашего сознания, он хочет, чтобы вы это доказали посредством бессознательного; он хочет, чтобы вы шагнули в пустоту вне существования и сознания ради того, чтобы доказать и то и другое, хочет, чтобы вы стали ничем и узнавали нечто ни о чем.

Когда он объявляет, что аксиома есть нечто зависящее от произвольного выбора и он не желает принять факт собственного существования за аксиому, он «не замечает», что тем самым уже признал аксиому собственного существования, что единственный способ ее не признать заключается в молчании, в отказе толковать какие бы то ни было теории, в смерти.

Аксиома есть утверждение, определяющее базу знания и любого последующего утверждения, имеющего отношение к этому знанию, утверждение, безоговорочно включенное во все последующие утверждения, независимо от того, признает это говорящий или нет. Аксиома есть положение, доказывающее неверность всех аргументов против него тем, что любая попытка опровергнуть эту аксиому предполагает ее признание и использование в контраргументах. Пусть

пещерный человек, не желающий признать аксиому, что А есть А, попытается объяснить свою теорию, не пользуясь понятием тождества или любым другим представлением, извлеченным из этого понятия; пусть человекообразная обезьяна, не признающая существование существительных, попытается придумать язык без существительных, прилагательных или глаголов; пусть шарлатан, не желающий признавать ценность чувственного восприятия, попытается доказать это без сведений, полученных органами чувственного восприятия; пусть охотник за головами, не признающий ценность логики, попытается доказать это, не пользуясь логикой; пусть пигмей, который заявляет, что небоскребу не нужен фундамент, вышибает основание из-под собственного дома, а не из-под вашего; пусть людоеда, который с грозным рыком утверждает, что свобода человеческого духа была необходима, чтобы создать индустриальную цивилизацию, но теперь уже для ее поддержания свобода не нужна, – пусть его обрядят в медвежью шкуру и вооружат луком и стрелами, но лишат кафедры экономики в университете.

Вы полагаете, что они отбрасывают вас назад, в век духовных сумерек? Нет, они отбрасывают вас во времена такого мракобесия, какого не знала история. Их идеал даже не эпоха до науки, а эпоха до языка. Их цель – лишить вас того, на чем основана жизнь человеческого духа, вся культура человечества, – отнять у вас объективную реальность. Определите развитие человеческого сознания – и вам станет ясна задача их учения.

Дикарь – это существо, которое не усвоило, что А есть А и что реальность реально существует. Его разум застыл на уровне ребенка, в том состоянии, когда сознанию Доступно первичное чувственное восприятие, но оно еще не научилось различать стабильные объекты. Ребенку мир является в размытых контурах, он видит события, но не видит фактов. Его разум пробуждается в тот день, когда он понимает, что то, что мелькает перед его глазами, – его мать, а то, что шевелится за ней на свету, – занавеска на окне и что и то и другое – стабильные предметы, которые не переходят один в другой, что они такие, какие они есть, что они существуют. В тот день, когда он осознает, что вещи не обладают волей, а он ею обладает, он рождается как человек. В тот день, когда он понимает, что отражение, которое он видит в зеркале, не иллюзия, что оно реально, но не он сам, что мираж, который возникает перед him в пустыне, – не иллюзия и что реальны воздух и лучи света, которые его вызывают, но это не город, а отражение города, – в тот день человек рождается как мыслитель и ученый.

Тогда он осознает, что он не орган пассивного восприятия сиюминутных ощущений, что органы чувств не обеспечивают его всякий раз автоматически подлинным знанием независимо от конкретных условий восприятия, а только поставляют ему материал для понимания и ему нужно еще научиться интегрировать. Тогда ему открывается, что органы чувств не могут уже обманывать его, что события в мире имеют свои причины и следствия, что его ощущения имеют физическую основу, но не имеют самостоятельной воли, ничего сами не изобретают и не искажают, что их показания абсолютны, но надо еще постигнуть природу, причины и обстоятельства, в которых возникают чувственные ощущения, и разуму еще надо отождествить и различить то, что воспринимают органы чувств. Тогда человек – мыслитель и ученый – укрепитсЯ в своих правах.

Мы люди, дожившие до этого дня, вы люди, остановившиеся на полпути, а дикарям ничего этого не дано.

Для дикаря мир – вместилище непостижимых чудес, в нем все возможно для неодушевленной материи, а для него невозможно ничего. Он живет не в мире неизведанного, а в мире иррационального ужаса – в мире непостижимого. Он верит в то, что вещи наделены загадочной волей, что ими движут беспричинные, непредсказуемые капризы, в то время как сам он – беспомощная игрушка, отданная на милость сил, над которыми он не властен. Он верит в

то, что миром правят всемогущие демоны, забавляющиеся им по своему усмотрению, что он мягкий воск в их руках и они лепят из него, что им угодно: они могут в любой момент обратить его миску с едой в змею, его жену в жужелицу; в их мире всякое А, которое они так и не открыли для себя, может стать любым не А по прихоти этих демонов. Единственное знание, которым он располагает, – это то, что он не должен пытаться что-либо узнать. Он не может ни на что рассчитывать, может только желать, и он растрчивает свои силы и жизнь на желания, моля своих демонов снизойти к его просьбам. Если его желания сбываются, он приписывает это милости демонов, а если нет, винит себя. Он приносит им жертвы в знак своей признательности и как свидетельство своей вины перед ними, он пресмыкается из страха перед ними, поклоняется солнцу, луне, ветру, дождю и любому самозванцу, который объявляет себя их глашатаем, благо его речи малопонятны, а маска устрашает.

Бедняга-дикарь мучается, желает, молит, унижается и умирает, оставляя после себя как вещественное доказательство своего мироощущения уродливых идолов – полулюдей, полужверей, подобие пауков, воплощающих образ мира не А.

По нему вы можете судить об интеллектуальном уровне нынешних учителей и о мире, который они уготовили для вас.

Если вы хотите узнать, каким образом они идут к своей Цели, зайдите в аудиторию любого колледжа и там вы услышите, как профессора учат ваших детей, внушая им, что ни в чем нельзя быть уверенным до конца, что сознание человека не заслуживает доверия, что человеку недоступны факты и законы бытия, что он не может постигнуть объективную реальность. Что же тогда служит мерилom знания и истины? Все, во что верят другие, – вот их ответ. Знания нет, учат они, есть только вера. Вы полагаете, что существуете, но это только акт веры, столь же обоснованный, не более и не менее, как чья-то вера в свое право убить вас. Постулаты науки – тоже акт веры, столь же достоверный, как вера в мистические прозрения; убеждение, что электростанция способна давать энергию и свет, – акт веры того же порядка, как вера в то, что свет появится, если в новолуние поцеловать под лестницей кроличью лапку. Истина такова, какой ее хотят видеть люди, а люди – это все, кроме вас; реальность – это все что угодно, нет объективных фактов, есть только произвольные желания. Человек, который ищет знания в лаборатории с помощью логики и приборов, – старомодный, суеверный глупец. Истинный ученый – тот, кто повсюду устраивает опросы с целью выявить общественное мнение, и если бы не эгоистические интересы производителей стального проката, которые по своей природе не могут не стоять на пути научного прогресса, вы бы узнали, что Нью-Йорк тоже нет, потому что опрос населения всего мира выявил бы подавляющее большинство тех, кто не отметил бы в своих представлениях наличие такого города.

Из века в век фанатики духа убеждали нас, что вера выше разума, но не осмеливались отрицать его существование. Их наследники и потомки, фанатики силы, завершили их дело, дошли до конца пути и осуществили свою мечту. Они заявили, что вера – это все, утверждая при этом, что выступают против религии. Выступая против недоказанных утверждений, они провозгласили, что ничего нельзя доказать. Выступая против сверхъестественного знания, они возвещают, что никакое знание невозможно. Выступая против врагов науки, они вместе с тем утверждают, что всякая наука – предрассудок. Выступая против духовного рабства, они заявляют, что нет ни духа, ни разума.

Если вы откажете себе в способности восприятия, согласитесь принять вместо критерия объективного критерий коллективный и будете ждать, когда человечество скажет вам, что вы должны думать, вы увидите, как на ваших глазах, которым вы отказали в доверии, произойдет другая подмена: вы обнаружите, что во главе коллектива оказались ваши учителя, и если теперь вы откажетесь подчиниться им на том основании, что они – это еще не все человечество, они

вам ответят: «Откуда тебе это знать? Откуда тебе знать, что мы вообще существуем? Что за старомодные понятия!»

Если вы усомнитесь, такова ли действительно их цель, посмотрите, как рьяно фанатики силы стараются, чтобы вы навсегда забыли, что такое понятие, как «разум», вообще когда-то существовало. Обратите внимание на словесные выкрутасы, на расплывчатые, неопределенные термины, на зыбкую, как трясина, фразеологию, посредством которой они стараются обойти понятие «мышление». Они говорят, что ваше сознание образовано «рефлексами, реакциями, впечатлениями, побуждениями и стимулами», но отказываются указать, каким образом они получили знание об этом, назвать, какой мыслительный акт они совершают, когда сообщают вам об этом, или какие духовные процессы совершаются в вас, когда вы их слушаете. Слова имеют силу рассуждения, говорят они, и отказываются указать причину, по которой слова способны изменить ваше... как бы ничто. Учащийся, читающий книгу, понимает ее благодаря процессу... как бы никакому. Ученый, делающий открытие, занят... как бы ничем. Психолог, помогающий пациенту разрешить душевный конфликт, делает это посредством... как бы ничего. Промышленник... как бы никто... его не существует. Ведь его фабрика такой же «природный ресурс», как дерево, скала или грязная лужа.

Проблема производства, говорят они, уже решена и не заслуживает ни внимания, ни изучения. Единственная проблема, которую следует теперь решать посредством пресловутых рефлексов, – это проблема распределения. Кто же решил проблему производства? Человечество, отвечают они. И каково же решение? Вот товары. Как они оказались здесь? Да так, как-то. По какой причине? Причин не существует в принципе.

Они провозгласили, что каждый человек имеет право жить, не трудясь, несмотря на то что это противоречит опыту и реальности, что каждый человек имеет право на необходимый минимум средств к существованию – пищу, одежду, жилье, которые должны предоставляться ему без всяких усилий с его стороны, как его природное право. Предоставляться – кем? Как бы никем. Каждый человек, заявляют они, владеет равной долей благ, созданных в мире. Кем созданных? Как бы никем. Пронырливые демагоги, которые маскируются под защитников производителей материальных благ, определяют ныне задачу экономики как «согласование бесконечно растущих потребностей людей с конечными объемами производимых благ». Производимых кем? Как бы никем. Интеллектуальные бандиты, выступающие под личиной профессоров, сбрасывают со счетов мыслителей прошлого, объявляя их теории общественного устройства несостоятельными, так как они исходили из представления о человеке как о разумном существе. Поскольку же человек иррационален, возвещают они, требуется установить такой общественный строй, который строился бы на иррациональности человека, иными словами, отрицал бы действительность. Кто осуществит эту идею? Как бы никто. Всякая досужая посредственность рвется в прессу с проектами контроля над производством в планетарном масштабе, а те, кто с ней соглашается или не соглашается, принимает или не принимает статистические выкладки и расчеты, отнюдь не ставят под сомнение ее право навязывать свое решение силой. Навязывать кому? Как бы никому.

Откуда появляются полные энтузиазма дамы, не ограниченные в средствах, которые совершают кругосветные путешествия и возвращаются с известием о том, что отсталые народы мира требуют повышения уровня жизни? Требуют от кого? Как бы ни от кого.

А чтобы предупредить возможные вопросы о причинах различий между деревней в джунглях и городом Нью-Йорком, они без зазрения совести объясняют промышленное развитие в мире, появление небоскребов, канатных дорог, новых двигателей и поездов следующим образом: человека объявляют животным, «обладающим инстинктом производить орудия труда».

Задумывались ли вы над тем, что случилось с миром? Мы живем во времена, когда уповают

на беспричинное и незаработанное, и эти идеи достигли апогея. Группировки фанатиков разного толка, духа и силы, яростно борются за власть над вами под лозунгом, что все проблемы души решает любовь, а все проблемы плоти – кнут, а что до разума, так вы согласились, что разума нет. Считаясь с людьми меньше, чем со скотом, игнорируя то, что им мог бы подсказать любой дрессировщик: от животного ничего не добьешься страхом, слон, которого истязают, рано или поздно раздавит своего мучителя, но не станет работать и таскать тяжести, – они, тем не менее, рассчитывают, что люди будут делать и кинескопы, и сверхзвуковые самолеты, расщеплять атом, создавать радиотелескопы, – и все это за кусок мяса и удар кнутом в качестве стимула.

Не стоит заблуждаться насчет мотивов фанатиков. Они всегда, на протяжении веков стремились уничтожить ваше сознание и силой получить власть над вами. Со времен шаманов и колдунов с их абсурдными обрядами, которые искаженно отражали реальность, приводили в трепет соплеменников и внушали им ужас перед сверхъестественными силами природы, через средневековье с его мистическими учениями и страхом перед сверхъестественным, из-за которого люди жались друг к другу на глиняном полу своих хижин, опасаясь, что дьявол лишит их миски супа, ради которого они проливали пот восемнадцать часов в сутки, и вплоть до нынешнего маленького, улыбчивого, неряшливо одетого профессора, который уверяет вас, что ваш мозг не может мыслить, что вы не способны к восприятию мира и Должны слепо повиноваться тем же всемогущим сверхъестественным силам, – все это один и тот же спектакль с той же единственной целью: привести вас в состояние аморфной, тестообразной массы, отказавшей в доверии своему сознанию.

Но без вашего согласия добиться этого нельзя. И если вы позволяете делать это с собой, вы это заслужили.

Когда вы слушаете, как фанатик разглагольствует перед вами о бессилии человеческого разума и начинаете сомневаться в своем, а не в его разуме, когда вы позволяете, чтобы ваш и без того не столь уж могущественный разум был поколеблен утверждениями фанатика, и решаете, что лучше довериться его высшему знанию и его твердой убежденности, вы не замечаете нелепой иронии своего положения: ваше доверие – единственный источник его силы. Сверхъестественная сила, которой страшится фанатик, и непознаваемый дух, которому он поклоняется, и сознание, которое он считает всемогущим, – это ваша сила, ваш дух и ваше сознание.

Мистик, он же фанатик, – человек, который отказывается от своего разума при первом соприкосновении с разумом других. Где-то в первые годы детства, когда его понимание мира вошло в конфликт с утверждениями других, с их жестокими распоряжениями и противоречивыми требованиями, он сдался и в панике отступил перед ответственностью, которая сопряжена с независимостью. Страх заставил его пожертвовать разумом. Выбирая между «я знаю» и «говорят, что...», он предпочел чужое мнение, предпочел подчиняться, а не рассуждать, верить, а не думать. Вера в сверхъестественное начинается с веры в превосходство других. Сдача позиций вылилась в необходимость скрывать неспособность рассуждать самостоятельно и доходить до всего своим умом. У мистика появилось ощущение, что другие располагают загадочной способностью знать, которой сам он лишен, что реальность такова, какой они хотят ее видеть, благодаря таинственному дару, в котором ему отказано.

С этого момента, страхась думать сам, он попадает во власть невнятных эмоций. Чувства становятся единственным его поводом, это все, что ему остается от личности, и он цепляется за них с отчаянной жадностью, а все его мысли – или то, что от них осталось, – заняты тем, чтобы скрыть от себя тот факт, что в основе всех его эмоций лежит ужас.

Когда мистик заявляет, что ощущает существование силы более высокой, чем разум, он

действительно ощущает ее, но эта сила вовсе не всеведущий верховный дух вселенной, а сознание первого встречного, воле которого он подчиняет себя. Им руководит стремление произвести впечатление, обмануть, польстить, перехитрить и вынудить всемогущее сознание других. «Они» – вот его единственный ключ к реальному миру; он чувствует, что не сможет существовать, не обуздав их загадочную силу, не получив от них обязательного согласия. «Они» – единственный для него способ восприятия, и подобно тому, как слепой зависит от своей собаки, он чувствует, что для того, чтобы жить, должен держать их на поводке. Контроль над сознанием других становится единственной его страстью. Жажда власти – сорняк, который растет только на пустыре заброшенного разума.

Каждый диктатор – мистик, и каждый мистик – потенциальный диктатор. Мистик жаждет подчинения, а не согласия. Он хочет, чтобы люди набили сознание его утверждениями, указами и рекомендациями, капризами и прихотями, – точно так же, как его сознание отдано им. Он строит отношения с людьми на вере и силе, ему не доставляет удовлетворения согласие, достигнутое посредством фактов и рассуждений. Разум для него враг, которого он страшится и который одновременно считает зыбкой опорой. Разум для него – инструмент обмана; он чувствует, что люди обладают некой силой, большей, чем разум. Только их безотчетная вера и подчинение силе дают ему чувство уверенности; в них он видит доказательство того, что овладел тем мистическим даром, которого добивался.

Он страстно желает приказывать, а не убеждать; убеждение предполагает независимость и подчеркивает абсолютный характер объективной реальности. Он ищет власти над реальностью и над восприятием ее людьми, над их разумом; он ищет такой власти, которая поместила бы его волю между бытием и сознанием, как будто люди, признав созданный по его приказу мнимый мир реальностью, смогут фактически сотворить такой мир.

Мистик паразитирует на вещественном богатстве, созданном другими. Мистик паразитирует на духовном богатстве, созданном другими. Он эксплуатирует вещи и ворует идеи. Поэтому он опускается ниже уровня безумца, который сам творит искаженный образ мира. Мистик пал до уровня безумца-паразита, который стремится к искаженной реальности, созданной другими.

Есть только одно состояние, которое удовлетворяет стремлению мистика к бесконечному, беспричинному, безличностному, – смерть. Неважно, какими фантастическими причинами он объясняет свои невыразимые чувства; всякий, кто отрицает реальность, отрицает бытие, и с этого момента им руководит ненависть ко всем ценностям человеческой жизни и стремление к злу, губящему жизнь. Мистик наслаждается зрелищем страданий, нищеты, рабства и страха; они дают ему ощущение успеха, в них он находит доказательство поражения объективной реальности. Но иной реальности не существует.

Неважно, чье благо он отстаивает, кому служит на словах – Богу или той безликой толпе, которую он именуется народом. Неважно, какую из высоких абстракций провозглашает он своим идеалом; по существу, фактически, реально здесь, на земле, его идеал – смерть, его страсть – убийство, наслаждение – мука.

Все, чего достиг своим учением мистик, – разложение и гибель; именно это наглядно проявилось сейчас. Если все вызванные действиями мистиков беды не заставили их усомниться в своей доктрине, если они продолжают заявлять, что ими движет любовь, если их ничуть не смущают горы трупов, то это потому, что их души намного хуже, чем вы наивно полагали, когда искали для них оправдания в той расхожей отвратительной формуле, что цель якобы оправдывает средства и что причиненные ими страдания неизбежны на пути к всеобщему благу. Истина в том, что беды и страдания и есть их цель.

Пусть знают те, кто в своем безумии полагает, что сможет приспособиться к диктатуре

мистиков и сумеет ублажить их, выполняя их приказы, – ублажить их невозможно. Стоит подчиниться, как мистик меняет свой приказ на противоположный; ему нужно подчинение ради подчинения, разрушение ради разрушения. Если вы настолько наивны, что надеетесь поладить с мистиком, подчинившись его воле и домогательствам, знайте, откупиться от него невозможно, его не устроит меньшее, чем ваша жизнь, тотчас и целиком или постепенно и по частям – в меру вашей уступчивости. Он и сам должен откупиться от того чудовища, которое поселилось в его душе, которое побуждает его убивать, только чтобы не признаться перед самим собой, что больше всего он жаждет собственной смерти.

Вы можете наивно верить, что силами зла, витающими в современном мире, движет корыстолюбие, тяга к грабежу материальных ценностей, но на деле битва, которую мистики ведут ради добычи, лишь ширма, скрывающая от них самих истинные мотивы, которые ими руководят. Ценности – средство, служащее человеческой жизни, и мистики хватаются за них, имитируя нормальных людей, притворяясь перед собой, что жаждут жизни, но звериная тяга к награбленному добру не доставляет им радости, это способ забыться. Не хотят они владеть вашим добром – хотят лишиться вас его, не хотят победы – хотят вашего поражения; не хотят жить – хотят вашей смерти; они ничего не желают, они ненавидят бытие; они не знают покоя, и каждый из них страшится признать, что ненавидит он самого себя.

Те, кто не распознал природу зла, кто считает их заблудшими идеалистами – да простит им их наивность Бог, которого они изобрели! – должны знать, что они – вместилище зла, все эти губители жизни, которые стремятся пожрать весь мир, чтобы набить безликую пустоту своей души. Не за вашим добром гонятся они. Они со ставили заговор против разума, а значит – против жизни и человека.

Это заговор без вождя и провозглашенной цели. Есть ничтожные громилы, калифы на час, которые паразитируют на страданиях тех или иных стран и народов; как пена, несутся они на гребне потока из прорванной плотины, где отстоялись нечистоты многих столетий, где веками копилась ненависть к разуму, логике, таланту, к свершениям и радости, – ненависть, которую питает к полнокровной жизни всякий жалкий хлюпик, ноющий о превосходстве сердца над разумом.

Это заговор тех, кто стремится не жить, а чуть-чуть обмануть реальность и по родству душ тянется к подобным себе. Это заговор тех, кто связан общностью уловок, кто видит ценность в нуле; профессоров, не способных мыслить, но находящих радость в том, чтобы калечить умы и души своих студентов; коммерсантов, которые, чтобы оградить свой покой, находят радость в том, чтобы не давать ходу инициативе конкурентов; невротиков, любовно смакующих отвращение к самим себе и находящих радость в том, чтобы портить жизнь достойным людям; бездарей и посредственностей, находящих радость в том, чтобы мешать прогрессу и не давать дороги таланту; евнухов, находящих счастье в том, чтобы кастрировать радости жизни. В этом заговоре участвуют те, кто интеллектуально его обеспечивает, все те, кто проповедует, что если принести добродетель в жертву, то это превратит порок в добродетель. Смерть лежит в основе всех их теорий, смерть является целью их практических действий, и вы – последняя из их жертв.

Мы служили живым буфером между вами и вашей доктриной и оберегали вас от роковых опасностей избранного вами пути. Но этому пришел конец. Мы больше не хотим оплачивать своими жизнями те долги, которые вы навлекли на себя своей жизнью, как и долги, накопленные многими поколениями людей до вас. Вы жили, взяв займы время, и я – тот, кто пришел взыскать долг.

Я – тот, чье существование вы стыдливо замалчивали, стараясь не замечать. Я – тот, чьей жизни и смерти вы в равной мере не желали. Вы не хотели, чтобы я жил, потому что вам страшно было от сознания, что я принимаю ту ответственность, от которой вы отказались, и от

сознания, что ваша жизнь зависит от меня. Вы бы хотели, чтобы я умер, потому что знали об этой зависимости.

Двенадцать лет назад, когда я трудился среди вас, в вашем мире, я был изобретателем, то есть принадлежал к профессии, которую человечество освоило последней и которая первая исчезнет на обратном пути к недочеловеку. Изобретатель – тот, кто задает вселенной вопрос «почему?» и не позволяет ничему встать между ответом и своим разумом.

Подобно человеку, который открыл, как использовать пар, и человеку, который нашел применение нефти, я обнаружил источник энергии, который существовал с момента рождения земли, но люди не знали, как его применить, разве что сделать объектом поклонения, источником страха и легенд, хотя и без бога-громовержца. Я создал экспериментальную модель двигателя, который сделал бы меня и тех, на кого я работал, богачейшими людьми, двигателя, который многократно повысил бы производительность любой установки, использующей энергию, а кроме того, сделал бы неизмеримо более продуктивным каждый час труда, которым вы зарабатываете себе на жизнь.

Так вот, однажды вечером на заводском собрании за мое изобретение меня приговорили к смерти. Три паразита заявили, что мой мозг и моя жизнь – их собственность, что есть условие, соблюдение которого обеспечивает мне право на существование, и это условие состоит в том, что я должен удовлетворять их желания. Мой талант, сказали они, должен обслуживать потребности тех, кто менее одарен. Моя способность жить, сказали они, еще не обеспечивает мне право на жизнь, а вот их право на жизнь было безусловным в силу их неспособности.

Тогда мне открылось, в чем беда этого мира; я понял, что губит людей и целые нации и где надо вести битву за жизнь. Я понял, что главный враг – извращенная мораль, которая держится исключительно моим потворством ей.

Мне открылось, что зло бессильно, что оно нелогично, слепо, противоестественно и что его успех полностью зависит от готовности добра служить ему. Кишевшие вокруг меня паразиты нагю заявляли свое право на мой разум; не скрывая своей полной зависимости от него, они хотели, чтобы я добровольно отдал себя в рабство, которое они были не в силах навязать мне. Они рассчитывали на то, что я принесу себя в жертву) и они смогут распорядиться мною в своих целях.

Но точно так же и во всем мире на протяжении всей истории в разнообразных формах и проявлениях, от паразитирующих на чужих хлебах родственников до паразитирующих на других народах империй, – всегда и всюду те, кто добр, талантлив, разумен, губят сами себя, питают зло своими соками, наполняют его артерии кровью своей добродетели, всасывая его губительный яд и тем самым обеспечивая жизнь злу, обеспечивая распространение смертоносной заразы.

Мне открылось, что в добровольном подчинении добрых людей злым наступает момент, когда добро должно дать свое согласие на то, чтобы победило зло. Я понял, что, если добро не даст своего согласия, и у зла не будет силы навязать свою волю. Я понял, что могу положить конец оргии зла, произнеся всего одно слово, горевшее в моем мозгу. И я произнес его – слово «нет!».

Я ушел с того завода. Я оставил ваш мир. Я поставил себе задачу раскрыть вашим жертвам глаза, дать им метод и оружие для борьбы против вас. Этот метод состоит в отказе мешать возмездью, а оружием служит справедливость.

Если вы захотите узнать, что потеряли, когда я ушел и когда вслед за мной ваш мир покинули мои единомышленники, объявив вам забастовку, встаньте посреди пустыни на голой земле, где еще не ступала нога человека, и спросите себя, как вы сможете там выжить, надолго ли вас хватит, если вы не станете напрягать разум, когда вам не от кого ждать подсказки, а если вы решите напрячь разум, чего сможете достичь. Спросите себя, часто ли на протяжении своей

жизни вам удавались независимые, оригинальные суждения и выводы и какое место в вашей жизни занимали действия и поступки, которым вы научились у других. Спросите себя, смогли бы вы сами дойти до того, как обрабатывать землю и добывать пищу, смогли бы вы изобрести колесо, рычаг, обмотку генератора и сам генератор или транзистор. И тогда уже решайте, можно ли считать эксплуататорами талантливых людей, живут ли они плодами вашего труда, лишают ли они вас тех ценностей, которые вы производите. И хватит ли у вас духа и силы, чтобы поработить их?

Пусть ваши женщины взглянут в обительницу джунглей, увидят ее сморщенное лицо, обвислую грудь, увидят, как день за днем, столетие за столетием она перетирает зерно в каменной чашке, и пусть они спросят себя, достаточно ли у них «врожденного инстинкта к изготовлению орудий труда», чтобы снабдить себя холодильниками, стиральными машинами и пылесосами, и если нет, то захотят ли они губить тех, кто обеспечивает всем этим их, хотя вовсе не благодаря инстинкту.

Взгляните вокруг себя, о дикари! Вы бубните, что идеи порождаются средствами производства, что машина – не продукт: человеческой мысли, а мистическая сила, которой обязано человеческое мышление. Вы так и не открыли для себя индустриальный век, вы цепляетесь за мораль времен варварства, когда человек влачил жалкое существование за счет физического труда рабов. Каждый мистик испокон века мечтает иметь рабов, чтобы оградить себя от пугающих его реальностей мира. Но вы, нелепый продукт атавизма, тупо разглядываете небоскребы и фабричные трубы, высящиеся вокруг вас, и мечтаете, как бы подчинить себе тех, кто обеспечивает вам власть над природой: ученых, изобретателей, промышленников. Когда вы шумно требуете общественной собственности на средства производства, вы требуете общественной собственности на разум. Я научил своих единомышленников единственному ответу, который вы заслужили: «Попробуйте сами взять его».

Вы заявляете, что не в состоянии обуздать силы неодушевленной природы, однако вознамерились взнуздать разум людей, способных на недоступные вам достижения. Вы заявляете, что не выживете без нас, однако намерены диктовать нам условия нашего выживания. Вы заявляете, что нуждаетесь в нас, однако нагло утверждаете свое право силой управлять нами. И вместе с тем вы рассчитываете на то, что мы, не страшась сил природы, которые наполняют ужасом ваши жалкие души, испугаемся какого-то мерзавца, который уговорил вас проголосовать за него, чтобы он с высоты своего положения мог командовать нами.

Вы намерены установить общественный строй исходя из следующих положений: вы не способны управлять собственной жизнью, но способны управлять чужими жизнями; вы не созданы для того, чтобы жить свободно, но созданы для того, чтобы стать всемогущими правителями; вы не в состоянии обеспечить свое существование силой собственного интеллекта, но в состоянии оценивать политиков и избирать их на посты, где они будут всевластны над ремеслами и искусствами, о которых вы не имеете никакого представления, над науками, которые вы никогда не изучали, над достижениями, о которых вы не слышали, над гигантскими отраслями производства, в которых вы, согласно вашему же определению своих способностей, не справились бы с обязанностями помощника смазчика.

Вы проповедуете культ пустоты и бессилия, ваш идол и символ – иждивенец с пеленок до смерти, таков ваш идеал человека и критерий ценности, и вы перекариваете души по его образу и подобию. «Человеку это свойственно!» – восклицаете вы в защиту человеческой низости, унижая природу и сущность человека до того, что само понятие «человек» становится синонимом нытика, глупца, неудачника и лжеца, эквивалентом подлости, обмана и трусости. Вы подвергаете остракизму героя, мыслителя, создателя, изобретателя; вы изгоняете из своей среды сильных, целеустремленных, чистосердечных. По-вашему, человек только ощущает, но не

думает, терпит неудачи, но не добивается успеха, подвержен пороку и чужд добродетели, как будто смерть ему свойственна, а жизнь чужда его природе.

Вы лишаете нас чести, чтобы затем лишить собственности. Поэтому вы всегда смотрели на нас как на рабов, не заслуживающих признания и славы. Вы расхваливаете все проекты, якобы не предполагающие прибыли, и проклиняете людей, которые добились прибыли, благодаря которой и стали возможны эти проекты. Вы считаете, что всякий проект, служащий интересам тех, кто не платит, служит интересам общества, но полагаете, что не в интересах общества способствовать успеху тех, кто оплачивает эти проекты. По-вашему, общественное благо – это все, что раздается как милостыня, в то время как купля-продажа наносит ущерб обществу. Для вас общественное благосостояние – это благосостояние тех, кто его не заработал, но те, кто зарабатывает, не имеют права на благосостояние. Для вас общество – это все, кто не смог ничего добиться, а кто добился, кто поставляет вам необходимое для жизни, уже не должен считаться частью общества и вообще выпадает из человеческой расы.

Какое затмение разума позволило вам надеяться, что эта мешанина противоречий может привести вас к успеху и на ее основе возможно идеальное общественное устройство? Ведь стоило вашим жертвам сказать «нет», и вся ваша постройка рухнула. Какое право имеет нищий нагло размахивать своим рубищем, совать под нос благополучным людям свои гнойники и язвы и угрожающим тоном требовать помощи? Что дает ему это право? Вы так же, как тот нищий, заявляете, что рассчитываете на нашу жалость, но втайне уповаете на тот моральный кодекс, который приучил вас рассчитывать на наше чувство вины. Вы ждете, что мы устыдимся собственных достоинств перед лицом ваших пороков, язв и рубищ. Вы ожидаете, что нам станет стыдно за свои успехи, свою жизнерадостность. Вы проклиняете жизнь, но умоляете нас помочь вам жить.

Вы хотели узнать, кто такой Джон Галт? Я первый из творцов, который отказался испытывать чувство вины за свой дар. Я первый человек, который не испытывает раскаяния за свой талант и не позволяет использовать его как °РУДие своей гибели. Я первый, кто отказался принять мученический венец из рук тех, кто хотел, чтобы я пожертвовал собой ради счастья сохранить им жизнь. Я первый сказал им, что не нуждаюсь в них и что до тех пор, пока они не будут относиться ко мне как к равному, обменивая ценность на ценность, им придется обходиться без меня. Тогда они поймут, кто в ком нуждается, кто испытывает потребность, а кто ее удовлетворяет. Тогда им станет ясно, кто устанавливает правила жизни и чьим установлениям она должна следовать, если не хочет прекратиться.

Я намеренно и сознательно осуществил то, что ранее, на протяжении всей истории человечества делалось скрытно и неосознанно. Всегда существовали люди разума, которые объявляли забастовку из чувства протеста и отчаяния, но они не осознавали значения своей акции. Человек, который уходит из общества, чтобы размышлять, но не делится плодами своих размышлений; человек, который предпочитает жить в неизвестности, занимаясь физическим трудом, но согревает огнем своей мысли только себя и никогда не сообщает ей ни форму, ни выражение, ни воплощение, а скрывает ее от мира, который он презирает; человек, которого мир отвергает; человек, который отказывается продолжать, еще не начав; человек, который бросает дело, чтобы не уступить и не сдаться; человек, который использует лишь ничтожную часть своих способностей, потому что не нашел своего идеала и потому угас его порыв, – все эти люди бастуют, протестуя против неразума, против вашего мира и ваших ценностей. Но, не осознав собственных ценностей в противовес вашим, они уходят с пути познания, бросают поиск и погружаются во мрак безнадежного возмущения. Их возмущение справедливо, но они не ведают, что есть справедливость; их страсть не ведает, что есть желание; они уступают вам власть над миром и теряют стимул к мысли, поэтому они кончают свой век в горьком разочаровании, как

повстанцы, так и не понявшие цели своего восстания, как любовники, не познавшие любви.

Позорные времена, известные как век мракобесия, были периодом, когда разум объявил забастовку, ушел в подполье, жил тайно и творил тайно. Талантливые умы уничтожали свои труды и умирали в безвестности, и лишь немногие из самых отважных мучеников уцелели и продолжали жить, чтобы поддерживать огонь в светильнике человеческого духа. Времена, когда миром правили мистики, всякий раз становились периодами застоя и нужды, жизнь становилась безразлична людям, и они трудились, даже не сводя концы с концами, производя ничтожно мало, зная, что все станет добычей их правителей. Люди отказывались думать, дерзать, созидать. Все, что выходило из-под их рук, в конечном счете попадало в распоряжение какого-нибудь напыщенного дегенерата, который санкционировал свое право стоять выше разума и поставил себя верховным авторитетом над истиной в силу божественного права и большой дубинки. В истории человечества один период помрачения разума следует за другим, оставляя после себя бесплодную пустыню, и лишь на короткие сроки в нее врывается солнечный свет, и тогда, освободившись на время от пут, энергия людей разума творит чудеса, и вы останавливаетесь перед ними в изумлении, восхищаясь, и снова гасите светильник.

Но на сей раз вам его не погасить. Кончилось время мистиков. Ваш идеальный мир погибнет в силу собственной нереальности. Но мы, люди разума, уцелеем,

Я призвал бастовать тех мучеников, которые никогда раньше не бросали вас. Я дал им в руки оружие, которого им не доставало, – сознание их собственной нравственной силы и ценности. Я открыл им, что мир принадлежит нам и мы в любой момент можем заявить свое право на него в силу того, что наша мораль есть мораль жизни. До этого жертвы вашей тирании, которые создавали все чудеса короткого лета человечества, все, кто подчинялся для вас косную материю мира, не подозревали о своих правах, не знали, что лежит в их основе. Они знали о своей силе. Я открыл им, в чем их достоинство, право и честь.

Я говорю вам, тем, кто осмеливается ставить нас в нравственном плане ниже любого мистика, которому якобы доступны прорывы в сверхъестественное; тем, кто грызется, как звери, при дележе награбленной добычи, но при этом гадалок ставит выше тех, кто делает деньги; тем, кто считает бизнесмена низменным, а любого бездарного, но наглого художника – возвышенным: критерии ценностей вашего мистицизма уходят корнями в зловонную трясиину времен сотворения мира, в культ смерти, который объявляет человека дела безнравственным в силу того, что он обеспечивает ваше существование.

Вы, утверждающие, что страстно желаете возвыситься над низменными запросами плоти, над тяжелым нудным трудом ради удовлетворения повседневных физических потребностей, как вы считаете, кто поработен физическими потребностями: индус, который с рассвета до заката ради жалкой площадки риса пашет своей сохой, или американец, управляющий трактором? Кто подчинил себе материальный мир: человек, который спит на гвоздях, или человек, который спит на пружинном матрасе? Что является памятником торжества человеческого духа над материей: кишащие микробами лачуги на берегах Ганга или череда небоскребов на атлантическом побережье Нью-Йорка?

Не усвоив ответы на эти вопросы, не научившись застыть в благоговении перед творениями человеческого разума, вы не задержитесь надолго на этой земле, земле, которую мы любим и не позволим обречь на проклятие. Вам не удастся безмятежно провести остаток своих дней. Я ускорил ход времени и объявил вам, какой за вами накопился долг, который вы хотели переложить на плечи других. Сейчас вы расходуете остаток своих жизненных сил, чтобы насытить паразитирующих на вас глашатаев и проводников смерти. Не делайте вид, что судьба обратилась против вас, вас погубил отказ смотреть правде в глаза. Не питайте иллюзий, что гибнете за правое дело. Вы гибнете, как навоз, взрастивший сорняки ненависти к человеку.

Но тем из вас, кто еще сохранил остатки человеческого достоинства, волю и любовь к жизни, я предлагаю возможность выбора. Остановитесь на краю гибели и окиньте взором свою жизнь и свои ценности. Поразмыслите, стоит ли погибать ради идей, в которые вы никогда не верили и которые не осуществляли на практике. Вы уже умеете подводить баланс своего вещественного достояния. Теперь подведите баланс духовных приобретений и потерь.

С самого детства вы стыдливо утаивали от всех, что у вас нет желания быть нравственным, нет желания жертвовать собой, что вы боитесь своего кодекса правил поведения и ненавидите его, но не осмеливаетесь признаться в этом даже себе, что нет у вас того врожденного нравственного инстинкта, который якобы чувствуют в себе все. Но чем меньше вы его чувствовали у себя, тем громче заявляли о своей бескорыстной любви и готовности служить другим из опасения, как бы они не раскрыли вашу подлинную суть, которой вы изменяли, которую таили, как органический порок, печальный, но неоспоримый изъян. А окружающие, страдая от того же внутреннего конфликта, слушали вас и усердно вам аплодировали, замирая от страха, что вам вдруг нечаянно откроется тот же органический порок в них самих. Ваша жизнь – чудовищный обман, спектакль, разыгрываемый друг для друга, где каждый чувствует себя единственным подлецом среди честных людей и оттого стыдится себя, каждый ищет воплощение непонятого ему нравственного закона в других и лицемерит, потому что знает, что этого лицемерия ждут от него другие. Лишь немногие обладают смелостью разорвать этот порочный круг.

Независимо от того, каков конкретный характер позорного компромисса, который вы заключили с вашей разрушительной доктриной, что бы ни лежало в основе этого компромисса – цинизм, заблуждение или и то и другое поровну, живым остается корень, смертоносный постулат: вы полагаете, что мораль и практические действия несовместимы. С юных лет вас мучила необходимость выбора, даже если вы и не отдавали себе отчета в этом: с одной стороны то, что практично, с другой – то, что нравственно; и если практицизм, то есть все, что вы должны делать ради того, чтобы жить, то, что действует, приносит успех, достигает цели, доставляет вам пищу и радость, то, что вам выгодно, – если все это греховно и если, с другой стороны, добрые, нравственные дела непрактичны, то есть приводят к неудачам, разрухе, разочарованиям, приносят ущерб, причиняют боль и страдания, то вас подстерегает выбор между жизнью и нравственностью: либо жизнь, либо нравственность.

Единственным следствием этой убийственной доктрины стало то, что из жизни исчезла нравственность. В вас укрепилось убеждение, что законы морали не имеют отношения к практике жизни, они лишь препятствуют и угрожают ей, что человек живет в джунглях безнравственности, где все дозволено и все возможно. И в этом тумане перевернутых определений, ледяным холодом сковавших обессиленный разум, вы уже не осознаете, что то, что ваша доктрина причислила к пороку, на деле является добродетелью и условием жизни. Вас убедили в том, что истинное, неоспоримое зло и есть практически необходимое средство для жизни. Забыв о том, что непрактичная добродетель требует жертвовать собой, вы поверили, что самоуважение непрактично. Вы забыли, что так называемое практичное зло созидает; вы поверили, что грабить практично.

Беспомощно, как ветка на ветру, раскачиваясь в чаще нравственного произвола, вы не осмеливаетесь ни полностью отдаться злу, ни жить полной жизнью. Когда вы поступаете честно, вы ощущаете себя доверчивым идиотом; когда обманываете, вас мучит страх и раскаяние, и ваши страдания растут от сознания, что вы обречены на постоянное страдание. Вам жаль людей, которыми вы восхищаетесь, вы уверены, что они обречены. Вы завидуете людям, которых ненавидите, и полагаете, что они хозяева жизни. Вы беспомощны перед подлецами; вы верите, что зло победит, поскольку мораль бессильна, – она ведь непрактична.

Нравственность для вас – призрачное чучело, сляпанное из долга, скуки, страха перед наказанием, боли, гибрид вашего первого школьного учителя и налогового инспектора, чучело, которое стоит в пустом поле и размахивает палкой, отпугивая ваши наслаждения, а наслаждение для вас – это одурманенный винными парами мозг, безмозглая и безотказная девка и тупой азарт игрока, который ставит на бегах, уповая на авось. Для вас наслаждение не может быть нравственным.

Если вы разберетесь в том, во что верите, то обнаружите, что в основе вашей веры лежит уродливое представление о том, что нравственность – необходимое зло. Но это означает тройное проклятие: прокляты жизнь, добро и вы сами.

Не удивляет ли вас, что в вашей жизни нет достоинства, в любви – огня, что вы умираете без борьбы? Не удивляет ли вас, почему, куда бы вы ни бросили взгляд, вас ждут одни вопросы, на которые нет ответа, почему вас раздражают неразрешимые конфликты, почему всю жизнь вам приходится преодолевать какие-то препятствия, делать выбор между душой и телом, между рассудком и плотью, безопасностью и свободой, личной выгодой и общественным благом?

Вы озабочены, потому что не нашли ответов, но как вы рассчитывали их найти? Ведь вы отрицаете инструмент разрешения – свой разум, а потом жалуетесь, что вселенная – сплошная загадка. Вы выбросили ключи, а потом жалуетесь, что вам не попасть ни в одну дверь. Вы отправились на поиски иррационального, а потом жалуетесь, не видя смысла бытия.

Вот уже четвертый час, слушая мои слова и стараясь отмахнуться от них, вы отгораживаетесь трусливой формулировкой: мы не обязаны доходить до крайностей. Крайность, которой вы всегда старались избежать, заключена в том, что надо признать: реальность превышает всего, А есть А, истина истинна. Ваш моральный кодекс, невыполнимый на практике, требующий выбирать между ущербностью или смертью, – этот кодекс приучил вас растворять мысли в тумане, избегать точных определений, делать понятия приблизительными, правила поведения эластичными, уклоняться от принципов, всегда идти на компромиссы в вопросах аксиологии, идти посередине любой дороги. Этот кодекс вырвал у вас признание существования сверхъестественного и тем самым заставил вас отвергнуть первичность реального мира. Таким образом, этические суждения потеряли смысл, а вы лишились способности разумно рассуждать.

Этот кодекс запрещает вам бросить первый камень, но и запрещает признать тождественность камней и не дает возможности определить, когда вас побивают камнями и побивают ли вообще.

Человек, который отказывается рассуждать, который и не соглашается, и не противоречит, который заявляет, что нет ничего абсолютного и поэтому он может избежать ответственности, – именно этот человек в ответе за всю ту кровь, которая ныне проливается в мире. Реальность абсолютна, бытие абсолютно, пылинка абсолютна, точно так же, как абсолютна человеческая жизнь. Мы живем или умираем – и это абсолютно. Абсолютно и то, сами ли вы съедаете свой завтрак, или смотрите, как он исчезает в желудке паразита.

В каждой проблеме есть две стороны, одна верна, другая нет, середина – всегда зло. Тот, кто не прав, еще сохраняет какое-то уважение к истине, хотя бы потому, что признает ответственность выбора. Но человек посередине – негодяй; он закрывает глаза на истину, притворившись, что не существует ни ценностей, ни выбора между ними; он готов отсидеться в стороне во время битвы, чтобы потом извлечь пользу из пролитой крови героев или ползти на брюхе к победившему злодею; он отправляет в тюрьму и грабителя, и ограбленного, а споры разрешает, приказывая и мыслителю, и глупцу пройти свою часть пути навстречу друг другу. Но в любом компромиссе между пищей и ядом выиграть может только смерть. Любой компромисс между добром и злом на пользу только злу. Из хороших людей отсасывают кровь, чтобы напоить ею людей плохих, а соглашатель выполняет роль соединительного шланга.

Со своей половинчатостью, ущербным разумом и трусоватой натурой, рассчитывая обмануть реальность мира, вы обманули себя и стали жертвами собственного притворства. Когда люди начинают считать добро относительным, тогда зло становится абсолютным; когда люди равнодушны к благородной цели, мерзавцы подменяют ее целью подлой, и тогда перед вашими глазами разворачивается позорный спектакль: добро раболепствует, торгуется, интригуется, а зло раздувается от сознания собственной силы и непреклонности.

Как вы уступили позиции фанатикам силы, когда они настояли на том, что поиск истины свидетельствует о невежестве, так и теперь вы уступаете им свои позиции, когда они во всю глотку кричат, что нравственное суждение безнравственно. Когда они визжат, что уверенность в правоте – свидетельство эгоизма, вы спешите успокоить их и говорите, что ни в чем не уверены. Когда они требуют признать, что упорствовать в убеждениях аморально, вы заверяете их в отсутствии у вас каких-либо убеждений. Когда громилы из народных республик Европы злобно обвиняют вас в нетерпимости, потому что не согласны считать ваше желание жить и их стремление убивать вас простым расхождением во взглядах, вы начинаете пресмыкаться перед ними и торопитесь убедить их, что вы вовсе не нетерпимы ко всякому ужасу. Когда какой-то босяк в азиатских трущобах вопит: «Как вы смеете быть богатыми!» – вы извиняетесь, умоляете о терпении и обещаете раздать все свое состояние.

Вас завело в тупик ваше предательство, когда вы отказались от права на жизнь. Вначале вы надеялись, что это просто компромисс, и признали, что жить для себя нехорошо, а жить для детей нравственно. Потом вы признали, что жить для своих детей тоже эгоистично, а нравственно жить для людей, для коллектива. Затем вы признали, что жить для коллектива эгоистично, а для своей страны нравственно. А теперь вы отдаете эту величайшую из стран мира на съедение бродягам со всех концов света и считаете уже, что жить для своей страны аморально, что ваш нравственный долг – жить для всего мира. Если у человека нет права на жизнь, у него нет права на ценности и он их не удержит.

В конце этого пути, после непрерывных предательств, лишившись средств защиты, уверенности в себе, чести, вы совершаете последний акт измены и расписываетесь в умственном банкротстве: фанатики силы из народных республик провозглашают себя борцами за разум и науку, и вы соглашаетесь с этим и спешите уведомить, что основой всего считаете веру, что разум на стороне ваших губителей, а на вашей стороне – вера. Убивая остатки разума и честности в искаженном, перевернутом сознании своих несчастных детей, вы заявляете, что у вас нет логических доводов в пользу тех идей, на которых была основана эта страна, что нет разумного оправдания для свободы, собственности, справедливости, права, что все это зиждется на мистическом прозрении и может быть принято только в акте веры, что с точки зрения логики и здравого смысла противник прав, но все равно вера выше разума. Вы учите своих детей, что вполне разумно воровать, мучить, поработать, экспроприировать, убивать, но надо сопротивляться искушению логикой и придерживаться представления об иррациональности мира. Вы внушаете им, что небоскребы, фабрики, радио, самолеты – продукт веры и мистического прозрения, в то время как эпидемии, голод, концентрационные лагеря и массовые расстрелы – продукт жизни, построенной на разуме, что промышленная революция возникла как мятеж верующих против века логики и разума, известного как средние века.

Одновременно, не переведя дух, вы внушаете тому же ребенку, что бандиты, которые стоят у власти в народных республиках, превзойдут нашу страну по уровню производства, поскольку они руководствуются наукой; но нам не следует, говорите вы, увлекаться материальными благами, а следует отказаться от материального благополучия. Вы заявляете, что идеалы бандитов благородны, – но на деле они им не следуют, а вы следуете; что когда вы боретесь с бандитами, то делаете это только для того, чтобы осуществить их цели, поскольку они их

осуществить не могут, а вы можете; и что бороться с ними надо так, чтобы опередить их и самим раздать свое имущество. И после всего этого вы еще удивляетесь, почему ваши дети выступают в поддержку народных республик, находят свой идеал в тех мерзавцах, которые их возглавляют, или же просто вступают в преступный мир. Вы удивляетесь, почему бандиты все время расширяют сферу своих завоеваний, так что они стоят уже у вашего порога. Вы вините в этом человеческую глупость, полагая, что массам отказано в разуме.

Вы притворяетесь, что не замечаете открытого, массированного наступления бандитов на человеческий дух, но ведь факт, что в фокусе самых злобных их атак мышление, которое они объявляют преступным деянием, за которое следует строго карать. Вы не хотите видеть, что большинство мистиков силы начинали как мистики духа, что они проявляют себя то в одном, то в другом качестве, что люди, которых вы именуєте материалистами и идеалистами, всего лишь две половины, результат расчленения единого человека, который постоянно ищет цельности, но ищет ее в метаниях между уничтожением плоти и уничтожением духа – то в одном, то в другом направлении. Эти люди бросают ваши колледжи и отправляются бродяжничать по миру от рабских барачков Европы до мистических трясин Индии, лишь бы укрыться от реального мира и голоса разума.

Вы отчаянно и лицемерно цепляетесь за веру, чтобы не видеть того факта, что бандиты крепко держат вас в узде, и этой уздой служит ваш моральный кодекс. Для вас бандиты – носители морали, в которую вы сами уверовали лишь наполовину, а наполовину уклоняетесь от нее. Свою мораль они проводят в жизнь так, как ее только и можно проводить: превращая мир в жертвенный костер. Ваш моральный кодекс запрещает вам бороться с ними так, как только и можно с ними бороться, – решительно и бесповоротно отказавшись играть роль тельца, обреченного на заклятие, жертвенного животного, громко и гордо заявив о своем праве на жизнь, ибо чтобы окончательно и бесповоротно сломить их с полным сознанием своего права на бой и победу, вам надо отбросить вашу мораль.

Вы надеваете шоры, потому что ваше достоинство обмануто идеей бескорыстия, которого у вас никогда не было и которое на деле вы никогда не практиковали. Но вы так Долго притворялись бескорыстными, что одна мысль расстаться с бескорыстием приводит вас в ужас. Нет ценности выше, чем чувство собственного достоинства, но вы вложили его в фальшивые акции, и ваша мораль завела вас в за падню, так что теперь вы вынуждены, чтобы сохранить уважение к себе, отстаивать доктрину самоуничтожения. С вами сыграли злую шутку: потребность в уважении к себе, которую вы не в состоянии ни объяснить, ни определить, принадлежит моей морали, а вашей она чужда; она примета моего морального кодекса, мой аргумент в терзаниях вашего духа.

Какое-то внутреннее ощущение, которое человек не может себе объяснить, но которое появилось и укрепилось в его сознании, как только он усвоил факт своего существования, как только он понял, что ему приходится выбирать, однозначно подсказывает ему, что чувство достоинства, самоуважение необходимо ему как воздух, что это для него вопрос жизни или смерти. Будучи существом, обладающим сознанием и волей, он понимает, что должен знать себе цену, чтобы жизнь сохранила для него смысл. Он понимает, что должен быть прав. Быть неправым опасно для жизни; быть неправым человеком, то есть злом, означает быть нежизнеспособным.

В основе всякого поступка лежит воля человека; простой акт добывания и поедания пищи предполагает, что тот, кто ее потребляет для продления своей жизни, заслуживает этого продления. Поиск наслаждения предполагает, что тот, кто его ищет, заслуживает его. Самоуважение безусловно необходимо, здесь у человека нет выбора, он может выбирать только критерий, по которому оценивает его. И вы совершаете роковую ошибку, когда переключаете

это спасительное средство на цели саморазрушения, избирая ту шкалу оценок, которая противопоказана жизни и настраивает достоинство человека против реальностей мира.

Беспричинная неуверенность в себе, ощущение неполноценности, скрываемая от других неадекватность по сути есть проявление в человеке тайного страха оказаться неспособным жить. Но чем больше страх, тем яростнее человек цепляется за убийственные, удушающие его принципы и доктрины. Человеку не дано пережить момент, когда он признает, что он есть зло, которому нет спасения. Признай он это, и за этим тотчас последует самоубийство или безумие. Чтобы избежать этого, всякий, кто взял иррационализм за принцип, начинает обманывать, уклоняться, закрывать глаза на факты; обман закроет ему путь к счастью, жизни, реальности, разуму. В конце концов он потеряет уважение к себе, хотя и будет долго цепляться за иллюзию человеческого достоинства, страшась признаться, что утратил его. Тот, кто страшится идти навстречу проблеме, верит в худшее.

Вашу душу постоянно терзает чувство вины, но не потому, что вы совершили какое-то преступление, не из-за неудач, ошибок и недостатков, а из-за вашей страусиной привычки не замечать фактов и тем самым пытаться уйти от них. Это не какой-нибудь первородный грех или врожденный дефект, а ваш кардинальный недостаток – отказ думать, нежелание размышлять. Чувства страха и вины постоянно гнездятся в вас, они реально живут в вашем сознании, и вы это заслужили, но источник их отнюдь не в тех искусственных причинах, которые вы изобретаете, чтобы объяснить их себе; они проистекают вовсе не из вашего эгоизма, слабости или невежества, а из подлинной и серьезной угрозы вашему существованию: страх – потому что вы выбросили инструмент вашего выживания, вина – потому что вы сознаете, что сделали это по собственной воле.

То личностное, что вы предали, – это ваш разум; самоуважение – это уверенность в своей способности мыслить. Эго, которое вы ищете, сущность вашего Я, которую вы не можете выразить и определить. – отнюдь не ваши эмоции или смутные мечты, это ваш интеллект, судья верховного трибунала, которому вы дали отставку, чтобы безвольно дрейфовать по милости случайных импульсов, которые вы именуете своими чувствами. Так и продираетесь вы сквозь рукотворную ночь в отчаянных поисках безымянного огня, влекомые полузабытым воспоминанием о рассвете, который вы где-то когда-то видели и потеряли.

Обратите внимание на то, с каким постоянством в мифологиях мира повторяется тема рая, которым люди когда-то располагали, тема острова Атлантида, садов Эдема, идеального государства. Корни этой легенды уходят не в прошлое человечества, а в прошлое отдельного человека. Вам до сих пор знакомо ощущение – не столь отчетливое, как воспоминание, а размытое, как боль безнадежного желанья, – что когда-то, в первые годы детства, ваша жизнь была светлой, безоблачной. Это состояние предшествовало тому, как вы научились подчиняться, прониклись ужасом неразумия, сомнением в ценности своего разума. Тогда вы располагали ясным, независимым, рациональным сознанием, распахнутым во вселенную. Вот рай, который вы утратили и который стремитесь вернуть. Он перед вами и ждет вас.

Некоторые из вас никогда не узнают, кто такой Джон Галт. Но те, кто хотя бы на миг испытал любовь к жизни и гордость за свое жизнелюбие, кто когда-нибудь смотрел на эту землю и благословлял ее своим взглядом, кто когда-либо ощущал себя человеком, еще не потеряны безвозвратно.

Я всего лишь тот, кто знает, что таким чувствам изменять нельзя. Я тот, кто знает источник этих чувств и их значение, тот, кто эти некогда испытанные вами чувства положил в основу всей своей жизни.

Выбор должны сделать вы сами. Этот выбор означает верность заложенной в вас силе, и вы сделаете его, если признаете, что самым благородным вашим поступком был тот акт мышления,

в результате которого вы поняли, что два плюс два – четыре.

Кем бы вы ни были, – а сейчас вы остались наедине с моими словами, и вам не поможет понять меня ничто, кроме вашей честности, – дверь для вас еще открыта и вы можете стать человеком, но для этого вам придется начать с нуля, предстать нагим перед реальностью и, исправляя дорого обошедшуюся историческую ошибку, заявить: «Я существую, следовательно, я мыслю».

Утвердитесь в непреложном факте, что ваша жизнь зависит от вашего разума. Признайте как факт, что вся ваша борьба, сомнения, обман, уловки служили лишь отчаянными попытками избежать ответственности сознания, наделенного волей, заменить его априорным знанием, рефлекторными реакциями, интуитивной очевидностью, и хотя вы называли это стремлением к ангельскому состоянию, на деле вы стремились к состоянию животного. Поставьте перед собой как нравственный идеал задачу стать человеком.

Не говорите, что боитесь довериться своему разуму, что знаете так мало. Разве будет лучше, если вы доверитесь мистикам и отречетесь от того малого, что знаете? Живите и действуйте в пределах своего знания и постоянно, всю жизнь расширяйте его пределы. Вызволите свой разум из оков ложных авторитетов. Примите как факт, что вы не всеведущи, – но ведь и роль зомби не даст вам всезнания, – что ваш разум подвержен ошибкам, – но ведь слабоумие еще в меньшей степени избавляет от ошибок, – что самостоятельно сделанная ошибка не столь пагубна, как десяток принятых на веру истин, потому что в первом случае вы еще можете исправить ошибку, а во втором гибнет ваша способность отличить истину от лжи. Вместо мечтаний о всеведении, получаемом от рождения, примите как факт, что все свои знания человек получает трудом и усилием воли и в этом его отличие от всего, что есть во вселенной, это и есть его природа, его мораль и его слава.

Не давайте злу свободы действий, а для этого не твердите, что человек несовершенен. На основании какого эталона вы проклинаете человека, когда утверждаете это? Примите за правило, что в области этики нас может устроить только совершенство. Но не следует измерять совершенство заповедями мистиков, требующими невозможного. Ваш нравственный уровень не должен оцениваться по делам, в которых вы лишены возможности выбора. Человек стоит перед главным выбором – мыслить или нет, это мерило его добродетели. Нравственное совершенство – это нерушимость разума, не уровень вашего интеллекта, а задействованность вашего ума на полную мощь, не диапазон ваших знаний, а отношение к разуму как к абсолютной ценности.

Научитесь различать ошибки в знаниях и нарушение этических норм. Ошибки в знаниях не являются этическим изъясном, если вы готовы их исправить. Только мистик склонен судить о людях с позиций невозможного – врожденного всезнания. Но этический проступок – это сознательный выбор действия, заранее известного вам как скверное, или намеренное отклонение от знания, намеренное ограничение восприятия и мысли.

То, чего вы не знаете, не может быть поставлено вам в вину, но то, что вы отказываетесь знать, пополнит список позорных поступков в вашей душе. Будьте снисходительны к пробелам в знаниях, но не прощайте и не признавайте этических пробелов. Решайте свои сомнения в пользу тех, кто ищет знания, но обращайтесь как с потенциальными убийцами с теми, кто нагло и безнравственно предъявляет вам требования, заявляя, что не руководствуется логикой и разумом, а опирается только на свое чувство, считая это достаточным основанием для своих извращенных притязаний. Точно так же относитесь и к тем, кто на неопровержимый довод говорит вам: «Но это только логика», что у них означает: «Но это только реальность». Реальности противостоит только одно царство – царство смерти.

Исходите из того, что стремление к счастью – единственная нравственная цель вашей

жизни и что в счастье, а не в страдании, не в бездумном потакании себе, а именно в счастье – доказательство вашей нравственной ценности, как как в нем – доказательство и результат ваших непрерывных усилий осуществить свои идеалы. Счастье – это ответственность, которой вы страшились, оно требует умственной дисциплины, которую вы, не умея ценить себя, не практиковали. Убого-тревожная рутина вашей повседневности – вот расплата за то, что вы избегали осознать ту истину, что нет в душе замены счастью, что нет труса презреннее того, кто бежал с поля битвы за свою радость, побоялся утвердить свое право на жизнь, не нашел в себе силы духа и жизненной силы, хотя бы той, что есть у цветка и птицы, стремящихся ввысь, к солнцу.

Сбросьте лохмотья этого порока, который вы, впрочем, называете добродетелью, – они не греют вас. Я говорю о смирении. Научитесь ценить себя, а это значит: боритесь за свое счастье, и когда вы узнаете, что гордость есть сумма всех добродетелей, вы научитесь жить как люди.

В качестве важного шага к самоуважению научитесь относиться ко всякому требованию о помощи как к сигналу, указывающему на людоеда. Требование помощи означает, что ваша жизнь – собственность требующего. Как ни отвратительно это требование, есть нечто еще более отвратительное – ваша готовность помочь. Спрашиваете ли вы: хорошо ли помогать ближнему? Нет, если он требует помощи, словно имеет на нее полное право или помочь ему – ваш моральный долг. Да, если таково ваше собственное устремление, основанное на том, что вы испытываете эгоистическое удовлетворение, осознавая ценность просящего и его борьбы.

Страдание не самоценно – самоценна борьба человека против страдания. Если вы решаете помочь страдающему человеку, делайте это только на основе его достоинств, его усилий самостоятельно справиться со своей бедой, его разумности или на основе того, что он пострадал несправедливо. Тогда ваша помощь останется сделкой – обменом вашей помощи на его добродетельность. Но помогать человеку без достоинств, помогать, только потому, что он страдает, помогать просто потому, что в качестве аргументов он выдвигает свои недостатки, свои потребности, – это все равно что отдавать свои ценности за ничто. Человек без достоинств ненавидит жизнь и исходит из предпосылок смерти, помогать ему означает одобрить его зло и, более того, помогать ему сеять зло и нести разрушение. Пусть вы подадите ему грош, которого вы и не заметите, пусть это будет лишь ободряющая улыбка, которой он не заслужил, – всякое потакание нулю есть предательство жизни и всех тех, кто отстаивает ее. Именно из-за таких грошей и таких улыбок в мире воцаряется запустение.

Не говорите, что вам трудно следовать моей морали и что она пугает вас, как пугает неизвестное. Все пережитые вами мгновения подлинной жизни вы прожили по нормам моей морали. Но вы душили ее, отрицали и предавали. Вы постоянно приносили свои добродетели в жертву своим порокам, а лучших людей – в жертву худшим. Оглянитесь вокруг. То, что вы сделали с обществом, вы сначала сотворили со своей душой, одно есть отражение другого. Жалкие руины, в которые вы превратили ваш мир, – это материальное воплощение вашего предательства истинных ценностей, подлинных друзей, ваших защитников, вашего будущего, вашей страны и самих себя.

Теперь вы зовете нас, но мы больше не откликнемся на ваш призыв. Мы жили среди вас, но вы не смогли нас узнать, вы отказались думать и видеть, как мы. Вы не захотели признать изобретенный мною двигатель, и в вашем мире он превратился в металлолом. Вы не смогли распознать героя в собственной душе, и вы не узнали меня, проходя мимо на улице. В отчаянии призывая тот неуловимый дух, который, как вы чувствовали, оставил ваш мир, вы дали ему мое имя, но в действительности вы призывали свое самоуважение, которое вы предали. Одного не вернуть без другого.

Когда вы не смогли воздать должное человеческому разуму и попытались управлять

людьми силой, подчинились те, кому нечего было вам отдать, а те, кто обладает разумом, не отдал его. И вот человек с гениальной творческой натурой принимает в вашем обществе облик повесы и предпочитает уничтожить свое состояние, чтобы оно не попало в руки паразитов и грабителей. И вот мыслитель, человек великого ума, принял в вашем мире обличив пирата, чтобы противопоставить силу вашей силе, дабы защитить свое достоинство и не подчиниться диктату невежества. Слышите ли вы меня, Франциска Д'Анкония и Рагнар Данне-шильд, первые мои друзья, соратники, товарищи по изгнанию, от имени и в честь которых я выступаю?

Втроем мы начали то, что я сейчас завершаю. Втроем мы решили отомстить за нашу страну и снять с нее оковы. Эта величайшая страна создавалась на принципах моей этики, на нерушимом верховенстве права человека на жизнь, но вы побоялись признать это и следовать этому принципу. Вы тупо смотрите на невиданное в истории достижение человеческого гения, нагло присваиваете его доходы и закрываете глаза на его причину. Перед лицом памятников величии человеческого духа – фабрики, скоростной магистрали или моста – вы по-прежнему проклинаете свою страну за безнравственность, ее достижения относите на счет вещизма и алчности и рассыпаетесь в извинениях за величие своей родины перед дряхлой Европой, поклоняющейся прокаженному босяку-мистику.

Наша страна, продукт разума, не могла бы выжить на принципах жертвенной этики. Те, кто ее создал, не стремились к самоуничтожению и не рассчитывали на подачки. Она не могла бы выстоять на трещине, разделившей душу человека и его тело. Она не смогла бы долго существовать, руководствуясь мистической доктриной, которая заклеила нашу землю как порочную, а тех, кто на ней преуспел, как нечестивых. С самого основания наша страна представляла собой угрозу древнему диктату мистицизма. В ослепительные годы своей взрывной юности, как ракета взмыв над горизонтом истории, наша страна продемонстрировала изумленному миру, какого величия может достичь человек, какое счастье возможно на земле. Выбор был однозначен: Америка или мистицизм. Мистики знали об этом, вы же не знали. И вы позволили им заразить себя вирусом заботы о нуждающихся. В результате мы имеем страну с телом гиганта и жалкой душкой лицемера, которая вытеснила ее истинную большую душу, загнав ее в подполье, где она трудится, чтобы вскормить вас, – трудится потаенно, безвестно, молча, непризнанно, гонимо. Истинный герой этой страны, ее душа – это капиталист. Ты слышишь меня, Хэнк Реардэн, ты – величайшая из отомщенных мною жертв?

Ни он, ни остальные из нас – никто не вернется, пока не расчистится путь к строительству истинной Америки, пока не уберут с нашей дороги руины морали самопожертвования. Политическая система любой страны строится на принятом в ней моральном кодексе. Мы перестроим государственный и общественный строй Америки на тех нравственно-этических принципах, которые были заложены в ее основание, на тех принципах, которые вы загнали в подполье, заразив людей чувством вины. Вы лихорадочно избегали конфликта между вашей моралью и теми принципами, на которых создавалась наша страна: человек есть конечная цель, а не средство достижения целей других людей; жизнь человека, его свобода, счастье являются его неотъемлемым правом.

Вам говорю я, тем, кто утратил понятие о правах, кто бессильно мечется между взглядом на права как на Божий дар, сверхъестественное подношение, которое надо принять на веру, и убеждением, что права даются обществом и по капризу общества им же могут быть отняты, – вам говорю я: источник прав человека не в божественном или парламентском законе, но в законе тождества. А есть А, Человек – это Человек. Права человека – это условия жизни, которых требует природа человека и которые необходимы ему для достойного существования. Человек хочет жить на земле. Чтобы жить на земле, человек поступит правильно, если будет опираться на свой разум; он будет прав, опираясь на собственное суждение; для него правильно

действовать в интересах своих ценностей и распоряжаться продуктами своего труда. Если его цель – жизнь на земле, он имеет право жить как разумное существо; природа накладывает запрет на нерациональное. Не права всякая группа людей, банда, народ, которые пытаются отрицать права человека. Неправота есть зло, а зло есть антипод жизни.

Права – понятие этическое, а мораль – дело выбора. Люди вправе не считать выживание принципом своей морали и своих законов. Но не вправе отбросить тот факт, что альтернатива одна – общество людоедов, которое держится какое-то время, пожирая лучших, а потом гибнет, как подточенный раком организм, когда здоровые клетки сожраны больными. Такова была судьба многих обществ в истории, когда рациональное гибло под напором нерационального. Однако вы всегда избегали установления причин гибели обществ, государств и народов. Я пришел, чтобы указать вам: их покарал закон тождества, которого не избежать. Один человек не может выжить посредством иррационального, точно так же не могут выжить и два человека, и две тысячи, и два миллиарда. Отрицая реальность, не могут выжить ни человек, ни народ, ни страна, ни планета. А есть А. Остальное дело времени, работа которого определяется щедростью жертв.

Как человек не может существовать без тела, так и права не могут существовать без права воплощать их в жизнь – думать, трудиться, распоряжаться результатами труда, что означает право на собственность. Современные мистики силы, которые предложили вам ложный выбор: права человека или права собственности, – предприняли последнюю смехотворную попытку оживить старое противопоставление души и тела. Только призрак может обойтись без собственности, только раб трудится, не располагая правом на продукт своего труда. Доктрина превосходства прав человека над правом собственности означает попросту, что одни могут превращать в собственность других. Поскольку умелый ничего не получит от неумелого, это означает право неспособного распоряжаться способными и использовать их в качестве тяглого скота. Всякий, кто считает такое положение вещей нормальным для человека, не имеет права на звание человека.

Источник права собственности – закон причины и следствия. Всякая собственность и все формы богатства произведены трудом человека и его разумом. Так же как нет следствий без причин, нет и богатства без его источника – интеллекта. Интеллект нельзя заставить работать, те, кто способен мыслить, не мыслят по принуждению, а те, кто на это соглашается, создают не больше цены кнута, которым их погоняют. Нельзя присваивать продукт интеллектуального труда иначе, как на условиях его собственника, только по обмену и добровольному согласию. Иной подход – подход бандитов, сколько бы их ни было. Преступники живут сегодняшним днем и дохнут с голода в отсутствие жертв, так же как вы сейчас страдаете от голода, те, кто считал, что преступление может быть оправдано, если правительство узаконит бандитизм и осудит сопротивление бандитизму.

Единственное подлинное назначение правительства – защищать права человека, что означает оберегать его от физического насилия. Настоящее правительство – всего лишь полицейский и действует как инструмент самозащиты человека. Как таковой оно может прибегать к силе только против тех, кто первым применил силу. Единственными правительственными учреждениями должны остаться: полиция – для защиты от уголовников внутренних, армия – для защиты от уголовников внешних, суды – для охраны собственности и контрактов от посягательств, нарушений и обмана, разрешения споров на разумной основе согласно объективным законам.

Но правительство, первым применяющее силу против своих граждан, не прибегающих к насилию, силой оружия подавляющее безоружных людей, – это адская машина, разрушающая нравственность. Такое правительство извращает свое назначение и не имеет морального

оправдания, оно переключается с роли защитника на роль смертельного врага человека, с роли полицейского – на роль уголовника, облеченного правом прибегать к насилию против жертв, лишенных права на самооборону. Вместо нравственного закона это правительство устанавливает такое правило общественного поведения: можете делать все что угодно со своим соседом, если ваша группировка больше и сильнее.

Только тупица, недоумок или трус готовы жить на таких условиях, готовы отказаться от своих прав на собственную жизнь и разум, готовы согласиться, что другие могут распоряжаться ими по собственному усмотрению и капризу. Они с готовностью соглашаются, что воля большинства неоспорима, что физическая сила и численное превосходство выше правды, закона и реальности. Мы же люди разума и взаимовыгодного обмена, мы не господа и не рабы, мы не выдаем и не принимаем чеков на предъявителя. Мы не приемлем никакой формы нерациональности.

До тех пор, пока во времена дикости люди не имели понятия об объективной реальности, пока они верили, что физический мир подчинен воле и капризам непознаваемых духов и демонов, невозможны были ни мысль, ни наука, ни производство. Только когда люди открыли для себя, что мир устойчив, предсказуем, стало возможно полагаться на знания, планировать действия, предвидеть будущее, и люди начали мало-помалу покидать пещеры. Но сегодня вы снова отдали современную промышленность, со всей ее безграничной сложностью и точным научным расчетом, во власть непознаваемых демонов, на непредсказуемую волю, на капризный произвол неведомых, омерзительных, ничтожных чиновников.

Фермер не станет трудиться весной и летом, если он не в состоянии предвидеть, что получит осенью. А вы надеетесь, что промышленные гиганты, которые планируют производство на годы вперед, инвестируют с расчетом на будущие поколения и заключают контракты сроком на девяносто девять лет, смогут по-прежнему функционировать и давать продукцию, не зная, какое случайное распоряжение, возникшее в голове закапризничавшего чиновника, неизвестно в какой момент разом разрушит все их многолетние усилия. Бродяги и бездельники планируют не больше чем на день. Чем выше разум, тем выше его горизонт. Человек, чей горизонт приземлен, готов строить на зыбучих песках, готов урвать, что подвернется, и не думать о последствиях. Человек, чей горизонт поднят небоскребами, этого не сделает. Но он не согласится отдать десять лет неустанного труда созданию нового изделия, зная, что шайка окопавшихся бездарей по своей воле жонглирует законами, чтобы нанести ему ущерб, связать его по рукам и ногам, всячески прижать и обречь на провал. Но стоит ему выступить против них, стоит добиться успеха в своем деле, как они уже начеку и лишают его и славы, и состояния.

Взгляните чуть дальше собственного носа. Вы кричите о своих опасениях, о нежелании соревноваться с людьми более высокого интеллекта, вы заявляете, что в их разуме кроется угроза вашему существованию, что сильные не остав ляют шанса слабым на рынке свободного обмена ценностями. Что определяет материальную ценность вашего труда? Только созидательное усилие вашего ума – если бы вы жили на необитаемом острове. Чем хуже работает ваш мозг, тем меньше дает вам физический труд. Можно потратить всю жизнь, выполняя одну и ту же операцию, собирая жалкий урожай или охотясь с луком и стрелами, не видя дальше этого. Но живя в рационально организованном обществе, где возможен свободный обмен, вы получаете неоценимый выигрыш: материальная ценность вашего труда определяется не только вашими личными усилиями, но и усилиями лучших умов, живущих вместе с вами в вашем мире.

Когда вы работаете на современной фабрике, вам платят не только за ваш труд, но и за тот творческий гений, который создал эту фабрику: за труд промышленника, который построил ее, за труд инвестора, который, рискуя, вложил накопленный им капитал в новое, неизведанное

дело, за труд инженера, который спроектировал машины, которыми вы управляете, за труд изобретателя, который придумал продукт, который теперь выходит из ваших рук, за труд ученого, который открыл законы, позволившие создать этот продукт, за труд философа, который научил людей мыслить и которого вы неустанно обличаете.

Машина, застывшая форма действующего интеллекта, – это сила, которая увеличивает потенциал вашей жизни, делая ваше время более продуктивным и насыщенным. Если бы вы работали кузнецом в столь любимые мистиками средние века, вся ваша производительность ограничивалась бы железной полоской, выкованной вами после долгих трудов, – и заплатили бы вам только за эту полоску. А сколько рельсов вы произведете за рабочую смену на заводах Хэнка Реардэна? Хватит ли у вас духа утверждать, что ваш заработок создан лишь вашим физическим трудом и что эти рельсы – продукт труда ваших мышц? Уровень жизни того кузнеца – вот все, чего стоят ваши мышцы, остальное – дар Хэнка Реардэна.

Каждый человек свободен подняться в рост своих способностей и воли, но только высота, которой достигнет его мысль, определяет уровень его подъема. Физический труд как таковой ограничен рамками момента. Человек, занятый исключительно физическим трудом, потребляет столько, сколько вкладывает в процесс производства, и не оставляет иных ценностей ни для себя, ни для других. Но человек, генерирующий идеи в любой области, человек, который создает новое знание, – постоянный благодетель человечества. Нельзя поделить материальным продуктом, он принадлежит какому-то конечному потребителю, только идеей можно поделить с неограниченным числом людей, и все они станут от этого богаче, ничем не жертвуя, ничего не теряя, лишь увеличивая производительность труда, которым заняты. Могучий интеллект передает слабому стоимость своего времени, давая ему возможность работать на созданных его умом рабочих местах, а сам посвящает свое время новым открытиям. Это взаимовыгодный обмен. Интересы разума едины и не зависят от уровня интеллекта, так обстоит дело в среде людей, которые любят труд, не ищут и не ждут того, чего не заработали своим трудом.

По отношению к затратам умственной энергии человек, создавший нечто новое, получает в оплату созданной им ценности лишь малый процент, независимо от того, какое состояние он на нем составит, какие миллионы заработает. Но человек, который работает вахтером на фабрике, выпускающей это изобретение, получает непомерно много по отношению к тем умственным усилиям, которых требует от него его работа. И это справедливо по отношению ко всем людям, на всех уровнях притязаний и способностей. Человек, находящийся на вершине интеллектуальной пирамиды, вносит наибольший вклад дня всех тех, кто стоит ниже него, но не получает ничего, кроме материального вознаграждения, никакого интеллектуального вознаграждения, не увеличивает стоимость своего времени. Человек, находящийся внизу пирамиды, который, будь он предоставлен сам себе, голодал бы по причине своей некомпетентности, вообще не вносит никакого вклада в вершину пирамиды, но получает доплаты от всех умов выше собственного. Такова природа «конкуренции» между сильными и слабыми в интеллектуальном отношении. Такова модель «эксплуатации», за которую вы проклинаете сильных.

Вот что мы делали для вас с радостью и охотой. Что же мы просили в ответ? Ничего, кроме свободы. Нам от вас требовалась свобода действий – свобода мыслить и трудиться по своему усмотрению, свобода рисковать и нести ответственность, свобода получать прибыль и зарабатывать себе состояние, свобода рассчитывать на ваш рационализм, выставлять свои творения на ваш суд ради свободного сбыта, свобода рассчитывать на объективную ценность своих трудов и на вашу способность оценить их по достоинству, рассчитывать на ваш интеллект и честность, свобода иметь дело исключительно с вашим разумом. Вот цена, которую мы

просили и которую вы отвергли как слишком высокую. Вы решили: несправедливо, что мы владеем дворцами и яхтами, это мы-то, те, кто вытащил вас из трущоб, дал вам жилье со всеми удобствами, дал вам радио, кино, автомобили. Вы решили, что у вас есть право на зарплату, но у нас нет права на прибыль, что вам не нужно, чтобы мы имели дело с вашим разумом, что лучше будет предъявить нам пистолет. И на это мы ответили: будьте вы прокляты! Что и случилось: вы прокляты.

Вам не хотелось конкурировать с нами посредством интеллекта, теперь вы конкурируете с нами посредством насилия. Вас не устраивал рост благосостояния за счет успехов производства, вы предпочли погоню за благами посредством бандитизма. Обмен ценностей на ценности вы объявили дикостью и эгоизмом, и теперь вы организовали бескорыстное общество, где вымогательство обменивают на вымогательство. Ваша система – это узаконенная гражданская война, где люди бандами нападают друг на друга, борются за власть над законом и используют его как дубинку против других, пока другая банда не вырвет ее из рук, чтобы отделать их в свой черед, причем все с жаром заверяют, что стоят на страже какого-то не уточняемого ими блага неизвестно какого общества. Вы сказали, что не видите разницы между экономической и политической властью, между властью денег и властью силы, между вознаграждением и наказанием, приобретением и грабежом, удовольствием и страхом, не видите различия между жизнью и смертью. Теперь вы чувствуете разницу на собственной шкуре.

Некоторые из вас могли бы сослаться в оправдание на незнание, на узость мышления и ограниченность умственного горизонта. Но самые виновные из вас – те, кто был способен знать, однако предпочел закрыть глаза и уши на реальность, это люди, которые с готовностью приспособили свой интеллект, чтобы цинично обслуживать рабство, – презренная порода мистиков от науки, которые заявляют, что служат чистому знанию, чистота которого состоит, по их заявлению, в том, что у этого знания нет практической значимости в этом мире. Они ограничивают свою логику неживой материей и полагают, что изучение человека не требует и не заслуживает логического подхода. Они презирают деньги и продают душу в обмен на лабораторию, построенную на награбленные деньги. И поскольку нет непрактичных знаний и бескорыстных поступков, поскольку они гнушаются использовать науку для целей и блага жизни, они ставят науку на службу смерти, ради единственной практической цели, которая может интересовать бандитов, – ради изобретения орудий уничтожения и распада. Они, интеллектуалы, которые ищут избавления от нравственных ценностей, они прокляты на этой земле, и вина этих людей не знает искупления. Вы слышите меня, доктор Стадлер?

Но не для него моя речь. Она обращена к тем из вас, в чьей душе сохранились остатки доброго, незапятнанного, нераспроданного по чужому повелению. Если в том хаосе мотивов, которые заставили вас включить радиоприемники в этот час, присутствовало разумное желание разобраться, что же случилось с миром, вы тот человек, к которому я обращаюсь. По правилам и условиям моего кодекса поведения, надо непременно объясниться перед теми, кого это волнует и кто стремится понять и узнать. Однако мне нет дела до тех, кто сознательно уклоняется от понимания.

Я обращаюсь к тем, кто хочет жить, вернув себе честь и достоинство человека. Теперь, когда вы знаете правду, перестаньте поддерживать тех, кто вас губит. Зло в мире существует, поскольку ему позволяют существовать. Лишите его поддержки. Не пытайтесь жить по вражеским канонам, не старайтесь победить в игре, правила которой установлены врагами. Не ищите милости у тех, кто сделал вас рабами, не просите милостыни у бандитов, будь то займы, работа, кредиты, не вступайте в их ряды, чтобы вернуть то, что они отняли у вас, так как для этого вам придется грабить ближнего своего. Нельзя построить жизнь на взятках, призванных разрушить ее. Не стремитесь к выгоде, успеху или благополучию ценой уступки своего права на

жизнь. Уступив другим это право, вы только потеряете и ничего не выиграете; чем больше вы им платите, тем больше они от вас требуют; чем к большему вы стремитесь и чем большего достигаете, тем беспомощнее и уязвимее становитесь. Их метод – это система шантажа навыворот, основанного не на ваших грехах, а на вашей любви к жизни.

Не пытайтесь сделать карьеру на условиях бандитов, не поднимайтесь вверх, пока они держат страховочный канат. Не позволяйте им касаться единственной силы, которая питает их, – вашей страсти к жизни. Бастуйте, как бастую я. Живите своим умом, развивайте свои таланты, увеличивайте объем своих знаний – и делайте это для себя, не делитесь своими достижениями с другими. Не пытайтесь нажать состояние, таща на своем горбу бандита. Оставайтесь на нижней ступени лестницы, зарабатывайте только необходимый минимум, не делайте ни единого лишнего усилия, чтобы поддержать государство бандитов. Поскольку вы пленник, то и ведите себя как пленник, не делайте вид, что вы свободны. Станьте молчаливым неподкупным врагом, которого они страшатся. Когда они вынуждают вас, подчинитесь, но только не по своей воле. Не делайте ни единого шага навстречу им добровольно. Ничего для них – ни желания, ни просьбы, ни цели. Не облегчайте задачу бандита, когда он заявляет, что грабит вас как ваш друг и благодетель. Не помогайте своим тюремщикам убеждать вас, что тюрьма для вас дом родной. Не помогайте им искажать реальность. Этот их обман – единственная плотина, которая не дает прорваться потоку тайного страха, сидящего в глубине их душ, страха перед сознанием, что они нежизнеспособны. Разружьте эту плотину, и пусть их поглотит пучина. У них нет другого спасательного круга, кроме вашего потворства.

Если у вас появится возможность укрыться от них в пустыне, используйте ее немедленно, но не для того, чтобы начать жизнь бандита, не для того, чтобы сколотить банду, которая соперничала бы с ними в грабеже, а чтобы вести плодотворную собственную жизнь вместе с теми, кто разделяет вашу систему ценностей и готов бороться за достойную человека жизнь. Невозможно победить, повинувшись нравственности смерти, под знаменами веры и насилия. Высоко поднимите знамя, под которое соберутся честные люди, – знамя разума и жизни.

Действуйте как человек разумный, объединяйте вокруг себя всех тех, кто стосковался по голосу чести и достоинства. Руководствуйтесь голосом разума, будь вы один в стане врагов, вместе с группой избранных друзей или основателем пусть небольшой общины – очага возрождения человечества.

Когда государство бандитов падет, лишившись лучших своих подданных-рабов, когда оно превратится в бессильный хаос, подобно зараженным мистицизмом странам Востока, когда оно развалится на соперничающие группировки бандитов, грабящих друг друга, когда погибнут глашатаи жертвенной морали, потому что наконец осуществят свои идеалы, тогда, в тот же день мы вернемся.

Мы откроем ворота нашего города тем, кто достоин войти в город заводов, трубопроводов, садов, рынков и неоскверненных домов. Мы будем центром, вокруг которого сплотятся те тайные сообщества, которые вы создадите. Подняв знак доллара как свой символ, символ свободной торговли и свободных умов, мы начнем свое движение, чтобы вырвать свою отчизну из рук немощных дикарей, которым так и остались неведомы ее природа, смысл и велико лепие. Те, кто решит присоединиться к нам, пойдут с нами; те же, кто останется в стороне, не смогут нам помешать: дикие орды никогда не служили препятствием для людей, идущих под знаменем разума.

Тогда наша страна вновь станет ареалом обитания исчезающего вида – человека разумного. Политическую систему, которую мы построим, можно описать одной формулой: никто не должен отнимать ценности у другого посредством физической силы. Всякий будет побеждать или проигрывать, жить или умирать по своему разумению. Если разумения не хватит,

пострадает только он один. Если он боится, что у него не хватает ума, он не может рассчитывать, что может восполнить этот недостаток с помощью пистолета. Если он захочет вовремя исправить какую-то свою ошибку, ему окажут всемерную помощь своим опытом люди умнее его, они помогут ему лучше мыслить. Но будет положен конец позорной практике, когда кто-то расплачивается своей жизнью за ошибки других.

В этом мире вы будете вставать утром с настроением, какое вы знали в детстве: бодрым, уверенным и энергичным, потому что вокруг вас будет разумно устроенный мир. Ребенок не боится мира; вы перестанете бояться людей; этот страх калечил вашу душу, он появился в вас после ранних встреч с непонятным, непредсказуемым, противоречивым, произвольным, скрытым, притворным, одним словом, нерациональным в людях.

Вас будут окружать люди с высоким чувством ответственности, последовательные и надежные, как природа. Другими они быть не могут, ведь они живут в среде, где высший и единственный критерий – объективная реальность. Ваши достоинства будут под защитой – но не ваши пороки и слабости. Доброму в вас будут открыты все двери – скверному не достанется ничего. От людей вы получите не милостыню, не жалость, не сострадание, не отпущение грехов, а просто справедливость. И глядя на людей и на себя, вы будете ощущать не отвращение, подозрение или чувство вины, а всегда одно – уважение.

Вот будущее, которое вы можете завоевать. Для этого надо бороться, борьбы требует любая человеческая ценность. Вся жизнь – целенаправленная борьба, и дело только в выборе цели. Чего хотите вы – продолжать свою нынешнюю битву или сразиться за мой мир? Хотите ли вы продолжать борьбу, сползая в пропасть, несмотря на то что отчаянно хватаетесь за каждый выступ на крутом склоне, борьбу, в которой потери невозможны, а победы приближают гибель? Или вы хотите испытать себя в такой борьбе, в которой упорно и последовательно, от выступа к выступу, будете подниматься вверх по крутизне горы к самой ее вершине, в борьбе, в которой лишения – вклад в будущее, а победы неуклонно подводят вас в вашему нравственному идеалу? И даже если умрете, не успев увидеть солнце в полном блеске, вы умрете, приблизившись в нему, обласканные его лучами. Выбор за вами. Пусть вынесут свое решение ваш разум и любовь к жизни.

Мои последние слова обращены к тем героям, которых, возможно, еще скрывает мир, к тем, кто брошен в заточение, и не по причине их сознательной духовной слепоты, а напротив – за отчаянную храбрость и добрые свойства натуры. Братья мои по духу, взгляните в свои достоинства и в природу наших врагов, которым вы служите. Ваши губители схватили вас и держат, потому что вы терпеливы и выносливы, щедры и благородны, способны верить и любить. Они нагружают вас своей ношей, зная вашу выносливость и терпение; они требуют вашей помощи, крича от отчаяния и твердо зная, что вы щедры и благородны. Вы не представляете себе их злонамеренности, ищете разумное объяснение их действиям, сомневаетесь и отказываетесь осудить их, не поняв сначала. Но вам не понять их мотивов. Вы любите жизнь и верите в нее, поэтому и в них видите людей, которые тоже любят жизнь и верят в нее. Но мир ныне таков, каким хотели видеть его они, а жизнь стала предметом их ненависти. Оставьте их смерти, которой они поклоняются. Во имя вашей великой преданности нашей земле оставьте их, не тратьте на них величие своей души, чтобы их злобные замыслы не увенчались успехом. Слышишь ли ты меня... любовь моя?

Во имя всего лучшего в вас, не оставляйте этот мир худшим. Во имя тех ценностей, которые поддерживают огонь вашей души, не позволяйте, чтобы ваше видение истинного человека искажалось примерами уродливого, дурного, презренного в тех, кто никогда не заслужит высокого звания человека. Не теряйте из виду истинный образ человека, высоко несущего голову, человека неспасаемого, непреклонного разумом, неустрашимо шагающего в новые дали.

Не дайте погаснуть своему костру, берегите каждую искорку своего огня, одиноко горящую в безысходных трясинах приблизительного, несостоявшегося, непроявленного. Не дайте погибнуть герою в вашем сердце, страдающем от мысли, что вы не живете той жизнью, которую заслужили, но не могли получить. Проверьте, тем ли путем вы идете, ту ли ведете борьбу. Мир, к которому вы стремитесь, достигим, он существует, он реален, он возможен, он ваш.

Но чтобы завоевать его, надо посвятить ему всего себя, надо полностью порвать с вашим прошлым миром, покончить с представлением о человеке как о жертвенном животном, существующем ради удовольствия других. Сражайтесь за ценность своей личности. Сражайтесь за то, что является сущностью человека, – за верховенство его разума. Со светлой надеждой и полной уверенностью сражайтесь, зная безусловную свою правоту и веря в нее, ибо ваш нравственный принцип есть принцип жизни, ибо вы ведете бой за все новое, ценное, великое, доброе – за все светлое и радостное на земле.

Вы победите, когда будете готовы произнести клятву, которую я дал самому себе в начале своей борьбы. Для тех, кто хочет знать день моего возвращения, я повторяю ее во всеуслышание: клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня.

Глава 8 . Эгоист

– Мне это показалось, а? – выпалил мистер Томпсон.

Они стояли перед радиоприемником. Только что прозвучало последнее слово Галта, после чего последовало долгое молчание, в течение которого никто не шевельнулся. Все смотрели на приемник, будто выжидая. Но видели перед собой только деревянный ящик с кнопками и кружком материи, обтягивающей умолкший репродуктор.

Показалось... Только мы, кажется, тоже слышали, – сказал Тинки Хэллоуэй.

Тут ничего не поделаешь, – откликнулся Чик Морри– сон.

Мистер Томпсон сидел на тумбочке. Ниже, на уровне его локтя, бледным продолговатым пятном виднелось лицо Висли Мауча, примостившегося на полу. За ними, как островок в полутьме обширной студии, лежала площадка, обставленная для их выступления в эфире; сейчас она опустела, хотя освещение еще не выключили; никто не позаботился убрать ненужный свет, заливавший расположенные полукругом кресла.

Мистер Томпсон перескакивал взглядом с одного лица на другое, словно в поисках каких-то одному ему ведомых признаков. Остальные делали то же, но скрытно; каждый старался уловить реакцию другого, не раскрывая раньше времени своей.

– Выпустите меня отсюда – закричал какой-то молодой ассистент, закричал внезапно, ни к кому не обращаясь.

– Сиди на месте, – откликнулся мистер Томпсон. Казалось, звук собственного голоса вместе с видом тотчас же безмолвно замершей фигуры ассистента, издавшего, впрочем, похожий на икоту стон, чрезвычайно ободрили мистера Томпсона и помогли ему вернуть привычный образ действительности. Его голова высунулась из плеч на дюйм выше.

Рабочие на речь не клюнут, – сказал Тинки Хэллоуэй уже с большей надеждой. – Им он вроде ничего не обещал.

И женщины не поддадутся, – заявила Матушка Чал– мере. – Полагаю, уже установлено, что женщин не прове дешь на мякине насчет разума. Женщины способны тоньше чувствовать. На женщин можно рассчитывать.

На ученых тоже можно рассчитывать, – сказал доктор Притчет. Все сгрудились вместе, всем захотелось высказаться, они будто нашли предмет, о котором могли судить уверенно. – У ученых хватает ума не верить в разум. Он не друг ученых.

Ничей он не друг, – сказал Висли Мауч, к которому вернулась какая-то видимость уверенности, – кроме разве что крупных бизнесменов.

Да нет же! – в ужасе закричал мистер Моуэн. – Нет же! Не надо сваливать на нас! Я запрещаю говорить такое!

– Какое?

Что у бизнесменов есть какие-то друзья!

Не будем ссориться из-за этой речи, – сказал доктор Феррис. – Она слишком заумна. Не по зубам простому человеку. Эффекта не будет, Народ ничего не поймет.

Конечно, – с надеждой произнес Мауч, – именно так.

Во-первых, – воодушевился доктор Феррис, – люди не умеют думать. Во-вторых, не хотят.

А в-третьих, – подключился Фред Киннен, – им не нравится голодать. С этим что предлагаете делать?

Было очевидно, что он задал вопрос, который все высказывавшиеся раньше замалчивали. Никто не ответил, всем как-то сразу захотелось втянуть голову в плечи, они сгрудились плотнее, будто на них давила пустота студии. В общем молчании с неисправимым оптимизмом

ухмыляющегося черепа гремел военный марш.

– Выключите к черту! – прокричал мистер Томпсон, махнув рукой в сторону радиоприемника. – Заткните ему глотку!

Его распоряжение выполнили. Но от полной тишины им стало еще хуже.

Ну? – спросил мистер Томпсон, недовольно подни мая глаза на Фреда Киннена. – Так что же мы, по-вашему, должны делать?

А почему вы спрашиваете меня? – отмахнулся от во проса Киннен. – Не я здесь главный.

Мистер Томпсон ударил кулаком по колену.

Да скажите же хоть что-нибудь, – распорядился он, но, видя, что Киннен отвернулся, добавил: – Ну, кто ска жет? – Желающих не оказалось. – Что будем делать? – разъярился он, понимая, что тот, кто даст ответ, станет, следовательно, хозяином положения. – Что нам делать? Кто-нибудь может сказать?

Я могу!

В этом женском голосе звучала та же сила, что и в голосе, который они слышали по радио. Они разом повернулись к Дэгни – раньше, чем она успела пройти в центр группы из окружающей темноты.

– Я могу, – повторила она, обращаясь к мистеру Томпсону. – Вам надо оставить нас.

Оставить? – повторил он не поняв.

С вами покончено. Неужели вам непонятно, что ваше время истекло? Что еще вам нужно после того, что вы услышали? Убирайтесь с дороги. Дайте людям жить сво бодно. – Он смотрел на нее, не возражая и не двигаясь. – Вы пока еще живы, вы понимаете человеческий язык, вы просите ответить вам, вы рассчитываете на разум... вы все еще, черт возьми, полагаетесь на разум! Вы в состоянии понять. Не могли не понять. Теперь вы не можете притво ряться, что у вас еще есть надежда. Вы не можете ни желать, ни получать, ни достигать, ни захватывать. Впереди только гибель – ваша собственная и мира. Оставьте все и уходите.

Они внимательно слушали, но будто не слышали ее слов, цепляясь за единственное качество, которым она одна среди всех них обладала, – способность жить. В гневном напоре ее голоса звучал торжествующий смех, она высоко подняла голову, глаза, казалось, устремились к какому-то далекому видению, и от этого сияние на ее лице выглядело не отражением света в студии, а отблеском восходящего солнца.

Вам хочется жить, правда? Уйдите с дороги, если хо тите иметь шанс. Пусть придут другие, которым открыта истина. Он знает, что делать. Вы не знаете. Он способен справиться со сложностями. Вы не способны.

Не слушайте ее!

В этом крике прозвучала такая дикая ненависть, что все отпрянули от доктора Стадлера, видимо, из его груди вырвалось то, в чем другие не признавались, что подавляли в себе. На его лице было написано то, что они боялись увидеть на своих лицах, скрытых в полумраке студии.

Не слушайте ее! – кричал он, избегая смотреть на Дэ– гни. Она же бросила на него короткий пристальный взгляд, в котором вначале читалось печальное изумление, а по том – некролог. – Или вы – или он! Вместе вам не жить!

Спокойней, профессор, – сказал, отмахнувшись от него, мистер Томпсон. Он наблюдал за Дэгни, в его голове зарождалась какая-то мысль.

Вам всем известна истина, – сказала она, – мне она тоже известна, как и любому, кто слышал Джона Галта. Чего же еще вы ждете? Доказательств? Он их вам привел. Фактов? Они повсюду. Какие груды трупов вы еще нагромоздите, прежде чем отречетесь – от оружия, власти, рычагов управления, от своих жалких альтруист – ских доктрин? Отступитесь от всего, если

хотите жить. Сдайтесь, если в вашем разуме осталось какое-то пони мание того, что надо дать человеку шанс сохранить жизнь на земле!

Это измена! – взревел Юджин Лоусон. – Провока ция! Она призывает к измене!

Тише, тише! – сказал мистер Томпсон. – Не надо крайностей и эксцессов.

Что-что? – потерянно вопрошал Тинки Хэллоуэй.

Однако же, разве это не переходит всякие границы? – спросил Чик Моррисон.

Уж не согласны ли вы с ней? – поинтересовался Вис ли Мауч.

– При чем тут согласие? – спросил мистер Томпсон удивительно миролюбивым тоном. – Не будем спешить.

Никогда не надо спешить. Ведь не случится ничего плохого, если мы выслушаем все аргументы?

– Аргумент аргументу рознь, – сказал Висли Мауч, тыча пальцем в сторону Дэгни.

Любые аргументы, – увещевал его мистер Томпсон. – Не будем проявлять нетерпимость.

Но ведь речь идет об измене, гибели, предательстве, эгоизме и пропаганде интересов крупного бизнеса.

Ну, не знаю, – сказал мистер Томпсон. – Давайте смотреть на все без предубеждения. Надо принять во вни мание все точки зрения. В ее словах, возможно, что-то есть. Он знает, что делать. Надо проявить гибкость.

Вы хотите сказать, что готовы уйти в отставку? – поразился Мауч.

Не спешите с выводами, – сердито оборвал его мис тер Томпсон. – Вот уж чего я не терплю, так это поспеш ных выводов. А еще не переносу ученую братию, что сидит в башне из слоновой кости: облюбуют какую-нибудь тео рийку, и плевать им на реальное положение вещей. Такие времена, как нынешнее, требуют прежде всего гибкости ума.

На лицах окружающих он видел изумление, отразилось оно и на лице Дэгни, но по другой причине. Он улыбнулся, поднялся с места и повернулся к Дэгни.

Спасибо, мисс Таггарт, – сказал он. – Спасибо, что высказали свое мнение. Вот что мне хочется, чтобы вы зна ли: вы можете мне доверять и высказываться с полной откровенностью. Мы вам не враги, мисс Таггарт. Не обра щайте внимания на ребят, они расстроены, но скоро спус тятся на землю. Мы не враги ни вам, ни стране. Конечно, мы наделали ошибок, мы всего лишь люди, но мы стараемся сделать как лучше для народа, то есть для каждого челове ка, а времена сейчас очень непростые. Тут не примешь сию минутное решение, нужны решения на века, верно? Надо все обдумать, обмозговать, взвесить – и очень тщательно. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы никому не хотим зла, это вы понимаете, а?

Я сказала все, что хотела сказать, – ответила Дэгни и отвернулась от мистера Томпсона, не имея ни ключа к реальному смыслу его слов, ни сил и желания искать этот смысл.

Она повернулась к Эдди Виллерсу, который наблюдал за собравшимися с таким негодованием, что, казалось, его парализовало. Казалось, его мозг кричал: вот зло в чистом виде! – и дальше этой мысли двинуться не мог. Дэгни сделала ему знак, движением головы указав на дверь; он послушно последовал за ней.

Доктор Стадлер подождал, пока за ними не закрылась дверь, и набросился на мистера Томпсона:

– Что за идиотизм? Вы представляете, с чем играете? Вы понимаете, что речь идет о жизни или смерти? Выбор: вы или он.

Легкая дрожь, пробежавшая по губам мистера Томпсона, обозначала презрительную улыбку.

Что за манеры для профессора? Вот уж не предпола гал, что профессора такие нервные.

Как вы не понимаете? Разве не ясно, что компромисс невозможен, – либо одно, либо

другое.

Что же, по-вашему, я должен сделать?

Вы должны уничтожить его.

Доктор Стадлер не выкрикнул эти слова, он сказал их холодным, ровным тоном, с полным пониманием их значения, и именно от этого у собравшихся мороз пробежал по коже, все в оцепенении замерли.

Вы должны найти его, – сказал доктор Стадлер, те перь его голос будто надломился и снова звучал взвинчен– но. – Надо все перевернуть вверх дном, но найти и унич тожить его! Если он останется в живых, он погубит всех нас! Пока он жив, нет жизни нам!

Как я могу его найти? – тихо и задумчиво спросил мистер Томпсон.

Я... я могу подсказать вам. У меня есть идея. Надо следить за этой женщиной, мисс Таггарт. Пусть ваши люди не спускают с нее глаз. Рано или поздно она выведет вас на него.

Почему вы уверены в этом?

Разве это не видно? Только по чистой случайности она давно не порвала с нами. Не надо большого ума, чтобы заметить, что она его поля ягода. – Он не объяснил, что это за поле.

Пожалуй, – задумчиво произнес мистер Томпсон, – пожалуй, так. – Он вздернул голову с явным удовлетворени ем. – В словах профессора что-то есть. Организуйте слежку за мисс Таггарт, – приказал он Маучу, щелкнув пальца ми. – Пусть следят за ней днем и ночью. Мы должны обна ружить его.

Хорошо, сэр, – послушно ответил Мауч.

А когда выследите, – зазвеневшим голосом спросил доктор Стадлер, – вы уничтожите его?

Уничтожить его – что за идиотская мысль! Он нам нужен\ – воскликнул мистер Томпсон.

Мауч помедлил, но никто не осмелился задать вопрос, который вертелся у всех на языке, и тогда он недоумевающе произнес:

Я вас не понимаю, мистер Томпсон.

Ох уж эти теоретики-интеллектуалы! – с раздражени ем воскликнул мистер Томпсон. – Ну что вы рты разинули? Все просто. Кем бы он ни был, он человек действия. Кроме того, он собрал вокруг себя коллектив единомышленников. С ним заодно большие умы. Он знает, что надо делать. Мы его разыщем, и он нам скажет. Скажет, как действовать. Он наладит дело. Он нас вытащит.

Нас, мистер Томпсон?

Конечно. Оставьте свои теории. Мы договоримся с ним.

С ним!

Конечно. Понятно, придется пойти на компромисс, сделать какие-то уступки крупному бизнесу, борцам за все общее благосостояние это не понравится, конечно, но – черт возьми! – вы что, знаете другой выход?

А как же его идеи?

Мистер Томпсон, – заикаясь, прорвался в разговор Мауч, – боюсь, он не из тех, кто пойдет на сделку.

Таких не бывает, – отрезал мистер Томпсон.

На улице за зданием радиостанции холодный ветер гремел сорванными вывесками над

витринами брошенных магазинов. Город выглядел непривычно безлюдным. В отдалении тише обычного шумел городской транспорт, отчего ветер свистел громче. Пустые тротуары уходили в бесконечную тьму, под редкими фонарями стояли, перешептываясь, одинокие горстки людей.

Эдди Виллерс молчал, пока они не отошли на несколько кварталов от студии. Он резко остановился, когда они вышли на пустынную площадь, где динамики, которые никто не подумал выключить, теперь транслировали водевиль: муж и жена на повышенных тонах обсуждали нежелательные знакомства своего непутевого отпрыска, обращая свои реплики к пустой улице и неосвященным фасадам домов. Поодаль, однако, виднелась вертикальная, в двадцать пять этажей, гирлянда света. Там, замыкая черту города, высился строгий силуэт здания Таггарта.

Остановившись, Эдди указал на здание. Рука его тряслась; невольно понизив голос, он полупшепотом взволнованно произнес:

Дэгни, Дэгни, я знаю его. Он... он работает там, он там. – Он продолжал показывать на здание с удивленным и беспомощным видом. – Он работает в нашей компании...

Я знаю, – ответила она ровным, безжизненным голо сом.

Путевым рабочим... простым путевым рабочим.

Я знаю.

Я с ним разговаривал... много лет я беседовал с ним в нашей столовой на вокзале. Он часто спрашивал о же лезной дороге. О Боже! Дэгни, что же я, помогал сберечь нашу дорогу или, наоборот, помогал разваливать ее?

И то и другое. Ни то ни другое. Теперь это неважно.

Я готов поклясться, что ему нравилась железная доро га, он очень хорошо к ней относился.

Так и есть.

Но он ее разрушил. -Да.

Она плотнее запахнула пальто, укрываясь от порыва ветра, и двинулась дальше.

Я, бывало, разговаривал с ним, – сказал Эдди после паузы. – Его лицо, Дэгни, оно не такое, как у других. Сра зу видно, как много он понимает... Я всегда радовался, ког да заставлял его там, в столовой... Мне нравилось разгова ривать с ним... Кажется, я даже не понимал, что он задает вопросы... да, конечно... он так много спрашивал о желез ной дороге... и о тебе.

Он когда-нибудь спрашивал тебя, как я выгляжу во сне?

Да... да, спрашивал... Я однажды застал тебя в каби нете, когда ты заснула, и, когда я об этом упомянул, он... – Эдди замолчал, внезапно осознав связь между двумя собы тиями.

Она повернулась к нему, на ее лицо упал свет уличного фонаря, она намеренно молча на миг подняла голову, словно в ответ и в подтверждение возникшей у него мысли.

Он закрыл глаза.

– Боже мой, Дэгни! – прошептал он. Они молча двинулись дальше.

Его уже нет здесь? – спросил он. – Я имею в виду, он больше у нас не работает?

Эдди, – сказала она вдруг помрачневшим голосом, – если тебе дорога его жизнь, никогда больше не задавай этого вопроса. Ты ведь не хочешь, чтобы они отыскали его? Не наводи их на след. Не говори никому ни единого слова о том, что знал его. И не пытайся узнать, работает ли он еще у нас.

Неужели ты полагаешь, что он все еще здесь?

Не знаю. Я только думаю, что это возможно.

Сейчас! -Да.

Еще работает?

– Да. Не говори об этом, если не хочешь его уничтоже ния.

Я думаю все же, что он исчез. И не вернется. Я не встречал его ни разу с...

С какого времени? – насторожилась она.

С конца мая. С того вечера, когда ты отправилась в Юту, помнишь? – Он помедлил, взволнованный воспоминанием о встрече в тот вечер, значение которой он теперь полностью осознал. Потом, сделав над собой усилие, сказал: – Я видел его в ту ночь. И больше ни разу... Я искал его в столовой, но он больше не появился.

Не думаю, чтобы он показался тебе на глаза, теперь он будет избегать встречи. И ты не ищи его. Не спрашивай о нем.

Смешно, я даже не знаю, как он себя называл. Джонни и еще как-то.

Джон Галт, – сказала она с легкой невеселой усмешкой. – Можешь не листать платежную ведомость компании. Его имя все еще там.

Вот как? Все эти годы?

Уже двенадцать лет. Вот так-то.

– И даже сейчас? – Да Минуту спустя он сказал:

Уверен, это ничего не доказывает. Отдел кадров после указа десять двести восемьдесят девять не вносил никаких изменений в платежные ведомости. Если кто-то увольняется, они предпочитают не сообщать в Стабилизационный совет, а зачисляют на это место кого-нибудь из своих, из числа нуждающихся, а фамилию и имя оставляют без изменения.

Не наводи справок в отделе кадров или где-то еще. Если я или ты начнем спрашивать о нем, это может вызвать подозрение. Не ищи его. Не старайся подобраться к нему. А если случайно встретишь, веди себя так, будто не знаешь его.

Он кивнул. Немного погодя он сказал тихим, напряженным голосом:

Я не выдам его им даже ради спасения дороги.

Эдди...

– Да?

– Если когда-нибудь увидишь его, дай мне знать. Он кивнул.

Они прошли еще два квартала, и он тихо спросил:

– Ты скоро уйдешь от нас и исчезнешь, правда?

Почему ты об этом спрашиваешь? – Это прозвучало почти как стон.

Но ведь это правда?

Она ответила не сразу, а когда ответила, отчаяние ощущалось только в напряженной монотонности ее голоса:

Эдди, если я покину вас, что будет с дорогой?

Через неделю перестанут ходить поезда, а может быть, и раньше.

Через десять дней уже не будет правительства бан дитов. Тогда люди вроде Каффи Мейгса разворуют все, что еще осталось. Что я проиграю, если подожду еще чуть дольше? Как я могу оставить все, нашу дорогу – «Таггарт трансконтинентал», Эдди, когда еще одно, по следнее усилие способно продлить ее жизнь? Если я выстояла до сих пор, я смогу продержаться еще немного. Еще немного. Я не играю на руку бандитам. Им уже ни что не поможет.

Что они собираются предпринять?

Не знаю. Что они могут предпринять? Для них все кончено.

Надеюсь, что так.

Ты ведь видел их. Это жалкие отчаявшиеся крысы, лихорадочно соображающие, как спасти свою шкуру.

Для них она что-нибудь значит?

Что она?

Собственная жизнь.

Пока они еще борются. Но их час пробил, и они это знают.

А разве они когда-нибудь действовали исходя из того, что знают?

– Им придется. Они прекратят сопротивление, ждать уже недолго. И мы должны быть готовы спасти то, что осталось.

«Мистер Томпсон доводит до сведения, – говорилось в официальном сообщении утром двадцать третьего ноября, – что причин для беспокойства нет. Он призывает общественность не делать поспешных выводов. Необходимо соблюдать дисциплину и порядок, единство и оптимизм, а также социальную терпимость и широту взглядов. Нестандартное выступление по радио, которое некоторые из вас могли слышать вчерашним вечером, имело целью пробудить умы и являлось некоторым вкладом в арсенал наших идей и попыткой осмыслить проблемы современного мира. Его надо трезво обдумать, избегая как безусловного осуждения, так и легкомысленного согласия. Следует рассматривать его как одну из многих точек зрения на демократическом форуме общественного мнения, форуме, который, как мы продемонстрировали вчера, открыт для всех взглядов. У истины, заявил мистер Томпсон, много граней. Мы должны быть беспристрастны».

"Они не реагируют, – написал Чик Моррисон, резюмируя доклад одного из своих агентов на местах, которому он дал задание «держат руку на пульсе общественного мнения». «Они молчат», – резюмировал он все последующие доклады. «Глухое молчание, – таков был общий вывод его сводного отчета мистеру Томпсону, вывод, весьма его беспокоивший. – Кажется, народ безмолвствует».

Языки пламени, которые зимней ночью взлетели в небо, превратив в пепел дом в Вайоминге, не были видны в Канзасе; там люди видели на горизонте над прерией дрожащее красное зарево – след пожара, пожравшего ферму; это зарево не отразилось в окнах домов в Пенсильвании – в этих окнах плясало зарево другого пожара, который сжег дотла целую фабрику. Никто не отметил на следующее утро, что пожары возникли не случайно и что владельцы сгоревшего имущества во всех случаях исчезли. Соседи знали об этом, но молчали и не удивлялись. То там, то тут в разных уголках страны находили покинутые жилища – одни под замком, с закрытыми ставнями, другие с дверями настежь и совершенно пустые внутри. Люди молча фиксировали эти факты, как и прежде, однако отправлялись в предрассветной мгле по неубраным улицам сквозь снежные заносы привычным маршрутом на работу – но шли медленнее, чем обычно, с неохотой.

Затем двадцать седьмого ноября на политическом митинге в Кливленде избили агитатора, ему пришлось спастись от разъяренной толпы темным переулком. Слушатели, поначалу пассивные, внезапно разом пришли в крайнее возбуждение, когда он заявил, что причина всех зол – их эгоистическая заикленность на собственных бедах.

Утром двадцать девятого ноября рабочие одной обувной фабрики в Массачусетсе, войдя в цех, с изумлением обнаружили, что бригадир опоздал на смену. Но они заняли рабочие места и принялись за привычное дело, нажимая на рычаги и кнопки, запуская кожу в раскройные автоматы, подавая коробки на конвейер и удивляясь, почему нигде не видно ни бригадира, ни мастера, ни директора, не говоря уже о президенте компании. Лишь к полудню обнаружилось, что все офисы пусты.

– Проклятые людоеды! – закричала вдруг в переполненном зрительном зале кинотеатра какая-то женщина и разразилась истерическими рыданиями, и никто не удивился, будто она

выразила общее настроение.

«Причин для беспокойства нет, – говорилось в официальном заявлении от пятого декабря. – Мистер Томпсон заявляет о намерении вступить в переговоры с Джоном Гал-том с целью определить пути и способы скорейшего решения наших проблем. Мистер Томпсон призывает к терпению. Нет повода для тревоги и сомнений; нельзя терять бодрость духа».

Персонал больницы в Иллинойсе не выказал никакого удивления, когда туда доставили человека, избитого старшим братом, у которого он всю жизнь состоял на иждивении; причина заключалась в том, что младший брат накричал на старшего, обвиняя его в эгоизме и жадности. Ничуть не поразились и сотрудники больницы в Нью-Йорке, когда туда поступила женщина с переломом челюсти, – ее ударил в лицо незнакомый мужчина, услышавший, как она велела своему пятилетнему сыну отдать соседским детям любимую игрушку.

Чик Моррисон начал агитпоездку по стране, чтобы поднять дух нации зажигательными речами о необходимости жертвовать личными интересами ради общественных. В первом же городе его забросали камнями, и ему пришлось убраться в Вашингтон.

Казалось, выражение «настоящий человек» исчезло из оборота, а если кто и использовал его, то особо не задумывался над его значением, но выражение привилось, и в каждом округе, районе, в каждой конторе, на каждом заводе, везде со своим оттенком, но с одинаковым смыслом этими словами называли теперь тех, кто в одно прекрасное утро исчезал со своего рабочего места и без шума отправлялся на поиски новых рубежей, тех, чьи лица отличались большей энергичностью, чем у других, чей взгляд выделялся твердостью и прямоотой, чья целеустремленность и динамизм были более осознанными и непреклонными. Эти люди один за другим уходили за кулисы, и так по всей стране, по стране, которая теперь походила на царственного наследника, истерзанного гемофилией, – она теряла лучшую кровь из незаживающей раны.

– Мы готовы вести переговоры! – гремел голос мистера Томпсона. Он отдавал распоряжения своим помощникам, требуя, чтобы его обращение к нации передавалось всеми радиостанциями страны три раза в день. – Мы готовы вести переговоры. Он услышит об этом и ответит нам!

У радиоприемников на всех волнах и частотах организовали круглосуточные вахты, ожидая ответа неизвестного передатчика. Ответа не было.

На улицах городов все чаще встречались люди с пустым, безнадежно-рассеянным взглядом, значение которого не поддавалось пониманию. В то время как одни спасали тело, отправляясь в пещеры безлюдных пустынь, другие надеялись только на спасение души и погружались в катакомбы своего духа, и никому не дано было знать, что скрывается за пустотой равнодушных глаз: то ли там, как на дне бездонной заброшенной шахты, таились поразительные сокровища, то ли зияла бездонной черной дырой пропасть развращенного и убитого паразитизмом навек угасшего человеческого разума.

– Я не знаю, что делать, – сказал заместитель директора нефтеперерабатывающего комбината и отказался занять место бесследно пропавшего директора. Представители Стабилизационного совета не могли установить, лжет он или нет. Только настойчивость тона и твердость голоса, без тени смущения или оправдания, заронили в них подозрение: уж не смутьян ли он сам? Или дурак? Но в любом случае такому поручить должность директора опасно.

«Дайте нам людей!» Это требование все громче звучало в кабинетах Стабилизационного совета; оно несло со всех концов страны, измотанной... безработицей. И ни просители, ни чиновники совета не осмеливались добавить опасное слово, которое это требование подразумевало: дайте нам способных людей! Повсеместно составлялись длинные, на годы вперед списки людей, просивших работу смазчиков, грузчиков, сторожей, кондукторов. Но не

было тех, кто просил места директора, мастера, инженера.

Взрывы на химических заводах, катастрофы неисправных самолетов, крушения сталкивающихся поездов, прорывы расплавленного металла на домнах, слухи о пьяных оргиях в кабинетах вновь назначенных руководителей – все это привело к тому, что в Стабилизационном совете стали настороженно относиться к тем, кто претендовал на высокие должности.

«Не унывайте! Не сдавайтесь! – такой призыв прозвучал в официальном сообщении пятнадцатого декабря и затем повторялся каждый день. – Мы сможем договориться с Джоном Галтом. Мы заставим его принять руководство. Джон Галт решит наши проблемы. С ним дело пойдет. Не сдавайтесь и не унывайте! С нами будет Джон Галт!»

Желающим занять руководящие должности, мастерам, бригадирам, искусным механикам и вообще любому, кто хотя бы пальцем о палец ударил, чтобы продвинуться по службе, предлагали награды и почести, прибавки к зарплате, налоговые льготы и специальную награду, которую придумал Висли Мауч и которая называлась Орденом за заслуги перед обществом. Но безрезультатно. Оборванные люди слушали посулы материальных благ и отворачивались с летаргическим равнодушием, будто полностью утратили представление о ценностях. Эти люди, с ужасом думали правительственные аналитики, потеряли интерес к жизни вообще, а может быть, только к жизни в нынешних условиях?

«Не унывайте! Не сдавайтесь! Джон Галт решит наши проблемы!» – твердило радио тексты официальных призывов. Голоса дикторов неслись сквозь тихий снегопад в молчание нетопленых домов.

– Не надо сообщать, что мы его пока не нашли! – кричал мистер Томпсон своим помощникам. – Но Бога ради пусть его скорее отыщут!

Группы помощников Чика Моррисона получили задание распространять слухи. Половина из них распространяла слух, что Джон Галт находится в Вашингтоне, где совещается с государственными чиновниками. Другая же половина распространяла слух, что правительство назначило награду в полмиллиона долларов за информацию о местонахождении Джона Галта.

– Нет, пока никакой зацепки, – сказал Висли Мауч мистеру Томпсону, обобщая доклады своих секретных агентов, которые получили задание проверить всех людей в стране по имени Джон Галт. – Ничего примечательного. Есть Джон Галт профессор, орнитолог, возраст – восемьдесят лет; есть отошедший от дел зеленщик, у него жена и девять детей; есть путевой рабочий со стажем двенадцать лет, ну и прочая подобная шваль.

«Никакой паники! Мы найдем Джона Галта!» – целыми днями гремело из динамиков, а по ночам на коротких волнах в бескрайние дали непрерывно неслись призывы: «Вызываем Джона Галта!.. Вызываем Джона Галта!.. Вы слышите нас, Джон Галт?.. Мы хотели бы вступить с вами в переговоры. Мы хотели бы получить ваш совет, нам важно ваше мнение. Дайте знать, как с вами связаться... Вы слышите нас, Джон Галт?» Ответа не поступало.

Пачки денег в карманах людей становились все толще, но купить на них можно было все меньше и меньше. В сентябре бушель пшеницы стоил одиннадцать долларов, в ноябре уже тридцать, в декабре – сто, а теперь цена подбиралась к двум сотням. Печатные станки министерства финансов отчаянно боролись с нехваткой денег и наступлением голода, но вчистую проигрывали в этой схватке.

Рабочие одной фабрики в приступе отчаяния избили бригадира и поломали машины, но обвинения против них не последовало. Арестовывать не имело смысла – тюрьмы были переполнены, полицейские по дороге в тюрьму перемигивались с осужденными и позволяли им скрыться. Люди жили сегодняшним днем, тупо выполняя привычные действия и не думая о будущем. Власти оказывались бессильны, когда голодные толпы нападали на склады и базы на городских окраинах. Когда к грабежу присоединились отряды полиции, брошенные на

усмирение толпы, это тоже осталось без последствий.

«Вы нас слышите, Джон Галт?.. Мы готовы начать переговоры. Возможно, мы примем ваши условия... Вы слышите нас?»

Шепотом распространялись слухи о том, что по ночам по заброшенным железнодорожным веткам двигаются какие-то крытые вагоны, что возникают тайные поселения, где люди вооружены, чтобы отбивать возможные атаки тех, кого именовали индейцами, будь то шайки бездомных или правительственные части – любой своры одичавших бандитов. Время от времени в прериях, далеко на горизонте, видели огни, видели их и в горах, на уступах скал, где раньше никто не жил. Солдаты ни за что не соглашались отправиться и выяснить, что это за огни.

На дверях брошенных жилищ, на воротах разрушенных фабрик, на стенах правительственных зданий время от времени появлялся нарисованный мелом, краской или кровью волнообразный знак – знак доллара.

«Вы слышите нас, Джон Галт?.. Дайте нам знать. Назовите ваши условия. Мы согласны принять любые условия, которые вы выдвинете. Вы слышите нас?»

Ответа не поступало.

Столб красного дыма, устремившись в небо в ночь на двадцать второе января, долго стоял неподвижно, как мемориальный обелиск, потом заколебался, раскачиваясь взад и вперед на фоне облаков, будто посылал какое-то зашифрованное сообщение. И наконец исчез так же внезапно, как и появился. Он возвестил о конце компании «Реардэн стил», но местные жители узнали об этом много позже, когда те, кто раньше проклинал заводы за дым, копоть, сажу, шум, увидели на месте, где всегда пульсировала жизнь и полыхала заря, чернеющую пустоту.

Ранее заводы подверглись национализации как собственность дезертира. Первым звание народного директора получил человек из тусовки Орена Бойла, пухленький приживальщик на ниве металлургии, которому ничего не хотелось, кроме как идти на поводу у своих подчиненных, делая, однако, вид, что ведег их он и он указывает им, куда и как идти. Но через месяц, после многочисленных стычек с рабочими, множества конфликтов и ЧП, когда единственное, что он мог сказать в оправдание, было «а что я мог сделать?», после множества проваленных заказов, после давления на него со стороны его бывших друзей, он попросил, чтобы его перевели куда-нибудь, где поспокойнее. Тусовка Орена Бойла разваливалась, самого мистера Бойла поместили в больницу, и лечащий врач категорически запретил ему заниматься делами и разрешил только одно занятие – плетение корзин в качестве трудотерапии. Следующим народным директором, направленным на «Реардэн стил», стал приближенный Каффи Мейгса. Он носил кожаные гетры и благоухал лосьоном, на работе появился с наганом в кобуре и постоянно угрожающим тоном напоминал, что главной задачей считает укрепление трудовой дисциплины и что он этого, разрази его гром, добьется, а не то... Единственным заметным дисциплинарным правилом, которое он установил, оказался запрет задавать вопросы. Последовали недели

Слихорадочной активности со стороны страховых обществ, пожарных команд, бригад скорой и неотложной помощи в связи с серией необъяснимых несчастных случаев, после чего народный директор в одно прекрасное утро благополучно исчез, предварительно распродав разным спекулянтам из Европы и Латинской Америки большую часть кранов, конвейерных линий, жаростойкой керамики и запасных электрогенераторов. Та же участь постигла и ковер из бывшего кабинета Реардэна.

Никому не удалось разобраться в чудовищном хаосе, возникшем после этого, – никто не понимал, кто с кем и за что борется. Все знали – никогда еще конфликты между рабочими старой и новой формации не приобретали такой остроты, несоизмеримой с их пустячными причинами. В довершение всего ни одной тусовке не удалось отыскать человека, который

согласился бы занять вакантную должность народного директора «Реардэн стил». Двадцать второго января поступило распоряжение временно приостановить работы на заводах компании.

Столб красного дыма в ту ночь возник потому, что старый рабочий шестидесяти лет поджег один из цехов. Когда его застали на месте преступления, он как-то потерянно, бессмысленно смеялся, не отрывая глаз от пламени.

– Это вам за Хэнка Реардэна! – с вызовом кричал он, и слезы текли по его задубевшему от жара лицу.

Не надо так переживать, уговаривала себя Дэгни, склонившись за своим столом над газетой, в которой была помещена краткая, в несколько строк заметка о «временной» приостановке работ на «Реардэн стил». Не надо принимать это так близко к сердцу... Ей все виделось лицо Хэнка Реардэна, каким оно запомнилось ей, когда он стоял у окна своего кабинета и смотрел, как движется на фоне неба стрела крана с грузом зеленовато-голубых рельсов... Не надо так переживать, молил ее разум, обращаясь в пустоту. Пусть он об этом не услышит, пусть он об этом не узнает...

Потом она увидела другое лицо, лицо с непреклонным взглядом зеленых глаз, и услышала голос, который отвердел силой уважения к фактам. Он говорил ей: «Ты должна пройти через все это, услышать все: о каждом крушении, о каждом неприбывшем поезде... Здесь не допускают никакой подмены реальности». Она сидела неподвижно, не видя и не слыша ничего вокруг, ощущая только огромную, неизбывную боль, пока не услышала привычный крик о помощи, который действовал на нее как наркотик, заглушавший все ощущения, кроме стремления действовать:

– Мисс Таггарт! Мы не знаем, что делать! – Этот призыв распрямлял ее, как пружину, и она бросалась в бой.

Двадцать шестого января газеты сообщили: «Народная Республика Гватемала отклонила просьбу Соединенных Штатов о предоставлении займа тысячи тонн стали».

В ночь на третье февраля молодой пилот летел по привычному маршруту еженедельным рейсом из Далласа в Нью-Йорк. За Филадельфией, в пустынном ночном небе, там, где ориентиром ему обычно служило зарево заводов Реардэна, которое ободряло его в слепом полете и являлось живым маяком не уснувшей во тьме земли, он увидел заметенную снегом пустыню, белую, как саван, из-под которого кое-где торчали горные пики и кратеры, напоминающие лунный пейзаж. На следующее утро молодой пилот уволился.

Сквозь мрак промерзших ночей над умирающими городами, стучась без отклика в мертвые окна домов, наталкиваясь на каменные стены, взмывая над крышами опустевших зданий и остовами руин, летела к звездам, вызывая к холодному мерцанию их огней, бесконечно повторяемая мольба: «Вы слышите нас, Джон Галт? Слышите?»

– – Мисс Таггарт, мы не знаем, что делать, – сказал мистер Томпсон; он пригласил ее к себе посоветоваться во время одного из своих кратких наездов в Нью-Йорк. – Мы готовы уступить во всем, принять его условия, передать ему бразды правления. Но как его найти? Где он?

– Это уже в третий раз, – ответила она, перекрыв вы ход эмоциям и в голосе, и во взгляде, – Мне неизвестно, где он. Почему вы решили, что я знаю?

– Просто так, я всюду пытаюсь узнать... Спросил на всякий случай... Подумал, а может быть, вы подскажете, где и как искать.

Я не знаю.

Видите ли, мы даже на коротких волнах не можем объявить, что готовы сдать. Могут слышать люди. Но если вы можете как-то связаться с ним, дайте ему знать, что мы готовы уступить во всем, поставить крест на нашей по литике и делать все, как он скажет...

Повторяю, я не знаю.

Если бы он согласился на встречу, простую встречу, которая его ни к чему не обязывает... Ведь это возможно, не так ли? Мы готовы отдать в его руки всю экономику, пусть только скажет, где, когда, как. Если бы он подал нам знак, как-то дал понять... если бы дал понять... если бы откликнулся... Почему он не отвечает?

Вы слышали, что он сказал.

Но что нам делать? Не можем же мы просто бросить все и оставить страну вообще без правительства. Меня в дрожь бросает от одной мысли об этом. Учитывая, какие социальные слои и силы сейчас распоясались... Вы же пони маете, мисс Таггарт, я могу как-то сдерживать их, а иначе начали бы убивать и грабить среди бела дня. Не понимаю, что вселилось в людей, но в них, кажется, не осталось ниче го человеческого. В такое время мы не можем уйти. Мы не можем ни уйти, ни управлять страной. Что нам делать, мисс Таггарт?

Начните сворачивать управление.

Простите?

Начните отмену налогов, ослабьте регулирование.

О нет, нет, нет! Об этом не может быть и речи!

У кого не может быть и речи?

Я имею в виду, сейчас нельзя, мисс Таггарт, сейчас не время. Страна не созрела для этого. Лично я с вами согла сен. Я сторонник свободы, мисс Таггарт. Мне власть не нужна, но тут особый случай. Люди не доросли до свободы. Они нуждаются в сильной руке. Мы не можем позволить себе идеалистическую теорию, которая...

Тогда не спрашивайте меня, что делать, – сказала она и поднялась.

Но, мисс Таггарт...

Я пришла сюда не для того, чтобы спорить. Она уже была у двери, когда он вздохнул и сказал:

Надеюсь, он еще жив. Она остановилась.

Надеюсь, они ничего не натворили. Прошла минута, прежде чем она смогла говорить.

– Кто они? – Ценой огромного усилия она удержалась, чтобы не выкрикнуть это слово.

Он пожал плечами и, разведя руками, опустил их в жесте беспомощности.

– Я теряю контроль над своими людьми. Трудно ска зать, что они могут выкинуть. Есть такая клика – группировка Ферриса – Лоусона – Мейгса. Уже больше года они требуют от меня более жестких мер. Закрутить гайки – вот что им надо. Если начистоту, то им хочется ввести тер рор, смертную казнь за преступления против общества, за критику, казни всех несогласных, диссидентов и тому по добного. Они рассуждают так: если люди не хотят сотруд ничать, не хотят действовать в интересах общества добро вольно, надо их заставить. Ничто не заставит нашу систему работать, кроме террора, говорят они. Возможно, они и правы, если учесть, как обстоят дела. Но Висли против ме тодов сильной руки, Висли человек миролюбивый, либерал, как и я. Мы стараемся сдерживать людей Ферриса, но... Они, надо знать, настроены против любых уступок Джону Галту. Они не хотят, чтобы мы установили с ним контакт, они против его поисков. Они способны на все. Если они первыми обнаружат его... трудно даже представить, что они с ним сделают. Вот что меня беспокоит. Почему он не отве чает? Почему от него до сих пор нет никаких вестей? А что, если они обнаружили и убили его? Всякое можно предполо жить... Вот я и решил, что вы можете что-то предложить, что вам известно, жив ли он... – Он закончил с вопро си тельной интонацией.

SVся ее энергия ушла на то, чтобы побороть волну ужаса, которая разлила слабость по телу, унять дрожь в коленях и голосе. Еехватило только на то, чтобы сказать:

– Нет, я не знаю, – и твердой походкой выйти из комнаты.

Зайдя за покосившийся овощной ларек, Дэгни украдкой оглянулась, осмотрев улицу позади себя: ее разбивали на освещенные островки редкие фонари, первый островок оккупировал ломбард, второй – пивная, самый дальний – церковь, а в промежутках – темные провалы. На тротуарах ни души. Улица казалась безлюдной, но кто знает?

Дэгни повернула за угол, шаги гулко раздавались в тишине; она шла, намеренно не скрываясь; потом резко остановилась и прислушалась. Вокруг стояла тишина; казалось, сердце стучало в груди, заглушая отдаленный шум транспорта, слабо доносившийся со стороны Ист-Ривер. Шагов позади она не слышала. Дэгни передернула плечами, то ли от холода, то ли от сомнения, и быстро зашагала дальше. Из какого-то темного закутка ржавые часы хрипло пробили четыре раза.

Страх преследования не воспринимался ею как реальность, теперь никакой страх не воспринимался ею как реальность. Она не могла понять, откуда шло ощущение легкости в теле – от напряжения или от раскованности. Мышцы так собрались в единое целое, что, казалось, все ее существо свелось к одному – движению, стремительному и целенаправленному. Сознание удивительным образом рассредоточилось, оно уже не руководило телом, тело действовало автоматически, по жесткой, не подвергаемой сомнению программе. Если бы нагая летящая пуля могла чувствовать, она ощущала бы то же самое – движение и цель, ничего больше, подумала Дэгни, но мысль эта была какой-то туманной, отдаленной, да и сама она казалась себе нереальной, только слово «нагая» зацепило сознание: нагая – лишенная всех забот, кроме цели... устремленная к номеру триста шестьдесят семь, адрес дома на набережной Ист-Ривер, который она все время повторяла про себя, адрес, о котором так долго запрещала себе думать.

Тройка, шестерка, семерка, думала она, высматривая впереди, среди угловатых жилых домов, пока невидимое строение, тройка, шестерка, семерка... там живет он, если вообще живет... Ее спокойствие, отрешенность и уверенная походка проистекали из того, что она ясно сознавала: дальше с этим «если» она жить не может.

С этим «если» она жила уже десять дней; вечера и ночи связались в нескончаемую цепь, и в конце ее оказалась сегодняшняя ночь. В силе, которая сейчас направляла ее шаги, был отзвук долгих, упорных поисков в тоннелях терминала, где она часами высматривала его вечер за вечером среди рабочих. Она побывала во всех переходах, мастерских, на платформах и переплетениях заброшенных путей, ни о чем не спрашивая и не объясняя причину своего появления. Она не испытывала в этих ежедневных походах ни страха, ни надежды, ее вело чувство отчаяния и верности, почти переходящее в гордость. Ощущение гордости появлялось в те моменты, когда где-нибудь в подземном переходе она вдруг останавливалась, потому что в ее сознании всплывали вне прямой связи с чем-либо слова: «А ведь это моя дорога, моя жизнь». Это бывало, когда своды у нее над головой содрогались от грохота колес проходящего поезда. Тогда все, что не осуществилось, что было отложено, но оставалось в душе, сжимало горло и душило слезами. Это моя жизнь, думала она, это моя любовь – и мысли ее уносились к человеку, который, может быть, находится где-то здесь, в тоннелях станции.

Дорога, жизнь, любовь – между ними не может быть конфликта. Могу ли я сомневаться в них? Что может разделить эти три понятия? Здесь наше место, его и мое...

Но тут она вспоминала, при каких обстоятельствах разыскивает его, и упорно устремлялась вперед, ощущая ту же нерушимую верность, но в сознании звучали уже другие слова: «Ты запретил мне искать тебя, ты можешь проклясть и бросить меня, но потому, что жива я, я

должна знать, что и ты жив... Я должна увидеть тебя, не останавливая, не заговаривая, не касаясь, – только увидеть...» Но он не встречался, и она оставила поиски, когда начала замечать провожавшие ее любопытные, удивленные взгляды рабочих. Она созвала собрание путевых рабочих терминала под предлогом укрепления трудовой дисциплины. Это собрание она проводила дважды, чтобы по очереди встретиться с рабочими всех смен. Она произносила невнятные речи, испытывая жгучий стыд от бессмысленных, пустых банальностей, которые ей приходилось говорить, и вместе с тем гордость от того, что теперь ей это безразлично. Она смотрела на усталые огрубевшие лица рабочих, которые с одинаковым безразличием воспринимали любые приказы – работать или выслушивать ничего не значащие слова. Среди них она не увидела его лица.

Все ли присутствуют? – уточняла она у бригадира.

Да, вроде все, – безразлично отвечал тот.

Она задерживалась у входов в терминал, наблюдая, как рабочие идут на смену. Но входов было так много, что за всеми не уследишь, к тому же она не могла следить, оставаясь незамеченной. Приходилось стоять на мокрых от дождя дорожках, при слабом освещении, прижимаясь к стене какого-нибудь склада. Она закрывала лицо, подняв воротник до глаз, капли дождя срывались с полей ее шляпки. Так или иначе, она оставалась на виду у проходящих мимо и видела, что рабочие узнают ее и удивляются: они понимали, что она, не таясь, что-то или кого-то высматривает, и в этом заключалась какая-то опасность для нее. Если среди них был Джон Галт, кто-то мог догадаться о цели ее поисков. Если Джона Галта среди них не было... Если бы Джона Галта вообще не было в мире, подумалось ей, тогда исчезла бы опасность – но и мир тоже.

Никакой опасности, но и никакой жизни, думала она, шагая среди трущоб к дому номер триста шестьдесят семь, который мог быть, а мог и не быть его домом. Она спрашивала себя, не это ли испытывает человек, ожидающий смертного приговора, – ни страха, ни гнева, только безразличие, ничего, кроме ледяного равнодушия, негреющего света, бесстрастного знания.

Под ногой загремела жестянка, грохот получился слишком громким и долгим, словно стук в стены опустевших домов опустевшего города. Казалось, город сразило истощение, улицы не замерли, а вымерли, люди за стенами домов не заснули, а впали в беспамятство.

В этот час, думала она, он должен быть дома после работы... если он работает... если у него еще есть дом... Она смотрела на запустение, облупившуюся штукатурку, закопченную побелку, отслоившуюся краску, выцветшие вывески обшарпанных лавок с нераспроданными товарами за грязными витринами, опасно провалившиеся ступеньки, веревки с непригодным для носки бельем. Кругом все заброшено, недоделано, оставлено без внимания, без присмотра, без ремонта – печальные свидетельства проигранных битв с двумя врагами: «нет времени», «нет сил». И она подумала: двенадцать лет прожил в таком месте он – человек, способный принести в человеческую жизнь столько света.

Одно слово пробивалось на поверхность ее сознания: Старнсвилл. Вспомнив его, она содрогнулась. «И это Нью-Йорк!» – невольно воскликнула она про себя в защиту величия, которое так любила, но тут же вынесла городу суровый, объективный приговор на основе того, что видела вокруг: город, который заставил его в течение двенадцати лет жить в этих трущобах, проклят и обречен разделить судьбу Старнсвилла.

И вдруг все это мгновенно потеряло значение, ее будто ударило током, все мысли смолкли, на душу пало молчание, исчезло все, кроме одного: она увидела номер триста шестьдесят семь над входом в ветхий доходный дом.

Я спокойна, подумала она, вот только время остановило свой бег, оно разорвалось и движется скачками, выхватывая разрозненные обрывки бытия; она помнила момент, когда

увидела номер; потом, с перерывом, момент, когда увидела список жильцов в тускло освещенном подъезде, а в списке нацарапанные малограмотной рукой слова: «Джон Галт, -й этаж, в конце коридора»; затем момент, когда она остановилась в начале лестницы и, подняв голову, взглянула на зигзаг уходящих вверх перил; ей пришлось на время прислониться к стене, чтобы унять дрожь и страх перед окончанием неведения; потом момент, когда она начала подниматься и поставила ногу на первую ступеньку; потом возникшее ощущение легкости, невесомости подъема – без усилий, без сомнений и страха, лестничные пролеты уходили вниз под стремительными шагами, легко и неотвратно вознося ее невесомое тело, окрыленное нетерпеливым ожиданием, заряженное решимостью и восторжествовавшей уверенностью в том, что катастрофа невозможна в конце этого подъема, для совершения которого ей потребовалось тридцать семь лет.

Наверху она увидела узкий коридор, стены которого направили ее к неосвещенной двери. В тишине под ногами скрипели половицы. Палец надавил на кнопку звонка, и где-то в неведомом бесконечном пространстве раздался его вопрошающий звук. Снова скрипнула половица, но где-то этажом ниже. До слуха Дэгни донесся далекий вой сирены с буксира на реке. Затем в ее сознании произошел очередной провал, и то, что последовало за ним, было не просто пробуждением, а возвращением к жизни. Два звука вытащили ее из небытия: звук шагов за дверью и звук поворачиваемого в замке ключа. Но она вернулась к реальности не ранее того момента, когда двери вдруг не стало и перед ней возникла фигура Джона Галта. Свет падал на него сзади, из комнаты, он был в рубашке и спортивных брюках. Он спокойно стоял в дверном проеме, слегка прогнувшись в талии.

Дэгни видела, как его мысль мгновенно постигла смысл мгновения, как она стремительно пронеслась над прошлым и охватила будущее, с быстротой молнии расставила все по местам, подчинив контролю логики, и к тому моменту, когда складка на его рубашке шевельнулась в такт дыханию, он подвел итог. Этим итогом стала лучистая приветственная улыбка.

Она уже не могла шевельнуться. Он схватил ее за руку и потащил в комнату; она почувствовала, как прильнули к ней его губы, ощутила сквозь пальто, внезапно ставшее чужеродной помехой, его стройное тело. Она видела, как смеются его глаза, снова и снова чувствовала прикосновение его губ; она обмякла в его руках, порывисто дыша, будто до этого на всех лестничных пролетах не сделала ни единого вдоха. Она зарылась лицом в ямку между его плечом и шеей, прижалась к нему всем телом, обхватив руками.

– Джон! Ты жив! – И больше она ничего не смогла ска зать.

Он кивнул, поняв, что стояло за этим восклицанием.

Затем он поднял ее упавшую на пол шляпку, снял с нее пальто; одобрительно улыбаясь, он окинул взглядом ее стройную дрожащую фигуру; любовно провел рукой по плотно облегавшему ее темно-синему свитеру, в котором она выглядела хрупкой, как школьница, и напряженной, как гимнастка.

– Когда мы встретимся в следующий раз, оденься в бе лое. Будет не хуже.

Дэгни вспомнила, что раньше так на людях не появлялась, что одета так, как в долгие вечера и ночи, проведенные без сна. Она рассмеялась: она никак не ожидала, что первыми его словами могут быть эти.

– Если, конечно, будет следующий раз, – спокойно до бавил он.

Что... что ты имеешь в виду? Он вернулся к двери и запер ее.

Садись, – сказал он.

Она осталась стоять, но тем временем оглядела комнату, в которой до этого ничего не заметила. В одном углу стояла кровать, в другом – газовая плита, мебель ограничивалась только самым необходимым, некрашенные половицы вытягивали комнату в длину, на столе горела

лампа, в тени, за пределами очерченного лампой светового круга, – запертая дверь. За огромным окном отчетливо рисовалась черно-белая панорама Нью-Йорка, с угловатыми зданиями и россыпью огней; в отдалении высилась громада здания Таггарта.

– Теперь слушай внимательно, – сказал он. – У нас есть примерно полчаса. Я знаю, почему ты пришла. Я гово рил тебе, что выстоять будет трудно и что ты, возможно, сломаешься. Не жалею об этом. Видишь, я тоже не могу жалеть об этом. Но ты должна знать, как действовать впредь. Через каких-нибудь полчаса здесь появятся агенты бандитов, которые следили за тобой, чтобы арестовать меня.

Только не это! – простонала она.

Дэгни, любой из них, у кого остались хоть крохи со образительности и знания человеческой природы, поймет, что ты не из их числа, что ты последнее связующее звено со мной. Они, конечно, постоянно следили за тобой, приставив к тебе шпионов.

За мной никто не шел! Я следила, я...

Ты просто не могла заметить. В слежке они профес сионалы. Тот, кто шел за тобой, сейчас докладывает своему начальству. Само твое появление в этом районе в этот час, мое имя в списке жильцов, тот факт, что я работаю у вас, – все говорит само за себя.

– Тогда бежим скорей отсюда! Он покачал головой:

Квартал уже оцепили. Они подняли по тревоге поли цейских со всей округи. Я хочу, чтобы ты знала, что тебе делать и как держаться, когда они появятся здесь. Дэгни, у тебя только один шанс спасти меня. Если ты не вполне по няла то, что я сказал по радио о человеке, идущем посере дине, то поймешь это сейчас. У тебя нет срединного пути. Но тебе нельзя принять и мою сторону, пока мы у них в руках. Тебе придется встать на их сторону.

Что \

Тебе придется встать на их сторону настолько уве ренно, громогласно и последовательно, насколько позволит твоя способность к обману. Ты будешь заодно с ними. Ты должна будешь действовать, как мой злейший враг. Если ты так поступишь, у меня появится шанс выбраться живым. Я им слишком нужен, они испробуют все, прежде чем решатся убить меня. Все, что они отнимают у людей, они отнимают посредством того ценного, что есть у их жертв. Ни одна моя ценность не может стать их орудием против меня. Меня им шантажировать нечем. Но если у них появится хоть малей шее подозрение относительно нас с тобой, относительно того, что мы значим друг для друга, не пройдет и недели, как они подвергнут тебя жестоким пыткам – я имею в виду физические пытки – у меня на глазах. Я не намерен дожидаться этого. Как только я увижу, что тебе это угрожает, я покончу с собой, и они останутся ни с чем.

Он говорил без эмоций, тем же ровным рассудительным тоном, как всегда. Она знала, что он не отступится от своих слов, и понимала его правоту. Она поняла, что она одна может стать инструментом его гибели, тогда как все его враги бессильны. Он заметил, как она притихла, как в ее глазах появился ужас. Он слабо улыбнулся, кивнув ее мыслям.

– Мне не надо тебе говорить, – сказал он, – что, если я так сделаю, это не будет самопожертвованием. Я не хочу жить на их условиях, не собираюсь подчиняться им. Мне не улыбается мысль видеть твои страдания. Твои муки обесце нят мою жизнь, лишат мое будущее света и радости. Я не собираюсь влачить жалкое, лишенное ценностей существо вание. Не надо убеждать тебя, что у нас нет моральных обязательств перед теми, кто держит нас под прицелом. У тебя есть моральное право на любой обман, какой только в твоих силах. Они должны поверить, что ты ненавидишь меня. Тогда у нас будет шанс остаться в живых и бежать, не знаю, как и когда, но это станет ясно, когда я получу сво боду действий. Ты поняла?

Она заставила себя поднять голову, посмотреть ему прямо в глаза и кивнуть.

– Когда они явятся, – сказал он, – скажи им, что \ разыскивала меня для них, что у тебя

возникло подозрение, когда ты увидела мою фамилию в платежной ведомости, и ты отправилась сюда убедиться. Она согласно кивнула.

– Сначала я буду отрицать, что я тот самый Джон Галт; они могут узнать мой голос, но я попытаюсь отрицать и это, именно ты заявишь им, что я тот, кого они ищут.

Она помедлила чуть дольше, но опять кивнула.

– Потом ты потребуешь и примешь вознаграждение в пятьсот тысяч долларов, которое они обещали за мою по имку.

Она закрыла глаза и снова кивнула.

Дэгни, – медленно сказал он, – при их власти ты не сможешь служить своей системе ценностей. Рано или поздно, хотела ты этого или нет, входило это в твои планы или нет, они должны были довести тебя до такой точки, когда единственным, что ты сможешь сделать для меня, будет пойти против меня. Соберись с силами, сожми волю в кулак и сделай так, и тогда мы с тобой заработаем эти полчаса, а может быть, и будущее.

Я сделаю так, – твердо сказала она и добавила: – Если так случится, если они...

Так и будет. Не надо жалеть об этом. Я не жалею. Ты еще не видела, на что способны наши враги. Сейчас ты увидишь их подлинное нутро. Если я должен быть статистом в этом представлении, которое убедит тебя, то я готов к этой роли, чтобы отвоевать тебя у них раз и навсегда. Ты не могла ждать дольше? О Дэгни! Я тоже не мог!

Он так обнимал ее, так целовал, что она чувствовала: каждое ее действие, все опасности, сомнения, даже ее предательство, если это можно назвать предательством с ее стороны, – все это не лишало ее права на это великое мгновение любви. Он видел борьбу на ее лице, видел, как упрекала она себя за свой приход. Она слышала его голос сквозь пряди волос, которые он целовал:

Не думай сейчас о них. Никогда не думай о боли и опасности дольше, чем нужно, чтобы сразиться с ними. Ты здесь. Это наше время и наша жизнь, а не их. Не внушай себе, что ты несчастна. Ведь ты счастлива.

Ценой твоей возможной гибели? – прошептала она.

Ты не погубишь меня. Но даже если и так. Ты ведь не думаешь, что это безразличие, правда? Разве безразличие оказалось сильнее тебя, разве равнодушие привело тебя сюда?

Я... – Но тут потому, что правда оказалась невыносимо жестока, она притянула его губы к своим и бросила прямо ему в лицо: – Мне было безразлично, останется ли кто-нибудь из нас в живых, лишь бы только увидеть тебя сейчас!

Я был бы разочарован, если бы ты не пришла.

Знаешь ли ты, что это такое – ждать, подавлять же лание, откладывать на день, потом еще, потом...

Он улыбнулся:

– Знаю ли я?

Она беспомощно уронила руки при мысли о прошедших десяти годах.

Когда я слышала твой голос по радио, – сказала она, – когда я слышала величайшее заявление, которое когда-либо... Нет, у меня нет права говорить, что я подумала о нем.

Почему нет?

Ты думаешь, я с ним не согласна?

Ты будешь с ним согласна.

Ты говорил отсюда?

Нет, из долины.

А потом вернулся в Нью-Йорк?

На следующее утро.

И с тех пор оставался здесь? -Да.

Ты слышал, как они зывали к тебе каждую ночь?

Конечно.

Она медленно обвела глазами комнату, переводя взгляд с городских башен за окном на деревянные балки потолка, потрескавшуюся штукатурку стен, железные спинки кровати.

Ты оставался здесь все это время, – сказала она. – Двенадцать лет ты прожил здесь в этих условиях.

Да, в этих условиях, – сказал он, распахнув дверь в конце комнаты.

У нее перехватило дыхание: там, за порогом, находилось просторное, залитое светом помещение без окон, одетое панцирем мягкого блестящего металла, словно небольшой бальный зал на борту подводной лодки, – это была самая современная, рационально организованная лаборатория, какую ей когда-либо доводилось видеть.

– Пройдем, – улыбаясь, предложил он. – Теперь мне не надо ничего скрывать от тебя.

Она будто пересекла границу в другой мир. Там чистым блеском светилось новейшее сложное оборудование, свисали переплетения проводов. На стене висела большая доска, испещренная математическими формулами, на длинных подставках в строгом порядке, соответственно своему назначению стояли многочисленные приборы. Какой контраст с провалившимися полами и осыпавшейся штукатуркой на подходе к этой мастерской разума, подумала Дэгни. Или – или; вот выбор, перед которым поставлен мир, – человеческая душа в двух столь различных ипостасях.

Ты хотела знать, где я работаю одиннадцать месяцев в году, – сказал он.

Все это, – спросила она, обводя рукой лабораторию, – приобретено на зарплату, – она указала для сравнения и на жалкий чердак, – путевого рабочего?

Нет, конечно. На проценты, которые Мидас Мал-лиган выплачивает мне за электростанцию, защитный экран с локатором, радиопередатчик и кое-что еще в этом роде.

Но зачем тогда работать на путях?

Потому что средства, заработанные в долине, не должны быть потрачены вне ее.

Где ты достал оборудование?

Спроектировал сам, а изготовлено все в литейной Эн дрю Стоктона. – Он показал на неприметный предмет размером с радиоприемник, находившийся в углу комнаты: – Вот он, двигатель, которого ты так хотела. – Он весело рассмеялся, когда у нее перехватило дух от изумления и она рванулась вперед. – Нет смысла заниматься им сей час, ты ведь не собираешься передать его им.

Она не отрываясь смотрела на сверкающие металлические цилиндры, отливающие блеском пучки проводов и вспоминала проржавевший корпус, который, как памятная реликвия, хранился за стеклом в кладовой терминала.

– Он обеспечивает электроэнергией мою лабораторию, – сказал Галт, – чтобы никто не удивился, что скромный путевого рабочий расходует поразительно много электричества.

Но если они обнаружат это помещение? Он коротко и непонятно усмехнулся:

Не обнаружат.

Сколько же времени ты?..

Она не закончила. На сей раз дыхание у нее не перехватило: то, что она увидела, можно было отметить только минутой полной внутренней тишины. На стене, позади приборов и аппаратов, она увидела вырезанную из газеты фотографию – свой портрет, на котором она, в легких брюках и рубашке, стояла с высоко поднятой головой возле локомотива во время открытия линии Джона Галта, и ее улыбка заключала в себе весь смысл и значение того залитого солнечным светом дня.

Увидев фотографию, Дэгни издала тихий стон. Она повернулась к Галту, но выражение его лица сейчас было под стать ее лицу на фотографии.

– Тогда я символизировал все, что ты хотела стереть с лица земли, – сказал он. – Но ты для меня символизировала то, чего я хотел добиться. Такое люди чувствуют раз или два на протяжении всей жизни, как редкое исключение из вереницы дней. Но я, я выбрал это как норму для себя, как константу своей жизни.

Выражение его лица, спокойная уверенность во взгляде, логика мысли – все это превращало его слова в реальность для нее, реальность этого момента, этих обстоятельств их произнесения в этом времени и месте.

Когда он целовал ее, она знала, что, обнимая друг друга, они держат в своих руках величайший свой успех, что в эту реальность не могут вторгнуться ни боль, ни страх; это была реальность Пятого концерта Хэйли, награда, которой они искали, к которой стремились и которой достигли.

В дверь позвонили.

Первой ее реакцией было отпрянуть, его – теснее и крепче обнять ее.

Когда Галт поднял голову, он улыбался. Он сказал только:

– Теперь не время бояться.

Они прошли обратно в комнату, дверь в лабораторию захлопнулась за ними.

Он молча подал ей пальто, подождал, когда она завяжет пояс и наденет шляпу. Потом направился к входной двери и открыл ее.

Трое из четверых вошедших были крепкие, мускулистые мужчины в военной форме, каждый с двумя револьверами на поясе; их грубые широкие лица ничего не выражали. Четвертым вошел их старший, тщедушный человечек в гражданском, с аккуратными усиками, бледно-голубыми глазами и манерами интеллигента из породы тех, кто специализируется на связях с общественностью. Он был в дорогом пальто.

Войдя в комнату, он заморгал, сделал шаг вперед от порога, остановился, сделал еще шаг и опять остановился.

Итак? – спросил Галт.

Ваше имя... э-э... Джон Галт? – слишком громко спросил человек в гражданском.

Да, это мое имя.

Вы тот самый Джон Галт?

Который?

Вы выступали по радио?

Когда?

Полно дурачить нас. – Твердый голос с металлическими нотками принадлежал Дэгни. Она обратилась к старшему: – Да, он именно тот Джон Галт. Доказательства я представлю вашему руководству. Вы можете продолжать.

Галт повернулся к ней как к незнакомке:

– Вы хоть теперь скажете мне, кто вы и что вам здесь надо?

На ее лице ничего не отразилось. На лицах вошедших – тоже.

– Мое имя – Дэгни Таггарт. Мне надо было убедиться, что вы тот человек, которого разыскивает вся страна.

Он обернулся к старшему.

Хорошо, – сказал он. – Я Джон Галт, но если вы хотите, чтобы я вообще отвечал вам, уберите от меня ва шего, – он указал на Дэгни, – стукача.

Мистер Галт! – закричал штатский, размещая в го лосе максимум жизнерадостности. – Какая честь найти вас, большая честь и удача! Прошу вас, мистер Галт, правильно понять нас,

мы готовы удовлетворить ваши пожелания. И конечно, у вас нет необходимости общаться с мисс Таггарт, если вам не хочется... Мисс Таггарт только пыталась исполнить свой патриотический долг, но...

Я сказал: уберите ее.

Мы вам не враги, мистер Галт, уверяю вас, мы вам не враги. – Он повернулся к Дэгни: – Мисс Таггарт, вы оказали стране неоценимую услугу. Вы заслужили величайшую благодарность народа. Позвольте нам самим с этого момента заниматься этим делом. – Мягко, чтобы не обидеть, он начал оттирать Дэгни на задний план, за спины солдат.

Что вам нужно? – спросил Галт.

Страна ждет вас, мистер Галт. Что же до нас, то мы хотим одного – развеять свои опасения. Надеемся, что можем рассчитывать на ваше сотрудничество. – Рукой в перчатке он сделал знак своим людям.

Заскрипели половицы, солдаты молча приступили к обыску: они открывали ящики стола, шкафа, заглядывали во все углы.

Завтра утром нация ощутит подъем духа, узнав, что вас нашли.

Что вам нужно?

Мы просто хотим приветствовать вас от имени народа.

Я арестован?

– К чему такие устаревшие понятия? Наша задача – всего лишь доставить вас на совещание к высшему руководству страны, ваше присутствие там очень актуально. – Он сделал паузу, но Галт молчал. – Высшие руководители страны желают посоветоваться с вами, именно посоветоваться и достигнуть дружеского взаимопонимания.

Солдаты ничего не обнаружили, кроме одежды и кухонной утвари, – ни книг, ни писем, ни даже газет. Можно было подумать, что здесь обитал неграмотный.

Наша цель – всего лишь помочь вам занять подобающее место в обществе, мистер Галт. Кажется, вы сами не осознаете своей общественной значимости.

Осознаю.

Мы здесь только для того, чтобы защитить вас.

Заперто! – объявил один из солдат, ударив кулаком в дверь лаборатории.

Старший изобразил вежливую улыбку:

Что находится за этой дверью, мистер Галт?

Частное владение.

Не будете любезны открыть?

Нет.

Старший развел руки в жесте печальной необходимости:

К несчастью, у меня инструкции. Порядок есть порядок, знаете ли. Нам нужно открыть и осмотреть помещение.

Открывайте.

Это всего лишь формальность, простая формальность. Нет причин выходить за рамки дружеских отношений. Хорошо бы получить ваше содействие.

Я сказал – нет.

Уверен, вы не хотите, чтобы мы прибегали к... особым мерам. – Ответа он не получил. – Нам дано разрешение взломать двери, но, само собой, мы не хотели бы к этому прибегать. – Он снова подождал, но ответа не получил. – Ломайте замок! – приказал он солдатам.

Дэгни взглянула в лицо Галта. Оно сохраняло полное спокойствие, он смотрел прямо перед собой, на дверь, ни одна черточка его лица не дрогнула. Замок представлял собой простую маленькую квадратную пластинку из полированной меди, без скважины или иных

приспособлений.

Трое солдат невольно замолчали и не двигались, пока их старший осторожно примеривался с инструментами взломщика к необычному замку.

С деревом проблем не возникло, оно легко поддавалось, полетели щепки; в тишине треск дерева производил такое впечатление, будто разбивали тараном крепостные ворота. Когда взломщик добрался фомкой до замка, за дверью послышался легкий шелест, не громче шороха утомленного ветерка. Еще через минуту замок выпал из панели и дверь растворилась на дюйм.

Солдат отскочил назад. Старший приблизился импульсивными, как икота, шажками и распахнул дверь. Перед ними непроглядной, плотной тьмой зияла черная дыра.

Они переглянулись и посмотрели на Галта. Галт не ше-ельнулся, он смотрел во тьму.

Дэгни прошла вслед за ними, когда они переступили порог, светя себе фонариками. Они оказались в длинном металлическом контейнере, пустом, если не считать наносов тяжелой пыли на полу – странной сероватой пы-ш, которая словно веками копилась от рассыпавшихся в прах руин. Комната выглядела мертвой, как пустой череп.

Дэгни отвернулась, чтобы они не увидели на ее лице фик души, знавшей, чем была эта пыль всего несколько минут назад. «Только мысль откроет эту дверь, – сказал он ей тогда у входа в здание электростанции Атлантиды. – Если кто-то попытается взорвать ее мощнейшей взрывчаткой, оборудование превратится в груды лома намного раньше, чем поддастся дверь». Не пытайся открыть эту дверь, думала она и знала, что то, что сейчас у нее перед глазами, служило наглядной формой утверждения: не пытайся насиловать разум.

Все молча вернулись назад и направились было к выходу, но остановились в нерешительности, один здесь, другой там, будто выброшенные на берег отливом.

– Что ж, – сказал Галт, надевая плащ и поворачиваясь к старшему, – пойдете.

Три этажа отеля «Вэйн-Фолкленд» были освобождены и переданы в распоряжение военных. В длинных застеленных коврами коридорах на каждом углу стояли посты с пулеметами.

На площадках пожарных лестниц стояли часовые со штыками. На пятьдесят девятом, шестидесятом и шестьдесят первом этажах двери лифтов заперли на замок, оставив для доступа одну дверь и один лифт, охраняемые солдатами при полной боевой выкладке. В холлах, ресторанах и бутиках первого этажа болтались странного вида люди: их костюмы были слишком дорогими и слишком новыми; они безуспешно пытались сойти за завсегдатаев и гостей отеля – костюмы плохо сидели на плечистых, мускулистых фигурах и к тому же оттопыривались в тех местах, где пиджакам бизнесменов оттопыриваться вовсе незачем, в отличие от пиджаков громил.

У всех входов и выходов были выставлены посты автоматчиков, как и возле домов на соседних улицах, где находились стратегически важные точки.

В центре этой цитадели, на шестидесятом этаже, в так называемых королевских покоях отеля «Вэйн-Фолкленд», среди атласных драпировок, хрустальных люстр и лепных гирлянд и оказался Джон Галт в своих легких брюках и простой рубашке. Он сидел в обитом парчой кресле, бросив ноги на бархатный пуфик; скрестив руки за головой, он смотрел в потолок.

В этой позе и застал его мистер Томпсон, когда четверо постовых, поставленных с пяти

утра у дверей королевских покоев, открыли их в одиннадцать часов дня, чтобы впустить мистера Томпсона, и вновь закрыли.

Мистер Томпсон на миг испытал весьма неприятное ощущение, когда за ним щелкнул замок и он остался наедине с узником. Но он вспомнил газетные заголовки и объявления по радио, которые с раннего утра возвещали на всю страну: «Обнаружен Джон Галт!.. Джон Галт в Нью-Йорке!.. Джон Галт с народом!.. Джон Галт совещается с вождями нации, изыскивая скорейшее решение всех наших проблем!» – и настроил себя на то, чтобы поверить в это.

– Так-так-так! – начал он веселым, благодушным тоном, подходя к креслу, в котором разместился Джон

Галт. – Вот он, человек, заваривший всю кашу. – Увидев внимательные темно-зеленые глаза, обратившиеся на него, он поперхнулся и сменил тон: – Я прямо сгораю от любопытства, мистер Галт, прямо-таки сгораю. Меня, вы знаете, зовут мистер Томпсон.

– Добрый день, – сказал Галт.

Мистер Томпсон плюхнулся в кресло, резвостью движений показывая, что настроен дружелюбно и по-деловому.

– Надеюсь, вы не вообразили, что арестованы или что-то в этом роде. – Он обвел рукой комнату. – На тюрьму, как видите, ничуть не похоже. Обращаются с вами хорошо. Вы человек выдающийся, весьма выдающийся, и нам это известно. Устраивайтесь как дома. Требуйте все, что вам угодно. Гоните взащей любого паршивца, который вас не слушается. И если кто-то из охраны придется вам не по душе, только скажите слово, и мы пришлем другого.

Он умолк выжидая. Но ответа не получил.

– Мы доставили вас сюда только потому, что хотим поговорить с вами. Мы не поступили бы таким образом, но вы не оставили нам выбора. Вы скрылись. А нам очень хотелось сказать вам, что вы заблуждаетесь на наш счет.

С обезоруживающей улыбкой он вытянул вперед руки ладонями вверх. Галт, не отвечая, следил за ним.

– Вы произнесли впечатляющую речь. Вот уж точно, вы оратор! Из-за этой речи со страной что-то случилось, не знаю, что и почему, но случилось. Люди как будто хотят чего-то такого, что вы можете им дать. Но вы полагали, что мы будем категорически против? Вот тут вы ошибаетесь! Мы не против. Лично я считаю, в вашей речи много разумного. Да, сэр, считаю. Конечно, это не означает согласия с каждым вашим словом, но какого черта, ведь вы и не думаете, что мы должны быть согласны до последней запятой, а? Расхождение во мнениях – основа движения. Что до меня, я всегда готов изменить свое мнение. Я открыт для переговоров.

Он наклонился вперед, приглашая к разговору. Ответа он не получил.

Мир катится в преисподнюю. Тут вы правы. Тут я с вами заодно. В этом пункте мы сходимся. Отсюда и начнем. Что-то надо предпринять. Все, чего я добивался, это... По слушайте, – внезапно закричал он, – почему вы не даете мне возможности поговорить с вами?

Вы говорите со мной.

Я... то есть я... ну хорошо, вам понятно, что я имею в виду.

Вполне.

Ну и?.. Что вы хотите сказать?

Ничего.

То есть?

То есть ничего.

Ну, полно!

Я не искал встречи с вами.

Но послушайте! У нас есть что обсудить!

У меня нет.

Послушайте, – сказал мистер Томпсон после паузы, – вы человек действия, человек практичный. Ну конечно, вы человек практичный! Может, чего-то другого я о вас не знаю, но в этом-то уверен. Разве не так?

Практичный? Да.

Ну так я тоже. Мы можем говорить без обиняков. Можем выложить карты на стол. Какую бы цель вы ни преследовали, я предлагаю вам сделку.

Я всегда открыт для честной сделки.

Я так и знал! – торжественно воскликнул мистер Томпсон, ударив кулаком по колену. – Говорил же я им, этим горе-теоретикам, интеллигентам вроде Висли!

Я всегда открыт для сделки со всеми, у кого есть ценное для меня предложение.

Мистер Томпсон не мог бы объяснить почему, но его сердце екнуло, прежде чем он сказал: Так излагайте же ваши условия, дорогой мой! Излагайте!

Что вы можете мне предложить?

Ну... все.

А именно?

– Все, что вы потребуете. Вы ведь слышали наше обращение к вам на коротких волнах?

– Да.

Мы говорили, что выполним ваши условия, любые условия. Мы не обманывали.

А вы слышали, как я сказал по радио, что не намерен договариваться об условиях? Я не обманывал.

Но послушайте! Вы неправильно нас поняли! Вы думали, что мы будем бороться с вами. Но мы не будем. Не так уж мы негибки. Мы готовы рассмотреть любую идею. Почему вы не ответили на наш призыв объявиться и вступить в диалог?

Почему я должен был отвечать?

Потому что... потому что мы хотели поговорить с вами от имени страны.

Я не признаю за вами права говорить от имени страны.

Послушайте, однако, я не привык, чтобы со мной... Ну хорошо, почему бы вам просто не выслушать меня. Вы выслушаете меня?

Я слушаю.

Страна в ужасном состоянии. Народ голодает и потерял надежду, экономика разваливается, никто ничего не производит, и мы не видим выхода. Но вы видите. Вы знаете, как заставить все и всех работать. Хорошо, мы готовы уступить. Мы хотим, чтобы вы сказали нам, что делать.

Я сказал вам, что делать.

И что же?

Убирайтесь с дороги.

Но это невозможно! Что за фантазии! Об этом не может быть и речи!

Вот видите? Я же говорил, что нам нечего обсуждать.

Подождите же! Стойте! Не надо крайностей! Всегда существует золотая середина. Нельзя иметь все. Мы не... Народ не готов к этому. Нельзя же выбросить на свалку государственную машину. Мы должны сохранить систему. Но мы готовы усовершенствовать ее. Мы реформируем ее так, как вы укажете. Мы не упрямые догматики, мы гибки.

Мы сделаем все, что вы скажете. Мы дадим вам полную свободу действий. Мы будем содействовать, пойдем на компромисс. Все распишем пополам. Мы оставим за собой сферу политики и отдадим экономику полностью в ваше распоряжение. Вы будете делать все, что захотите, издавать указы, отдавать приказы, а за вами будет стоять организованная сила государства, государственная машина – она по вашей команде будет внедрять ваши решения. Мы

готовы исполнять вашу волю, все до одного, начиная с меня. В сфере производства мы сделаем все, что вы скажете. Вы будете... вы будете экономическим диктатором страны!

Галт рассмеялся.

Смех был так весел, что шокировал мистера Томпсона.

Что с вами?– спросил он.

Так вы понимаете компромисс?

Какого черта?! Что вы нашли в этом забавного?.. Видно, вы меня не поняли. Я предлагаю вам должность Висли Мауча, большего вам никто предложить не может!.. У вас будет свобода делать все, что захотите. Не нравится контроль – отмените его. Захотите повысить прибыли и снизить заработную плату – издавайте указ. Желаете ооо бых льгот для крупного бизнеса – пожалуйста. Не нравят ся профсоюзы – распустите их. Угодна вам свободная экономика – велите людям быть свободными. Кроите, как душе угодно. Но запустите двигатель. Наведите порядок в стране. Заставьте людей снова работать. Заставьте их сози дать. Верните своих людей – людей дела и разума. Ведите нас в век мира, науки, промышленности, в век процветания.

Под дулом пистолета?

Послушайте, я... Что же в этом смешного?

Объясните мне одно: если вы способны притвориться, будто не слышали ни слова из того, что я сказал по радио, что позволяет вам думать, что я готов притворяться, будто я этого не говорил?

Не пойму, что вы имеете в виду. Я...

Забудьте. Вопрос риторический. Его первая часть от вечает на вторую.

Простите?

Я не играю в ваши игры, приятель, – если вам нужен перевод.

Означает ли это, что вы отказываетесь от моего пред ложения?

Отказываюсь.

Но почему?

Мне понадобилось четыре часа, чтобы сказать об этом по радио.

Бросьте, это только теория! Я же говорю о деле. Я предлагаю вам самый высокий пост в мире. Скажите, что тут не так.

За те четыре часа я сказал вам, что ничего у вас не по лучится.

У вас получится.

Как?

Мистер Томпсон развел руками:

Не знаю. Если бы знал, не пришел бы к вам. Ответить должны вы. Вы ведь промышленный гений. Вам все под силу.

Я уже сказал, что это невозможно.

Вы можете сделать это.

Как?

Ну, как-нибудь. – Он заметил, что Галт улыбнулся, и добавил: – Но почему нет? Скажите мне – почему?

Хорошо, я скажу вам. Вы хотите, чтобы я стал эконо мическим диктатором?

– Да!

И вы будете исполнять все мои приказы?

Полностью!

Тогда для начала отмените подоходный налог и налог на прибыль.

О нет! – вскричал мистер Томпсон, вскочив с кресла. – Этого мы не можем сделать! Это... это уже не сфера производства. Это сфера распределения. Как мы тог да сможем платить

государственным служащим?

Увольте государственных служащих.

О нет! Это уже политика, а не экономика! Вы не можете вмешиваться в политику. Нельзя иметь все!

Галт скрестил ноги на пуфе, удобнее устраиваясь в парчовом кресле.

Хотите продолжить беседу? Или вам уже все ясно?

Я только... – Мистер Томпсон замолчал.

Согласны, что мне ваша идея понятна?

Послушайте, – примиряюще сказал мистер Томпсон, присев на край кресла. – Я не хочу спорить. Споры не моя сильная сторона. Я человек дела. Время дорого. Все, что я знаю: у вас есть дар. У вас есть ум, который нам нужен. Вам все под силу. Вы можете добиться успеха, если захотите.

Хорошо, скажем по-вашему: я не хочу. Я не хочу быть экономическим диктатором, даже на то время, которое нужно, чтобы отдать людям приказ быть свободными, приказ, который каждый разумный человек швырнет мне в лицо, потому что знает: его права не могут быть даны, по лучены или изъяты с вашего или моего разрешения.

Скажите, – сказал мистер Томпсон, задумчиво глядя на Галта, – чего вы добиваетесь?

Я сказал об этом по радио.

Мне непонятно. Вы сказали, что преследуете собственные эгоистические интересы. Это я могу понять. Но чего, собственно, вы добиваетесь от будущего – того, чего не смогли бы получить от нас прямо сейчас, на блюдечке с голубой каемочкой? Я думал, что вы эгоист и человек практичный. Я даю вам подписанный чек на любую сумму, какую пожелаете, а вы мне говорите, что он вам не нужен. Почему?

Потому что ваш чек не обеспечен.

Что!

Потому что вы не можете предложить мне никаких ценностей.

Я могу предложить вам все что угодно. Только называйте.

Назовите вы.

Ладно. Вы много толковали о богатстве. Если вам нужны деньги, я могу вам дать за одну минуту столько, сколько вы не заработаете за три жизни, как говорится, деньги на бочку – наличными. Хотите миллиард долларов – аккуратный, классный миллиард?

Который я должен заработать, чтобы вы его мне дали?

Нет, я имею в виду, прямо из казначейства, в новеньких хрустящих купюрах или... или даже, если предпочитаете, в золоте.

Что я смогу купить на него?

Ну-ну, когда страна снова встанет на ноги...

Когда я снова поставлю ее на ноги?

А если вы хотите все вершить по-своему, если ваша цель – власть, я могу гарантировать вам, что в этой стране каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок будут беспрекословно выполнять ваши распоряжения и делать все, что вы захотите.

После того, как я их этому научу?

Если вам что-то нужно для ваших людей, для всех, кто исчез, работа, должности, положение, налоговые льготы, какие-то особые привилегии, только скажите, и они все получат.

После того, как я их верну сюда?

Но чего же вы в конце концов хотите?

Какой мне в конце концов прок от вас?

Простите?

Что вы можете мне предложить, чего я не могу полу чить без вас?

Теперь мистер Томпсон смотрел другим взглядом. Он отодвинулся назад, будто его загнали в угол. Он впервые твердо выдержал взгляд Галта и медленно произнес:

– Без меня вы не сможете покинуть эту комнату.

Галт усмехнулся:

Правильно.

Вы уже не сможете что-либо создать. Вас можно будет уморить голодом.

– Да.

– Что же вам теперь неясно? – К мистери Томпсону вернулись благодущие, благорасположение и благоволение, словно эта тональность голоса вместе с юмором могли благополучно снять эффект ясно выраженного и однозначно понятого намека. – У меня есть что предложить вам – ваша жизнь.

– Она не ваша, и не вам ее мне предлагать, мистер Томпсон, – негромко сказал Галт.

В голосе его прозвучало нечто, от чего мистер Томпсон дернулся и взглянул на Галта, потом дернулся снова и отвел взгляд – улыбка Галта показалась ему слишком мягкой.

Теперь, – сказал Галт, – вам понятно, что я имел в виду, когда сказал, что нуль не может быть принят в качестве залога за жизнь? Такой залог за свою жизнь должен бы предложить вам я, но я вам этого не предлагаю. Снятие угрозы ничего не может оплатить, отрицание отрицания не есть награда, устранение ваших вооруженных бандитов не может служить стимулом, ваш намек о расправе со мной не обладает ценностью.

Кто говорит о расправе?

А кто говорит о чем-то другом? Если бы вы не удер живали меня здесь силой, угрожая смертью, вы не получили бы возможности говорить со мной. Но это все, чего вы можете добиться силой. Я не плачу за снятую угрозу. Я ни у кого не выкупаю свою жизнь.

Это неверно, – веселым тоном парировал мистер Томпсон. – Если вы сломали ногу, вы платите врачу, что бы он ее вылечил.

Нет, не стану платить, если он сам ее мне сломал. – Заметив, что мистер Томпсон замолк, Галт улыбнулся: – Я человек практичный, мистер Томпсон. Я не считаю практичным поддерживать врача, который зарабатывает на жизнь, ломая мне ноги. Я не считаю практичным поддерживать живатъ шантаж и вымогательство.

Мистер Томпсон подумал, потом потряс головой.

– Не думаю, что вы практичны, – сказал он. – Практичный человек не игнорирует факты действительности. Он не тратит время попусту, мечтая, чтобы все обстояло иначе, или стараясь все изменить. Он принимает все, как есть. Мы Держим вас под стражей. Это факт. Нравится вам это или нет, но это факт. В соответствии с этим вы и должны действовать.

Я и действую в соответствии с этим.

Я имею в виду, что вы должны сотрудничать. Вам следует признать нынешнее положение дел, смириться с ним и приспособиться к нему.

Если бы у вас случилось заражение крови, вы бы к не му приспособивались или действовали так, чтобы его не стало?

Ну, это другое. Нечто физическое.

То есть, по-вашему, физические факты доступны кор рекции, а ваши причуды нет?

Не понял.

– По-вашему, физический мир можно приспособить к людям, а ваши причуды и капризы выше законов природы, и люди должны приспособиваться к вам!

Я имею в виду, что сила на моей стороне, вы в моих руках.

И в ваших руках оружие?

Забудьте об оружии! Я...

Я не могу забыть факт действительности, мистер Томпсон, это было бы непрактично.

Хорошо, у меня в руках оружие. Что вы можете предпринять в таком случае?

Я буду действовать в соответствии с этим. Я подчинюсь вам.

Что!

Я буду делать то, что вы мне скажете.

В самом деле?

В самом деле. Буквально. – Галт увидел, как энтузиазм на лице мистера Томпсона сменился озадаченностью. – Я буду исполнять все, что вы прикажете. Распорядитесь, чтобы я занял должность экономического диктатора, – я займу его кабинет. Прикажете мне сесть за рабочий стол – сяду. Прикажете издать указ – я издам тот указ, какой вы прикажете.

Но я не знаю, какой указ издать!

Я тоже не знаю.

Наступила долгая пауза.

Итак, – сказал Галт, – какие будут приказания?

Я хочу, чтобы вы спасли экономику страны!

Я не знаю, как ее спасти.

Я хочу, чтобы вы нашли способ!

Я не знаю, как ее спасти.

Я хочу, чтобы вы подумали!

С помощью вашего оружия, мистер Томпсон? Мистер Томпсон молча посмотрел на Галта. По плотно сжатым губам, выпяченному подбородку, сузившимся глазам Галт увидел в нем ошарашенного забияку-подростка, готового вот-вот привести последний аргумент в философском споре, суть которого выражается словами: я тебе морду набью. Галт улыбнулся, прямо глядя на мистера Томпсона, словно услышав произнесенную фразу и улыбкой выявляя ее. Мистер Томпсон отвел взгляд.

– Нет, – сказал Галт, – вы не хотите, чтобы я думал. Принуждая человека поступать вопреки его воле и выбору, вы прежде всего запрещаете ему мыслить. Вы хотите, чтобы он стал роботом. И я подчинюсь.

Мистер Томпсон вздохнул.

Ничего не понимаю, – сказал он тоном искренней беспомощности. – Чего-то не хватает, не пойму чего. Зачем вам напрашиваться на неприятности? С вашим умом вы любого заткнете за пояс. Я вам не ровня, и вы это знаете. Почему бы вам притворно не присоединиться к нам, а потом взять власть в свои руки и оставить нас в дураках?

По той же причине, по которой вы это предлагаете: тогда вы бы победили.

То есть?

Именно попытки настоящих людей одолеть вас на ваших условиях позволили вашему брату преуспевать долгие столетия. Кто из нас имел бы успех, если бы я стал бороться с вами за контроль над вашими битюгами? Конечно, я мог бы притвориться – тогда я не спас бы вашу экономику и вашу систему, и ничто бы ее не спасло, но я бы погиб, а вы выиграли бы то же, что выигрывали во все времена: от срочку, передышку, еще год или месяц перед казнью, купленные ценой жестокого насилия и эксплуатации последних еще оставшихся в мире настоящих людей, включая меня. Вот ваша цель и вот диапазон ваших стремлений. Месяц? Да вы согласитесь на неделю в надежде, которая раньше всегда оправдывалась, что найдется еще одна жертва. Но теперь перед вами ваша последняя жертва, и она отказалась играть отводившуюся ей до сих пор историей роль. Игра окончена, приятель.

– Это все теория! – рявкнул мистер Томпсон, пожалуй, чересчур с сердцем. Глаза его

забежали по комнате, словно взамен нервного расхаживания. Он взглянул и на дверь, будто стремясь скрыться. – Вы говорите, что, если мы не оставим вам страну, мы погибнем?

– Да.

Тогда, поскольку мы вас арестовали, вы погибнете вместе с нами.

Возможно,

Разве вы не хотите жить?

Страстно хочу. – Галт заметил, как в глазах мистера Томпсона блеснула искра надежды, и усмехнулся: – Скажу больше: я знаю, что хочу жить намного сильнее, чем вы. Я понимаю, на этом вы и строите свои расчеты. Я знаю, что в сущности вы вовсе не хотите жить. Это я хочу. И именно потому, что я хочу этого так сильно, я не приму никакого заменителя.

Мистер Томпсон вскочил с места.

– Это неправда, – закричал он, – что я не хочу жить, это неправда! Почему вы так говорите? – Он стоял, слегка сжавшись, будто от внезапного озноба. – Почему вы такое говорите? Я никак этого не пойму. – Он отскочил на несколько шагов назад. – Неправда, что я какой-то голо ворез. Вовсе нет. Я не намерен причинять вам вред. Такого намерения у меня никогда не было. Я хочу, чтобы люди любили меня, хочу быть вам другом... Я хочу быть вам другом! – прокричал он в пространство.

Галт наблюдал за ним, его взгляд ничего не выражал, по его глазам нельзя было догадаться, что они видят, кроме того, что они видят все.

Мистер Томпсон внезапно встрепенулся и без всякой необходимости слегка задержался, словно спешил.

Мне пора, – сказал он. – Я... у меня много дел. Мы еще поговорим. Обдумайте все. Не торопитесь. Я не хочу давить на вас. Отдохните, успокойтесь, почувствуйте себя как дома. Требуйте себе что хотите – еду, напитки, сигареты, все самое лучшее. – Он показал на одежду Галта: – Я велю заказать для вас приличную одежду у самого дорогого портного в городе. Хочу, чтобы вы не испытывали никаких неудобств и... Скажите, – спросил он излишне небрежно, – у вас есть семья? Вы хотели бы кого-нибудь видеть, род ственников?..

Нет.

Друзей?

Нет.

Любимую женщину?

Нет.

Просто мне хочется, чтобы вам не было одиноко. Вы можете принимать гостей, посетителей, только назовите их имена, было бы желание.

Нет, никого.

Мистер Томпсон чуть помешкал у двери, с минуту смотрел на Галта и покачал головой.

– Не могу вас понять, – сказал он. – Никак не могу понять.

Галт улыбнулся, пожал плечами и ответил:

– Кто такой Джон Галт?

У входа в отель «Вэйн-Фолкленд» резкий ветер кружил хлопья мокрого снега. Вооруженные постовые выглядели в полосах света неуместно беспомощными и отчаявшимися;

они стояли, нахохлившись, вобрав голову в плечи, обняв ДЛЯ тепла автоматы. Казалось, разряди они в диком всплеске злобы всю обойму во мрак ночи, это не принесет им облегчения.

Улицу перебежал Чик Моррисон, глава Комитета пропаганды и агитации; он спешил на совещание на пятьдесят девятом этаже. Ему по долгу службы бросалась в глаза удивительная летаргия одиноких прохожих: постовые не вызывали у них никакого любопытства, они не удосуживались взглянуть на заголовки нераспроданных газет, которые влажной горкой лежали на прилавке киоска с оборванным, продрогшим продавцом. В них варьировалась одна тема: «Джон Галт обещает процветание».

Чик Моррисон огорченно покачал головой: каждый день на первых полосах газет людям внушалось крупным шрифтом, что вожди нации действуют единым фронтом с Джоном Галтом, вырабатывая новую экономическую политику, – и никакого эффекта. Люди, заметил он, шли так, будто им не хотелось видеть ничего вокруг. Его тоже никто не замечал, кроме какой-то старухи в лохмотьях, которая без слов протянула к нему руку, когда он подошел к освещенному подъезду; он проскочил мимо, и только мокрые хлопья упали на голую иссохшую ладонь.

От вида улиц голос его звучал раздраженно и встревоженно, когда он обратился к узкому кружку лиц, собравшихся на пятьдесят девятом этаже у мистера Томпсона. Выражение лиц собравшихся вполне соответствовало тону его голоса.

Никакого эффекта, – сказал он, указывая в под тверждение на груди донесений от своих агентов и аналитиков. – Мы ежедневно говорим в своих выпусках о сотрудничестве с Джоном Галтом, но на людей это не производит никакого впечатления. Им все безразлично. Они ничему не верят. Некоторые заявляют, что он никогда не будет со трудничать с нами. Большинство вообще не верят, что мы его заполучили. Не могу понять, что случилось с людьми. Они не верят ни единому слову. – Он тяжело вздохнул. – Позавчера в Кливленде закрылись еще три фабрики, вче ра – пять в Чикаго. В Сан-Франциско...

Знаю, знаю, – перебил его мистер Томпсон, плотнее закутывая шарфом шею: ТЭЦ вышла из строя. – Выбора нет, решение одно: он должен уступить и взяться за дело. Должен\

Висли Мауч смотрел в потолок.

Не просите меня еще раз говорить с ним, – сказал он и вздрогнул. – Я старался. Никто не сможет договориться с этим человеком.

Я... я тоже не смогу, мистер Томпсон! – воскликнул Чик Моррисон, когда блуждающий взгляд мистера Томпсона остановился на нем. – Я подам в отставку, если вы пошлете меня к нему! Я не выдержу! Не застав ляйте меня!

Никому ничего не удастся, – сказал доктор Феррис. – Попусту тратим время. Он не слышит ни одного обращенного к нему слова.

Фред Киннен усмехнулся:

Ты хочешь сказать, что он слышит слишком много. И что еще хуже, дает ответ.

Тогда почему бы тебе не попытаться еще раз? – окрысился на Киннена Мауч. – Тебе вроде бы понравил ось. Почему бы тебе не попытаться убедить его?

– Зачем? – спросил Киннен. – Не обманывай себя, приятель. Никому не удастся переубедить его. Я не намерен пытаться снова... Понравилось? – добавил он удивлен но. – А что? Пожалуй, да.

– Да что с тобой? Он что, начинает тебе нравиться? Он что, берет над тобой верх?

Надо мной? – безрадостно усмехнулся Киннен. – Какой ему от меня прок? Когда победит, он первым вы швырнет меня... Просто он говорит дело.

Ему не победить! – рявкнул мистер Томпсон. – Об этом не может быть и речи!

Последовало долгое молчание.

В Западной Виргинии голодные бунты, – сообщил Висли Мауч. – А в Техасе фермеры...

Мистер Томпсон! – с отчаянием в голосе воскликнул Чик Моррисон. – Может быть, дать народу возможность увидеть его... на массовом митинге... или по телевидению... только увидеть, чтобы они убедились, что он у нас... Это может воодушевить людей хотя бы на время, а нам даст передышку...

Слишком опасно, – вмешался доктор Феррис. – Нельзя подпускать его близко к людям. Он может выкинуть что угодно.

Он должен уступить, – упрямо твердил мистер Томпсон. – Должен присоединиться к нам. Один из вас должен...

Нет! – закричал Юджин Лоусон. – Только не я! Я не хочу встречаться с ним! Ни разу! Мне незачем убеждаться!

В чем? – спросил Джеймс Таггарт. В его голосе звучала опасная нотка безрассудной издевки. Лоусон не ответил. – Чего ты испугался? – Презрение в голосе Тагарта звучало намеренно подчеркнуто. Казалось, видя, что кто-то напуган еще больше, чем он, Таггарт испытывал соблазн бросить вызов собственному страху. – В чем ты боишься убедиться, Юджин?

Нет, нет, меня не убедить! Я ни за что не поверю! – Лоусон наполовину рычал, наполовину всхлипывал. – Вы не заставите меня потерять веру в человечество! Нельзя позволять, чтобы существовали такие люди! Безжалостный эгоист, который...

– Вы жалкая кучка хлюпиков-интеллигентов, вот вы кто, – презрительно сказал мистер Томпсон. – Я думал, вы сможете договориться с ним на его языке. А он вас всех перепугал до смерти. Идеи? Где же ваши идеи? Сделайте что-нибудь! Заставьте его присоединиться к нам! Завоюйте его!

Беда в том, что он ничего не хочет, – сказал Мауч. – Что можно предложить человеку, которому ничего не надо?

В смысле, – добавил Киннен, – что мы можем предложить человеку, который хочет жить? Заткнись! – взвизгнул Джеймс Таггарт. – Что ты говоришь? Откуда такие мысли?

А почему ты визжишь? – спросил Киннен.

Успокойтесь все! – скомандовал мистер Томпсон. – Друг с другом воевать мастера, а как дойдет до схватки с на стоящим мужчиной...

Так значит, он и вас охмурил? – встрепенулся Лоусон.

Умерь свой пыл, – устало сказал мистер Томпсон. – Это самый крепкий орешек, который мне когда-либо попадался. Вам этого не понять. Крепче не бывает... – В его голос вкралась едва заметная нотка восхищения.

И крепкий орешек можно расколоть, – небрежно процедил доктор Феррис, – я ведь объяснял вам как.

Нет! – закричал мистер Томпсон. – Нет! Замолчи! Не хочу слушать тебя! Я тебя не слышал! – Его руки судорожно задвигались, словно он отчаянно пытался стряхнуть с себя что-то, что не хотел даже назвать. – Я ему сказал... что это неправда... что мы вовсе не... что я не... – Он неистово затряс головой, будто в одних словах уже таилась неведомая, ни с чем несравнимая опасность. – Нет, друзья, надо понять, что мы должны быть практичны и... осторожны. Дьявольски осторожны. Надо все повернуть мирно. Нельзя настраивать его против нас. Нельзя причинять ему вред. Мы не можем рисковать, с ним ничего не должно слушаться. Потому что не будет его – не будет и нас. Он наша последняя надежда. На этот счет не должно быть недопонимания. Не будет его – и мы погибнем. Мы все это знаем и понимаем. – Он обвел всех взглядом. Они знали и понимали.

Мокрый снег валился и на следующее утро, покрывая первые полосы газет, которые сообщали о плодотворном, в духе полного взаимопонимания совещании вождей нации с Джоном Галтом, имевшем место вчера, во второй половине дня. На совещании был разработан

план Джона Галта, который вскоре будет обнаружен. Вечером снегопад усилился и толстым слоем покрыл мебель в комнатах жилого дома, у которого обрушился фасад. Снег падал и на толпу людей, которые молча ждали у закрытой кассы фабрики, владелец которой исчез.

– В Южной Дакоте, – сообщил на следующее утро мистеру Томпсону Висли Мауч, – фермеры двинулись Маршем на столицу штата, сжигая по пути все правительственные здания и все частные дома стоимостью выше десяти тысяч долларов.

Калифорния разлетелась вдребезги, – сообщил он вечером. – Там идет гражданская война или, во всяком случае, нечто весьма на нее похожее. Они объявили, что выходят из Соединенных Штатов, но пока никто не знает, кто там стоит у власти. По всему штату идет вооруженная борьба между Народной партией во главе с Матушкой Чалмерс, приверженцами культа соевых бобов и поклонниками Востока, и движением «Назад, к Богу!» во главе с бывшими нефтепромышленниками.

Мисс Таггарт! – взмолился мистер Томпсон, когда на следующее утро она вошла в его кабинет в отеле, приехав по его вызову. – Что будем делать?

Он спрашивал себя, почему раньше ему казалось, что она излучает какую-то успокаивающую энергию. Он смотрел на ее застывшее лицо, оно казалось спокойным, но это спокойствие начинало тревожить, когда проходили минута за минутой, а выражение не менялось – никакого признака эмоций, никакого следа переживаний. На ее лице в общем-то такое же выражение, как у других, думал он, за исключением какой-то особой складки у рта, которая свидетельствовала о стойкости.

Я вам доверяю, мисс Таггарт. У вас больше ума, чем у всех моих молодцов, – просительным тоном говорил он. – Для страны вы сделали больше, чем любой из них, вы отыскали его для нас. Что нам делать? Теперь, когда все разваливается, только он может вывести нас из трясины, но он не хочет. Он отказался. Он просто откажется вести нас. С подобным я никогда не сталкивался: человек не желает командовать. Мы умоляем его: приказывай, а он отвечает, что хочет выполнять приказы. Это чудовищно!

Да, конечно.

Как вы это понимаете? Как это объяснить?

Он высокомерен и себялюбив, – сказала она, – тще славный авантюрист, человек с непомерными амбициями и наглостью, игрок, делающий самые высокие ставки.

Все просто, думала она. Трудно ей пришлось бы в те давние времена, когда она считала язык орудием чести, которое надо использовать так, будто находишься под присягой, присягой верности реальному миру и уважения к людям. Теперь же все сводилось к произведению звуков, адресованных неодушевленным предметам и не имеющих отношения к таким понятиям, как реальность, гуманность, честь.

И в то первое утро не составило труда сообщить мистеру Томпсону о том, как она выследила Джона Галта до его дома. Не составило труда наблюдать, как мистер Томпсон причмокивал губами от удовольствия, расплывался в улыбках и снова и снова восклицал:

– Узнаю мою девочку! – и при этом торжествующе поглядывал на своих помощников с гордостью человека, чья интуиция, подсказывавшая ему, что ей можно верить, блес тще подтвердилась.

Не составило труда объяснить свой гнев и ненависть к Джону Галту:

Было время, когда я разделяла его идеи, но я не могу позволить ему погубить мою дорогу! – и слышать слова мистера Томпсона:

Не беспокойтесь, мисс Таггарт! Мы защитим вас от него!

Не составило труда напустить на себя невозмутимый, холодно-деловой вид и напомнить мистеру Томпсону о вознаграждении в пятьсот тысяч долларов – и сделать это голосом четким и

бесстрастным, как звук кассового аппарата, выбивающего чек. Она видела тогда, как на минуту замерло движение лицевых мышц мистера Томпсона, а потом лицо расплылось в широкой, сияющей улыбке, без слов сказавшей ей, что он этого не ожидал, но приветствует, что он рад задеть в ней живую струну и что таких людей он понимает и одобряет.

– Конечно, мисс Таггарт! Безусловно! Вознаграждение ваше! Вам будет выслан чек на полную сумму.

Все это казалось нетрудно, потому что она чувствовала себя так, будто жила в каком-то тягостном антимире, где ни слова, ни поступки больше не являлись ни фактами, ни отражением реальности, а были ее искажением, словно в комнате кривых зеркал, и никакое здоровое сознание не должно воспринимать их напрямую. У нее оставалась теперь только одна забота – его безопасность, его спасение. Мысль эта горела в ней жаркой тугой пружиной, жалила, как раскаленная игла. Остальное представлялось ей как в бесформенном, размытом тумане, как в дурном сне.

Но ведь это, подумала она содрогнувшись, их постоянное состояние, они не знают иного существования, все эти люди, которых она никогда не понимала; им нравилось такое размытое, податливое бытие, им нравилась необходимость притворяться, искажать факты, обманывать; обрадованный взгляд какого-нибудь мистера Томпсона, который от паники теряет способность ясно рассуждать, служил им и целью, и наградой. Хотят ли они жить, спрашивала она себя, люди, желающие жить в таком состоянии?

Он дедает самые крупные ставки? Этот честолобец играет ва-банк? Так, мисс Таггарт? – тревожно вопрошал ее мистер Томпсон. – Как понять такого человека? Что это за феномен? Чего он добивается?

Реальности. Этого мира.

Не очень-то мне это понятно, но... Послушайте, мисс Таггарт, если вы полагаете, что можете раскусить его, не могли бы вы... не попытались бы вы еще раз поговорить с ним?

Ей показалось, что она услышала свой голос на расстоянии многих-многих световых лет, и он кричал, что она жизнь отдаст, только бы увидеть его, но здесь, в этом кабинете, она услышала голос незнакомого человека, который холодно и безразлично заявил:

Нет, мистер Томпсон, я не хочу. Надеюсь, мне никог да больше не придется видеть этого человека.

Я знаю, что вы его не переносите, и я вас за это не ви ню, но не могли бы вы все же попробовать...

– Я пробовала переубедить его в тот вечер, когда отыскала. Но в ответ на голос разума слышала одни оскорбления. Думаю, я ему более ненавистна, чем кто-либо другой. Он не может простить мне того, что я его выследила. Я – последний человек, которого он послушает.

– Да... да, верно... Как вы думаете, он вообще когда-нибудь сдастся?

Раскаленная игла, которая жгла ее душу, на миг заколебалась. Какой путь выбрать: скачать, что он никогда не сдастся, и смотреть, как они его убьют, или сказать, что он сдастся, и видеть, как они цепляются за свою власть, пока не разрушат весь мир?

Он сдастся, – уверенно сказала она. – Он уступит, если вы правильно себя поведете. Он рвется к власти. Не позволяйте ему увернуться, но и не угрожайте, не ста райтесь причинить ему вред. Чувство страха ему неведомо, у него выработался иммунитет.

А что, если... сейчас, когда все рушится... что, если он будет слишком долго тянуть с ответом?

Не будет. Он слишком практичен. Между прочим, вы сообщили ему о последних событиях в стране?

Зачем... нет.

Я бы посоветовала ознакомить его с получаемыми вами секретными донесениями. Он поймет, что вот-вот про изойдет.

Это хорошая мысль! Прекрасная идея!.. Знаете, мисс Таггарт, – сказал он со звенящей ноткой отчаяния в голо се, – я всегда чувствую себя значительно лучше, поговорив с вами. Это потому, что я вам верю. Я никому не верю в своем окружении. Но вы – вы другая. Вы – надежная.

Она смотрела на него не мигая.

– Спасибо, мистер Томпсон, – сказала она.

Это несложно, думала она, пока не вышла на улицу и не заметила, что ее блузка под пальто стала влажной и прилипла к лопаткам.

Если бы я сохранила способность чувствовать, думала она, пробираясь сквозь толпу в зале терминала, я поняла бы, что полное безразличие к железной дороге, которое меня переполняет, означает ненависть. Она не могла отделаться от ощущения, что занимается лишь перегонном товарных поездов; пассажиры не были для нее живыми людьми. И не имело смысла затрачивать невероятные усилия, чтобы предотвратить катастрофу, сохранить поезда, перевозившие всего лишь неодушевленные предметы. Она оглядела лица людей на вокзале; если он должен умереть, подумала она, если он должен погибнуть от рук руководителей их системы, чтобы эти могли и дальше есть, спать и путешествовать, – почему я должна продолжать работать и обеспечивать их поездами? Если бы я неистово взывала к ним о помощи, разве хоть один из них встал бы на его защиту? Разве они хотят, чтобы он жил, те, кто слушал его?

После полудня ей в кабинет доставили чек на пятьсот тысяч долларов; его принесли с букетом цветов от мистера Томпсона. Она взглянула на чек и безучастно положила его на стол – он ничего не значил и не пробудил в ней никаких чувств, даже намек на чувство вины. Клочок бумаги, ни лучше, ни хуже тех, что валяются в корзине для мусора. Ей было совершенно безразлично, что на него можно купить бриллиантовое ожерелье, городскую свалку или хоть что-нибудь из еще оставшихся продуктов. Деньги по этому чеку никогда не будут потрачены. Сам по себе он не являлся ценностью, и что бы она ни купила на него, это не стало бы ценностью. Но такое полное безразличие, думала она, – это постоянное состояние окружавших ее людей, людей, у которых нет ни цели, ни желаний. Это состояние души без жизненных ценностей; неужели те, кто выбрал такое существование, действительно хотят жить, размышляла она.

Когда вечером, бесчувственная от усталости, она пришла домой, в холле не горел свет, что-то испортилось, и она не заметила на полу конверта, пока не зажгла свет в прихожей. Это был чистый, ненадписанный конверт, который подсунули под дверь. Она подняла его – и через мгновение начала, так и не разогнувшись до конца, беззвучно смеяться, не двигаясь, ничего вокруг не замечая, лишь пристально глядя на записку, написанную рукой, которую она так хорошо знала, рукой, которая написала свое последнее послание на календаре над городом. Записка гласила:

«Дэгни, ничего не предпринимай. Наблюдай за ними-. Когда ему понадобится наша помощь, позвони по телефону ОР-. Ф.».

На следующее утро газеты призывали население не верить слухам, будто в южных штатах что-то происходит. В секретных донесениях, адресованных мистеру Томпсону, сообщалось, что между Джорджией и Алабамой начались вооруженные столкновения за обладание заводом, выпускающим электрооборудование, заводом, отрезанным боевыми действиями и взорванным полотном железной дороги от источников сырья.

– Вы ознакомились с секретными донесениями, которые я вам послал? – простонал мистер Томпсон вечером этого дня, глядя на Галта. С ним пришел Джеймс Таггарт, который впер вые

вызвался встретиться с заключенным.

Галт сидел на стуле с прямой спинкой, скрестив ноги, и курил сигарету. Он сидел прямо и одновременно раскованно. Они не смогли ничего прочесть на его лице, не считая полного отсутствия страха.

Да, ознакомился, – ответил Галт.

Времени у нас в обрез, – заметил мистер Томпсон.

Похоже.

И вы ничего не предпримете?

А вы?

И как вы можете быть настолько уверены в своей правоте? – воскликнул Джеймс Таггарт; голос его прозвучал негромко, но в нем чувствовалась напряженность крика. – Как вы можете в такое ужасное время позволять себе следовать своим идеям, рискуя гибелью всего мира?

А чьим идеям я должен следовать как более безопасным?

Как можно быть настолько уверенным в своей правоте? Откуда это у вас? Никто не может быть настолько уверенным в своей правоте! Никто! И вы не лучше других.

Тогда зачем я вам понадобился?

Как вы можете играть жизнями других людей? Как вы можете позволять себе такую эгоистичную роскошь – самоустраиваться, когда в вас нуждаются?

Вы хотите сказать – когда нуждаются в моих идеях?

Никто не может быть полностью правым или виноватым! Ничто не может быть только черным или белым! У вас нет монополии на истину.

Что-то не так в поведении Таггарта, хмурясь, подумал мистер Томпсон, здесь было что-то странное, какая-то слишком личная обида, будто он пришел сюда совсем не для того, чтобы уладить политические разногласия.

– Если бы вы имели хоть какое-то чувство ответственности, – продолжал Таггарт, – вы не рискнули бы полагаться лишь на собственные убеждения! Вы присоединились бы к нам и ознакомились со взглядами, отличными от ваших, возможно, мы тоже правы! Вы помогли бы нам в осуществлении наших планов! Вы бы...

Таггарт продолжал говорить с лихорадочной настойчивостью, но мистер Томпсон сомневался, что Галт слушает. Галт расхаживал по комнате, но не от волнения, а так, как ходят люди, получающие удовольствие от движений своего тела. Мистер Томпсон отметил легкость его походки, прямую осанку, подтянутость и непринужденность. Галт прогуливался так, словно не придавал никакого значения собственному телу и в то же время ощущал большую гордость за него. Мистер Томпсон посмотрел на Таггарта, на его высокую, неуклюжую фигуру, расхлябанную позу и увидел, что тот наблюдает за движениями Галта с такой ненавистью, что мистер Томпсон привстал, опасаясь вспышки. Но Галт не смотрел на Таггарта.

– ...ваша совесть! – продолжал Таггарт. – Я пришел воззвать к вашей совести! Как вы можете предпочитать свои идеи тысячам человеческих жизней? Люди гибнут и... Ради Христа, – резко произнес он, – прекратите свое хождение!

Галт остановился:

Это приказ?

Нет-нет, – поспешно ответил мистер Томпсон. – Это не приказ. Мы вовсе не намерены вам приказывать... Успокойся, Джим.

Галт снова зашагал.

Мир рушится, – продолжал Таггарт, следуя взглядом за движениями Галта. – Люди гибнут – и именно вы можете их спасти! Разве так уж важно, кто прав, а кто виноват? Вы должны встать на нашу сторону, даже если считаете, что мы не правы, вы должны принести в жертву свои идеи

и спасти их!

А каким образом я могу спасти их?

Кто вы такой, по-вашему? – вскричал Таггарт. – Вы эгоист!

Правильно.

Вы понимаете, что вы эгоист?

А вы! – спросил Галт, глядя прямо на него.

Что-то в движениях Таггарта, забившегося вглубь кресла, не отрывая взгляда от Галта, заставило мистера Томпсона ужаснуться, что же будет дальше.

– Простите, – перебил мистер Томпсон своим обычным спокойным тоном, – какой сорт сигарет вы курите?

Галт повернулся к нему и улыбнулся:

Я не знаю.

А где вы их взяли?

Один из охранников принес мне пачку. Он сказал, что какой-то человек попросил передать их мне в подарок... Не волнуйтесь, – добавил он, – ваши ребята тщательно их проверили. В пачке не было никаких тайных посланий. Это просто дар анонимного поклонника.

На сигарете, которую держал Галт, проступал знак доллара.

Джеймс Таггарт неподходящий человек, чтобы убеждать, пришел к выводу мистер Томпсон, но и Чик Моррисон, которого он привел на следующий день, добился не большего успеха.

– Я... рассчитываю на ваше милосердие, мистер Галт, – начал Чик Моррисон, судорожно улыбаясь. – Вы правы. Я допускаю, что вы правы, и взываю только к вашему чувству сострадания. В глубине души я не могу смириться с мыслью, что вы отъявленный эгоист, не испытывающий жалости к людям. – Он указал на множество листов бумаги, которые разложил на столе: – Вот письмо, подписанное десятью тысячами школьников, умоляющих вас присоединиться к нам и спасти их. Вот обращение из дома инвалидов. Вот петиция священнослужителей двухсот различных вероисповеданий. Вот мольба матерей нашей страны. Прочтите это.

Это приказ?

Нет! – воскликнул мистер Томпсон. – Это не приказ! Галт не пошевелился и не потянулся за бумагами.

Это обычные, простые люди, мистер Галт, – сказал Чик Моррисон голосом, предназначенным передать жалобное смирение. – Они не могут посоветовать вам, как поступить. Они не знают. Они просто умоляют вас. Возможно, они слабы, беспомощны, безрассудны, невежественны. Но вы такой смелый и умный, неужели вы не можете пожалеть их? Не можете помочь им?

Забывать о своем интеллекте и стать таким же невежественным?

Возможно, они и не правы, но на большее они не способны!

И я, который способен, должен подчиниться им?

Я не хочу спорить, мистер Галт. Я только умоляю вас о снисхождении. Они страдают. Я призываю вас пожалеть тех, кто страдает. Я... Мистер Галт, – спросил он, заметив, что Галт смотрит в пространство и глаза его стали непримиримыми, – что случилось? О чем вы думаете?

О Хэнке Реардэне.

О... Почему?

А они пожалели Хэнка Реардэна?

Но... это ведь совсем другое дело! Он...

Замолчите, – ровным голосом произнес Галт.

Я только...

Замолчите! – рывкнул мистер Томпсон. – Не обра щайте на него внимания, мистер Галт. Он не спал двое суток. Он до смерти напуган.

На следующий день доктор Феррис не выказывал никакого испуга – но все шло еще хуже, думал мистер Томпсон. Он заметил, что Галт молчал и совсем не отвечал Феррису.

– Это вопрос моральной ответственности, с чем вы, по– видимому, незнакомы в достаточной степени, мистер

Галт, – говорил Феррис, манерно растягивая слова и натужно подражая тону светской беседы. – В своем выступлении по радио вы говорили главным образом о грехах деяния. Но надо помнить и о грехах недеяния. Отказываться от спасения человеческих жизней столь же аморально, как и совершить убийство. Результат один и тот же – мы судим о делах по их результатам, это относится и к моральной ответственности... Например, в связи с катастрофической нехваткой продуктов высказано предположение, что, возможно, возникнет необходимость в указе, согласно которому каждый третий ребенок младше десяти лет и все старше шестидесяти, должны быть уничтожены, чтобы выжили остальные. Вы бы не хотели, чтобы это случилось, а? Вы можете предотвратить это. Одно ваше слово может все изменить. Если вы откажетесь и все эти люди будут преданы смерти, это будет ваша вина и ваша моральная ответственность!

Вы с ума сошли! – пронзительно закричал мистер Томпсон, оправившись от шока и вскакивая со стула. – Никто никогда не высказывал ничего подобного! Никто никогда не делал таких предположений! Послушайте, мистер Галт! Не верьте ему! Он ничего такого не имел в виду!

Имел, – ответил Галт. – Скажите этому мерзавцу, чтобы он посмотрел на меня, а затем в зеркало и спросил себя, может ли мне прийти в голову мысль, что мои мораль ные качества зависят от его действий.

Убирайтесь отсюда! – закричал мистер Томпсон, рывком заставив Ферриса встать. – Убирайтесь! И чтобы я больше не слышал от вас ни единого писка. – Он распахнул дверь и вышвырнул Ферриса вон на глазах у перепуганного охранника.

Повернувшись к Галту, он развел руками и опустил их в жесте полной беспомощности.

Лицо Галта ничего не выражало.

Послушайте, – умоляюще произнес мистер Томпсон, – есть ли кто-нибудь, кто может поговорить с вами?

Разговаривать не о чем.

Мы должны. Должны убедить вас. Есть ли кто– нибудь, с кем бы вы хотели поговорить?

Нет.

Я подумал, может быть... потому что она говорит... говорила, как вы, иногда... может быть, если я попрошу мисс Таггарт сказать вам...

Эта? Конечно, она обычно говорила, как я. В ней од ной я ошибся. Мне казалось, что она из тех, кто на моей стороне. Но она обманывала меня, чтобы сохранить свою железную дорогу. Она душу продаст за эту дорогу. Приведите ее, если хотите, чтобы я дал ей пощечину.

Нет, нет, нет! Вы вовсе не обязаны встречаться с ней, если вы так к ней относитесь. Мне бы больше не хотелось терять время на людей, которые глядят вас против шерсти... Только... только если не мисс Таггарт, то даже не представ ляю кто... если... если бы я смог найти когонибудь, с кем бы вы могли обсудить или...

Я передумал, – сказал Галт. – Есть человек, с кото рым я хотел бы поговорить.

Кто он? – нетерпеливо вскричал мистер Томпсон.

Доктор Роберт Стадлер.

Мистер Томпсон издал протяжный свист и опасно покачал головой.

Этот человек вам не друг, – сказал он тоном, в кото ром звучало честное предупреждение.

Именно с ним я хочу встретиться.

Хорошо, если вам угодно. Если вы просите. Все, что пожелаете. Я приведу его завтра же утром.

В тот вечер во время обеда в своих личных апартаментах с Висли Маучем мистер Томпсон с ненавистью посмотрел на стоявший перед ним стакан с томатным соком.

Что? А грейпфрутового нет? – рявкнул он; его док тор предписал ему грейпфрутовый сок для профилактики простуды.

Грейпфрутового сока нет, – отвечал официант, делая какое-то особое ударение на этих словах.

Дело в том, – мрачно произнес Мауч, – что шайка бандитов напала на поезд на мосту Таггарта через Мисси сипи. Они взорвали рельсы и повредили мост. Ничего страшного. Сейчас его чинят. Однако движение остановлено, и составы из Аризоны не могут пройти этот участок.

Это смехотворно! А что на других?.. – Мистер Томпсон осекся; он знал, что через Миссисипи нет никаких других мостов. Уже через минуту он говорил неровным голосом: – Отдайте армейским подразделениям приказ охранять этот мост. Днем и ночью. Прикажите отобрать лучших солдат. Если что-нибудь случится с этим мостом... – Он не договорил; он сидел, ссутулившись, не спуская глаз с дорогого фарфора и изысканных закусок, разложенных перед ним. Отсутствие такого прозаического предмета, как грейпфрутовый сок, неожиданно впервые высветило для него, чем все это грозит Нью-Йорку, если что-нибудь случится с мостом Таггарта.

Дэгни, – сказал в этот вечер Эдди Виллерс, – мост не единственная проблема. – Он щелчком включил лампу на ее столе, которую она, поглощенная работой, забыла включить с наступлением сумерек. – Из Сан-Франциско не может выйти ни один поезд, следующий на восток. Одна из воюющих там группировок... не знаю какая... захватила наш терминал и обложила данью все отходящие поезда. Они удерживают поезда в качестве залога для выкупа. На чальник терминала бросил работу. Никто не знает, что делать.

Я не могу уехать из Нью-Йорка, – ответила она с безучастным выражением лица.

Я знаю, – тихо ответил он. – Вот почему именно я поеду туда, чтобы спасти положение, или хотя бы назначу ответственного человека.

Я не хочу, чтобы ты ехал. Это слишком опасно. Да и к чему?.. Уже нечего спасать.

И все же это по-прежнему «Таггарт трансконтинен– тал». Я останусь с ней до конца. Дэгни, куда бы ты ни по ехала, ты всегда сможешь строить железные дороги. Я уже нет. Я даже не хочу начинать заново. С меня хватит. После того, что я видел. Тебе это нужно. А я не в состоянии. Я Должен делать то, что могу.

Эдди! Неужели ты не хочешь... – Она замолчала, по нимая, что продолжать бесполезно. – Хорошо, Эдди. Если ты так хочешь.

Я вылетаю сегодня вечером в Калифорнию. Я догово рился, что мне найдут место на военном самолете... Я знаю, что ты выйдешь из игры, как только... как только сможешь уехать из Нью-Йорка. К тому времени, как я вернусь, ты, может быть, уже уедешь. Уезжай, как только сможешь. Не беспокойся обо мне. Не жди, чтобы рассказать мне. Уезжай как можно быстрее... Я прощаюсь с тобой сейчас.

Они поднялись. Они стояли напротив друг друга в полумраке комнаты, между ними висел портрет Натаниэля Таггарта. Перед их внутренним взором проносились годы, прошедшие с того далекого дня, когда они впервые шли по линии железной дороги. Он опустил голову и долго не поднимал ее. Она протянула ему руку:

– Прощай, Эдди.

Он крепко стиснул ее руку, не глядя на собственные руки. Он смотрел ей в лицо. Он двинулся, затем остановился, повернулся к ней и спросил тихим, ровным голосом, в котором не было ни мольбы, ни отчаяния. Он словно хотел достойно закрыть последнюю страницу длинной истории:

Дэгни... ты знаешь... как я к тебе отношусь?

Да, – тихо ответила она, поняв в эту минуту, что знала об этом без слов уже много лет. – Знаю.

Прощай, Дэгни.

Слабый гул проходящего под землей поезда проник сквозь стены здания и поглотил звук закрывшейся за ним двери.

На следующее утро шел снег, и тающие капли, как льдинки, кололи виски доктора Стадлера, пока он шел по длинному коридору отеля «Вэйн-Фолкленд», направляясь к двери королевских покоев. По обе стороны от него шли двое здоровых парней. Они служили в Комитете пропаганды и агитации, но не считали необходимым скрывать, какие методы агитации используют при первой же возможности.

– Помни, что сказал тебе мистер Томпсон, – презрительно сказал ему один из них. – Один неверный шаг с твоей стороны, и ты пожалеешь, братишка.

Нет, я ощущаю на висках не холод, думал доктор Стадлер, а жжение, которое появилось прошлым вечером во время сцены с мистером Томпсоном, когда я кричал ему, что не могу встретиться с Джоном Галтом. Стадлер кричал в диком ужасе, умоляя череду невозмутимых лиц не заставлять его делать это, он говорил, рыдая, что готов сделать что угодно, только не это.

Невозмутимые лица не только не снизили к угрозам, они просто приказывали ему. Он провел бессонную ночь, убеждая себя не подчиняться; но сейчас он двигался к этой двери. Жжение на висках и слабое чувство тошноты и нереальности происходящего шло от потери ощущения, что он и есть доктор Стадлер.

Он заметил металлический блеск штыков, которые были у охранников около двери, и услышал звук ключа в замке. Он вошел и услышал, как за ним запирают дверь.

В дальнем углу он увидел Джона Галта, сидящего на подоконнике, – высокую, стройную фигуру в рубашке и джинсах, одна нога свисала до пола, вторая согнута в колене и обхвачена руками, голова с выгоревшими на солнце волосами на фоне серого неба. Внезапно доктор Стадлер увидел фигуру юноши, сидящего на крыльце его дома недалеко от Университета Патрика Генри, солнечные лучи переливались на его золотистых волосах под голубым, ясным небом, и он услышал свой собственный страстный голос, говоривший двадцать два года назад: «Единственная святая ценность в мире, Джон, это человеческий разум, нерушимый человеческий разум...» И он крикнул образу этого юноши из далеких времен, обращаясь к фигуре в дальнем углу комнаты:

– Я ничего не мог поделать, это не моя вина, Джон!

Он схватился за край стола, который разделял их, чтобы сохранить равновесие и защититься, хотя фигура на подоконнике даже не пошевелилась.

– Это не я привел тебя к этому! – кричал он. – Я не имел такого намерения. Это не то, чего я хотел для тебя, Джон. Я не виноват! Не мог помешать! Я не могу с ними тягаться! Они правят миром! В этом мире нет места для таких, как я!.. Что для них разум? Что для них наука? Ты не представляешь, как они беспощадны! Их невозможно понять! Они не умеют мыслить! Это безмозглые животные, движимые бессознательными чувствами, слепыми, алчными, непостижимыми чувствами! Они хватают все, что их привлекает, только это их и интересует, все, чего хотят, независимо от логики, причин и следствий – они желают этого, кровожадные, грязные свиньи!.. Разум? Разве ты не понимаешь, как он беспомощен против этих безмозглых

орд? Наше оружие смехотворно ничтожно: истина, знание, разум, право! Сила – вот что для них ценно, сила, обман, грабеж!.. Джон! Не смотри на меня так! Что я мог против их кулаков? Мне нужно было жить, ведь так? И не для себя, а для будущего науки! Мне нужно было, чтобы меня оставили в покое, чтобы меня защищали. Я не мог не принять их условия – не мог продолжать жить, не приняв их условий, не мог – ты слышишь? Невозможно! А как бы ты хотел, чтобы я поступил? Провести остаток жизни в поисках работы? Просить их о фондах и пожертвованиях? Ты хотел бы, чтобы моя работа зависела от милости негодяев, умеющих делать деньги? У меня нет времени соревноваться с ними в искусстве делать деньги, играть на бирже, стремиться к материальным целям. Неужели ты считаешь справедливым, чтобы они тратили деньги на выпивку, яхты и женщин, в то время как бесценные часы моей жизни пропадут из-за отсутствия оборудования для научной работы? Убеждение? Как я могу убедить их? На каком языке надо говорить с людьми, которые лишены разума? Ты не представляешь себе, в каком одиночестве я оказался, как изголодался хоть по крупице ума. Как одинок, бессилён и беспомощен! Почему ум, подобный моему, должен идти на сделку с безмозглыми идиотами? Они никогда не дадут на науку ни цента. Почему же не заставить их насильно? Это не относится к тебе! Наше оружие не наведено на интеллект! Оно не направлено на таких людей, как ты, как я, только на безмозглых материалистов!.. Почему ты так смотришь на меня? У меня не оставалось выбора! Их можно победить, только приняв правила их игры! Да, да, это их игра, и они устанавливают правила! Кто с нами считается, с теми немногими, кто умеет мыслить? Мы можем уповать только на то, чтобы как-то продержаться, остаться незамеченными – и ухитриться заставить их служить нашей цели! Разве ты не знаешь, каким благородным виделось мне будущее науки? Знание, свободное от материальных уз! Безграничное и независимое! Я не предатель, Джон! Ни в коем случае! Я служил разуму! То, к чему я стремился, чего хотел, что чувствовал, не может быть измерено их несчастными долларами! Мне была нужна лаборатория! Очень нужна! И мне было наплевать, откуда и как она возьмется! Я мог сделать так много! Мог достичь таких высот! Неужели в тебе нет ни капли жалости? Я очень хотел этого. Ну и что, если по отношению к ним пришлось применять силу? Что они собой представляют, чтобы задумываться об этом? Зачем ты призвал их к бунту? Все бы получилось, если бы ты их не увел. Все бы получилось, говорю тебе! Все получилось бы иначе!.. И не осуждай меня! Мы не можем быть виновными... все мы... в течение столетий... Мы не могли так бесконечно ошибаться! И не надо предавать нас анафеме! У нас не оставалось выбора! Другого способа жить на земле нет!.. Почему ты молчишь? О чем ты думаешь? Вспоминаешь речь, которую произнес? Я не хочу ее вспоминать! В ней одна логика! Жить согласно логике невозможно! Ты меня слышишь?.. Не смотри на меня! Ты хочешь невозможного! Люди не могут жить по-твоему! Ты не признаешь ни малейшей человеческой слабости, человеческих чувств, недостатков! Чего ты ждешь от нас? Рациональности двадцать четыре часа в сутки без сна и отдыха?.. Не смотри на меня, черт возьми! Я больше не боюсь тебя! Слышишь? Не боюсь! Кто ты такой, чтобы осуждать меня, ты, жалкий неудачник? Вот куда завел тебя твой путь! Сейчас ты загнан, беспомощен, под стражей, в любой момент тебя могут убить эти твари – и ты смеешь осуждать меня за непрактичность! Да,

Зак. да, тебя убьют! Тебе не победить! Мы не дадим тебе победить! Ты человек, которого надо уничтожить!

Затрудненное дыхание доктора Стадлера походило на приглушенный вопль, словно неподвижная фигура на подоконнике подобно безмолвному прожектору высветила перед ним смысл его собственных слов.

– Нет, – простонал доктор Стадлер, мотая головой из стороны в сторону, чтобы избежать неподвижного взгляда темно-зеленых глаз. – Нет! Нет!.. Нет!

В голосе Галта слышалась такая же непреклонная суровость, как и в его взгляде:

– Ты сам сказал все, что я хотел тебе сказать.

Доктор Стадлер заколотил кулаками в дверь; дверь открылась, и он выскочил из комнаты.

В течение трех дней к Галту никто не приходил, кроме охранников, приносящих еду.

На четвертый день вечером пришел Чик Моррисон в сопровождении двух человек. Одетый в смокинг, он улыбался – нервно, но несколько более уверенно, чем обычно. Один из сопровождающих был гостиничный служащий, другой – мускулистый мужчина, лицо которого никак не сочеталось со смокингом: холодное и неподвижное, веки нависали над бесцветными, бегающими глазами, нос сломан, как у боксера, череп выбрит наголо, за исключением самой макушки, где курчавились светлые волосы, правую руку он держал в кармане брюк.

– Вам лучше переодеться, мистер Галт, – сказал Чик Моррисон с убеждающей интонацией, указывая рукой на дверь спальни, где стеной шкаф ломился от дорогих костюмов, которые Галт, как правило, игнорировал. – И наденьте, пожалуйста, вечерний костюм, – добавил он. – Это приказ, мистер Галт.

Галт молча прошел в спальню. Все трое последовали за ним. Чик Моррисон сел на краешек стула и курил одну сигарету за другой. Гостиничный служащий суетливо помогал Галту переодеться, подавая запонки и поправляя пиджак. Мускулистый парень стоял в углу спальни, продолжая держать руку в кармане. Никто не вымолвил ни слова.

– Вам лучше сотрудничать с нами, мистер Галт, – за метил Чик Моррисон, когда Галт оделся, и подчеркнуто вежливым жестом пригласил его к выходу.

Молниеносным приемом, которого никто не успел заметить, мускулистый парень схватил Галта за руки и прижал к его ребрам невидимый револьвер.

Только без глупостей, – невыразительно сказал он.

Я никогда их не делаю, – ответил Галт.

Чик Моррисон открыл дверь. Служащий остался в комнате, остальные трое, в смокингах, молча проследовали через холл к лифту.

В лифте они тоже молчали, единственным звуком были щелчки индикатора, указывающего этажи по мере спуска.

Лифт остановился в цокольном этаже. Они двинулись вдоль длинного, тускло освещенного коридора в сопровождении двух солдат впереди и двух сзади. В пустых коридорах только часовые стояли на каждом углу. Правая рука мускулистого парня крепко сжимала левую руку Галта; револьвер оставался невидимым для случайного встречного. Галт чувствовал его дуло у своего бока; прикосновение было профессиональным – оно не мешало, но ни на минуту не давало забыть о себе.

Коридор вел к широкой закрытой двери. Солдаты, казалось, растворились, когда Чик Моррисон взялся за ее ручку. Именно Чик Моррисон открыл дверь, но резкий контраст света и шума позволял думать, что дверь распахнулась силой взрыва: свет исходил от трехсот лампочек, сверкающих в люстрах большого зала отеля «Вэйн-Фолкленд»; шум – от аплодисментов пятисот человек.

Чик Моррисон направился к столу президиума, который стоял на подиуме, возвышаясь над остальными столами в зале. Люди, казалось, безо всяких объяснений понимали, что из двух лиц, сопровождавших Чика Моррисона, их аплодисменты предназначались высокому, стройному

чело веку с золотисто-рыжими волосами. Лицо его носило отпечаток тех же качеств, что и его голос, который они слышали по радио: спокойное, уверенное – и недостижимое.

Для Галта приготовили почетное место – в центре стола, справа от него сидел мистер Томпсон, влево проскользнул мускулистый парень, продолжая держать его за руку и прижимать дуло револьвера к его боку. Свет люстр отражался в драгоценностях на обнаженных женских плечах и отдельными лучами освещал столы, тесно составленные вдоль противоположных стен.

Строгие черно-белые силуэты мужчин способствовали сохранению торжественного величия, несмотря на беспорядочные вспышки фотоаппаратов, многочисленные микрофоны и ряд невключенных телекамер. Публика стоя аплодировала. Мистер Томпсон улыбался и следил за лицом Галта беспокойным, тревожным взглядом взрослого, ожидающего реакции ребенка на фантастически щедрый подарок. Галт сел, безучастно слушая аплодисменты.

– Аплодисменты, которые вы слышите, – кричал в микрофон радиокomentатор в углу зала, – звучат в честь Джона Галта, который только что занял место за столом президиума! Да, дорогие друзья, сам Джон Галт – и те из вас, у кого есть телевизор, вскоре смогут убедиться в этом.

Я должна все время помнить, где я, думала Дэгни, сжимая кулаки под столом, стоящим в самом углу зала. В присутствии Галта, который сидел всего в тридцати футах от нее, она болезненно ощущала двойственность ситуации. Она понимала, что никакой опасности, никакой боли не может существовать в мире, пока она видит лицо Галта, – и одновременно ощущала леденящий душу ужас, глядя на тех, в чьей власти он находился, и наблюдая за безумным представлением, которое они устроили. Она прилагала все усилия, чтобы лицо ее оставалось бесстрастным, чтобы не выдать себя улыбкой, не издать вопль ужаса.

Она удивилась, как его глаза смогли найти ее в этой толпе. Она чувствовала, как взгляд его на мгновение остановился на ней, незамеченный другими, взгляд, который значил больше, чем поцелуй, – это было рукопожатие одобрения и поддержки.

Он только раз взглянул в ее сторону. Но она не могла заставить себя отвернуться. Было странно видеть его в смокинге и особенно ее удивило то, как естественно он себя чувствовал в нем. Ему удалось создать впечатление, что это парадная рабочая одежда, что это один из тех банкетов теперь уже отдаленного прошлого, когда ему присуждали какую-то награду.

Праздники, с внезапной резкой болью вспомнила она собственные слова, должны быть у тех, кому есть что праздновать.

Она отвернулась. Она старалась не смотреть на него слишком часто, чтобы не привлекать внимания своих спутников. Ее посадили за стол, который был достаточно хорошо виден собравшимся, но слабо освещен и практически скрыт от взгляда Галта; она сидела вместе с доктором Фер-рисом и Юджином Лоусоном – именно с теми, кто вызвал особое неодобрение Галта.

Ее брата, Джима, заметила она, посадили ближе к столу, стоящему на подиуме; она видела его угрюмое лицо среди нервничавших Тинки Хэллоуэя, Фреда Киннена, Саймона Притчета.

Искаженные мукой лица вытянулись в ряд над столом, стоящим на подиуме, несмотря на все свои усилия, они не могли скрыть состояние людей, подвергаемых тяжелому испытанию; спокойное лицо Галта казалось сияющим среди них; Дэгни размышляла, кто же здесь заключенный, а кто хозяин положения. Ее взгляд медленно скользил по лицам сидящих за его столом: мистер Томпсон, Висли Мауч, Чик Моррисон, несколько генералов, несколько представителей законодательной власти и – неожиданно – мистер Моуэн, в качестве подачи Галту, как символ крупного бизнеса. Дэгни осмотрела зал в поисках доктора Стадлера, но нигде не увидела его.

Раздававшиеся в зале голоса подобны скачкам температуры у больного лихорадкой, подумала она; они то звучали слишком громко, то наступало мертвое молчание; внезапный смех неожиданно обрывался, и люди, сидевшие за соседними столами, вздрагивали. Лица у всех были натянуты и перекошены абсолютно очевидной, но весьма неблагородной формой напряженности: вынужденными улыбками. Эти люди, думала Дэгни, знают, но не разумом, а вконец сдавшими нервами, что этот банкет – кульминация их мира, его голая суть. Они понимают, что ни их Бог, ни их оружие не в силах сделать так, чтобы это празднество обрело то значение, которое они так отчаянно старались выразить своим видом и поведением. Она не могла заставить себя глотать еду, которая стояла перед ней, горло ее, казалось, перехватил сильный спазм. Она заметила, что и другие сидевшие за ее столом просто притворяются, что едят. Аппетит не пропал только у доктора Ферриса.

Когда перед ней поставили мороженое в хрустальной вазочке, она заметила, что зал внезапно затих, и услышала лязг – это телевизионное оборудование подтаскивали поближе к подиуму. Сейчас, с тоскливым предчувствием подумала она, уверенная, что это предчувствие разделяют все присутствующие. Все смотрели на Галта. Его лицо оставалось непроницаемым.

Не понадобилось призывать к молчанию, когда мистер Томпсон подал знак диктору.

– Сограждане, – крикнул в микрофон диктор, – в этой стране и в любой другой, где слушают нас из большого зала отеля «Вэйн-Фолкленд» в Нью-Йорке, мы показываем вам торжественное начало осуществления плана Джона Галта!

На стене за спиной диктора появился прямоугольник интенсивного голубоватого света – телеэкран, которому надлежало показывать гостям то, что увидит страна.

– План Джона Галта – план мира, процветания и благоденствия! – кричал диктор, в то время как на экране появилась дрожащая картинка зала. – Рассвет новой эры! Продукт гармоничного слияния гуманистического духа нашего руководства и научного гения Джона Галта! Если ваша вера в будущее подорвана вредительскими слухами, то сейчас вы можете воочию убедиться в счастливом единстве первых лиц нашей страны!.. Леди и джентльмены! – В это время телекамеры направили на стол ораторов и экран заполнило изумленное лицо мистера Моуэна. – Мистер Гораций Басби Моуэн, американский промышленник! – Затем камеру заполнила морщинистая улыбка, вокруг которой застыло подобие лица. – Генерал армии Витингтон Торп! – Камера, как при полицейском освидетельствовании, двигалась от одного лица к другому, не менее предыдущего обезображенному разрушительным страхом отчаяния, неуверенности, презрением к себе, чувством вины. – Лидер большинства в Законодательном собрании... мистер Люциан Фелпс!.. Мистер Висли Мауч!.. Мистер Томпсон!.. – Камера задержалась на лице мистера Томпсона; он одарил сограждан широкой улыбкой, затем повернулся влево с видом торжествующего предчувствия. – Леди и джентльмены, – торжественно произнес диктор, – Джон Галт!

Боже правый! – подумала Дэгни, что они делают? Лицо Джона Галта смотрело с экрана на сограждан, лицо, на котором не отражалось ни малейших признаков страха, боли или вины, а напротив, спокойствие и неуязвимое достоинство. Такое лицо, подумала она, среди этих, других? Что бы они ни замыслили, подумала она, они сами обрекли себя на провал. И больше ничего говорить не надо: вот оно – несовместимое различие в принципах, в подходах, вот он, выбор, и любой человек, если он человек, сразу поймет это.

– Личный секретарь мистера Галта, – произнес диктор в то время, как камера высветила следующее лицо и по спешно продолжила свое движение. – Мистер Кларенс Чик Моррисон... адмирал Гомер Доули... мистер...

Дэгни оглядела окружающие ее лица, размышляя: увидели ли они разницу? Осознали ли ее? Увидели ли они его? Хотели ли они видеть его подлинным, настоящим?

– Этот банкет, – произнес Чик Моррисон, взявший на себя обязанности распорядителя, – устроен в честь величайшего человека нашей эпохи, талантливейшего творца, лучшего знатока секретов производства, нового лидера нашей экономики – Джона Галта! Если вы слышали его потрясающую речь по радио, у вас, вероятно, нет сомнения в его необычайных способностях. Сейчас он здесь, чтобы сказать вам, что он использует их для вашего блага. Если вас сбили с толку радикальные консерваторы, которые утверждали, что он никогда не будет заодно с нами, что между его и нашими взглядами на жизнь нет никаких точек соприкосновения, что они в корне противоположны, то сегодняшнее событие докажет вам, что все можно уладить и обо всем договориться!

Увидев его, подумала Дэгни, захотят ли они смотреть на кого-то другого? Осознав, что такие, как он, живут в этом мире, что он именно такой, каким может быть человек, – чего же им еще искать? Может ли у них быть другое желание, кроме как достичь в своей душе того, чего он уже достиг? Или их остановит тот факт, что мау-чи, моррисоны, томпсоны никогда и не стремились к этому? Будут ли они считать маучей людьми, а его чем-то сверхъестественным?

Камера скользила объективом по залу, высвечивая на экране на всю страну лица знаменитых гостей, лица настороженных лидеров и – время от времени – лицо Джона Галта. Он смотрел так, словно его пронизательные глаза изучали людей за пределами зала, людей всей страны, которые смотрели на него; непонятно, слышал ли он что-нибудь; его лицо оставалось спокойным.

– Я горд возможностью, – говорил лидер большинства в Законодательном собрании, – отдать дань уважения величайшему организатору экономики, которого когда-либо знал мир, талантливейшему, блестящему проектанту – Джону Галту, человеку, который спасет нас! Я здесь для того, чтобы от имени всех людей поблагодарить его!

Это, с тошнотворным изумлением подумала Дэгни, спектакль чистосердечной лжи. Самое большое мошенничество заключалось в том, что они верили в то, что говорили. Они предлагали Галту лучшее из того, что, с их точки зрения, могли предложить, они пытались соблазнить его тем, что являлось в их представлении самым полным воплощением мечты: безрассудной лестью, невероятным притворством, одобрением без каких-либо критериев оценки, наградой без объяснения, почестью без каких-либо оснований, восхищением без причин, любовью без кодекса ценностей.

– Мы отбросили все мелкие разногласия, – говорил в микрофон Висли Мауч, – все предвзятые мнения, все личные интересы и эгоистичные точки зрения – чтобы слушать под бескорыстным руководством Джона Галта!

Почему они слушают? – думала Дэгни. Разве они не видят печать смерти на этих лицах и печать жизни на его лице? К какому состоянию они стремятся? Какого состояния они жаждут для человечества?.. Она оглядела лица присутствующих в зале. Нервные и невыразительные, они отражали лишь сонную апатию и хронический страх. Они смотрели на Галта и на Мауча и не видели разницы между ними, не могли даже заинтересоваться, есть ли разница; их пустой, некритичный, лишенный всякой оценки взгляд, казалось, говорил: «Кто я такой, чтобы судить?» Она вздрогнула, вспомнив его слова: "Когда человек объявляет «Кто я такой, чтобы знать?»,- он говорит: «Кто я такой, чтобы жить?» А хотят ли они жить? – задумалась она. Казалось, они не хотели предпринять ни малейшего усилия, чтобы хотя бы задуматься об этом... Она видела, что лишь немногие способны на это. Они смотрели на Галта с отчаянной мольбой, с трагическим восхищением – их руки безвольно лежали на столе. Эти люди понимали его сущность, жили в тщетной надежде на его мир, но завтра, если бы они увидели, как его убивают в их присутствии, их руки остались бы столь же безвольны, они отвели бы глаза со словами: «Кто мы такие, чтобы действовать?»

– Единство действий и цели, – говорил Мауч, – при ведет нас к лучшей жизни...

Мистер Томпсон склонился к Галту и прошептал с дружеской улыбкой:

– Вы должны будете сказать несколько слов согражда нам, немного позже, после меня. Нет, нет, не нужно речи, всего одну-две фразы, не больше. Просто «привет, согражд дане» или что-то в этом роде, лишь для того, чтобы они узнали ваш голос.

Слегка усиленное давление «секретарского» дула на ребра Галта добавило еще один молчаливый абзац. Галт не ответил.

– План Джона Галта, – говорил Висли Мауч, – урегу лирует все конфликты. Он защитит собственность богатых и многое даст бедным. Он облегчит бремя налогов и обеспечит увеличение государственных пособий. Он снизит цены и поднимет зарплату, обеспечит большую свободу личности и укрепит узы коллективных обязательств. Он соединит эффективность свободного предпринимательства со щедростью плановой экономики.

Дэгни осмотрела несколько лиц – ей потребовалось некоторое усилие, чтобы поверить, что такое возможно, – которые смотрели на Галта с ненавистью. Она заметила, что Джим был одним из них. Когда на телеэкране маячила фигура Мауча, эти лица оставались скучающе спокойными, они не выражали удовольствия, но на них лежала печать утешительного знания, что от них ничего не требуется и что ничто не является прочным и неизменным. Когда на экране появлялась фигура Галта, губы их сжимались, а лица вытягивались, во взглядах появлялась напряженность. Внезапно Дэгни ясно ощутила, что они боятся четкости его лица, ясности его черт, ощущения реальности его бытия, объективного существования. Они ненавидят его за то, что он такой, какой есть, подумала она и почувствовала жуткий ужас, поняв суть их души; они ненавидят его за способность жить. А хотят ли жить они! – с усмешкой подумала Дэгни. Несмотря на оцепенение, охватившее ее сознание, она вспомнила его высказывание: «Желание быть никем – это желание вообще перестать быть».

Теперь мистер Томпсон суетливо кричал в микрофон, взяв бодрый «народный» тон:

– Это говорю вам я: дайте по зубам тем сомне вающимся, которые стремятся к расколу и сеют страх! Они говорили вам, что Джон Галт никогда не объединится с нами, не так ли? И что? Вот он здесь, лично, по собственному желанию, за этим столом и во главе страны! Он хочет, готов и может служить на благо своего народа! И ни один из вас никогда больше не должен сомневаться или сдаваться! Завтрашний день уже наступил – и какой день! Еда три раза в день для каждого, и так каждый день, машина в каждом гараже, бесплатное электричество, производимое каким-то хитрым мотором, подобного которому мы с вами никогда еще и не видели! Все, что от вас требуется, – это потерпеть еще немного! Терпение, вера и единство – вот рецепт прогресса! Мы должны жить в согласии друг с другом и с остальным миром, как одна большая, дружная семья, все должны работать на благо всех! Мы нашли лидера, который побьет все рекорды нашей богатой истории! Его заставила прийти сюда любовь к человечеству – чтобы служить вам, защищать вас и заботиться о вас! Он услышал ваши мольбы и с готовностью вызвался исполнить наш общий человеческий долг! Каждый из нас – сторож своему брату. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе! А сейчас вы услышите его голос, услышите его обращение к вам!.. Леди и джентльмены, – произнес он торжественно, – Джон Галт обращается к большой семье рода человеческого!

На экране появился Галт. Мгновение он не двигался. Затем быстрым отточенным движением, так, что рука «секретаря» не успела за ним, поднялся с места и отклонился в сторону – направленное на него дуло револьвера предстало взорам всего мира; некоторое время он стоял лицом к телекамерам, глядя в лицо невидимым зрителям, затем произнес:

– Убирайтесь с дороги!

Глава 9 . Генератор

«Убирайтесь с дороги!» Доктор Стадлер услышал это по радио, сидя в своей машине. Он не понял, исходил ли слез дующий звук – полувоплль, полусмех – от него, или он услышал его по радио, раздавался щелчок, и все смолкло. Радио замолчало. Никаких звуков из отеля «Вэйн-Фолкленд» не раздавалось.

Он переключал кнопки под освещенной шкалой приемника. Все было мертво, не последовало никаких объяснений, никаких ссылок на технические неполадки, не слышно было звуков всегда вырвавшейся музыки. Все станции молчали.

Его передернуло, он вцепился в руль, навалившись на него всем телом, как жокей в конце заезда, нога его нажала на акселератор. Небольшой отрезок автострады, казалось, подпрыгивал вместе со скачками фар. За пределами этой освещенной полосы простиралась лишь прерия Айовы. Он не знал, почему слушал радиопередачу; а теперь не понимал, почему дрожит. Внезапно он фыркнул – это прозвучало как злобное рычание, адресованное то ли радио, то ли тем людям в городе, то ли небу.

Он следил за номерами дорог на редких помильных столбах вдоль автострады. Ему незачем было смотреть на карту: за четыре прошедших дня эта карта отпечаталась в его сознании подобно вытравленным кислотой линиям. Этого они у меня не смогут отнять, думал он; они не остановят меня. У него возникло ощущение, что его преследуют; но позади него на целые мили не было ничего, кроме света задних фар его машины – двух маленьких сигналов опасности, бегущих во тьме прерий Айовы.

Он двигался уже четыре дня. Причиной послужило и лицо человека, сидящего на подоконнике, и лица тех, кого он встретил, выскочив из комнаты. Он крикнул им, что не договорился с Галтом и что и им не удастся, что Галт уничтожит их всех, если они первыми не уничтожат его.

– Не набивайте себе цену, профессор, – холодно ответил ему мистер Томпсон. – Вы достаточно вопили, что ненавидите его со всеми потрохами, но, когда пришло время действовать, вы совсем не помогли нам. Я не понимаю, на чьей вы стороне. Если он не пойдет на уступки мирно, мы, возможно, будем вынуждены оказать на него давление, ну, например, использовать заложников, которым он не хотел бы, чтобы причинили боль, – и вы первый в этом списке, профессор.

Я? – вскрикнул он, задрожав от ужаса и горького, отчаянного смеха. – Я? Да он проклинает меня больше, чем кого бы то ни было!

Откуда мне это знать? – отозвался мистер Томпсон. – Я слышал, что когда-то вы были его учителем. И не забывайте, вы единственный, с кем он согласился встретиться.

Казалось, ум его плавится от ужаса, у него было ощущение, что он вот-вот будет раздавлен двумя стенами, приближавшимися к нему: у него не оставалось шансов на спасение, если Галт откажется сдаться, и еще меньше, если он присоединится к этим людям. Именно в тот момент начал формироваться и приобретать четкие очертания образ грибообразного сооружения посреди прерий Айовы. Позже все образы стали сливаться в его сознании.

Объект "К" – подумал он, не отдавая себе отчета, вид ли этого строения, или феодального замка, возвышающегося над равниной, способствовал его осознанию, в какое время и к какому миру он принадлежал... Я Роберт Стадлер, думал он, это моя собственность, она появилась благодаря моим открытиям, мне говорили, что я изобрел это... Я покажу им! Он не понимал, имел ли в виду человека на подоконнике, или тех, других, или вообще все человечество... Его несвязные мысли уподобились плавающим в воде щепкам. Взять все под контроль... Я покажу

им!.. Контролировать все, заставлять... Другого способа жить на земле нет...

Именно эти высказывания словесно обозначили план, заполнивший его сознание. Он чувствовал, что все остальное ему понятно – понятно благодаря дикому чувству, яростно вопившему, что других пояснений не требуется. Завладев объектом "К", он будет управлять частью страны как феодальной вотчиной. Каким образом? Ответ давали его чувства: как-нибудь. По какой причине? Сознание его постоянно повторяло, что основной причиной служил ужас, который он испытывал по отношению к банде мистера

Томпсона, что находиться среди них для него небезопасно, что его план – вынужденная необходимость. В глубине его затуманенного сознания таился и ужас другого характера, но он был подавлен и утоплен вместе со связками между отдельными щепками слов.

Эти щепки являлись единственным компасом, указывающим ему путь в течение четырех дней и ночей, когда он ехал по пустой автостраде, по стране, скатывающейся в хаос, когда прибегал к невероятным ухищрениям, чтобы незаконно приобрести бензин, когда ухитрился выкроить редкие часы для беспокойного сна в мрачных отелях, под вымышленным именем... Я Роберт Стадлер, думал он, мысленно повторяя это снова и снова, как формулу всемогущества... Захватить контроль, думал он, несясь на огромной скорости и пренебрегая дорожными знаками в полупустых провинциальных городах, проезжая по вибрирующей стали моста Таггарта через Миссисипи; минуя попадавшиеся на пути остатки разоренных ферм среди бескрайних просторов Айовы... Я им покажу, продолжал думать он, пусть преследуют, теперь им не остановить меня... Так он думал, хотя никто не преследовал его, кроме света задних фар его машины и мотивов, утонувших в его сознании.

Он посмотрел на молчавшее радио и хмыкнул: его сдавленный смех походил на кулак, угрожающе поднятый к небу. Именно я практичен, думал он, у меня нет выбора... нет другого пути... Я покажу всем этим наглым бандитам, которые забыли, что я Роберт Стадлер... Все они погибнут, а я нет!.. Я выживу... Я одержу победу!.. Я покажу им!

Слова эти в его сознании напоминали островки твердой земли посреди безмолвного болота, связь между которыми затоплена и погребена на дне. Если соединить его слова, получилось бы предложение: «Я докажу ему, что другого способа жить на земле нет!..»

Разрозненные огни впереди были светом в казармах, построенных на территории объекта "К", известной теперь как Город Гармонии. Он заметил, что там происходило что-то странное. Ограда из колючей проволоки разорвана, у ворот не стояли часовые. В темноте, освещавшейся мерцающим светом фонариков, происходило что-то необычное: там стояли бронетранспортеры, раздавались команды, сверкали штыки. Никто не остановил его машину. На углу одного из барачков он увидел распростершееся на земле неподвижное тело солдата. Пьяный, подумал он, предпочитая думать так, хотя и удивился чувству сомнения. Грибовидное сооружение находилось прямо перед ним на небольшом возвышении; сквозь узкие щели окон пробивался свет; бесформенные трубы, торчавшие из-под купола, нацелились на темную страну. Когда доктор Стадлер вышел из машины у входа, путь ему преградил солдат. Солдат был вооружен должным образом, хотя на нем не было головного убора, а форма висела мешком.

Ты куда, парень? – спросил он.

Посторонись, – презрительно приказал доктор Стадлер.

Что у тебя за дело здесь?

Я доктор Роберт Стадлер.

А я Джо Блоу. Я спросил, что ты тут делаешь? Ты из новых или из старых?

Дай пройти, идиот! Я доктор Роберт Стадлер!

Не его имя, а его тон и манеры, казалось, убедили солдата.

– Один из новых, – произнес он, открыл дверь и крикнул кому-то внутри: – Эй, Мак,

займись-ка старичком, выясни, что ему нужно!

В пустом тусклом бетонированном холле его встретил человек, который походил на офицера, но его китель был расстегнут, а из угла рта нагло свисала сигарета.

Ты кто?– рявкнул он, и рука его метнулась к кобуре.

Я доктор Роберт Стадлер.

Его имя не произвело никакого эффекта.

Кто дал тебе разрешение явиться сюда?

Я не нуждаюсь в разрешении.

Это, казалось, произвело впечатление; человек вынул сигарету изо рта.

– Кто за тобой послал? – спросил он с оттенком недоверия.

Позвольте мне поговорить с комендантом, пожалуйста ста, – нетерпеливо потребовал доктор Стадлер.

С комендантом? Ты опоздал, братишка!

Тогда с главным инженером Главным – кем? А, с Вилли? С Вилли все в порядке; он один из нас, но его нет, уехал по поручению.

В холле были еще какие-то люди, которые прислушивались с явным любопытством.

Сделав знак рукой, офицер подозвал одного из них – небритого штатского в накинутом на плечи весьма потрепанном пальто.

Что тебе надо?– рявкнул он Стадлеру.

Кто-нибудь скажите мне, пожалуйста, где джентльмены из научного персонала? – спросил доктор Стадлер вежливой, но не допускающей возражений тоном.

Двое мужчин переглянулись, будто такой вопрос был здесь неуместен.

Вы прибыли из Вашингтона? – подозрительно спросил человек в штатском.

Нет. И я хочу, чтобы вы поняли, что я порвал с этой бандой из Вашингтона.

Ага! – Человек, казалось, был доволен. – Значит, вы друг народа?

Я бы сказал, лучший друг, какого народ когда-либо имел. Я тот самый человек, который дал народу все это. – Он обвел рукой вокруг себя.

Это правда? – спросил человек, на которого слова Стадлера произвели большое впечатление.

Так вы один из тех, кто пришел к согласию с боссом?

– С этого момента и навсегда босс здесь я. Мужчины переглянулись, отступив на несколько шагов.

Офицер спросил:

– Вы сказали, ваша фамилия Стадлер?

Роберт Стадлер. И если ты не знаешь, что это значит, то скоро узнаешь!

Пожалуйста, следуйте за мной, сэр, – вежливо, но не очень уверенно произнес офицер.

То, что происходило потом, доктор Стадлер понять не мог, – его ум отказывался принять реальность того, что он видел. В плохо освещенных, неприбранных кабинетах двигались люди, на их телах болталось слишком много оружия; резкими голосами, варьировавшими между страхом и наглостью, ему задавали множество бессмысленных вопросов. Он не задумывался, хотел ли кто-либо что-нибудь пояснить ему; он их не слушал; он не мог поверить, что все это действительно происходит. Он продолжал твердить тоном феодального монарха:

– Я здесь босс, отныне и навсегда... Приказы отдаю я... Я приехал, чтобы взять на себя руководство... Я владею этим... Я доктор Роберт Стадлер – и если вы не знаете это по имени в этом месте, вам нечего здесь делать, вы, идиоты! Вас разнесет на части, если у вас такие познания! Вы хоть проходили физику в школе? Да по-моему, вас бы даже в среднюю школу не допустили, ни одного из вас! Что вы здесь делаете? Кто вы такие?

Ему потребовалось довольно длительное время, чтобы понять, когда его ум не мог больше сопротивляться увиденному, что кто-то опередил его: у кого-то возник тот же план выживания, и кто-то решил обеспечить себе такое же будущее. Он осознал, что эти люди, которые называют себя друзьями народа, захватили объект "К" несколько часов назад с намерением установить свое правление. Он с горьким, недоверчивым презрением рассмеялся им в лицо:

– Вы сами не знаете, что делаете, вы, несчастные мало летние преступники! Вы полагаете, что вы – вы\ – способ ны управлять сложной научной аппаратурой? Кто у вас главный? Я требую встречи с ним.

Его властный тон, его презрение и их паника – слепая паника людей разнузданного насилия, у которых отсутствуют критерии опасности или безопасности, заставили их поколебаться и подумать, что, возможно, он какой-то секретный высокопоставленный член их руководства; они были в равной мере готовы и подчиниться, и игнорировать любую власть. ?

Его водили от одного нервно о начальника к другому и наконец повели вниз по железной лестнице, вдоль длинного, железобетонного, разносящего эхо подземного коридора на аудиенцию лично с боссом.

Босс скрывался в подземной аппаратной. Среди нагромождений сложных приборов, испускающих звуковые волны, на фоне распределительного щита со сверкающими рычагами, дисками набора и датчиками, известного как «ксилофон», Роберт Стадлер увидел нового хозяина объекта "К". Это оказался Каффи Мейгс.

Он был в полувоенной форме и кожаных крагах; складки шеи нависали над воротом; вьющиеся черные волосы слиплись от пота. Он беспокойно, твердо расхаживал перед «ксилофоном», отдавая приказы людям, которые вбегали и выбегали из комнаты.

– Пошлите курьеров во все окружные ценгры в пределе лах досягаемости! Сообщите, что друзья народа победили! Передайте, чтобы не подчинялись приказам из Вашингтона! Новой столицей Народной Республики является Город Гар монии, который впредь будет называться Мейгсвилл! Ска жите, что я надеюсь получить пятьсот тысяч долларов с каждых пяти тысяч человек завтра утром или...

Прошло некоторое время, прежде чем внимание Каффи Мейгса и его затуманенный взор обратились к фигуре доктора Стадлера.

Ну, что вам? Что вам? – резко спросил он.

Я доктор Роберт Стадлер.

А? О да! Да! Вы тот важный мальй из космоса, да? Вы тот парень, который отлавливает атомы или что-то в этом роде. Так какого черта вы здесь делаете?

Это я должен задать вам этот вопрос.

А? Послушайте, профессор, мне не до шуток.

Я здесь для того, чтобы взять на себя управление.

Управление? Чем?

Этим оборудованием. Этим местом. Территорией, на ходящейся в радиусе его действия.

Мейгс некоторое время тупо смотрел на него, а затем тихо спросил:

Как вы сюда попали?

На машине.

Я спрашиваю, с кем вы приехали?

Ни с кем.

Какое при вас оружие?

Никакого. Достаточно моего имени.

Вы приехали сюда один, со своим именем и машиной? – Да Каффи Мейгс расхохотался ему в лицо.

Вы полагаете, – спросил доктор Стадлер, – что вы сможете справиться с этими устройствами?

Уходите, профессор, уходите же! Убирайтесь, пока я вас не расстрелял! Нам здесь не нужны интеллигенты!

А что вы понимаете в этом! – Доктор Стадлер ука зал на «ксилофон».

Кого это волнует? Дюжину механиков можно нанять за десять центов! Убирайтесь! Это вам не Вашингтон! Они ничего не добьются, вступая в сделку с этим радиопривидением и произнося бесконечные речи! Действие – вот что необходимо! Прямое действие! Катись, док! Твое время вышло! – Он неустойчиво покачивался взад и вперед, хватаясь время от времени за рычаг «ксилофона». Доктор Стадлер понял, что Мейгс пьян.

Не хватайся за эти рычаги, ты, идиот!

Мейгс неохотно отдернул руку, затем демонстративно помахал ею перед панелью:

Я буду трогать то, что мне нравится! И не тебе говорить мне, что делать!

Отойдите от панели! Уходите отсюда! Здесь все мое! Вы понимаете? Это моя собственность!

Собственность? Ха! -коротко рявкнул Мейгс.

Я изобрел это! Я создал это! Я сделал это реальностью!

Правда? Ну что ж, большое спасибо, док, но ты нам больше не нужен. У нас есть свои техники.

У вас есть хоть какое-нибудь представление о том, что я должен был знать, чтобы создать это? Вы не смогли бы сделать ни одной трубы! Ни одного болта!

Мейгс пожал плечами:

Возможно.

Так как вы смеете даже думать о том, чтобы присвоить это? Как вы посмели прийти сюда? Какие у вас права на это?

Мейгс постучал по своей кобуре:

– Такие.

Послушай, ты, пьяная дубина! – закричал доктор Стадлер. – Ты знаешь, с чем играешь?

Не смей так разговаривать со мной, старый дурак! Кто ты такой, чтобы разговаривать со мной подобным образом? Я могу голыми руками сломать тебе шею! Ты что, не знаешь, кто я?

Ты трусливый и безмозглый головорез!

Да? Разве? Я босс! Я босс, и меня не остановит старое чучело вроде тебя! Убирайся отсюда!

Они стояли некоторое время, уставившись друг на друга, рядом с панелью «ксилофона», в полном ужасе. Ужас Стадлера, в котором он не хотел признаться даже себе, коренился в отчаянной борьбе с собой, нежелании верить, что он смотрит на конечный результат своих трудов, что перед ним его духовный сын. У Мейгса было больше причин для ужаса, который определял его бытие: он всю жизнь жил в ужасе и отчаянии, а сейчас стремился забыть то, что наводило на него ужас – даже в момент триумфа, когда он считал, что наконец в безопасности, этот представитель таинственной, непостижимой породы – интеллигент – не боялся его и не повиновался его власти.

Убирайся отсюда! – прорычал Каффи Мейгс. – Я позову своих людей! Я убью тебя!

Убирайся ты, грязный, мерзкий, безмозглый идиот! – прорычал в ответ доктор Стадлер. – Думаешь, я позволю тебе наживаться на моей жизни? Неужели ты думаешь, что это для тебя я... я продал... – Он не закончил. – Перестань трогать эти рычаги, черт тебя побери!

Не указывай мне! Не хватало еще, чтобы ты говорил мне, что делать! И ты не запугаешь меня своей высокомерной болтовней. Я буду делать что хочу. За что же я боролся, если не могу поступать так, как мне взбредет на ум? – Он фыркнул и протянул руку к рычагу.

Эй, Каффи, осторожнее! – завопила какая-то фигура в дальнем углу комнаты, рванувшись вперед.

Прочь! – взревел Каффи Мейгс. – Все прочь! Чтобы я испугался?! Я вам покажу, кто здесь хозяин!

Доктор Стадлер рванулся, чтобы остановить его, но Мейгс оттолкнул его одной рукой, громко расхохотался, увидев, что Стадлер упал, а другой дернул за рычаг «ксилофона».

Грохот, душераздирающий треск рвущегося металла, с силой сталкивающихся предметов, звуки борющегося с самим собой чудовища – все это слышалось только внутри строения. Снаружи все было спокойно. Просто внезапно все строение бесшумно поднялось в воздух, распалось на несколько огромных обломков, выбросило в небо несколько свистящих полосок голубого света и рухнуло грудой булыжника. В радиусе сотни миль, включая округа четырех штатов, телеграфные столбы посыпались, как спички, фермерские дома превратились в кучи щебня, дома в городах рухнули в течение секунды, жертвы, мгновенно превратившиеся в изуродованные трупы, не услышали даже подобия какого-либо звука, а на периферии круга, на полпути через Миссисипи, локомотив и шесть первых вагонов пассажирского поезда металлическим душем посыпались в реку вместе с западными пролетами расколовшегося надвое моста Таггарта.

На том месте, где находился проект "К", среди руин не осталось ничего живого – разве что несколько бесконечно долгих минут там существовал кусок изуродованной плоти и жгучая боль того, кто совсем недавно считался великим умом.

Я испытываю состояние какой-то невесомости, свободы, подумала Дэгни, полностью осознав, что на данный момент ее единственной неуклонной целью была телефонная будка, что ее совершенно не касались намерения прохожих, которые окружали ее на улице. Но это не способствовало появлению чувства отрешенности от города; наоборот, впервые в жизни у нее возникло ощущение, что она владеет городом, любит его, что она никогда раньше не любила его так, как в этот момент, таким глубоким, сильным и уверенным чувством собственности. Ночь стояла тихая и ясная, Дэгни посмотрела на небо; оно соответствовало состоянию скорее мрачному, чем веселому, хотя и с предвкушением радости. Погода была скорее безветренной, чем теплой, с признаками хотя и далекой, но уже наступающей весны.

Убирайтесь с дороги! – думала она не с возмущением, а почти с удовольствием, с чувством освобождения и отмежевания, мысленно обращаясь к прохожим, к машинам, которые мешали ее передвижению, к тому страху, который овладевал ею в прошлом. Прошло менее часа с тех пор, как она услышала эту произнесенную им фразу, и голос его, казалось, все еще звучал на улицах, постепенно перерастая в нечто напоминающее смех.

Она торжествующе засмеялась в зале отеля «Вэйн-Фолкленд», когда услышала, как он произнес эти слова; она смеялась, прикрыв рот рукой, так что смех отражался только в ее глазах – и в его, когда он посмотрел прямо на нее, и она не сомневалась, что он слышал ее смех. Они смотрели друг на друга в течение секунды поверх голов вопящей и визжащей толпы – а в это время разбивались вдребезги микрофоны, хотя все станции мгновенно отключили, опрокидывались столы и билось стекло – несколько гостей в панике бросились к выходу.

Затем она услышала вопль мистера Томпсона, махнувшего рукой в сторону Галта:

– Уведите его назад в комнату, за его охрану вы отвечаете головой!

Толпа расступилась, когда три человека вели Галта. Мистер Томпсон на мгновение, казалось, пал духом, он опустил голову на руки, но вскоре овладел собой, вскочил места, вяло махнул своим сторонникам, чтобы следовали за ним, и выскочил через боковой запасной выход. Никто не обернулся и ничего не сказал гостям: некоторые из них уже в панике бежали к выходу, другие сидели, боясь пошевелиться. Зал напоминал корабль без капитана. Дэгни двинулась

сквозь толпу вслед за уходящей кликой. Никто не пытался остановить ее.

Она нашла их сгрудившимися в одном из маленьких кабинетов: мистер Томпсон сидел, сгорбившись в кресле, обхватив голову руками, Висли Мауч стонал, Юджин Лоусон рыдал с нотками ярости, как избалованный ребенок, Джим наблюдал за ними с какой-то странной напряженностью во взгляде.

– Я ведь предупреждал вас! – кричал доктор Феррис. – Предупреждал, да? Вот чего вы добились вашим мирным убеждением.

Дэгни продолжала стоять у двери. Казалось, они осознавали ее присутствие, но их это не волновало.

Я слагаю с себя все полномочия! – вопил Чик Моррисон. – Я уйду в отставку! Хватит с меня! Я больше не знаю, что сказать стране! Я не могу мыслить! И даже не буду пытаться! Это бесполезно! Я ничего не мог сделать! Вы не должны осуждать меня! Я сложил с себя все обязанности! – Он взмахнул руками в жесте то ли беспомощности, то ли прощания и выскочил из комнаты.

У него есть оборудованное убежище в Теннесси, – задумчиво произнес Тинки Хэллоуэй, словно и он предпринял подобные меры предосторожности и теперь раздумывал, не пора ли.

Он не продержится там долго, если вообще туда добежит, – сказал Мауч. – Со всеми этими бандами налетчиков и транспортными проблемами... – Он развел руками и не закончил высказывания.

Дэгни понимала, какие мысли их обуревают; она знала, что независимо от того, какие убежища они подготовили для себя, они знали, что попали в западню.

Она не заметила на их лицах ужаса, лишь намек на легкий испуг. Выражение их лиц колебалось от полной апатии до облегчения, как у плутов, которые понимают, что игра иначе и не могла закончиться, и теперь даже не стараются что-то изменить или хотя бы сожалеть об этом, до обиженного ослепления Лоусона, который просто не хотел ничего понимать, до своеобразной напряженности Джима, на лице которого блуждала таинственная улыбка.

– Ну? Так что? – нетерпеливо спрашивал доктор Феррис с кипучей энергией человека, чувствующего себя как рыба в воде в истерическом мире. – Что вы теперь собиаетесь с ним делать? Спорить? Дискутировать? Произносить речи?

Все молчали.

Он... должен... спасти... нас. медленно произнес Мауч, направляя остатки своего ума на предъявление ультиматума реальности. – Он обязан... занять должность... и спасти всю систему...

Почему бы тебе не написать ему об этом в любовном послании? – спросил Феррис.

Мы должны... заставить его... занять пост... Мы обязаны силой заставить его взять на себя управление, – тоном лунатика повторил Мауч.

Ну теперь-то, – спросил Феррис, внезапно понижая голос, – вы понимаете, каким ценным учреждением является Государственный институт естественных наук?

Мауч ничего не ответил, но Дэгни заметила, что все поняли, о чем идет речь.

– Вы были против моего исследовательского проекта, называя его непрактичным, – тихо продолжал Феррис. – Но что я вам говорил?

Мауч молчал, щелкая костяшками пальцев.

– Сейчас не время для щепетильности, – с неожиданной силой сказал Джеймс Таггарт непривычно тихим голосом. – Нечего сюсюкать.

Мне кажется, – мрачно произнес Мауч, – что... что... цель оправдывает средства...

Сегодня уже слишком поздно для угрызений совести или каких-то принципов, – сказал Феррис. – Только пря мое действие еще может сработать.

Никто не ответил; они как будто хотели, чтобы молчание, а не слова выразили их мнение.

Ничего не получится, – сказал Тинки Хэллоуэй. – Он не уступит.

Это вы так считаете! – хмыкнул Феррис. – Вы не видите нашу экспериментальную модель в действии. В прошлом месяце мы добились признания в трех запутанных делах об убийстве.

Если... – начал мистер Томпсон, и голос его внезапно перерос в стон, – если он умрет, мы все погибнем!

Не беспокойтесь, – произнес Феррис. – Он не умрет. «Увещеватель Ферриса» надежно защищает от такого исхода.

Мистер Томпсон промолчал.

– Мне кажется... у нас нет выбора... – почти прошептал Мауч.

Все молчали; мистер Томпсон старался не замечать, что все взгляды устремлены на него.

– Ну что ж, поступайте как знаете. Я не могу мешать. Делайте что хотите!

Доктор Феррис повернулся к Лоусону.

– Джин, – напряженно, все еще шепотом произнес он, – беги в радиорубку. Распорядись, чтобы все станции приготовились. Скажи, что я подготовлю мистера Галта к выступлению в течение ближайших трех часов.

Лоусон вскочил и с неожиданно радостной ухмылкой выбежал из комнаты.

Она поняла. Поняла, что они собираются делать и каково внутреннее состояние, позволившее им прийти к этому решению. Они не надеялись, что задуманное приведет к успеху. Они понимали, что Галт не сдастся; они и не хотели, чтобы он сдался. Они знали, что ничто их не спасет; они и не желали, чтобы их спасли. Ими руководила паника безрассудных эмоций, всю свою жизнь они боролись с реальностью и теперь достигли того состояния, когда наконец почувствовали себя как дома. Их даже не волновало, откуда у них это чувство; их сущность сводилась к тому, чтобы никогда не задумываться, что и как они чувствуют, к ним просто пришло осознание, что именно к этому они стремились, что это как раз и есть та реальность, которая составляет смысл их чувств, действий, желаний, их устремлений и выбора. В этом и заключались суть и характер их бунта против жизни и не имевшего названия поиска безымянной нирваны. Они не хотели жить. Они хотели, чтобы умер он.

Ужас, который она ощутила, был подобен внезапному удару хлыстом; она поняла, что предметы, которые она воспринимала как людей, таковыми не являются. Ей стало ясно все, пришла пора действовать. Он в опасности; в ее сознании не было ни места, ни времени для эмоций по поводу действий недочеловеков.

Надо сделать все так, – шептал Висли Мауч, – что бы никто никогда не узнал...

Никто и не узнает, – ответил Феррис; в их голосах слышалась осторожность заговорщиков. – Это секретное место, отдельное строение на территории института... Звук непереносимый и стоящее на достаточно безопасном расстоянии от всего остального... Лишь немногие работающие там имели туда доступ...

Если бы мы полетели... – произнес Мауч и внезапно умолк, будто заметил на лице Ферриса предостережение.

Дэгни увидела, как Феррис остановил на ней взгляд, внезапно вспомнив о ее присутствии. Лицо ее не дрогнуло, всем своим видом она выказывала полнейшее безразличие, словно ничего не понимала и ничто ее не волновало. Затем, будто осознав, что разговор здесь ведется секретный, она повернулась, слегка пожав плечами, и вышла из комнаты. Она знала, что они уже перешагнули ту черту, когда стали бы волноваться из-за нее.

Она так же неторопливо, с видом полного безразличия шла сквозь залы отеля к выходу. Но, когда она прошла квартал и свернула за угол, голова ее внезапно дернулась вверх, складки вечернего платья подобно парусу с шумом забились об ноги от неожиданной стремительности

движений.

И теперь, мчась в темноте, думая только о том, как поскорее добраться до телефонной будки, она чувствовала, что в ней неуклонно растёт новое ощущение, вытесняющее напряжение страха и опасности; ощущение свободы мира, которому никто и ничто не помешает.

Она заметила полоску света на тротуаре, которая пробивалась из окна бара. Никто не обратил на нее внимания, когда она прошла через полупустой зал, – немногочисленные посетители все еще напряженно перешептывались перед потрескивающей пустотой телеэкрана.

Стоя в тесном пространстве телефонной будки, как в кабине корабля, готового к полету на другую планету, она набрала номер ОР -.

Ей тут же ответил голос Франциско:

Слушаю.

Франциско?

Привет, Дэгни. Я ждал твоего звонка.

Ты слушал радио? -Да.

– Они намерены силой заставить его сдать. – Она старалась говорить так, будто просто излагала факты. – Они собираются пытать его. На территории ГИЕНа есть какая-то машина, которую они называют «увещевателем Ферриса». Это в штате Нью-Гэмпшир. Они упоминали о самолете. Сказали, что заставят его выступить по радио в течение ближайших трех часов.

Понял. Ты звонишь из телефонной будки? -Да.

Ты все еще в вечернем туалете? -Да.

Слушай внимательно. Иди домой, переоденься, упакуй самое необходимое, возьми драгоценности и другие ценные вещи, которые сможешь унести, надень что–нибудь теплое. У нас не будет времени на это позже. Встретимся через сорок минут на северо-западном углу, в двух кварталах к востоку от главного входа в терминал Таггарта.

Хорошо.

Пока, Слаг.

Пока, Фриско.

Меньше чем через пять минут Дэгни стояла в спальне своей квартиры и срывала с себя вечернее платье. Она оставила его на полу посреди комнаты, как ненужную форму армии, в которой она больше не служила. Она надела темно-синий костюм и – вспомнив слова Галта – белый с высоким воротом свитер. Упаковала чемодан и сумку с ремнем, которую могла повесить на плечо. Драгоценности она засунула в самый угол сумки, включая пятидолларовую золотую монету, которую заработала в той долине, и браслет из сплава Реардэна, полученный ею за пределами долины.

Она легко вышла из квартиры, заперев дверь, хотя понимала, что, возможно, больше никогда в нее не вернется. На мгновение ей стало труднее, когда она пришла в свой кабинет. Никто не видел, как она вошла; в приемной никого не было; огромное здание Таггарта казалось необычайно тихим. Она стояла и смотрела на свой кабинет, вспоминая обо всех годах, проведенных здесь. Потом она улыбнулась; нет, не так уж и трудно, подумала она, открыла сейф и достала документы, за которыми пришла. Ничего другого брать из своего кабинета она не хотела – кроме портрета Натаниэля Таггарта и карты трансконтинентальных дорог Таггарта. Она сломала рамы, свернула в трубочку портрет и карту и сунула их в чемодан.

Она как раз запирала чемодан, когда услышала чьи-то поспешные шаги. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел главный инженер; он весь дрожал, лицо его было перекошено.

– Мисс Таггарт! – вскричал он. – О, слава Богу, мисс Таггарт, вы здесь. Мы искали вас повсюду!

Она не ответила, лишь вопросительно посмотрела на него.

Мисс Таггарт, вы слышали? \

Что?

Значит, не слышали! О Господи, мисс Таггарт, это... ке могу поверить, но... Господи, что делать? Мост... моста Таггарта больше нет!

Дэгни смотрела на него, не в силах пошевелиться.

– Его нет! Взорван! Взлетел на воздух в одну секунду. Никто точно не знает, что случилось, но похоже... думают, что-то произошло на объекте "К" и... похоже на... звуковые волны. Мисс Таггарт! Невозможно никуда добраться в радиусе сотни миль! Это невысказано, этого не может быть, но в этом радиусе все сметено с лица земли!.. Мы не можем добиться никаких разъяснений! Никто ничего не знает – ни газеты, ни радио, ни полиция! Мы все еще пытаемся добиться ответа, но слухи, которые доходят с краев этого кольца... – Он вздрогнул. – Только одно определено: моста нет! Мисс Таггарт! Мы не знаем, что делать!

Она бросилась к своему столу и схватила телефонную трубку. Рука ее застыла в воздухе на полпути. Затем медленно, толчками, с невероятным усилием она заставила руку двигаться, чтобы положить трубку обратно на рычаг. Ей казалось, что для этого потребовалось много времени, будто рука ее должна была преодолеть атмосферное давление, с которым человек не в силах бороться; и в течение этих коротких мгновений непроходящей ослепляющей боли она поняла, что чувствовал Франциско в ту ночь, двенадцать лет назад, и что чувствовал юноша двадцати шести лет, когда в последний раз смотрел на свой двигатель.

– Мисс Таггарт, – кричал главный инженер. – Мы не знаем, что делать!

Трубка мягко опустилась на рычаг.

– Я тоже не знаю, – ответила Дэгни.

Через мгновение она поняла, что все кончено. Она слышала собственный голос, советующий все поточнее выяснить и позже сообщить ей, а потом ждала, когда эхо шагов главного инженера затихнет в коридоре.

Пересекая в последний раз вестибюль вокзала, она взглянула на памятник Натаниэлю Таггарту – и вспомнила свое обещание. Это всего лишь символ, подумала она, но это будет то прощание, которое Натаниэль Таггарт заслужил. У нее не оказалось никакого другого пишущего средства, поэтому она достала из сумочки помаду и, улыбаясь мраморному лицу человека, который понял бы ее, нарисовала на пьедестале у его ног большой знак доллара.

Она первая пришла на место встречи, которое находилось в двух кварталах к востоку от входа в терминал. Пока ждала, она заметила первые признаки паники, которая вскоре охватила весь город: машины ехали слишком быстро, некоторые были загружены домашним скарбом, мимо нее промчалось слишком много полицейских автомобилей, а вдалеке звучало слишком много сирен. Новость о том, что мост разрушен, явно расползлась по городу, вскоре все поймут, что город обречен, и начнется паническое бегство во имя спасения; бежать некуда, но ее это больше не волновало.

Она видела, как приближается Франциско; она узнала его быструю походку прежде, чем увидела лицо под низко надвинутой на глаза шляпой. Она отметила тот момент, когда он, подойдя ближе, увидел ее. Он махнул ей рукой и улыбнулся в знак приветствия. Какое-то едва ощутимое напряжение в движении его руки напоминало жест Д'Анкония, приветствовавшего долгожданного путника у ворот своих владений.

Когда он подошел, она стояла, торжественно выпрямившись, глядя на его лицо и на здания величайшего в мире города, будто именно такие свидетели и отвечали ее ожиданиям, потом медленно, ровным, уверенным тоном произнесла:

– Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня.

Он наклонил голову, словно подтверждая сказанное. Его улыбка теперь означала приветствие.

Затем он поднял ее чемодан, взял ее под руку и произнес:

– Вперед.

Подразделение, известное как объект "Ф" – в честь его организатора доктора Ферриса, представляло собой маленькое строение из железобетона и располагалось у под ножья холма, на котором, на виду у всех, возвышался Государственный институт естественных наук. Из окон института открывался вид только на небольшое серое пятно крыши этого подразделения, затерянного в зарослях старых деревьев; оно выглядело оттуда как вход в подземелье.

Двухэтажное здание было построено в виде двух ассим-метрично поставленных друг на друга кубов разной величины. На первом этаже отсутствовали окна, лишь усеянная железными шипами дверь, на втором, словно нехотя уступая дневному свету, виднелось единственное окно. Фасад походил на лицо одноглазого человека. Сотрудников института эта постройка не интересовала; никто из них не ходил по тропинкам, ведущим к ее двери; они молчаливо сошлись на предположении, что проект, над которым работали в этом здании, связан с экспериментами над вирусами опаснейших болезней.

Оба этажа занимали лаборатории, заполненные клетками с морскими свинками, собаками и крысами. Но сердцем здания была комната в подвальном этаже, глубоко под землей; стены этой комнаты неумело покрыли листами какого-то пористого звукопоглощающего материала, на обивке начали появляться трещины, сквозь которые виднелся голый камень.

Здание постоянно охраняли четверо специальных охранников. В этот вечер число охранников увеличили до шестнадцати человек, вызванных междугородным звонком из Нью-Йорка для выполнения особого задания. Охранники, так же как и все остальные служащие объекта "Ф", подбирались очень тщательно на основании одного-единственного качества: безграничной способности подчиняться.

Эти шестнадцать человек были выставлены вокруг здания и в пустынных лабораториях первого и второго этажей, где они и дежурили, не проявляя никакого интереса к тому, что происходило внизу, под землей.

В комнате подвального этажа, под землей, в стоящих у стены креслах сидели доктор Феррис, Висли Мауч и Джеймс Таггарт. В противоположном углу стояла машина, напоминающая небольшой шкаф неправильной формы. В передней панели машины располагались несколько рядов стеклянных шкал, на которых красным цветом была отмечена критическая точка, квадратный экран, похожий на усилитель, ряды цифр, деревянных рычажков и пластмассовых кнопок, ручка управления с одной стороны и красная стеклянная кнопка с другой. Панель, казалось, выражала больше чувств, чем лицо управляющего машиной техника, рослого молодого человека в рубашке, на которой проступили пятна пота, и с закатанными выше локтей рукавами; его светло-голубые глаза остекленели от полной сосредоточенности на работе; время от времени он шевелил губами, словно вспоминая зазубренный урок.

Короткий провод соединял машину с аккумулятором, находившимся позади нее. Длинные витки провода, похожие на изгибающиеся щупальца осьминога, протянулись по каменному полу от машины к кожаному мату, расстеленному на полу под конусообразным лучом ослепительного

света. На мате, привязанный к нему ремнями, лежал Джон Галт. Он был обнажен; маленькие металлические диски электродов на кончиках проводов были присоединены к его запястьям, плечам, бедрам и лодыжкам; какое-то приспособление, напоминающее стетоскоп и соединенное с усилителем, пристроено на груди.

– Пойми, – сказал доктор Феррис, впервые обращаясь к Галту, – мы хотим, чтобы ты взял на себя управление экономикой страны. Мы хотим, чтобы ты стал диктатором. Хотим, чтобы ты управлял. Понятно? Мы хотим, чтобы ты отдавал приказы и думал, какие приказы следует отдавать. Мы добьемся того, чего хотим. Никакие призывы, логика, возражения или пассивное послушание тебя не спасут. Нам нужны идеи – иначе тебе не поздоровится. Мы не выпустим тебя отсюда до тех пор, пока ты не скажешь, какие примешь меры для спасения нашей системы. А потом заставим тебя рассказать об этом по радио всей стране. – Он поднял руку, показывая секундомер: – Даю тебе тридцать секунд. Решай, начнешь говорить или нет. Если нет – начнем мы. Понятно?

Галт смотрел ему прямо в глаза, лицо его ничего не выражало, будто он понимал больше, чем сказал Феррис. Он не отвечал.

Все прислушивались к раздававшемуся в тишине тиканью часов – часы отсчитывали секунды – и к тяжелому, прерывистому дыханию Мауча, вцепившегося в ручки кресла.

Феррис сделал знак технику, стоявшему у машины. Техник дернул рычаг, зажглась красная стеклянная кнопка, и послышались два новых звука: низкое жужжание электромотора и странный стук, похожий на приглушенное тиканье часов. Они не сразу поняли, что этот стук слышен из усилителя и что они слышат биение сердца Галта.

– Номер три, – сказал Феррис, делая знак пальцем. Техник нажал кнопку под одной и? шкал. По телу Галта пробежала волна дрожи. Его левая рука судорожно подергивалась от электрического тока, идущего по проводу, пропущенному между его левым запястьем и плечом. Он откинул назад голову, закрыл глаза, сжал зубы и не проронил ни звука.

Когда техник убрал руку с кнопки, рука Галта перестала вздрагивать. Он не двигался.

Трое переглянулись ищущим взглядом. Глаза Ферриса не выражали ничего, во взгляде Мауча отразился ужас, во взгляде Таггарта – разочарование. Тишину нарушал звук приглушенного биения сердца.

– Номер два, – произнес Феррис.

На этот раз заряд направили между правым бедром и лодыжкой Галта, и конвульсии сотрясали его правую ногу. Он схватился обеими руками за края мата. Его голова дернулась, затем он снова затих. Сердце забило немного быстрее.

Мауч отвернулся, вжавшись в спинку кресла. Таггарт остался сидеть на краешке кресла, подавшись вперед.

– Номер один, постепенно, – сказал Феррис.

Торс Галта подбросило, затем его сотрясла долгая судорога, особенно заметная возле связанных кистей рук, электрический разряд заставлял биться в конвульсиях всю верхнюю часть его туловища, от одного запястья до другого. Техник медленно поворачивал ручку, увеличивая силу разряда; стрелка на шкале приближалась к критической отметке. Дыхание Галта, вырывавшееся из его пораженных легких, стало прерывистым.

– Получил? – зарычал Феррис. Ток отключили.

Галт молчал. Он вдохнул полной грудью. Сердце бешено колотилось. Но постепенно дыхание становилось ровнее, он заставил себя расслабиться.

– Что вы с ним миндальничаете? – завопил Таггарт, впившись взглядом в обнаженное тело на матрасе.

Галт на мгновение открыл глаза и взглянул на троих мужчин. Взгляд его был спокойным и

трезвым, не выдававшим никаких мыслей или чувств. Затем он уронил голову и тихо лежал с закрытыми глазами, словно забыл о них.

Его нагое тело выглядело странно неуместным в этом подвале. Они это знали, хотя ни один из них не признался бы в этом даже самому себе. Линии его высокой фигуры, от лодыжек до узких бедер, талии, широких плеч, выдерживали сравнение с линиями древнегреческих статуй, и наполнены они были тем же содержанием. Только они были более удлиненными, более легкими и предполагали большую подвижность, большую силу и неутомимую энергию – это тело могло принадлежать не воину на колеснице, а скорее творцу самолетов. И подобно тому, как смысл древнегреческой статуи – изображение человека в образе бога – вступал в противоречие с атмосферой выставочных залов нашего времени, его тело выглядело странно в этом подвале – месте доисторического варварства. Дисгармония казалась еще большей, потому что Галт удивительно органично вписывался в мир проводов и нержавеющей стали, точных инструментов и рычагов на пульте управления. Возможно – и именно этой мысли яростней всего противились те, кто наблюдал за пыткой, именно эта мысль гнездилась глубоко в их душах, потому что на поверхность она выливалась в виде неясной ненависти и смутного ужаса, – возможно, именно отсутствие в современном мире таких статуй превратило генератор в осьминога, и может быть, именно поэтому тело Галта оказалось в щупальцах этого осьминога.

– Я слышал, ты здорово разбираешься в электричестве, – сказал Феррис и ухмыльнулся. – Но и мы то же – как ты думаешь?

Ответом ему послужили все те же два звука: гул мотора и биение сердца Галта.

– Смешанные разряды! – приказал Феррис, сделав знак технику.

Удары тока следовали теперь один за другим, нерегулярно и непредсказуемо, практически без перерыва или с перерывом до нескольких минут. Лишь по судорогам, которые сотрясали ноги, руки, торс или все тело Галта, можно было догадаться, что электрический разряд проходит между какими-то двумя электродами или через все электроды сразу. Стрелки на шкалах то приближались к критическим отметкам, то вновь отклонялись к нулю: машину создавали с таким расчетом, чтобы причинить жертве сильнейшую боль, не повредив, однако, тела.

Ожидание очередного удара оказалось невыносимым даже для самих наблюдателей. Минуты ожидания заполнились звуками сердцебиения: сердце Галта колотилось теперь в рваном ритме. Паузы были рассчитаны так, чтобы сердцебиение могло возвратиться к нормальному ритму, но жертва, в любую секунду ожидающая очередного разряда, не могла вздохнуть свободно.

Галт лежал расслабившись, он будто не старался бороться с болью, а подчинялся ей, пытался не уменьшить ее, а вытерпеть. Он то приоткрывал рот, вдыхая, то из-за внезапного шока вновь крепко сжимал губы, он не сопротивлялся дрожи, охватывавшей его одеревеневшие мышцы, но гасил ее в ту же секунду, как разряд кончался. Лишь кожа на лице натянулась и плотно сжатые губы несколько раз искривились. Когда электрический удар прошел через его грудную клетку, голова его дернулась и медно-золотые пряди волос разлетелись, словно под порывами ветра, дующего прямо в лицо. Тем, кто наблюдал за ним, показалось странным, что волосы его темнеют, пока наконец они не поняли, что его голова стала мокрой от пота. Они думали, что жертва, слыша стук собственного сердца, готового, кажется, в любую секунду разорваться, должна испытывать ужас. Но от ужаса дрожали сами палачи, прислушиваясь к неровному, прерывистому ритму и почти не дыша всякий раз, когда биение сердца останавливалось. Казалось, сердце неистово бьется, колотясь в отчаянном гневе, в агонии о стенки ребер, – сердце протестовало, человек не делал к этому никаких попыток. Он лежал спокойно, закрыв глаза, слушая, как сердце борется за жизнь. Висли Мауч сорвался первым.

О Господи, Флойд! – закричал он. – Не смей уби вать его! Его нельзя убивать! Если он

умрет, мы умрем тоже!

Он не умрет, – огрызнулся Феррис. – И захочет, да не умрет! Машина не даст! Все рассчитано! Никакой опас ности нет!

Но может, хватит? Теперь он подчинится! Я уверен!

Нет! Не хватит! Я не хочу, чтобы он подчинялся\ Я хо чу, чтобы он поверш\ Принял! Добровольно^. Нужно заста вить его добровольно работать на нас!

Давай! – закричал Таггарт. – Чего ты ждешь? Разве ток не должен быть сильнее? Он ведь еще ни разу не вскрикнул!

Что с тобой? – задохнулся Мауч, случайно увидев выражение лица Таггарта, наблюдавшего за сотрясающими тело Галта судорогами; Таггарт напряженно смотрел на Галта, но глаза его казались стеклянными, мертвыми; мыш цы лица стянулись в непотребную карикатуру на наслажде ние, взгляд стал бессмысленным.

Получил? – вопил Феррис. – Теперь ты готов хотеть того же, что и мы?

Ответа не последовало. Иногда Галт поднимал голову и смотрел на них. Под глазами у него проступили темные круги, но взгляд был ясен и тверд.

Наблюдателей охватила все возрастающая паника, они уже не контролировали ни себя, ни ситуацию – комната наполнилась невнятными пронзительными выкриками:

– Мы хотим, чтобы ты взял это на себя!.. Мы хотим, чтобы ты управлял!.. Мы приказываем тебе приказывать!.. Требуем, чтобы ты стал диктатором!.. Приказываем тебе спасти нас!.. Приказываем тебе думать!..

Ответом им был лишь стук сердца, от жизни которого зависели и их жизни.

Электрический разряд пронзил грудную клетку Галта, и сердце его забилося рывками, словно спотыкаясь, – и вдруг тело ослабло, затихло, сердцебиения больше не слышалось.

Наступившая тишина потрясла их, но прежде чем они смогли вскрикнуть, охвативший их ужас стал невыносимым, потому что Галт открыл глаза и поднял голову.

Потом они осознали, что не слышно и шума мотора, красная лампочка на пульте погасла – ток больше не подавался, генератор перегорел.

Техник снова и снова без толку нажимал на кнопку. Снова и снова дергал рычаг. Потом пнул машину ногой. Красная лампочка не загоралась, мотор не гудел.

Ну? – лязгнул зубами Феррис. – Ну? В чем дело?

Генератор не работает, – беспомощно произнес тех ник.

Что с ним?

Не знаю.

Ну так выясни и исправь!

Техник не являлся профессиональным электриком; его взяли на эту работу не потому, что он был квалифицированным специалистом, а потому, что он был готов не раздумывая нажать на любую кнопку, которую ему укажут; ему требовались такие усилия, чтобы что-нибудь понять, что можно было не сомневаться – в его сознании не оставалось места ни для чего другого. Он открыл щит на задней панели машины и в замешательстве уставился на спутанные витки проводов: внешне все выглядело исправным. Он натянул резиновые перчатки, взял плоскогубцы, подтянул наугад несколько гаек и почесал в затылке.

– Не знаю, – сказал он; в его голосе слышалась беспо мощная покорность. – Откуда мне знать?

Трое мужчин вскочили с места и окружили машину, уставившись на ее упрямые детали. Они сделали это произвольно – они знали, что здесь ничем помочь не могут.

– Ты должен ее исправить! – завопил Феррис. – Она должна работать! Нам нужно электричество!

– Мы должны продолжить! – кричал Таггарт; его трясло. – Это нелепо! Так не пойдет! Меня ничто не оста новит! Я не дам ему уйти! – Он показал на мат.

Сделай что-нибудь! – кричал Феррис на техника. – Не стой же! Сделай что-нибудь! Исправь ее! Я приказываю тебе ее исправить!

Но я не знаю, что с ней, – в изумлении ответил тех ник.

Так посмотри.

Как?

Я приказываю тебе ее исправить! Слышишь? Она должна работать – иначе я уволю тебя и брошу в тюрьму!

Но я не знаю, что с ней. – Техник в замешательстве вздохнул. – Не знаю, что и делать.

Неисправен вибратор, – произнес кто-то позади них; они в смятении обернулись; Галт с трудом дышал, но гово рил резким, уверенным тоном инженера. – Его нужно до стать и вскрыть алюминиевый цилиндр. Внутри спаяны два контакта. Их нужно разъединить, взять небольшой напиль ник и зачистить сгоревшие концы. Потом снова закрыть цилиндр, вставить вибратор на место – и генератор зара ботает.

На мгновение воцарилась глубокая тишина.

Техник во все глаза уставился на Галта – тот выдержал его взгляд; и даже он понял выражение его смеющихся глаз: Галт презрительно усмехался.

Техник отступил назад. Даже в его голове, где все представлялось неясным и туманным, зародилось еще зыбкое, неоформившееся, невысказанное осознание того, что происходит в этом подвале.

Он взглянул сначала на Галта, потом на троих остальных, на машину. Затем вздрогнул, уронил плоскогубцы и выбежал из комнаты.

Галт рассмеялся.

Трое мужчин медленно попятились. Они пытались запретить себе понять то, что понял техник.

Нет! – вскричал вдруг Таггарт, взглянув на Галта и рванувшись вперед. – Нет! Я не дам ему уйти! – Он упал на колени, отчаянно пытаясь найти алюминиевый цилиндр вибратора. – Я ее исправлю! Сам! Мы должны продол жить! Должны сломить его!

Полегче, Джим, – с тревогой сказал Феррис, пытаясь поднять его с колен.

Может... может, отложим это на одну ночь? – умо ляюще произнес Мауч; он смотрел на дверь, за которой скрылся техник, в его взгляде смешались зависть и ужас.

Нет! – вскричал Таггарт.

Но, Джим, ведь он получил свое. Не забывай, нужно действовать осторожно!

Нет! Ему этого мало! Он еще ни разу не вскрикнул!

Джим! – воскликнул вдруг Мауч. Что-то в лице Таггарта ужаснуло его. – Мь; не можем убить его! Ты это шаешь!

– Мне все равно! Я хочу его сломить! Хочу слышать, как он закричит! Хочу...

И тут Таггарт сам закричал. Он пронзительно завопил, словно вдруг увидел что-то, хотя смотрел в пустоту и глаза его были пусты. То, что он увидел, было в нем самом. Защитные стены эмоций, желания уклониться, притворства, полумысли и псевдослова, выстроенные им за все эти годы, рухнули в одно мгновение – в ту минуту, когда он понял, что желал смерти Галта, зная, что за этой смертью последует его собственная.

Он внезапно понял, что за движущая сила управляла им всю жизнь. Ни его одинокая душа, ни любовь к другим, ни сознание собственного долга, ни все те лживые объяснения, которыми он поддерживал самоуважение, – этой движущей силой была страсть к уничтожению всего живого ради всего неживого. Его раздирало неистовое стремление бросить вызов реальности,

разрушить все живые ценности, чтобы доказать самому себе, что он может существовать, попирая реальность, и что он никогда не будет связан никакими неизменными, непреложными фактами.

Секунду назад он чувствовал, что ненавидит Галта больше всех людей, и его ненависть служила доказательством, что Галт несет с собой зло; ему даже не нужно было определять, в чем состоит это зло, он хотел сокрушить Галта ради собственного спасения. Теперь он знал, что желал сокрушить Галта даже ценой собственной жизни, знал, что никогда по-настоящему не хотел жить, знал, что хотел испытать, а затем сломить величие Галта, – он сам признавал это величие, величие как единственную мерку человека, который управлял реальностью, как никто другой.

В ту самую секунду, когда он, Джеймс Таггарт, оказался перед выбором: принять реальность или умереть, он интуитивно выбрал смерть; смерть он предпочел подчинению тому миру, для которого Галт был ярким солнцем. В лице Галта он пытался – и теперь он это знал – сокрушить все живое.

Это знание отражалось в сознании Джеймса не посредством слов, потому что все его знание состояло из эмоций; и сейчас им руководили эмоции, эмоции и видение, которое он не в силах был отогнать. Он уже не мог взывать к туманной невыразительности привычных слов, чтобы скрыть видения тех глухих закоулков мысли, которые он всегда заставлял себя не видеть; а сейчас он отчетливо видел в каждом тупике свою ненависть к подлинной жизни; он видел лицо Шеррил Таггарт, которая была так полна радостного желания существовать, – и именно это желание он всегда хотел сокрушить; он видел собственное лицо – лицо убийцы, которого все должны справедливо ненавидеть; убийцы, который разрушал ценности лишь потому, что это ценности, который убивал, чтобы скрыть свое собственное неискупимое зло.

Нет... – застонал он, глядя на то, что предстало перед его внутренним взором, тряся головой, чтобы отогнать это видение. – Нет... Нет...»

Да, – сказал Галт. и

Таггарт увидел, что Галт смотрит ему прямо в глаза, словно видит там то же, что видел он сам.

– Я сказал тебе об этом по радио, правда? – сказал Галт.

Именно этого Джеймс Таггарт страшился, того, от чего нельзя было убежать: объективной истины.

– Нет... – повторил он слабым голосом, но в голосе этом уже отсутствовала жизнь.

Мгновение он стоял, уставясь невидящим взглядом в пустоту, потом ноги его подкосились, словно подвернулись, и он сел на пол, все еще глядя перед собой, но уже не осознавая, ни где он, ни что с ни-л.

– Джим!.. – воскликнул Мауч. Он не отвечал.

Ни Мауч, ни Феррис не интересовались, что случилось с Таггартом; оба знали, что не надо пытаться ничего понять, потому что они рискуют разделить участь Таггарта. Они знали, кто сломался этой ночью, знали, что это конец Джеймса Таггарта и уже не имеет значения, выживет его брэнная оболочка или нет.

– Давайте... давайте уведем отсюда Джима, – неуверенно произнес Феррис. – Отведем его к врачу... или куда–нибудь.

Они подняли Таггарта на ноги, он не сопротивлялся, словно во сне; когда его подталкивали, он переставлял ноги. Он сам оказался в том состоянии, до которого хотел довести Галта. Приятели вывели его из комнаты, поддерживая под руки.

Он спас их от необходимости признаться самим себе, что они хотят укрыться где-нибудь, где бы их не видел Галт. Галт наблюдал за ними; его взгляд говорил, что он все прекрасно

понимает.

– Мы еще вернемся, – буркнул Феррис начальнику охраны. – Оставайтесь здесь и никого не выпускайте. По нятно? Никого!

Они втокнули Таггарта в машину, ожидавшую у входа, неподалеку от зарослей деревьев.

– Мы вернемся, – повторил Феррис в пустоту, деревьям и черному небу.

Сейчас они были уверены только в одном: надо уйти из этого подвала, подвала, в котором рядом с перегоревшим мертвым генератором лежал, связанный по рукам и ногам, живой источник энергии.

Глава 10 . Во имя всего лучшего в нас

Дэгни направилась прямо к охраннику, стоявшему у дверей объекта "Ф". Она шла целеустремленно, спокойно и не таясь. Стук ее каблучков по тропинке раздавался в тишине под деревьями. Она подняла лицо к лунному свету, дав охраннику возможность узнать ее.

Впустите меня, – сказала она.

Вход воспрещен, – механическим голосом отчеканил он. – Приказ доктора Ферриса.

Я здесь по приказу мистера Томпсона.

Да?.. Я... я ничего не знаю об этом.

Я знаю.

То есть доктор Феррис мне ничего об этом не говорил... мэм.

Я говорю.

Но приказывать мне может только доктор Феррис.

Вы хотите нарушить приказ мистера Томпсона?

О нет, мэм! Но... если доктор Феррис сказал никого не впускать, это значит – никого. – Он добавил неуверенно и с мольбой в голосе: – А?

Вы знаете, что мое имя Дэгни Таггарт, вы видели мои фотографии в газетах рядом с портретами мистера Томпсона и других членов правительства?

Да, мэм.

Решайте сами, хотите ли вы нарушить их приказ. и

О нет, мэм! Не хочу!

Тогда впустите меня.

Но я не могу нарушить и приказ доктора Ферриса.

Выбирайте.

Не могу, мэм! Кто я такой, чтобы выбирать?

Придется.

Послушайте, – поспешно сказал он, вытаскивая из кармана ключ и поворачиваясь к двери, – я спрошу глав ного. Он...

Нет, – сказала она.

Что-то в ее голосе заставило его обернуться: в ее руке был револьвер, она целилась ему в сердце.

– Слушай внимательно, – сказала она. – Либо ты меняпустишь, либо я тебя застрелю. Попробуй выстрелить первым, если сможешь. У тебя есть только этот выбор. Решай.

Он раскрыл рот и выронил ключ.

– Убирайся с дороги! – сказала она.

Он в смятении затряс головой, прижавшись спиной к двери.

О Господи, мэм! – умоляюще захныкал он. – Я не могу стрелять в вас, ведь вы от мистера Томпсона! Но и впустить вас я тоже не могу – ведь доктор Феррис запретил! Что мне делать? Я маленький человек! Я только выполняю приказы! Я не могу решать!

Это твоя жизнь, – сказала она.

Если вы позволите мне спросить главного, он мне скажет, он...

Я не позволю тебе никого спрашивать.

Но как же мне знать, правда ли, что у вас приказ от мистера Томпсона?

Никак. Может, никакого приказа и нет. Может, я сама по себе и тебя накажут, если ты мне подчинишься. А может, у меня есть приказ и тебя бросят в тюрьму за неподчинение. Может, доктор Феррис и мистер Томпсон это со гласовали. А может, и нет и тебе придется послушаться

того или другого. Тебе придется решать самому. Спросить некого, позвать, никто тебе не поможет. Тебе придется решать самому.

Но я не могу! Почему я?

Потому что дорогу мне преградил ты.

Но я не могу! Я не должен решать!

Считаю до трех, – сказала она, – потом стреляю.

Подождите! Подождите! Я ведь не сказал ни «да», ни «нет»! – закричал он, сильнее прижимаясь к двери, словно лучшей защитой для него было не двигаться и не принимать никаких решений.

Один... – начала она; она видела, с каким ужасом он на нее смотрит. – Два... – Она понимала, что револьвер внушал ему меньший ужас, чем выбор, который он должен был сделать. – Три.

Она, которая не осмелилась бы выстрелить в животное, нажала на спусковой крючок и спокойно и равнодушно выстрелила прямо в сердце человека, который хотел существовать, не принимая на себя никакой ответственности.

Револьвер был с глушителем; послышался только стук упавшего к ее ногам тела.

Она подобрала ключ и подождала несколько коротких мгновений, как они и договорились.

Франциско приблизился первым, выйдя из-за угла здания. Потом к ним присоединились Хэнк Реардэн и Рагнар Даннешильд. Вокруг здания, среди деревьев, было выставлено четверо охранников. От них уже избавились: один был мертв, трое, связанные и с кляпом во рту, лежали в зарослях.

Она безмолвно отдала ключ Франциско. Он отпер дверь и вошел один, оставив дверь приоткрытой. Трое остальных остались ждать у двери снаружи.

Холл освещала голая лампочка, свисавшая с потолка. Наверх вела лестница, у ее подножья стоял охранник.

Кто вы? – вскрикнул он при виде Франциско, вошедшего с видом хозяина. – Сегодня сюда никому нельзя!

Мне можно, – сказал Франциско.

Почему вас впустил Расти?

Наверное, у него были причины.

Он не должен был этого делать!

Кое-кто думает иначе. – Франциско быстро оглядел холл. Второй охранник стоял на верхней площадке лестницы, глядя вниз и прислушиваясь к разговору.

Чем вы занимаетесь?

Добычей меди.

Что? Я спрашиваю – кто вы?

Имя очень длинное. Я назову его вашему главному. Где он?

Здесь задаю вопросы я! – Но он на шаг отступил. – Вы... вы не строите из себя шишку, не то...

– Эй, Пит, да он и есть шишка! – крикнул второй охранник, парализованный поведением Франциско.

Но первый охранник старался не обращать на это внимания; чем больше он пугался, тем громче говорил. Он буркнул Франциско:

Что вам нужно?

Я говорил, что скажу об этом главному. Где он?

Здесь задаю вопросы я!

А я не отвечаю.

Вот как? – расшвырял Пит, который мог придумать лишь один способ выйти из затруднительного положения: его рука потянулась к висевшему на бедре револьверу.

Реакция Франциско была стремительнее. Его револьвер стрелял бесшумно. Охранники увидели только, как револьвер вылетел из руки Пита. По его разбитым пальцам заструилась кровь, и он глухо застонал. Он упал, постанывая. Едва успев понять, что произошло, второй охранник увидел, что револьвер Франциско нацелен на него.

Не стреляйте, мистер! – закричал он.

Спускайся, подними руки вверх, – приказал Франциско, одной рукой держа револьвер и целясь, а другой подавая сигнал тем, кто ждал у двери.

Реддэн вошел в холл и, когда охранник спустился, разоружил его, а Даннешильд связал ему руки и ноги. Больше всего охранника, кажется, испугало появление Дэгни; он ничего не мог понять: трое мужчин были в кепках и ветровках, и, если бы не манеры, их можно было бы принять за шайку разбойников; присутствие женщины было необъяснимо.

Ну, – спросил Франциско, – где ваш старший? * Охранник мотнул головой в сторону лестницы: 'Л

Наверху.

Сколько всего охранников в здании?

Девять.

Где?

Один на лестнице, ведущей в подвал. Остальные наверху.

Где?

В большой лаборатории. Той, что с окном.

– Все? – Да.

Что это за комнаты? – Франциско указал на двери, ведущие из холла.

Тоже лаборатории. Они заперты на ночь.

У кого ключи?

– У него. – Охранник мотнул головой в сторону Пита. Реддэн и Даннешильд достали ключи из кармана Пита и начали бесшумно и быстро открывать комнаты. Франциско продолжал:

– Кто-нибудь еще есть в здании?

Нет, лис.

– А заключенный?

А... да, кажется, есть. Наверное, есть, иначе мы бы здесь не дежурили.

Он еще здесь?

Этого я не знаю. Нам не говорят.

Доктор Феррис здесь?

Нет. Уехал минут десять – пятнадцать назад.

Дверь из лаборатории наверху выходит прямо на лестничную площадку?

– Да.

Сколько там дверей?

Три. На лестницу выходит средняя.

Куда ведут остальные?

– Одна в маленькую лабораторию, другая в кабинет доктора Ферриса.

– Они соединены друг с другом? – Да.

Франциско повернулся к своим спутникам, и вдруг охранник взмолился:

Мистер, можно вопрос?

Давай.

Кто вы?

Торжественно, словно на официальном приеме, он представился:

– Франциско Доминго Карлос Андреас Себастьян Д'Анкония.

Охранник задохнулся от изумления. Франциско отвернулся от охранника к своим спутникам и начал шепотом совещаться с ними.

Через мгновение по лестнице быстро и бесшумно поднялся Реардэн.

У стен лаборатории располагалось множество клеток с крысами и морскими свинками; их туда перенесли охранники, игравшие сейчас в покер за длинным столом в центре помещения. Шестеро играли; двое с револьверами наизготовку стояли в противоположных углах, держа под прицелом входную дверь. Реардэна не застрелили сразу же, как только он вошел, лишь потому, что его лицо было всем знакомо. Его слишком хорошо знали и совсем не ждали здесь. Восемь человек воззрились на него, узнав и не веря собственным глазам.

Он стоял у двери, сунув руки в карманы с небрежным и уверенным видом хозяина.

Кто здесь за старшего? – коротко спросил он тоном человека, желающего оставаться вежливым, но и не же лающего терять время попусту.

Вы же... не может быть... – запинаясь, начал длинный угрюмый человек за карточным столом.

Я Хэнк Реардэн. Вы здесь старший?

Да! Но откуда, черт возьми, вы взялись?

Из Нью-Йорка.

Что вы здесь делаете?

Как видно, вас не предупредили?

Разве меня нужно было... О чем? – В голосе началь ника охраны ясно прозвучали обида, возмущение, подозре ние, что его боссы не сочли нужным поставить его в извест ность и тем самым подорвали его авторитет. Начальник был высоким, худощавым человеком с резкими движениями, желтоватым болезненным лицом и бегающими глазами наркомана.

О том, зачем я здесь.

Вам... вам здесь нечего делать, – отрезал начальник охраны, боясь одновременно и того, что его обманывают, и того, что ему, возможно, не сообщили о каком-то важном решении. – Ведь вы предатель, дезертир и...

Вижу, вы еще ничего не знаете, старина.

Семеро остальных охранников смотрели на Реардэна с суеверным трепетом и неуверенностью. Двое с револьверами наизготовку все еще автоматически, бездумно, как роботы, держали его на прицеле. Он, казалось, не замечал их.

Ну и зачем же, как вы говорите, вы здесь?– буркнул начальник охраны.

Вы должны передать мне заключенного.

Если вы из главного управления, то должны знать, что нам не должно быть известно ни о каком заключенном и что никто не должен его видеть.

Да, кроме меня.

Начальник охраны вскочил, рванулся к телефону и схватил трубку. Не успев поднести к уху, он тут же бросил ее: все поняли, что провода перерезаны и телефон молчит. Охранники запаниковали. Начальник охраны в смятении обернулся к Реардэну. В глазах его было обвинение. Он наткнулся на слегка пренебрежительный, укоряющий голос Реардэна:

– Так не охраняют, разве можно было до этого доводить? Отдайте лучше заключенного мне, пока с ним ничего не случилось, иначе я подам рапорт о вашей халатности и неподчинении приказу.

Начальник охраны тяжело опустился на стул, сгорбился над столом и поднял глаза на

Реардэна. Его изможденное лицо стало похоже на мордочку одного из зверьков, что копошились в клетках.

Кто этот заключенный? – спросил он.

Дорогой мой, – сказал Реардэн, – если ваши непо средственные начальники не посчитали нужным сообщить это вам, я тем более не стану.

Они и о вашем появлении здесь не посчитали нужным мне сообщить! – вскричал начальник охраны. Голос его звучал злобно и беспомощно, заражая беспомощностью и подчиненных. – Откуда мне знать, что вы от них? Телефон не работает, кто может подтвердить ваши слова? Откуда мне знать, что делать?

Это ваши проблемы.

Я вам не верю! – Крик сорвался на визг, слишком резкий и потому неубедительный. – Не верю, что прави тельство могло послать вас сюда с заданием. Вы ведь один из друзей Джона Галта, предателей, которые скрылись, которые...

Ты ничего не слышал?

О чем?

Джон Галт договорился с правительством, и мы все вернулись.

Слава Богу! – воскликнул самый молодой из охранников.

Заткнись! Рылом не вышел о политике рассуждать! – рывкнул на него начальник охраны. Он снова повернулся к Реардэну: – Почему же об этом не сообщили по радио?

А вы считаете, что вышли рылом указывать прави тельству, где и как объявлять о своей политике?

Наступило молчание. Слышно было, как зверюшки царапают прутья клетки.

– Полагаю, следует напомнить, – сказал Реардэн, – что вы здесь не для того, чтобы обсуждать приказы, а для того, чтобы их выполнять. Не для того, чтобы знать или понимать политические соображения ваших боссов, высказывать свои суждения, делать выбор или сомневаться.

Но я не уверен, что должен подчиняться вам\

Откажитесь – и ответите за последствия. Сгорбившись над столом, начальник охраны медленно, раздумывая, перевел взгляд с лица Реардэна на охранников с револьверами, стоявших по углам. Почти неуловимым движением охранники прицелились. В комнате послышался нервный шорох. В одной из клеток визгливо пискнул зверек.

Думаю, следует вас предупредить, – сказал Реардэн несколько жестче, – что я не один. Мои друзья ждут сна ружи.

Где?

У этой двери.

Сколько?

Увидите – так или иначе.

Эй, шеф, – раздался слабый, просящий голос одного из охранников, – не надо ссориться с этими людьми, они...

Заткнись! – взревел начальник охраны, вскакивая и целясь в говорящего. – Эй, вы, а ну не трусить! – Он кри чал, стараясь обмануть себя в том, что уже знал. Они стру сили. Он был блиюк к панике, не желая признаваться са мому себе, что его людей каким-то образом разоружили. – Нечего бояться! – Он кричал это самому себе, стараясь вернуть себе уверенность в той единственной сфере, где чувствовал себя уверенно – в сфере насилия. – Нечего и некого! Я вам покажу! – Он резко обернулся и трясущейся рукой выстрелил в Реардэна.

Кто-то заметил, что Реардэн покачнулся и схватился правой рукой за левое плечо. Остальные в эту секунду смотрели, как револьвер выскользнул из руки их начальника и со

стуком упал на пол. Начальник вскрикнул, из его запястья сочилась струйка крови. Потом уже все увидели, что слева в дверном проеме стоит Франциско Д'Анкония, который все еще держит револьвер с глушителем, направленный на начальника охраны.

Все вскочили, схватившись за оружие, но не осмеливаясь стрелять, и упустили момент.

– На вашем месте я бы не стал, – сказал Франциско.

Иисусе! – задохнулся один из охранников, с трудом пытаясь вспомнить имя. – Ведь это... это тот самый па рень, который взорвал все медные шахты в мире!

Верно, – отозвался Реардэн.

Охранники невольно попятнулись от Франциско и, обернувшись, увидели Реардэна, все еще стоявшего в проеме входной двери с револьвером в правой руке. На его плече расплывалось темное пятно.

Стреляйте же, вы, подонки! – завопил начальник охраны своим растерявшимся подчиненным. – Чего вы ждете? Стреляйте, убейте их! – Он оперся одной рукой о стол, из другой сочилась кровь. – Я подам рапорт на каж дого, кто не будет стрелять. Вас приговорят к смерти!

Бросьте оружие, – приказал Реардэн.

Семеро охранников мгновение стояли неподвижно, не \– подчиняясь ни тому, ни другому.

– Выпустите меня отсюда! – завопил самый молодой из них, рванувшись к двери справа. Он распахнул дверь и от скочил – на пороге с револьвером в руке стояла Дэгни Таггарт.

Охранники медленно пятились к центру комнаты, пытаясь осознать происходящее и совершенно утратив чувство реальности, и эта утрата обезоружила их; в присутствии таких легендарных личностей, которых они и не мечтали увидеть, они чувствовали себя так, будто им приказывали стрелять по привидениям.

Бросьте оружие, – повторил Реардэн. – Вы не знае те, зачем вы здесь. Мы знаем. Вы не знаете, кого вы сторо жите. Мы знаем. Вы не знаете, почему вам приказано его сторожить. Мы знаем, почему мы хотим его освободить. Вы не знаете, за что вы сражаетесь. Мы знаем, за что сражаем ся мы. Если вы умрете, вы даже не будете знать, за что уми раете. Если умрем мы, мы будем знать за что.

Не... не слушайте его! – завопил начальник охра ны. – Стреляйте! Приказываю вам стрелять!

Один из охранников взглянул на начальника, положил револьвер и, подняв вверх руки, отошел от группы в сторону Реардэна.

– Черт тебя побери! – заорал начальник охраны, схва тил левой рукой револьвер и выстрелил в дезертира.

Едва тот упал, как окно разлетелось на тысячи осколков – с ветки дерева, как из катапульти, в комнату впрыгнул высокий, стройный человек. Едва встав на ноги, он выстрелил в ближайшего охранника.

Кто это? – раздался чей-то пораженный ужасом го лос.

Рагнар Даннешильд.

В ответ раздалось три звука: долгий, нарастающий панический вопль, грохот четырех револьверов, брошенных на пол, и лай пятого – начальник охраны внезапно выстрелил себе в лоб.

К тому времени как четверо уцелевших бойцов гарнизона начали приводить в порядок свои мысли, они уже лежали связанные, с кляпами во рту; пятый стоял, руки его были связаны за спиной.

Где заключенный? – спросил его Франциско.

В подвале... наверное.

У кого ключи?

У доктора Ферриса.

Где лестница в подвал?

За дверью в кабинет доктора Ферриса.

Показывай.

Едва они двинулись, Франциско повернулся к Реардэну:

Ты в порядке, Хэнк?

Конечно.

Хочешь отдохнуть?

Нет, черт возьми.

С порога двери, ведущей в кабинет доктора Ферриса, они глянули вниз, на пролет круто спускающейся вниз каменной лестницы, и увидели стоящего на нижней площадке охранника.

– Руки вверх, поднимайся! – приказал Франциско. Охранник увидел решительно настроенного незнакомца и поблескивающий револьвер. Этого было достаточно. Он медленно повиновался. Казалось, он с облегчением выбирается из сырого каменного склепа. Его оставили связан ным на полу в кабинете вместе с охранником, который показал дорогу.

Четверо спасителей бросились вниз по лестнице к запертой стальной двери. До этой минуты они действовали четко и дисциплинированно. Теперь внутренние барьеры, казалось, рухнули.

Даннешильд сломал замок. Первым в подвал вошел Франциско. Он на долгую секунду загородил дорогу Дэ-гни – чтобы убедиться, что зрелище не испугает ее, затем впустил ее, и она устремилась вперед. Галт, весь обмотанный проводами, поднял голову и приветственно взглянул на них.

Дэгни опустилась на колени у края мата. Галт взглянул на нее совсем так же, как в их первое утро в долине; улыбка его была словно смех, в ней не было боли; голос звучал мягко и тихо:

– Ни к чему принимать это все всерьез, правда?

По ее лицу катились слезы, но она улыбалась радостно и уверенно:

– Конечно.

Реардэн и Даннешильд перерезали связывающие Галта ремни. Франциско поднес к его губам фляжку с бренди. Галт сделал глоток и, приподнявшись, облокотился на свободные теперь руки.

– Можно сигарету? – попросил он.

Франциско протянул ему пачку со знаком доллара. Рука Галта слегка дрожала, когда он прикуривал от зажигалки. Но рука Франциско дрожала еще сильнее, когда он помогал Галту прикурить.

Взглянув на него поверх пламени, Галт улыбнулся и сказал, словно отвечая на не заданный Франциско вопрос:

Да, туго пришлось, но не очень, да и ток такой мощности не оставляет последствий.

Кем бы они ни были, я их найду... – сказал Франциско ровным, безжизненным тоном. Голос его был едва слышен, но присутствующие поняли – он найдет.

Если ты их найдешь, то увидишь, что то, что от них осталось, уже незачем убивать.

Галт взглянул на окружающих его людей; он видел огромное облегчение в их глазах и гнев, застывший на их лицах; он понимал, что сейчас они переживают то, что пережил он.

– Все позади, – сказал он. – Не мучайте себя больше, чем они мучили меня.

Франциско отвернулся.

Тебя... – прошептал он, – они мучили тебя... пусть бы это был кто угодно, только не ты...

Но это должен был быть именно я, ведь они хотели испытать последнее средство. Они это сделали, и... – он взмахнул рукой, словно сметая эту комнату, а с ней и тех, кто ее создал, на задворки прошлого, – и вот что из этого вышло.

Франциско кивнул, все еще не поворачивая лица; в ответ он лишь крепко сжал руку Галта.

Галт приподнялся и сел, медленно восстанавливая свободу движений. Дэгни тут же протянула руку, пытаясь помочь ему. Он взглянул ей в лицо. Она пыталась улыбнуться, сдерживая слезы. Сколько вынесло его тело! Но – она знала – ничто уже не имеет значения по сравнению с тем, что он жив. Глядя ей в глаза, он поднял руку и кончиками пальцев коснулся воротника ее белого свитера, подтверждая и напоминая ей о том единственном, что теперь имело для них значение. Губы ее слегка дрогнули, она улыбнулась, она все поняла.

Даннешильд нашел рубашку, брюки и остальную одежду Галта, валяющуюся на полу в углу комнаты.

Ты сможешь идти, как ты думаешь, Джон? – спро сил он.

Конечно.

Пока Франциско и Реардэн помогали Галту одеваться, Даннешильд спокойно, планомерно, никак не выказывая своих чувств, крушил вдребезги машину для пыток.

Галт еще неуверенно держался на ногах, но мог стоять, опершись на плечо Франциско. Первые шаги дались ему с трудом, но, дойдя до двери, он уже мог двигаться сам. Одной рукой он опирался на Франциско, другой обнимал плечи Дэгни, – это была и опора для него, и поддержка для нее.

Они молча спускались к подножию холма. Темная стена деревьев защищала их, укрывая от мертвенного света луны и еще более мрачного отблеска ее в окнах ГИЕНа, который остался у них за спиной.

На краю поляны в кустах за следующим холмом был спрятан самолет Франциско. На мили вокруг не было признаков человеческого жилья. Никто не мог увидеть и рассказать, как внезапно загорелись фары самолета, выхватив из темноты заросли сорняков; никто не услышал неистового гула мотора, ожившего по мановению руки севшего за штурвал Даннешильда.

Когда дверца самолета захлопнулась за ними и они почувствовали под ногами толчок пришедших в движение колес, Франциско в первый раз улыбнулся.

– Теперь я могу приказывать тебе, это мой первый и единственный шанс, – сказал он, помогая Галту улечься в откидывающемся кресле. – Лежи спокойно, расслабься и забудь обо всем... И ты тоже, – добавил он, повернувшись к Дэгни и указывая на кресло рядом с Галтом.

Колеса вертелись все быстрее, слегка подпрыгивая на рытвинах, как будто обретали большую легкость и целеустремленность вместе со скоростью. Когда толчки перестали ощущаться и внизу в темноте поплыли кроны деревьев, Галт молча наклонился и поцеловал руку Дэгни – он покидал мир, который оставался за окнами самолета, получив то единственное, что хотел у него отобрать.

Франциско достал дорожную аптечку и снимал с Реардэна рубашку, чтобы перевязать рану. Галт видел, как по плечу на грудь Реардэна стекает алая струйка.

– Спасибо, Хэнк, – сказал он. Реардэн улыбнулся:

– Я повторю твои же слова. Ты мне их сказал в день нашей первой встречи, помнишь? Я благодарил тебя, а ты сказал: «Не нужно говорить спасибо, я ведь сделал это ради себя».

– А я повторю, – сказал Галт, – то, что ты мне тогда ответил: «Вот за это и спасибо».

Дэгни видела, что взгляд, которым они обменялись, выразил больше, чем любые слова, даже больше, чем рукопожатие. Реардэн заметил, что она на них смотрит, и слегка прищурился, словно улыбаясь в знак одобрения, словно повторяя то, что сказал ей в своей короткой записке из долины.

Внезапно они услышали голос Даннешильда, который громко и бурно говорил, ни к кому из них. не обращаясь. Они поняли, что он разговаривает по радиации:

Да, все целы и невредимы... Нет, с ним все в порядке, лишь небольшая слабость; он отдыхает... Нет, ранений нет... Да, мы все здесь. Хэнк Рердэна ранили, но... – он обернулся, – он мне сейчас улыбается... Потери? Да, мы там на несколько минут потеряли самообладание, но теперь все в порядке... Не пытайтесь обогнать меня. В Долине Гал– та я приземлюсь первым и помогу Кей в ресторане, мы успе ем приготовить завтрак.

Кто-нибудь из посторонних может его услышать? – спросила Дэгни.

Нет, – ответил Франциско, – они не могут подкл ю читься к этому диапазону.

И с кем же он разговаривает? – спросил Галт.

Примерно с половиной мужского населения доли ны, – ответил Франциско, – со всеми, кому хватило места в самолетах. Они летят за нами. А ты думал, они будут си деть дома и не попробуют вызволить тебя из лап бандитов? Мы были готовы к открытому вооруженному нападению на институт или даже на «Вэйн-Фолкленд», если понадобится. Но мы понимали, что рискуем потерять тебя; они убили бы тебя, если бы поняли, что проиграли. Поэтому мы решили сначала попытаться вчетвером. Если бы мы потерпели не удачу, начался бы открытый штурм. Они ждали в полумиле. Наши люди стояли на постах в зарослях. Они видели, как мы вошли, и связались с остальными. Ими командовал Эл– лис Вайет. Кстати, он на твоём самолете. Мы не смогли добраться до Нью-Гэмпшира одновременно с доктором

Феррисом, потому что, в отличие от нас, он мог пользоваться открытыми аэропортами. Кстати, скоро уже не сможет.

Да, – подтвердил Галт, – не сможет.

Это было единственным препятствием. Остальное оказалось просто. Я тебе потом расскажу подробней. В любом случае, для того чтобы разбить их гарнизон, нас четверых оказалось достаточно.

Когда-нибудь, – сказал Даннешильд, на секунду оборачиваясь к ним, – лет этак через сто, сторонники си лы, явные или тайные, уверенные, что управлять теми, кто лучше их, можно только с помощью насилия, поймут, что происходит, когда грубой силе противостоят сила и разум.

Они это уже поняли, – сказал Галт. – Разве не этому ты их учишь двенадцать лет?

Я? Да. Но учебный семестр окончился. Сегодня я в по следний раз совершил насилие. Это было моим вознаграж дением за двенадцать лет. Мои люди уже строят в долине дома. Мой корабль спрятан в надежном месте, его никому не найти. Там он и будет стоять, пока я не смогу продать его кому-нибудь, кто найдет ему лучшее применение. Его переоборудуют в трансконтинентальный пассажирский лайнер – великолепный, хотя и небольшой. Я же начну давать другие уроки. Думаю, мне придется пройтись по трудам того, кто был первым учителем нашего учителя.

Рердэн усмехнулся:

Хотелось бы мне присутствовать на твоей первой лекции по философии в университете. Хотелось бы посмот реть, удастся ли твоим студентам не отвлекаться от этой лекции и как ты будешь отвечать на вопросы, не имеющие никакого отношения к теме. Не удивлюсь, если твои студен ты захотят задать их тебе, и не смогу их за это упрекнуть.

Я скажу им, что ответ на все вопросы в самом предмете.

Внизу, на земле, почти не было огней. Земля под ними лежала сплошным черным покрывалом, лишь кое-где в окнах административных зданий мерцал свет. Иногда можно было заметить дрожащий огонек свечи в окне какого-то расточительного хозяина. Большинство сельских жителей давно жили, как их деды, когда искусственный свет считался

непозволительной роскошью и с заходом солнца жизнь в деревнях замирала. Города напоминали оставленные приливом лужицы: в некоторых окнах еще сияли капельки драгоценного электричества, но постепенно и они исчезали, поглощенные все надвигающейся пустыней норм, квот, контроля и правил экономии энергии.

Но вот вдали показался Нью-Йорк, бывший когда-то источником этого прилива. Он все еще ярко освещал небо, бросая вызов первобытной тьме, словно из последних сил простирая руки к летевшему над ним самолету в мольбе о помощи. Все невольно выпрямились, словно отдавая дань уважения у смертного одра того, что когда-то было величием.

Сверху они наблюдали за последними конвульсиями города: огни машин, метавшихся по улицам, словно загнанные в тупик, неистово ищущие выход животные; запруженные транспортом мосты; подъезды к мостам походили на гроздь огня – автомобильные пробки намертво блокировали движение; в самолете был слышен даже отдаленный отчаянный вой сирен.

Известие о том, что главная магистраль материка разорвана, захлестнуло город; люди выбегали из контор, в панике пытаясь выехать из Нью-Йорка, ища спасения там, где все дороги были отрезаны и спастись было невозможно.

Самолет уже летел над самыми небоскребами, как вдруг город словно вздрогнул, казалось, земля расступилась и поглотила его. Город исчез с лица земли. Лишь спустя мгновение они поняли, что паника достигла электростанций и огни Нью-Йорка потухли.

Дэгни в изумлении вздрогнула.

– Не смотри! – резко приказал Галт.

Она подняла на него глаза. Его лицо было суровым, как всегда, когда он смотрел в лицо фактам.

Она вспомнила то, о чем как-то рассказал ей Франциско: «Он ушел из „Твентис сенчури“. Жил на чердаке в труппе. Однажды он подошел к окну и показал на небоскребы но чью. Он сказал, что нам придется погасить огни мира и, когда увидим потускневшие огни Нью-Йорка, мы поймем, что наше дело сделано».

Она вспомнила это, заметив, как молча переглянулись эти трое – Джон Галт, Франциско Д'Анкония и Рагнар Даннешильд.

Она взглянула на Реардэна; он смотрел не вниз, а вперед. Так же, вспомнила она, как он смотрел на нетронутую целину: в его глазах было будущее, он оценивал, что можно сделать.

Глядя на простирающуюся впереди пустоту, она вспомнила, как однажды, кружа над Эфтонским аэропортом, видела поднимающийся с темной земли серебристый самолет, подобный птице Феникс. Она понимала, что теперь в их самолете было все, что осталось от Нью-Йорка.

Она снова посмотрела вперед. Земля будет безлюдна, так же безлюдна, как пространство, в котором беспрепятственно прокладывал себе дорогу их самолет, – пуста и свободна. Она знала, что чувствовал Нэт Таггарт, когда начинал, и теперь у нее впервые возникло такое же чувство: она осознала, что перед ней пустота и на этом пустом месте нужно построить новый материк.

Перед ее глазами пронеслось все ее прошлое, борьба, через которую она прошла, и она особенно ясно почувствовала вдохновение, охватившее ее в эту минуту. Она улыбалась – про себя она повторяла слова, которыми оценивала прошлое и навсегда прощалась с ним. Это были мужественные, гордые и самоотверженные слова, непонятные большинству, слова из языка деловых людей: «Цена не имеет значения».

Она не изумилась и не взволновалась, когда увидела внизу, в темноте, тонкую ниточку огня, медленно тянущихся сквозь пустоту на запад; точка первого огня светилась особенно ярко – это были фары, словно ошупью находившие дорогу во тьме; она ничего не почувствовала,

хотя знала, что это поезд и что ему уготована лишь пустота.

Она обернулась к Галту. Он наблюдал за ее лицом, словно следил за ее мыслями. Он ответил улыбкой на ее улыбку.

Это конец, – сказала она.

Это начало, – откликнулся он.

Они откинулись на спинки кресел и молча смотрели друг на друга. Потом их тела наполнились близостью друг друга, это было итогом и значением будущего – но этот итог включал и знание всего, что надо было заслужить, прежде чем другой мог бы олицетворять ценность и его собственного существования.

Нью-Йорк был уже далеко позади, когда они услышали, как Даннешильд отвечает кому-то по рации:

Нет, он не спит. Не думаю, что он заснет сегодня... Думаю, да. – Он обернулся к ним: – Джон, доктор Экстон хочет с тобой поговорить.

Как! Он тоже летит в том самолете за нами?

Конечно.

Галт вскочил и схватил микрофон.

Здравствуйте, доктор Экстон, – сказал он; в его спо койном, тихом голосе слышалась улыбка.

Здравствуй, Джон. – По слишком ровному голосу Хью Экстона можно было понять, чего ему стоило дождаться минуты, когда он снова смог произнести эти два слова. – Я просто хотел услышать твой голос... узнать, все ли в порядке.

Галт рассмеялся и тоном студента, с гордостью демонстрирующего домашнюю работу в качестве доказательства хорошо выученного урока, ответил:

– Конечно, все в порядке, профессор. Должно было быть в порядке. Иначе и быть не могло. А есть А.

Локомотив «Кометы», направлявшейся на восток, вышел из строя в пустыше в самом центре Аризоны. Он остановился внезапно, без всякой видимой причины, как человек, не признававшийся самому себе, что взял на себя слишком много: сломалась какая-то изношенная деталь в моторе.

Эдди Виллерс вызвал проводника. Его пришлось долго ждать. Когда он все же пришел, по смиренному выражению его лица можно было догадаться, каким будет ответ на вопрос.

Машинист пытается устранить неисправность, мистер Виллерс, – мягко ответил он. Тон его ясно говорил, что надеяться его служебная обязанность, но сам он давно уже ни на что не надеется.

Он еще не знает, в чем дело?

Он пытается это понять.

Проводник вежливо подождал минуту и повернулся к выходу, но остановился, желая дать какие-то объяснения. Словно какое-то неясное ощущение, привычка подсказывали ему, что любая попытка объяснить происходящее развеет ужас, в котором никто не мог признаться даже самому себе.

Наши дизели давно нужно было заменить, мистер Виллерс. Их уже давно бесполезно

ремонтировать.

Я знаю, – спокойно ответил Эдди Виллерс.

Проводник почувствовал, что лучше было вообще ничего не объяснять: его объяснение наводило на вопросы, которых в эти дни не задают. Он покачал головой и вышел.

Эдди Виллерс сидел, глядя в черную пустоту за окном. Это была первая за много дней «Комета», вышедшая из Сан-Франциско на восток; это был плод его мучительных и напряженных попыток восстановить межконтинентальное сообщение. Он не мог сказать, чего ему стоили несколько последних дней или что он сделал, чтобы спасти станцию в Сан-Франциско от слепого хаоса бесцельной гражданской войны; невозможно было вспомнить все сделки, которые он заключил в угоду постоянно менявшейся ситуации. Он знал только, что добился обещания неприкосновенности станции от лидеров трех воюющих между собой группировок; нашел человека на пост управляющего, и этому человеку, казалось, еще не все было безразлично; пустил на восток еще одну «Комету Таггарта», снабдив ее лучшим локомотивом и лучшей поездной бригадой; и он возвращался на этой «Комете» обратно в Нью-Йорк в полном неведении, долго ли просуществует его достижение.

Никогда прежде он так не работал; он трудился добросовестно, как всегда, над любым заданием; но работал он словно в вакууме, словно его энергия не находила выхода и уходила в песок... какой-нибудь пустыни, подобной той, что простиралась сейчас за окнами «Кометы». Он вздрогнул – на секунду ему показалось, что он сам в чем-то сродни отказавшему двигателю поезда.

Некоторое время спустя он снова потребовал проводника.

– Как дела? – спросил он.

Проводник пожал плечами и покачал головой.

Пошлите помощника машиниста, пусть позвонит по линейному телефону. Пусть попросит центр прислать сюда лучшего механика.

Да, сэр.

За окнами не на что было смотреть; выключив в купе свет, Эдди Виллерс смог различить лишь серую пустоту, без конца и края; кое-где виднелись черные пятна кактусов. Он думал о том, как люди решились пересечь эту пустыню и какой ценой им это далось, ведь тогда поездов не было. Он отвернулся от окна и включил свет.

Я чувствую нарастающее беспокойство лишь потому, что «Комета» вдруг оказалась отрезанной от всего мира, подумал он. Она застряла на чужих рельсах – на путях «Атлантик саузерн», проходящих через Аризону. Мы пользовались этими путями не заплатив. Нужно выбраться отсюда, думал он; это чувство исчезнет, едва мы вернемся на свой путь. Но узловая станция вдруг оказалась недостижимо далекой – на берегу Миссисипи, у моста Таггарта.

Нет, подумал он, дело не только в этом. Ему пришлось признать, что неприятное чувство, которое ему было трудно определить и от которого он никак не мог избавиться, навеяно дорогой. В пути он наблюдал нечто странное, непонятное, неопределимое, необъяснимое и навязчивое.

Более двух часов назад они проехали станцию, на которой не было ни души. Окна небольшого здания вокзала были ярко освещены; в комнатах было светло и пусто; пуста была и платформа; не было видно ни одного человека – ни в здании, ни на путях. А платформа следующей станции, которую они проезжали, была запружена неистовствующей толпой. Теперь они были уже далеко и не могли видеть огней или слышать шум какой бы то ни было станции.

Нужно вывести отсюда «Комету», подумал он. Он не мог понять, почему это нужно сделать так срочно, почему так важно сдвинуть «Комету» с места. Пассажиров в поезде было немного; они тряслись в полупустых вагонах; идти им было некуда, нечего добиваться. Он боролся не

ради них; но ради кого? Он не знал. Словно в ответ на это в его мозгу всплыли два высказывания, притягивавшие его как непонятность молитвы и как обжигающая сила абсолюта. Одно: «От океана к океану, навсегда» и второе: «Не позволяй оставить это!..»

Через час проводник вернулся. С ним был помощник машиниста, лицо его странно помрачнело.

– Мистер Виллерс, – медленно произнес помощник машиниста, – центр не отвечает.

Эдди Виллерс выпрямился. Он отказывался в это верить, но в то же время вдруг понял, что именно этого почему-то ждал.

Этого не может быть! – тихо сказал он; помощник машиниста, ле двигаясь, смотрел на него. – Очевидно, ли нейный телефон не в порядке.

Нет, мистер Виллерс. Телефон в порядке. Линия рабо тает. Центр – нет. То есть трубку никто не взял – или не захотел взять.

– Но этого не может быть, вы же знаете! Помощник машиниста пожал плечами; в эти дни могло произойти все.

Эдди Виллерс вскочил.

– Пройдите по всему поезду, – приказал он проводни ку. – Стучите во все двери, – туда, где есть люди; найдите электрика.

– Да, сэр.

Эдди знал, что они, как и он, понимают, что электрика им найти не удастся, – только не среди этих сонных, пустых лиц.

– Пойдемте, – приказал он, поворачиваясь к помощ нику машиниста.

Они взобрались в кабину локомотива. Седовласый машинист сидел, уставившись в окно на кактусы. Прожектор был включен и его луч устремлен в темноту, прямой и недвижимый, но он ничего не высвечивал, кроме расплывающихся контуров поездного пути.

Давайте посмотрим, что случилось, – сказал Эдди полуприказывая, полуупрашивая. Он снял пальто. – Да вайте попытаемся еще раз.

Да, сэр, – без раздражения и без надежды ответил машинист.

Он уже истощил свой небольшой запас знаний; он проверил все, что, по его мнению, могло быть в неисправности. Тем не менее он снова забрался в мотор, то здесь, то там что-то откручивая и прикручивая, наугад разъединяя части двигателя. Он был похож на ребенка, разбирающего часы, с той лишь разницей, что ребенок убежден, что узнает, как работает этот механизм.

Помощник машиниста все высовывался из окна кабины, глядя в темную тишину и вздрагивая от ночного воздуха, который становился все прохладнее.

Не волнуйтесь, – сказал Эдди Виллерс, напуская на себя уверенный вид. – Мы должны попытаться сами все исправить, но если у нас ничего не получится, рано или поздно пришлют помощь. Ведь поезда не бросают в неиз вестности.

Не бросали, – поправил помощник машиниста.

Время от времени машинист поднимал голову – его лицо было испачкано машинным маслом – и поглядывал на Эдди Виллерса, лицо и рубашка которого тоже были в масле.

– Ведь это бесполезно, – сказал он.

– Мы не можем все так оставить! – вспыхнул Эдди; в глубине Души он сознавал, что говорит сейчас не только о «Комете», – и даже не только о железной дороге.

Переход °т кабины к трем блокам двигателя, осматривая их оде Н за другим, снова возвращаясь к кабине, Эдди Виллерс пытался вспомнить все, что когда-либо знал о двигателях, все» что узнал в колледже и даже раньше, все, чему научился еш-е в те Дни, когда станционные смотрители станции рокдэйл сгоняли его со ступенек громоздких тепловозов. Руки его уже были

в царапинах, рубашка прилипла к спине. Голова была полна каких-то обрывочных сведений, кот°РЬ е никак не могли помочь; он знал, что не разбирается в Двигателях, понимал, что не знает, в чем дело; но он понимал также, что теперь это стало для него вопросом жизни и с\«ерти. Он смотрел на цилиндры, лопасти и провода, на все еще мерцающие лампочками приборные панели. Он старался не допускать в сознание мысль, которая не давала ему покоя: можно ли надеяться и сколько обычному человеку йужно времени – согласно математической теории вероятности – на то, чтобы методом тыка найти нужную комбинацию и вернуть двигатель к жизни.

Ведь это бесполезно, мистер Виллерс, – взмолился помощник машиниста.

Мы Ие можем все так оставить! – воскликнул он.

Он не знал, сколько времени прошло, когда помощник машинист^ вдруг вскричал:

MncfeP Виллерс! Смотрите!

Помощник машиниста выглядывал в окно, показывая в темноту за спиной.

Эдди В* ллерс обернулся. Вдалеке покачивался странный тусклый ог"°нек; казалось, он медленно приближался; Эдди не мог понять, что это такое.

Немног^ погодя, он, казалось, различил что-то черное, медленно приближающееся к ним. Это черное двигалось параллельно рельсам; огонек, покачиваясь, висел низко над землей; ЭдДО прислушался, но ничего не услышал.

Затем послышался легкий приглушенный звук, похожий на стук копыт. Машинист и помощник стояли рядом и с нарастающим ужасом смотрели на черное пятно, словно из пустоты ночи на них надвигался призрак.

Когда же они поняли, что это за пятно, и весело рассмеялись, пришел черед Эдди леденеть от ужаса. Он увидел привидение гораздо более страшное, чем можно было предположить: караван фургонов.

Караван остановился неподалеку от локомотива, и покачивающийся над первым фургоном фонарь, вздрогнув, замер.

– Эй, приятель, подвезти? – окликнул, смеясь, человек, который был, очевидно, за главного. – Что, застряли?

Пассажиры «Кометы» вглядывались в темноту, стоя около окон; некоторые уже спускались с поезда и подходили ближе. Из фургонов, из-за узлов с домашним скарбом выглядывали женщины; в хвосте каравана в одном из фургонов плакал ребенок.

Вы с ума сошли? – произнес Эдди Виллерс.

Да нет, я серьезно. Место у нас есть. Мы вас подвезем, ребята, за плату, конечно. Если вы хотите отсюда выбрать ся. – Это был долговязый нервный мужчина с развязными манерами и наглым голосом. Он походил на рыночного зазывалу.

Задохнувшись от гнева, Эдди Виллерс произнес:

Это «Комета Таггарта».

«Комета», говоришь? По мне, так она больше похожа на дохлую гусеницу. Что с тобой, приятель? Тебе никуда не доехать, даже если очень постараться.

Что это значит?

Ты что, думаешь, ты едешь в Нью-Йорк?

Мы едем в Нью-Йорк.

Так значит... вы ничего не слышали?

О чем?!

Послушайте, когда вы в последний раз выходили на связь с какой-нибудь из станций?

Да не помню!.. О чем мы не слышали?

Моста Таггарта больше нет. Нет. Взорван. Звуковой луч или еще что-то. Никто точно не

знает. Верно только, что никакого моста через Миссисипи больше нет. И никакого Нью-Йорка тоже больше нет, – по крайней мере, для таких ребят, как вы и я, его больше нет.

Эдди Виллерс плохо помнил, что было дальше; он привалился к сиденью, на котором должен был сидеть машинист, тупо уставившись на открытую дверцу, ведущую в машинное отделение; он не знал, долго ли просидел так. Когда же наконец огляделся, он был один. Ни машиниста, ни помощника в кабине не было. Снаружи раздавались беспорядочные крики, вопли, рыдания, кто-то что-то громко спрашивал, в ответ слышался смех рыночного зазывалы.

Эдди припал к окну – пассажиры и поездная бригада «Кометы» столпились вокруг возницы и его оборванных спутников; возница куда-то небрежно указывал, отдавая команды. Несколько пассажиров «Кометы», одетых лучше остальных, уже взбирались, всхлипывая и прижимая к груди изящные сумочки, в фургоны. Очевидно, их мужья договорились о цене.

Зазывала бодро вопил:

– Забирайтесь, давайте, ребята! Места всем хватит! Тесновато, конечно, зато мы будем двигаться – это лучше, чем оставаться здесь кормить койотов! Прошло время же лезного коня! У нас осталась только обыкновенная старо модная лошадка! Медленно, но верно!

Эдди Виллерс встал на ступеньки локомотива, чтобы видеть толпу и чтобы его было слышно. Он взмахнул рукой, другой рукой он держался за поручни.

– Вы ведь не уедете? – крикнул он своим пассажирам. – Вы не бросите «Комету»?!

Люди отшатнулись, словно не желая ни смотреть на него, ни отвечать ему. Они не хотели слышать вопросы, которые их разум был не в состоянии осмыслить. Он увидел искаженные паникой пустые лица.

А механик-то ваш чего? – показал на него пальцем зазывала.

Мистер Виллерс, – медленно произнес проводник, – бесполезно...

Не бросайте «Комету»! – воскликнул Эдди Виллерс. – Не оставляйте все так! Ради Бога, не оставляйте все так!

Ты с ума сошел? – завопил зазывала. – Ты не представляешь, что происходит на станциях и в управлениях! Они там все в панике, как недобитые куры, не знают, куда бежать! К завтрашнему утру все железные дороги по эту сторону реки вымрут!

Поедьте, мистер Виллерс, – сказал проводник.

Нет! – закричал Эдди, сжимая металлический поручень с такой силой, словно желал срastись с ним.

Зазывала пожал плечами:

Ну, дело твое, помирвай, если хочешь!

Куда вы поедете? – спросил машинист, не глядя на Эдди.

Мы просто поедем, приятель! Поищем, где можно остановиться... где-нибудь. Мы из Калифорнии, из Имперал-Велли. Парни из Народной партии разворовали весь наш урожай и все, что было у нас в погребах. Они это называют продразверсткой. Поэтому мы просто снялись с места и поехали. Приходится путешествовать ночью из-за парней из Вашингтона. Мы просто хотим поселиться где-нибудь... Можешь поехать с нами, приятель, если тебе некуда идти, или, если хочешь, подвезем тебя поближе к какому-нибудь городу.

Им не основать тайное свободное поселение, равнодушно подумал Эдди, слишком они злобны. Но и шайкой налетчиков им тоже не стать – для этого нужно еще больше злости. У них не больше шансов основать поселение, чем у мертвящего света их фонаря; подобно этому свету, они растворятся в бескрайних пустынных просторах страны.

Он стоял на ступеньках, глядя на фонарь. Он не смотрел, как последние пассажиры последней «Кометы Таггарта» переместились в фургоны.

Последним в фургон сел проводник.

Мистер Виллерс! – в отчаянии позвал он. – Поехали!

Нет, – сказал Эдди.

Рыночный зазывала махнул рукой в сторону Эдди, стоявшего на ступеньках лесенки над их головами.

Надеюсь, ты знаешь, что делаешь! – воскликнул он; в его голосе слышались одновременно угроза и мольба. – Может быть, кто-нибудь будет проезжать здесь и подберет тебя – через неделю или через месяц! Может быть! Хотя кто – в наши-то дни?

Убирайся, – сказал Эдди Виллерс.

Он снова взобрался в кабину. Повозки дрогнули и, скрипя и покачиваясь, скрылись в темноте. Эдди сидел на месте машиниста, прижавшись лбом к бесполезному дросселю. Он чувствовал себя капитаном потерпевшего крушение океанского лайнера, который предпочел гибель вместе с кораблем спасению на утлых суденьшках туземцев, дразнивших его превосходством своих лодок.

Вдруг волна слепого праведного гнева захлестнула его. Он вскочил, схватился за дроссель. Поезд должен тронуться, во имя победы чего-то, чему он не знал названия, двигатель должен заработать.

Не думая, не рассуждая, не чувствуя страха, одержимый праведным гневом, он начал наугад дергать за рычаги, за дроссель, нажимать на мертвую педаль; он пытался осознать источник и цель своей отчаянной борьбы, одновременно ясные и туманные, зная лишь, что борется во имя них.

Нельзя это оставить! – повторял он себе. Перед его глазами вставали улицы Нью-Йорка. Нельзя все так оставить! Он представлял огни железных дорог. Нельзя это оставить! Он видел дым, гордо поднимавшийся из заводских труб. Он пытался пробиться сквозь туман и увидеть то, что лежало в основе всего этого.

Он держал витки проводов, соединяя и снова разъединяя их, и вдруг словно ощутил запах сосен и тепло солнечных лучей. «Дэгни! – позвал он про себя. – Дэгни, во имя всего лучшего в нас!..» Он дергал за бесполезные рычаги и за дроссель, который ничем не мог управлять... «Дэгни! – взывал он к двенадцатилетней девочке на залитой солнцем лесной просеке, – во имя всего лучшего в нас я должен сдвинуть с места этот поезд!.. Дэгни, вот что это было... и ты уже тогда это знала, а я не знал... ты знала это, когда повернулась и посмотрела на рельсы... Я сказал тогда: „Не просто заниматься делом и зарабатывать на жизнь...“ Но, Дэгни, дело, и способность зарабатывать, и то в человеке, что позволяет ему этим заниматься, – именно это и есть лучшее в нас, именно это и нужно было защитить... Во имя спасения всего этого, Дэгни, я должен сдвинуть с места этот поезд...»

Поняв, что сидит на полу кабины и что здесь уже больше ничего нельзя сделать, он поднялся на ноги и спустился по лестнице вниз; он смутно подумал о колесах, хотя знал, что машинист их уже осматривал. Он спрыгнул на землю, и под ногами его заскрипел песок пустыни. Он постоял немного и в наступившей оглушительной тишине услышал шорох кустов перекасти-поля, шевелящихся в темноте, словно смеялись невидимые полчища, – они могли двигаться куда угодно, в отличие от «Кометы». Поблизости раздался шорох погромче – Эдди увидел маленького серого кролика. Кролик поднялся на задние лапки и понюхал ступеньку одного из вагонов «Кометы Таггарта». Охваченный кровожадной яростью, Эдди бросился к кролику, словно в этом крошечном сером существе воплотились те вражеские силы, продвижение которых он обязан остановить. Кролик метнулся назад в темноту – но Эдди понял, что ему не остановить врага.

Эдди подошел к локомотиву и взглянул на сдвоенные буквы «ТТ». Потом упал на рельсы у колес локомотива и разрыдался; свет прожектора над его головой был не в силах превозмочь

Над освещенной огнями долиной сквозь открытое окно лились из-под пальцев Ричарда Хэйли звуки его Пятого концерта. Это была симфония победы. Звуки взмывали ввысь, они пели о взлете, они сами были подобны взлету, это была суть восхождения, его выражение; казалось, эти звуки служили музыкальным воплощением всех человеческих поступков и мыслей, побудительным мотивом которых служит восхождение. Эта музыка походила на солнечные лучи, вырвавшиеся на свободу из-за туч. В ней воплощались легкость освобождения и энергия целеустремленности. Она омывала все вокруг, вселяя в сердце радость силы, свободной от всяческих оков. Лишь едва слышные мрачные нотки свидетельствовали о том, чего ей удалось избежать, но свидетельствовали, словно изумляясь, даже смеясь, потому что, как оказалось, ни боли, ни скверны не существовало и не должно было существовать. Это была песнь полного освобождения.

Свет из окон домов в долине яркими пятнами падал на еще лежавший на земле снег. На гранитных уступах и толстых ветвях сосен снег лежал большими шапками. Но голые ветви берез уже устремились вверх, словно не сомневались, что скоро покроются весенними листочками.

Освещенный прямоугольник на склоне горы был окном кабинета Маллигана. Мидас Маллиган сидел за столом. Перед ним лежала карта и испещренные колонками цифр листы бумаги. Он составлял список активов своего банка и разрабатывал план капиталовложений.

Он помечал выбранные населенные пункты: Нью-Йорк, Кливленд, Чикаго... Нью-Йорк, Филадельфия... Нью-Йорк... Нью-Йорк... Нью-Йорк...

Освещенный прямоугольник в низине был окном дома Даннешильда. Кей Ладлоу сидела перед зеркалом, задумчиво рассматривая тона актерского грима, разложенные в потертом чемоданчике. Рагнар Даннешильд лежал на диване, читая Аристотеля: «...поскольку эти истины верны для всего сущего, а не для какого-то отдельного вида. И все люди используют их, так как они существуют в реальности как сущие... Потому что принцип, которого должен придерживаться каждый, кто имеет понятие о чем-то сущем, не есть гипотеза... Очевидно, следовательно, что такой принцип есть самое несомненное; продолжим: в чем заключается этот принцип? В том, что одно и то же свойство не может одновременно и равным образом принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту в том же отношении...»

Освещенный прямоугольник среди возделанного поля был окном библиотеки судьи Наррагансетта. Он сидел за столом, свет лампы падал на страницы старинного документа. Он пометил и вычеркнул противоречивые утверждения, приведшие когда-то к тому, что этот документ утратил силу. Теперь он писал на его страницах новое предложение: «Законодательное собрание не может принимать законы, ограничивающие свободу производства и торговли...»

Освещенный прямоугольник в глубине леса был окном хижины Франциско Д'Анкония. Франциско лежал на полу, рядом с пляшущими в камине языками пламени, склонившись над листами бумаги. Он заканчивал эскиз плавильни. Хэнк Реардэн и Эллис Вайет сидели у камина.

– Джон сконструирует новые локомотивы, – говорил Реардэн, – а Дэгни займется прокладкой первой железной дороги между Нью-Йорком и Филадельфией. Она...

И вдруг, услышав его следующие слова, Франциско вскинул голову и рассмеялся. Он

смеялся одобрительно, легко и победно. Смех Франциско заглушил доносившиеся откуда-то сверху отдаленные звуки Пятого концерта Хэйли, но он тоже звучал триумфально. В словах, над которыми, приветствуя их, смеялся Франциско, были лучи весеннего солнца, освещавшего лужайки у порогов деревенских домов, блеск моторов, сияние стальных конструкций новых небоскребов, глаза молодых людей, уверенно и бесстрашно смотрящих в будущее.

Фраза, которую произнес Реардэн, звучала так:

– Возможно, она попытается содрать с меня последнюю рубашку, запросив немислимую цену за перевозки, но я с этим справлюсь.

На самом высоком уступе горы мерцал слабый свет. Это был свет звезд, блестящий и в прядях волос Галта. Галт смотрел не на долину внизу, а далеко за ее пределы, в темноту. Рука Дэгни покоилась у него на плече, ветер спутывал их волосы. Она знала, почему ему хотелось взобраться на вершину и о чем он сейчас думает. Она знала, что он хочет сказать, и знала, что он первый скажет ей об этом.

Они не могли видеть мир, простиравшийся за горами, там были лишь пустота, тьма и скалы. Тьма скрывала руины материка: дома без крыш, заржавевшие трактора, темные улицы, заброшенные рельсы. Но очень далеко, на краю земли, на ветру колебалось тонкое пламя – упрямое пламя факела Вайета; оно меркло и разгоралось вновь, дрожа, его было не погасить, не уничтожить. Казалось, оно призывает услышать слова, которые собирался произнести Джон Галт.

– Путь свободен, – сказал Галт. – Мы возвращаемся в наш мир.

Он поднял руку и начертал над безлюдной землей знак доллара.